ВАСИЛИЙ ШУКШИН



до третьих петухов


БИБЛИОТЕКА
ДН
«ДРУЖБЫ НАРОДОВ»

БИБЛИОТЕКА «ДРУЖБЫ НАРОДОВ»

ВАСИЛИЙ ШУКШИН

до третьих петухов

ПОВЕСТИ. РАССКАЗЫ



ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ» ● МОСКВА ● 1976

Р2
Ш—95

Художник И. НОВОДЕРЕЖКИН

Ш $\frac{70302—036}{074(02)—76}$ 90—76 подписное



Василий Макарович ШУКШИН — человек необычайной человеческой и творческой судьбы. Он был удивительно талантлив, разносторонне и мощно одарен. Актер, прозаик, киносценарист и режиссер. Явление уникальное.

Василий Шукшин начинал свой путь трудно. Он рос в годы войны, без отца, в маленьком селе Сростки на Алтае. Семь классов сельской школы. Ранняя самостоятельность. Разная работа в разных городах, тяжелая: слесарь, ученик маляра, грузчик. Призыв в армию, служба на флоте — четыре года он матрос и радист боевого эсминца. После демобилизации возвращается на Алтай, сдает экстерном экзамены на аттестат зрелости, учительствует в школе — ведет русский язык, литературу, историю. Неожиданно (в 1954 году) все бросает и едет в Москву — учиться. Учится блестяще — у Михаила Ромма на режиссерском факультете, во ВГИКе. Обнаруживает актерское дарование. Снимается у Марлена Хуциева в главной роли в фильме «Два Федора». Так состоялся актерский дебют. Так родился на экране солдат с нелегкой судьбой, трудной жизнью и большим сердцем, настоящий русский характер. Так началась судьба Шукшина-актера.

В кинотитрах, на страницах журналов и газет все чаще встречается его имя, о нем стали говорить. В кино и литературу пришел яркий талант, со своей темой, со своим героем.

1963 год. Первый режиссерский фильм Шукшина (он же автор сценария) «Живет такой парень» — «о красоте чистого человеческого сердца, способного к добру». Самое главное в обаятельном герое Пашке Колокольникове — «доброта, она для людей важнее важного».

1965 год — фильм «Ваш сын и брат» — экранизация рассказов «Степка», «Змеиный яд», «Игнаха приехал»,— где искателям шумного успеха, преуспевающим приспособленцам противопоставлены простые, трудолюбивые, гордые своим трудом, чистые сердцем люди советской деревни. Здесь тоже — приверженность автора главной своей теме — «раскрытию чистоты и нравственности, глубокой духовной красоты людей». Снова — настойчивое слово о естественности.

В это время помимо многочисленных журнальных публикаций уже вышли из печати сборники рассказов «Сельские жители» (1963), первый роман «Любавины» (1965). Справедливо полагая главной темой своего творчества крестьянство, Шукшин серьезно изучает историю России, крестьянских бунтов («чтобы понимать настоящее, надо знать прошлое»), Степана Разина — «самой поэтичной фигуры в нашей истории», по словам Пушкина. Шукшин видит в нем дорогие

ему черты русского характера: простоту, ясность, ум, широту, удаль. Разин — выразитель интересов всего народа, талантливейший полководец, которого полное самоотречение, бескорыстие, сострадание к людям сделали вождем крестьянства. И в 1967 году Шукшин пишет сценарий «Я пришел дать вам волю». Его заветная мечта, которой не суждено было осуществиться,— поставить фильм и сыграть в нем заглавную роль. Мечтал, чтобы «...образ Разина был поднят до такой высоты, чтобы в его судьбе отразилась судьба всего русского народа, вконец исстрадавшегося и восставшего». Погрузившись в изучение исторических документов, Шукшин понял, что в сценарии «не все мог высказать, а материал томил и просился наружу, вот и отважился на собственный вариант романа». В 1971 году роман будет опубликован, но до этого еще выйдут книги «Там, вдали» (1968), сборник рассказов «Земляки» (1970) и два новых фильма.

«Странные люди» поставлены по трем рассказам — «Чудик», «Миль пардон», «Думы». В безоглядной любви к людям видит автор красоту и силу своих героев. Смысл жизни, любви, человеческих отношений эти «чудаковатые» люди открывают для себя страстно и мучительно. Они душевны, искренни, отзывчивы в радости и беде. Разные они, но сцепление их с жизнью одно: земля. «Для меня именно в селе — острейшие схлесты и конфликты. И возникает желание сказать свое слово о людях, которые мне близки».

«Печки-лавочки». Автора волнует «...то состояние души, в котором наш русский человек, крестьянин ныне живет».

Человеческая ценность, подлинная и мнимая, интеллигентность, настоящая и поддельная, внутреннее достоинство и угодничество — вот с чем столкнулся герой повести и фильма.

На вершине зрелости, мастерства Шукшин пробует себя в новых жанрах: повести — драматической, лирической, сатирической, притчи, сказки, повести для театра.

Из самых значительных — впоследствии экранизированная,—«Калина красная». Страшна жизнь человека, свернувшего с прямой дороги. Жизнь, что искривилась, потекла по законам ложным, неестественным,— не выправить, не прожить заново. И второй круг противоречий: человек, рожденный хорошим, добрым, мучительно восстает против злого, жестокого своего образа жизни; сын трудовых людей ведет жизнь паразитическую.

Здесь проявилась особая грань редкого таланта Шукшина — он создал образ, обладающий своей собственной логикой, понятиями.

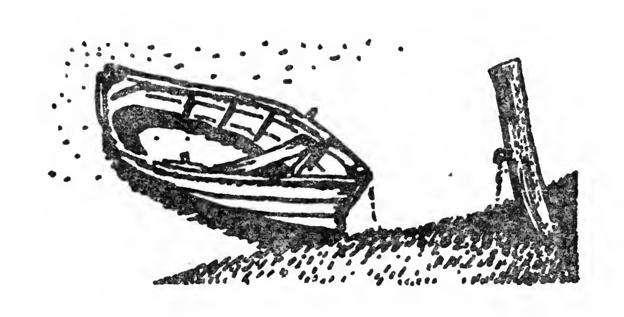
Он открывал все новые глубины, мечтал постичь суть мира, времени, в котором жил.

Мечтал поставить фильм — игровой или документальный— об одном дне в родном селе, о Дне Победы.

Замыслов было много. Выбрал главное — «стопку чистой белой бумаги». «Нужно иметь какое-то обязательство перед будущим... Ждут меня большой роман и несколько сборников рассказов...» Эти слова были сказаны 16 июля 1974 года.

2 октября Василий Шукшин скончался от острой сердечной недостаточности. Он прожил 46 лет.

В первые дни после его гибели в Москву пришло больше 160 000 писем. Писали люди, потрясенные горем,— Шукшина знали все.



рассказы



● ИЗ ДЕТСКИХ ЛЕТ ИВАНА ПОПОВА

ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО С ГОРОДОМ

Перед самой войной повез нас отчим в город Б. Это — ближайший от нас, весь почти деревянный, бывший купеческий, ровный и грязный.

Как горько мне было уезжать! Я невзлюбил отчима, и хоть не помнил родного отца, думал: будь он с нами, тятя-то, никуда бы мы не засобирались ехать. Назло отчиму (теперь знаю: это был человек редкого сердца — добрый, любящий... Будучи холостым парнем, он взял маму с двумя детьми), так вот назло отчиму, папке назло,— чтобы он разозлился и пришел в отчаяние,— я свернул огромную папиросу, зашел в уборную и стал «смолить» — курить. Из уборной из всех щелей повалил дым. Папка увидел... Он никогда не бил меня, но всегда грозился, что «вольет». Он распахнул дверь уборной и, подбоченившись, стал молча смотреть на меня. Он был очень красивый человек, смуглый, крепкий, с карими умными глазами... Я бросил папироску и тоже стал смотреть на него.

— Ну? — сказал он.

— Курил...— Хоть бы он ударил меня, хоть бы щелкнул разок по лбу, я бы тут же разорался, схватился бы за голову, испугал бы маму... Может, они бы поругались и, может, мама заявила бы ему, что никуда она не поедет, раз он такой — бьет детей.

— Я вижу, что курил. Дурак ты, дурак, Ванька... Кому хуже-то делаешь? Мне, что ли? Пойду сейчас и скажу матери...

Это не входило в мои планы, и это могло мне выйти боком — мама-то как раз и отстегала бы меня. Я догнал папку...

— Папка, не надо, не ходи!

— Зачем ты куришь, дурачок, с таких лет? Ведь это ж сколько никотину скопится за целую жизнь! Ты только подумай, голова садовая. Скажи, что больше не будешь,— не пойду к матери.

— Не буду. Истинный мой бог, не буду.

— Ну, смотри.

...И вот едем в город — переезжаем. На телеге наше добро, мы с Талей сидим на верхотуре, мама с папкой идут пешком. За телегой, привязанная, идет наша корова Райка.

Таля, маленькая сестра моя, радуется, что мы едем, что нам еще далеко-далеко ехать. Невдомек ей, что мы уезжаем из дома. Вообще-то мне тоже нравится ехать. Вольно кругом, просторно... Степь. В травах стоит несмолкаемая трескотня: тысячи маленьких неутомимых кузнецов бьют и бьют крохотными молоточками в звонкие наковаленки, а сверху, из жаркой синевы, льются витые серебряные ниточки... Наверно, эти-то тоненькие ниточки и куют на своих наковаленках маленькие кузнецы и развешивают сверкающими паутинками по траве. Рано утром, когда встает солнце, на ниточки эти, протянутые от травинки к травинке, кто-то нанизывает изумрудный бисер — зеленое платье степи блестит тогда дорогими нарядами.

Мы останавливаемся покормиться.

Папка выпрягает коня, пускает его по бережку. Райка тоже пошла с удовольствием хрумтеть сочным разнотравьем. Мы раскладываем костерок — варить пшенную кашу. Хорошо! Я даже забываю, что мы уезжаем из дома. Папка напоминает:

— Вот здесь наша река последний раз к дороге подходит. Дальше она на запад поворачивает.

Мы все некоторое время молча смотрим на родимую реку. Я вырос на ней, привык слышать днем и ночью ее ровный, глуховатый, мощный шум... Теперь не сидеть мне на ее берегах с удочкой, не бывать на островках, где покойно и прохладно, где кусты ломятся от всякой

ягоды: смородины, малины, ежевики, черемухи, облепихи, боярки, калины... Не заводиться с превеликим трудом — так, что ноги в кровь и штаны на кустах оставишь — бечевой далеко вверх и никогда, может быть, не испытать теперь величайшее блаженство — обратный путь домой. Как нравилось мне, каким взрослым, несколько удрученным заботами о семье мужиком я себя чувствовал, когда собирались вверх «с ночевой». Надо было не забыть спички, соль, ножик, топор... В носу лодки свалены сети, невод, фуфайки. Есть хлеб, картошка, котелок. Есть ружье и тугой, тяжелый патронташ.

— Ну, все?

— Все вроде...

— Давайте, а то поздно уже. Надо еще с ночевкой устроиться. Берись!

Самый хитрый из нас, владелец ружья или лодки, отправляется на корму, остальные, человека два-три,— в бечеву. Впрочем, мне и нравилось больше в бечеве, правда: там горсть смородины на ходу слупишь, там второпях к воде припадешь горячими губами, там надо вброд через протоку — по пояс... Да еще сорвешься с осклизлого валуна да с головой ухнешь... Хорошо именно то, что все это на ходу, не нарочно, не для удовольствия. А главное ты, а не тот, на корме, основное-то дело делаешь...

Эх, папка, папка! А вдруг да у него не так все хорошо пойдет в городе? Ведь едем-то мы — попробовать. Еще неизвестно, где он там работу найдет, какую работу? У него ни грамоты большой, ни специальности. И вот надо же — поперся в город и еще с собой трех человек потащил. А сам ничего не знает, как там будет. Съездил только, договорился с квартирой, и все. И мама тоже... Куда согласилась? Последнее время, я слышал, все шептались по ночам: она вроде не соглашалась. Но ей хотелось выучиться на портниху, а в городе есть курсы... Вот этими курсами-то он ее и донял. Согласилась. Попробуем, говорит. Ничего, говорит, продавать не будем, лишнее, что не надо, рассуем для хранения по родным и поедем, попробуем. А папке страсть как охота куда-нибудь на фабрику или в мастерскую какую — хочется ему стать рабочим, и все тут. Ну, вот и едем.

...Приехали в город затемно. Я не видел его. Папка чудом находил дорогу: сворачивали в темные переулки, громыхали колесами по булыжнику улиц... Раза два он

только спрашивал у встречных, встречные объясняли что-то на тарабарском языке: надо еще до конца Осоавиахимовской, потом свернуть к Казармам, потом будет Дегтярный... Папка возвращался к нам и говорил, что все правильно — верно едем. Мы с Талей и мама притихли. Только папка один храбрился, громко говорил... Наверно, чтоб подбодрить нас.

По бокам темных улиц и переулков стояли за заборами большие дома. В окнах яркий свет.

— Господи, да когда же приедем-то? — не выдержала мама. Это же самое удивляло и меня: казалось, что мы, пока едем по городу, проехали пять таких деревень, как наша. Вот он, город-то!

— Скоро, скоро! — бодрится папка.— Еще свернем на одну улицу, потом в переулок — и дома.

Дома!.. Смелый он человек, папка. Я его уважаю. Но затею его с городом все-таки не могу принять. Страшно здесь, все чужое, можно легко заблудиться.

Не заблудились. Подъехали к большому дому, папка остановил коня.

— Здесь. Счас скажу, что приехали...

— Скорей там,— велит мама.

— Да скоро! Скажу только...

В переулке темно. Я чувствую, мама боится, и сам тоже начинаю бояться. Одной Тале — хоть бы хны.

— Мам, мы тут жить станем?

— Тут, доченька... Заехали!

— Уговори ты его назад, домой,— советую я.

— Да теперь уж... Вот дура-то я, дура!

Папки как на грех долго нету. В доме горит свет, но забор высокий, ничего в окнах не видать.

Наконец появился папка... С ним еще какой-то мужик.

— Здравствуйте,— не очень приветливо говорит мужик.— Заезжай, я покажу, куда ставить. Барахла-то много?

— Откуда!.. Одежонка кой-какая да постелишка.

— Ну, заезжайте.

Пока перетаскивают наши манатки, мы сидим с Талей в большой, ярко освещенной комнате на сундуке в углу.

В комнату вошел долговязый парнишка... с самолетом. Я прирос к сундуку.

— Хочешь подержать? — спросил парнишка.

Самолет был легкий, как пушинка, с тонкими размашистыми крыльями, с винтиком впереди... Таля тоже потянулась к самолету, но долговязый не дал.

— Ты изломаешь.

Таля захныкала и все тянулась к самолету — тоже подержать. Долговязый был неумолим. И во мне вдруг пробудилось чудовищное подхалимство, и я сказал строго:

— Ну, чего ты? Изломаешь, тогда что?! — Мне хотелось еще разок подержать самолет, а чтоб долговязый дал, надо, чтоб Таля не тянулась и нечаянно не выхватила бы его у меня.

Тут вошли взрослые. Отец долговязого сказал сыну:

— Иди спать, Славка, не путайся под ногами.

Когда остались мы одни, я вдруг обнаружил, что свет-то — с потолка!.. Под потолком висела на шнуре стеклянная лампочка, похожая на огурец, а внутри лампочки — светлая паутинка. Я даже вскрикнул:

— Гляньте-ка!..

— Ну что? Электричество. Ты, Ванька, поменьше теперь ори — не дома.

Тут вступилась мама:

— Парнишке теперь и слова нельзя сказать?

— Да говори он, сколько влезет,— потихоньку. Чего заполошничать-то?

Они еще поговорили в таком духе — частенько так разговаривали.

— Завез, да еще недовольный...

— Ну, и давай теперь на каждом шагу: «Гляди-ка! Смотри-ка!» Смеяться ведь начнут.

— Ну, и не одергивай каждый раз парнишку!

— Погоди, сядет он тебе на шею, если так будешь...

А как, интересно? Самого отец чуть не до смерти зашиб на покосе за то, что он, мальчишкой, побоялся распутать и обратать шкодливую кобылу — лягалась... Сам же нет-нет да вспомнит про это и обижается на своего отца. Его тогда, маленького-то, насилу откачала мать, бабушка наша неродная. А на шею я никому не сяду, не надо этого бояться.

Мы легли спать.

Долго мне не спалось. Худо было на душе. За стеной громко, с присвистом храпел хозяин, чуждо гудели под окнами провода, проходили по улице — группами — молодые парни и девки, громко разговаривали, смеялись.

Почему-то вспомнилось, как родной наш дедушка, когда выпьет медовухи, всякий раз спрашивает меня:

— Ванька, какое самое длинное слово на свете?

Я давно знаю, какое, а чтоб еще раз услышать, как он выговаривает это слово, хитрю:

— Не знаю, деда.

— А-а!..— И начинает: — Интре... интренацал...— И потом только одолевает: — Ин-тер-на-ци-о-нал!

Мы покатываемся со смеху — мама, я и Таля.

— Эх вы!.. Смешно? — обижается дедушка.— Ну, валяйте, смейтесь.

Можно бы сейчас написать, что в ту ночь мне снились большие дома, самолет, лампочка... Можно бы написать, но не помню, снилось ли. Может, снилось.

Утром я проснулся оттого, что прямо под окном громко сморкался хозяин и приговаривал:

— Ты гляди што!.. Прямо круги в глазах.

Мамы и папки не было. Таля спала. Я стал думать: как теперь пойдет жизнь? Дружков не будет — они, говорят, все тут хулиганистые, еще надают одному-то. Речки тоже нету. Она есть, сказывал папка, но будет далеко от нас. Лес, говорит, рядом, там, говорит, корову будем пасти. Но лес не нашенский, не острова,— бор, это страшновато. Да и што там, в бору-то? — грузди только.

Тут вдруг в хозяйской половине забегали, закричали... Я понял из криков, что Славка засадил в ухо горошину. Всем семейством они побежали в больницу. Я встал и пошел в их комнату — посмотреть, какие в городе печки. Говорили, какие-то чудные. Открыл дверь... и не печку увидел, а аккуратную белую булочку на столе. Потом я узнал, что их зовут — сайки. Никого в комнате не было. Я подошел к столу, взял сайку и пошел к Тале. Она как раз проснулась.

— Ой! — сказала она.— Дай-ка мне.

— Всю, што ли?

— Да зачем?.. Смеряй ниточкой да отломи половинку. Это мама купила?

— Дали. Славка дал.

Разломили саечку и стали есть, сидя на кровати. Никогда не ел такого вкусного хлеба. До чего же душистый, мягкий, чуть солоноватый, даже есть жалко; я все поглядывал, сколько осталось. Мы не услышали, как открылась дверь... Услышали:

— Уже покостúть начали? — С порога на нас глядела

хозяйка. У меня все оборвалось внутри.— Зачем ты взял сайку?

И — вот истинный бог, не вру — я сказал:

— Я думал, она чужая.

— Чужая... Нехорошо так делать. Это — воровство называется. Я вот скажу отцу с матерью...

Что-то я вконец растерялся... Вдруг спросил:

— Горошину-то вытащили?

— О, какой! — удивилась хозяйка.— Хитрит еще.— И ушла.

Мне стало совсем невмоготу.

— Пойдем домой? — предложил я Тале.

— Счас, давай только доедим,— легко согласилась она. Она твердо помнила наказ мамы: не есть на ходу, а сядь, съешь, чего у тебя там есть, тогда уж ходи или бегай.

Я увидел в окно, что хозяйка пошла в сарай, и заторопил Талю. Она было заупрямилась, но все же пошла.

Я помнил, что мы к воротам подъехали слева, если стоять к ним лицом, значит, теперь надо — вправо. Пошли вправо. Дошли до перекрестка... Я не знал, как дальше. Спросил какого-то дяденьку:

— Как бы нам до Ч-ского тракта дойти?

— А зачем? — спросил дяденька.

— Нам мама сказала туда идти. Она нас там поджидает.— Раньше всего другого, что значительно облегчает эту жизнь, я научился врать. И когда врал и мне не верили, я чуть не плакал от обиды. Дяденька внимательно посмотрел на меня, на Талю... И показал:

— Вот так прямо — до перекрестка, потом улица налево пойдет — по ней, а там, как дойдешь до водонапорной башни, большая такая, там спроси снова.

От водонапорной башни дорогу дальше показала тетенька и даже прошла с нами немного.

Долго ли, коротко ли мы шли, а к Ч-скому тракту вышли. Там мы сели на взгорок и стали ждать, кто бы нас подвез до нашей деревни. Там, на взгорке, к вечеру уже, нашли нас мама с папкой. Таля плакала — хотела есть, мной потихоньку овладевало отчаяние...

— Таленька!.. Доченька ты моя-а!..

Я думал, мне крепко влетит. Нет, ничего.

Скоро началась война. Мы вернулись в деревню... Папку взяли на войну.

В 1942 году его убили.

ГОГОЛЬ И РАЙКА

В войну, с самого ее начала, больше всего стали терзать нас, ребятишек, две беды: голод и холод. Обе сразу наваливались, как подступала бесконечная наша сибирская зима со своими буранами и злыми морозами. Летом — другое дело. Летом пошел поставил на ночь перемета три-четыре, глядишь, утром — пара налимов есть. (До сего времени сладостно вздрагивает сердце, как вспомнишь живой, трепетный дёрг бечевы в руках, чириканье ее по воде, когда он начинает там «водить».) Или пошел назорил в околках сорочьих яиц, испек в золе — сыт. Да мало ли! Будь попроворней да имей башку на плечах — можно и самому прокормиться, и домой принести. Но зима!.. Будь она трижды проклята, эта зимушка-зима! И воет и воет над крышей, хлопает плахами... Все тепло, какое было с утра в избе, все к вечеру высвистит, сколько ни наваливай на порог, под дверь, тряпья, как ни старайся утеплить окна. Или наладятся такие морозы, что в сенцах трескотня стоит и кажется — вот-вот еще маленько поддаст, и полопаются стекла в окнах. Выскочишь на минуту в ограду, в пригóн — тебя точно в сугроб голенького, и рот ледяной ладошкой запечатают. А в пригоне — корова... Вот горе-то: сена в обрез, ей жевать и жевать в такую стужу, а где возьмешь, зиме еще конца не видно. Сделаешь свое малое дело и пулей опять в избу — от холода жгучего, в нестерпимой боли за корову: чтоб уж хоть не видеть ее, понурую, всю в инее, с печальными глазами. И в избе нет покоя: тут — худо-бедно — согреешься, а она там стоит... И только на ночь дадим ей охапку сена, и все. И так и видишь все время бесконечно печальные коровьи глаза — прямо в душу глядят. Она ведь кормилица. Она по весне принесет молоко и теленка — это такая суматошная радость в эти дни, когда наша Райка (корова) вот-вот отелится. Тут весна, теплеет уже, а тут скоро заскользит по полу нежными копытцами, может, бог даст, телочка. (Мы в прошлом году сдали телочку в колхоз. Нам дали муки, много жмыха и чайник меда. Долго, конечно, такого праздника ждать — лето, зиму и еще лето,— но тем он и дороже, праздник-то. Да и есть, что ждать.) В такие дни, весной, у нас в избе идет такой тарарам, что душа заходится от ликующего делового чувства. Я то и дело выскакиваю смотреть Райку, щупаю ее теплое брюхо,

хоть ни шиша не смыслю в этом. Таля тоже бегает со мной, тоже щупает Райкино брюхо... Райка, повернув голову, смотрит на нас дымчато-влажными глазами, нежными глазами — она тоже ждет теленка, она, наверно, понимает наше суетливое беспокойство.

— Вань, скоро?

— Ночью, наверно, опростается.

Всю ночь у нас горит свет; мама ходит к Райке, тоже щупает ее брюхо... Приходит и говорит:

— Прямо близко уже... Слышно: толкается ногами-то, толкается, а все никак. Уж не беда ли с ней? Матушка-царица небесная, не допусти до смерти голодной. Куда мы тогда денемся?

Тревожная, страшная ночь.

А рано поутру наш дедушка смотрит Райку и говорит нам всем:

— Чего заполошничаете-то? Сегодня к ночи только... Детей пужаешь, дуреха! — Это он на маму, потому что к утру мы с Талей бываем зареванными. Сколько счастья приносил нам дедушка!

А теперь — еще зима. Я на стенке начертил в ряд столько палочек, сколько осталось дней до марта. Вычеркиваю вечерами по одной, но их еще так много!

Но бывала у меня одна радость — неповторимая, большая — и зимой: в долгие вечера я читал на печке маме и Тале книги.

С книгами у меня целая история. Я каким-то образом научился читать до школы: учил меня дядя Павел (тот сам читать страсть как любил и даже пытался сочинять стихи и, говорит, когда он был на войне, то некоторые его стихи печатали во фронтовой газете. Наверно, неправду говорит, он прихвастнуть любит: когда мне теперь попалась тетрадка его стихов, они поразили меня своей бестолковщиной)... Словом, как только я еще и в школе поднаторел и стал читать достаточно хорошо, я впился в книги. Я их читал без разбора, подряд, какие давала библиотекарша. Она удивлялась и не верила:

— Уже прочитал?

— Прочитал.

— Неправда. Надо, мальчик, до конца читать, если берешь книги. Вот возьми и дочитай.

Что с ней было делать? Брал книжку обратно, терпел дня два и шел опять. Потом я наловчился воровать книги из школьного книжного шкафа. Он стоял в коридоре,

шкаф, и когда летом школу ремонтировали, в коридор — вечерком, попозже,— можно было легко проникнуть. Дальше — еще легче: шкаф двустворчатый, два колечка на краях створок, замок с дужкой... Приоткроешь створки — щель достаточна, чтоб пролезла рука: выбирай любую! Грех говорить, я это делал с восторгом. Я потом приворовывал еще кое-что по мелочи, в чужие огороды лазил, но никогда такого упоения, такой зудящей страсти не испытывал, как с этими книгами.

Маме нравилось, что я много читаю. Но вот выяснилось, что учусь я в школе на редкость плохо. Это пришла и рассказала учительница. Они с мамой тут же установили причину такого страшного отставания: книги. (Парень-то я был не такой уж совсем дремучий.) А тут еще какая-то дура сказала маме, что нельзя, чтобы парнишка так много читал, что бывает — зачитываются. Мама начала немилосердно бороться с моими книгами. Из библиотеки меня выписали, дружкам моим запретили давать мне книги, которые они берут на свое имя. Они, конечно, давали. Мама выследила меня дома, книжки отняла, меня выпорола... Я стал потихоньку снимать с чердака книги, украденные раньше в школьном шкафу. (Эта лавочка со школьными книгами к тому времени для меня кончилась: обнаружили пропажу, переделали запор. В краже книг обвинили плотников: зачем они на свои самокрутки достают и дерут книги, которые так нужны школе. Для этого есть старые газеты. Плотники клялись, что они ни сном ни духом не ведают, куда девались книги — они не брали.) Я снимал книги с чердака и перечитывал уже читанное. Я делал это так: вкладывал книгу в обложку задачника и спокойно читал. Мама видела, что у меня в руках задачник, и оставляла меня в покое и еще радовалась, наверно, что я сел, наконец, за уроки. Подумай она нечаянно, что нельзя же так подолгу, с таким упоением читать задачник — подумай она так, мне опять была бы выволочка.

На мое счастье, об этой возне с книгами узнала одна молодая учительница из эвакуированных ленинградцев (к стыду своему, забыл теперь ее имя), пришла к нам домой и стала беседовать со мной и с мамой. (Наши женщины, все жители села очень уважали ленинградцев.) Ленинградская учительница узнала, как я читаю, и разъяснила, что это действительно вредно. А главное, совершенно без всякой пользы: я почти ничего не помнил

из прочитанной уймы книг, а значит, зря угробил время и отстал в школе. Но она убедила маму, что читать надо, но с толком. Сказала, что она нам поможет: оставит список, и я по этому списку стану брать книги в библиотеке. (Читал я действительно черт знает что: вплоть до трудов академика Лысенко — это из ворованных. Обожал также брошюры — нравилось, что они такие тоненькие, опрятные: отчесал за один присест и в сторону ее.)

С тех пор стал я читать хорошие книжки. Реже, правда, но всегда это был истинный праздник. А тут еще мама, а вслед за ней Таля тоже проявили интерес к книгам. Мы залезали вечером все трое на обширную печь и брали туда с собой лампу. И я начинал... Господи, какое жгучее наслаждение я испытывал! Точно я прожил большую-большую жизнь, как старик, и сел рассказывать разные истории моим родным, крайне заинтересованным, благодарным людям. Точно не книгу я держу поближе к лампе, а сам все это знаю. Когда мама удивлялась: «Ах ты, господи! Гляди-ка! Вот ведь что на свете бывает!» — я чуть не стонал от счастья и торопливо и несколько раздраженно говорил: «Да ты погоди, ты послушай, что дальше будет!»

— А что дальше, Вань? — вылетала со своим языком курносая Таля. Я шипел на нее, обзывал «дурой», мама строго говорила, что так не надо.

— А чего она!..

— Ну, раз мы не понимаем, мы и спрашиваем. А ты не сердись, а рассказывай — ты же знаешь. Тебя разве учительница обзывает дураком?

— Дак можно же сообразить, что я еще сам пока не знаю, что будет дальше!

— Она маленькая. Читай-ка дальше.

Ах, какие это были праздники! (Я тут частенько восклицаю: счастье, радость! праздники! Но это — правда, так было. Может, оттого, что — детство. А еще, я теперь догадываюсь, что в трудную, горькую пору нашей жизни радость — пусть малая, редкая — переживается острее, чище.) Это были праздники, которые я берегу — они сами сберегаются — всю жизнь потом. Лучшего пока не было.

Вот что только омрачало праздники: мама, а вслед за ней Таля скоро засыпали. Только разохотишься, только наладишься читать всю ночь, глядь, уж мама украдкой зевает. А вслед за ней и ее копия тоже ладошечкой

рот прикрывает — подражает маме. Я чуть не со слезами смотрю на них.

— Читай, читай! Што, уж зевнуть нельзя?

— Да ведь поснете сейчас!

— Не поснем. Читай знай.

Но я знаю — поснут. Читаю дальше... Мама борется со сном, глаза ее закрываются, она слабеет. Эх!.. Еще минута-две, и мои слушательницы крепко спят. Сижу, горько обиженный... Невдомек было дураку: мама наработалась за целый день, намерзлась. А этой, маленькой, ей эти мои книжки — до фонаря: она хочет быть похожей на маму, и все. Пробую читать один — не то. Да и в сон тоже начинает клонить... И еще одно, что тревожило праздники: мысль о Райке. Вот она скоро доест свою охапку сена и будет стоять мерзнуть до утра. От этой мысли самому холодно и горько, и совестно становится на теплых кирпичах. И маму тоже больно тревожила эта же мысль, и она нет-нет да вздохнет, когда я читаю.

Я знаю, о чем она. Но что делать, что делать! Где его возьмешь, сена?

В один такой вечер мы читали «Вия». Я, сам замирая от страха, читал:

— «Он дико взглянул и протер глаза. Но она, точно, уже не лежит, а сидит в своем гробу. Он отвел глаза свои и опять с ужасом обратил их на гроб. Она встала... идет по церкви с закрытыми глазами, беспрестанно расправляя руки, как бы желая поймать кого-нибудь.

Она идет прямо к нему...»

Первой не выдержала мама.

— Хватит, сынок, не надо больше. Завтра дочитаем.

— Давай, мам...

— Не надо, ну их... Вот завтра дедушку позовем ночевать, и ты нам опять ее всю прочитаешь. Как заглавие-то?

— Гоголь. Но тут разные, а эта — «Вий».

— Господи, господи... Не надо больше.

Мы долго лежали со светом. Таля уже спала, а мы с мамой не могли заснуть. По правде говоря, я бы и сам не смог читать дальше. Вот так книга! Учительница отметила на листочке, какие читать в сборнике, а эту не отметила. А я почему-то (запретный плод, что ли?) начал именно с «Вия». И вот, пожалуйста: сразу непостижимый, душу сосущий, захватывающий ужас. И сил нет

оторваться, и жутко. Хоть бы завтра дедушка не хворал, хоть бы он пришел, курил бы, лежал на лавке, накрывшись тулупом (он не мог спать в кровати под одеялом), хоть бы он... Мы бы... я бы снова стал читать этого «Вия» и дочитал бы до конца.

— Ты не бойся, сынок, спи. Книжка она и есть книжка: выдумано все. Кто он такой, Вий?

— Главный черт. Я давеча в школе маленько с конца урвал.

— Да нету никаких Виев! Выдумывают, окаянные,— ребятишек пужать. Я никогда не слыхала ни про какого Вия. А то у нас старики не знали бы!..

— Так это же давно было! Может, он помер давно.

— Все равно старики все знают. Они от своих отцов слыхали, от дедушек... Тебе же дедушка рассказывает разные истории? — рассказывает. Так и ты будешь своим детишкам, а потом, может, внукам...

Мне смешно от такой необычайной мысли. Мама тоже смеется.

— Вот чего,— говорит она,— побудьте маленько одни, я схожу сено подберу. Давеча везла да в переулке у старухи Сосниной сбросила навильник. Она подымается рано — увидит, подберет. А жалко — добрый навильник-то. Посидишь, ничего?

— Посижу, конечно.

— Посиди, я скоренько. Огонь не гаси. С печки не слазь.

Мама торопливо собралась, еще сказала, чтоб я никого не боялся, и ушла. Я стал думать, что я опять не отдал должок (семнадцать бабок) Кольке Быстрову, чтоб не думать про Вия. Тоже невеселая дума (неделю уже не могу отдать), но уж лучше про это, чем... Но мысли мои упрямо возвращаются к Вию; возникает неодолимое желание посмотреть вниз, в темный угол. Я начинаю отчаянно бороться с этим желанием, отвернулся к Тале, внушаю себе знакомое: на печке никакая нечистая сила не страшна, на печку они не могут залезть, им не дано, они могут, сколько им влезет, звать, беситься, стращать внизу, но на печку не полезут, это проверено. Покрутятся до первых петухов и исчезнут. Лежу и стараюсь повеселей думать об этом. Но точно кто за волосы тянет — затылок сводит от желания посмотреть вниз, в угол. Сил моих нет бороться. И уж думаю: ну, загляну! Пусть они попробуют на печку залезть. Пусть они толь-

ко попробуют... И тут я слышу в сенях торопливые шаги. Я цепенею от ужаса... Кто там? Мама еще до старухи Сосниной не дошла... Вот уж за скобку взялись... Я дернул одеяло на себя — с головой,— чтоб только не видеть... Господи, господи!.. Учиться хорошо буду, маму слушаться... Дверь открылась, и я слышу мамин голос, потревоженный скорой ходьбой:

— Спишь, сынок?

С сердца схлынул мглистый, цепкий холодок жути.

— Ты, мам? Ты чего скоро-то?

— Да я подумала: чего же я одна-то пошла, мне же одной-то не донести — навильник-то добрый... Пойдем-ка возьмем веревки, навяжем две вязанки да принесем. Жалко бросать-то. Таля-то спит?

Я мигом слетаю с печки.

— Спит. Я счас... Она сроду не проснется!

И вот мы идем темной улицей близко друг к другу... Молчим. Поспешаем. Я считаю, сколько еще домов осталось до старухи Сосниной. Пять. Вот — переулочек. Тут — четыре избы и длинный огород этой самой старухи.

— Сено-то доброе! Прямо пух... Жалко оставлять-то. Давечь никого в переулке-то не было, я и сбросила с воза. Чего им, колхозным-то? Им-то до весны с лишком хватит...

— Если хороший навильник, раза на три хватит дать.

— Там на четыре хватит. Я ишшо там, когда накладывались, подумала: может, запоздаем в деревню-то — стемнеет, поедем переулком, я и сброшу. Да и положила поверх бастырка здоро-о-вый навильник.

— А если б в переулке кто-нибудь бы оказался?

— Ну, тогда что ж... отвезла бы в бригаду. Тут уж ничего не сделаешь.

— Ух, она же и поест у нас сейчас! Свеженького-то... Сразу согреется. Сразу ей дадим?

— Знамо, сразу! Дармовое...

Ну, вот она, старухина изба. У нее там — между избой и баней — есть такой закоулок... Летом там крапива растет в рост человеческий, а зимой сохлые стеблины торчат из снега, чернеют — вечером и то никакого сена не разглядишь, не то что ночью.

Мы скоро навязываем две большие вязанки... Сено пахучее, шуршит в руках, колется. Так и вижу нашу Райку — как она уткнет свою морду в это добро.

Идем назад. И тут — черт ее вынес, проклятую,— собака Чуевых: подбежала, невидная, неслышная, да как гавкнет. Я подскочил, но вязанки не выронил... А мама выронила свою и села на нее. Едва оправились от страха, пошли. Мама ругается:

— Вот гадина!.. У меня чуть разрыв сердца не случился. Ты-то как, сынок?

— Да ничего. Ноги маленько ослабли сперва, а сейчас ничего.

Некоторое время еще идем.

— Может, подбежим, сынок? Оно скорей дело-то будет. А то Таля бы там не проснулась...

— Давай.

И вот мы трусим по улице. Мне смешно, как вязка — точно большой, темный горб — подскакивает на маминой спине.

Райка мыкнула, услышав нас... Я распустил свою вязанку и бухнул ей в ноги большую охапку. Райка мотнула головой и захрумтела вкуснейшим сенцом.

ЖАТВА

Год, наверно, 1942-й. (Мне, стало быть, 13 лет.) Лето, страда. Жара несусветная. И нет никакой возможности спрятаться куда-нибудь от этой жары. Рубаха на спине накалилась и, повернешься, обжигает.

Мы жнем с Сашкой Кречетовым. Сашка старше, ему лет 15—16, он сидит «на машине» — на жнейке (у нас говорили — жатка). Я — гусевым. Гусевым, это вот что: в жнейку впрягалась тройка, пара коней по бокам дышла (водила или водилины), а один, на длинной постромке, впереди, и на нем-то в седле сидел обычно парнишка моих лет, направляя пару тягловых и, стало быть, машину точно по срезу жнивья.

Оглушительно, с лязгом, звонко стрекочет машина, машет добела отполированными крыльями (когда смотришь на жнейку издали, кажется, кто-то заблудился в высокой ржи и зовет руками к себе); сзади стоячей полосой остается висеть золотисто-серая пыль. Едешь, и на тебя все время наплывает сухой, горячий запах спелого зерна, соломы, нагретой травы и пыли — прошлый след, хоть давешняя золотистая полоса и осела, и сзади поднимается и остается неподвижно висеть новая.

Жара жарой, но еще смертельно хочется спать: встали чуть свет, а время к обеду. Я то и дело засыпаю в седле, и тогда не приученный к этой работе мерин сворачивает в хлеб — сбивать стеблями ржи паутов с ног. Сашка орет:

— Ванька, огрею!

Бичина у него длинный — может достать. Я потихоньку матерюсь, выравниваю коня... Но сон, чудовищный, желанный сон опять гнет меня к конской гриве, и сил моих не хватает бороться с ним.

— Ванька!..— Сашка тоже матерится.— Я сам с сиденья валюсь! У меня у самого счас кровоизлияние мозга будет! Потерпи!

— Давай хоть пять минут поспим?! — предлагаю я.

— Еще три круга — и выпрягаем.

Три огромных круга!.. А машина стрекочет и стрекочет, и размерно шагает конь, и дергает повод, и фыркает, и на голову точно масленый блин положили, и горячее масло струйками стекает под рубаху, в штаны... Там, где сидишь в седле, мокро, все остальное раскалилось, тлеет.

— А, Сань?!. А то упаду под жатку, вот увидишь!

Сашку допекло тоже; он еще немного хорохорится, поет песни, потом натягивает вожжи.

— Тр-р!.. Пять минут, Ванька! А то застукают.

Господи, да больше и не надо! Это и так вечность. Падаю с коня, на карачках отползаю подальше в рожь — на тот случай, если кони сами тронут, то чтоб не переехало машиной — успеваю еще подумать про это... Потом горячая, пахучая земля приникла к лицу, прижалась; в ушах еще звон жнейки, но он скоро слабеет, над головой тихо прошуршали литые, медные колоски — и все. Мир звуков сомкнулся, я отбыл в мягкую, зыбучую тишину. Еще некоторое время все тело вроде слегка покачивается, как в седле, приятно гудит кровь, потом я бестелесно куда-то плыву и испытываю блаженство. Странно, я чувствую, как я сплю — сознательно, сладко сплю. Земля стремительно мчит меня на своей груди, а я сплю, я знаю это. Никогда больше в своей жизни я так не спал — так вот — целиком, вволю, через край.

Сколько мы спали, не знаю, только проснулся я вдруг, с ощущением близкой опасности; сразу как-то, как от толчка, всплыл из глубины небытия на поверхность... Кто-то кричал... Я вскочил. Нас все же застукали: сам председатель колхоза Иван Алексеич бегал

по стерне за Сашкой, но так как одна нога у председателя деревянная, то догнать Сашку, конечно, он не мог, и только издали грозил плетью и ругался. Увидев меня, председатель кинулся было за мной, но я так дернул с места, что он сразу остановился.

— Контры! Вы мне ответите!.. Садитесь жать счас же!

— Отойди от жатки, тогда сядем,— Сашке, видно, попало разок председательской плетью — он почесывал спину.

— Счас же у меня садитесь! Вы што, под статью меня подвести хочете?!

— Отойди от жатки...

Председатель, ругаясь, пошел к своему легкому коробку, который стоял в стороне.

Опять заскрипела, заскрежетала жнейка, опять наладилось жечь солнце, но теперь на душе куда легче, даже весело: малость урвали.

Председатель еще постоял немного, посмотрел на нас и уехал.

Странный он был человек, Иван Алексеич, председатель. Эта нога его — это ему давно еще, молотилкой: хотел потуже вогнать сноп под барабан, и вместе со снопом туда задернуло ногу. Пока успели скинуть со шкива приводной ремень, ногу всю изодрало зубьями барабана, потом ее отняли выше колена. Мы его нисколько не боялись, нашего председателя, хоть он страшно ругался и иногда успевал жогнуть плетью. Мы не догадывались тогда, что народ мы еще довольно зеленый, вовсю ругались по-мужичьи, и с председателем — тоже. С нами было нелегко. Как я теперь понимаю, это был человек добродушный, большого терпения и совестливости. Он жил с нами на пашне, сам починял веревочную сбрую, длинно матерился при этом... Иногда с силой бросал чиненую-перечиненную шлею, топтал ее здоровой ногой и плакал от злости.

В тот день председатель здорово насмешил нас.

Съехались мы поздно вечером к бригадному дому, расселись кто где хлебать затируху (мелкие кусочки теста, крошки, сваренные в воде). Потом должно было быть собрание: у председателя много накопилось фактов нашего безобразного поведения: кто-то еще, кроме нас с Сашкой, спал на полосе, кто-то накануне, вечером, самовольно бегал домой в баню, кто-то, дожав клин, го-

нялся с бичом за перепелками — терял драгоценное время...

Председатель, пока мы ужинали, застелил красным сукном длинный стол под навесом, сидел один за столом, строго поглядывал в нашу сторону — ждал: предстояла «накачка».

Мы ополоснули чашки, закурили и приготовились слушать.

— Сегодня четыре оглоеда,— начал председатель,— спали на полосе. Это Санька Кречетов, Илюха Чумазый, Ванька Попов и Васька-безотцовщина. Вы што, соображаете?! А этот верзила... Колька, я про тебя! — в баньку ему, вишь, захотелось!

(Колька, Моисеев внук, поймал у меня вчера на рубахе вшу и подговаривал вместе бежать вечером в деревню в баню, а к свету вернуться. Я отказался.)

— Попариться ему, вишь, захотелось, жеребцу! Дубина такая... Ты всю ночь-то пробегаешь туда-сюда, а днем — спать на полосе!

— Я не спал.

— Я посплю вам! Я вам посплю, дьяволы! Вы у меня ишо скирдовать в ночь будете.

Далеко за лесом, медленно опускается в синие дымы большое красное солнце; хорошо на земле, задумчиво, покойно. Под председательским столом, свернувшись калачиком, мирно спит Борзя, наш бесконечно добрый, шалавый кобель.

Председатель никак не может разозлиться, вяло у него получается — никакого интереса. Мы клюем носами.

— Дальше: што это за моду взяли — перепелок стегать?! Живодеры... Первое: они всяких личинок уничтожают... Да время же теряете, черти! Пока ты ее догонишь да угодишь бичом — времени-то сколько уходит! Дальше: Ленька-японец наехал, сукин сын, на пенек, порвал пилу. Оглазел?! Скину вот трудодней пятнадцать, будешь вперед смотреть! Ехай счас прямо в кузню — штоб завтра, как только дед Макар проснется, пилу мне склепали.

Ленька-японец радешенек: дома побудет. Везет недомерку! Не нарочно ли на пень-то наехал? Но он хитрый, радости не показывает, а виновато хмурится.

— Дальше: если ишшо кого увижу...

Тут-то нанесло нежданного: на дороге, из-за взгорка,

показались дрожки уполномоченного: мы хорошо знали его жеребца. К нам едет.

Эх, как вскочил тут наш председатель (он ужасно боялся уполномоченного) да как застучал кулаком по столу, как закричал:

— Я давно уж замечаю среди вас контр... контр...

А деревяшкой своей председатель наступил Борзе на хвост; Борзя взвыл блажным голосом. Председателю надо перекричать собаку, он кричит:

— Давно уж я замечаю среди вас контрреволюционные элементы!

Собака воет, крутится под столом; председатель почему-то не может сойти с нее — то ли от волнения, то ли... бог его знает. Добрый Борзя начал кусать деревяшку; мы корчимся от смеха: до того уморительная картина. (Потом, когда мы вспоминали эту историю, Ленька-японец сознался, что у него случилась тогда посикота — написал в штаны от смеха.)

Уполномоченный подъехал. Глядит на нас, ничего не может понять. Председатель быстро пошел навстречу ему. Ошалевший Борзя с визгом вылетел из-под стола, кинулся бежать... Да прямо в ноги райкомовскому жеребцу. Красавец жеребец дико всхрапнул, дал в дыбы — чуть из хомута не вылез. Уполномоченный выскочил из коробка; председатель поскакал было на деревяшке за Борзей, потом вернулся, стал успокаивать жеребца.

Мы все лежали вповал. Мы тоже побаивались уполномоченного, но тут ничего не могли с собой сделать — умирали от смеха.

— В чем дело?! — строго спросил уполномоченный.

— Это... собрание у нас — насчет итогов,— пояснил Иван Алексеич.— С собакой маленько комедия вышла...— И закричал на нас: — Завтра же убрать этого блохастого!..

— Я вижу, что комедия, а не собрание. Может, рано веселиться-то?! — спросил у нас уполномоченный.— Может, наоборот, плакать надо?!

Мы постепенно затихли. Вот теперь, кажется, будет «накачка» настоящая. Но уполномоченный почему-то отменил собрание. Неожиданно добрым голосом сказал:

— Ладно, поработали, посмеялись — идите спать.

Спали мы в доме на нарах. Долго еще не могли успокоиться в тот вечер, вспоминали Борзю, Ивана Алексеича, хохотали в подушки. Иван Алексеич беседовал

у огонька с уполномоченным... Раза два он входил к нам и сердито шипел:

— Вы будете спать? Опять завтра не добудишься!.. Оглоеды. Хоть бы человека постеснялись.

Потом уполномоченный уехал.

Мы один за другим проваливаемся в сон...

Когда я — позже других, последним, наверно,— выхожу до ветра, уже светит луна и где-то близко вскрикивает ночная птица.

Председатель сидит у костра, тихонько звякает ложкой об алюминиевую чашку — хлебает затируху. Протез его отстегнут, лежит рядом... Худая култышка как-то неестественно белеет на траве. Иван Алексеич часто склоняется и дует на нее — видно, до боли натрудил за день, теперь она, горячая, отдыхает.

А вокруг тепло и ясно; кто-то высоко-высоко золотыми гвоздями пришил к небу голубое полотно, и сквозь него сквозит, льется нескончаемым потоком чистый, голубовато-белый, легкий свет.

И все вскрикивает в согре какая-то ночная птица — зовет, что ли, кого?

БЫК

Одно время работал я на табачной плантации, на табачке́, у нас говорили. Поливал табак.

Воду надо было возить из согры.

Как только солнце подымалось, мы запрягали в водовозки быков и весь день возили воду.

Бык у меня был на редкость упрямый и ленивый. Сбруя — веревочная, то и дело рвется. Едешь на взвоз, бык поднатужится — хомут пополам. А бык шагает дальше. А я с бочкой посередь дороги стою. Догоняю быка, заворачиваю, кое-как связываю хомут, запрягаю, и с грехом пополам выезжаем на взвоз. Несколько раз он меня переворачивал с бочкой. Идет, идет по дороге, потом ему почему-то захочется свернуть в сторону. Свернул — бочка набок. Я бил его чем попало. Бил и плакал от злости. Другие ребята по полтора трудодня в день зашибали, я едва трудодень выколачивал с таким быком. Я бил его, а он спокойно стоял и смотрел на меня большими глупыми глазами. Мы ненавидели друг друга.

Один раз — после обеда — надо запрягать, моего

быка нет. Бригадир Петрунька Яриков, косой, маленький мужик, орет на меня:

— Куда же он у тебя девался-то, мать-перемать?! В землю, что ли, провалился?

Я ополека́л все закоулки, все укромные места — нет быка. Ну, думаю, только бы мне найти тебя, змей, я тебе покажу.

Нашел в просе — лежит, отдувается в холодке. Я прямо с разбегу сапогом ему в морду. Как он мэкнет, как вскочит да как даст мне под зад! Я отлетел метра на три и подумал, что я уже мертвый. А он раскорячил ноги, нагнул голову и смотрит на меня. Я тоже смотрю на него... Мне показалось, что мы долго так смотрели друг на друга. Я боялся пошевелиться. Думаю, как с собакой: встанешь, он опять кинется. Потом все-таки потихоньку стал подниматься... Бык стоит. Смотрит. Я поднялся и пошел от него задом. Кое-как доковылял до бригады. Задница огнем горит... Хорошо, еще не рогом попал (они у него широченные, лбом угодил),— сидеть бы мне у него на голове, как снопу на вилах.

Бригадир разозлился на быка, вырвал из телеги железный курок и побежал в просо. Через пять минут, видим, летит наш бригадир, сломя голову, за ним бык. Бежит бригадир и орет:

— Стреляйте в него! Стреляйте, чо вы стоите?! Спорет ведь он меня!..

Забыл с перепугу, что ружья ни у кого нет — у нас их позабирали, как началась война.

Ребятишки и бабы, увидев разъяренного быка,— кто куда, врассыпную. Я лежал на животе возле избушки. Бык протопал мимо,— не обратил внимания. Видно, Петрунька с железным курком насолил ему здорово. Пробежал бык совсем близко, аж земля задрожала. У меня сердце в пятки ушло.

Петрунька туда — бык за ним. Петрунька сюда — бык за ним, гоняет его по ограде. Загнал в угол. Петрунька, как птица, взлетел на плетень — и на ту сторону. Бык, не останавливаясь, с ходу саданул рогами в плетень, вырвал его с кольями и пронес, и сбросил. Тогда только остановился. Ему накинули волосяную петлю на шею, стянули, измучили, потом продели веревку в кольцо и привязали к столбу.

По давней традиции (она как ни странно сохранялась и в войну) после того, как табак уберут с плантации,

высушат и свезут в город на табачную фабрику, бригада гуляет. Валили какую-нибудь скотину, варили, жарили... Привозили из деревни самогонку — и начиналось.

На этот раз забили моего быка. Трое мужиков взяли его и повели на чистую травку — неподалеку от избушки. Бык покорно шел за ними. А они несли кувалду, ножи, стираную холстину... Я убежал из бригады, чтобы не услышать, как он заревет. И все-таки я услышал, как он взревел — негромко, глухо, коротко, как вроде сказал «ой!». К горлу мне подступил горький комок; я вцепился руками в траву, стиснул зубы и зажмурился. Я видел его глаза... В тот момент, когда он, раскорячив ноги, стоял и смотрел на меня, повергнутого на землю,— пожалел он меня тогда, пожалел.

Мяса я не ел — не мог. И было обидно, что не могу как следует наесться,— такой «рубон» не часто бывает.

САМОЛЕТ

Мы, четверо пацанов,— Шуя, Жаренок, Ленька и я — шагаем с сундучками в гору. Поступаем в автомобильный техникум. Через три с половиной года будем техниками-механиками по ремонту и эксплуатации автотранспорта. Техникум — в городе, точнее, за городом, километрах в семи, в бывшем монастыре. Идти надо обрывистым правым берегом широкой реки. Это мой второй приезд в этот город. Душа потихоньку болит — тревожно, охота домой. Однако надо выходить в люди. Не знал я тогда, что навсегда ухожу из родного села. То есть буду еще приезжать потом, но — так, отдышаться... Вот уж не знал!

Городские ребята не любили нас, деревенских, смеялись над нами, презирали. Называли «чертями» и «рогалями». Что такое «рогаль», я по сей день не знаю и как-то лень узнавать. Наверно, тот же черт рогатый. В четырнадцать лет презрение очень больно и ясно сознаешь, и уже чувствуешь в себе кое-какую силенку — она порождает неодолимое желание мстить. Потом, когда освоились, мы обижать себя не давали. Помню, Шуя, крепыш парень, подсадистый и хлесткий, закатал в лоб одному городскому журавлю, и тот летел — только что не курлыкал. Жаренок в страшную минуту, когда надо было решиться, решился — схватил нож... Тот, кто стоял

против него — тоже с ножом,— очень удивился. И это-то — что он только удивился — толкнуло меня к нему с голыми кулаками. Надо было защищаться — мы защищались. Иногда — так вот — безрассудно, иногда с изобретательностью поразительной.

Но это было потом. Тогда мы шли с сундучками в гору, и с нами вместе — налегке — городские. Они тоже шли поступать. Наши сундучки не давали им покоя.

— Чяво там, Ваня? Сальса шматок, да мядку туясок?

— Сейчас раскошелитесь, черти! Все вытряхнем!

— Гроши-то куда запрятали?.. Куркули, в рот вам пароход!..

Откуда она бралась, эта злость,— такая осмысленная, не четырнадцатилетняя, обидная? Что, они не знали, что в деревне голодно? У них тут хоть карточки какие-то, о них думают, там — ничего, как хочешь, так выживай. Мы молчали, изумленные, подавленные столь открытой враждебностью. Проклятый сундучок, в котором не было ни «мядку», ни «сальса», обжигал руку — так бы пустил его вниз с горы.

А на горе, когда поднялись, на ровном открытом месте стоял... самолет. Да так близко! Там был аэродром. И так он нежданно открылся, этот самолетик, так близко стоял, и никого рядом не было — можно было подойти и потрогать... Раньше нам приходилось — редко — видеть самолет в небе. Когда он летел над селом, выскакивали из всех домов, шумели: «Где?.. Где он?» Ах ты, господи!.. Я так и ахнул. Да все мы слегка ошалели. И городские — тоже. Что уж, так каждый день видели они их, самолеты? Но они скоро взяли себя в руки, притворяшки.

— Кукурузник, сука.

— Сидит... Горючего, наверно, нет...

И пошли, не глядя больше на самолет.

Мы пошли за ними и тоже старались не смотреть на самолет: нельзя было показать, что мы — действительно такая уж совсем непролазная «деревня». А ничего же ведь не случилось бы, если бы мы маленько постояли, посмотрели. Но мы шли и не оглядывались. Когда я не выдержал и все-таки оглянулся, меня кто-то из наших крепко дернул за рукав.

Он мне, этот самолет, снился потом. Много раз после приходилось ходить горой, мимо аэродрома, но самолета

там не было — он летал. И теперь он стоит у меня в глазах — большой, легкий, красивый... Двукрылый красавец из далекой-далекой сказки.

● КАК ЗАЙКА ЛЕТАЛ НА ВОЗДУШНЫХ ШАРИКАХ

Маленькая девочка, ее звали Верочка, тяжело заболела. Папа ее, Федор Кузьмич, мужчина в годах, лишился сна и покоя. Это был его поздний ребенок, последний теперь, он без памяти любил девочку. Такая была игрунья, все играла с папой, с рук не слезала, когда он бывал дома, теребила его волосы, хотела надеть на свой носик-кнопку папины очки... И вот — заболела. Друзья Федора Кузьмича — у него были влиятельные друзья,— видя его горе, нагнали к нему домой докторов... Но там и один участковый все понимал: воспаление легких, лечение одно — уколы. И такую махонькую — кололи и кололи. Когда приходила медсестра, Федор Кузьмич уходил куда-нибудь из квартиры, на лестничную площадку, да еще спускался этажа на два вниз по лестнице, и там пережидал. Курил. Потом приходил, когда девочка уже не плакала, лежала — слабенькая, горячая... Смотрела на него. У Федора все каменело в груди. Он бы и плакал, если б умел, если бы вышли слезы. Но они стояли где-то в горле, не выходили. От беспомощности и горя он тяжко обидел жену, мать девочки: упрекнул, что та недосмотрела за дитем. «Тряпками больше занята, а не ребенком,— сказал он ей на кухне, как камни-валуны на стол бросил.— Все шкафы свои набивают, торопятся». Жена — в слезы... И теперь, если и не ругались,— нелегко было бы теперь ругаться,— то и помощи и утешения не искали друг у друга, страдали каждый в одиночку.

Врач приходил каждый день. И вот он сказал, что наступил тот самый момент, когда... Ну, словом, все маленькие силы девочки восстали на болезнь, и если бы как-нибудь ей еще и помочь, поднять бы как-нибудь ее дух, устремить ее волю к какой-нибудь радостной цели впереди, она бы скорей поправилась. Нет, она и так поправится, но еще лучше, если она, пусть бессознательно, но очень-очень захочет сама скорей выздороветь.

Федор Кузьмич присел перед кроваткой дочери.

— Доченька, чего бы ты вот так хотела бы?.. Ну-ка, подумай. Я все-все сделаю. Сам не смогу, попрошу волшебника, у меня есть знакомый волшебник, он все может. Хочешь, я наряжу тебе елочку? Помнишь, какая у нас была славная елочка? С огоньками!..

Девочкина ручка шевельнулась на одеяле, она повернула ее ладошкой кверху, горсткой,— так она делала, когда справедливо возражала.

— Еечке зе зимой бывает-то.

— Да, да,— поспешно закивал седеющей головой папа.— Я забыл. А хошь, сходим с тобой, когда ты поправишься, мульти-пульти посмотрим? Много-много!..

— Мне незя много,— сказала умная Верочка.— Папа,— вдруг даже приподнялась она на подушке,— а дядя Игой казочку ясказывай — п'о зайку... Ох, хоесенькая!..

— Так, так,— радостно всполошился Федор Кузьмич.— Дядя Егор тебе сказочку рассказывал? Про зайку?

Верочка закивала головой, у нее даже глазки живо заблестели.

— П'о зайку...

— Тебе охота бы послушать?

— Как он етай на саиках...

— Как он летал на шариках? На каких шариках?

— Ну, на саиках!.. Дядя Игой пиедет?

— Дядя Егор? Да нет, дядя Егор далеко живет, в другом городе... Ну-ка, давай, может, мы сами вспомним: на каких шариках зайка летал? На воздушных? Катался?

— Да не-ет! — У Верочки в глазах показались слезы.— Вот какой-то... Ветей подуй, он высоко-высоко поетей! Пусть дядя Игой пиедет.

— Дядя Егор-то? Он далеко живет, доченька. Ему надо на поезде ехать... На поезде: ту-ту-у! Или на самолете лететь...

— А ты яскажи?

— Про зайку-то? А ты мне маленько подскажи, я, может, вспомню, как он летал на шариках. Он что, надул их и полетел?

Девочка в досаде большой сдвинула бровки, зажмурилась и отвернулась к стене. Отец видел, как большая слеза выкатилась из уголка ее глаза, росинкой ясной перекатилась через переносье и упала на подушку.

— Доча,— взмолился отец.— Я счас узнаю, не плачь.



Счас... мама, наверно, помнит, как он летал на шариках. Счас, доченька... Ладно? Счас я тебе расскажу.

Федор Кузьмич чуть не бегом побежал к жене на кухню. Когда вбежал туда, такой, жена даже испугалась.

— Что?

— Да нет, ничего... Ты не помнишь, как зайка летал на воздушных шариках?

— На шариках? — не поняла жена.— Какой зайка?
Федор Кузьмич опять рассердился.
— Француз-зайка, с рогами!.. Зайка! Сказку такую Егор ей рассказывал. Не слышала?
Жена обиделась, заплакала. Федор Кузьмич опомнился, обнял жену, вытер ладошкой ее слезы.
— Ладно, ладно...
— Прямо, как преступница сижу здесь...— выговаривала жена.— Что ни слово, то попрек. Один ты, что ли, переживаешь?
— Ладно, ладно,— говорил Федор.— Ну, прости, не со зла... Голову потерял — ничего не могу придумать.
— Какую сказку-то?
— Про зайку какого-то... Как он летал на воздушных шариках. Егор рассказывал... Э-э! — вдруг спохватился Федор.— А я счас позвоню Егору! Пойду и позвоню с почты.
— Да зачем с почты? Из дома можно.
— Да из дома-то... пока их допросишься из дома-то... Счас я сбегаю.
И Федор Кузьмич пошел на почту. И пока шел, ему пришла в голову совсем такая мысль — вызвать Егора сюда. Приедет, расскажет ей кучу сказок, он мастак на такие дела. Ясно, что он выдумал про этого зайку. И еще навыдумывает всяких... Сегодня четверг, завтра крайний день, отпросится на денек, а в воскресенье вечером улетит. Два с небольшим часа на самолете... Еще так думал Федор: это будет для нее, для девочки, неожиданно и радостно, когда приедет сам «дядя Игой» — она его полюбила, полюбила его сказки, замирала вся, когда слушала.
Не так сразу Федор Кузьмич дозвонился до брата, но все же дозвонился. К счастью, Егор был дома — пришел пообедать. Значит, не надо долго рассказывать и объяснять его жене, что вот — заболела дочка... и так далее.
— Егор! — кричал в трубку Федор.— Я тебя в воскресенье посажу в самолет, и ты улетишь. Все будет в порядке! Ну, хошь, я потом напишу твоему начальнику!..
— Да нет! — тоже кричал оттуда Егор.— Не в этом дело! Мы тут на дачу собрались...
— Ну, Егор, ну отложи дачу, елки зеленые! Я прошу тебя... У нее как раз переломный момент, понимаешь? Она аж заплакала давеча...
— Да я-то рад душой... Слышишь меня?

— Ну, ну.

— Я-то рад бы душой, но...— Егор что-то замялся там, замолчал.

— Егор! Егор! — кричал Федор.

— Погоди,— откликнулся Егор,— решаем тут с женой...

«Э-э! — догадался Федор.— Жена там поперек стала».

— Егор! А Егор! — дозвался он.— Дай-ка трубку жене, я поговорю с ней.

— Здравствуйте, Федор Кузьмич! — донесся далекий вежливый голосок.— Что, у вас доченька заболела?

— Заболела. Валентина...— Федор забыл вдруг, как ее отчество. Знал, и забыл. И переладился на ходу: — Валя, отпусти, пожалуйста, мужа, пусть приедет — на два дня! Всего на два дня! Валенька, я в долгу не останусь, я...— Федор сгоряча не мог сразу придумать, что бы такое посулить.— Я тоже когда-нибудь выручу!

— Да нет, я ничего... Мы, правда, на дачу собрались. Знаете, зиму стояла без присмотра — хотели там...

— Валя, прошу тебя, милая! Долго счас объяснять, но очень нужно. Очень! Валя! Валь!..

— Да, Федор. Я это,— отозвался Егор.— Ладно. Слышь? Ладно, мол, вылечу. Сегодня.

— Ох, Егор...— Федор помолчал.— Ну, спасибо. Жду.

А у Егора, когда он положил трубку, произошел такой разговор с женой.

— Господи! — сказала жена Валя.— Все бросай и вылетай девочке сказку рассказывай.

— Ну болеет ребенок...

— А то дети не болеют! Как это — чтобы ребенок вырос и не болел.

Егору и самому в диковинку было — лететь чуть не за полторы тысячи километров... рассказывать сказки. Но он вспомнил, какой жалкий был у брата голос, у него слезы слышались в голосе — нет, видно, надо. Может, больше надо самому Федору, чем девочке.

— Первый раз собрались съездить...— капала жена Валя.— Большаковы вон ездили, говорят, у них крыша протекла. А у нас крыша-то хуже ихней...

— Ну так бы и сказала ему! — вскипел Егор.— Чего ты ему так не сказала?! Чего ты... Уже ж посулился, нет, давай душу теперь травить!

— Ладно, не ори — душу ему растравили. Что я, голоса лишенная,— свое мнение высказать?

— Да чего ты ему-то не высказала? Высказала бы ему. А то... туда же, посочувствовала: «У вас доченька заболела?» — Не злой был человек Егор, но передразнивать умел так до обидного похоже, так у него это талантливо выходило, что люди нервничали и обижались. Тем и оборонялся Егор в жизни. Потому, наверно, и сказки-то мастер был рассказывать: передразнивал всех зверей, злых и добрых, а особенно смешно передразнивал вредную бабу-ягу.

— Ехай, ехай! — махнула рукой жена Валя.— Ехай, ублажай там, если больше делать нечего. Какие ведь господа живут!..

— А случалось, что эти господа и тебе помогали! — Егор с укоризной посмотрел на жену.— Забыла?

Жена Валя ушла в другую комнату, сердито хлопнув дверью. Нет, не забыла! Федор Кузьмич устроил ее дочь в институт. Как тут забудешь! Но и расстроилась она очень, и не показать этого она тоже не могла.

Егор также расстроился. Так сложились их отношения с женой, давно уж и незаметно как-то сложились, что главными в доме были — дела жены. Егор покорился этому, ибо сам не умел ни достать ничего, ни устроить путевки в дом отдыха, ни объясниться с учителями в школе... Умел только работать. Но ведь... что же? Кони тоже умеют работать. От работы одной толку мало, это Егор также давно понял и потому смирился. Иногда, правда, бунтовал, но слабо и нерешительно: вскипит, посверкает глазом да досыта наматерится в душе, и все. Так-то лучше не бунтовать вовсе, не протестовать, а то эти протесты больше только разжигают хозяйскую похоть людей крепких.

Егор еще немного сердито поторчал в комнате, взял из комода сорок рублей и ушел. «Хорошо, что не надо чемодан брать... Гостинцев бы захватить? Но... ладно: раз уж так все — с тормозами, какие уж тут гостинцы. Ладно, хоть сам поехал»,— думал Егор. Маленькую Верочку стало вдруг очень жалко. Сперва — впопыхах — не совсем понял, сколь нужна, важна эта поездка, а теперь, когда поехал, понял до конца: глупо было и раздумывать. А вдруг да... Но эту мысль Егор прогнал из головы, не стал даже додумывать. Позвонил из автомата начальнику цеха (Егор был мастер-краснодеревщик, на

работе его ценили), и тот беспрекословно отпустил его: знал, что Егор наверстает эти полтора рабочих дня, и даже больше.

В аэропорту, в кассе, Егору сказали, что билетов в Н-ск нету.

— Ну, может, один как-нибудь...— робко попросил он.

— Что значит «один как-нибудь»? Нет билетов,— повторили в окошечке строго.

Егор постоял, посмотрел на женщину за стеклом... И еще раз сунулся к ней:

— Мне очень нужно, девушка... А? Там это... ребенок...

— Гражданин, я же вам сказала: нет билетов. Неужели непонятно? Один ему как-нибудь...

— Да понятно-то понятно...— Егору захотелось передразнить женщину в окошечке, он бы сумел это сделать... «Э-э! — вдруг вспомнил он.— А этот-то, кому стеллажи-то делал... он же говорил: что будет нужно, обращайтесь ко мне». К счастью, Егор записал телефон того могучего товарища. Поискал в книжечке... Нашел!

Долго, подробно мусолил в трубку про маленькую племянницу, про брата, про сказки...

— Куда билет-то нужен? — вышел из терпения могучий товарищ.

— В Н-ск.

— Сразу и надо было сказать. На сегодня? Один?

— Один. На сегодня. Я уже здесь... понимаете? Я здесь, в аэропорту, а билетов, говорят, нету. Я думаю: да неужели так ни одного билета и нету? Не может же быть, думаю, такого...

— Перезвоните минут через десять,— опять прервал уверенный басок.

Егор понял, что улетит сегодня.

Походил по вокзалу, подождал минут пятнадцать и позвонил.

— Подойдите к кассе номер три и возьмите билет,— сказал басок.

— Вот спасибо-то! — кинулся Егор с благодарностями.— А то я уже стал сомневаться... А брат чуть не со слезами просит. У него, понимаете, это второй брак, ребеночек последний, он поэтому так переживает. Я ее

тоже люблю, девочку-то, такая смышленая, все сказками интересуется...

— Ну, до свиданья,— сказали на том конце.— Счастливо долететь.

— До свиданья,— сказал Егор.

Касса номер три — это не та, куда он подходил. Если бы была та, Егор сказал бы той женщине, в окошечке... Сказал бы: «Значит, все же нашелся один билет? Эх, вы... Как же так получается, уважаемая? А сидишь — строгую из себя изображаешь, справедливую. «Вам же сказали: нет билетов!» А один звонок — и билет, оказывается, есть. Значит, так надо и говорить: «Для вас — нету». А вид-то, вид-то — не подступись! А такой же — нуль, только в пилотке». Ну, может, не так бы едко сказал... А может, и не сказал бы вовсе: правда что — нуль, чего и говорить.

...В Н-ск Егор прибыл под утро, часов в пять. А в шесть был уже у брата.

Позвонил... Открыла хозяйка, Надежда Семеновна.

— О-о! — удивилась она.— Так рано?

— С билетом удачно вышло,— радостно сказал Егор.— Прямо сразу улетел... Как Верочка-то?

— Лучше. Она еще спит. Вы потише, пожалуйста...

— Конечно! — тихо воскликнул Егор.— А Федор-то дома?

— Дома.

— Ну, мы на кухне пока посидим... Пусть он на кухню придет.

Федор пришел на кухню в халате и в шлепанцах. Сонный, большой и нелепый в этом халате, Егору даже смешно стало.

— Ты прямо как поп в ем,— сказал он, здороваясь.

Брат Федор покривил в ухмылке губы.

— Как долетел?

— Хорошо!

— А чего там жена-то? Возражала, что ли?

— Да на дачу собрались... Да ну ее!

— Что это она у тебя, командовать-то любит?

— Та-а... Чего об этом? Как Верочка-то?

— Перелом наступил. Поправится. Трухнул я тут...

— Да я уж понял.

— Давай чего-нибудь? Чаю? Или кофе? А может, что... с дороги-то?..— Смешной Федор начал соваться по шкафам.— Счас мы изобретем... Во, коньяк! Будешь?

— Давай.— Егор с интересом наблюдал за старшим братом. Раза три Федор был у Егора — не то что в гостях — проездом: всех поразил своей деловитостью, этаким волевым напором, избытком сил. «Да,— подумали в провинции,— эта птица может больно клюнуть».— Давай, братка, давай. Смешной ты какой-то,— не удержался и сказал Егор.— Нормальный человек... никакой не деятель.

— Ну! — недовольно молвил Федор.— Чего тут смешного-то? Халат, что ли, никогда не видал? Удобная штука, кстати.

— Да не халат... Ну, давай — со встречей. И чтоб Верочка скорей поправилась.

Братья выпили из маленьких, но каких-то очень тяжеленьких рюмочек... Помолчали.

— Как живешь-то? — спросил Федор.

— Да как...— Егор потянулся к пепельнице и рукавом пиджака свалил хрустальную рюмочку-патрон. Рюмочка пискнулась звонким краешком в гладкий стол и раскололась.— Ах ты, господи! — испугался Егор. И глянул на брата. Тот усмехнулся, прихватил осторожно пальцами рюмочку и отскочивший ее краешек и бросил в мусорную корзинку.

— Видно, с детства живет этот страх в человеке,— сказал Федор.— Вот, знаешь, Верочку же никто никогда не ругал за посуду, а один раз выронила блюдце, да так испугалась!.. Я же ее и успокаивать кинулся: ерунда, мол, чего ты так испугалась-то! Куклу уронит — ничего, а посуду... Есть, наверно, какой-то закон здесь. А?

— Наверно. Рюмка-то дорогая, черт тя возьми,— с сожалением сказал Егор.— Хрустальная.

— Да брось! — недовольно уже сказал Федор.— Хрустальная... Все равно это — вещь, и должна служить человеку. Ну, и отслужила свой век, туда ей и дорога.

Братья, пожалуй, смутно догадывались, что говорить им как-то не о чем. В прошлый приезд другое дело: дочь Егора, Нина, сдавала вступительные экзамены, начала сдавать сразу неважно, должен был вмешаться Федор... Все разговоры крутились вокруг экзаменов, института. Егор жил у Федора, очень переживал за дочь, но особенно не высовывался с советами, все надежды свалил на брата и только со страхом ждал, когда наконец закончатся эти проклятые вступительные экзамены. Тогда-то

он и подружился с маленькой Верочкой и вечерами выдумывал ей всякие сказки. Тогда все как-то проще было.

— Как Нина-то? — вспомнил и Федор про Нину; может, тоже подумал, что, когда Нина устраивалась в институт, было хлопотно, но разговоры случались сами собой, не надо было выдумывать, о чем говорить.

— Работает в библиотеке. Я говорю: отдохни ты лучше, покупайся вон — успеешь еще, наработаешься! Нет, лучше глянется работать. Практика, говорит, мне будет.

— Ну и пусть работает — полезней. Накупаться тоже еще успеет. Сейчас надо этот главный рубеж взять — окончить институт.

— Да ведь устают, поди, от учебы-то! Неуж не устают?

— Да ничего страшного нет в учебе! — напористо и поучительно сказал Федор.— Что за дикость — учебы страшиться. Уж нашему ли народу не учиться — давно и давно пора. Нет, помню, бабка Фекла: «Федька, не дочитывай до конца книгу — спятишь!» Вот же понимание-то! Да почему? Черт его в душу знает, откуда этот панический страх перед книгой? Нам-то как раз и не хватает этой книги... И вот извольте: не дочитывай до конца, а то с ума сойдешь.

— А что, были же случаи...

— Да от книг, что ли?

— От книг! Парень вон у Гилевых... Игнаху-то Гилева помнишь? Вот сын его, Витька,— зачитался: тихое помешательство.

— С чего вы решили, что от книг-то?

— Читал день и ночь...

— Ну и что?

— Как же?.. Зачитался.

Федор хмыкнул с досадой, но пока не стал говорить, достал другой хрустальный патрончик, плеснул в него коньяку. И себе тоже плеснул.

— Давай. С ума они, видите ли, сходят от чтения... Ты много за свою жизнь книг прочитал?

— Я не пример.

— А кто пример? Ну, я вот: прочитал уйму книг — жив-здоров, чувствую, что мало еще прочитал, надо бы раза в три больше.

— Куда тебе больше-то? — удивился Егор.— Чего не хватает-то? Всего же вдосталь...

— Знаний не хватает! — сердито сказал Федор.— Вот чего. Вот они приходят счас, молодые, на смену — и поджимают. Да как поджимают! Сколько-то еще продержимся, а дальше — извини-подвинься: надо уступать. С жизнью, брат, не поспоришь.

— Не знаю...— сказал Егор.— Меня, например, никто не поджимает.

— Да тебя-то! Твое дело... не обижайся, конечно, но дело твое каждый сумеет делать. Ну, не каждый — через одного. Есть вещи сложнее...

— Ну, и надо уступать,— тоже чего-то рассердился Егор, наверно, за профессию свою обиделся.— А то и правда-то: смотришь, сидит — пень пнем, только орать умеет.

— Не торопи-ись,— с дрожью в голосе протянул Федор.— Больно прыткие! Есть еще такие понятия, как — опыт. Старшинство ума. Дачи увидели! Машины увидели!.. А не видите, как ночами приходится ворочаться от... Ты в субботу-то купаться пошел, а я сижу в кабинете, звонка жду: то ли он позвонит, то ли не позвонит. А и позвонит, да что скажет? Это ведь легче всего: в чужом кармане деньги считать. Их заработать труднее...

— Я не считаю твои деньги. Что ты?

— Я не про тебя. Есть... любители. Сам еще ночного горшка не выдумал, сопляк, а уже с претензиями. Не-ет, подожди, пусть сперва материно молоко на губах обсохнет, потом я выслушаю твои претензии. Свистуны. Мне что, на блюдечке все это поднесли? — Федор неопределенно покачал головой: то ли он имел в виду эту большую богатую квартиру, то ли адресовался дальше — дачу с машиной и с гаражом подразумевал, то ли, наконец, показал на шифоньер, где висел его черный костюм с орденами.— Тут уж я самому господу богу могу прямо в глаза смотреть: все добыто трудом. Вот так. Сам от работы никогда не бегал, но и другим...— Федор чуть сжал хрустальную рюмочку, и она вся спряталась в его огромном кулаке. Нет, крепок был еще Федор Максимов, не скоро подвинется и даст место другому.— Подняли страну на дыбы? — выходи вперед, не бегай по кустам.— Федор, наверно, чуть-чуть захмелел, а может, высказывал наболевшее, благо подвернулся брат родной — должен понять.— Вот так надергаешься за день-то, наорешься, как ты говоришь,— без этого, к сожалению, тоже не обойдешься,— а ночью лежишь и думаешь: «Да

пошли вы все к чертям собачьим! Есть у меня Родина, вот перед ней я и ответчик: так я живу или не так».

— Кто тебе говорит, что ты не так живешь? — сказал сочувственно Егор.— Что ты? Наоборот, я всегда рад за тебя, всегда думаю: «Молодец Федор, хоть один из родни в большие люди выбился».

— Дело не «в больших людях». Не такой уж я большой... Просто, делаю свое дело, стараюсь хорошо делать. Но нет!..— пристукнул Федор ребром ладони по столу, и даже не спохватился, что шумит,— найдутся... некоторые, будут совать в нос свое... Будут намекать, что крестьянский выходец не в состоянии охватить разумом перспективу развития страны, что крестьянин всегда будет мыслить своим наделом, пашней... Вот еще как рассуждают, Егор! — Федор посмотрел на брата, стараясь взглядом еще донести всю глупость и горечь такого рода рассуждений.— Вот еще с какой стороны приходится отбиваться. А кто ее строил во веки веков? Не крестьянин?

— У тебя неприятности, что ли? — спросил Егор.

— Неприятности...— Федор вроде как вслушался в само это слово. Еще раз сказал в раздумье: — Неприятности.— И вдруг спросил сам себя: — А были они, приятности-то? — И сам же поспешно ответил: — Были, конечно. Да нет, ничего. Так я... Устал за эти дни, изнервничался. Есть, конечно, и неприятности, без этого не проживешь. Ничего! Все хорошо.

А Егору чего-то вдруг так сделалось жалко брата, так жалко! И лицом и повадками Федор походил на отца. Тот тоже был труженик вечный и тоже так же бодрился, когда приходилось худо. Вспомнил Егор, как в 33-м году, в голодуху, отец принес откуда-то пригоршни три пшеницы немолотой, шумно так заявился: «Живем, ребятишки!» Мать сварила жито, а он есть отказался, да тоже весело, бодро: «Вы ешьте, а я уж налупился дорогой — сырой! Аж брюхо пучит». А сам хотел, чтоб ребятишкам больше досталось. Так и Федор теперь... Хорохорится, а самому худо чего-то, это видно. Но как его утешишь — сам все понимает, сам вон какой...

— Да,— сказал Егор.— Ну, и ладно. Ничего, братка, ничего. Дыши носом.

— Что за сказку ты ей рассказывал? — спросил Федор.— Про зайку-то... Как он летал на воздушных шариках.

Егор задумался. Долго вспоминал... Даже на лице его, крупном, добром, отразилось, как он хочет вспомнить. И вспомнил, аж просиял.

— Про зайку-то?! А вот: пошел раз зайка на базар с отцом. И увидел там воздушные шарики — мно-ого! Да все разноцветные: красные, синие, зеленые...— Егор весело смотрел на брата, а рассказывал так, как если бы он рассказывал самой Верочке — не убавлял озорной сказочной тайны, а всячески разукрашивал ее и отодвигал дальше.— Вот. И привязался он к отцу, зайка-то: купи да купи. Отец и купил. Ну, купил и сам же и держит их в руке. А тут увидел: морковку продают! «На-ка, говорит, подержи шарики, я очередь пока займу». Зайка-то, маленький-то, взял их... И надо же — дунул как раз ветер, и зайчишку нашего подняло. И понесло, и понесло! Выше облаков залетел...

Федор с интересом слушал сказку, раза два даже носом шмыгнул в забывчивости.

— Как тут быть? — спросил Егор брата. Тот не понял.

— Чего как быть?

— Как выручать зайку-то?

— Ну... спасай уж как-нибудь,— усмехнулся Федор.— На вертолете, что ли?

— На вертолете нельзя: от винтов струя сильная, все шары раскидает...

— Ну, а как?

— Вот все смотрят вверх и думают: как? А зайка кричит там, бедный, ножками болтает. Отец тут с ума сходит... И вдруг одна маленькая девочка, Верочка, допустим, кричит: «Я удумала!» Это у меня Нина, когда маленькая была, говорила: «Я удумала». Надо — я придумала, а она: «Я удумала». Вот Верочка и кричит: «Я удумала!» Побежала в лес, созвала всех пташек — она знала такое одно словечко: скажет, и все зверушки, все пташки ее слушаются — вот, значит, созвала она птичек и говорит: «Летите, говорит, к зайке и проклевывайте клювиками его шарики, по одному. Все сразу не надо, он упадет. По одному шарику прокалывайте, и зайка станет опускаться. Вот. Так и выручили зайку из беды.

Федор качнул головой, усмехнулся, потянулся к сигаретам. А чтоб не кокнуть еще одну дорогую рюмочку, прихватил другой рукой широкий рукав халата.

— Довольно это... современная сказочка. Я думал, ты

про каких-нибудь волшебников там, про серого волка...

— Нет, я им нарочно такие — чтоб заранее к жизни привыкали. Пускай знают побольше. А то эти волшебники да царевны... Счас какая-то и жизнь-то не такая. Тут такие есть волшебники, что...

— Да, тут есть волшебники... Целые змеи-горынычи! — засмеялся Федор.

— Не говоря уж про бабу-ягу: что ни бабочка, то баба-яга. Мы твою-то не разбудим? Громко-то...

— Бабу-ягу-то? — хохотнул опять Федор.— Ничего. У меня, Егор, даже не баба-яга,— сбавил он в голосе,— у меня нормальная тряпошница, мещанка. Но так мне, седому дураку, и надо! Знаешь...— Федор заикнулся было про какую-то свою тайну тоже, но безнадежно махнул рукой и не стал говорить.— Ладно, чего там.

Егора опять поразило, как не похож этот Федор на того, напористого, властного, каким он бывал на людях, на своих стройках...

— Что-то все же томит тебя, братец,— сказал Егор.— Давай уж... может, и помогу каким словом.

— Да ничего,— смутился Федор. И чтоб скрыть смущение, потянулся опять к сигаретам.— Я и так что-то сегодня... Размяк что-то с тобой. Все нормально, Егорша. Все хорошо.— Помолчал, глядя в стол, потом тряхнул сивой головой, с усталой улыбкой посмотрел на брата, еще раз сказал: — Все хорошо. Хорошо, что приехал... Правда. Я, знаешь, что-то часто стал отца-покойника во сне видеть. То мы с ним косим, то будто на мельнице... Старею, что ли. Старею, конечно, что же делаю. Коней еще часто вижу... Я любил коней.

— Стареем,— согласился Егор.

— Давай-ка... за память светлую наших родителей.— Федор наполнил два хрустальных патрончика коньяком.— Мы ведь тоже уже... завершаем свой круг... А? — Федор, словно пораженный этой мыслью, такой простой, такой понятной, так и остался сидеть некоторое время с рюмкой в руке — смотрел сперва на брата, потом опять в стол, в стол смотрел пристально, даже как будто сердито. Очнулся, качнул рюмочку, приглашая брата, выпил.— Да,— сказал,— разворотил ты мне душу... А чем, не пойму. Наверно, правда, устал за эти дни. Думал, никакая меня беда не согнет, а вот... Ну, ничего. Ничего, вообще-то, не жаль! — встряхнулся он и сверкнул из-под нависших бровей своим неломким прямым взглядом.—

Жалко дочь малую. Но... подпояшемся потуже и будем жить. Так? — спросил брата, спросил, как спрашивал многих других днем, на работе, на стройках своих — спросил, чтоб не слушать ответа, ибо все ясно.— Так, Егорша, так. Ложись-ка сосни часок-другой, а там и Верунька проснется. А я посижу пока тут с бумажками... покумекаю. Да,— вспомнил он,— подскажи мне, чего бы такое жене твоей купить? Подарок какой-нибудь...

— Брось! — сердито воскликнул Егор.

— Чего брось? Мне счас будет звонить один... волшебник один...— Федор искренне, от души засмеялся...— Вот волшебник так волшебник! Всем волшебникам волшебник, у него там всего есть... Чего бы? Говори.

— Да брось ты! — еще раз с сердцем сказал Егор.— Что за глупость такая — подарки какие-то! К чему?

Федор с улыбкой посмотрел на брата, кивнул согласно головой.

— Ладно. Иди поспи. Там постель тебе приготовлена... Иди.

Егор тихонько прокрался в одну из комнат, разделся, присел на край дивана, который был застелен свежими простынями... Посидел. Огляделся... Посмотрел на окно — форточка открыта. Достал из кармана папиросы, закурил. Курил и стряхивал пепелок в ладошку. Спать не хотелось.

Вошел в комнату Федор.

— Слушай,— сказал он,— у меня чего-то серьезно душа затревожилась — наговорил тут тебе всякой всячины... Подумаешь бог знает что. А? — Федор улыбнулся. Присел рядом на диван. И даже по спине братца хлопнул весело.— У меня все хорошо. Все хорошо, я тебе говорю! Чего смотришь-то так?

— Как? Ничего. Я ничего не думаю. Что ты?

— Да смотришь как-то... вроде жалеешь.

— Ну, парень! — воскликнул Егор.— Ты что?

— Ну, тогда ладно. Поспи, поспи маленько, а то ведь не спал небось в самолете-то? Поспи.

— Ладно,— сказал Егор.— Посплю. Покурю вот и лягу.

— Мгм.— Федор ушел.

Егор осторожненько стряхнул пепел в ладошку, склонился опять локтями на колени и опять задумался. Спать не хотелось.

● ПИСЬМО

Старухе Кандауровой приснился сон. Молится будто бы она богу, усердно молится, а — пустому углу: иконы-то в углу нет. И вот молится она, а сама думает: «Да где же у меня бог-то?» Проснулась в страхе, до утра больше не заснула, обдумывала сон. Страшный сон. К чему?.. Не с дочерью ли чего? Дочь старухина, младшая, жила в городе, работала в хорошем месте, продавцом. Она славная, дочь, всей родне слала посылки, кофточки импортные, шали, даже машины стиральные. Не за так, конечно, деньги ей, конечно, высылали, но... Иди нынче допросись и за деньги-то купить: все некогда им, вечно они там заняты. А эта находила время... Нет, она хорошая, Катерина, только с мужем неважно живут. Черт его знает, что за мужик попался: приедет — молчит целыми днями... Костлявый какой-то. Все думает чего-то, газетами без конца шуршит, зевает. Ни поговорить, ни пошутить... Как лесина сухая. Дочь жаловалась на него матери.

Утром старуха собралась и пошла к Ильичихе. Ильичиха разгадывала сны.

— И-и, матушка,— запела богомольная Ильичиха,— дак, а у тя иконка-то есть ли?

— Есть. Она, правда, в шифонере...

— Вы-ынь, вынь, матушка, грех. Чего же ее впотьмах держать? Вынь да повесь, куда положено. Как же ты так?..

— Да жду своих. Катьку-то,— сулились... А зять-то партейный, нуко да коситься начнет.

— Плюнь! Кому како дело? Нонче нет такого закону...

— Да закону-то нет, а... И так-то живут неважно, а тут я ишо...

— Не гневи бога, Кузьмовна, не гневи. Кому како дело? У меня их вон сколь висит, кому како дело?! А ты ее в шифонер запятила! Бесстыдница.

— Да не ездит никто, оно и дела никому нет,— с сердцем сказала Кузьмовна.— Не все так-то живут. Ко мне люди ездиют, я не одинокая.

— Знамо, татаркой-то не живу,— обиделась Ильичиха.— К ей люди ездиют!.. Гляди-ко, наездили: раз в год приедут, так она из-за этого икону в шкап запятила! Ни стыда, ни совести у людей.

— Ты не кричи, чего ты рот-то разинула? Чего ты всех созываешь-то? Припадошная. Кто тебе виноватый, что не рожала? А теперь зло берет. Надо было рожать.

— Да вы вон нарожали их, а толку-то?

— Как это «толку»? Вот те раз! Да у меня же смысел был, я их ростила да учила старалась... А ты-то зачем жила? Прокуковала весь свой век, а теперь злится. Нечего и злиться теперь.

— Это вы — наплодили их да поете ходите: «Ванька не пишет, Колька денег не шлет, окаянный...» Зачем тада и рожать? Лучше не рожать — не гневить бога после. Не было у меня условиев, я и не рожала. Не все подкулачники-то были... Куркули.

— Знамо, лодыри, они куркулями никогда не живут. Где эт ты куркулей-то увидела?

— Да вас же на волосок только не раскулачили в двадцать девятом годе! Ты забыла? Какая у тебя память-то дырявая. Мой же брат, Аркашка, заступился за вас. Забыла? А кому потом ваш отец три овечки ночью пригнал? Забыла? Короткая же у тебя память!

— А ты чё гордисся, что в бедности жила? Ведь нам в двадцать втором годе землю-то всем одинаково дали. А к двадцать девятому — они уж опять бедняки! Лодыри! Ведь вы уж бедняки-то советские сделались, к коллективизации-то нам землю-то поровну всем давали, на едока.

— А вы!..

— А вы!..

Поругались старушки. И ведь вот дурная деревенская привычка: двое поругаются, а всю родню с обеих сторон сюда же пришьют. Никак не могут без этого! Всех помянут и всех враз сделают плохими — и живых, и покойных, всех.

Домой старуха Кандаурова шла расстроенная. Болела душа за Катьку. Неладно у нее, неладно — сердце чует.

Вечером старуха села писать письмо дочери. Решила написать большое письмо, поучительное.

«Добрый день, дочь Катя, а также зять Николай Васильевич и ваши детки, Коля и Светычка, внучатычки мои ненаглядные. Ну, када жа вы приедете, я уж все глазыньки проглядела — все гляжу на дорогу: вот, может, покажутся, вот покажутся. Но нет, не видать. Катя, доченька, видела я этой ночий худой сон. Я не стану его

описывать, там и описывать-то нечего, но сон шибко плохой. Вот задумылась: может, у вас чего-нибудь? Ты, Катерина, маленько не умеешь жить. А станешь учить вас, вы обижаитись. А чего же обижатца? Надо, наоборот, мол, спасибо, мама, что дала добрый совет. Мы тоже када-то росли у отца с матерей, тоже, бывало, не слушались ихного совета, а потом жалели, но было поздно.

Ты подскажи свому мужу, чтоб он был маленько поразговорчивей, поласковей. А то они... Ты скажи так: Коля, что ж ты, идрена мать, букой-то живешь? Ты сядь, мол, поговори со мной, расскажи чего-нибудь. А то, скажи, спать поврозь буду!»

Старушка задумалась, глядя в окно. Вечерело. Где-то играли на гармошке. Старуха вспомнила себя, молодую, своего нелюдимого мужа... Муж ее, Кандауров Иван, был мужик работящий, честный, но бука несусветная. За всю женатую жизнь он всего два или три раза приласкал жену. Не обижал, нет, но и не замечал. Старухе жалко стало себя, свою жизнь...

«Если б я послушалась тада свою мать, я б сроду не пошла за твово отца. Я тоже за свою жизнь ласки не знала. Но тада такая жизнь была: вроде не до ласки, одна работа на уме. А если так-то разобраться, то — пошто? Ну, работа работой, а человек же не каменный. Да еслив его приласкать, он в три раза больше сделает. Любая животная любит ласку, а человек — тем боле. Ты, скажи, сам угрюмый, и, на тебя глядя, сын тоже станет задумыватца. Они, маленькие-то, все на отца глядят: как отец, так и они — походить стараютца. Да я и буду, скажи, с вами, с такими-то... Мне, мол, что, самой с собой тада остаетца разговаривать? Да что уж это за мысли такие! — день-деньской думать и думать... Ты, скажи, ослобони маленько голову-то для семьи. Чего думать-то, об чем? Ладно бы, думал, думал — додумался: большим начальником сделался, а то так, сбоку припека. Чего уж тада и утруждать ее, головушку-то, еслив она не приспособлена для этого дела. Нечего ее и утруждать. Ты, скажи, будешь думать, а я буду возле тебя сидеть,— в глаза тебе заглядывать? Да пошел ты от меня подальше, сыч! Я, скажи, не кривая, не горбатая — сидеть-то возле тебя. Я, мол, вон счас приоденусь да на танцыи завьюсь, будешь знать. Да сударчика себе найду. Скажи, скажи ему

так, скажи. А полезет с кулаками, ты — в милицию: ему сразу прижмут хвост. Это ничего, что он сам в милиции, ему тоже прижмут. С имя нынче не чикаютца, это не старое время. Это раньше, бывало... Тьфу! И писать-то про то неохота! Нет, скажи, ты у меня живо повеселеешь, столб грустный. Ты меня за две улицы стречать будешь с работы. А то моду взяли! Нет, ты у нас будешь разговорчивый! А не изменишь свой гыранитный характер — вон тебе дверь, выметайся! Иди на все четыре стороны, читай газеты. И молчи, сколько влезет. Попинывали мы таких журавлей задумчивых. Дай ему месяц сроку: еслив не исправитца, гони в три шеи! Пусть летит без оглядки, ступеньки щитает!»

Старуха вдруг представила, что письмо это читает ее задумчивый зять... Усмехнулась и стала смотреть в окно. Гармонь все играла, хорошо играла. И ей подпевал негромко незнакомый женский голос. Господи, думала старуха, хорошо, хорошо на земле, хорошо. А ты все газетами своими шуршишь, все думаешь... Чего ты выдумаешь? Ничего ты не выдумаешь, лучше бы на гармошке научился играть.

«Читай, зятек, почитай — я и тебе скажу: проугрюмисся всю жизнь, глядь — помирать надо. Послушай меня, я век прожила с таким, как ты: нехорошо так, чижало. Я тут про тебя всякие слова написала, прости, еслив нечаянно задела, но все-таки образумься. Чижало так жить! Она мне дочь родная, у меня душа болит, мне тоже охота, чтоб она порадовалась на этом свете. И чего ты журавь, все думаешь-то? Получаешь неплохо, квартирка у вас хорошая, деточки здоровенькие... Чего ты думаешь-то? Ты живи да радуйся, да других радуй. Я не про службу твою говорю, там не обрадоваешь, а про самых тебе дорогих людей. Я вот жду вас, жду не дождусь, а еслив ты опять приедешь такой задумчивый, огрею шумовкой по голове, у тебя мысли-то перестроютца. Это я пошутила, конечно, но, правда, возьми себя в руки. Приезжайте скорей, у нас тут хорошо, лучше всяких курортов. Не серчай на меня, я же тоже все думаю, не стой тебя. Но мне-то хоть есть об чем думать, а ты-то чего? Господи, жить да радоваться, а они... Ну, приезжайте. Катя, поедете, купи мне ситцу на занавески, у нас его нету. Купи голубенького. Я повешу, утром проснетесь, а в горнице такой твет хороший. Петя пишет, что не сможет этим летом приехать. А Егор, может, приедет. Здо-

ровье у него неважное. Коля, внучек мой милый, скажи папке и мамке, чтоб ехали. Тут велики хорошие продают. Будешь на велике ездить. И рыбачить будешь ходить. Давеча шла, видела, ребятишки по целой сниске чебаков несли. Приезжайте, дорогие мои. Жду вас, как Христова дня. Жить мне осталось мало, я хоть порадываюсь на вас. Одной-то шибко плохо, время долго идет. Приезжайте.

Целую вас всех. Баба *Оля*».

Старуха отодвинула письмо в сторонку и опять стала смотреть в окно. А за окном уже ничего почти не видать. Только огоньки в окнах... Теплый, сытый дух исходил от огородов, и пылью пахло теплой, остывающей.

Вот тут, на этих улицах, прошла жизнь. А давно ли?.. О господи! Ничего не понять. Давно ли еще была молодой. Вон там, недалеко, и теперь закоулочек сохранился: там Ванька Кандауров сказал ей, чтоб выходила за него... Еще бы раз все бы повторилось! Черт с ним, что угрюмый, он не виноват, такая жизнь была: работал мужик, не пил зряшно, не дрался — хороший. Квасов, тот побойчей был, зато попивал. Да нет, чего там!.. Ничего бы другого не надо бы. Еще бы разок все с самого начала...

Старуха и не заметила, что плачет. Поняла это, когда слезинка защекотала щеку. Вытерла глаза концом косынки, встала и пошла разбирать постель — поспать, а там — еще день будет. Может, правда приедут — все скорей.

— Старая! — сказала она себе.— Гляди-ко, ишо раз жить собралась!.. Видали ее!

● ВЫБИРАЮ ДЕРЕВНЮ НА ЖИТЕЛЬСТВО

Некто Кузовников Николай Григорьевич вполне нормально и хорошо прожил. Когда-то, в начале тридцатых годов, великая сила, которая тогда передвигала народы, взяла и увела его из деревни. Он сперва тосковал в городе, потом присмотрелся и понял: если немного смекалки, хитрости и если особенно не залупаться, то и не обязательно эти котлованы рыть, можно прожить легче. И он пошел по складскому делу — стал кладовщиком и всю жизнь был кладовщиком, даже

в войну. И теперь он жил в большом городе в хорошей квартире (отдельно от детей, которые тоже вышли в люди), старел, собирался на пенсию. Воровал ли он со складов? Как вам сказать... С точки зрения какого-нибудь сопляка с высшим юридическим образованием — да, воровал, с точки зрения человека рассудительного, трезвого — это не воровство: брал ровно столько, сколько требовалось, чтобы не испытывать ни в чем недостатка, причем, если учесть — окинуть взором — сколько добра прошло через его руки, то сама мысль о воровстве станет смешной. Разве так воруют! Он брал, но никогда не забывался, никогда не показывал, что живет лучше других. Потому-то ни один из этих, с университетскими значками, ни разу не поймал его за руку. С совестью Николай Григорьевич был в ладах: она его не тревожила. И не потому, что он был бессовестный человек, нет, просто это так изначально повелось: при чем тут совесть! Сумей только аккуратно сделать, не психуй и не жадничай и не будь идиотом, а совесть — это... знаете... Когда есть в загашнике, можно и про совесть поговорить, но все же спится тогда спокойней, когда ты все досконально продумал, все взвесил, проверил, свел концы с концами — тогда пусть у кого-нибудь другого совесть болит. А это — сверкать голым задом да про совесть трещать — это, знаете, неумно.

Словом, все было хорошо и нормально. Николай Григорьевич прошел свою тропку жизни почти всю. В минуту добрую, задумчивую говорил себе: «Молодец: и в тюрьме не сидел, и в войну не укокошили».

Но была одна странность у Николая Григорьевича, которую он сам себе не сумел бы объяснить, наверно, если б даже захотел. Но он и не хотел объяснять и особенно не вдумывался, а подчинялся этой прихоти (надо еще понять, прихоть это или что другое), как многому в жизни подчинялся.

Вот что он делал последние лет пять-шесть.

В субботу, когда работа кончалась, когда дома, в тепле, ждала жена, когда все в порядке и на душе хорошо и мирно, он выпивал стаканчик водки и ехал в трамвае на вокзал. Вокзал в городе огромный, вечно набит людьми. И есть там место, где курят, возле туалета. Там всегда — днем и ночью — полно, дым коромыслом и галдеж стоит непрерывный. Туда-то и шел прямиком Николай Григорьевич. И там вступал в разговоры.

— Мужики,— прямо обращался он,— кто из деревни? Таких всегда было много. Они-то в основном и толклись там — деревенские.

— Ну?..— спрашивали его.— А что тебе?

— Хочу деревню подобрать на жительство. Нигде, может, кто в курсе, не требуются опытные складские работники? Я тридцать четыре года проработал в этой системе...— И Николай Григорьевич доверчиво, просто, с удовольствием и подробно рассказывал, что он сам — деревенский, давно оттуда уехал, работал всю жизнь на складах, а теперь, под старость, потянуло опять в деревню... И тут-то начиналось. Его как-то сразу прекрасно понимали с его тоской, соглашались, что да, сколько по городам ни околачивайся, а если ты деревенский, то рано или поздно в деревню снова потянет. Начинали предлагать деревни на выбор. Николай Григорьевич только успевал записывать адреса. Начинали шуметь. Спорили.

— Да уж ты со своей Вязовкой!..

— А ты знаешь ее? Чего ты сразу руками-то замахал?! Ты хоть раз бывал там?

— Вязовку-то? Да я ее, как облупленную, знаю, вашу Вязовку! Господи, Вязовка!.. У человека — к старости, желательно, чтоб природа...

— А при чем тут природа-то? — вступали другие.— Надо не от природы отталкиваться, а от работы. Я не знаю вашей Вязовки, но склад-то там есть? Человек же прежде всего насчет работы спрашивает.

— Нет,— говорил Николай Григорьевич,— желательно, чтоб и природа, конечно...

— Да в том-то и дело! Что он тебе, склад?! Склад, он и есть склад, теперь они везде есть. И если, например...

— Ну, вы тоже рассудили,— говорил какой-нибудь степенный,— только поорать. Ну — склад, они действительно везде теперь, а как, например, с жильем? У нас вон — и склад, и река, и озеро, а постройки страшно дорогие.

— Ну, сколь так? — вникал в подробности Николай Григорьевич.

— Это смотря что требуется.

— Ну, например, пятистенок... Добрый еще.

— С постройками?

— Ну да, баня, сарай для дров... Ну, навес какой-нибудь, завозня там — я построгать люблю в свободное время.

— Если, допустим, хороший пятистенок,— начинал соображать мужик,— банешка...

— Не развалюха, конечно, хорошая баня.

— Хорошая баня, сарай из горбыля, у нас в основном все сараи из горбыля идут, из отлета...

— Пилорама в деревне?

— Не в самой деревне, а на отделении.

— Ну, ну?

— Если все честь по чести, огород нормальный...

— Огород нам со старухой большой не надо.

— Ну, нормальный, их теперь больших-то и нету — нормальный, если все честь по чести, то будет так — три, три с половиной.

— Тыщи?! — изумлялся кто-нибудь.

— Нет, рубля,— огрызался степенный.

— Ну, это уж ты загнул. Таких и цен-то нету,— сомневались.

Степенный вмиг утрачивал свою степенность.

— А чего ради мне загибать-то перед вами? Что я, свой дом, что ли, навяливаю? Я говорю как есть. Человек же спрашивает...

— А чего так? Несусветные какие-то цены. Что у вас там такое?

— Ничего, совхоз.

— Дак, а чего дорого-то? С ума, что ли, сошли там?

— Мы не сошли, сошли там, где постройки, я слыхал, на дрова пускают. Вот там-то сошли. Это уж я тоже не понимаю...

— Это я слыхал тоже. Рублей за триста, говорят, можно хороший дом взять.

— Ну, за триста не за триста...

— А как твоя деревня называется? — записывал Николай Григорьевич.

— Завалиха. Не деревня, село.

— Это где?

— А вот, если сейчас ехать...— И мужик подробно объяснял, где его село, как ехать туда.

— Райцентр, что ли?

— Был раньше райцентр, а потом, когда укрупняли районы, мы отошли к Красногорскому району, а у нас стала центральная усадьба.

— Ну, есть, наверно, перевалочная база? — допрашивал Николай Григорьевич.

Мужик послушно, очень подробно рассказывал. И был

как будто рад, что его село заинтересовало человека больше, чем другие села и деревни. Со стороны наблюдали и испытывали нечто вроде ревности. И находили возможность подпортить важную минуту.

— Это ж что ж это за цены такие! Ле́са, наверно, нет близко?

— А у вас какие? — нервничал мужик из дорогого села.— Ну скажи, сколько у вас добрый пятистенок станет? Только не ври.

— Чего мне врать-то? Добрый пятистенок у нас... с постройками, со всем, с огородом — тыщи полторы-две.

— Где это? — поворачивался в ту сторону Николай Григорьевич.

И тогда тот, кто перехватил интерес, начинал тоже подробно, долго объяснять, где его село, как называется река, почем у них мясо осенью...

— У меня вот свояк приезжал... как раз осенью тоже... Посмотрел. «Ну-у,— говорит,— у вас-то жить можно! Это,— говорит,— ты у нас иди сунься».

— А откуда он?

— За Уралом... Город Златоуст.

— Чо ж ты город-то суешь? Мы про сельскую жизнь говорим.

— Он не из самого города, а близко к этому городу.

— Да зачем же там где-то брать, человек про наши места интересуется! Это я тебе могу насказать: у меня свояк в Магадане вон...

— Ну, едрена мать! Ты еще скажи — в Америке.

— А при чем тут Америка-то?

— А при чем Магадан?

— Да при том, что — речь идет про сельскую местность, а ты куда-то в Златоуст полез! Чего ты в Златоуст-то полез?!

— Тихо, тихо,— успокаивал Николай Григорьевич горячих селян. Странно, он становился здесь неким хозяином — на манер какого-нибудь вербовщика-работодателя в толпе ищущих.— Спокойно, мужики,— говорил Николай Григорьевич,— мы же не на базаре. Меня теперь интересует: сколько над уровнем моря твое село? — Это вопрос к тому, в чьем селе дом-пятистенок стоит дешевле.

Тот не знал. И никто не знал, сколько над уровнем моря их деревни и села.

— А зачем это?

— Это очень важно,— пояснил Николай Григорье-

вич.— Для сердечно-сосудистой системы необходимо. Если место немного возвышенное — тоже нельзя: сразу скажется нехватка кислорода.

— Не замечали,— признавались мужики.

Но это — так, это Николай Григорьевич подпускал для пущей важности. Больше говорили про цены на постройки, на продукты, есть ли река в деревне или, может, озеро, далеко или близко лес... Потом переходили на людей — какие люди хорошие в деревне: приветливые, спокойные, не воруют, не кляузничают. И тут — незаметно для себя — начинали слегка врать друг другу. Это как-то само собой случалось, никто не преследовал никакой посторонней цели: один кто-нибудь начинал про своих людей, и уж тут другие не могли тоже умолчать, тоже рассказывали, но так, чтобы получалось, что у них — лучше.

— А у нас... обрати внимание: у нас, если баба пошла по воду, она никогда дом не запирает — зачем? Приткнет дверь палочкой, и все: сроду никто не зайдет. Уж на что цыганы — у нас их полно — и то не зайдут: мы их так приучили.

— Да кого!.. Вы вот возьмите: у нас один вор есть...

— Вор?!

— Вор! Мы все про него знаем, что он вор, он уже раз пять сидел за это дело. А у нас одна заслуженная учительница живет, орден имеет... И этот вор натурально пришел к ней и говорит: «Пусти пожить недели две». А он у нее учился когда-то... в первом классе, что ли. Он вообще-то детдомовский, а она, видно, работала там. Да. «Пусти,— говорит,— пару недель пожить, пока не определюсь куда-нибудь».

— Пустила?

— Пустила! Ну, думаем, и обчистит же он ее!.. Жалели даже старушку.

— Дело в том, что у них такой закон есть: где живешь, там не воруй.

— Да, да.

— Не обчистил?

— Не! Ни-ни, ни волоска не взял. Сдержался.

— Нет, это уж такой закон. Вот если бы взял... если бы он ее все же обокрал, ему бы там свои за это дело...

— Ни-чего не взял!

— Это странно все же... Плевали они на эти законы! Закон. У меня прошлый год стожок сена увезли, змеи ползучие...

— Ну-у, это такие, что ли! Это уж... наш брат кто-нибудь, свои. На кой ему черт сено, урке?

Смеялись. Вспоминали еще случаи... Курили и курили без конца — накурено бывало так, что глаза слезились. А время, слава богу, шло: глядишь, и подойдет час ехать. Ждать на вокзале — это не самое милое из того, что нам приходится делать.

— А я как-то еду из района,— встревал в минуту затишья какой-нибудь расторопный,— гляжу, стоит бабка... ну, лет так восемьдесят — восемьдесят пять. Подняла руку, я остановился. «До Красного, сынок». До Красного шестьдесят пять километров. «Платить-то,— говорю,— есть чем?» — «Есть, милай, есть». Ну, везу...— И рассказчик заранее поблескивает глазом.— Доехали до Красного. «Все,— говорю,— бабка, приехали. Плати». Она мне достает откуда-то из сумки... пять штук яиц!

Смех. Рассказчик доволен.

— «А раньше,— говорит,— брали. Мы,— говорит,— всегда яйцами расплачивались».— «Ладно,— говорю,— иди, бабка».

Рассказчик непременно еще повторял не один раз, как он ей сказал, старухе: «Иди,— говорю,— бабка, иди. Иди, чего с тебя взять». Это надо понимать, что — вот и он тоже добрый человек. Вообще добрых, простодушных, бесхитростных, бескорыстных, как выяснялось на этих собеседованиях, по деревням и селам — навалом, прохода нет от бесхитростных и бескорыстных. Да все такие, чего там! А если встречаются иногда склочные, злые, жадные, то это так — придурки.

Николай Григорьевич уже не записывал адреса, а слушал, поворачивался в разные стороны, смеялся тоже... И оттого, что он так охотно и радостно слушал, рассказывали — с радостью тоже — новые истории, где раскрывалось удивительное человеческое бескорыстие. Правда, нечаянно проскакивали случаи, где высовывалась вдруг морда какого-нибудь завистника или обманщика, но это — пропускали, это не суть дела, это чепуха. Все молча соглашались, что это — чепуха, а миром движет разум и добро.

— Я седня гляжу: пиво продают. Отстоял в очереди — она мне наливает... А наливает — вот так вот не долила. Сунула под кран — и дальше. Я отошел и думаю: «У нас бы ей за такие дела спасибо не сказали».

Тут же соглашались, что — да, конечно... Люди торо-

пятся, людей много, она этим пользуется, бесстыдница. Но, если так-то подумать — ну сколько уж она там не долила! Конечно, ей копейка так и набегает, но ведь, правда, не умер же ты, что не допил там глоток-другой. А у ней тоже небось — семья...

Но вот уж чего не понимали деревенские в городе — это хамства. Это уж черт знает что, этому и объяснения-то как-то нету. Кричат друг на друга, злятся. Продавщицу не спроси ни о чем, в конторах тоже, если чего не понял, лучше не переспрашивай: так глянут, так тебе ответят, что дай бог ноги. Тут, как наезжали на эту тему, мужики дружно галдели — не понимали, изумлялись... И Николай Григорьевич тоже со всеми вместе не понимал и изумлялся. Прижимал кого-нибудь к стене туалета и громко втолковывал и объяснял:

— Ведь почему и уехать-то хочу!.. Вот потому и хочу-то — терпенья больше нет никакого. Ты думаешь, я плохо живу?! Я живу, дай бог каждому! У меня двухкомнатная секция, мы только двое со старухой... Но — невмоготу больше! Душу всю выворачивает такая жизнь!..— Николай Григорьевич в эту минуту, когда кричал в лицо мужику, страдал вполне искренне, бил себя кулаком в грудь, только что не плакал... Но — и это поразительно — он вполне искренне забывал, что сам много кричит на складе, сам тоже ругается вовсю на шоферов, на грузчиков, к самому тоже не подступись с вопросом каким. Это все как-то вдруг забывалось, а жила в душе обида, что хамят много, ругаются, кричат и оскорбляют. И отчетливо ясно было, что это не жизнь, пропади она пропадом такая жизнь, и двухкомнатная секция, лучше купить избу в деревне и дожить спокойно свои дни, дожить их достойно, по-человечески. Не хочется же оскотинеть здесь со всеми вместе, нельзя просто, мы ж люди! И дорого это было Николаю Григорьевичу, вот эти слова про достоинство человеческое и про покой, и нужно, и больно, и сладко было кричать их... Иногда даже замолкали вокруг, а он один — в дыму этом, в запахах — говорил и кричал. Ему искренне сочувствовали, хотели помочь.

Так, выговорившись, с адресами в кармане Николай Григорьевич шел домой. Шел с вокзала всегда пешком — это четыре остановки. Отходил после большого волнения. Тихонько еще ныла душа, чувствовалась усталость. К концу пути Николай Григорьевич всегда сильно хотел есть.

Никуда он не собирался ехать, ни в какую деревню, ничего подобного в голове не держал, но не ходить на вокзал он уже не мог теперь — это стало потребностью. Пристыди его кто-нибудь, ну, старший сын, например, запрети ходить туда, запрети записывать эти адреса, говорить с мужиками... Да нет, как запретишь? Он бы крадучись стал ходить. Он теперь не мог без этого.

● ОСЕНЬЮ

Паромщик Филипп Тюрин дослушал последние известия по радио, поторчал еще за столом, помолчал строго...

— Никак не могут уняться! — сказал он сердито.

— Кого ты опять? — спросила жена Филиппа, высокая старуха с мужскими руками и с мужским басовитым голосом.

— Бомбят! — Филипп кивнул на репродуктор.

— Кого бомбят?

— Вьетнамцев-то.

Старуха не одобряла в муже его увлечение политикой, больше того, это дурацкое увлечение раздражало ее. Бывало, что они всерьез ругались из-за политики, но сейчас старухе не хотелось ругаться — некогда, она собиралась на базар.

Филипп, строгий, сосредоточенный, оделся потеплее и пошел к парому.

Паромщиком он давно, с войны. Его ранило в голову, в наклон работать — плотничать — он больше не мог, он пошел паромщиком.

Был конец сентября, дуло после дождей, наносило мразь и холод. Под ногами чавкало. Из репродуктора у сельмага звучала физзарядка, ветер трепал обрывки музыки и бодрого московского голоса. Свинячий визг по селу и крик петухов был устойчивей, пронзительней.

Встречные односельчане здоровались с Филиппом кивком головы и поспешали дальше — к сельмагу за хлебом или к автобусу, тоже на базар торопились.

Филипп привык утрами проделывать этот путь — от дома до парома, совершал его бездумно. То есть он думал о чем-нибудь, но никак не о пароме или о том, например, кого он будет переправлять целый день. Тут все понятно. Он сейчас думал, как унять этих американцев с войной.

Он удивлялся, но никого не спрашивал: почему их не двинут нашими ракетами? Можно же за пару дней все решить. Филипп смолоду был очень активен. Активно включился в новую жизнь, активничал с колхозами... Не раскулачивал, правда, но спорил и кричал много — убеждал недоверчивых, волновался. Партийцем он тоже не был, как-то об этом ни разу не зашел разговор с ответственными товарищами, но зато ответственные никогда без Филиппа не обходились: он им от души помогал. Он втайне гордился, что без него никак не могут обойтись. Нравилось накануне выборов, например, обсуждать в сельсовете с приезжими товарищами, как лучше провести выборы: кому доставить урну домой, а кто сам придет, только надо сбегать утром напомнить... А были и такие, что начинали артачиться: «Они мне коня много давали — я просил за дровами?..» Филипп прямо в изумление приходил от таких слов. «Да ты что, Егор,— говорил он мужику,— да рази можно сравнивать?! Вот дак раз! Тут — политическое дело, а ты с каким-то конем: спутал телятину с...» И носился по селу, доказывал. И ему тоже доказывали, с ним охотно спорили, не обижались на него, а говорили: «Ты им скажи там...» Филипп чувствовал важность момента, волновался, переживал. «Ну народ!— думал он, весь объятый заботами большого дела.— Обормоты дремучие». С годами активность Филиппа слабела, а тут его в голову-то шваркнуло — не по силам стало активничать и волноваться. Но он по-прежнему все общественные вопросы принимал близко к сердцу, беспокоился.

На реке ветер похаживал добрый. Стегал и толкался... Канаты гудели. Но хоть выглянуло солнышко, и то хорошо.

Филипп сплавал туда-сюда, перевез самых нетерпеливых, дальше пошло легче, без нервов. И Филипп наладился было опять думать про американцев, но тут подъехала свадьба... Такая — нынешняя: на легковых, с лентами, с шарами. В деревне теперь тоже завели такую моду. Подъехали три машины... Свадьба выгрузилась на берегу, шумная, чуть хмельная... весьма и весьма показушная, хвастливая. Хоть и мода — на машинах-то, с лентами-то,— но еще редко, еще не все могли достать машины.

Филипп с интересом смотрел на свадьбу. Людей этих он не знал — нездешние, в гости куда-то едут. Очень выламывался один дядя в шляпе... Похоже, что это он до-

был машины. Ему все хотелось, чтоб получился размах, удаль. Заставил баяниста играть на пароме, первый пустился в пляс — покрикивал, дробил ногами, смотрел орлом. Только на него-то и смотреть было неловко, стыдно. Стыдно было жениху с невестой — они трезвее других, совестливее. Уж он кобенился-кобенился, этот дядя в шляпе, никого не заразил своим деланным весельем, устал... Паром переплыл, машины съехали, и свадьба укатила дальше.

А Филипп стал думать про свою жизнь. Вот как у него случилось в молодости с женитьбой. Была в их селе девка Марья Ермилова, красавица. Круглоликая, румяная, приветливая... Загляденье. О такой невесте можно только мечтать на полатях. Филипп очень любил ее, и Марья тоже его любила — дело шло к свадьбе. Но связался Филипп с комсомольцами... И опять же, сам комсомольцем не был, но кричал и ниспровергал все наравне с ними. Нравилось Филиппу, что комсомольцы восстали против стариков сельских, против их засилья. Было такое дело: поднялся весь молодой сознательный народ против церковных браков. Неслыханное творилось... Старики ничего сделать не могут, злятся, хватаются за бичи — хоть бичами, да исправить молокососов, но только хуже толкают их к упорству. Веселое было время. Филипп, конечно — тут как тут: тоже против венчанья. А Марья — нет, не против: у Марьи мать с отцом крепкие, да и сама она окончательно выпряглась из передовых рядов, хочет венчаться. Филипп очутился в тяжелом положении. Он уговаривал Марью всячески (он говорить был мастер, за это, наверно, и любила его Марья — искусство редкое на селе), убеждал, сокрушал темноту деревенскую, читал ей статьи разные, фельетоны, зубоскалил с болью в сердце... Марья ни в какую: венчаться, и все. Теперь, оглядываясь на свою жизнь, Филипп знал, что тогда он непоправимо сглупил. Расстались они с Марьей. Филипп не изменился потом, никогда не жалел и теперь не жалеет, что посильно, как мог участвовал в переустройстве жизни, а Марью жалел. Всю жизнь сердце кровью плакало и болело. Не было дня, чтобы он не вспомнил Марью. По первости было так тяжко, что хотел руки на себя наложить. И с годами боль не ушла. Уже была семья — по правилам гражданского брака — детишки были... А болело и болело по Марье сердце. Жена его, Фекла Кузовникова, когда обнаружила у Филиппа эту его постоянную



печаль, возненавидела Филиппа. И эта глубокая тихая ненависть тоже стала жить в ней постоянно. Филипп не ненавидел Феклу, нет... Но вот на войне, например, когда говорили: «Вы защищаете ваших матерей, жен...» — Филипп вместо Феклы видел мысленно Марью. И если бы случилось погибнуть, то и погиб бы он с мыслью о Марье. Боль не ушла с годами, но, конечно, не жгла так, как



жгла первые женатые годы. Между прочим, он тогда и говорить стал меньше. Активничал по-прежнему, говорил, потому что надо было убеждать людей, но все как будто вылезал из своей большой горькой думы. Задумается-задумается, потом спохватится — и опять вразумлять людей, опять раскрывать им глаза на новое, небывалое. А Марья тогда... Марью тогда увезли из села. Зазнал ее

какой-то (не какой-то, Филипп потом с ним много раз встречался) богатый парень из Краюшкина, приехали, сосватали и увезли. Конечно, венчались. Филипп, спустя год, спросил у Павла, мужа Марьи: «Не совестно было? В церкву-то поперся...» На что Павел сделал вид, что удивился, потом сказал: «А чего мне совестно-то должно быть?» — «Старикам-то поддался».— «Я не поддался,— сказал Павел,— я сам хотел венчаться».— «Вот я и спрашиваю,— растерялся Филипп,— не совестно? Старикам уж простительно, а вы-то?.. Мы же так никогда из темноты не вылезем». На это Павел заматерился. Сказал: «Пошли вы!..» И не стал больше разговаривать. Но что заметил Филипп: при встречах с ним Павел смотрел на него с какой-то затаенной злостью, с болью даже, как если бы хотел что-то понять и никак понять не мог. Дошел слух, что живут они с Марьей неважно, что Марья тоскует. Филиппу этого только не хватало: запил даже от нахлынувшей новой боли, но потом пить бросил и жил так — носил постоянно в себе эту боль-змею, и кусала она его и кусала, но притерпелся.

Такие-то невеселые мысли вызвала к жизни эта свадьба на машинах. С этими мыслями Филипп еще поплавал туда-сюда, подумал, что надо, пожалуй, выпить в обед стакан водки — ветер пронизывал до костей, и душа чего-то заскулила. Заныла прямо, затревожилась.

«Раза два еще сплаваю и пойду на обед»,— решил Филипп.

Подплывая к чужому берегу (у Филиппа был свой берег, где его родное село, и чужой), он увидел крытую машину и кучку людей около машины. Опытный глаз Филиппа сразу угадал, что это за машина и кого она везет в кузове: покойника. Люди возят покойников одинаково: у парома всегда вылезут из кузова, от гроба, и так как-то стоят и смотрят на реку, и молчат, что сразу все ясно.

«Кого же это? — думал Филипп, вглядываясь в людей.— Из какой-нибудь деревни, что вверх по реке, потому что не слышно было, чтобы кто-то поблизости помер. Только почему же — откуда-то везут? Не дома, что ли, помер, а домой хоронить везут?»

Когда паром подплыл ближе к берегу, Филипп узнал в одном из стоявших у машины Павла, Марьиного мужа. И вдруг Филипп понял, кого везут... Марью везут. Вспомнил, что в начале лета Марья ехала к дочери в город.

Они поговорили с Филиппом, пока плыли. Марья сказала, что у дочери в городе родился ребенок, надо помочь пока. Поговорили тогда хорошо. Марья рассказала, что живут они ничего, хорошо, дети (трое) все пристроились, сама она получает пенсию, Павел тоже получает пенсию, но еще работает, столярничает помаленьку на дому. Скота много не держат, но так-то все есть... Индюшек наладились держать. Дом вот перебрали в прошлом году: сыновья приезжали, помогли. Филипп тоже рассказал, что тоже все хорошо пока, пенсию тоже получает, здоровьишком пока не жалуется, хотя к погоде голова побаливает. А Марья сказала, что у нее сердце чего-то... Мается сердцем. То ничего-ничего, а то как сожмет, сдавит... Ночью бывает: как заломит-заломит, хоть плачь. И вот, видно, конец Марье... Филипп, как узнал Павла, так ахнул про себя. В жар кинуло.

Паром стукнулся о шаткий припаромок (причал). Вдели цепи с парома в кольца припаромка, заклячили ломиками... Крытая машина пробовала уже передними колесами бревна припаромка, бревна хлябали, трещали, скрипели...

Филипп, как завороженный, стоял у своего весла, смотрел на машину. Господи, господи, Марью везут, Марью... Филиппу полагалось показать шоферу, как ставить на пароме машину, потому что сзади еще заруливали две, но он как прирос к месту, все смотрел на машину, на кузов.

— Где ставить-то?! — крикнул шофер.

— А?

— Где, мол, ставить-то?

— Да ставь...— Филипп неопределенно махнул рукой. Все же никак он не мог целиком осознать, что везут мертвую Марью... Мысли вихлялись в голове, не собирались воедино, в скорбный круг. То он вспоминал Марью, как она рассказывала ему вот тут, на пароме, что живут они хорошо... То молодой ее видел, как она... Господи, господи... Марья... Да ты ли это?

Филипп отодрал наконец ноги с места, подошел к Павлу.

Павла жизнь скособочила. Лицо еще свежее, глаза умные, ясные, а осанки никакой. И в глазах умных большая спокойная грусть.

— Что, Павел?..— спросил Филипп.

Павел мельком глянул на него, не понял вроде, о чем его спросили, опять стал смотреть вниз, в доски парома. Филиппу неловко было еще спрашивать... Он вернулся опять к веслу. А когда шел, то обошел крытую машину с задка кузова, заглянул туда — гроб. И открыто заболело сердце, и мысли собрались воедино: да, Марья.

Поплыли. Филипп машинально водил рулевым веслом и все думал: «Марьюшка, Марья...» Самый дорогой человек плывет с ним последний раз... Все эти тридцать лет, как он паромщиком, он наперечет знал, сколько раз Марья переплывала на пароме. В основном все к детям ездила в город: то они учились там, то устраивались, то когда у них детишки пошли... И вот — нету Марьи.

Паром подвалил к этому берегу. Опять зазвякали цепи, взвыли моторы... Филипп опять стоял у весла и смотрел на крытую машину. Непостижимо... Никогда в своей жизни он не подумал: что, если Марья умрет? Ни разу так не подумал. Вот уж к чему не готов был, к ее смерти. Когда крытая машина стала съезжать с парома, Филипп ощутил нестерпимую боль в груди. Охватило беспокойство: что-то он должен сделать? Ведь увезут сейчас. Совсем. Ведь нельзя же так: проводил глазами, и все. Как же так? И беспокойство все больше овладевало им, а он не трогался с места, и от этого становилось вовсе не по себе.

«Да проститься же надо было!..— понял он, когда крытая машина взбиралась уже на взвоз.— Хоть проститься-то!.. Хоть посмотреть-то последний раз. Гроб-то еще не заколочен, посмотреть-то можно же!» И почудилось Филиппу, что эти люди, которые провезли мимо него Марью, что они не должны так сделать — провезти, и все. Ведь, если чье это горе, так больше всего — его горе. В гробу-то Марья. Куда же они ее?.. И опрокинулось на Филиппа все не изжитое жизнью, не истребленное временем, не забытое, дорогое до боли... Вся жизнь долгая стояла перед лицом — самое главное, самое нужное, чем он жив был... Он не замечал, что плачет. Смотрел вслед чудовищной машине, где гроб... Машина поднялась на взвоз и уехала в улицу, скрылась. Вот теперь жизнь пойдет как-то иначе: он привык, что на земле есть Марья. Трудно бывало, тяжко — он вспоминал Марью и не знал сиротства. Как же теперь-то будет? Господи, пустота какая, боль какая!

Филипп быстро сошел с парома: последняя машина,

только что съехавшая, замешкалась чего-то... Филипп подошел к шоферу.

— Догони-ка крытую... с гробом,— попросил он, залезая в кабину.

— А чего?.. Зачем?

— Надо.

Шофер посмотрел на Филиппа, ничего больше не спросил, поехали.

Пока ехали по селу, шофер несколько раз присматривался сбоку к Филиппу.

— Это краюшкинские, что ли? — спросил он, кивнув на крытую машину впереди.

Филипп молча кивнул.

— Родня, что ли? — еще спросил шофер.

Филипп ничего на это не сказал. Он опять смотрел во все глаза на крытый кузов. Отсюда виден был гроб посередке кузова... Люди, которые сидели по бокам кузова, вдруг опять показались Филиппу чуждыми — и ему, и этому гробу. С какой стати они-то там? Ведь в гробу Марья.

— Обогнать, что ли? — спросил шофер.

— Обгони... И ссади меня.

Обогнали фургон... Филипп вылез из кабины и поднял руку. И сердце запрыгало, как будто тут сейчас должно что-то случиться такое, что всем, и Филиппу тоже, станет ясно: кто такая ему была Марья. Не знал он, что случится, не знал, какие слова скажет, когда машина с гробом остановится. Так хотелось посмотреть Марью, так это нужно было, важно. Нельзя же, чтобы она так и уехала, ведь и у него тоже жизнь прошла, и тоже никого не будет теперь...

Машина остановилась.

Филипп зашел сзади... Взялся за борт руками и полез по железной этой короткой лесенке, которая внизу кузова.

— Павел...— сказал он просительно и сам не узнал своего голоса: так просительно он не собирался говорить.— Дай я попрощаюсь с ней... Открой, хоть гляну.

Павел вдруг резко встал и шагнул к нему... Филипп успел близко увидеть его лицо... Изменившееся лицо, глаза, в которых давеча стояла грусть, теперь они вдруг сделались злые...

— Иди отсюда! — негромко, жестоко сказал Павел. И толкнул Филиппа в грудь. Филипп не ждал этого, чуть

не упал, удержался, вцепившись в кузов.— Иди!..— закричал Павел. И еще толкнул, и еще — да сильно толкал. Филипп изо всех сил держался за кузов, смотрел на Павла, не узнавал его. И ничего не понимал.

— Э, э, чего вы? — всполошились в кузове. Молодой мужчина, сын, наверно, взял Павла за плечи и повлек в кузов.— Что ты? Что с тобой?

— Пусть уходит! — совсем зло говорил Павел.— Пусть он уходит отсюда!.. Я те посмотрю. Приполз... гадина какая. Уходи! Уходи!..— Павел затопал ногой. Он как будто взбесился с горя.

Филипп слез с кузова. Теперь-то он понимал, что с Павлом. Он тоже зло смотрел снизу на него. И говорил, сам не сознавая, что говорит, но, оказывается, слова эти жили в нем готовые:

— Что, горько?.. Захапал чужое-то, а — горько. Радовался тогда?..

— Ты зато много порадовался! — сказал из кузова Павел.— А то я не знаю, как ты радовался!..

— Вот как на чужом-то несчастье свою жизнь строить,— продолжал Филипп, не слушая, что ему говорят из кузова. Важно было успеть сказать свое, очень важно.— Думал, будешь жить припеваючи? Не-ет, так не бывает. Вот я теперь вижу, как тебе все это досталось...

— Много ли ты-то припевал? Ты-то... Сам-то... Самого-то чего в такую дугу согнуло? Если хорошо-то жил — чего же согнулся? От хорошей жизни?

— Радовался тогда? Вот — нарадовался... Побирушка. Ты же побирушка!

— Да что вы?! — рассердился молодой мужчина.— С ума, что ли, сошли!.. Нашли время.

Машина поехала. Павел еще успел крикнуть:

— Я побирушка!.. А ты скулил всю жизнь, как пес, за воротами! Не я побирушка-то, а ты!

Филипп медлено пошел назад.

«Марья,— думал он,— эх, Марья, Марья... Вот как ты жизнь-то всем перекосила. Полаялись вот — два дурака... Обои мы с тобой побирушки, Павел, не трепыхайся. Если ты не побирушка, то чего же злишься? Чего бы злиться-то? Отломил смолоду кусок счастья — живи да радуйся. А ты радости-то тоже не знал. Не любила она тебя, вот у тебя горе-то и полезло горлом теперь. Нечего было и хватать тогда. А то приехал — раз, два — увезли!.. Обрадовались».

Горько было Филиппу... Но теперь к горькой горечи этой примешалась еще досада на Марью.

«Тоже хороша: нет, подождать — заусилась в Краюшкино! Прямо уж нетерпеж какой-то. Тоже толку-то было... И чего вот теперь?..»

— Теперь уж чего...— сказал себе Филипп окончательно.— Теперь ничего. Надо как-нибудь дожить... Да тоже собираться — следом. Ничего теперь не воротишь.

Ветер заметно пооcлаб, небо очистилось, солнце осветило, а холодно было. Голо как-то кругом и холодно. Да и то — осень, с чего теплу-то быть?

● ВЯНЕТ, ПРОПАДАЕТ

— Идет! — крикнул Славка.

— Чего орешь-то? — сердито сказала мать.— Не можешь никак потише-то?.. Отойди оттудова, не торчи.

Славка отошел от окна.

— Играть, что ли? — спросил он.

— Играй. Какую-нибудь... поновей.

— Какую?

— Ну, какую недавно учили?..

— Я ее не одолел еще. Давай «Вянет, пропадает»?

— Играй.

— Помоги снять.

Мать сняла со шкафа тяжелый баян, поставила Славке на колени. Славка заиграл «Вянет, пропадает».

Вошел дядя Володя, большой, носатый, отряхнул о колено фуражку и тогда только сказал:

— Здравствуйте.

— Здравствуйте, Владимир Николаич,— приветливо откликнулась мать.

Славка перестал было играть, чтоб поздороваться, но вспомнил материн наказ — играть без передыху, кивнул дяде Володе и продолжал играть.

— Дождь, Владимир Николаич?

— Сеет. Пора уж ему и сеять.— Дядя Володя говорил как-то очень аккуратно, обстоятельно, точно кубики складывал. Положит кубик, посмотрит, подумает — переставит.— Пора... Сегодня у нас... што? Двадцать седьмое? Через три дня — октябрь месяц.

— Да,— вздохнула мать.

Славку удивляло, что мать, обычно такая крикливая, острая на язык, с дядей Володей во всем тихо соглашалась. Вообще становилась какая-то сама не своя: краснела, суетилась, все хотела, например, чтоб дядя Володя выпил «последнюю» рюмку перцовки, а дядя Володя говорил, что «последнюю-то как раз и не надо пить — она-то и губит людей».

— Все играешь, Славка? — спросил дядя Володя.

— Играет! — встряла мать.— Приходит из школы и начинает — надоел уж... В ушах звенит.

Это была несусветная ложь: Славка изумлялся про себя.

— Хорошее дело,— сказал дядя Володя.— В жизни пригодится. Вот пойдешь в армию: все будут строевой шаг отрабатывать, а ты в красном уголке на баяне тренироваться. Очень хорошее дело. Не всем только дается...

— Я говорила с ихним учителем-то: шибко, говорит, способный.

Когда говорила?! О, боже милостивый!.. Что с ней?

— Талант, говорит.

— Надо, надо. Молодец, Славка.

— Садитесь, Владимир Николаич.

Дядя Володя ополоснул руки, тщательно вытер их полотенцем, сел к столу.

— С талантом люди крепко живут.

— Дал бы уж господи...

— И учиться, конечно, надо — само собой.

— А учиться-то...— Мать строго посмотрела на Славку.— Лень-матушка! Вперед нас, видно, родилась. Чего уж только не делаю: сама иной раз с им сяду: «Учи! Тебе надо-то, не мне». Ну!.. В одно ухо влетело, в другое вылетело. Был бы мущина в доме... Нас-то много они слушают!

— Отец-то не заходит, Славка?

— А чего ему тут делать? — отвечала мать.— Алименты свои плóтит — и довольный. А тут рóсти, как знаешь...

— Алименты — это удовольствие ниже среднего,— заметил дядя Володя.— Двадцать пять?

— Двадцать пять. А зарабатывает-то не шибко... И те пропивает.

— Стараться надо, Славка. Матери одной трудно.

— Понимал бы он...

— Ты пришел из школы: сразу — раз — за уроки. Уроки подготовил — поиграл на баяне. На баяне поиграл — пошел погулял.

Мать вздохнула.

Славка играл «Вянет, пропадает».

Дядя Володя выпил перцовки.

— Стремиться надо, Славка.

— Уж и то говорю ему: «Стремись, Славка...»

— Говорить мало,— заметил дядя Володя и налил еще рюмочку перцовки.

— Как же воспитывать-то?

Дядя Володя опрокинул рюмочку в большой рот.

— Ху-у... Все: пропустили по поводу воскресенья и будет.— Дядя Володя закурил.— Я ведь пил, крепко пил...

— Вы уж рассказывали. Счастливый человек — бросили... Взяли себя в руки.

— Бывало, утром: на работу идти, а от тебя, как от циклопа, на версту разит. Зайдешь, бывало, в парикмахерскую — не бриться, ничего,— откроешь рот: он побрызгает, тогда уж идешь. Мучился. Хочешь на счетах три положить, кладешь — пять.

— Гляди-ко!

— В голове — дымовая завеса,— обстоятельно рассказывал дядя Володя.— А у меня еще стол наспроть окна стоял, в одиннадцать часов солнце начинает в лицо бить — пот градом!.. И мысли комичные возникают: в ведомости, допустим: «Такому-то на руки семьсот рублей». По-старому. А ты думаешь: «Это ж сколько поллитр выйдет?» Х-хе...

— Гляди-ко, до чего можно дойти!

— Дальше идут. У меня приятель был: тот по ночам все шанец искал.

— Какой шанец?

— Шанс. Он его называл — шанец. Один раз искал, искал — показалось, кто-то с улицы зовет, шагнул с балкона, и все, не вернулся.

— Разбился?!

— Ну, с девятого этажа — шутка в деле! Он же не голубь мира. Когда летел, успел, правда, крикнуть: «Эй!»

— Сердешный...— вздохнула мать.

Дядя Володя посмотрел на Славку...

— Отдохни, Славка. Давай в шахматы сыграем. Заполним вакум, как говорит наш главный бугалтер. Тоже

пить бросил и не знает, куда деваться. Не знаю, говорит, чем вакум заполнить.

Славка посмотрел на мать. Та улыбнулась.

— Ну отдохни, сынок.

Славка с великим удовольствием вылез из-под баяна... Мать опять взгромоздила его на шкаф, накрыла салфеткой.

Дядя Володя расставлял на доске фигуры.

— В шахматы тоже учись, Славка. Попадешь в какую-нибудь компанию: кто за бутылку, кто разные фигли-мигли, а ты раз — за шахматы: «Желаете?» К тебе сразу другое отношение. У тебя по литературе как?

— По родной речи? Трояк.

— Плохо. Литературу надо назубок знать. Вот я хожу пешкой и говорю: «Е-два, Е-четыре», как сказал гроссмейстер. А ты не знаешь, где это написано. Надо знать. Ну давай.

Славка походил пешкой.

— А зачем говорят-то: «Е-два, Е-четыре»? — спросила мать, наблюдая за игрой.

— А шутят,— пояснил дядя Володя.— Шутят так. А люди уж понимают: «Этого голой рукой не возьмешь». У нас в типографии все шутят. Ходи, Славка.

Славка походил пешкой.

— У нас дядя Иван тоже шутит,— сказал он.— Нас вывели на физкультуру, а он говорит: «Вот вам лопаты — тренируйтесь».— Славка засмеялся.

— Кто это?

— Он завхозом у нас.

— А... Этим шутникам лишь бы на троих сообразить,— недовольно заметил дядя Володя.

Мать и Славка промолчали.

— Не перевариваю этих соображал,— продолжал дядя Володя.— Живут — небо коптят.

— А вот пили-то,— поинтересовалась мать,— жена-то как же?

— Жена-то? — Дядя Володя задумался над доской: Славка неожиданно сделал каверзный ход.— Реагировала-то?

— Да.

— Отрицательно, как еще. Из-за этого и разошлись, можно сказать. Вот так, Славка! — Дядя Володя вышел из трудного положения и был доволен.— Из-за этого и горшок об горшок у нас и получился.

— Как это? — не понял Славка.

— Горшок об горшок-то? — Дядя Володя снисходительно улыбнулся.— Горшок об горшок — и кто дальше.

Мать засмеялась.

— Еще рюмочку, Владимир Николаич?

— Нет,— твердо сказал дядя Володя.— Зачем? Мне и так хорошо. Выпил для настроения — и будет. Раньше не отказался ба... Ох, пил!.. Спомнить страшно.

— Не думаете сходиться-то? — спросила мать.

— Нет,— твердо сказал дядя Володя.— Дело прынципа: я первый на мировую не пойду.

Славка опять сделал удачный ход.

— Ну, Славка!..— изумился дядя Володя.

Мать незаметно дернула Славку за штанину. Славка протестующе дрыгнул ногой: он тоже вошел в азарт.

— Так, Славка...— Дядя Володя думал, сморщившись.— Так... А мы вот так!

Теперь Славка задумался.

— Детей-то проведуете? — расспрашивала мать.

— Проведую.— Дядя Володя закурил.— Дети есть дети. Я детей люблю.

— Жалеет счас небось?

— Жена-то? Тайно, конешно, жалеет. У меня счас без вычетов на руки выходит сто двадцать. И все целенькие. Площадь — тридцать восемь метров, обстановка... Сервант недавно купил за девяносто шесть рублей — любо глядеть. Домой приходишь — сердце радуется. Включишь телевизор, постановку какую-нибудь посмотришь... Хочу еще софу купить.

— Ходите,— сказал Славка.

Дядя Володя долго смотрел на фигуры, нахмурился, потрогал в задумчивости свой большой, слегка заалевший нос.

— Так, Славка... Ты так? А мы — так! Шахович. Софы есть чешские... Раздвижные — превосходные. Отпускные получу, обязательно возьму. И шкуру медвежью закажу...

— Сколько же шкура станет?

— Шкура? Рублей двадцать пять. У меня племянник часто в командировку на восток ездит, закажу ему, привезет.

— А волчья хуже? — спросил Славка.

— Волчья небось твердая,— сказала мать.

— Волчья вообще не идет для этого дела. Из волчьих дохи шьют. Мат, Славка.

Дождик перестал; за окном прояснилось. Воздух стал чистый и синий. Только далеко на горизонте громоздились темные тучи. Кое-где в домах зажглись огни.

Все трое некоторое время смотрели в окно, слушали глухие звуки улицы. Просторно и грустно было за окном.

— Завтра хороший день будет,— сказал дядя Володя.— Вон где солнышко село, небо зеленоватое: значит, хороший день будет.

— Зима скоро,— вздохнула мать.

— Это уж как положено. У вас батареи не затопили еще?

— Нет. Пора бы уж.

— С пятнадцатого затопят. Ну пошел. Пойду включу телевизор, постановку какую-нибудь посмотрю.

Мать смотрела на дядю Володю с таким выражением, как будто ждала, что он вот-вот возьмет и скажет что-то не про телевизор, не про софу, не про медвежью шкуру — что-то другое.

Дядя Володя надел фуражку, остановился у порога...

— Ну, до свиданья.

— До свиданья...

— Славка, а кубинский марш не умеешь?

— Нет,— сказал Славка.— Не проходили еще.

— Научись, сильная вещь. На вечера будут приглашать... Ну, до свиданья.

— До свиданья.

Дядя Володя вышел. Через две минуты он шел под окнами — высокий, сутулый, с большим носом. Шел и серьезно смотрел вперед.

— Руль,— с досадой сказала мать, глядя в окно.— Чего ходит?..

— Тоска,— сказал Славка.— Тоже ж один кукует.

Мать вздохнула и пошла в куть готовить ужин.

— Чего ходить тогда? — еще раз сказала она и сердито чиркнула спичкой по коробку.— Нечего и ходить тогда.

КРИТИКИ

Деду было семьдесят три, Петьке, внуку,— тринадцать. Дед был сухой и нервный и страдал глухотой. Петька, не по возрасту самостоятельный и длинный, был стыдлив и упрям. Они дружили.

Больше всего на свете они любили кино. Половина

дедовой пенсии уходила на билеты. Обычно, подсчитав к концу месяца деньги, дед горько и весело объявлял Петьке:

— Ухайдакали мы с тобой пять рубликов.

Петька для приличия делал удивленное лицо.

— Ничего, прокормют,— говорил дед (имелись в виду отец и мать Петьки. Дед Петьке доводился по отцу).— А нам с тобой это для пользы.

Садились всегда в первый ряд: дешевле, и потом там дед лучше слышал. Но все равно половину слов он не разбирал, а догадывался по губам актеров. Иногда случалось, что дед вдруг ни с того ни с сего начинал хохотать. А в зале никто не смеялся. Петька толкал его в бок и сердито шипел:

— Ты чего? Как дурак...

— А как он тут сказал? — спрашивал дед.

Петька шепотом пересказывал деду в самое ухо:

— Не снижая темпов.

— Хе-хе-хе,— негромко смеялся дед уже над собой.— А мне не так показалось.

Иногда дед плакал, когда кого-нибудь убивали невинного.

— Эх вы... люди! — горько шептал он и сморкался в платок. Вообще он любил высказаться по поводу того, что видел на экране. Когда там горячо целовались, например, он усмехался и шептал:

— От черти!.. Ты гляди, гляди... Хэх!

Если дрались, дед, вцепившись руками в стул, напряженно и внимательно следил за дракой (в молодости, говорят, он охотник был подраться. И умел).

— Нет, вон тот не... это... слабый. А этот ничего, верткий.

Впрочем, фальшь чуял.

— Ну-у,— обиженно говорил он,— это они понарошке.

— Так кровь же идет,— возражал Петька.

— Та-а... кровь. Ну и что? Нос, он же слабый: дай потихоньку, и то кровь пойдет. Это не в том дело.

— Ничего себе не в том!

— Конечно, не в том.

На них шикали сзади, и они умолкали.

Спор основной начинался, когда выходили из клуба. Особенно в отношении деревенских фильмов дед был категоричен до жестокости.

— Хреновина,— заявлял он.— Так не бывает.
— Почему не бывает?
— А что, тебе разве этот парень глянется?
— Какой парень?
— С гармошкой-то. Который в окно-то лазил.
— Он не лазил в окно,— поправлял Петька; он точно помнил все, что происходило в фильме, а дед путал, и это раздражало Петьку.— Он только к окну лез, чтобы спеть песню.
— Ну, лез. Я вон один раз, помню, полез было...
— А что, он тебе не глянется?
— Кто?
— Кто-кто!.. Ну парень-то, который лез-то. Сам же заговорил про него.
— Ни вот на столько.— Дед показывал кончик мизинца.— Ваня-дурачок какой-то. Поет и поет ходит... У нас Ваня-дурачок такой был — все пел ходил.
— Так он же любит! — начинал нервничать Петька.
— Ну и что, что любит?
— Ну и поет.
— А?
— Ну и поет, говорю!
— Да его бы давно на смех подняли, такого! Ему бы проходу не было. Он любит... Когда любют, то стыдятся. А этот трезвонит ходит по всёй деревне... Какая же дура пойдет за него! Он же несурьезный парень. Мы вон, помню: поглянется девка, так ты ее за две улицы обходишь — потому что совестно. Любит... Ну и люби на здоровье, но зачем же...
— Чего — зачем?
— Зачем же людей-то смешить? Мы вон, помню...
— Опять «мы, мы». Сейчас же люди-то другие стали!
— Чего это они другие-то стали? Всегда люди одинаковые. Ты у нас много видел таких дурачков?
— Это же кино все-таки. Нельзя же сравнивать.
— Я и не сравниваю. Я говорю, что парень непохожий, вот и все,— стоял на своем дед.
— Так всем же глянется! Смеялись же! Я даже и то смеялся.
— Ты маленький ишо, поэтому тебе все смешно. Я вот небось не засмеюсь где попало.
Со взрослыми дед редко спорил об искусстве — не умел. Начинал сразу нервничать, обзывался.
Один раз только крепко схлестнулся он со взрослы-

ми, и этот-то единственный раз и навлек на его голову беду.

Дело было так.

Посмотрели они с Петькой картину — комедию, вышли из клуба и дружно разложили ее по косточкам.

— И ведь что обидно: сами ржут, черти (актеры), а тут сидишь — хоть бы хны, даже усмешки нету! — горько возмущался дед.— У тебя была усмешка?

— Нет,— признался Петька.— Один раз только, когда они с машиной перевернулись.

— Ну вот! А ведь мы же деньги заплатили — два рубля по-старому! А они сами посмеялись, и все.

— Главное, пишут: «Комедия».

— Комедия!.. По зубам за такую комедию надавать.

Пришли домой злые.

А дома в это время смотрели по телевизору какую-то деревенскую картину. К ним в гости приехала Петькина тетя, сестра матери Петьки. С мужем. Из города. И вот все сидят и смотрят телевизор. (Дед и Петька «не переваривали» телевизор. «Это я, когда еще холостым был, а брат Микита женился, так вот я любил к ним в горницу через щелочку подглядывать. Так и телевизор ихний: все вроде как подглядываешь»,— сказал дед, посмотрев пару раз телевизионные передачи.)

Вот, значит, сидят все, смотрят.

Петька сразу ушел в прихожую учить уроки, а дед остановился за всеми, посмотрел минут пять на телевизорную мельтешню и заявил:

— Хреновина. Так не бывает.

Отец Петьки обиделся.

— Помолчи, тять, не мешай.

— Нет, это любопытно,— сказал городской вежливый мужчина.— Почему так не бывает, дедушка? Как не бывает?

— А?

— Он недослышит у нас,— пояснил Петькин отец.

— Я спросил: почему так не бывает?! А как бывает?! — громко повторил городской мужчина, заранее почему-то улыбаясь.

Дед презрительно посмотрел на него.

— Вот так и не бывает. Ты вот смотришь и думаешь, что он, правда, плотник, а я, когда глянул, сразу вижу: никакой он не плотник. Он даже топор правильно держать не умеет.

— Они у нас критики с Петькой,— сказал Петькин отец, желая немного смягчить резкий дедов тон.

— Любопытно,— опять заговорил городской.— А почему вы решили, что он топор неправильно держит?

— Да потому, что я сам всю жизнь плотничал. «Почему решили?»

— Дедушка,— встряла в разговор Петькина тетя,— а разве в этом дело?

— В чем?

— А мне вот гораздо интереснее сам человек. Понимаете? Я знаю, что это не настоящий плотник,— это актер, но мне инте... мне гораздо интереснее...

— Вот такие и пишут на студии,— опять с улыбкой сказал муж Петькиной тети. Они были очень умные и все знали — Петькина тетя и ее муж. Они улыбались, когда разговаривали с дедом. Деда это обозлило.

— Тебе не важно, а мне важно,— отрезал он.— Тебя им надуть — пара пустяков, а меня не надуют.

— Ха-ха-ха,— засмеялся городской человек.— Получила?

Петькина тетя тоже усмехнулась.

Петькиному отцу и Петькиной матери было очень неудобно за деда.

— Тебе ведь трудно угодить, тять,— сказал Петькин отец.— Иди лучше к Петьке, помоги ему.— Склонился к городскому человеку и негромко пояснил: — Помогает моему сыну уроки учить, а сам — ни в зуб ногой. Спорят друг с другом. Умора!

— Любопытный старик,— согласился городской человек.

Все опять стали смотреть картину, про деда забыли. Он стоял сзади как оплеванный. Постоял еще немного и пошел к Петьке.

— Смеются,— сказал он Петьке.

— Кто?

— Вон...— Дед кивнул в сторону горницы.— Ничего, говорят, ты не понимаешь, старый хрен. А они понимают!

— Не обращай внимания,— посоветовал Петька.

Дед присел к столу, помолчал. Потом опять заговорил.

— Ты, говорят, дурак, из ума выжил...

— Что, так и сказали?

— А?

— Так и сказали на тебя — дурак?

— Усмехаются сидят. Они шибко много понимают! — Дед постепенно «заводился», как выражался Петька.

— Не обращай внимания,— опять посоветовал Петька.

— Приехали... Грамотеи! — Дед встал, покопался у себя в сундуке, взял деньги и ушел.

Пришел через час пьяный.

—О-о! — удивился Петька (дед редко пил).— Ты чего это?

— Смотрют? — спросил дед.

— Смотрют. Не ходи к ним. Давай я тебя раздену. Зачем напился-то?

Дед грузно опустился на лавку.

— Они понимают, а мы с тобой не понимаем! — громко заговорил он.— Ты, говорят, дурак, дедушка! Ты ничего в жизни не понимаешь. А они понимают! Денег много?! — Дед уже кричал.— Если и много, то не подымай нос! А я честно всю жизнь горбатился!.. И я же теперь сиди, помалкивай. А ты сроду топора в руках не держал! — Дед разговаривал с дверью, за которой смотрели телевизор.

Петька растерялся.

— Не надо, деда, не надо,— успокаивал он деда.— Давай я тебя разую. Ну их!..

— Нет, постой, я ему скажу...— Дед хотел встать, но Петька удержал его.

— Не надо, деда!

— Финтифлюшки городские.— Дед как будто успокоился, притих.

Петька снял с него один сапог.

Но тут дед опять чего-то вскинул голову.

— Ты мне усмешечки строишь? — Опять глаза его безрассудно заблестели.— А я тебе одно слово могу сказать!..— Взял сапог и пошел в горницу. Петька не сумел удержать его.

Вошел дед в горницу, размахнулся и запустил сапогом в телевизор.

— Вот вам!.. И плотникам вашим!

Экран — вдребезги.

Все повскакали с мест. Петькина тетя даже взвизгнула.

— Усмешечки строить! — закричал дед.— А ты когда-нибудь топор держал в руках?!

Отец Петькин хотел взять деда в охапку, но тот ока-

зал сопротивление. С грохотом полетели стулья. Петькина тетя опять взвизгнула и вылетела на улицу.

Петькин отец все-таки одолел деда, заломил ему руки назад и стал связывать полотенцем.

— Удосужил ты меня, удосужил, родитель,— зло говорил он, накрепко стягивая руки деда.— Спасибо тебе.

Петька перепугался насмерть, смотрел на все это широко открытыми глазами. Городской человек стоял в сторонке и изредка покачивал головой. Мать Петьки подбирала с пола стекла.

— Удосужил ты меня...— все приговаривал отец Петьки и нехорошо скалился.

Дед лежал на полу вниз лицом, терся бородой о крашеную половицу и кричал:

— Ты мне усмешечки, а я тебе — одно слово!.. Слово скажу тебе, и ты замолкнешь. Если я дурак, как ты говоришь...

— Да разве я так говорил? — спросил городской мужчина.

— Не говорите вы с ним,— сказала мать Петьки.— Он сейчас совсем оглох. Бессовестный.

— Вы меня с собой за стол сажать не хочете — ладно! Но ты мне... Это — ладно, пускай! — кричал дед.— Но ты мне тогда скажи: ты хоть один сруб срубил за свою жизнь? А-а!.. А ты мне же говоришь, что я в плотниках не понимаю! А я половину этой деревни своими руками построил!..

— Удосужил, родимчик тебя возьми, удосужил,— приговаривал отец Петьки.

И тут вошли Петькина тетя и милиционер, здешний мужик, Ермолай Кибяков.

— Ого-го! — воскликнул Ермолай, широко улыбаясь.— Ты чего это, дядя Тимофей? А?

— Удосужил меня на радостях-то,— сказал отец Петьки, поднимаясь.

Милиционер хмыкнул, почесал ладонью подбородок и посмотрел на отца Петьки. Тот согласно кивнул головой и сказал:

— Надо. Пусть там переночует.

Ермолай снял фуражку, аккуратно повесил ее на гвоздик, достал из планшета лист бумаги, карандаш и присел к столу.

Дед притих.

Отец Петьки стал рассказывать, как все было. Ермо-

лай пригладил заскорузлой темной ладонью жидкие волосы на большой голове, кашлянул и стал писать, навалившись грудью на стол и наклонив голову влево.

«Гражданин Новоскольцев Тимофей Макарыч, одна тысяча...»

— Он с какого года рождения?

— С девяностого.

«Одна тысяча девяностого года рождения, плотник в бывшем, сейчас сидит на пенсии. Особых примет нету. ...Вышеуказанный Тимофей двадцать пятого сентября сего года заявился домой в состоянии крепкого алкоголя. В это время семья смотрела телевизор. И гости еще были».

— Как кинофильм назывался?

— Не знаю. Мы включили, когда там уже шло,— пояснил отец.— Про колхоз.

«...Заглавие фильма не помнят. Знают одно: про колхоз.

Тимофей тоже стал смотреть телевизор. Потом он сказал: «Таких плотников не бывает». Все попросили Тимофея оправиться. Но он продолжал возбужденное состояние. Опять сказал, что таких плотников не бывает, вранье, дескать. «Руки, говорит, у плотников совсем не такие». И стал совать свои руки. Его еще раз попросили оправиться. Тогда Тимофей снял с ноги правый сапог (размер 43—45, яловый) и произвел удар по телевизору. Само собой, вышиб все на свете, то есть там, где обычно бывает видно.

Старший сержант милиции КИБЯКОВ».

Ермолай встал, сложил протокол вдвое, спрятал в планшет.

— Пошли, дядя Тимофей!

Петька до последнего момента не понимал, что происходит. Но когда Кибяков и отец стали поднимать деда, он понял, что деда сейчас поведут в каталажку. Он громко заплакал и кинулся защищать его.

— Куда вы его?! Деда, куда они тебя!.. Не надо, тять, не давай!..

Отец оттолкнул Петьку, а Кибяков засмеялся.

— Жалко дедушку-то? Сча-ас мы его в тюрьму посадим. Сча-ас...

Петька заплакал еще громче. Мать увела его в уголок и стала уговаривать.

— Ничего не будет с ним, что ты плачешь-то? Переночует там ночь и придет. А завтра стыдно будет. Не плачь, сынок.

Деда обули и повели из избы. Петька заплакал навзрыд. Городская тетя подошла к ним и тоже стала уговаривать Петьку.

— Что ты, Петенька? В отрезвитель ведь его повели-то, в отрезвитель! Он же придет скоро. У нас в Москве знаешь сколько водят в отрезвитель!..

Петька вспомнил, что это она, тетя, привела милиционера, грубо оттолкнул ее от себя, залез на печку и там долго еще горько плакал, уткнувшись лицом в подушку.

КАК ПОМИРАЛ СТАРИК

Старик с утра начал маяться. Мучительная слабость навалилась... Слаб он был давно уж, с месяц, но сегодня какая-то особенная слабость — такая тоска под сердцем, так нехорошо, хоть плачь. Не то чтоб страшно сделалось, а удивительно: такой слабости никогда не было. То казалось, что отнялись ноги... Пошевелит пальцами — нет, шевелятся. То начинала терпнуть левая рука, шевелил ею — вроде ничего. Но какая слабость, господи!..

До полудня он терпел, ждал: может, отпустит, может, оживеет маленько под сердцем — может, покурить захочется или попить. Потом понял: это смерть.

— Мать... А мать! — позвал он старуху свою.— Это... помираю вить я.

— Господь с тобой!..— воскликнула старуха.— Ково там выдумываешь-то лежишь?

— Сняла бы как-нибудь меня отсудова. Шибко тяжко.— Старик лежал на печке.— Сыми.

— Одна-то я рази сыму. Сходить нешто за Егором?

— Сходи. Он дома ли?

— Даве крутился в ограде... Схожу.

Старуха оделась и вышла, впустив в избу белое морозное облако.

«Зимой хлопотно помирать-то»,— подумал старик.

Пришел Егор, соседский мужик.

— Мороз, язви ево! — сказал он.— Погоди, дядя Степан, маленько обогреюсь, тогда уж полезу к тебе. А то застужу. Тебе чево, хуже стало?

— Совсем плохо. Егор. Помираю.

— Ну, что ты уж сразу так!.. Не паникуй особо-то.

— Паникуй не паникуй — все. Шибко морозно-то?

— Градусов пятьдесят есть.— Егор закурил.— А снега на полях — шиш. Сгребают тракторами, но ково там!

— Может, подвалит ишо.

— Теперь уж навряд ли. Ну, давай слезать будем...

Старуха взбила на кровати подушку, поправила перину. Егор встал на припечек, подсунул руки под старика.

— Держись мне за шею-то... Вот так! Легкий-то какой стал!..

— Выхворался...

— Прям как ребенок. У меня Колька тяжельше...

Старика положили на кровать, накрыли тулупом.

— Может, папироску свернуть? — предложил Егор.

— Нет, неохота. Ах ты, господи,— вздохнул старик,— зимнее дело — помирать-то...

— Да брось ты! — сказал Егор серьезно.— Ты гони от себя эти мысли.— Он пододвинул табуретку к кровати, сел.— Меня на фронте-то вон как задело! Тоже думал — каюк. А доктор говорит: захочешь жить — будешь жить, не захочешь — не будешь. А я и говорить-то не мог. Лежу и думаю: «Кто же жить не хочет, чудак-человек?» Так што лежи и думай: «Буду жить!»

Старик слабо усмехнулся.

— Дай разок курну,— попросил он.

Егор дал. Старик затянулся и закашлялся. Долго кашлял...

— Прохудился весь... Дым-то, однако, в брюхо прошел.

— А где шибко-то болит? — спросила старуха, глядя на старика жалостливо и почему-то недовольно.

— Везде... Весь. Такая слабость, вроде всю кровь выцедили.

Помолчали все трое.

— Ну, пойду я, дядя Степан,— сказал Егор.— Скотинёшку попоить да ко́рма ей задать...

— Иди.

— Вечерком ишо зайду попроведую.

— Заходи.

Егор ушел.

— Слабость-то, она от чево? Не ешь, вот и слабость,— заметила старуха.— Может, зарубим курку — сварю бульону? Он ить скусный свеженькой-то... А?

Старик подумал.

— Не надо. И поисть не поем, а курку решим.

— Да бог уж с ей, с куркой! Не жалко ба...

— Не надо,— еще раз сказал старик.— Лучше дай мне полрюмки вина... Может, хоть маленько кровь-то заиграет.

— Не хуже ба...

— Ничо. Может, она хоть маленько заиграет.

Старуха достала из шкафа четвертинку, аккуратно заткнутую тряпочной пробкой. В четвертинке было чуть больше половины.

— Гляди, не хуже ба...

— Да когда с водки хуже бывает, ты чо! — Старика досада взяла.— Всю жись трясетесь над ей, а не понимаете: водка — это первое лекарство. Сундуки какие-то...

— Хоть счас-то не ерепенься! — тоже с досадой сказала старуха.— «Сундуки»... Одной уж ногой там стоит, а ишо шебаршит ково-то. Не велел доктор волноваться.

— Доктор... Они вон и помирать не велят, доктора-то, а люди помирают.

Старуха налила полрюмочки водки, дала старику. Тот хлебнул — и чуть не захлебнулся. Все обратно вылилось. Он долго лежал без движения. Потом с трудом сказал:

— Нет, видно, пей, пока пьется.

Старуха смотрела на него горько и жалостливо. Смотрела, смотрела и вдруг всхлипнула:

— Старик... а, не приведи господи, правда помрешь, чо же я одна-то делать стану?

Старик долго молчал, строго смотрел в потолок. Ему трудно было говорить. Но ему хотелось поговорить хорошо, обстоятельно.

— Перво-наперво: подай на Мишку на алименты. Скажи: «Отец помирал, велел тебе докормить мать до конца». Скажи. Если он, окаянный, не очухается, подавай на алименты. Стыд стыдом, а дожить тоже надо. Пусть лучше ему будет стыдно. Маньке напиши, штоб парнишку учила. Парнишка смышленый, весь «Интернационал» назубок знает. Скажи: «Отец велел учить».— Старик устал и долго опять лежал и смотрел в потолок. Выражение его лица было торжественным и строгим.

— А Петьке чево сказать? — спросила старуха, вытирая слезы; она тоже настроилась говорить серьезно и без слез.



— Петька?.. Петьку не трогай — он сам едва концы с концами сводит.

— Может, сварить бульону-то? Егор зарубит...

— Не надо.

— А чево, хуже становится?

— Так же. Дай отдохну маленько.— Старик закрыл глаза и медленно, тихо дышал. Он, правда, походил на

мертвеца: какая-то отрешенность, нездешний какой-то покой были на лице его.

— Степан! — позвала старуха.

— Мм?

— Ты не лежи так...

— Как не лежи, дура? Один помирает, а она — не лежи так. Как мне лежать-то? На карачках?

— Я позову Михеевну — пособорует?

— Пошли вы!.. Шибко он мне много добра сделал... Курку своей Михеевне задарма сунешь... Лучше эту курку-то Егору отдай — он мне могилку выдолбит. А то кто долбить-то станет?

— Найдутся небось...

— «Найдутся». Будешь потом по деревне полоскать — кому охота на таком морозе долбать. Зимнее дело... Што бы летом-то!

— Да ты чо уж, помираешь, што ли! Может, ишо оклемаисся.

— Счас — оклемался. Ноги вон стынут... Ох, господи, господи!..— Старик глубоко вздохнул.— Господи... тяжко, прости меня, грешного.

— Степан, ты покрепись маленько. Егор-то говорил: «Не думай всякие думы».

— Много он понимает! Он здоровый как бык. Ему скажи: не помирай — он не помрет.

— Ну, тада прости меня, старик, если я в чем виноватая...

— Бог простит,— сказал старик часто слышанную фразу. Ему еще что-то хотелось сказать, что-то очень нужное, но он как-то стал странно смотреть по сторонам, как-то нехорошо забеспокоился...

— Агнюша,— с трудом сказал он,— прости меня... я маленько заполошный был... А хлеб-то — рясный-рясный!.. А погляди-ко в углу-то кто? Кто там?

— Где, Степан?

— Да вон!..— Старик приподнялся на локте, каким-то жутким взглядом смотрел в угол избы — в передний.— Вон же она,— сказал он,— вон... Сидит-то?..

Егор пришел вечером...

На кровати лежал старик, заострив кверху белый нос. Старуха тихо плакала у его изголовья...

Егор снял шапку, подумал немного и перекрестился на икону.

— Да,— сказал он,— чуял он ее.

ХАХАЛЬ

Костя Жигунов ездил в командировку в краевой центр и там зашел к земляку своему Сашке Ковалеву.

Сашка работал на стройке, жил в общежитии, в комнате на двоих... Сашка шумно обрадовался гостю.

Сидели втроем, беседовали о том, о сем, о заработках.

— Сколько в среднем выходит? — спросил Костя.

— Сто пятьдесят самое большое... Больше не дадут заработать.

— Ну, братцы!.. Надо совесть иметь. Я техникум кончил, работаю завгаром и то столько не получаю.

— Сравнил! — только и сказали строители.— Город — это город.

— Как мои там? — поинтересовался Сашка.

— Давно их не видел... Сеструху, правда, видел раза два. Ничего вроде. Ты в отпуск-то приедешь?

— Не знаю. Пошли похахалим?

— Как это?

— Ну как?.. У меня одна есть, скажем ей, она приведет еще. А чего вечер зря пропадать будет. Пошли.

Костя женился лет пять назад и ни разу еще не изменил жене, даже как-то не думал об этом. Да и случая не было подходящего.

— Хм...

— Что? Пойдем?

— Нет, я ничего. Пошли.

Пошли. Это оказалось рядом — тоже общежитие, тоже с комнатами на двоих. «Во житуха-то! — подумал Костя.— И ходить далеко не надо».

Сашкин товарищ отвалил куда-то наособицу, а Сашка и Костя постучались в дверь, обитую дерматином.

— Пообивают двери — все казанки посшибаешь об эти скобки,— недовольно заметил Сашка.— Обили дверь — значит, проведи звонок! Так я понимаю. Нет, звонок стоит денюжку — пусть люди пальцы сшибают.

— Хахали. Ходят-то...

— А?

— Не люди, а хахали.

— К ним не одни хахали ходят.— Сашка опять постучал.

За дверью молчание.

— Может, нет дома?

— Дома. Голые ходят.— Сашка еще постучал в железную скобочку. И поморщился.

— Кто? — тоненько спросили из-за двери.

— Мы-ы! — тоже тоненько, передразнивая голосок, откликнулся Сашка.

— Сейчас!

— Я ж говорю, голые ходят.

— Почему голые-то?

— Ну, с работы пришли... Переодеваются, умываются.

— Тоже на стройке работают?

— Но.

— Может, мы не вовремя?

— Все в порядке,— успокоил Сашка. И крикнул: — Скоро вы там?

С той стороны двери щелкнула задвижка, хахали вошли. У Кости вдруг взволновалось сердце, когда он переступал запретный в его положении порог.

— Нинон? — удивился Сашка.— Ты приехала?

Нинон — рослая, чернобровая девушка, грудастая. Это она взволновала Костю.

В комнате жили две девушки — Нина и Валя. Костя сообразил: раз для Сашки новость, что Нина приехала, стало быть, его... хахалиха, что ли, Валя. Валя тоже милая девушка, но Нинон... Костя украдкой взглядывал на чернобровую, и ему не верилось, что просто так — ни за что ни про что, даром — судьба возьмет и подарит ему эту красавицу. Но похоже, что так: Сашка успел подмигнуть другу и показал глазами на Нину.

Сашка между тем молотил языком, и у него это получалось славно.

— Нина, ну как отдохнула?

— Хорошо, Саша. Очень хорошо.— Нина чуть ударяла на «о», выкругляла слова, подталкивала, и они катились — легко, как колесики.— Покупалась в речке... Ох, хорошо!

— Да где уж там хорошо-то? Скучно небось?

— Господи, а чего мне надо? Сходила в кино, раза три на танцы — не манит... В огороде больше копалась. За ягодами ходила.

Костя слушал девушку... И так бы и слушал, и слушал ее — не надоело бы. «Какое тут к черту хахальство! — подумал.— Тут впору жениться на такой».

Валя была побойчей, поострей на язык, немножко пустомеля.

— А у нас... Ты знала Зинку-то Хромову? Палка такая ходила, волосы седила...

— Но.

— Замуж вышла за Валерку Семенова. Бригадиром...

— Он же женат!

— Бросил. Позарился!.. Доска доской, ничегошеньки нет, и вот — пожалуйста.

— А дети были? У Валерки-то?

— Нет, не было. Он ходит теперь, треплется: я, мол, потому и бросил, что рожать не может. Ой!.. Посмотрим, сколь тебе эта жердь нарожает! Стыдно — вот и нашел отговорку.

«Да как же это к ним так ходят — к бабам, и все? — все больше удивлялся Костя.— Приврал, видно, Сашка, хвастнул. Не похожи они на таких... Обыкновенные девки, и рассуждения у них нормальные — женские».

Сашка торопил события.

— Давайте — знаете что? — выпьем! — предложил он. Отчаянная головушка.— Ко мне как-никак друг приехал...

К изумлению Кости, девушки легко согласились.

— Валюха, мы — в магазинус, Нинон с Костей — соображают насчет картошки. Быстро! Душа горит.

И Нинон с Костей остались одни.

«Ну и что я должен делать? — растерялся Костя.— Анекдот, что ли, какой-нибудь рассказать?»

Перебрал в памяти анекдоты, какие знал — не годятся.

Нина расстелила на полу у двери газету и принялась чистить картошку.

— Вы в командировку, что ли? — спросила она.

— Ага. Надо...

Замолчали.

«Ну и фраер же я! — мучился Костя.— Совсем язык проглотил». Долго молчали.

— Зинка-то! — вдруг сказала Нина.— Надо же... замуж вышла.— И покачала головой. И усмехнулась.

«О-о! — ужаснулся Костя.— Это ж она при мне... сама с собой разговаривает. Понял? За табуретку меня принимает».

— У нас недавно случай был,— заговорил он.— Пошли бабы за малиной на остров... Берут. А с той стороны острова — протока, она летом мелеет здорово. Ну, медведь и перешел ее...

— Медведь?

— Медведь. Перебрел, значит, и тоже — к малинке, они любят ее. А одна баба у нас есть, смешная такая!.. Наткнулась на рясный куст и успевает в две руки, и успевает. Вдруг слышит: с той стороны кто-то подошел к кусту... А куст-то большой — не видно. А она, баба-то, и говорит: «Это ты, Нюра?» Думала, товарка с той стороны подошла. А медведь-то как рявкнет!..— Костя засмеялся. Нина слушала.— Как он рявкнул, баба бросила ведро и бежать. Бежит и орет дурным голосом: «Мишенька, у меня дети маленькие!» — Костя опять засмеялся, долго смеялся, представив, как летела по кустам перепуганная баба.

— А он что, он за ней, что ли?

— Медведь? Да нет, он в другую сторону побежал — к протоке. Он сам напугался. А ей казалось, что он следом бежит. Вот она и кричала про детей...

— Закричишь.— Нина так и не посмеялась.— Шутка в деле — медведь! — И продолжала чистить картошку.— Нет, у нас их нету. У нас — змеи.

— Гадюки?

— Но. Да большие! Тоже — берешь ягоду-то, а сама думаешь: «Ох, чикнет сейчас, ох, чикнет».

— Надо ежей разводить. Вот где-то, в Болгарии кажется, змей в одном месте было — кишели. А место само по себе очень здоровое — хорошо бы курортов настроить. Так они что сделали: взяли ежей там развели, и все.

— Дак они что, едят змей?

— Еще как! Ежи и свиньи — жрут за милую душу. Кабаны еще дикие — тоже едят. У меня брательник на Кавказе служит, один случай в письме описывал. С кабанами связано. Значит, один колхоз держал свиней на откорме где-то... подальше от жилья. Ну, и они паслись, ходили одни, а к вечеру сами приходили в загон. А однажды они не пришли к загону. Выяснилось, что они встретились где-то с дикими кабанами и те сманили их

с собой. Суток трое их не было... Искали, но без толку: далеко куда-то ушли. Потом пришли, но не все. Из тысячи, кажется, штук пятьсот вернулось только...

— А те остались?

— Те остались. Но эти, которые вернулись, такой приплод принесли, что колхоз даже обрадовался.

Нина засмеялась.

— Вот, говорят: нет худа без добра.

— Да. Еще говорят: не было бы счастья, да несчастье помогло. У меня зять помер с такой поговоркой.

— Как же это?

— Да у него голова что-то болела... Болит и болит голова, ну, а к врачу, знаете, все некогда, да, может, обойдется... А тут — дотерпел, что сознание потерял. Ну, его в больницу. Сеструха потом рассказывала: «Прихожу, говорит, к нему, а он мне и говорит: «Вот, говорит, не было бы счастья, да несчастье помогло. Теперь хоть вылечусь». Рад был, что в больницу попал. Веселый лежал... Потом помер. А жили они за Новосибирском, далеко. Ну что: надо ехать за ним. Он был из нашего села, Сашка его знал. Хоронить надо на родине. Я поехал. А было начало ноября, река только становилась. А мост у нас был наплавной, к зиме его разбирали. Самая распутица. Я туда-то на моторке пробился, а оттуда — это уже дня через четыре: реку уже схватило. Пешие ходят, досок накидали — ничего. А с гробом-то как? Ну, я сестру с ребятишками перевел по доскам, а сам вернулся, нанял подводу и поехал вверх по реке — там, сказали, схватило покрепче. И вот мы с возчиком выбрали такое место — вроде ничего, можно. Разогнали коня, а сами — в стороны от саней. Лед трещит, гнется, мы бежим и со стороны орем на коня... А он сам уж — дай бог ноги, самому охота живому до берега добежать. Как переехали, не знаю. Хороший мужик был, зять-то. Жалко. Тридцать три года всего было. Двое детей осталось...

Эта грустная история рассказана была, как понял сам Костя, совсем некстати. Он замолчал. На какое-то время он забыл и про Нину, и зачем он пришел сюда — вспомнил Дмитрия, зятя... Ребятишек-племяшей вспомнил... И совестно стало. Закурил.

И в это время пришли Сашка с Валей. Пришли веселые. Сашка вовсю дурачился.

— Спорим? — кричал он.— Давай спорить!

— Чего вы? — спросила Нина.

— Она не верит, что я могу выпить бутылку вина, не держась руками.

— Кто спорит, тот...

— Да это мы слышали! Мне только напиваться неохота, а то бы я показал.

— А как это?

— Вон чайник, да? Я б сейчас вино вылил в него, носик в зубы и...

— А-а.

— Вот те и «а-а». Ну, как тут у вас?

— Я еще картошку только начистила.

— Ну-у, товарищи!.. Чем вы тут занимались, не знаю. Не знаю. Нинон, чем вы тут занимались?

«Трепач,— с яростью подумал Костя.— Носик в зубы...»

— Долго с этой картошкой,— сказала Валя.— Ну ее к черту! Закусим чем-нибудь...

— Идея! — подхватил Сашка.— Выпьем и пойдем на танцы.

Нина остановилась с тазиком в руках.

— Ну?

— Как, Костя?

— Да мне-то, господи!.. Нужна мне эта картошка.

Так и порешили — не возиться с картошкой. Сели за стол.

После двух стаканов вина Косте стало веселей.

— А где тут у вас танцы? Далеко?

— В парке.

— Пойдем, Нина?

— Мне что-то неохота. Не манит. Можно сходить, только я танцевать не буду.

— Почему?

— Не умею, как они. Совестно.

— Ерунда! — раздухарился Костя.— Я могу не хуже их.

До парка решили идти пешком.

Валя с Сашкой шли впереди, Нина с Костей сзади.

Костя начал помаленьку растрачивать веселье из груди. Опять подступали неловкость и стыд, и как он себя ни взбадривал, как ни старался настроиться на беспечность — не получалось. Он взял Нину под руку и шел так, молчал. Зато Сашка впереди строчил, как из пулемета. Валя то и дело смеялась громко. Костя завидовал земляку и понимал, что только так и нужно сейчас —

нести околесицу, чтоб уши вяли. Только так и надо. Но Костя боялся, что если он начнет говорить, то его опять поведет куда-нибудь не туда. Про гроб начал давеча!..

— Расскажи чего-нибудь,— попросил он Нину.

— Чего рассказать?

— Ну... веселое что-нибудь. А то со мной с тоски завянешь.

— А я вот так вот люблю: ходить и смотреть на людей. И отгадывать про них...

— Ты что, ворожейка? — Костя засмеялся насильственно и снова остро почувствовал, что это глупо, что он хихикает.

— Не ворожейка,— серьезно сказала Нина,— просто хожу и отгадываю: вот у этого горе какое-то, а этому — только до постели добраться, с работы идет. А другому, посмотришь, ничегошеньки не надо: куда-нибудь придет...

«Это она про меня, наверно».

— Знаешь,— сказала вдруг Нина, останавливаясь.— Пойдем на реку. Там хорошо.

— А они?

— А что они?

— Ничего? Оставим-то их...

— Ничего.— Нина посмотрела на своего кавалера, и тому показалось, что она усмехнулась.

«Ну, давай, Костя,— серьезно подумал он,— не будь же уж совсем-то чумичкой: девка сама подсказывает. Совсем, что ли, баран?»

— У меня там скамеечка есть... Сидишь, думаешь... Хорошо. Иной раз дотемна досидишь.

— Одна? — Костя только что не взбрыкнул — так ему хотелось показаться игривым.

— Одна.

— О чем мысли?

— Не знаю.

— Вот это да! Как же так? Сидеть, думать, а о чем — не знаю.

— Не знаю. Сижу — вроде думаю, а спроси вот так — не знаю, о чем. Может, вспоминаю... Я маленькая бойкая была, в школе озоровала...

— А теперь?

— Теперь другая.

— Замуж пора,— брякнул Костя.

— Была,— просто сказала Нина.

— Была? Где, здесь?

— Здесь. Полтора года была замужняя женщина...
— Ну?
— Теперь нет. Опять, вишь, на танцы хожу.
— А почему?
— Разошлись.
— Как так?
— Что?
— Почему разошлись-то?
— Не надо об этом,— попросила Нина.— Не бывает, что ли?

Не скажешь, чтобы в голосе ее слышалась грусть или скорбь, но была в ее голосе, глубоко спокойном, усталость. Как будто накричался человек на том берегу реки, долго звал, потом сказал себе тихо, без боли: «Не слышат».

Некоторое время шли молча.

Шли по набережной. Нина смотрела на воду, Костя сбоку разглядывал ее. И досмотрелся до того, что забыл неловкость и крепко прижал ее руку к своему боку. Нина повернулась к нему...

— Почему разошлись-то? — вылетело у Кости. Он не хотел больше об этом. Он чуть не взвыл от отчаяния. Вовсе ему неинтересно было знать, из-за чего разошлись Нина с мужем. И ведь хотел-то он сказать что-нибудь доброе, ласковое, а... Тьфу!

Нина усмехнулась... И ничего не сказала.

Между тем подошли к той самой скамеечке, где любила сидеть Нина. Сели.

За домами на той стороне садилось солнце. Небо было темное, мутное, река черная... А там, где садилось солнце, обозначился слабый румянец зари. По обоим берегам зажглись на столбах огни, и по воде, поперек реки, заструились тоненькие светлые вилюшки... Наносило холодом от воды. Костя снял пиджак и накинул на плечи Нины. Когда накидывал, то хотел тут же и приобнять ее... Нина спокойно отстранилась и спокойно сказала:

— Не надо.

С удовольствием устроилась удобней в пиджаке и продолжала смотреть на воду. Костя закурил.

Долго молчали.

— Домой-то не лучше уехать? — сказал Костя.

— Все равно,— не сразу откликнулась Нина. Помолчала и еще сказала: — Устала я как-то.

— Домой надо,— опять сказал Костя.

— Дома хорошо,— согласилась Нина.

— Тебе сколько лет?

— Двадцать три.

Костя не знал, о чем еще говорить. Замолчал. Но теперь почему-то не мучился, что молчит.

«Обязательно тискаться, что ли?» — подумал сердито.

Слабый румянец за рекой погас. В той стороне на небе светлела только одна бледная пролысинка Вода сделалась совсем черной, маслянисто-черной, неслышно текла на середине, а здесь, у берега, сонно покачивалась, лизала жирный гранит, вздыхала.

— Пошли потихоньку к дому,— сказала Нина. И поднялась.— Не холодно без пиджака-то?

— Нет.

— Ну, пойду в нем. Зябко.

— Не простыла?

— Нет, так чего-то.

Тихонько шли до общежития.

Костя и сам сейчас — не то думал, не то вспоминал что-то такое. Вообще грустно было.

— Пришли,— сказала Нина.

— Сашку я уж теперь не дождусь...

— Они долго будут.

— Скажи, что я ушел в гостиницу. А завтра — домой.

— Счастливо.

Костя пожал крепкую ладонь девушки. Задержал ее в своей руке. Нина улыбнулась, отняла руку, еще сказала:

— Счастливо.— И пошла. И ушла в подъезд, не оглянулась.

Костя пошел наугад переулками — потом где-нибудь на большой улице можно спросить, как пройти к гостинице. Думал о Нине... Шевельнулось в груди нечто вроде жалости к ней — или он попробовал пожалеть? — очень захотелось, чтоб у ней в жизни случилась бы какая-нибудь радость.

«Все мы какие-то»,— подумал он и о себе. И не додумал. Стал слушать: где-то во дворе или в переулке молодые девичьи голоса тянули:

...Мою печа-аль, мою печа-аль.
А я такой, что за тобо-ою
Могу пойти в любую даль.
А я тако-ой...

— Пойдешь, пойдешь,— сказал Костя вслух. И встряхнулся, точно хотел смахнуть с себя стыд и бестолочь сегодняшнего вечера — вспомнил свои рассказы про медведя, про гроб...— Тьфу!

НАКАЗ

Молодого Григория Думнова, тридцатилетнего, выбрали председателем колхоза. Собрание было шумным; сперва было заколебались — не молод ли? Но потом за эту же самую молодость так принялись хвалить Григория, что и самому ему, и тем, кто приехал рекомендовать его в председатели, стало даже неловко. Словом, выбрали.

Поздно вечером домой к Григорию пришел дядя его Максим Думнов, пожилой крупный человек с влажными веселыми глазами. Максим был слегка «на взводе», заявился шумно.

— Обмыва-ать! — потребовал Максим, тяжело привалившись боком к столу.— А-а?.. Как мы тебя — на руках подсадили! Сиди! Сиди крепко!..— Он весело смотрел на племянника, гордый за него. И за себя почему-то.— Сам сиди крепко и других — вот так вот держи! — Максим сжал кулак, показал, как надо держать других.— Понял?

Григорий не обрадовался гостю, но понимал, что это неизбежно: кто-нибудь да явится, и надо соблюсти этот дурацкий обычай — обмыть новую должность. Должность как раз сулила жизнь нелегкую, хлопотную, Григорий не сразу и согласился на нее... Но это не суть важно, важно, что тебя — выбирали, выбрали, говорили про тебя всякие хорошие слова... Теперь изволь набраться терпения, благодарности — послушай, как надо жить и как руководить коллективом.

Максим сразу с этого и начал — с коллектива.

— Ну, Григорий, теперь крой всех. Понял? Я, мол, кто вам? Вот так: сядь, мол, и сиди. И слушай, что я тебе говорить буду.

Григорий понимал, что надо бы все это вытерпеть — покивать головой, выпить рюмку-другую и выпроводить довольного гостя. Но он почему-то вдруг возмутился.

— Почему крыть-то? — спросил он, не скрывая раздражения.— Что за чертова какая-то формула: «крой

всех!..» И ведь какая живучая! Крой — и все. Хоть плачь, но крой. Почему крыть-то?!

— А как же? — искренне не понял Максим.— Ты что? Как же ты руководить-то собрался?

— Головой! — Григорий больше и больше раздражался, тем более раздражался, что Максим не просто бубнил по пьяному делу, а проявил убежденность и при этом смотрел на Григория, как на молодого несмышленыша.

— Головой я руководить собрался, головой.

— Ну-у!.. Головой-то многие собирались, только не вышло.

— Значит, головы не хватало.

— Хватало! Не ты один такой умница, были и другие.

— Ну? И что?

— Ничего. Ничего не вышло, и все.

— Почему же?

— Потому что к голове... твердость нужна, характер.

— Да мало у нас их было, твердых-то?! От кого мы стонали-то, не от твердых?

— Ладно,— согласился Максим. Спор увлек его, он даже не обратил внимания, что на столе у племянника до сих пор пусто.— Ладно. Вот, допустим, ты ему сказал: «Сделай то-то и то-то». А он тебе на это: «Не хочу». Все. Что ты ему на это?

— Надо вести дело так, чтоб ему... не знаю — стыдно, что ли, стало.

Максим Думнов растянул в добродушной улыбке рот.

— Так... Дальше?

— Не стыдно, нет,— сказал Григорий, поняв, что это, верно что, не аргумент.— Надо, чтоб ему это невыгодно было экономически.

— Так, так,— покивал Максим. И, не задумываясь, словно он держал этот пример наготове, рассказал: — Вот у нас пастух, Климка Стебунов, пропас наших коров два месяца, собрал деньги и послал нас всех... «Не хочу!» И все. А ведь ему экономически вон как выгодно! Знаешь, сколько он за два месяца слупил с нас? Пятьсот семьдесят пять рублей! Где он такие деньги заработает? Нигде. А он все равно не хочет. Ну-ка, раскинь головой: как нам теперь быть?

— Ну, и как вы?

— Пасем пока по очереди... Кому позарез некогда, тот нанимает за себя. Но так ведь дальше-то тоже нельзя.

— А где этот Климка?

— Гуляет, где! Пропьет все до копейки, опять придет... И мы опять его, как доброго, примем. Да еще каждый будет стараться, как накормить его получше. А его, по-хорошему-то, гнать бы надо в три шеи. Вот тебе и экономика, милый Гриша. Окончи ты еще три института, а как быть с Климкой, все равно не будешь знать. Тем более что он — трудовой инвалид.

Григорий поубавил наступательный разгон, решил, что, пожалуй, стоит поговорить повнимательней.

— Погоди. Ну, а как бы ты поступил, будь ты хозяин... то есть, не хозяин, а...

— Понимаю, понимаю. Как? Пришел бы к нему домой, к подлецу... От него дома-то все плачут! «Вот что, милый друг, двадцать четыре часа тебе: или выходи коров пасти, или выселяем тебя из деревни». Все.

— Как же ты так? Сам же говоришь, он инвалид...

— Нам известно, как он инвалидом сделался: по своей халатности...

— А как?

— На вилы со стога прыгнул. Надо смотреть, куда прыгаешь. Но я ведь тебе не говорю, что я имею право его выселить. Ты спросил, как бы я действовал на твоем месте, я и прикидываю. Перво-наперво я бы его напугал насмерть. Нашел бы способ! Подговорил бы милиционера, подъехали бы к нему на коляске: «Садись, поедем протокол составлять об твоем выселении». Я же знаю Климку: сразу в штаны наложит. Завтра же до света помчится со своей дудкой коров собирать. Ничем больше Климку не взять. Проси ты его, не проси — бесполезно. Экономику эту он тоже... у него своя экономика: он рублей триста домой отдал, семье, а двести с лишним себе оставил и прикинул, на сколько ему хватит. Недели на две хватит: он хоть и гуляет, а угостить из своего кармана шиш кого угостит.

Григорий задумался. Ведь и правда, завтра же перед ним станет вопрос: как быть со стадом колхозников? А как быть?

— Так что, неужели никого больше нельзя заинтересовать?

— А кого?! — воскликнул Максим.— Мужики помоложе да покрепче, они все у дела — все почти механизаторы, совсем молодой — тот посовестится пастухом, бабу какую-нибудь?.. У каждой семья, тоже не может. Вот и

беда-то — некому больше. Я бы пошел, но староват уже гоняться-то там за имя по косогорам. Вот видишь, я тебе один маленький пример привел, и ты уже задумался.— Максим весело посмотрел на племяша, дотянулся к нему, хлопнул по плечу.— Не журись! Однако прислушайся к моему совету: будь покруче с людями. Люди, они ведь... Эх-х! Давай-ка по рюмочке пропустим, а то у меня аж в горле высохло: целую речь тут тебе закатил.

Григорий хотел позвать жену из горницы, чтоб она собрала чего-нибудь на стол, но Максим остановил.

— Не надо, пусть она там ребятишек укладывает. Мы сами тут чего-нибудь...

Григорий достал что надо, они налили по рюмочке, но пить не стали пока, закурили.

— Я ведь по глазам вижу, Гриша: сперва окрысился на меня — пришел, дескать, ученого учить! А я просто радый за тебя, пришел от души поздравить. Ну, и посоветовать... Я как-никак жизнь доживаю, всякого повидал.— Максим склонил массивную седую голову, помолчал... И Григорий подумал в эту минуту, что дядя его, правда, повидал всякого: две войны отломал, на последней был ранен, попал в плен. Потом, после войны, долго выясняли, при каких обстоятельствах он попал в плен... А пока это выясняли, жена его, трактористка-стахановка, заявила тут, что отныне она не считает себя женой предателя, и всенародно прокляла тот день и час, в какой судьба свела их. И вышла за другого фронтовика. Все это надо было вынести, и Максим вынес.— Да,— сказал Максим,— вот такие наши дела. Давай-ка...

Они выпили, закусили, снова закурили. Максиму стало легче, он вернулся к разговору.

— Вся беда наша, Григорий, что мужик наш середки в жизни не знает. Вот я был в Германии... Само собой, гоняли нас на работу, а работать приходилось с ихными же рядом, с немцами. Я к ним и пригляделся. Тут... хошь не хошь, а приглядишься. И вот я какой вывод для себя сделал: немца, его как с малолетства на середку нацелили, так он живет всю жизнь — посередке. Ни он тебе не напьется, хотя и выпьет, и песню даже затянут... Но до края он никогда не дойдет. Нет. И работать по-нашенски — чертомелить — он тоже не будет: с такого-то часа и до такого-то, все. Дальше, хоть ты лопни, не заставишь его работать. Но свои часы отведет аккуратно — честь по чести,— они работать умеют, и свою выгоду... экономику,

как ты говоришь, он в голове держит. Но и вот таких, как Климка Стебунов, там тоже нету. Их там и быть не может. Его там засмеют, такого, он сам не выдержит. Да он там и не уродится такой, вот штука. А у нас ведь как: живут рядом, никаких условиев особых нету ни для одного, ни для другого, все одинаково. Но один, смотришь, живет, все у него есть, все припасено... Другой только косится на этого, на справного-то, да подсчитывает, сколько у него чего. Наспроть меня Геночка вон живет Байкалов... Молодой мужик, здоровый — ходит через день в пекарню, слесарит там чего-то. И вся работа. Я ему: «Генк, да неужель ты это работой щитаешь?» — «А что же это такое?» — «Это, мол, у нас раньше называлось: смолить да к стенке становить». Вот так работа, елкина мать! Сходит, семь болтов подвернет, а на другой день и вовсе не идет: и эта-то, такая-то работа,— через день! Во, как!

— Сколько же он получает? — поинтересовался Григорий.

— Восемьдесят пять рублей. Хуже бабы худой. Доярки вон в три раза больше получают. А Генке — как с гуся вода: не совестно, ничего. Ну, ладно, другой бы, раз такое дело, по дому бы чего-то делал. Дак он и дома ни хрена не делает! День-деньской на реке пропадает — рыбачит. И ничего ему не надо и ни об чем душа не болит... Даже завидки берут, ей-богу. Теперь — другой край: ты Митьшу-то Стебунова знаешь ведь? — Максим сам вдруг подивился совпадению: — Они как раз родня с Климкой-то Стебуновым, они же братья сродные! Хэх... Вот тебе и пример к моим словам: один всю жизнь груши околачивает, другой... на другого я без уважения глядеть не могу, аж слеза прошибет иной раз: до того работает, сердешный, до того вкалывает, что приедет с пашни — ни глаз, ни рожи не видать, весь черный. И, думаешь, из-за жадности? Нет — такой характер. Я его спрашивал: «Чего уж так хлешешся-то, Митьша?» — «А,— говорит,— больше не знаю, что делать. Не знаю, куда девать себя». Пить опасается: начнешь пить, не остановишься...

— Что, так и говорит: начну, значит, не остановлюсь?

— Так и говорит. «Если уж, говорит, пить, так пить, а так даже и затеваться неохота. Лучше уж вовсе не пить, чем по губам-то мазать». Он справедливый мужик, зря говорить не станет. Вот ведь мы какие... заковыристые.— Максим помолчал, поиграл ногтями об рюмочку...

качнул головой: — Но все же это только последнее время так народ избаловался. Техника!.. Она доведет нас, что мы — или рахитами все сделаемся, или от ожирения сердца будем помирать лет в сорок. Ты гляди только, какие мужики-то пошли жирные! Стыд и страм глядеть. Иде-ет, как баба брюхатая. «Передай привет, три года не вижу». Ведь он тебе счас километра пешком не пройдет — на машине, на мотоцикле. А как бывало... Мы вот с отцом твоим, покойником, как? День косишь, а вечером в деревню охота — с девками поиграть. А покосы-то вон где были! — за вторым перешейком, добрых пятнадцать верст. А коня-то кто тебе даст? Кони пасутся. Вот как откосимся, повечеряем — и в деревню. В деревне чуть не до свету прохороводишься — и опять на покос. Придешь бывало, а там уж поднялись — косить налаживаются. И опять на полдня...

— Когда же вы спали-то?

— А днем. В пекло-то в самое не косили же. Залезешь в шалаш — и умер. Насилу добудются потом. Помню, Ванька... Иван, отец твой, один раз таким убойным сном заснул, что не могут никак разбудить. Чего только с им не делали!.. Штаны сняли, по поляне катали — спит, и все. Тятя разозлился: «Счас, говорит, бич возьму да бичом скорей добужусь!» Я уж щекотать его начал, ну, кое-как продрал глаза. А то никак! — Максим посмеялся, покачал головой, задумался: вспомнил то далекое-далекое, милое сердцу время. И Григорий тоже задумался: он плохо помнил отца, тот вскоре после войны умер от ран, Григорий хранил о нем светлую память. Долго молчали.

— Да,— сказал Григорий.— Но с техникой — это ты зря. Что же, весь свет будет на машинах, а мы... в ночь по тридцать верст пешака давать? Тут ты тоже... в крайность ударился. Но про середку — это, пожалуй, не лишено смысла. А?

— Не лишено, нет. Налей-ка, да я тебе еще одну поучительную историю расскажу. Ты ничего, спать не хошь?

— Нет, нет, Давай историю.

Максим пододвинул к себе рюмку, задумчиво посмотрел на нее и отодвинул.

— Потом выпью, а то худо расскажу. Я ведь шел к тебе, эту историю держал в голове, расскажу, думаю, Гришке — сгодится. Это даже не история, а так — из детства тоже из нашего. Но она тебе может сгодиться — она

тоже... как сказать, про руководителя: каким надо быть руководителем-то.— Максим посмотрел на племянника не то весело, не то насмешливо... Григорию показалось — насмешливо. Дядя вроде подсмеивался над его избранием в руководители. У Григория даже шевельнулось в душе протестующее чувство, но он смолчал. В этот вечер он как-то по-новому узнал дядю. «Сколько же, оказывается, передумала эта голова! — изумлялся он, взглядывая на Максима.— Ничего не принял мужик на голую веру, обо всем думал, с чем не согласен был, про то молчал. Да и не спорщик он, не хвастал умом, но правду, похоже, всегда знал».

— Было нам... лет по пятнадцать, может, поменьше,— стал рассказывать Максим.— Деревня наша, не деревня — село, в старину было большое, края были: Мордва, Низовка, Дикари, Баклань...

— Это я еще помню,— подсказал Григорий.

— А, ну да,— согласился Максим.— Я все забываю, что тебе уж тоже за тридцать, должен помнить. Ну, вот. И вот дрались мы — край на край — страшное дело. Чего делили, черт его в душу знает. До нас так было, ну и мы... Дрались несусветно. Это уж ты не помнишь, при Советской власти это утихать стало. А тогда просто... это... страшное дело что творилось. Головы друг другу гирьками проламывали. Как какой праздник, так, глядишь, кого-нибудь изувечили. Ну, а жили-то мы в Низовке, а Низовка враждовала с Мордвой, и мордовские нас били: больше их было, что ли, потом они все какие-то... черт их знает — какие-то были здоровые. Спуску мы тоже не давали... У нас один Митька Куксин, тот черту рога выломит — до того верткий был парень. Но все же ордой они нас одолевали. Бывало, девку в Мордве лучше не заводи: и девке попадет, и тебе ребра перещитают. И вот приехал к нам один парнишечка, наш годок, а ростиком куда меньше, замухрышка, можно сказать. Теперь вот слушай внимательно! — Максим даже и пальцем покачал в знак того, чтоб племяш слушал внимательно.— Тут самое главное. Приехал этот мальчишечка... Приехали они откуда-то из Черни, с гор, но — русские. Парнишечку того звали Ванькой. Такой — шшербатенький, невысокого росточка, как я сказал, но — подсадистый, рука такая... вроде не страшная, а махнет — с ног полетишь. Но дело не в руке, Гриша. Я потом много раз споминал этого Ваньку, перед глазами он у меня стоял: душа была

стойкая. Ах, стойкая была душа! Поселились они в нашем краю, в Низовке, ну, мордовские его один раз где-то прищучили: побили. Ладно, побили и побили. Он даже и не сказал никому про это. А с нами уже подружился. И один раз и говорит: «Чо эт вы от мордовских-то бегаете?» — «Да оно ведь как, мол? — привыкли и бегаем».— Максим без горечи негромко посмеялся.— Счас смешно... Да. Ну, давай он нам беса подпускать: разжигать начал. Да ведь говорить умел, окаянный! Разжег! Оно, конечно, пятнадцатилетних раззудить на драку — это, может, и нехитрое дело, но... все же. Тут мно-ого разных тонкостей! Во-первых, мы же лучше его знали, какие наши ресурсы, так сказать, потом — это не первый год у нас тянулось, мы не раз и не два пробовали дать мордовским, но никогда не получалось. И вот все же сумел он нас обработать, позабыли мы про все свои поражения и пошли. Да так, знаешь, весело пошли! Сошлись мы с имя на острове... спроть фермы островок был, Облепишный звали. Счас там никакого острова нет, а тогда островок был. Мелко, правда, но штаны надо снимать — перебродить-то. Перебрели мы туда... Договорились, что ничего в руках не будет: ни камней, ни гирек, ничего. И пошли хлестаться. Ох, и полосовались же! Аж спомнить — и то весело. Аж счас руками задвигал, ей-богу! — Максим тряхнул головой, выпил из рюмки, негромко кхэкнул — помнил, что в горнице улеглись ко сну дети Григория и жена. И продолжал тоже негромко, с тихим азартом: — Как мы ни пластались, а опять они нас погнали. А погнали куда? К воде. Больше некуда. Мы и сыпанули через протоку... Те за нами. И тут, слышим, наш шшербатенький Ванька ка-ак заорет: «Стой, в господа, в душу!.. Куда?!» Глядим, кинулся один на мордовских... Ну, это, я тебе скажу, видеть надо было. Много я потом всякого повидал, но такого больше не приходилось. Я и драться дрался, а глаз с Ваньки не спускал. Ведь не то что напролом человек пер, как пьяные, бывает, он стерегся. Мордовские смекнули, кто у нас гвоздь-то заглавный, и давай на него. Ванька на ходу прямо подставил одного, другого вокруг себя — с боков, со спины — не допускайте, говорит, чтоб сшибли, а то развалимся. Как, скажи, он училище какое кончал по этому делу! Ну, полоскаемся... А в протоке уж дело-то происходит, на виду у всей деревни. Народ на берег сбежался — глядят. А нам уж ни до чего нет дела — целое сражение идет. С нас и вода и кровь текет.

Мордовские тоже уперлись, тоже не гнутся. И у нас — откуда сила взялась! Прямо насмерть схватились! Не знаю, чем бы это дело закончилось, может, мужики разогнали бы нас кольями, так бывало. Переломил это наше равновесие все тот же Ванька шшербатый. То мы дрались молчком, а тут он начал приговаривать. Достанет какого и приговаривает: «Ах, ты, головушка моя бедная! Арбуз какой-то, не голова». Опять достанет: «Ах, ты, милашечка ты мой, а хлебни-ка водицы!» Нам и смех, и силы вроде прибавляет. Загнали мы их опять на остров... И все, с этих пор они над нами больше не тешились. Вот какая штука, Григорий! Один завелся — и готово дело, все перестроил. Вот это был — руководитель. Врожденный.

— Мда,— молвил Григорий; история эта не показалась ему поучительной. Ни поучительной, ни значительной. Но он не стал огорчать дядю.— Интересно.

Максим уловил, однако, что не донес до племянника, что хотел донести. Помолчал.

— Видишь, Григорий... Я понимаю, тебе эта история не является наукой... Но, знаешь, я и на войне заметил: вот такие вот, как тот Ванька, мно-ого нам дела сделали. Они всю войну на себе держали, правда. Перед теми, кто только на словах-то, перед имя же не совестно, а перед таким вот стыдно. Этот-то, он ведь все видит. Ты ему не словами, делом доказывай... Делом доказывай, тогда он тебе душу свою отдаст. Конечно, история... не ах какая, но, думаю, выбрали тебя в руководители, дай, думаю, расскажу, как я, к примеру, это дело понимаю. А? — Максим посмотрел прямо в глаза племяннику, непонятно и значительно как-то усмехнулся.— Ничего, поймешь что к чему. Пойме-ешь.

— Что потом с этим Ванькой стало? — спросил Григорий.

— А не знаю. Уехали они опять куда-то. Вскорости и уехали. Да разве дело в том Ваньке! Их таких много. Хотя я тогда прямо полюбил того Ваньку, честное слово. Прямо обожал его. А он еще и... это... не нахальный был. Жили они бедновато, иной раз и пожрать нечего было. Я не знаю... чего-то мотались по свету... Так вот, принесешь ему пирог какой-нибудь, он аж покраснеет. «Брось,— говорит,— зачем?» Застесняется. Я люблю таких... Уехали потом куда-то. А я вот его всю жизнь помню, вот же как.

— История твоя не лишена, конечно, смысла,— сказал Григорий.

— Не лишена, нет.— Максим кивнул головой согласно. Но оттого, что история его не вышла такой разительной и глубокой, какой жила в его душе, он скис, как-то даже отрезвел и погрустнел.— Не лишена, Гриша, не лишена. На словах я тебе могу только одно сказать: не трусь. Как увидют, что не трусишь, так станут люди поддерживать...

— Ну, одной смелости тут тоже, наверно, мало.

— Мало.— Максим опять кивнул. Подумал.— Но смелый хоть не врет.— Максим снова посмотрел в глаза Григорию.— Не додумается врать, смелый-то. Чуешь? А голова... что же, какая есть. Какую бог дал. Голова у тебя неплохая. Но... бывает...— Максим вдруг махнул рукой, досадливо поморщился.— Заговорился я чего-то. Ладно. Лишка, видно, хватил, правда. Не обессудь, Гриша. Спите.— Максим встал из-за стола, посмотрел на дверь горницы... И спросил шепотом: — Как жена-то?

— Что? — не понял Григорий.

— Не ворчит, что в деревню увез из города?

Григорий улыбнулся... Не сразу сказал, и сказал тоже тихо:

— Всякое бывает.

Это Максиму понравилось: ответ правдивый, не бравый и не жалостливый. Он кивнул на прощание и пошел к двери, стараясь ступать нетяжело, но все равно вышло грузно и шумно. Максим поскорей уж дошел последние шаги, толкнул дверь и вышел в сени. И там только ступил всей ногой... И на крыльце громко прокашлялся и сказал сам себе:

— Экая темень-то! В глаз коли...

● ОБИДА

Сашку Ермолаева обидели.

Ну, обидели и обидели — случается. Никто не призывает бессловесно сносить обиды, но сразу из-за этого переоценивать все ценности человеческие, ставить на попа самый смысл жизни — это тоже, знаете... роскошь. Себе дороже, как говорят. Благоразумие — вещь не из рыцарского сундука, зато безопасно. Да-с. Можете не соглашаться, можете снисходительно улыб-

нуться, можете даже улыбнуться презрительно... Валяйте. Когда намашетесь театральными мечами, когда вас отовсюду с треском выставят, когда вас охватит отчаяние, приходите к нам, благоразумным, чай пить.

Но — к делу.

Что случилось?

В субботу утром Сашка собрал пустые бутылки из-под молока, сказал: «Маша, пойдешь со мной?» — дочери.

.— Куда? Гагазинчик? — обрадовалась маленькая девочка.

— В магазинчик. Молочка купим. А то мамка ругается, что мы в магазин не ходим, пойдем сходим.

— В кои-то века! — сказала озабоченная «мамка».— Посмотрите там еще рыбу — нототению. Если есть, возьмите с полкило.

— Это дорогая-то?

— Ничего, возьми — я ребятишкам поджарю.

И Сашка с Машей пошли в «гагазинчик».

Взяли молока, взяли масла, пошли смотреть рыбу нототению. Пришли в рыбный отдел, а там за прилавком — тетя.

Тетя была хмурая — не выспалась, что ли. И почему-то ей показалось, что это стоит перед ней тот самый парень, который вчера здесь, в магазине, устроил пьяный дебош. Она спросила строго, зло:

— Ну, как — ничего?

— Что «ничего»? — не понял Сашка.

— Помнишь вчерашнее-то?

Сашка удивленно смотрел на тетю...

— Чего глядишь? Глядит! Ничего не было, да? Глядит, как Исусик...

Почему-то Сашка особенно оскорбился за этого «Исусика».

— Слушайте,— сказал Сашка, чувствуя, как у него сводит челюсть от обиды.— Вы, наверно, сами с похмелья?.. Что вчера было?

Теперь обиделась тетя. Она засмеялась.

— Забыл?

— Что я забыл? Я вчера на работе был!

— Да? И сколько плóтют за такую работу? На работе он был. Да еще стоит рот разевает: «С похмелья»! Сам не проспался еще.

Сашку затрясло. Может, оттого он так остро почувствовал в то утро обиду, что последнее время наладился

жить хорошо, мирно, забыл даже когда и выпивал... И оттого еще, что держал в руке маленькую родную руку дочери... Это при дочери его так! Но он не знал, что делать. Тут бы пожать плечами, повернуться и уйти к черту. Тетя-то уж больно того — несгибаемая. Может, она и поняла, что обозналась, но не станет же она, в самом деле, извиняться перед кем попало. С какой стати?

— Где у вас директор? — самое сильное, что пришло Сашке на ум.

— На месте,— спокойно сказала тетя.

— Где на месте-то? Где его место?

— Где положено, там и место. Для чего тебе директор-то? «Где директор»! Только и делов директору — с вами разговаривать! — Тетя повысила голос, приглашая к скандалу других продавщиц и покупателей старшего поколения.— Директора ему подайте! Директор на работу пришел, а не с вами объясняться. Нет, видите ли, дайте ему директора!

— Что там, Роза? — спросили тетю другие продавщицы.

— Да вот директора — стоит требует!.. Вынь да положь директора! Фон-барон. Пьянчуга.

Сашка пошел сам искать директора.

— Какая тетя... похая,— сказала Маша.

— Она не плохая, она...— Сашка не стал при ребенке говорить, какая тетя. Лицо его горело, точно ему ни за что ни про что публично надавали пощечин.

В служебном проходе ему загородил было дорогу парень мясник.

— Чего ты волну-то поднял?

Но ему-то Сашка нашел, что сказать. И, видно, в глазах у Сашки стояло серьезное чувство — парень отшагнул в сторону.

— Я не директор,— сказала другая тетя, в кабинетике.— Я — завотделом. А в чем дело?

— Понимаете,— начал Сашка,— стоит... и начинает ни с того ни с сего... За что?

— Вы спокойнее, спокойнее,— посоветовала завотделом.

— Я вчера весь день был на работе... Я даже в магазине-то не был! А она начинает: я, мол, чего-то такое натворил у вас в магазине. Я и в магазине-то не был!

— Кто говорит?

— В рыбном отделе стоит.

— Ну, и что она?

— Ну, говорит, что я что-то такое вчера натворил в магазине. Я вчера и в магазине-то не был.

— Так что же вы волнуетесь-то, если не вы натворили? Не вы и не вы — и все.

— Она же хамить начала! Она же обзывается!..

— Как обзывается?

— Исусик, говорит.

Завотделом засмеялась. У Сашки опять свело челюсть. У него затряслись губы.

— Ну, пойдемте, пойдемте... что там такое — выясним,— сказала завотделом.

И завотделом, а за ней Сашка появились в рыбном отделе.

— Роза, что тут такое? — негромко спросила завотделом.

Роза тоже негромко — так говорят врачи между собой при больном о больном же, еще на суде так говорят и в милиции — вроде между собой, но нисколько не смущаются, если тот, о ком говорят, слышит,— Роза негромко пояснила:

— Напился вчера, наскандалил, а сегодня я напомнила — сделал вид, что забыл. Да еще возмущенный вид сделал!..

Сашку опять затрясло. А затрясло его опять потому, что завотделом слушала Розу и слегка — понимающе — кивала головой. Они вдвоем понимали, хоть они не смотрели на Сашку, что Сашке, как всякому на его месте, ничего другого и не остается, кроме как «делать возмущенный вид».

Сашку затрясло, но он собрал все силы и хотел быть спокойным.

— А при чем здесь этот ваш говорок-то? — спросил он.

Завотделом и Роза не посмотрели на него. Разговаривали.

— А что сделал-то?

— Ну, выпил — не хватило. Пришел опять. А время вышло. Он — требовать...

— Звонили?

— Любка пошла звонить, а он, хоть и пьяный, а сообразил — ушел. Обзывал нас тут всяко...

— Слушайте,— вмешался опять в их разговор Саш-



ка.— Да не был я вчера в магазине! Не был! Вы понимаете?

Роза и завотделом посмотрели на него.

— Не был я вчера в магазине, вы можете это понять?! Я же вам русским языком говорю: я вчера в магазине не был!

Роза с завотделом смотрели на него и молчали.

А между тем сзади образовалась уже очередь. И стали раздаваться голоса:

— Да хватит вам: был, не был!

— Отпускайте!

— Но как же так? — повернулся Сашка к очереди.— Я вчера и в магазине-то не был, а они мне какой-то скандал приписывают! Вы-то что?!

Тут выступил один пожилой, в плаще.

— Хватит — не был он в магазине! Вас тут каждый вечер — не пробьешься. Соображают стоят. Раз говорят, значит, был.

— Что вы, они вечерами никуда не ходят! — заговорили в очереди.

— Они газеты читают.

— Стоит — возмущается! Это на вас надо возмущаться. На вас надо возмущаться-то.

— Да вы что? — попытался было еще сказать Сашка, но понял, что бесполезно. Глупо. Эту стенку из людей ему не пройти.

— Работайте,— сказали Розе.— Работайте спокойно. Не отвлекайтесь.

Сашка пошел к выходу. Покупатель в плаще послал ему в спину последнее:

— Водка начинает продаваться в десять часов! Рано пришел!

Сашка вышел на улицу, остановился, закурил.

— Какие дяди похие,— сказала Маша.

— Да, дяди... тети...— пробормотал Сашка.— Мгм...— Он думал, что бы ему сделать? Его опять трясло. Прямо трясун какой-то!

Он решил дождаться этого, в плаще. Поговорить. Как же так? Спросить: до каких пор мы сами будем помогать хамству? И с какой стати выскочил он таким подхалимом? Что за манера? Что за проклятое желание угодить хамоватому продавцу, чиновнику, просто хаму — угодить во что бы то ни стало! Ведь мы сами расплодили хамов, сами! Никто нам их не завез, не забросил на парашютах...

Так примерно думал Сашка. И тут вышел этот, в плаще.

— Слушайте,— двинулся к нему Сашка,— хочу поговорить с вами...

Плащ остановился, недобро уставился на Сашку.

— О чем нам говорить?

— Почему вы выскочили заступаться за продавцов? Я правда не был вчера в магазине...

— Иди, проспись сперва! Понял? Он будет еще останавливать... «Поговорить». Я те поговорю! Поговоришь у меня в другом месте!

— Ты что, взбесился?

— Это ты у меня взбесишься! Счас ты у меня взбесишься, счас... Я те поговорю, подворотня чертова!

Плащ прошуршал опять в магазин — к телефону, как понял Сашка.

Заговор какой-то! Сашка даже слегка успокоился. И решил не ждать милиции. Ну ее... Был бы один, может, и дождался бы — интересно даже: чем бы все это кончилось?

Они пошли с Машей домой. Дорогой Сашка все изумлялся про себя, все не мог никак понять: что такое творится с людьми?

Девочка опять залопотала на своем маленьком, смешном языке. Сашку вдруг изумило и то, что она, крохотуля, почему-то смолкала, когда он объяснялся с дядями и тетями, а начинала говорить только после того и говорила, что дяди и тети «похие», потому что нехорошо говорят с папой. Сашка взял девочку на руки. Чего-то вдруг аж слеза навернулась.

— Кроха ты моя... Неужели ты все понимаешь?

Дома Сашка хотел было рассказать жене Вере, как его в магазине... Но начал, и тут же расхотелось...

— А что, что случилось-то?

— Да ладно, ну их. Нахамили, и все. Что — редкость диковинная?

Но зато он задумался о том человеке в плаще. Ведь — мужик, долго жил... И что осталось от мужика: трусливый подхалим, сразу бежать к телефону — милицию звать. Как же он жил? Что делал в жизни? Может, он даже и не догадывается, что угодничать — никогда, нигде, никак — нехорошо, скверно... Но как же уж так надо прожить, чтобы не знать этого? А правда, как он жил? Что делал? Сашка раньше видел этого человека, он из девятиэтажной башни напротив... Сходить? Спросить у кого-нибудь, из какой он квартиры, его, наверное, знают...

«Схожу! — решил Сашка.— Поговорю с человеком. Объясню, что правда же эта дура обозналась — не был он вчера в магазине, что зря он так — не разобравшись, полез вступаться... Вообще поговорю. Может, он одинокий какой».

— Пойду сигарет возьму,— сказал жене Сашка.

— Ты только из магазина!

— Забыл.

...Один парнишка узнал по описанию Чукалова.

— Он в тридцать шестой.

— Он один живет?

— Почему? Там бабка тоже живет. А что?

— Ничего. Мне надо к нему.

Дверь открыл сам хозяин — тот самый человек, кого и надо было Сашке. Чукалов его фамилия.

— Не пугайтесь, пожалуйста,— сразу заговорил Сашка,— я хочу объяснить вам...

— Игорь! — громко позвал Чукалов.

Он не испугался, нет, он с каким-то непонятным удовлетворением смотрел на гостя — уперся темными, слегка выпуклыми глазами и был явно доволен. Ждал.

— Я хочу объяснить...

— Счас объяснишь. Игорек!

— Что там? — спросили из глубины квартиры. Мужчина спросил.

Сашка невольно глянул на вешалку и при этом пошевелился... Чукалов — то ли решил, что Сашка хочет уйти,— вдруг цепко, неожиданно сильной рукой схватил его за рукав. И темные глаза его близко полыхнули злостью и радостно-скорой расправой. От него пахнуло водкой. Сашка настолько удивился всему, что не стал вырываться, только пошевелил рукой, чтоб высвободить кожу, которую Чукалов больно защемил с рукавом рубашки.

— Игорь!

— Что? — Вышел Игорь, наверно, сын, тоже с темными, чуть влажными глазами, здоровый, разгоряченный завтраком и водкой...

— Вот этот человек нахамил мне в магазине... Хотел избить.— Чукалов все держал Сашку за рукав.

Игорь уставился на Сашку.

— Да вы пустите меня, я ж не убегу,— попросил Сашка. И улыбнулся.— Я ж сам пришел.

— Пусти его,— велел Игорь. И вопросительно, пытливо, оценивающе, надо думать, смотрел на Сашку.

Чукалов отпустил Сашкин рукав.

— Понимаете, в чем дело,— как можно спокойнее, интеллигентнее заговорил Сашка, потирая руку.— Нахамили-то мне, а ваш отец...

— А мой отец подвернулся под горячую руку. Так?

— Да почему?

— Специально дождался меня у магазина...

— Мне было интересно узнать, почему вы... подхалимничаете?

Дальше Сашка двигался рывками, быстро... Игорь сгреб его за грудки — этого Сашка никак не ждал от него,— раза два пристукнул головой об дверь, потом открыл ее, протащил по площадке и сильно пустил вниз по лестнице. Сашка чудом удержался на ногах — схватился за перила. Наверху громко хлопнула дверь.

Сашка как будто выпал из вихря, который приподнял его, крутанул и шлепнул на землю. Все случилось очень скоро. И так же скоро, ясно заработала голова. Какое-то очень короткое время стоял он на лестнице... И быстро пошел вниз, почти побежал. В прихожей у него лежит хороший молоток. Надо опять позвонить — если откроет пожилой, успеть оттолкнуть его и пройти... Если откроет Игорек, еще лучше — проще. Вот довозмущался! Теперь унимай душу. Раньше бы ушел из магазина — ничего бы не было. Если откроет сам Игорь, надо левым коленом сразу шире распахнуть дверь и подставить ногу на упор: иначе он успеет толкнуть дверь оттуда и удара не выйдет. Не удар будет, а мазня.

Едва только Сашка выбежал из подъезда, увидел: по двору, из магазина, летит его Вера, жена,— простоволосая, насмерть чем-то перепуганная. У Сашки подкосились ноги: он решил, что что-то случилось с детьми — с Машей или с другой маленькой, которая только-только еще начала ходить. Сашка даже не смог от испуга крикнуть... Остановился, Вера сама увидела его, подбежала.

— Ты что? — спросила она заполошно.

— Ты-то чего?

— Какие дяди? С кем ты опять драку затеваешь? Мне Маша сказала, какие-то дяди. Какие дяди? Чего ты такой весь?

— Какой?

— Не притворяйся, Сашка, не притворяйся — я тебя

знаю. Опять на тебе лица нету. Что случилось-то? С кем поругался?

— Да ни с кем я не ругался!..

— Не ври! Ты сказал, в магазин пойдешь... Где ты был?

Сашка молчал. Теперь, пожалуй, ничего не выйдет. Он долго стоял, смотрел вниз — ждал: пройдет само собой то, что вскипело в груди, или надо через все проломиться с молотком к Игорю?..

— Сашка, милый, пойдем домой, пойдем домой, ради бога,— взмолилась Вера, видно, чутьем угадавшая, что творится в душе мужа.— Пойдем домой, там малышки ждут... Я их одних бросила. Плюнь, не заводись, не надо. Сашенька, родной мой, ты о нас-то подумай.— Вера взяла мужа за руку: — Неужели тебе нас не жалко?

У Сашки навернулись на глаза слезы... Он нахмурился. Сердито кашлянул. Сунул руки в карман, достал пачку сигарет, вытащил дрожащими пальцами одну, закурил.

— Вон руки-то ходуном ходют. Пойдем.

Сашка легким движением высвободил руку... И пошел домой. И покорно пошел домой.

● ПЕТЬКА КРАСНОВ РАССКАЗЫВАЕТ...

Родные Петьки Краснова собрались послушать, как он ездил на юг лечить радикулит.

Петька вернулся как раз в субботу, пропарился в родной бане, выпил «законную» и стал рассказывать. Он, вообще, рассказывать не умеет — торопится всегда, перескакивает с пятого на десятое и вдобавок шепелявит (букву «ш» толкает куда-то в передние зубы, получается не то «с», не то «з» — что-то среднее). А тут еще он волнуется, ему охота рассказать поярче, побольше — не так уж часто его слушают, да еще сразу столько людей. И всем, он понимает, интересно.

— Народу-у, мля!..— У него какая-то дурацкая привычка чуть ли не после каждого слова приговаривать «мля». К этому привыкли, не обращают внимания.

— Идес, мля, по плязу — тут баба голая, там голая — валяются. Идес, переступаес через них...— Петька выговаривает: «переступас».

— Совсем, что ли, голые?

— Зачем? Есть эти, как их?.. купальники. Но это ж так — фикция.

— А ты как? Одетый?

— Зачем? Я сперва в трусах ходил, потом мне там один посоветовал купить плавки. Ну, я стал как все. Так они что делают, мля: по улице и то ходют вот в таких вот станисках — сортики. Ну, идес, ну — смотрис же. Неловко, вообсе-то...

— Ну, да: другая по харе даст.

— Мне там один посоветовал: ты, говорит, купи темные очки — ни черта, говорит, не разберес, куда смотрис.

— Как же это?..

— А вот они! На, надень! Ну, надень!

— Ну...

— Смотри вон на Зойку — баску не поворачивай! Ниже! Смотрис?

— Ну...

— Заметно, куда он смотрит?

— Нет, правда. Во!..

— Заходис вечером в ресторан, берес саслык, а тут наяривают, мля, тут наяривают!.. Он поет, а тут танцуют. Ну, танцуют, я те скажу!.. Сердце заходится, сто только выделывают! Так поглядис — вроде совестно, а потом подумаес: нет, красиво! Если уж им не совестно, чего мне-то совестно? Атомный век, мля,— должна быть скорость. Нет, красиво. Там один стоял: бесстыдники, говорит. Ну, его тут же побрили: не нравится, не смотри! Иди спать! А один раз — как дали «Очи черные», у меня на глазах слезы навернулись. Такое оссюсение: полезь на меня пять человек — не страсно. Чуть не заплакал, мля. А полезли куда-то на гору — я чуть не на карачках дополз, мля, ну — красота! Море!.. Пароходы... И, главное, на каждом пароходе своя музыка. Такое оссюсение — все море поет, мля. Спускаемся — опять в ресторан...

— Так это ж сколько денег просадить можно?! Если тут ресторан, там ресторан...

— Там рестораны на каждом сагу. Дорого, конесно. Мне там один говорит: первый и последний раз. Нет, можно без ресторанов, там пельменные на каждом сагу.

— Пельмени?!

— Пельмени. Пожалуйста. Три порции — вот так хватает.

— То-то ты полторы сотни уханькал — по ресторанам-то.

— Десевле нельзя. Но сто я вам скажу: нигде ни одного грубого слова! Стобы матерное слово — боже упаси! Только суточки, суточки... Все смеются, сутят. Смеются, прямо сердце радуется. И пьяных нету. Так, идес — видис: врезамсы, паразит! По глазам видно. Но не сатается. Но вот хохма была! Посли домик Чехова смотреть, ну, надели какие-то тряпосные стуковины на ноги — стоб пол не портить. Ну, сагаем потихоньку, слусаем... А там под стеклом кожаное пальто висит. Ну, эта женщина, солидная такая, стояла рядом... как заорет: «Это он такой больсой был!» Да как брякнется! — Петька долго один смеется, вспомнив, как брякнулась солидная тетя.— Она на каблучках, а хотела подойти поближе — поглядеть пальто, а запуталась в этих стуках-то... Ну, мля, все за животики взялись...

— А што за пальто-то? Какое пальто?

— Пальто Чехова, писателя. Он в нем на Сахалин ездил.

— Ссылали, что ль?

— Да зачем! Сам ездил — посмотреть. От он тогда и простыл. Додуматься — в таком пальтисечке в Сибирь! Я ее спрасываю: «А от чего у него чахотка была?» — «Да, мол, от трудной жизни, от невзгод»,— начала вилять. От трудной жизни... Ну-ка, протрясись в таком кожанчике через всю Сибирь...

— Ну, она и была — трудная жизнь, раз ему тулуп взять не на што было.

— Может, не знал человек, какие тут холода.

Петька молчит, потому что забыл спросить тогда у женщины-экскурсовода: зимой ездил Чехов или летом?

— Знаес, какой у него рост был?

— У кого?

— У Чехова. Метр восемьдесят семь!

Это родных не удивило — знавали и повыше. Это тогда экскурсантов почему-то очень всех удивило, и Петька удивился со всеми вместе. И сейчас хотел удивить.

— Ну, а радикулит-то как? Полегчало?

— Совсем почти не чую! Во, гляди: встал, нагнулся, выпрямился...— Петька встал, нагнулся, выпрямился.— А раньше, если нагнулся, то не разогнесся.

— А говоришь, на гору чуть не на карачках заполз.

— То — на гору! На гору мне пока тяжело.

— Ну, пора и на боковую,— сказал тесть Петькин, сам тоже с трудом поднимаясь — засиделся.— Завтра вставать рано. Пойдешь покосить со мной? Или отдохнуть охота с дороги?

— Пойду! — с удовольствием откликнулся Петька.— Я наотдыхался.

— Ему теперь — двойную норму ломать надо,— сказал сосед Петькин, дядя Родион, который тоже приходил послушать про теплые края.— Полторы тыщи за месяц — это...

— А дорога! — воскликнула теща.

— Да, кусаются они, курортики-то.

Петьке неловко стало, что из-за его проклятого радикулита пришлось истратить больше двухсот рублей.

— Виноват я теперь, если он ко мне извязался?

— Кто тебя винит! — искренне сказал тесть.— Никто не винит. Хворь — она всегда дорого стоит.

На том все и порешили.

Только теща добавила:

— Теперь уж берегись! А то ведь не берегетесь нисколько. Потные, не потные — лезете под машину, на сырую землю спиной. Рази так можно! Возьми да постели куфайку хоть, руки-то не отсохнут. Зато здоровый будешь.

Мужики закурили еще по одной. Дядя Родион ушел домой.

Петька докурил папиросу, сидя за столом, аккуратно загасил окурок о край тарелки, бросил в угол и пошел в горницу — к жене Зое.

Зоя уже постелила и лежала, отвернувшись к стене. Петька, одетый еще, хотел сперва поцеловать ее... Зоя накрылась одеялом с головой. Петька опешил:

— Ты чего?

— Ничего... Не лезь. Их же там много на пляже валялось, чего ты ко мне лезешь?

— Да ты сто, Зой?!

— Ни «сто»! Не лезь, и все. Мало тебе их там было?

Петька даже осердился, хоть редко сердился.

— Дура ты, дура!.. Кому я там нужен? Там без меня хватает — специально этим делом занимаются. Их со мной, сто ли, сравнис?..

Зоя рывком скинула одеяло, села. Она была злая.

— Так какого ж ты черта весь вечер сидел только

про их и говорил?! Ничего другого не нашлось рассказывать, только — бабы, бабы... Тут бабы, там голые бабы...

— Но если их там много, чего я сделаю?

— Ты лечиться поехал, а не глаза пялить на баб! Очки ему даже посоветовали купить... Страмец. Весь вечер со стыда сидела сгорала.

— Дак взяла бы и подсказала!.. Я ж думал, как повеселей. Не суми зря-то. Зря сумис-то.

— Сумис, сумис... Сюсюкалка чертова!

— Ну, отойди, отойди маленько,— миролюбиво сказал Петька.— Я пока на крыльце посижу, покурю.— В душе он согласился с женой: в самом деле, распустил язык, не нашел, о чем поговорить. Да еще и приврал — с ресторанами-то: за весь месяц в ресторане-то был всего два раза. И один раз там пели «Очи черные». И танцевали.— Я покурю пойду.

— Иди куда хочешь.

Петька вышел на крыльцо, сел на приступку. Нечаянная ссора с женой не расстроила — она такая, Зоя: вспыхнет как порох и тут же отойдет. Да и не за что злото копить, что она не понимает, что ли.

Ночь... Чуть лопочут листвой березки в ограде, чуть поскрипывает ставня... И наплывает от сараев, где коровы, куры, телок, живым теплым духом. И мерно каплет из рукомойника в таз... Вспомнились те ночи — далекие, где тихо шумит огромное море и очень тепло... И Петька усмехнулся, подумал: сколь велика земля! Пальмы растут на свете; люди пляшут, смеются; большие белые дома — чего только нет!

Ночь. Поскрипывает и поскрипывает ставенка — все время она так поскрипывает. Шелестят листвой березки. То замолчат — тихо, а то вдруг залопочут-залопочут, неразборчиво, торопливо... Опять замолчат. Знакомо все, и почему-то волнует.

Петьке хорошо.

● ВЕЧНО НЕДОВОЛЬНЫЙ ЯКОВЛЕВ

Приехал в отпуск в село Борис Яковлев... Ему под сорок, но семьи в городе нету, была семья, но чего-то разладилось, теперь — никого. Вообще-то, догадывались, почему у него — ни семьи,

никого: у Яковлева скверный характер. Еще по тем временам, когда он жил в селе и работал в колхозе, помнили: вечно он с каким-то насмешливым огоньком в глазах, вечно подоспеет с ехидным словом... Все присматривается к людям, но не идет с вопросом или просто с открытым словом, а все как-то — со стороны норовит, сбоку: сощурит глаза и смотрит, как будто поджидает, когда человек неосторожно или глупо скажет, тогда он подлетит, как ястреб, и клюнет. Он и походил на ястреба: легкий, поджарый, всегда настороженный и недобрый.

У него тут родня большая; мать с отцом еще живые... Собрались, гульнули. Гуляли Яковлевы всегда шумно, всегда с драками: то братаны сцепятся, то зять с тестем, то кумовья — по старинке — засопят друг на друга. Это все знали; что-то было и на этот раз, но не так звонко — поустали, видно, и Яковлевы.

Сам Борис Яковлев крепок на вино: может выпить много, а не качнется, не раздерет сдуру рубаху на себе. Не всегда и поймешь, что он пьян: только когда приглядишься, видно — глаза потемнели, сузились, и в них точно вызов какой, точно он хочет сказать: «Ну?»

Был он и на этот раз такой.

В доме у него еще шумели, а он, нарядный, пошел к новому клубу: там собралась молодежь, даже и постарше тоже пришли — ждали: дело воскресное, из района должна приехать бригада художественной самодеятельности, а вместе с районными хотели выступить и местные — ну, ждали, может, интересно будет.

Яковлев подошел к клубу, пооглядывался... Закурил, сунул руки в карманы брюк и продолжал с усмешечкой разглядывать народ. Может, он ждал, что к нему радостно подойдут погодки его или кто постарше — догадаются с приездом поздравить; у Яковлева деньги на этот случай были в кармане: пошли бы выпили. Но что-то никто не подходил; Яковлев тискал в кулаке в кармане деньги и похоже злился и презирал всех. Наверно, он чувствовал, что торчит он тут весьма нелепо: один, чужой всем, стоит, перекидывает из угла в угол рта папиросину и ждет чего-то, непонятно чего. Самодеятельность эту он глубоко имел в виду, он хотел показать всем, какой он — нарядный, даже шикарный, сколько (немало!) заколачивает в городе, может запросто угостить водкой... Еще он хотел бы рассказать, что имеет в

городе — один! — однокомнатную квартиру в новом доме, что бригадира своего на стройке он тоже имеет в виду, сам себе хозяин (он сварщик), что тишина эта сельская ему как-то... не того, не очень,— по ушам бьет, он привык к шуму и к высоте. Наверно, он хотел вскользь как-нибудь, между прочим, между стопками в чайной, хотел бы все это рассказать, это вообще-то понятно... Но никто не подходил. Погодков что-то не видно, постарше которые... Черт их знает, может, ждали, что он сам подойдет; некоторых Яковлев узнавал, но тоже не шел к ним. А чего бы не подойти-то? Нет, он лучше будет стоять презирать всех, но не подойдет — это уж... такого мама родила. В его сторону взглядывали, может, даже говорили о нем... Яковлев все это болезненно чувствовал, но не двигался с места. Сплюнул одну «казбечину», полез за другой. Он смотрел и смотрел на людишек, особенно на молодых ребят и девушек... Сколько их расплодилось! Конечно, все образованные, начитанные, остроумные... а хоть бы у кого трояк лишний в кармане! Нет же ни шиша, а стоя-ат, разговоры ведут разные, басят, сопляки, похохатывают... Яковлев жалел, что пришел сюда, лучше бы опять к своим горлопанам домой, но не мог уж теперь сдвинуться: слишком долго мозолил глаза тут всем. И он упорно стоял, ненавидел всех... и видом своим показывал, как ему смешно и дико видеть, что они собрались тут, как бараны, и ждут, когда приедет самодеятельность. Вся радость — самодеятельность! Одни дураки ногами дрыгают, другие — радуются. «Ну и житуха! — вполне отчетливо, ясно, с брезгливостью думал Яковлев.— Всякой дешевизне рады... Как была деревня, так и осталась, чуть одеваться только стали получше. Да клуб отгрохали!.. Ну и клуб! — Яковлев и клуб новый оглядел с презрением.— Сарай длинный, в душу мать-то... Они тут тоже строят! Как же!.. Они тоже от жизни не отстают: клуб замастырили!»

Так стоял и точил злость Яковлев. И тут увидел, идут: его дружок детства Серега Коноплев с супругой. Идут под ручку, честь по чести...

«Ой, ой,— стал смотреть на них Яковлев,— пара гнедых. Как добрые!»

Сергей тоже увидел Яковлева и пошел к нему, улыбаясь издали. И супругу вел с собой; супругу Яковлев не знал, из другой деревни, наверно.

— Борис?..— воскликнул Сергей; он был простодуш-

ный, мягкий человек, смолоду даже робкий, Яковлев частенько его бывало колачивал.

— Борис, Борис...— снисходительно сказал Яковлев, подавая руку давнему дружку и его жене, толстой женщине с серыми, несколько выпученными глазами.

— Это Галя, жена,— все улыбался Сергей.— А это друг детства... А я слышал, что приехал, а зайти... как-то все время...

— Зря церкву-то сломали,— сказал вдруг Яковлев ни с того ни с сего.

— Как это? — не понял Сергей.

— Некуда народишку приткнуться, смотрю... То бы хоть молились.

— Почему? — удивился Сергей. И Галя тоже с изумлением и интересом посмотрела на шикарного электросварщика.— Вот... самодеятельность сегодня...— продолжал Сергей.— Поглядим.

— Чего там глядеть-то?

— Как же? Спляшут, споют. Ну, как жизнь?

Яковлева вконец обозлило, что этот унылый меринок стоит лыбится... И его же еще и спрашивает: «Как жизнь?»

— А ваша как? — спросил он ехидно.— Под ручку, смотрю, ходите... Любовь, да?

Это уж вовсе было нетактично. Галя даже смутилась, огляделась кругом и отошла.

— Пойдем выпьем, чем эту муть-то смотреть,— предложил Яковлев, не сомневаясь нисколько, что Серега сразу и двинется за ним. Но Серега не двинулся.

— Я же не один,— сказал он.

— Ну, зови ее тоже...

— Куда?

— Ну, в чайную...

— Как в чайную? Пошли в клуб, а пришли в чайную? — Сергей все улыбался.

— Не пойдешь, что ли? — Яковлев все больше и больше злился на этого чухонца.

— Да нет уж... другой раз как-нибудь.

— Другого раза не будет.

— Нет, счас не пойду. Был бы один — другое дело, а так... нет.

— Ну пусть она смотрит, а мы... Да мы успеем, пока ваша самодеятельность приедет. Пойдем! — Яковлеву очень не хотелось сейчас отваливать отсюда одному, невмоготу. Но и стоять здесь тоже тяжко.— Пошли! По

стакашку дернем... и пойдешь смотреть свою самодеятельность. А мне на нее... и на всю вашу житуху глядеть тошно.

Сергей уловил недоброе в голосе бывшего друга.

— Чего так? — спросил он.

— А тебе нравится эта жизнь? — Яковлев кивнул на клуб и на людей возле клуба.

— Жизнь... как жизнь,— сказал он.— А тебе что, кажется, скучно?

— Да не скучно, а... глаза не глядят, в душу мать-то,— накалялся Яковлев.— Стоя-ат... бараны и бараны, курва. И вся радость вот так вот стоять? — Яковлев прямо, ехидно и насмешливо посмотрел на Сергея: то есть он и его, Сергея, спрашивал — вся радость, что ли, в этом?

Сергей выправился с годами в хорошего мужика: крепкий, спокойный, добрый... Он не понимал, что происходит с Яковлевым, но помнил он этого ястреба: или здесь кто-нибудь поперек шерсти погладил — сказал что-нибудь не так, или дома подрались. Он и спросил прямо:

— Чего ты такой?.. Дома что-нибудь?

— Приехал отдохнуть!..— Яковлев уж по своему адресу съехидничал. И сплюнул «казбечину».— Звали же на поезд «Дружбу» — нет, домой, видите ли, надо! А тут... как на кладбище: только еще заупокой не гнусят. Неужели так и живут?

Сергей перестал улыбаться; эта ехидная остервенелость бывшего его дружка тоже стала ему поперек горла. Но он пока молчал.

— У тя дети-то есть? — спросил Яковлев.

— Есть.

— От этой? — Яковлев кивнул в сторону толстой, сероглазой жены Сергея.

— От этой...

— Вся радость, наверно,— допрашивал дальше Яковлев,— попыхтишь с ней на коровьем реву, и все?

— Ну, а там как?..— Сергей, видно было, глубоко и горько обиделся, но еще терпел, еще не хотел показать это.— Лучше?

— Там-то?..— Яковлев не сразу ответил. Зло и задумчиво сощурился, закурил новую, протянул коробку «Казбека» Сергею, но тот отказался.— Там своя вонь... но уж хоть — в нос ширяет. Хоть этой вот мертвечины нет. Пошли выпьем!

— Нет.— Сергей, в свою очередь, с усмешкой смотрел на Яковлева. Тот уловил эту усмешку, удивился.

— Чего ты? — спросил он.

— Ты все такой же,— сказал Сергей, откровенно и нехорошо улыбаясь. Он терял терпение.— Сам воняешь ездишь по свету, а на других сваливаешь. Нигде не нравится, да?

— А тебе нравится?

— Мне нравится.

— Ну и радуйся... со своей пучеглазой. Сколько уже настрогали?

— Сколько настрогали — все наши. Но еслив ты еще раз, пáдали кусок, так скажешь, я... могу измять твой дорогой костюм.— Глаза Сергея смотрели зло и серьезно.

Яковлев не то что встревожился, а как-то встрепенулся; ему враз интересно сделалось.

— О-о,— сказал он с облегчением.— По-человечески хоть заговорил. А то — под ру-учку идут... Дурак, смотреть же стыдно. Кто счас под ручку ходит!

— Ходил и буду ходить. Ты мне, что ли, указчик?

— Вам укажешь!..— Яковлев весело, снисходительно, но и с любопытством смотрел на Сергея.— На тракторе работаешь?

— Не твое поганое дело.

— Дурачок... я же с тобой беседую. Чего ты осердился-то? Бабу обидел? Их надо живьем закапывать, этих подруг жизни. Гляди!.. обиделся. Любишь, что ли?

С Яковлевым трудно говорить: как ты с ним ни заговори, он все равно будет сверху — вскрылит вверх и оттуда разговаривает... расспрашивает с каким-то особым гадким интересом именно то, что задело за больное собеседника.

— Люблю,— сказал Сергей.— А ты свою... что, закопал, что ли?

Яковлев искренне рассмеялся; он прямо ожил на глазах. Хлопнул Сергея по плечу и сказал радостно:

— Молоток! Не совсем тут отсырел!..— Странная душа у Яковлева — витая какая-то: он, правда, возрадовался, что заговорили так... нервно, как по краешку пошли, он все бы и ходил вот так — по краешку.— Нет, не удалось закопать: их закон охраняет. А у тебя ничего объект. Где ты ее нашел-то? Глаза только... Что у ей с

глазами-то? У ней не эта?.. болезнь такая с глазами есть... Чего она такая пучеглазая-то?

Сергей по-деревенски широко размахнулся — хотел в лоб угодить Яковлеву, но тот увернулся успел, Сергей ударил его куда-то в плечо, не больно. Яковлев этого только и ждал: ногой сильно дал Сереге в живот, тот скорчился... Яковлев кулаком в голову сшиб его вовсе с ног. И спокойно пошел было прочь от клуба... Его догнали. Он слышал, что догоняют, но не поворачивался до последнего мгновения, шел себе беспечно, даже «казбечину» во рту пожевывал... И вдруг побежал, но тут же чуть отклонился и дал первому, кто догонял, кулаком наотмашь. Первому он попал, но догоняло несколько, молодые... Хоть и умел Яковлев драться, его скоро сшибли тоже с ног и несколько попинали, пока не подбежали пожилые мужики и не разняли.

Яковлев встал, сплюнул, оглядел всего себя — ничего существенного, никаких особых повреждений. Отряхнулся. Он был доволен.

— Ну, вот...— сказал он, доставая «Казбек»,— хоть делом занялись...— Яковлев насмешливо оглядел окруживших его мужиков и молодых парней.— А то стоя-ат ждут свою самодеятельность дурацкую.

— Иди отсюда,— посоветовали ему.

— Пойду, конечно... Что же мне, тоже самодеятельность, что ли, с вами стоять ждать? Кто выпить хочет? Парни...

Никто не изъявил желания пить с Яковлевым.

— Скучно живете, граждане,— сказал Яковлев, помолчав. Сказал всем, сказал довольно проникновенно, серьезно.— Тошно глядеть на вас...

— Еще, что ли, дать?

— Надо было,— сказал кто-то из пожилых мужиков.— Зря разняли.

— Не в этом дело,— сказал Яковлев.— Скучно,— еще раз сказал он, сказал четко, внятно, остервенело. Сунув руки в карманы шикарных брюк, пожевал «казбечину»... И пошел.

Еще немного постояли, глядя вслед Яковлеву... Повспоминали, какой он тогда был — он всегда был такой. Они все, Яковлевы, такие: вечно недовольные, вечно кулаки на кого-нибудь су́чат...

Тут как раз приехала самодеятельность. И все пошли смотреть самодеятельность.

● НЕЧАЯННЫЙ ВЫСТРЕЛ

Нога была мертвая. Сразу была такой, с рожденья: тонкая, искривленная... висела, как высохшая плеть. Только чуть шевелилась.

До поры до времени Колька не придавал этому значения. Когда другие учились ходить на двух ногах, он научился на трех — и все. Костыли не мешали. Он рос вместе с другими ребятами, лазил по чужим огородам, играл в бабки — и как играл! — отставит один костыль, обопрется на него левой рукой, нацелится — бац! — полдюжины бабок как век не было на кону.

Но шли годы. Колька вырастал в красивого крепкого парня. Костыли стали мешать. Его одногодки провожали уже девчонок из клуба, а он шагал по переулку один, поскрипывая двумя своими постылыми спутниками.

Внимательные умные глаза Кольки стали задумчивыми.

Соседских ребят каждый год провожали в армию: то одного, то другого, то сразу нескольких... Провожали шумно. Колька обычно стоял в сенях своего дома и смотрел в щелочку. Ему тоже хотелось в армию.

Один раз отец Кольки, Андрей Воронцов, колхозный механик, застал сына за таким занятием... Хотел незаметно пройти в дом, но Колька услышал шаги, обернулся.

— Ты чего тут? — как бы мимоходом спросил отец.

Колька покраснел.

— Так, — сказал он. И пошел к своему верстачку (он чинил односельчанам часы — выучился у одного заезжего человека).

А время шло.

И случилось то, что случается со всеми: Колька полюбил.

Через дорогу от них, в небольшом домике с писаными ставнями, жила горластая девушка Глашка. Колька видел ее из окна каждый день. С утра до вечера носилась быстроногая Глашка по двору: то в погреб пробежит, то гусей из ограды выгоняет, то ругается с соседкой из-за свиньи, которая забралась в огород и попортила грядки... Весь день только ее и слышно по всей окраине.

Однажды Колька смотрел на нее и ни с того ни с сего подумал: «Вот... была бы не такая красивая... женить-



ся бы на ней, и все». И с того времени думал о Глашке каждый день. Это стало мучить. Какая-то сила поднимала его из-за верстачка и выводила на крыльцо.

— Глашка! — кричал он девушке.— Когда замуж-то выйдешь, телка такая?! Хоть бы гульнуть на твоей свадьбе!



— Не берет никто, Коля! — отвечала словоохотливая Глашка.— Я уж давно собралась!

«Ишь ты... какая»,— думал Колька, и у него ласково темнели задумчивые серые глаза.

А над деревней синим огнем горело июльское небо. В горячих струях воздуха мерещилась сказка и радость. В воду рек опрокидывались зори и тихо гасли. И тиши-

на стояла ночами... И сладко и больно сжимала грудь эта тишина.

Летом Колька спал в сарайчике, одна стена которого выходила на улицу.

Однажды к этой стене прислонилась парочка. Кольку ткнуло в сердце — он сразу почему-то узнал Глашку, хотя те, за стеной, долго сперва молчали. Потом он лежал и слушал их бессмысленный шепот и хихиканье. Он проклял в эту ночь свои костыли. Он плакал, уткнувшись в подушку. Он не мог больше так жить!

Когда совсем рассвело, он пошел к фельдшеру на дом. Он знал его — не один раз охотились и рыбачили вместе.

— Ты чего ни свет ни заря поднялся? — спросил фельдшер.

Колька сел на крыльцо, потыкал концом костыля в землю...

— Капсюлей нету лишних? У меня все кончились.

— Капсюлей? Надо посмотреть.— Фельдшер ушел в дом и через минуту вынес горстку капсюлей.— На.

Колька ссыпал капсюли в карман, закурил... Как-то странно внимательно, с кривой усмешкой посмотрел на фельдшера. Поднялся.

— Спасибо за капсюли.

— На здоровье. Сам бы поохотничал сейчас...— вздохнул фельдшер и почесал лысину.— Но... но отпуск только в августе.

Колька вышел за ворота, остановился. Долго стоял, глядя вдоль улицы.

Повернулся и пошел обратно.

— На капсюли-то,— сказал он фельдшеру.— У меня своих хоть отбавляй.

Фельдшер сделал брови «домиком»:

— Что-то непонятно.

Колька нахмурился.

— Посмотри ногу... хочу протез попробовать. Надоело так.

— А-а.— Фельдшер глянул Кольке в глаза... и сам смутился.— Давай ее сюда.

Вместе долго рассматривали ногу.

— Здесь чувствуешь?

— Чувствую.

— А здесь?

— Ну-ка еще... Чувствую.

— Пошевели. Еще. А теперь — вбок. Подвигай, подвигай. Так.— Фельдшер выпрямился.— Вообще-то... я тебе так скажу: попробуй. Я затрудняюсь сейчас точно сказать, но попробовать можно. Ее придется отнять вот по этих пор. Понимаешь?

— Понимаю.

— Попробуй. Сразу, может, конечно, не получится. Придется поработать. Понимаешь?

Колька пришел домой и стал собираться в дорогу — в город, в больницу. Матери не сказал, зачем едет, а отца вызвал на улицу и объяснил:

— Поеду ногу отрублю.

— То есть как? — Андрей вытаращил глаза.

— Протез хочу попробовать.

Через неделю Кольке отпилили ногу. Осталась култышка в двадцать семь сантиметров.

Когда рана малость поджила, он начал шевелить култышкой под одеялом — тренировал.

Приехал отец попроведать. Долго сидел около койки... Не смотрел на обрубок: какая-никакая, все-таки была нога. Теперь вовсе никакой.

Потом Колька, не заезжая домой, отправился в Н-ск.

Домой явился через полмесяца... С какой-то длинной штукой в мешке.

Мать так и ахнула, увидев Кольку «без ноги». Колька засмеялся...

Развязал мешок и брякнул на пол сверкающий лаком протез.

— Вот... нога. Ноженция.

Все с интересом стали разглядывать протез. А Колька стоял в сторонке и улыбался: он уже насмотрелся на него дорогой.

— Блестит весь... Господи! — сказала мать.

Отец как механик забрал протез в руки и стал детально изучать.

— Добрая штука,— заключил он.— Не то, что у деда Кузьмы — деревяшка.

Всем очень понравился протез. Все верили — и Колька верил,— что на таком-то протезе дурак пойдет. Уж очень добротно, точно, крепко, изящно он был сработан: весь так и сверкал лаком и всяческими пристежками и винтами.

— Когда попробуешь? — спросил отец, взвешивая протез на руке.

— Подживет нога хорошенько — попробую. Не велели торопиться.

Стояла темная ночь. Далеко-далеко мерцали зарницы.

Колька рано ушел в свой сарай. Лег и стал ждать.

Стихло во всей деревне.

Колька подождал еще немного, зажег лампу и стал надевать протез. Надел. Закурил... Курил и смотрел на протез.

— Ничего себе... ноженька. Хэх! — Улыбнулся.

Старательно погасил окурок. Встал. Его шатнуло в сторону, как пьяного. Он удержался руками за спинку кровати. Постоял, шагнул здоровой ногой. А левую, с протезом, не мог сдвинуть. Стал падать. Опять схватился за кровать... подтянул протезную ногу. Сердце сильно колотилось.

— Ничего. Придется, конечно, поработать,— сказал сам себе.

Еще одна попытка — нет. Левая нога не шагала. Тогда Колька далеко шагнул правой и что было силы рванулся всем телом вперед, подтягивая левую. Упал. Долго лежал, вцепившись руками в землю. Левая нога не шагала. Нисколько. Даже на полшажка.

— Ну ничего... Паразитка. С непривычки...— Поднялся. Еще попытка. И еще. Нет.

Колька устал.

— Перекурим это дело.— Он говорил зло. Он уже не верил в успех, но признаться в этом было страшно. Просто невозможно. Нет! Как же?..

Покурил и снова с остервенением стал пытаться пройти на протезе. И снова — нет. Нет и нет.

Колька матерно выругался и лег на кровать. Ему бросилось в глаза ружье, висевшее на стенке над кроватью... Он поднялся... И снова стал пробовать двигать левой ногой.

— Пойдешь, милая. Ну-ка... Оп-п! Паразитка! — тихо ругался он.

Натруженная култышка горела огнем, как сплошной нарыв. Колька отстегнул протез и стал дуть на култышку. Потом, превозмогая боль, снова пристегнул протез.

— А сейчас?.. Ну-ка!.. Опять нет?

Светало.

— Гадина,— сказал Колька и лег на кровать. И закрыл глаза, чтобы ничего не видеть. Чья-то сальная, безобразная морда склонилась над ним и улыбнулась поганым ртом. Колька открыл глаза...— Ах ты, гадство,— тихо повторил он. И снял со стенки ружье...

Отец узнал о несчастье на другой день, к вечеру (он ездил в район насчет запасных частей). Ему сказали, когда он подъезжал к дому. Он развернул коня и погнал в больницу.

— Сейчас лучше бы не надо,— пояснил приезжему доктор.— Сейчас он...

Отец отстранил доктора и пошел в палату.

Колька лежал на спине весь забинтованный... Бледный, незнакомый какой-то — как чужой. Он был совсем безнадежный на вид. В палате пахло йодом.

Отец вспотел от горя.

— Попросил бы меня — я бы попал куда надо... Чтоб сразу уж...— Голос отца подсекся... Он вытер со лба пот, сел на табуретку рядом с кроватью.

Колька скосил на него глаза... Пошевелил губами...

— Болит? — спросил отец.

Колька прикрыл глаза: болит.

— Эх...— Отец поднялся и пошел из палаты.

— Вот как обстоит дело: все зависит от того, как сильно захочет жить он сам. Понимаете? Сам организм должен...

Отец обезумел от горя: взял доктора за грудки:

— А ты для чего здесь? Организм!..

— Не нужно так. Отпустите. Мы сделаем все, что можно будет сделать.

Отец отпустил доктора, хотел еще раз войти в палату, но перед самой дверью остановился, постоял... и пошел из больницы. Он уже далеко отошел, потом вспомнил, что приехал сюда на лошади. Вернулся, сел на дрожки, подстегнул коня...

Мать Кольки лежала в постели — захворала с горя.

— Как он там? — слабым голосом спросила она мужа, когда тот вошел в избу.

— Если помрет, тебе тоже несдобровать. Убью. Возь-

му топор и зарублю.— Андрей был бледный и страшный в своем отчаянии.

Мать заплакала.

— Господи, господи...

— Господи, господи!.. Только и знаешь своего господа! Одного ребенка не могла родить как следует... с двумя ногами! Я этому твоему господу шею сейчас сверну.— Андрей снял с божницы икону Николая-угодника и трахнул ее об пол.— Вот ему!.. Гад такой!

— Андрюша!.. Господи... Это из-за Глашки он. Полюбилась она ему, змея подколодная... Был парень как парень, а тут как иглу съел.

Андрей некоторое время тупо смотрел на жену.

— Какую Глашку?

— Какую Глашку!.. Одна у нас Глашка.

Андрей повернулся и побежал к Глашке.

— Дядя Андрей, миленький!.. Да неужели из-за меня это он? А что делать-то теперь?

— Он поправится.— Андрей шаркнул ладонью по щеке.— Если бы ему сказать... кхе... он бы поправился. И за такого, мол, пойду... Врач говорит: сам захочет если... Соври ему. А?

Глашка заплакала.

— Не могу я. Мне его до смерти самой жалко, а не могу. Другому сказала уж...

Андрей поднялся:

— Ты только не реви... Моду взяли: чуть чего, так реветь сразу. Не можешь,— значит, не можешь. Чего плакать-то? Не говори никому, что я был у тебя.— Андрей снова пошел в больницу.

Колька лежал в том же положении, смотрел в потолок, вытянув вдоль тела руки.

— Был сейчас дома...— Андрей погладил жесткой ладонью тугой сгиб колена... поправил голенище сапога.— К Глашке зашел по пути...

Колька повел на отца удивленные глаза.

— Плачет она. Что же, говорит, он, дурак такой, не сказал мне ничего. Я бы, говорит, с радостью пошла за него...

Колька слабо зарумянился в скулах... закрыл глаза и больше не открывал их.

Отец сидел и ждал, долго ждал: не понимал, почему сын не хочет слушать.

— Сынок,— позвал он.

— Не надо,— одними губами сказал Колька. Глаз не открыл.— Не ври, тятя... а то и так стыдно.

Андрей поднялся и пошел из палаты сгорбившись.

Недалеко от больницы повстречал Глашку. Та бежала ему навстречу.

— Скажу я ему, дядя Андрей... пусть! Скажу, что согласная,— пусть поправляется.

— Не надо,— сказал Андрей. Хмуро посмотрел себе под ноги.— Он так поправится. Врать будем — хуже.

Колька поправился.

Через пару недель он уже сидел в кровати и ковырялся пинцетом в часах — сосед по палате попросил посмотреть.

В окно палаты в упор било яркое солнце. Августовский полдень вызванивал за окнами светлую тихую музыку жизни. Пахло мятой и крашеной жестью, догоряча нагретой солнцем. В больничном дворе то и дело горланил одуревший от жары петух.

— Не зря он так орет,— сказал кто-то.— Курица ему изменила. Я сам видел: подошел красный петух, взял ее под крылышко и увел.

— А этот куда смотрел, который орет сейчас?

— Этот?.. Он в командировке был — в соседней ограде.

Колька тихонько хохотал, уткнувшись в подушку.

Когда его кто-нибудь спрашивал, как это с ним получилось, Колька густо краснел и отвечал неохотно:

— Нечаянно.— И склонялся к часам.

Отец каждый день приходил в больницу... Подолгу сидел на табуретке около кровати. Смотрел, как сын ковыряется в часах.

— Как там, дома? — спрашивал Колька.

— Ничего. В порядке. Потеряешь колесико-то...— Отец с трудом ловил на одеяле крошечное колесико и подавал сыну.

— Это маятник называется.

— До чего же махонькое! Как только ухитряются делать такие?

— Делают. На заводе все делают.

— Меня, например, хоть убей, ни в жизнь не сделал бы такое.

Колька улыбался:

— То ты. А там умеют.

Андрей тоже улыбался... гладил ладонью колено и говорил:

— Да... там — конечно... Там умеют. Там все умеют.

БЕСПАЛЫЙ

Все кругом говорили, что у Сереги Безменова злая жена. Злая, капризная и дура. Все это видели и понимали. Не видел и не понимал этого только Серега. Он злился на всех и втайне удивлялся: как они не видят и не понимают, какая она самостоятельная, начитанная, какая она... Черт их знает, людей: как возьмутся языками чесать, так не остановишь. Они же не знали, какая она остроумная, озорная. Как она ходит! Это же поступь, черт возьми, это движение вперед, в ней же тогда каждая жилочка живет и играет, когда она идет. Серега особенно любил походку жены: смотрел, и у него зубы немели от любви. Он дома с изумлением оглядывал ее всю, играл желваками и потел от волнения.

— Что? — спрашивала Клара. — Мм?.. — И, играя, показывала Сереге язык. И шла в горницу, будто нарочно, чтоб еще раз показать ему, как она ходит. Серега устремлялся за ней.

...И они же еще вякали про то, что она... О деревня! Серега молил бога, чтоб ему как-нибудь не выронить из рук этот драгоценный подарок судьбы. Порой он даже страшился: по праву ли свалилось на его голову такое счастье, достоин ли он его, и нет ли тут какого недоразумения — вдруг что-нибудь такое выяснится, и ему скажут: «Э-э, друг ситный, да ты что?! Ишь, захапал!»

Серега увидел Клару первый раз в больнице (она только что приехала работать медсестрой), увидел и сразу забеспокоился. Сперва он увидел только очки и носик-сапожок. И сразу забеспокоился. Это потом уж ему предстояла радость открывать в ней все новые и новые прелести. Сперва же только блестели очки и торчал вперед носик, все остальное была — рыжая прическа. Белый ха-

латик на ней разлетался в стороны; она стремительно прошла по коридору, бросив на ходу понурой очереди: «Кто на перевязку — заходите». И скрылась в кабинетике. Серега так забеспокоился, что у него заболело сердце. Потом она касалась его ласковыми теплыми пальцами, спрашивала: «Не больно?» У Сереги кружилась голова от ее духов, он на вопросы только мотал головой — что не больно. И страх сковал его такой, что он боялся пошевелиться.

— Что вы? — спросила Клара.

Серега от растерянности опять качнул головой — что не больно. Клара засмеялась над самым его ухом... У Сереги, где-то внутри, выше пупка, зажгло... Он сморщился и... заплакал. Натурально заплакал! Он не мог понять себя и ничего не мог с собой сделать. Он сморщился, склонил голову и заскрипел зубами. И слезы закапали ему на больную руку и на ее белые пальчики. Клара испугалась: «Больно?!»

— Да иди ты!.. — с трудом выговорил Серега. — Делай свое дело. — Он приник бы мокрым лицом к этим милым пальчикам, и никто бы его не смог оттащить от них. Но страх, страх парализовал его, а теперь еще и стыд — что заплакал.

— Больно вам, что ли? — опять спросила Клара.

— Только... это... не надо изображать, что мы все тут — от фонаря работаем, — сказал Серега сердито. — Все мы, в конце концов, живем в одном государстве.

— Что, что?

Ну, и так далее.

Через восемнадцать дней они поженились.

Клара стала называть его — Серый. Ласково. Она, оказывается, была уже замужем, но муж попался «вареный какой-то», они скоро разошлись. Серега от одного того, что первый ее муж был «вареный», ходил, выпятив грудь, чувствовал в себе силу необыкновенную. Клара хвалила его.

И в это-то время, когда он не знал, что бы такое своротить от счастья, они говорили, что жена его — капризная и злая. Серега презирал их всех. Они же не знали, как она... О люди! Все иззавидовались, черти. Что такое, не могут люди спокойно выносить, когда кому-нибудь повезет.

— Вы берите пример с животного мира, — посоветовал Серега одному такому умнику. — Они же спокойно

относятся, когда, например, одну какую-нибудь собачку берут в цирк выступать. Они же не злятся. Чего вы-то психуете?

— Да жалко тебя...

— Жалко у пчелки... знаешь где? Вот так.

Серега злился, понимал, что это ни к чему, глупо, и еще больше злился.

— Не обращай внимания на пустолаек, — говорила жена Клара. — Нам же хорошо, и все. Я их всех в упор не вижу.

Серега поругался с родней, что они не пришли в восторг от Клары, с дружками... Бросил совсем выпивать, купил стиральную машину и по субботам крутил бельишко в предбаннике, чтоб никто из зубоскалов не видел. Мать Сереги не могла понять: хорошо это или плохо. С одной стороны, вроде как-то не пристало мужику бабскую работу делать, с другой стороны... Шут ее знает!

— Но он же не пьет! — сказала Клара свекрови. — Чего вам еще? Он занят делом.

— Дак а ты возьми да пожалей его: возьми да сама постирай, он неделю-то наломался, ему отдохнуть надо.

— А я что, не работаю?

— Да твоя-то работа... твою-то работу рази можно сравнить с мужниной, матушка! Покрути-ка его деньденьской (Серега работал трактористом) — руки-то какие надо! Он же не двужильный.

— Я сама знаю, как мне жить с мужем, — сказала на это Клара. — Вам надо, чтобы он пил?

— Зачем же?

— Ну и все. Им же делаешь хорошо, и они же еще недовольны.

— Да ведь мне жалко его, он же мне сын...

— Вам не жалко, когда они под заборами пьяные валяются? Жалко? Ну и все. И не надо больше говорить на эту тему. Ясно?

— Господи, батюшка!.. — опешила мать. — И слова не скажи. Замордовала мужика, а ей и слова не скажи.

— Хорошо, я скажу, чтобы он пошел в чайную и напился с дружками. Вас это устраивает?

— Да чо ты извязалась с пьянкой-то! — рассердилась мать. — Он и до тебя не шибко пил, чо ты с пьянкой-то? Заладила: «пьянка, пьянка».

— Хорошо, я скажу ему, что вы не велите стирать, —

объявила Клара. И даже поднялась и книжку медицинскую отложила в сторону.

Мать испугалась.

— Ладно! Сразу — «скажу». Только бы бегать жалиться.

— Хорошо, что вы предлагаете? — Клара через сильные очки прямо смотрела на свекровь.— Конкретно.

— Ничего. Только вижу я, милая, не век ты собралась с мужем жить, вот что. Если б жить думала, ты бы его берегла. А ты, как... не знаю, как ксплотаторша какая: заездила мужика. Неужели же тебе тяжало хоть воды-то натаскать! Он и так целый день там руки-то выворачивает, а придет домой — снова запрягайся. Да когда же ему отдохнуть-то, бедному?

— Повторяю: я о нем думаю. И когда мне его пожалеть, я сама знаю. Это вы тут... распустили мужчин, потом не знаете, что с ними делать.

— Господи, господи,— только и сказала мать.— Вот какие нынче пошли жены-то? Ай-яй!

Знал бы Серега про эти разговоры! У Клары хватало ума не передавать их мужу.

А Сереге это одно удовольствие — воды натаскать, бельишко простирнуть... Забежит в дом, поцелует жену в носик, подивится про себя мощному и плавному загибу ее бедер. А то попросит ее надеть белый халат.

— Ну заче-ем? — мило капризничала Клара.— Что за странности какие-то?

— Я прошу,— настаивал Серега.— Я же тогда тебя в халатике увидел, первый раз-то. Надень, погляжу: у меня вот здесь опять ворохнется.— Он показывал под сердце.— Я прошу, Кларнетик.— Он ее называл — Кларнетик. Или — Кларнет, когда надо громко позвать.

Клара надевала халат, и они баловались.

— Где болит? — спрашивала Клара.

— Вот здесь,— показывал Серега на сердце.

— Давно?

— Уже... семьдесят пять дней.

— Разрешите.— Клара прижималась ухом к Серегиной груди. Серега вдыхал запах ее крашеных волос... И снова, и снова у него чуть кружилась голова от волнения и радости. Он стискивал «врача» в объятиях, искал губами ее милый носик — любил почему-то целовать в носик.

— Ну-у,— противилась Клара,— врача-то!..— Ей, наверно, слегка уже надоели одинаковые ласки мужа.

«Господи, за что мне такое счастье! — думал Серега, выходя опять во двор к стиральному аппарату.— Я же могу не вынести так. Тронусь, чего доброго. Или ослабну вовсе».

Он не тронулся. Случилось другое, непредвиденное.

Приехал на каникулы двоюродный брат Серегин, Славка. Славка учился в большом городе в техническом вузе, родня им хвасталась, и, когда он приезжал на каникулы, дядя Николай, отец Славкин, собирал вечер. Так было уже два раза, теперь Славка перешел на третий курс. Ну, собрались опять. Позвали Серегу с Кларой.

Шло сперва все хорошо. Клара была в сиреневом платье с пышными рукавами, на груди медальон — часы на золотой цепочке, волосы отливают дорогой медью, очки блестят... Как любил ее Серега за эти очки! Осмотрится по народу, глянет на жену, и опять сердце радостью дрогнет: из всех-то она выделялась за столом: гордая сидела, умная, воспитанная — очень и очень не простая. Сереге понравилось, что и Славка тоже выделил ее из всех, переговаривался с ней через стол. Сперва так — о чем попало, а тут так вдруг интересно заговорили, что все за столом смолкли и слушали их.

— Хорошо, хорошо,— говорил Славка, улавливая ухом, что все его слушают,— мы — технократия, народ... сухой, как о нас говорят и пишут... Я бы тут только уточнил: конкретный, а не сухой, ибо во главе угла для нас — господин Факт.

— Да, но за фактом подчас стоят не менее конкретные живые люди,— возразила на это Клара, тоже улавливая ухом, что все их слушают.

— Кто же спорит! — сдержанно, через улыбочку, пульнул технократ Славка.— Но если все время думать о том, что за фактом стоят живые люди, и делать на это бесконечные сноски, то наука и техника будут топтаться на месте. Мы же не сдвинемся с мертвой точки!

Клара, сверкая стеклом, медью и золотом, сказала на это так:

— Значит, медицина должна в основном подбирать за вами трупы? — Это она сильно выразилась; за столом стало совсем тихо.

Славка на какой-то миг растерялся, но взял себя в руки и брякнул:

— Если хотите — да! — сказал он.— Только такой ценой человечество овладеет всеми богатствами природы.

— Но это же шарлатанство,— при общей тишине негромко, с какой-то особой значительностью молвила Клара.

Славка было засмеялся, но вышло это фальшиво, он сам почувствовал. Он занервничал.

— Почему же шарлатанство? Насколько я понимаю, шарлатанство свойственно медицине. И только медицине.

— Вы имеете в виду самовольные аборты?

— Не только...

— Знахарство? Так вот, запомните раз и навсегда,— напористо, и сердито, и назидательно заговорила Клара,— что всякий, кто берется лечить даже насморк человека, но не имеет на это соответствующего права,— есть потенциальный преступник.— Особенно четко и страшно выговорилось у нее это «преступник». И это — при бабках, которые вовсю орудовали в деревне всякими травками, настоями, отварами, это при них она так... Все смотрели на Клару. И тут понял Серега, что отныне жену его будут уважать и бояться. Он ликовал. Он молился на свою очкастую богиню, хотелось заорать всем: «Что, съели?! А вякали!..» Но Серега не заорал, а опять заплакал. Черт знает, что за нервы у него! То и дело плакал. Он незаметно вытер слезы и закурил.

Славка что-то такое еще говорил, но уже и за столом заговорили тоже: Славка проиграл. К Кларе потянулись — кто с рюмкой, кто с вопросом... Один очень рослый родственник Серегин, дядя Егор, наклонился к Сереге, к уху, спросил:

— Как ее величать?

— Никаноровна. Клавдия Никаноровна.

— Клавдия Никаноровна! — забасил дядя Егор, расталкивая своим голосом другие голоса.— А, Клавдия Никаноровна!..

Клара повернулась к этому холму за столом.

— Да, я вас слушаю.— Четко, точно, воспитанно.

— А вот вы замужем за нашим... ну, родственником, а свадьбу мы так и не справили. А почему вообще-то? Не по обычаю...

Клара не задумывалась над ответами. Вообще, казалось, вот это и есть ее стихия — когда она в центре внимания и раздает направо и налево слова, улыбки... Когда все удивляются на нее, любуются ею, кто и завидует исподтишка, а она все шлет и шлет и катит от себя волны духов, обаяния и культуры. На вопрос этого дяди Егора

Клара чуть прогнула в улыбке малиновые губы... Скользнула взглядом по технократу Славке и сказала, не дав даже договорить дяде Егору:

— Свадьба — это еще не знак качества. Это,— Клара подняла над столом руку, показала всем золотое кольцо на пальце,— всего лишь символ, но не гарантия. Прочность семейной жизни не исчисляется количеством выпитых бутылок.

Ну, она разворачивалась сегодня! Даже Серега не видел еще такой свою жену. Нет, она была явно в ударе. На дядю Егора, как на посрамленного бестактного человека, посыпалось со всех сторон:

— Получил? Вот так.

— Что, Егорша: спроть шерсти? Хх-э!..

— С обычаем полез! Тут без обычая отбреют так, што... На, закуси лучше.

Серега — в безудержной радости и гордости за жену — выпил, наверно, лишнего. У него выросли плечи так, что он мог касаться ими противоположных стен дома; радость его была велика, хотелось обнимать всех подряд и целовать. Он плакал, хотел петь, смеяться... Потом вышел на улицу, подставил голову под рукомойник, облился и ушел за угол, под навес,— покурить и обсохнуть. Темнеть уже стало, ветерок дергал. Серега скоро отошел на воздухе и сидел, думал. Не думал, а как-то отдыхал весь — душой и телом. Редкостный, чудный покой слетел на него: он как будто куда-то плыл, повинуясь спокойному, мощному току времени. И думалось просто и ясно: «Вот — живу. Хорошо».

Вдруг он услышал два торопливых голоса на крыльце дома; у него больно екнуло сердце: он узнал голос жены. Он замер. Да, это был голос Клары. А второй — Славкин. Над навесом была дощатая перегородка, Славка и Клара подошли к ней и стали. Получилось так: Серега сидел по одну сторону перегородки, спиной к ней, а они стояли по другую сторону... То есть это так близко, что можно было услышать стук сердца чужого, не то что голоса или шепот, или возню какую. Вот эта-то близость — точно он под кроватью лежал — так поначалу ошарашила, оглушила, что Серега не мог пошевельнуть ни рукой, ни ногой.

— Чиженька мой,— ласково, тихо — так знакомо! — говорила Клара,— да что же ты так торопишься-то? Дай я тебя...— Чмок-чмок. Так знакомо! Так одинаково! Так

близко...— Славненький мой. Чудненький мой...— Чмок-чмок.— Сладенький...

Они там слегка возились и толкали Серегу. Славка что-то торопливо бормотал, что-то спрашивал — Серега пропускал его слова,— Клара тихо смеялась и говорила:

— Сладенький мой... Куда, куда? Ах ты, шалунишка! Поцелуй меня в носик.

«Так вот это как бывает,— с ужасом, с омерзением, с болью постигал Серега.— Вот как!» И все живое, имеющее смысл, имя,— все ухнуло в пропасть, и стала одна черная яма. И ни имени нет, ни смысла — одна черная яма. «Ну, теперь все равно»,— подумал Серега. И шагнул в эту яму.

— Кларнети-ик, это я, Серый,— вдруг пропел Серега, как будто он рассказывал сказку и подступил к моменту, когда лисичка-сестричка подошла к домику петушка и так вот пропела: — Ау-у! — еще спел Серега.— А я вас счас буду убива-ать.

Дальше все пошло мелькать, как во сне: то то видел Серега, то это... То он куда-то бежал, то кричали люди. Ни тяжести своей, ни плоти Серега не помнил. И как у него в руке очутился топор, тоже не помнил. Но вот что он запомнил хорошо: как Клара прыгала через прясло. Прическа у Клары сбилась, волосы растрепались; когда она маханула через прясло, ее рыжая грива вздыбилась над головой... Этакий огонь метнулся. И этот-то летящий момент намертво схватила память. И когда потом Серега вспоминал бывшую свою жену, то всякий раз в глазах вставала эта картина — полет, и было смешно и больно.

В тот вечер все вдруг отшумело, отмелькало... Куда-то все подевались. Серега остался один с топором... Он стал все сознавать, стало нестерпимо больно. Было так больно, даже дышать было трудно от боли. «Да что же это такое-то! Что же делается?» — подумал Серега... Положил на жердину левую руку и тяпнул топором по пальцам. Два пальца — указательный и средний — отпали. Серега бросил топор и пошел в больницу. Теперь хоть куда-то надо идти. Руку замотал рубахой, подолом.

С тех пор его и прозвали на селе — Беспалый.

Клара уехала в ту же ночь; потом ей куда-то высылали документы: трудовую книжку, паспорт... Славка тоже уехал и больше на каникулы не приезжал. Серега по-прежнему работает на тракторе, орудует этой своей

культей не хуже прежнего. О Кларе никогда ни с кем не говорит. Только один раз поругался с мужиками.

— Говорили тебе, Серьга: злая она...

— Какая она злая-то?! — вдруг вскипел Серега.— При чем тут злая-то?

— А какая она? Добрая, что ли?

— Да при чем тут — добрая, злая? В злости, что ли, дело?

— А в чем же?

— Ни в чем! Не знаю, в чем... Но не в злости же дело. Есть же другие какие-то слова... Нет, заталдычили одно: злая, злая. Может, наоборот, добрая: брату хотела помочь.

— Серьга,— поинтересовались,— а вот ты же это... любил ее... А если б счас приехала, простил бы?

Серега промолчал на это. Ничего не сказал.

Тогда мужики сами принялись рассуждать.

— Что она, дура, что ли,— приедет.

— А что? Подумает — любил...

— Ну, любил, любил. Он любил, а она не любила. Она уже испорченный человек — на одном все равно не остановится. Если смолоду человек испортится, это уже гиблое дело. Хоть мужика возьми, хоть бабу — все равно. Она иной раз и сама не хочет, а делает.

— Да, это уж только с середки загнить, а там любой ветерок пошатнет.

— Воли им дали много! — с сердцем сказал Костя Бибиков, невзрачный мужичок, но очень дерзкий на слово.— Дед Иван говорит: счас хорошо живется бабе да корове, а коню и мужику плохо. И верно. Воли много, они и распустились. У Игнахи вон Журавлева — тоже: напилась дура, опозорила мужика — вел ее через всю деревню. А потом на его же: «А зачем пить много разрешал!». Вот как!..

— А молодые-то!.. Юбки эти возьми — посмотришь, иде-ет... Тьфу!

Серега сидел в сторонке, больше не принимал участия в разговоре. Покусывал травинку, смотрел вдаль куда-то. Он думал: что ж, видно, и это надо было испытать в жизни. Но если бы еще раз налетела такая буря, он бы опять растопырил ей руки — пошел бы навстречу. Все же, как ни больно было, это был праздник. Конечно, где праздник, там и похмелье, это так... Но праздник-то был? Был. Ну и все.

● ТАНЦУЮЩИЙ ШИВА

В чайной произошла драка.

Дело было так: плотники, семь человек, получили аванс (рубили сельмаг) и после работы пошли в чайную, как они говорят,— посидеть. Взяли семь бутылок портвейна (водки в чайной не было), семь котлет, сдвинули два столика, сели и стали помаленьку пропускать и кушать котлеты. Пропустили рюмочки по три, заговорили о том, что все-таки их хотят надуть с этим прилавком. Дело в том, что когда они рядились в цене, то упустили из виду прилавок: надо его делать плотникам или это уже столярная работа? Упустили-то сельповские, заказчики, а плотники тогда промолчали (бригадир у них в этом деле дока). Теперь выяснилось, что сельповские хотят, чтобы плотники сделали и прилавок тоже, они, оказывается, имели это в виду, что это само собой разумеется и так далее, и тому подобное. Но в договоре этот пункт не помечен, и плотники встали «на дыбошки»: прилавок — не наше дело! То есть они могут, конечно, его сделать, но за это — отдельная плата.

— Я им справочник покажу,— с явной угрозой говорил бригадир, сухой мужик, весь черный от солнца.— Я их носом ткну, где написано черным по белому: какие работы плотницкие, а какие столярные. Они же ни бум-бум в этом.

Все были согласны с бригадиром. Более того, все были возмущены, а иные, вроде Кольки Забалуева, даже оскорблялись и грустно, горько вздыхали. Они забыли один свой веселый разговор, когда они, семеро, сидя тут же, в чайной, толковали...

Но это — потом. Сейчас они говорили:

— А если бы, значит, так: им бы зачесалось теперь сделать какой-нибудь фигурный прилавок?

— Да любой прилавок! Это же особая работа..

— До чего ушлый народ пошел! Эдак они нас заставят и рамы вязать!

— Наше дело теперь: настелить пол, окосячить, навесить двери и — все, точка.

— Я те так скажу... Ты слушай сюда! Слушай сюда!

— Еще, что ли, по одной?

— Давайте.

Скинулись, взяли еще семь бутылок.

— Я те так скажу... Ты слушай сюда! Слушай сюда!

— Ну? Ну? Ну?

— Да не «ну» — слушай! Я рубил баню Дарье Кузовниковой...

— При чем тут Дарья? То — частное лицо, а то — организация: сравнил...

— Я те к примеру! Ты слушай сюда!..

— Долбо...

— Мужики, перестаньте лаяться! — крикнула буфетчица.— А то выставлю счас всех!.. Распустили языки-то.

— Ты слушай сюда!

— Ну!

— Гну! Если бы не женщина тут, я б те сказал...

В общем, беседа приняла оживленный характер: сельповским здорово перепадало — за наглость и вероломство.

Тут в чайную пришел Аркашка Кебин, по прозвищу Танцующий Шива.

Давно его так прозвали, в школе еще. Он тоже взял себе «портвяшку», котлету (поругался с женой и в знак протеста не стал дома ужинать), сел за столик по соседству с плотниками, прислушался к их разговору... И сказал громко:

— Хмыри!

Плотники замолчали. Посмотрели на Аркашку.

— Трепачи,— еще сказал Аркашка. Он потому и Шива, что везде сует свой нос.— Проходимцы.

Плотники сперва не поняли, что это к ним относится. Невероятно! Даже с Аркашкиным языком и то — на семерых подвыпивших так говорить... Что он, сдурел, что ли?

— Это я вам, вам,— сказал Аркашка.— Бедненькие — обманули их. Вас обманешь! Тот еще не родился, кто вас обманет. Прохиндеи.

У одного здоровенного плотника, Ваньки Селезнева, даже рот приоткрылся.

— Недоумеваете, почему прохиндеями назвал? Поясняю: полтора месяца назад вы, семеро хмырей, сидели тут же и радовались, что объегорили сельповских с договором: не вставили туда пункт о прилавке. Теперь вы сидите и проливаете крокодиловы слезы — вроде вас обманули. Нет, это вы обманули!

— Да? — спросил бригадир. И это «да» было — растерянность, никак не угроза. Беспомощность.

— Да, да.— Аркашка отдавил бочком вилки кусочек

котлетки, подцепил его, обмакнул в соус и отправил в рот — очень все аккуратно, культурно, даже мизинчик оттопырил. Потом (так любят делать артисты, изображающие в кино господ и надменных чиновников) — не прожевав, продолжал говорить: — Я слышал это собственными ушами, поэтому не показывайте мне детское удивление на лице, а имейте мужество выслушать горькую правду. Мне, допустим, это все равно, но где же правда, товарищи?! — Аркашка упивался, наслаждался, точно в июльскую жару погрузился по горло в прохладную воду и млел, и чуть шевелил пальцами ног. Великая сила — правда: зная ее, можно быть спокойным. Аркашка был спокоен. Он судил прохиндеев.— Стыдно, товарищи. И, главное, сами сидят возмущаются! Видели таких проходимцев? Ну, ладно, задумали обмануть сельповских, но зачем вот так вот сидеть и разводить нюни, что вас хотят обмануть? — Аркашка искренне заинтересовался, хотел понять.— Ведь вы на этом же самом месте похохатывали...— Но тут Аркашка увидел, что Ванька Селезнев показывает вовсе не детское удивление на лице, а берется за бутылку. Аркашка вскочил с места, потому что хорошо знал этого губошлепа — ломанет.— Ванька!.. Поставь бутылку на место, поставь, Ванюша. Я же вас на понт беру! Велите ему поставить бутылку!

Плотники обрели дар речи.

— А ты чего это заволновался-то, Шива? Ванька, поставь бутылку.

— Иди к нам, Аркашка.

— Правда, чего ты там один сидишь? Иди к нам.

— Пусть он поставит бутылку.

— Он поставил. Поставь, Иван. Иди, Аркаша.

Аркашка, прихватив свою недопитую бутылку, пересел к плотникам и только было хотел набулькать себе полстакашка и уже оттопырил мизинчик, как Ванька протянул через стол свою мощную грабастую лапу и поймал Аркашку за грудки.

— А-а, Шива!.. На понт берешь, да? Счас ты у меня станцуешь. Танцуй!

Аркашка поборолся немного с рукой, но рука... это не рука, а березовый сук с пальцами.

— Брось...— с трудом проговорил Аркашка.

— Танцуй!

— Отпусти, дурной!..

— Будешь танцевать?

Тут плотники принялись рассказывать нездешнему бригадиру, как здорово Аркашка танцует. Ногами что выделывает!.. Руками! А то — сам стоит, а голова танцует...

— Голова?

— Голова! Сам неподвижный, а голова ходуном ходит.

А Ванька все держал Аркашку за грудки, довольный, что надоумил товарищей с танцем.

— Будешь танцевать?

Чудовищные пальцы сжались туже.

— Буду... Отпусти!

Ванька отпустил.

— Гад такой. Обрадовался — здоровый? — Аркашка потер шею.— Распустил грабли-то... Попроси по-человечески — станцую, обязательно надо руки свои поганые таращить!

— Не обижайся, Аркашка. Станцуй вот для человека — он никогда не видел. Ванька больше не будет.

— Станцуй, будь другом!

Аркашке набухали стакан из своих бутылок.

— Ванька больше не будет. Не будешь, Иван?

— Пусть танцует.

Аркашка оглушил стакан.

— Зараза,— сказал он с дрожью в голосе.— Еще руки распускает... Для всех станцую, а ты — отвернись!

Ванька опять было потянулся к Аркашке, но ему не дали.

— Станцуй, Аркашка. Ванька, отвернись.— Ваньке подмигнули.— Отвернись, кому сказано! Чего ты, в самом деле, руки-то распускаешь?

— Нашелся мне, понимаешь...— Аркашка открыто и зло посмотрел на Ваньку.— Губошлеп. Три извилины в мозгу и все параллельные.

— Ладно, Аркашка, станцуй.

— Отвернись! — прикрикнул Аркашка на Ваньку.

Ванька сделал вид, что отвернулся.

Аркашка внимательно, чуть ли не торжественно оглядел всех, встал...

Как он танцует, Шива,— это надо смотреть.

Это не танец, где живет одна только плотская радость, унаследованная от прыжков и сексуального хвастовства тупых и беззаботных древних, у Аркашки — это

свободная форма свободного существования в нашем деловом веке. Только так, больше слабый Аркашка не мог никак.

— Как Ванька Селезнев дергает задом гвозди! — объявил Аркашка.

Это — название танца; Аркашка разрешил:

— Ванька, гляди! Можно глядеть! — И начал.

Дал знак воображаемым музыкантам, легкой касательной походкой сделал ритуальный скок... И опробовал половицу покрепче — надежно. Выдал красивое, загогулистое колено, еще, еще — это он показал, что как все-то пляшут — он так умеет. Он умел еще иначе. Он посмотрел на Ваньку... Сделал ему гримасу, показал его, заинтересованного губошлепа... Потом потянулся, сонно зачмокал губами — Ванька проснулся утром.

Плотники засмеялись.

Аркашка проковылял к стене, похрюкал, похрюкал, пригладил ладонями патлы — Ванька умылся. Потом Ванька стал жрать — жадно, много, безобразно... Отвалился от стола, стал икать...

Плотники опять засмеялись.

— Сука,— прошептал серьезный Ванька.

Потом Аркашка дал козла и опять выработал сложное колено — конец утра. И вот Ванька на работе. Раз ударит по гвоздю, минуту смотрит на небо, чешется... Нашел даже вшу под рубахой, убил.

— Падла,— сказал Ванька.— У меня сроду вшей не было. Даже в войну...

— Тихо,— попросили его.

— А чего он выдумывает!

— Тихо!

Потом Ванька загнал гвоздь криво, долго искал гвоздодер, гвоздодера у такого работника, конечно, нет. Тогда Ванька сел на гвоздь, напрягся так, что лицо перекосилось...

Плотники хохотали.

Ванька хотел было встать, ему не дали.

Аркашка мучился на полу...

Вот Ванька раскачал гвоздь, рывком встал... Взял гвоздь и забил правильно.

Плотники лежали на столах, мычали, вытирали слезы. И все, кто был в чайной, хохотали, даже строгая продавщица. Не смеялись только двое — Аркашка и Ванька. Ванька свирепо смотрел на артиста, знал: теперь полгода

будут помнить, как «Ванька дергал гвозди». Знал также, что отлупить Аркашку сейчас не дадут.

В завершение Аркашка опять сделал красивый круг, пощелкал чечеткой и сел к плотникам. Его хлопали по спине, налили стакан вина... Аркашка был доволен, посмотрел на Ваньку. Подмигнул ему. И почему-то именно это — что Аркашка подмигнул — доконало Ваньку. Он опять сгреб за грудки левой рукой, а правой хотел звездануть, размахнулся, но руку остановили. Ванька поднялся на всех.

— Он, сука, видел, как я работаю?! Он критикует!.. Он видел?

— Што ты, што ты — шуток не понимаешь. Уймись!

— Вам шутки, а мне в глаза будут тыкать. Пусти!..

Ванька закусил удила. Швырнул одного, другого... Все повскакали.

Аркашка на всякий случай отбежал к двери.

— Хаханьки строить? — орал Ванька и еще одному завесил такую, что плотник отлетел к стене.

Аркашка сверкающими глазами смотрел на все.

— Так их, Ванька! Так их!..— вскрикивал он. Его не слышали.

Ванька рычал и ворочался, его не могли одолеть. Падали стулья, столы, тарелки, бутылки...

— Зовите милицию! — заблажила буфетчица.— Они же побьют здесь все!..

— Не надо! — крикнул Аркашка.— Не надо милицию!

— Ша! — сказал вдруг нездешний бригадир.— Ша, пацаны, я валю этого бычка.

Бригадира услышали.

— Кто, ты? — удивился Ванька.— Ты?

— Отошли, пацаны, отошли... Я его делаю.— Бригадир стал подходить к Ваньке. Ванька изготовился.

— Иди, падла... Иди.

— Иду, Ваня, иду.

— Иди, иди.

— Иду.— Бригадир шел на Ваньку медленно, спокойно. Никто не понимал, что такое сейчас произойдет.

— Боксер, да? Иди, я те по-русски закатаю...

— Та какой я боксер! — Бригадир остановился перед Ванькой.— Що ты!...

— Ну? — спросил Ванька.

— От так — раз! — Бригадир вдруг резко ткнул Ваньке кулаком в живот.

Ванька ойкнул и схватился за живот, склонился. А когда он склонился, бригадир быстро, сильно дал ему согнутым коленом снизу в челюсть.

— Два.

Ванька зажмурился от боли... Упал, скрючился. Изо рта по нижней губе пробился тоненький следок крови... Капало с подбородка на застиранную Ванькину рубаху. Мерзкое искусство бригадира ошеломило всех: так в деревне не дрались. Дрались хуже — страшней, но так подло — нет.

Аркашка взял венский стул, подошел к бригадиру и заорал:

— Счас как дам по башке! Гад такой!

— Выходите к чертовой матери! Все! Вон! — Буфетчица, воспользовавшись затишьем, выбежала из-за прилавка и выталкивала плотников на улицу.— Выходите к чертовой матери! Вон на улицу — там и деритесь!

Один из плотников взял из-под Аркашки стул, поставил на место, а бригадиру сказал:

— Пошли, а то тут шум.

Аркашка склонился к Ивану, вытер кровь с его подбородка.

— Мм,— простонал Ванька.

— Ничего, Иван... ему счас дадут. Больно?

Ванька потрогал пальцем челюсть, покачал ее, сплюнул клейкую сукровицу. Сел.

— Бубы...

— А?

— Бубы...

— Зубы разбил? От гад-то! Счас ему там дадут. Мужики пошли с им... Встать можешь?

Ванька с трудом поднялся, сел на стул.

— Вина взять?

— Мм,— кивнул Ванька,— взять.

Аркашка подошел к прилавку.

— Здорово он его? — спросила буфетчица, наливая вино.

— Ничего, ему счас тоже дадут.

— А все ты разжег!.. Шива чертов. Вечно из-за тебя одни скандалы.

— Помолчи,— посоветовал Аркашка.— Возьми вон конфетку шоколадную и соси.

— Шива и есть. Выметайтесь отсюда! Чтоб духу вашего тут не было!..

Аркашка взял вино и пошел к Ивану.

— На, выпей.

— Чего она? — спросил Иван.

— Ругается. Не обращай внимания. Пей — легче будет.

● МИЛЬ ПАРДОН, МАДАМ!

Когда городские приезжают в эти края поохотиться и спрашивают в деревне, кто бы мог походить с ними, показать места, им говорят:

— А вон Бронька Пупков... он у нас мастак по этим делам. С ним не соскучитесь.— И как-то странно улыбаются.

Бронька (Бронислав) Пупков, еще крепкий, ладно скроенный мужик, голубоглазый, улыбчивый, легкий на ногу и на слово. Ему за пятьдесят, он был на фронте, но покалеченная правая рука — отстрелено два пальца — не с фронта: парнем еще был на охоте, захотел пить (зимнее время), начал долбить прикладом лед у берега. Ружье держал за ствол, два пальца закрывали дуло. Затвор берданки был на предохранителе, сорвался и — один палец отлетел напрочь, другой болтался на коже. Бронька сам оторвал его. Оба пальца — указательный и средний — принес домой и схоронил в огороде. И даже сказал такие слова:

— Дорогие мои пальчики, спите спокойно до светлого утра.

Хотел крест поставить, отец не дал.

Бронька много скандалил на своем веку, дрался, его часто и нешуточно бивали, он отлеживался, вставал и опять носился по деревне на своем оглушительном мотопеде («педике») — зла ни на кого не таил. Легко жил.

Бронька ждал городских охотников, как праздника. И когда они приходили, он был готов — хоть на неделю, хоть на месяц. Места здешние он знал как свои восемь пальцев, охотник был умный и удачливый.

Городские не скупились на водку, иногда давали деньжат, а если не давали, то и так ничего.

— На сколь? — деловито спрашивал Бронька.

— Дня на три.

— Все будет, как в аптеке. Отдохнете, успокоите нервы.

Ходили дня по три, по четыре, по неделе. Было хо-

рошо. Городские люди — уважительные, с ними не манило подраться, даже когда выпивали. Он любил рассказывать им всякие охотничьи истории.

В самый последний день, когда справляли отвальную, Бронька приступал к главному своему рассказу.

Этого дня он тоже ждал с великим нетерпением, изо всех сил крепился... И когда он наступал, желанный, с утра сладко ныло под сердцем, и Бронька торжественно молчал.

— Что это с вами? — спрашивали.

— Так,— отвечал он.— Где будем отвальную соображать? На бережку?

— Можно на бережку.

...Ближе к вечеру выбирали уютное местечко на берегу красивой стремительной реки, раскладывали костерок. Пока варилась щерба из чебачков, пропускали по первой, беседовали.

Бронька, опрокинув два алюминиевых стаканчика, закуривал...

— На фронте приходилось бывать? — интересовался он как бы между прочим. Люди старше сорока почти все были на фронте, но он спрашивал и молодых: ему надо было начинать рассказ.

— Это с фронта у вас? — в свою очередь спрашивали его, имея в виду раненую руку.

— Нет. Я на фронте санитаром был. Да... Дела-делишки...— Бронька долго молчал.— Насчет покушения на Гитлера не слышали?

— Слышали.

— Не про то. Это когда его свои же генералы хотели кокнуть?

— Да.

— Нет. Про другое.

— А какое еще? Разве еще было?

— Было.— Бронька подставлял свой алюминиевый стаканчик под бутылку.— Прошу плеснуть.— Выпивал.— Было, дорогие товарищи, было. Кха! Вот настолько пуля от головы прошла.— Бронька показывал кончик мизинца.

— Когда это было?

— Двадцать пятого июля тыща девятьсот сорок третьего года.— Бронька опять надолго задумывался, точно вспоминал свое собственное, далекое и дорогое.

— А кто стрелял?

Бронька не слышал вопроса, курил, смотрел на огонь.

— Где покушение-то было?

Бронька молчал.

Люди удивленно переглядывались.

— Я стрелял,— вдруг говорил он. Говорил негромко, еще некоторое время смотрел на огонь, потом поднимал глаза... И смотрел, точно хотел сказать: «Удивительно? Мне самому удивительно». И как-то грустно усмехался.

Обычно долго молчали, глядели на Броньку. Он курил, подкидывал палочкой отскочившие угольки в костер... Вот этот-то момент и есть самый жгучий. Точно стакан чистейшего спирта пошел гулять в крови.

— Вы серьезно?

— А как вы думаете? Что, я не знаю, что бывает за искажение истории? Знаю. Знаю, дорогие товарищи.

— Да ну, ерунда какая-то...

— Где стреляли-то? Как?

— Из браунинга... Вот так — нажал пальчиком и — пук! — Бронька смотрел серьезно и грустно — что люди такие недоверчивые. Он же уже не хохмил, не скоморошничал.

Недоверчивые люди терялись.

— А почему об этом никто не знает?

— Пройдет еще сто лет, и тогда много будет покрыто мраком. Поняли? А то вы не знаете... В этом-то вся трагедия, что много героев остаются под сукном.

— Это что-то смахивает на...

— Погоди. Как это было?

Бронька знал, что все равно захотят послушать. Всегда хотели.

— Разболтаете ведь?

Опять замешательство.

— Не разболтаем...

— Честное партийное?

— Да не разболтаем! Рассказывайте.

— Нет, честное партийное? А то у нас в деревне народ знаете какой... Пойдут трепать языком.

— Да все будет в порядке! — Людям уже не терпелось послушать.— Рассказывайте.

— Прошу плеснуть.— Бронька опять подставлял стаканчик. Он выглядел совершенно трезвым.— Было это, как я уже сказал, двадцать пятого июля сорок третьего года. Кха! Мы наступали. Когда наступают, санитарам больше работы. Я в тот день приволок в лазарет человек двенадцать... Принес одного тяжелого лейтенанта, поло-

жил в палату... А в палате был какой-то генерал. Генерал-майор. Рана у него была небольшая — в ногу задело, выше колена. Ему как раз перевязку делали. Увидел меня тот генерал и говорит:

— Погоди-ка, санитар, не уходи.

Ну, думаю, куда-нибудь надо ехать, хочет, чтоб я его поддерживал. Жду. С генералами жизнь намного интересней: сразу вся обстановка как на ладони.

Люди внимательно слушают. Постреливает, попыхивает веселый огонек; сумерки крадутся из леса, наползают на воду, но середина реки, самая быстрина, еще блестит, сверкает, точно огромная длинная рыбина несется серединой реки, играя в сумраке серебристым телом своим.

— Ну, перевязали генерала... Доктор ему: «Вам надо полежать!» — «Да пошел ты!» — отвечает генерал. Это мы докторов-то тогда боялись, а генералы-то их — не очень. Сели мы с генералом в машину, едем куда-то. Генерал меня расспрашивает: откуда я родом? Где работал? Сколько классов образования? Я подробно все объясняю: родом оттуда-то (я здесь родился), работал, мол, в колхозе, но больше охотничал. «Это хорошо,— говорит генерал.— Стреляешь метко?» Да, говорю, чтоб зря не трепаться: на пятьдесят шагов свечку из винта погашу. А вот насчет классов, мол, не густо: отец сызмальства начал по тайге с собой таскать. Ну, ничего, говорит, там высшего образования не потребуется. А вот если, говорит, ты нам погасишь одну зловредную свечку, которая раздула мировой пожар, то Родина тебя не забудет. Тонкий намек на толстые обстоятельства. Поняли?.. Но я пока не догадываюсь.

Приезжаем в большую землянку. Генерал всех выгнал, а сам все меня расспрашивает. За границей, спрашивает, никого родных нету? Откуда, мол! Вековечные сибирские... Мы от казаков происходим, которые тут недалеко Бий-Катунск рубили, крепость. Это еще при царе Петре было. Оттуда мы и пошли, почесть вся деревня...

— Откуда у вас такое имя — Бронислав?

— Поп с похмелья придумал. Я его, мерина гривастого, разок стукнул за это, когда сопровождал в ГПУ в тридцать третьем году...

— Где это? Куда сопровождали?

— А в город. Мы его взяли, а вести некому. Давай, говорят, Бронька, у тебя на него зуб — веди.

— А почему, хорошее ведь имя?

— К такому имю надо фамилию подходящую. А я — Бронислав Пупков. Как в армии перекличка, так — смех. А вон у нас — Ванька Пупков,— хоть бы што.

— Да, так что же дальше?

— Дальше, значит, так. Где я остановился?

— Генерал расспрашивает...

— Да. Ну, расспросил все, потом говорит: «Партия и правительство поручают вам, товарищ Пупков, очень ответственное задание. Сюда, на передовую, приехал инкогнито Гитлер. У нас есть шанс хлопнуть его. Мы, говорит, взяли одного гада, который был послан к нам со специальным заданием. Задание-то он выполнил, но сам влопался. А должен был здесь перейти линию фронта и вручить очень важные документы самому Гитлеру. Лично. А Гитлер и вся его шантрапа знают того человека в лицо».

— А при чем тут вы?

— Кто с перебивом, тому — с перевивом. Прошу плеснуть. Кха! Поясняю: я похож на того гада как две капли воды... Ну, и — начинается житуха, братцы мои! — Бронька предается воспоминаниям с таким сладострастием, с таким затаенным азартом, что слушатели тоже невольно испытывают приятное, исключительное чувство. Улыбаются. Налаживается некий тихий восторг.— Поместили меня в отдельной комнате тут же, при госпитале, приставили двух ординарцев... Один — в звании старшины, а я — рядовой. Ну-ка, говорю, товарищ старшина, подай-ка мне сапоги. Подает. Приказ — ничего не сделаешь, слушается. А меня тем временем готовят. Я прохожу выучку...

— Какую?

— Спецвыучку. Об этом я пока не могу распространяться, подписку давал. По истечении пятьдесят лет — можно. Прошло только...— Бронька шевелил губами — считал.— Прошло двадцать пять. Но это — само собой. Житуха продолжается! Утром поднимаюсь — завтрак: на первое, на второе, третье. Ординарец принесет какого-нибудь вшивого портвейного, я его кэк шугану!.. Он несет спирт, его в госпитале навалом. Сам беру разбавляю, как хочу, а портвейный — ему. Так проходит неделя. Думаю, сколько же это будет продолжаться? Ну, вызывает наконец генерал. «Как, товарищ Пупков?» Готов, говорю, к выполнению задания! Давай, говорит. С богом, гово-

рит. Ждем тебя оттуда Героем Советского Союза. Только не промахнись! Я говорю, если я промахнусь, я буду последний предатель и враг народа! Или, говорю, лягу рядом с Гитлером, или вы выручите Героя Советского Союза Пупкова Бронислава Ивановича. А дело в том, что намечалось наше грандиозное наступление. Вот так, с флангов, шла пехота, а спереди — мощный лобовой удар танками.

Глаза у Броньки сухо горят, как угольки, поблескивают. Он даже алюминиевый стаканчик не подставляет — забыл. Блики огня играют на его суховатом правильном лице — он красив и нервен.

— Не буду говорить вам, дорогие товарищи, как меня перебросили через линию фронта и как я попал в бункер Гитлера. Я попал! — Бронька встает.— Я попал!.. Делаю по ступенькам последний шаг и оказываюсь в большом железобетонном зале. Горит яркий электрический свет, масса генералов... Я быстро ориентируюсь: где Гитлер? — Бронька весь напрягся, голос его рвется, то срывается на свистящий шепот, то неприятно, мучительно взвизгивает. Он говорит неровно, часто останавливается, рвет себя на полуслове, глотает слюну...

— Сердце вот тут... горлом лезет. Где Гитлер?! Я микроскопически изучил его лисиную мордочку и заранее наметил, куда стрелять,— в усики. Я делаю рукой: «Хайль Гитлер!» В руке у меня большой пакет, в пакете — браунинг, заряженный разрывными отравленными пулями. Подходит один генерал, тянется к пакету: давай, мол. Я ему вежливо ручкой — миль пардон, мадам, только фюреру. На чистом немецком языке говорю: фьюрэр! — Бронька сглотнул.— И тут... вышел он. Меня как током дернуло... Я вспомнил свою далекую родину... Мать с отцом... Жены у меня тогда еще не было...— Бронька некоторое время молчит, готов заплакать, завыть, рвануть на груди рубаху...— Знаете, бывает: вся жизнь промелькнет в памяти... С медведем нос к носу — тоже так. Кха!.. Не могу! — Бронька плачет.

— Ну? — тихо просит кто-нибудь.

— Он идет ко мне навстречу. Генералы все вытянулись по стойке «смирно»... Он улыбался. И тут я рванул пакет... Смеешься, гад! Дак получай за наши страдания!.. За наши раны! За кровь советских людей!.. За разрушенные города и села! За слезы наших жен и матерей!..— Бронька кричит, держит руку, как если

бы он стрелял. Всем становится не по себе.— Ты смеялся?! А теперь умойся своей кровью, гад ты ползучий!! — Это уже душераздирающий крик. Потом гробовая тишина... И шепот, торопливый, почти невнятный: — Я стрелил...— Бронька роняет голову на грудь, долго молча плачет, оскалился, скрипит здоровыми зубами, мотает безутешно головой. Поднимает голову — лицо в слезах. И опять тихо, очень тихо, с ужасом говорит:

— Я промахнулся.

Все молчат. Состояние Броньки столь сильно действует, удивляет, что говорить что-нибудь — нехорошо.

— Прошу плеснуть,— тихо, требовательно говорит Бронька. Выпивает и уходит к воде. И долго сидит на берегу один, измученный пережитым волнением. Вздыхает, кашляет. Уху отказывается есть.

...Обычно в деревне узнают, что Бронька опять рассказывал про «покушение».

Домой Бронька приходит мрачноватый, готовый выслушивать оскорбления и сам оскорблять. Жена его, некрасивая толстогубая баба, сразу набрасывается:

— Чего как пес побитый плетешься? Опять!..

— Пошла ты!..— вяло огрызается Бронька.— Дай пожрать.

— Тебе не пожрать надо, не пожрать, а всю голову проломить безменом! — орет жена.— Ведь от людей уж прохода нет!..

— Значит, сиди дома, не шляйся.

— Нет, я пойду счас!.. Я счас пойду в сельсовет, пусть они тебя, дурака, опять вызовут! Ведь тебя, дурака беспалого, засудют когда-нибудь! За искажение истории...

— Не имеют права: это не печатная работа. Понятно? Дай пожрать.

— Смеются, в глаза смеются, а ему... все божья роса. Харя ты неумытая, скот лесной!.. Совесть-то у тебя есть? Или ее всю уж отшибли? Тьфу! — в твои глазыньки бесстыжие! Пупок!..

Бронька наводит на жену строгий злой взгляд. Говорит негромко с силой:

— Миль пардон, мадам... Счас ведь врежу!..

Жена хлопала дверью, уходила прочь — жаловаться на своего «лесного скота».

Зря она говорила, что Броньке — все равно. Нет. Он тяжело переживал, страдал, злился... И дня два пил

дома. За водкой в лавочку посылал сынишку-подростка.

— Никого там не слушай,— виновато и зло говорил сыну.— Возьми бутылку и сразу домой.

Его действительно несколько раз вызывали в сельсовет, совестили, грозили принять меры... Трезвый Бронька, не глядя председателю в глаза, говорил сердито, невнятно:

— Да ладно!.. Да брось ты! Ну?.. Подумаешь!..

Потом выпивал в лавочке «банку», маленько сидел на крыльце — чтоб «взяло», вставал, засучивал рукава и объявлял громко:

— Ну, прошу!.. Кто? Если малость изувечу, прошу не обижаться. Миль пардон!..

А стрелок он был, правда, редкий.

ШИРЕ ШАГ, МАЭСТРО!

Притворяшка Солодовников опять опаздывал на работу. Опаздывал он почти каждый день. Главврач, толстая Анна Афанасьевна, говорила:

— Солодовников, напишу маме!

Солодовников смущался; Анна Афанасьевна (Анфас — называл ее Солодовников в письмах к бывшим сокурсникам своим, которых судьба тоже растолкала по таким же углам; они еще писали друг другу, жаловались и острили) приходила в мелкое движение — смеялась. Молча. Ей нравилось быть наставником и покровителем молодого врача, молодого донжуана. Солодовников же, наигрывая смущение, жалел, что редкое дарование его — нравиться людям — пропадает зря: Анфас не могла сыграть в его судьбе сколько-нибудь существенную роль; дай бог ей впредь и всегда добывать для больницы спирт, камфару, листовое железо, радиаторы для парового отопления. Это она умела. Еще она умела выковыривать аппендицит. Солодовникову случалось делать кое-что посложнее, и он опять жалел, что никто этого не видит. «Я тут чуть было не соблазнился на аутотрансплантацию,— писал он как-то товарищу своему.— Хотел большую подкожную загнать в руку — начитался новинок, вспомнил нашего старика. Но... и но: струсил. Нет, не то: зрителей нет, вот что. Хучь бей меня, хучь режь

меня — я актер. А моя драгоценная Анфас — не аудитория. Нет».

Солодовников спешил. Мысленно он уже проиграл утреннюю сцену с Анной Афанасьевной: он нахмурится виновато, сунется к часам... Вообще он после таких сценок иногда чувствовал себя довольно погано. «Гадкая натура,— думал.— Главное, зачем? Ведь даже не во спасение, ведь не требуется!» Но при этом испытывал и некое приятное чувство, этакое дорогое сердцу успокоение, что — все в порядке, все понятно, дело мужское, неженатое.

Солодовников вбежал на крыльцо, открыл тяжелую дверь на пружине, придержал ее, чтоб не грохнула... И, раздеваясь на ходу, поспешил к вешалке в коридоре. И когда раздевался, увидел на белой стене, противоположной окну, большой — в окно — желтый квадрат. Свет. Солнце... И как-то он сразу вдруг вспыхнул в сознании, этот квадратный желтый пожар,— весна! На дворе желанная, милая весна. Летел по улице, хрустел ледком, думал черт знает о чем, не заметил, что — весна. А теперь... даже остановился с пальто в руках, засмотрелся на желтый квадрат. И радость, особая радость — какая-то тоже ясная, надежная, сулящая и вперед тоже тепло и радость — толкнулась в грудь Солодовникова. В той груди билось жадное до радости молодое сердце. Солодовников даже удивился и поскорей захотел собрать воедино все мысли, сосредоточить их на одном: вот — весна, надо теперь подумать и решить нечто главное. Предчувствие чего-то хорошего охватило его. Надо только, думал он, собраться, крепко подумать. Всего двадцать четыре года, впереди целая жизнь, надо что-то такое решить теперь же, когда и сила есть, много, и радостно. И весна. Надо начать жить крупно.

Солодовников прошел в свой кабинетик (у него стараниями все той же добрейшей Анны Афанасьевны зачем-то был свой кабинетик), сел к столу и задумался. Не пошел к Анне Афанасьевне. Она сейчас сама придет.

Ни о чем определенном он не думал, а все жила в нем эта радость, какая вломилась сейчас — с весной, светом — в душу, все вникал он в нее, в радость, вслушивался в себя... И невольно стал вслушиваться и в звуки за окном: на жесть подоконника с сосулек, уже обогретых солнцем, падали капли, и мокрый шлепающий звук их, такой неожиданный, странный в это ясное, солнечное

утро с легким морозцем, стал отзываться в сердце — каждым громким шлепком — радостью же. Нет, надо все сначала, думал Солодовников. Хватит. Хорошо еще, что институт закончил, пока валял дурака, у других хуже бывает. Он верил, что начнет теперь жить крупно — самое время, весна: начало всех начал. Отныне берем все в свои руки, хватит. Двадцать пять плюс двадцать пять — пятьдесят. К пятидесяти годам надо иметь... кафедру в Москве, свору учеников и огромное число работ. Не к пятидесяти, а к сорока пяти. Придется, конечно, поработать, но... почему бы не поработать!

Солодовников встал, прошелся по кабинетику. Остановился у окна. Радость все не унималась. Огромная земля... Огромная жизнь. Но — шаг пошире, пошире шаг, маэстро! Надо успеть отшагать далеко. И начнется этот славный поход — вот отсюда, от этой весны.

Солодовников опять подсел к столу, достал ручку, поискал бумагу в столе, не нашел, вынул из кармана записную книжку и написал на чистой страничке:

Отныне буду так:
Холодный блеск ума,
Как беспощадный блеск кинжала:
Удар — закон.
Удар — конец.
Удар — и все сначала.

Прочитал, бросил ручку и опять стал ходить по кабинетику. Закурил. Его поразило, что он написал стихи. Он никогда не писал стихов. Он даже не подозревал, что может их писать. Вот это да! Он подошел к столу, перечитал стихи... Хм. Может, они, конечно, того... нагловатые. Но дело в том, что это и не стихи, это своеобразная программа, что ли, сформулировалась такими вот словами. Он еще прошелся по кабинетику... Вдруг засмеялся вслух. Стихи хирурга: «Удар — конец. Удар — и все сначала». Что сначала: новый язвенник? Ничего... Он порадовался тому, что не ошалел от радости, написав стихи, а нашел мудрость обнаружить их смешную слабость. Но их надо сохранить: так — смешно и наивно — начиналась большая жизнь. Солодовников спрятал книжечку. Если к пятидесяти годам не устать, как... лошади, и сохранить чувство юмора, то их можно потом и вспомнить.

А за окном все шлепало и шлепало в подоконник. И заметно согревалось окно. Весна работала. Солодовников почувствовал острое желание действовать.

Он вышел в коридор, прошел опять мимо желтого пятна на стене, подмигнул ему и мысленно сказал себе: «Шире шаг, маэстро!»

Анна Афанасьевна, конечно, говорила по телефону и, конечно, о листовом железе. Они кивнули друг другу.

— Я понимаю, Николай Васильевич,— любезно говорила Анна Афанасьевна в трубку,— я вас прекрасно понимаю... Да. Да!.. Пятнадцать листов!

«Мы все прекрасно понимаем, Николай Васильевич»,— съязвил про себя Солодовников, присаживаясь на белую табуретку. Не зло съязвил, легко — от избытка доброй силы. Не терпелось скорей заговорить с Анной Афанасьевной.

— Я вас прекрасно понимаю, Николай Васильевич!.. Хорошо. Бу сделано! — Анна Афанасьевна пришла в мелкое движение — засмеялась беззвучно.— Я в долгу не останусь. До свиданья! Нет, не у нас, не у нас... Что вы все боитесь нас, как... не знаю... До свиданья — на нейтральной почве! В ресторане? — Анфас опять вся заколебалась.— Ну, посмотрим. Ну, лады! Всего.

«Господи — весь юмор: «бу сделано», «лады»,— удивился Солодовников.— И не жалко времени — болтать! Тут теперь каждая минута дорога».

— Ну-с, Георгий Николаевич...— Анна Афанасьевна весело и значительно посмотрела на Солодовникова.

— Да здравствует листовое железо!— тоже весело сказал Солодовников без всякого смущения, даже притворного. Он прямо смотрел Анне Афанасьевне в глаза.

— В смысле?— спросила та.

— В смысле: у нас будет самодельный холодильник.— Солодовников встал, подошел к окну, постоял, руки в карманы, чувствуя за собой удивленный взгляд главврача... Качнулся с носков на пятки. И соврал. Крупно. Неожиданно.

— Начал писать работу, Анна Афанасьевна. «Письма из глубинки. Записки врача».

Это как-то случилось само собой — эти «Письма из глубинки». И Солодовникова опять поразило: это же ведь то, что нужно! С этого же и надо начинать. Неужели начался неосознанный акт творчества? Если, конечно, это не «удар — закон». Нет, это реально, умно, точно: это описание интересных случаев операционной практики в условиях сельской больницы. В форме писем к другу «Н». Тут и легкая ирония по поводу этих самых условий,

описание самодельного холодильника — глубокой землянки, обшитой изнутри листовым железом,— и — легко, вскользь — весна... Но, конечно же, главным образом работа, работа, работа. Изнуряющая. Радостная. Смелая. Подвижническая. Любовь населения... Уважение. Ночные поездки. Аутотрансплантация. Прободная в условиях полевого стана. Благодарность старушки, ее смешная, искренняя молитва за молоденького неверующего врача... Все это сообразилось в один миг, вдруг, отчетливо, с радостью. Солодовников повернулся к Анне Афанасьевне... Да, тут, конечно, и заботливая, недалекая хлопотунья Анна Афанасьевна, главврач... Которая, прочитав «Записки» в рукописи, скажет, удивленная: «Прямо как роман!» — «Ладно, а как врачу вам это интересно?» — «Очень! Тут же есть просто уникальные случаи!» — «А за себя... не в обиде на автора?» — «Да нет, чего обижаться? Все правда».

— Что, Анна Афанасьевна?

— Уже начали писать? — спросила Анна Афанасьевна.— Записки-то. Поэтому и опоздали?

— Поэтому и опоздал.— Солодовников обиделся на главврача: солдафон в юбке, одно листовое железо в голове.— Извините,— сухо добавил он,— больше этого не случится.— Смотреть на часы и огорчаться притворно он не стал. «Все,— подумал он.— Хватит. Пора кончать эти... ужимки и прыжки». Вспомнил свое стихотворение.

— Какой-то вы сегодня странный.

— Что с этим язвенником, с трактористом? — спросил Солодовников.— Будем оперировать?

Анна Афанасьевна больше того удивилась:

— Зубова? Здрассте, я ваша тетя: я его два дня назад в район отправила. Вы что?

— Почему?

— Потому что вы сами просили об этом, поэтому. Что с вами?

— Да, да,— вспомнил Солодовников.— А эта девушка с мениском?

— С мениском лежит... Хотите оперировать?

— Да,— твердо сказал Солодовников.— Сегодня же.

Анна Афанасьевна посмотрела на своего помощника долгим взглядом. Солодовников тоже посмотрел на нее — как-то несколько задумчиво, чуть прищурив глаза.

— Так,— молвила Анна Афанасьевна.— Ну, что же... Только вот какое дело, Георгий Николаевич: сегодня

операцию отложим. Сегодня вы мне поможете, Георгий Николаевич. Меня вызывают в райздрав, а я договорилась с директором совхоза насчет железа... Причем, это такой человек, что его надо ловить на слове: завтра железа у него не будет, надо брать, пока оно, так сказать, горячо. Я прошу вас получить сегодня это железо. Завхоз наш, как вам известно, в отпуске.

Солодовников было огорчился, но, подумав, легко согласился:

— Хорошо.

Первая глава в «Записках» будет... о листовом железе. Это сразу введет в обстоятельства и условия, в каких приходилось работать молодому врачу.

— Что все-таки с вами такое? — опять не выдержала Анна Афанасьевна. Ей чисто по-женски интересно было узнать, отчего молодые люди могут за одну ночь так измениться.— Серьезная любовь?

Солодовников в свою очередь с любопытством посмотрел на главврача:

— Вы ничего не замечаете? Что происходит на земле...

Анна Афанасьевна даже выглянула в окно.

— Что происходит? Не понимаю...

— Не во дворе у нас, вообще на земле.

— Война во Вьетнаме...

— Нет, я не про то. Лады, Анна Афанасьевна, иду добывать железо! Куда надо идти?

— Надо ехать в Образцовку к директору совхоза. Ненароков Николай Васильевич. Но раньше надо взять у нас в сельсовете подводу и одного рабочего, там дадут, я договорилась. Скажите Ненарокову, что мы, я или вы, на днях прочитаем у них в клубе лекцию о вреде алкоголя. Это действительно надо сделать, я давно обещала. Вы мне сегодня положительно нравитесь, Георгий Николаевич. Любовь, да?

— Разрешите идти? — Солодовников прищелкнул каблуками, улыбнулся своей доверчивой, как он ее сам называл, улыбкой.

— Разрешаю.

Солодовников вышел в коридор... Пятно света наполовину сползло со стены на пол. Солодовников нарочно наступил на пятно, постоял... «Время идет»,— подумал он. Без сожаления, однако, подумал, а с радостью, как

если бы это обозначало: «Началось мое время. Сдвинулось!»

В кабинетике он опять достал записную книжку и записал:

«Сегодня утром я спросил мою уважаемую Анфас: «Что происходит на земле?» Анфас честно выглянула в окно... Подумала и сказала: «Война во Вьетнаме».— «А еще?» Она не знала. А на земле была Весна».

Это — начало первой главы «Записок». Солодовникову оно понравилось. С прозой он, очевидно, в лучших отношениях. Да, с этого дня, с этого утра время работает на него. На книге, которую он подарит Анне Афанасьевне, он напишет:

«Фоме неверующему — за добро и науку. Автор».

Вот и все. Ну, а теперь — листовое железо!

В сельсовете Солодовникову дали подводу, но того, кто должен был ехать с ним, там не было.

— Вы, это, заехайте за ним, он живет... вот так вот улица повернет от сельпо в горку, а вы...

Солодовников поехал один в Образцовку. «Черт с ним, с рабочим, один погружу».

Ехать до Образцовки не так уж долго, но конек попался грустный, не спешил, да Солодовников и не торопил его. Санная езда кончалась; как выехали на тракт, так потащились совсем тихо и тяжело. Полозья омерзительно скрежетали по камням; от копыт лошади, когда она пробовала бежать рысью, летели ошметья талого грязного снега. В санях было голо, Солодовников не догадался попросить охапку сена, чтобы раскинуть ее и развалиться бы на ней, как, он видел, делают мужики.

На выезде из села, у крайних домов, Солодовников увидел початый стожок сена. Стожок был огорожен пряслом, но к нему вела утоптанная тропка. Солодовников остановил коня и побежал к стожку. Перелез через прясло и уже запустил руки в пахучую хрустящую благодать, стараясь захватить побольше... И тут услышал сзади злой окрик:

— Эт-то что за елкина мать?! Кто разрешил?

Солодовников вздрогнул испуганно и выдернул руки из сена. К нему по тропке быстро шел здоровый молодой мужик в синей рубахе, без шапки. Нес в руках березовый колышек.

— Я хотел под бок себе...— поспешно сказал Солодовников и сам почувствовал, что говорит трусливо и

униженно.— Немного — вот столько — под бок хотел положить...

— А по бокам не хотел? Стяжком вот этим вот... Под бок он хотел! Опояшу вот разок-другой...

— Я врач ваш! — совсем испуганно воскликнул Солодовников.— Мне немного надо-то было... Господи, из-за чего шум?

— Врач...— Мужик присмотрелся к Солодовникову и, должно быть, узнал врача.— Надо же спросить сперва. Если каждый будет по охапке под бок себе дергать, мне и коровенку докормить нечем будет. Спросить же надо. Тут много всяких ездиют...

Мужик явно теперь узнал врача, но оттого, что он тем не менее отчитал его, как школяра, Солодовников очень обиделся.

— Да не надо мне вашего сена, господи! Я немного и хотел-то... под бок немного... Не надо мне его! — Солодовников повернулся и пошел по целику прямо, проваливаясь по колена в жесткий ноздреватый снег, больно царапая лодыжки. Он понимал, что — со стороны посмотреть — вовсе глупо: шагать целиком, когда есть тропинка. Но на тропинке стоял мужик и его надо было бы обойти.

— Возьми сена-то! — крикнул мужик.— Чего же пустой пошел?

— Да не надо мне вашего сена! — чуть не со слезами крикнул Солодовников, резко оглянувшись.— Вы же убьете, чего доброго, из-за охапки сена!

Мужик молча глядел на него.

Солодовников дошел до саней, больно стегнул вожжами кобылу и поехал. В какой-то статье он прочитал у какого-то писателя, что «идиотизма деревенской жизни» никогда не было и, конечно же, нет и теперь. «Сам идиот, поэтому и идиотизма нет и не было»,— зло подумал он про писателя.

Ноги Солодовников поцарапал сильно, теперь саднило, и он решил вернуться в больницу и на всякий случай обезвредить ссадины. Но остановился, постоял и раздумал, решил, что в совхозе попросит спирту и протрет ноги.

Он потихоньку ехал дальше и успокоился. Вообще неплохое продолжение первой главы «Записок». Только с юмором надо как-то... осторожнее, что ли. При чем тут юмор и ирония? Это должна быть трезвая, деловая вещь,

без всяких этих штучек. В том-то и дело, что не развлекать он собрался, а поведать о трудной, повседневной, нормальной, если хотите, жизни сельского врача. Солодовников совсем успокоился, только очень неуютно, неудобно было в жестких, холодных санях.

Николай Васильевич Ненароков, человек нестарый, сорокалетний, но медлительный (нарочно, показалось Солодовникову), рассудительный... Долго беседовал с Солодовниковым, присматривался. Узнал, где учился молодой человек, как попал в эти края (по распределению?), собирается ли оставаться здесь после обязательных трех лет... Солодовникову директор очень не понравился. Под конец он прямо и невежливо спросил:

— Вы дадите железо?

— А как же? Вы что, обиделись, что расспрашиваю вас? Мне просто интересно... У меня сынишка подрастает, тоже хочет в медицинский, вот я и прощупываю, так сказать, почву. Конкурс большой?

— Да, с каждым годом больше.

— Вот,— решил директор.— Нечего и соваться. Есть сельскохозяйственный — прямая дорога. Верно? Специалисты позарез нужны, без работы не будет.

Солодовников пожал плечами:

— Но если человек хочет.

— Мало ли чего мы хочем! Я, может, хочу...— Директор посмотрел на молодого врача, не стал говорить, чего он, «может, хочет». Написал на листке бумаги записку кладовщику, подал Солодовникову.

— Вот — на складе Морозову отдайте. Лупоглазый такой, узнаете. Он небось с похмелья.

— Насчет лекции... Анна Афанасьевна просила передать...

Директор махнул рукой.

— Толку-то от этих лекций! Приезжайте, поговорите. Вот картину какую-нибудь интересную привезут, я позвоню — приезжайте.

— Зачем? — не понял Солодовников.

— Ну, лекцию-то читать.

— А при чем тут картина?

— А как людей собрать? Перед картиной и прочитаете. Иначе же их не соберешь. Что?

— Ничего. Я думал, соберутся специально на лекцию.

— Не соберутся,— просто, без всякого выражения

сказал директор.— Значит, Морозова спросите, завскладом.

Морозов внимательно прочитал записку директора и вдруг заявил протест:

— Пятнадцать листов?! А где? У меня их нету.— Он вернул записку. И при этом пытливо посмотрел на врача.— Откуда они у меня?

— Как же? — растерялся Солодовников.— Они же договорились...

— Кто?

— Главврач и ваш директор.

— Так вот, если они договорились, пусть они вам и выдают. У меня железа нет.— Морозов сунул руки в карманы и отвернулся. Но не отходил. Чего-то он ждал от врача, а чего, Солодовников никак не мог понять.— А то они шибко скорые: Морозов, выдай, Морозов, отпусти... А у Морозова на складе — шаром покати. Тоже мне, понимаешь...

— Как же быть? — спросил Солодовников.

— Не знаю, не знаю, дорогой товарищ. У меня железо приготовлено для колхоза «Заря», они приедут за ним.— Морозов простуженно, со свистом покашлял в кулак... И опять глянул на врача.— Простыл, к черту,— доверительно, совсем не сердито сказал он.— Крутишься день-деньской на улице... Впору к вам ехать — лечиться.

Только теперь сообразил Солодовников, что Морозов хочет опохмелиться.

— Нет железа?

— Есть. Для других. Для вас — нету.

— А телефон тут есть где-нибудь?

— Зачем?

— Я позвоню директору. Что это такое в конце концов: я бросил больных, еду сюда, а тут стоит... некий субъект и корчит из себя черт знает что! Где телефон?

Морозов вынул руки из карманов, нехорошо сузил глаза на врача-молокососа:

— А полегче, например,— это как, можно? Без гонора. Мм?

— Где телефон?! — крикнул Солодовников, сам удивляясь своей нахрапистости.— Я вам покажу гонор. И кое-что еще! Мы найдем железо... Я сейчас не директору, а в райком буду звонить. Где телефон?

Морозов пошел под навес, сдернул со штабеля толь — там было листовое железо.

— Отсчитывайте пятнадцать листов,— спокойно сказал Морозов,— а мне, пожалуйста, сообщите вашу фамилию.

— Солодовников Георгий Николаевич.

Морозов записал.

— За субъекта... как вы выразились, придется ответить.

— Отвечу.

— Если всякие молокососы будут приезжать и обзываться...

— За молокососа тоже придется ответить. Вы на что намекаете? Что у нас молокососам жизни человеческие доверяют?

— Ничего, ничего,— сказал Морозов. Но такой поворот дела его явно не устраивал.

Солодовников подъехал с санями к штабелю и стал кидать листы в сани.

Морозов стоял рядом, считал.

— Привет тете,— сказал Солодовников, отсчитав пятнадцать листов. И поехал.

Морозов закрывал штабель. На Солодовникова не оглянулся.

Солодовников поехал с хорошим настроением... Только опять было неудобно в санях. Теперь еще железо мешало. Он пристроился сидеть на отводине саней, на железе — совсем холодно.

Дорога, когда поехал обратно, вовсе раскисла, и лошадь всерьез напряглась, волоча тяжелые сани по чавкающей мешанине из снега, земли и камней.

«Вот так и надо! — удовлетворенно думал Солодовников.— В дальнейшем будет только так». Неприятно кольнуло воспоминание о мужике с колышком, но он постарался больше не думать об этом.

Но — то ли сани очень уж медленно волоклись, то ли малость сегодняшних дел и каких-то глупых стычек — радость и удовлетворение почему-то оставили Солодовникова. Стал безразличен хороший солнечный день, даль неоглядная, где распахнулась во всю красу мокрая весна,— стали безразличны все эти запахи, звуки, пятна... Ну, весна, ну, что же теперь — козлом, что ли, прыгать? Куда как приятнее и веселее вечером. Вечером они уговорились — компанией в пять-шесть человек — играть в фантики и целоваться. Будет музыка, винишко... Будет там эта курносенькая хохотушка, учительница немецкого

языка... Она хохотушка-то хохотушка, но умна, черт бы ее побрал, читала много, друзей интересных оставила в городе. Тут что-то такое... сердчишко у врача вздрагивает. Вздрагивает, чего там. Малость она, правда, вульгаритэ: носик. К тридцати годам носик этот самый на лоб полезет. Курносые предрасположены к полноте. Но где они еще, эти ее тридцать пять — сорок лет!

Солодовников подстегнул кобылку.

Пока он сгрузил в больнице железо и пока отвел лошадь в сельсовет и опять вернулся в больницу, прошло много времени. Солодовников чувствовал, что устал. Руки тряслись. Он умылся в кабинетике, хотел пойти посмотреть девушку с мениском, но решил, что завтра с утра. Вошла уборщица и сказала, что там названивают без конца, а Анны Афанасьевны нету.

— Ну и что? Скажите, что ее нету.

— Может, вы послушаете. Они там говорят: кто есть, мол.

Солодовников пошел в кабинет главврача, посидел у телефона, дождался, когда он затрещал, снял трубку.

— Больница. Солодовников... Она в районе... А-а, это вы? Получил, получил. Пятнадцать листов, все в порядке. Спасибо... Лекцию?.. Нет, сегодня не получится. Нет. Я не смогу... занят, а Анна Афанасьевна... не знаю, когда она приедет. Нет, я занят. Я оставлю ей записку... Во сколько сеанс-то? Я напишу ей. До свиданья.

Солодовников положил трубку, посидел... И все-таки пошел в палату к девушке с мениском. Посмотрел ее ногу, поговорил с девушкой, с удовольствием похлопал ее по румяной щеке, пошутил. Поговорил с другими больными, послушал их справедливые, скучные слова. Сказал, что на дворе — весна. И ушел. Вошел опять в свой кабинетик, посмотрел на часы — без пятнадцати три, можно отчаливать. Он снял халат, поправил перед зеркалом галстук... Закурил. Нащупал в кармане записную книжку, хмыкнул, вспомнив про стихи, не стал их перечитывать, бросил книжечку в стол, подальше. И пошел из больницы.

Шел опять той дорогой, какой шел утром, старательно обходил лужи... Здоровался со встречными — вежливо, с достоинством (он поразительно скоро и незаметно как-то научился достоинству), но ни с кем не заговаривал.

«Нет, в курносенькой что-то есть,— думал Солодов-

ников.— Определенно что-то есть. Но, пожалуй, слишком уж серьезно к себе относится — это при том, что неутомимая хохотушка. Бережет себя... Так — раззадорить можно, но не больше того. Нет, не больше».

СРЕЗАЛ

К старухе Агафье Журавлевой приехал сын Константин Иванович. С женой и дочерью. Попроведовать, отдохнуть. Деревня Новая — небольшая деревня, а Константин Иванович еще на такси подкатил, и они еще всем семейством долго вытаскивали чемоданы из багажника... Сразу вся деревня узнала: к Агафье приехал сын с семьей, средний, Костя, богатый, ученый.

К вечеру узнали подробности: он сам — кандидат, жена тоже кандидат, дочь — школьница. Агафье привезли электрический самовар, цветастый халат и деревянные ложки.

Вечером же у Глеба Капустина на крыльце собрались мужики. Ждали Глеба.

Про Глеба Капустина надо рассказать, чтобы понять, почему у него на крыльце собрались мужики и чего они ждали.

Глеб Капустин — толстогубый, белобрысый мужик сорока лет, начитанный и ехидный. Как-то так получилось, что из деревни Новой, хоть она небольшая, много вышло знатных людей: один полковник, два летчика, врач, корреспондент... И вот теперь Журавлев — кандидат. И как-то так повелось, что когда знатные приезжали в деревню на побывку, когда к знатному земляку в избу набивался вечером народ — слушали какие-нибудь дивные истории или сами рассказывали про себя, если земляк интересовался,— тогда-то Глеб Капустин приходил и срезал знатного гостя. Многие этим были недовольны, но многие, мужики особенно, просто ждали, когда Глеб Капустин срежет знатного. Даже не то что ждали, а шли раньше к Глебу, а потом уж — вместе — к гостю. Прямо как на спектакль ходили. В прошлом году Глеб срезал полковника — с блеском, красиво. Заговорили о войне 1812 года... Выяснилось, что полковник не знает, кто велел поджечь Москву. То есть он знал, что какой-то граф, но фамилию перепутал, сказал — Распутин. Глеб

Капустин коршуном взмыл над полковником... И срезал. Переволновались все тогда, полковник ругался... Бегали к учительнице домой — узнавать фамилию графа-поджигателя. Глеб Капустин сидел красный в ожидании решающей минуты и только повторял: «Спокойствие, спокойствие, товарищ полковник, мы же не в Филях, верно?» Глеб остался победителем; полковник бил себя кулаком по голове и недоумевал. Он очень расстроился. Долго потом говорили в деревне про Глеба, вспоминали, как он только повторял: «Спокойствие, спокойствие, товарищ полковник, мы же не в Филях». Удивлялись на Глеба. Старики интересовались — почему он так говорил.

Глеб посмеивался. И как-то мстительно щурил свои настырные глаза. Все матери знатных людей в деревне не любили Глеба. Опасались.

И вот теперь приехал кандидат Журавлев...

Глеб пришел с работы (он работал на пилораме), умылся, переоделся... Ужинать не стал. Вышел к мужикам на крыльцо.

Закурили... Малость поговорили о том о сем — нарочно не о Журавлеве. Потом Глеб раза два посмотрел в сторону избы бабки Агафьи Журавлевой. Спросил:

— Гости к бабке Агафье приехали?

— Кандидаты!

— Кандидаты? — удивился Глеб.— О-о!.. Голой рукой не возьмешь.

Мужики посмеялись: мол, кто не возьмет, а кто может и взять. И посматривали с нетерпением на Глеба.

— Ну, пошли попроведаем кандидатов,— скромно сказал Глеб.

И пошли.

Глеб шел несколько впереди остальных, шел спокойно, руки в карманах, щурился на избу бабки Агафьи, где теперь находились два кандидата. Получалось вообще-то, что мужики ведут Глеба. Так ведут опытного кулачного бойца, когда становится известно, что на враждебной улице объявился некий новый ухарь.

Дорогой говорили мало.

— В какой области кандидаты? — спросил Глеб.

— По какой специальности? А черт его знает... Мне бабенка сказала — кандидаты. И он и жена...

— Есть кандидаты технических наук, есть общеобразовательные, эти в основном трепалогией занимаются.

— Костя вообще-то в математике рубил хорошо,— вспомнил кто-то, кто учился с Костей в школе.— Пятерочник был.

Глеб Капустин был родом из соседней деревни и здешних знатных людей знал мало.

— Посмотрим, посмотрим,— неопределенно пообещал Глеб.— Кандидатов сейчас как нерезаных собак.

— На такси приехал...

— Ну, марку-то надо поддержать!..— посмеялся Глеб.

Кандидат Константин Иванович встретил гостей радостно, захлопотал насчет стола... Гости скромно подождали, пока бабка Агафья накрыла стол, поговорили с кандидатом, повспоминали, как в детстве они вместе...

— Эх, детство, детство! — сказал кандидат.— Ну, садитесь за стол, друзья.

Все сели за стол. И Глеб Капустин сел. Он пока помалкивал. Но — видно было — подбирался к прыжку. Он улыбался, поддакнул тоже насчет детства, а сам все взглядывал на кандидата — примеривался.

За столом разговор пошел дружнее, стали уж вроде и забывать про Глеба Капустина... И тут он попер на кандидата.

— В какой области выявляете себя? — спросил он.

— Где работаю, что ли? — не понял кандидат.

— Да.

— На филфаке.

— Философия?

— Не совсем... Ну, можно и так сказать.

— Необходимая вещь.— Глебу нужно было, чтоб была — философия. Он оживился.— Ну, и как насчет первичности?

— Какой первичности? — опять не понял кандидат. И внимательно посмотрел на Глеба. И все посмотрели на Глеба.

— Первичности духа и материи.— Глеб бросил перчатку. Глеб как бы стал в небрежную позу и ждал, когда перчатку поднимут. Кандидат поднял перчатку.

— Как всегда,— сказал он с улыбкой.— Материя первична...

— А дух?

— А дух — потом. А что?

— Это входит в минимум? — Глеб тоже улыбался.— Вы извините, мы тут... далеко от общественных центров, поговорить хочется, но не особенно-то разбежишься —

не с кем. Как сейчас философия определяет понятие невесомости?

— Как всегда определяла. Почему — сейчас?

— Но явление-то открыто недавно.— Глеб улыбнулся прямо в глаза кандидату.— Поэтому я и спрашиваю. Натурфилософия, допустим, определит это так, стратегическая философия — совершенно иначе...

— Да нет такой философии — стратегической! — заволновался кандидат.— Вы о чем вообще-то?

— Да, но есть диалектика природы,— спокойно, при общем внимании продолжал Глеб.— А природу определяет философия. В качестве одного из элементов природы недавно обнаружена невесомость. Поэтому я и спрашиваю: растерянности не наблюдается среди философов?

Кандидат искренне засмеялся. Но засмеялся один... И почувствовал неловкость. Позвал жену:

— Валя, иди, у нас тут... какой-то странный разговор!

Валя подошла к столу, но кандидат Константин Иванович все же чувствовал неловкость, потому что мужики смотрели на него и ждали, как он ответит на вопрос.

— Давайте установим,— серьезно заговорил кандидат,— о чем мы говорим.

— Хорошо. Второй вопрос: как вы лично относитесь к проблеме шаманизма в отдельных районах Севера?

Кандидаты засмеялись. Глеб Капустин тоже улыбнулся. И терпеливо ждал, когда кандидаты отсмеются.

— Нет, можно, конечно, сделать вид, что такой проблемы нету. Я с удовольствием тоже посмеюсь вместе с вами...— Глеб опять великодушно улыбнулся. Особо улыбнулся жене кандидата, тоже кандидату, кандидатке, так сказать.— Но от этого проблема как таковая не перестанет существовать. Верно?

— Вы серьезно все это? — спросила Валя.

— С вашего позволения.— Глеб Капустин привстал и сдержанно поклонился кандидатке. И покраснел.— Вопрос, конечно, не глобальный, но, с точки зрения нашего брата, было бы интересно узнать.

— Да какой вопрос-то? — воскликнул кандидат.

— Твое отношение к проблеме шаманизма.— Валя опять невольно засмеялась. Но спохватилась и сказала Глебу:— Извините, пожалуйста.

— Ничего,— сказал Глеб.— Я понимаю, что, может, не по специальности задал вопрос...

— Да нет такой проблемы! — опять сплеча рубанул кандидат. Зря он так. Не надо бы так.

Теперь засмеялся Глеб. И сказал:

— Ну, на нет и суда нет!

Мужики посмотрели на кандидата.

— Баба с возу — коню легче,— еще сказал Глеб.— Проблемы нету, а эти...— Глеб что-то показал руками замысловатое,— танцуют, звенят бубенчиками... Да? Но при желании...— Глеб повторил:— При же-ла-нии — их как бы нету. Верно? Потому что, если... Хорошо! Еще один вопрос: как вы относитесь к тому, что Луна тоже дело рук разума?

Кандидат молча смотрел на Глеба. Глеб продолжал:

— Вот высказано учеными предположение, что Луна лежит на искусственной орбите, допускается, что внутри живут разумные существа...

— Ну? — спросил кандидат.— И что?

— Где ваши расчеты естественных траекторий? Куда вообще вся космическая наука может быть приложена?

Мужики внимательно слушали Глеба.

— Допуская мысль, что человечество все чаще будет посещать нашу, так сказать, соседку по космосу, можно допустить также, что в один прекрасный момент разумные существа не выдержат и вылезут к нам навстречу. Готовы мы, чтобы понять друг друга?

— Вы кого спрашиваете?

— Вас, мыслителей...

— А вы готовы?

— Мы не мыслители, у нас зарплата не та. Но если вам это интересно, могу поделиться, в каком направлении мы, провинциалы, думаем. Допустим, на поверхность Луны вылезло разумное существо... Что прикажете делать? Лаять по-собачьи? Петухом петь?

Мужики засмеялись. Пошевелились. И опять внимательно уставились на Глеба.

— Но нам тем не менее надо понять друг друга. Верно? Как? — Глеб помолчал вопросительно. Посмотрел на всех.— Я предлагаю: начертить на песке схему нашей солнечной системы и показать ему, что я с Земли, мол. Что, несмотря на то, что я в скафандре, у меня тоже есть голова и я тоже разумное существо. В подтверждение этого можно показать ему на схеме, откуда он: показать

на Луну, потом на него. Логично? Мы, таким образом, выяснили, что мы соседи. Но не больше того! Дальше требуется объяснить, по каким законам я развивался, прежде чем стал такой, какой есть на данном этапе...

— Так, так.— Кандидат пошевелился и значительно посмотрел на жену.— Это очень интересно: по каким законам?

Это он тоже зря, потому что его значительный взгляд был перехвачен; Глеб взмыл ввысь... И оттуда, с высокой выси, ударил по кандидату. И всякий раз в разговорах со знатными людьми деревни наступал вот такой момент — когда Глеб взмывал кверху. Он, наверно, ждал такого момента, радовался ему, потому что дальше все случалось само собой.

— Приглашаете жену посмеяться? — спросил Глеб. Спросил спокойно, но внутри у него, наверно, все вздрагивало.— Хорошее дело... Только, может быть, мы сперва научимся хотя бы газеты читать? А? Как думаете? Говорят, кандидатам это тоже не мешает...

— Послушайте!..

— Да мы уж послушали! Имели, так сказать, удовольствие. Поэтому позвольте вам заметить, господин кандидат, что кандидатство — это ведь не костюм, который купил — и раз и навсегда. Но даже костюм и то надо иногда чистить. А кандидатство, если уж мы договорились, что это не костюм, тем более надо... поддерживать.— Глеб говорил негромко, но напористо и без передышки — его несло. На кандидата было неловко смотреть: он явно растерялся, смотрел то на жену, то на Глеба, то на мужиков... Мужики старались не смотреть на него.— Нас, конечно, можно тут удивить: подкатить к дому на такси, вытащить из багажника пять чемоданов... Но вы забываете, что поток информации сейчас распространяется везде равномерно. Я хочу сказать, что здесь можно удивить наоборот. Так тоже бывает. Можно понадеяться, что тут кандидатов в глаза не видели, а их тут видели — и кандидатов, и профессоров, и полковников. И сохранили о них приятные воспоминания, потому что это, как правило, люди очень простые. Так что мой вам совет, товарищ кандидат: почаще спускайтесь на землю. Ей-богу, в этом есть разумное начало. Да и не так рискованно: падать будет не так больно.

— Это называется — «покатил бочку»,— сказал кандидат.— Ты что, с цепи сорвался? В чем, собственно...

— Не знаю, не знаю,— торопливо перебил его Глеб,— не знаю, как это называется,— я в заключении не был и с цепи не срывался. Зачем? Тут,— оглядел Глеб мужиков,— тоже никто не сидел — не поймут. А вот и жена ваша сделала удивленные глаза... А там дочка услышит. Услышит и «покатит бочку» в Москве на кого-нибудь. Так что этот жаргон может... плохо кончиться, товарищ кандидат. Не все средства хороши, уверяю вас, не все. Вы же, когда сдавали кандидатский минимум, вы же не «катили бочку» на профессора. Верно? — Глеб встал.— И «одеяло на себя не тянули». И «по фене не ботали». Потому что профессоров надо уважать — от них судьба зависит, а от нас судьба не зависит, с нами можно «по фене ботать». Так? Напрасно. Мы тут тоже немножко... «микитим». И газеты тоже читаем, и книги, случается, почитываем... И телевизор даже смотрим. И, можете себе представить, не приходим в бурный восторг ни от КВН, ни от «Кабачка «13 стульев». Спросите, почему? Потому что там — та же самонадеянность. Ничего, мол, все съедят. И едят, конечно, ничего не сделаешь. Только не надо делать вид, что все там гении. Кое-кто понимает... Скромней надо.

— Типичный демагог-кляузник,— сказал кандидат, обращаясь к жене.— Весь набор тут...

— Не попали. За всю свою жизнь ни одной анонимки или кляузы ни на кого не написал.— Глеб посмотрел на мужиков: мужики знали, что это правда.— Не то, товарищ кандидат. Хотите, объясню, в чем моя особенность?

— Хочу, объясните.

— Люблю по носу щелкнуть — не задирайся выше ватерлинии! Скромней, дорогие товарищи...

— Да в чем же вы увидели нашу нескромность? — не вытерпела Валя.— В чем она выразилась-то?

— А вот когда одни останетесь, подумайте хорошенько. Подумайте — и поймете.— Глеб даже как-то с сожалением посмотрел на кандидатов.— Можно ведь сто раз повторить слово «мед», но от этого во рту не станет сладко. Для этого не надо кандидатский минимум сдавать, чтобы понять это. Верно? Можно сотни раз писать во всех статьях слово «народ», но знаний от этого не прибавится. Так что когда уж выезжаете в этот самый народ, то будьте немного собранней. Подготовленней, что ли. А то легко можно в дураках очутиться. До свидания. Приятно провести отпуск... среди народа.— Глеб усмех-

нулся и не торопясь вышел из избы. Он всегда один уходил от знатных людей.

Он не слышал, как потом мужики, расходясь от кандидатов, говорили:

— Оттянул он его!.. Дошлый, собака. Откуда он про Луну-то так знает?

— Срезал.

— Откуда что берется!

И мужики изумленно качали головами.

— Дошлый, собака. Причесал бедного Константина Иваныча... А? Как миленького причесал! А эта-то, Валя-то, даже рта не открыла.

— А что тут скажешь? Тут ничего не скажешь. Он, Костя-то, хотел, конечно, сказать... А тот ему на одно слово — пять.

— Чего тут... Дошлый, собака!

В голосе мужиков слышалась даже как бы жалость к кандидатам, сочувствие. Глеб же Капустин по-прежнему неизменно удивлял. Изумлял. Восхищал даже. Хоть любви, положим, тут не было. Нет, любви не было. Глеб жесток, а жестокость никто, никогда, нигде не любил еще.

Завтра Глеб Капустин, придя на работу, между прочим (играть будет), спросит мужиков:

— Ну, как там кандидат-то?

И усмехнется.

— Срезал ты его,— скажут Глебу.

— Ничего,— великодушно заметит Глеб.— Это полезно. Пусть подумает на досуге. А то слишком много берут на себя...

● ЗАЛЕТНЫЙ

Кузнец Филипп Наседкин, спокойный, уважаемый в деревне человек, беспрекословный труженик, вдруг запил. Да и не запил вовсе, а так — стал прикладываться. Это жена его, Нюра-Заполошная, это она решила, что Филя запил. И она же полетела в правление колхоза и там устроила такой переполох, что все решили: Филя запил. И все решили, что надо Филю спасать.

Главное, всех насторожило, что Филя схлестнулся с Саней Неверовым. Саня — человек очень странный. Весь

больной, весь изрезанный (и плеврит, и прободная язва желудка, и печень, и колит, и черт его не знает, чего у него только не было, и геморрой), он жил так: сегодня жив, а завтра — это надо еще подумать. Так он говорил. Он не работал, конечно, но деньги откуда-то у него были. У него собирались выпить. Он всех привечал.

Изба Сани стояла на краю деревни, над рекой присела задом в крутизну берега, а двумя маленькими глазами-окнами смотрела далеко-далеко — через реку, в синие горы. Была маленькая оградка, какие-то старые бревна, две березки росли... Там, в той ограде, отдыхала душа.

Саня не то что слишком уж много знал или много повидал на своем веку (впрочем, он про себя не рассказывал, мало рассказывал) — он очень уж как-то мудрено говорил про жизнь, про смерть... И был неподдельно добрый человек. Тянуло к нему, к родному, одинокому, смертельно больному. Можно было долго сидеть на старом теплом бревне и тоже смотреть далеко — в горы. Думалось — не думалось — хорошо, ясно делалось на душе, как будто вдруг — в какую-то минуту — стал ты громадный, вольный и коснулся руками начала и конца своей жизни — смерил нечто драгоценное и все понял. Ну, и что? Ну, и ладно! — так думалось.

Бабы замужние возненавидели Саню с того самого дня, как он только появился в деревне. Появился он этой весной, облюбовал у цыган развалюху, сторговал, купил и стал жить. Его сразу, как принято, окрестили — Залетный. И, разумеется,— Саня, потому что — Александр. Его даже побаивались. И все зря. Филя, когда бывал у Сани, испытывал такое чувство, словно держал в ладонях теплого еще, слабого воробья с капельками крови на сломанных крыльях — живой комочек жизни. И у Фили все восставало в груди — все доброе и все злое,— когда про Саню говорили плохо.

Филя так и сказал на правлении колхоза:

— Саня — это человек. Отвяжитесь от него. Не тревожьте.

— Пьяница,— поправила бухгалтерша, пожилая уже, но еще миловидная активистка.

Филя глянул на нее, и его вдруг поразило, что она красит губы. Он как-то не замечал этого раньше.

— Дура,— сказал ей Филя.

— Филипп! — строго прикрикнул председатель колхоза.— Выбирай выражения!

— Ходил к Сане и буду ходить,— упрямо повторил Филя, ощущая в себе злую силу.

— Зачем?

— А вам какое дело?

— Ты же свихнешься там! Тому осталось... самое большее полтора года, ему все равно, как их дожить. А ты-то?!

— Он вас всех переживет,— зачем-то сказал Филя.

— Ну, хорошо. Допустим. Но зачем тебе спиваться-то?

— Иди спои меня,— усмехнулся Филя.— Через неделю на баланс сядешь. Вы меня хоть раз сильно пьяным видели?

— Так это всегда так начинается! — вместе воскликнули председатель, бухгалтерша, девушка-агроном и бригадир Наум Саранцев, сам большой любитель «пополоскать зубки».— Всегда же начинается с малого!

— Тем-то он и опасен, Филипп, этот яд,— стал развивать мысль председатель,— что он сперва не пугает, а как бы, наоборот, заманивает. Тебе после войны не приходилось на базаре в карты играть?

— Нет.

— А мне пришлось. Ехал с фронта, вез кое-какое барахлишко: часы «Павел Буре», аккордеон... В Новосибирске пересадка. От нечего делать пошел на барахолку, гляжу — играют. В три карты. Давай, говорят, фронтовичок, спробуй счастье! А я уже слышал от ребят — обманывают нашего брата. Нет, говорю, играйте без меня. Да ты, мол, спробуй! Э-э, думаю, ну, проиграю тридцатку...— Председатель оживился. Его слушали, улыбались. Филя крутил фуражку меж колен.— Давай, говорю! Только без обмана, черти! А надо было, значит, отгадать одну карту... Он их сперва показывает, потом у тебя на глазах тасует и, значит, раскладывает тыльной стороной. Все три. Одну тебе надо отгадать, туза бубей, например. И ведь все на глазах делает, паразит! Вот показал он мне все три лицом — запомнил? Запомнил, говорю. Следи!.. Раз-раз-раз — перекидывает их. Я слежу, где туз бубей. Какая, спрашивает? Я зажал пальцем... Переворачиваем — туз бубей. Выиграл. Они мне еще дали выиграть раза три-четыре... Ну, и все: к вечеру и аккордеон мой, и часы, и деньги — как корова языком слизнула.

Все проиграл. Попытался было силой отбить, но их там много оказалось. Так и явился домой с пустыми руками. Вот как, Филипп, зараза-то всякая начинается — незаметно. Ведь они же мне сперва дали выиграть, потом уж только чистить-то начали. Ведь мне все отыграться хотелось, все надеялся... Вот и отыгрался. Водка, она действует тем же методом: я тебя сперва ублажу, убаюкаю, а потом уж возьмусь за тебя. Так что смотри, Филипп,— не прогадай.

— Мне не восемнадцать лет.

— А она анкетные данные не спрашивает! Ей все равно... Работник ты хороший, с семьей у тебя пока все благополучно... Просто мы предупреждаем тебя. Не ходи ты к этому Сане! Он, может, хороший человек, но смотри, сколько на него баб жалуется!..

— Дуры,— опять сказал Филя.

— Ну, задолбил, как дятел: дуры, дуры. Твоя Нюра — дура, что ли?

— И моя дура. Чего заполошничать?

— Да то, что ей семью разрушать не хочется!

— Никто ее не разрушает. Сама бегает разрушает.

— Ну, смотри. Мы тебя предупредили. А этого твоего Саню мы просто выселим из деревни, и все... Он дождется.

— Не имеете права — больной человек.

— Найдем право! Больной... Больной, значит, не пей. Иди работай, Филипп.

— Вызывали? — спросил вечером Саня, нервно подрагивая веком левого глаза.

— Вызывали.— Филе было стыдно за жену, за председателя, за все правление в целом.

— Не велели ходить?

— Та-а... што я, ребенок, што ли!

— Да, да,— согласился Саня.— Конечно.— И веко его все подергивалось. Он смотрел на далекие горы. С таким выражением смотрел, точно ждал, что оттуда — вспять — взойдет солнце. Оно там заходило.— Ночью, часу в двенадцатом, соловьи поют. Ах, дьяволята!.. выкомаривают. Друг перед другом, что ли?

— Самок заманивают,— пояснил Филя.

— Красиво заманивают. Красиво. Люди так не умеют. Люди — сильные.

«Это ты-то — сильный?» — думал Филя.

— Уважаю сильных людей,— продолжал Саня.— В детстве меня колотил один парнишка — сильней меня был. Мне отец посоветовал: потренируйся, поподнимай что-нибудь тяжелое — через месяц поколотишь его. Я стал поднимать ось от вагонетки. Три дня поподнимал — надорвался. Пупок развязался.

— А ты бы взял — раз послабей — гирьку, привязал бы ее на ремешок да гирькой бы его по башке. Я тоже смирный был, маленький-то, ну, один извязался тоже, проходу не дает. Я его гирькой от часов разок угостил — отстал.

Саня пьянел. Взор его туманился... Покидал далекие синие горы, наблюдал речку, дорогу, дикий кустик малины под плетнем. Теплел, становился радостным.

— Хорошо, Филипп. Мне — пятьдесят два, двенадцать откинем — несознательные — сорок... Сорок раз видел весну, сорок раз!.. И только теперь понимаю: хорошо. Раньше все откладывал, все как-то некогда было — торопился много узнать, все хотел громко заявить о себе... Теперь — стоп-машина! Дай нагляжусь. Дай нарадуюсь. И хорошо, что у меня их немного осталось. Я сейчас очень много понимаю. Все! Больше этого понимать нельзя. Не надо.

Снизу, от реки, холодало. Но холодок тот только ощущался, наплывал... Это было только слабое гнилостное дыхание, и огромная, спокойная теплынь от земли и неба губила это дыхание.

Филя не понимал Саню и не силился понять. Он тоже чувствовал, что на земле — хорошо. Вообще жить — хорошо. Для приличия он поддерживал разговор.

— Ты совсем, што ли, одинокий?

— Почему? У меня есть родные, но я, видишь, болен.— Саня не жаловался. Ни самым даже скрытым образом не жаловался.— И у меня слабость эта появилась — выпить... Я им мешаю. Это естественно...

— Трудно тебе, наверно, жилось...

— По-разному. Иногда я тоже брал гирьку... Иногда — мне гирькой. Теперь — конец. Впрочем, нет... вот сейчас я сознаю бесконечность. Как немного стемнеет, и тепло,— я вдруг сознаю бесконечность.

Этого Филя совсем не мог уразуметь. Еще один мужик сидел, Егор Синкин, с бородой, потому что его в войну ранило в челюсть. Тот тоже не мог уразуметь.

— В тюрьме небось сидел? — допытывался Егор.

— Бог с вами! Вы еще из меня каторжанина сделаете. Просто я жил и не понимал, что это прекрасно — жить. Ну, что-то такое делал... Много суетился. Теперь спокоен. Я был художник, если уж вам так интересно. Но художником не был.— Саня искренне, негромко, весело смеялся.— Вконец запутал вас... Не мучайтесь. Ну мало ли на свете чудаков, странных людей!.. Деньги мне присылает брат. Он богатый. То есть не то что очень богатый, но ему хватает. И он мне дает.

Это мужики понимали — жалеет брат.

— Если бы все начать сначала!..— На худом темном лице Сани, на острых скулах вспухали маленькие бугорки желваков. Глаза горячо блестели. Он волновался.— Я объяснил бы, я теперь знаю: человек — это... нечаянная, прекрасная, мучительная попытка Природы осознать самое себя. Бесплодная, уверяю вас, потому что в природе вместе со мной живет геморрой. Смерть!.. и она — неизбежна, и мы ни-ког-да этого не поймем. Природа никогда себя не поймет... Она взбесилась и мстит за себя в лице человека. Как злая... мм...— Дальше Саня говорил только себе, неразборчиво... Мужикам надоедало напрягаться, слушая его, они начинали толковать про свои дела.

— Любовь? Да,— бормотал Саня,— но она только запутывает и все усложняет. Она делает попытку мучительной — и только. Да здравствует смерть! Если мы не в состоянии постичь ее, то зато смерть позволяет понять нам, что жизнь — прекрасна. И это совсем не грустно, нет... Может быть, бессмысленно — да. Да, это бессмысленно...

Мужики понимали, что Саня уже хорош. И расходились по домам.

Филя брел переулками-закоулками и потихоньку растрачивал из груди горячую веру, что жизнь — прекрасна.

Оставалась только щемящая жалость к человеку, который остался один сидеть на бревне... И бормочет, бормочет себе под нос нечто — так он думает, тот человек,— важное.

Через неделю Саня помер.

Помирал трезвым. Ночью. С ним был Филя.

Саня все понимал и понимал, что помирает. Иногда



только забывался — точно накрепко задумывался, смотрел в стенку, не слышал Филю...

— Сань! — звал Филя.— Ты не задумывайся. А то так хуже. Может, встанешь походишь маленько? Давай я повожу тебя по избе... Сань?

— Мм?..



— Поломай себя... Разомнись маленько.

— Сходи, Филипп... дай веточку малины... Под плетнем растет. Только пыль не стряхни... Принеси.

Филя вышел в ночь, и она оглушила его своей необъятностью. Глухая весенняя ночь, темная, тяжкая... огромная. Филя никогда ничего в жизни не боялся, а тут вдруг

чего-то оробел... Поспешно сломил молодую веточку малины, влажную от ночной сырости, и заторопился опять в избу. Подумал:

«Какая на ней пыль? Не успела еще... пыль-то, дороги-то еще грязные. Откуда пыль-то?»

Саня приподнялся на локте и прямо, в упор смотрел на Филю. Ждал. Филя одни только эти глаза и увидел в избе, когда вошел. Они полыхали болью, они молили, они звали его.

— Не хочу, Филипп! — ясно сказал Саня.— Все знаю... Не хочу! Не хочу!

Филя выронил веточку.

Саня, обессиленный, упал головой на подушку и тихо, и торопливо еще сказал:

— Господи, господи... какая вечность! — еще год... полгода! Больше не надо.

У Фили больно сжалось сердце. Он понял, что Саня скоро помрет. Скоро помрет. Он молчал.

— Не боюсь,— тихо, из последних сил торопился Саня.— Не страшно... Но еще год — и я ее приму. Ведь это же надо принять! Ведь нельзя же, чтобы так просто... Это же не казнь! Зачем же так?..

— Выпей водки, Сань?

— Еще полгода! Лето... Ничего не надо, буду смотреть на солнце... Ни одну травинку не помню... Кому же это надо, если я не хочу? — Саня плакал.— Филипп...

— Што, Сань?

— Кому же это надо? Ну ведь глупо же, глупо!.. Она же — дура! Колесо какое-то.

Филя тоже плакал — чувствовал, как по щекам текут слезы. Сердито вытирался рукавом.

— Сань... ты не обзывай ее, может она... это... отступит. Не ругай ее.

— Я не ругаю. Но ведь как глупо! Так грубо... и никак не помочь! Дура.

Саня закрыл глаза и замолк. И долго-долго молчал. Филя даже подумал, что уже — все.

— Поверни меня...— попросил Саня.— Отверни.— Филя повернул друга лицом к стенке.

— Дура,— еще раз совсем тихо сказал Саня. И опять замолчал.

Филя с час примерно сидел на стуле не шевелясь, ждал, когда Саня что-нибудь попросит. Или заговорит. Саня больше не заговорил. Он помер.

Филя и другие мужики схоронили Саню. Тихо схоронили, без лишних слов. Помянули.

Филя посадил у изголовья его могилы березку. Она прижилась. И когда дули южные теплые ветры, березка кланялась и шевелила, шевелила множеством маленьких зеленых ладоней — точно силилась что-то сказать. И не могла.

● МАТЕРИНСКОЕ СЕРДЦЕ

Витька Борзёнков поехал на базар в районный городок, продал сала на сто пятьдесят рублей (он собирался жениться, позарез нужны были деньги), пошел в винный ларек «смазать» стакан-другой красного. Потом вышел, закурил... Подошла молодая девушка, попросила:

— Разреши прикурить.

Витька дал ей прикурить от своей папироски, а сам с интересом разглядывал лицо девушки — молодая, припухла, пальцы трясутся.

— С похмелья? — прямо спросил Витька.

— Ну,— тоже просто и прямо ответила девушка, с наслаждением затягиваясь «беломориной».

— А похмелиться не на что,— стал дальше развивать мысль Витька, довольный, что умеет понимать людей, когда им худо.

— А у тебя есть?

(Никогда бы, ни с какой стати не подумал Витька, что девушка специально наблюдала за ним, когда он продавал сало, и что у ларька она его просто подкараулила.)

— Пойдем,— поправься.— Витьке понравилась девушка — миловидная, стройненькая... А ее припухлость и особенно откровенность, с какой она призналась в своей несостоятельности, даже как-то взволновали.

Они зашли в ларек... Витька взял бутылку красного, два стакана... Сам выпил полтора стакана, остальное великодушно налил девушке. Они вышли опять на крыльцо, закурили. Витьке стало хорошо, девушке тоже. Обоим стало хорошо.

— Здесь живешь?

— Вот тут, недалеко,— кивнула девушка.— Спасибо, легче стало.

— Может, еще хочешь?

— Можно вообще-то... Только не здесь.

— Где же?

— Можно ко мне пойти, у меня дома никого нет...

В груди у Витьки нечто такое — сладостно-скользкое — вильнуло хвостом. Было еще рано, а до деревни своей Витьке ехать полтора часа автобусом — можно все успеть сделать.

— У меня там еще подружка есть,— подсказала девушка, когда Витька соображал, сколько взять. Он поэтому и взял: одну белую и две красных.

— С закусом одолеем,— решил он.— Есть чем закусить?

— Найдем.

Пошли с базара, как давние друзья.

— Чего приезжал?

— Сало продал... Деньги нужны — женюсь.

— Да?

— Женюсь. Хватит бурлачить.— Странно, Витька даже и не подумал, что поступает нехорошо в отношении невесты — куда-то идет с незнакомой девушкой, и ему хорошо с ней, лучше, чем с невестой,— интересней.

— Хорошая девушка?

— Как тебе сказать?.. Домовитая. Хозяйка будет хорошая.

— А насчет любви?

— Как тебе сказать?.. Такой, как раньше бывало,— здесь вот кипятком подмывало чего-то такое,— такой нету. Так... Надо же когда-нибудь жениться.

— Не промахнись. Будешь потом... Непривязанный, а визжать будешь.

В общем, поговорили в таком духе, пришли к дому девушки. (Ее звали Рита.) Витька и не заметил, как дошли и как шли — какими переулками. Домик как домик — старенький, темный, но еще будет стоять семьдесят лет, не охнет.

В комнатке (их три) чистенько, занавесочки, скатерочки на столах — уютно. Витька вовсе воспрянул духом.

«Шик-блеск-тру-ля-ля»,— всегда думал он, когда жизнь сулила скорую радость.

— А где же подружка?

— Я сейчас схожу за ней. Посидишь?

— Посижу. Только поскорей, ладно?

— Заведи вон радиолу, чтоб не скучать. Я быстро.

Ну почему так легко, хорошо Витьке с этой девуш-

кой? Пять минут знакомы, а... Ну, жизнь! У девушки грустные, задумчивые, умные глаза. Витьке то вдруг становится жалко девушку, то охота стиснуть ее в объятиях.

Рита ушла. Витька стал ходить по комнате — радиолу не завел: без радиолы сердце билось в радостном предчувствии.

Потом помнит Витька: пришла подружка Риты — похуже, постарше, потасканная и притворная. Затараторила с ходу, стала рассказывать, что она когда-то была в цирке, «работала каучук». Потом пили... Витька прямо тут же, за столом целовал Риту, подружка смеялась одобрительно, а Рита слабо била рукой Витьку по плечу, вроде отталкивала, а сама льнула, обнимала за шею.

«Вот она — жизнь! — ворочалось в горячей голове Витьки.— Вот она — зараза кипучая. Молодец я!»

Потом Витька ничего не помнит — как отрезало. Очнулся поздно вечером под каким-то забором... Долго мучительно соображал, где он, что произошло. Голова гудела, виски вываливались от боли. Во рту пересохло все, спеклось. Кое-как припомнил он девушку Риту... И понял: опоили чем-то, одурманили и, конечно, забрали деньги. Мысль о деньгах сильно встряхнула. Он с трудом поднялся, обшарил все карманы: да, денег не было. Витька прислонился к забору, осмотрелся... Нет, ничего похожего на дом Риты поблизости не было. Все другое, совсем другие дома.

У Витьки в укромном месте, в загашнике, был червонец — еще на базаре сунул туда на всякий случай... Пошарил — там червонец. Витька пошел наугад — до первого встречного. Спросил у какого-то старичка, как пройти к автобусной станции. Оказалось, не так далеко: прямо, потом налево переулком и вправо по улице опять прямо. «И упретесь в автобусную станцию». Витька пошел... И пока шел до автобусной станции, накопил столько злобы на городских прохиндеев, так их возненавидел, паразитов, что даже боль в голове поунялась, и наступила свирепая ясность, и родилась в груди большая мстительная сила.

— Ладно, ладно,— бормотал он,— я вам устрою...

Что он собирался сделать, он не знал, знал только, что добром все это не кончится.

Около автобусной станции допоздна работал ларек, там всегда толпились люди. Витька взял бутылку красного, прямо из горлышка выпил ее всю до донышка, за-

пустил бутылку в скверик... Были рядом с ним какие-то подпившие мужики, трое. Один сказал ему:

— Там же люди могут сидеть.

Витька расстегнул свой флотский ремень, намотал конец на руку — оставил свободной тяжелую бляху, как кистень. Эти трое подвернулись кстати.

— Ну?! — удивился Витька.— Неужели люди? Разве в этом вшивом городишке есть люди?

Трое переглянулись.

— А кто же тут, по-твоему?

— Суки! Каучук работаете, да?

Трое пошли на него, Витька пошел на троих... Один сразу свалился от удара бляхой по голове, двое пытались достать Витьку ногой или руками, берегли головы. Потом они заорали:

— Наших бьют!

Еще налетело человек пять... Попало и Витьке: кто-то сзади тяпнул бутылкой по голове, но вскользь — Витька устоял. Оскорбленная душа его возликовала и обрела устойчивый покой.

Нападавшие матерились, бестолково кучились, мешали друг другу, советовали — этим пользовался Витька и бил.

Прибежала милиция... Всем скопом загнали Витьку в угол — между ларьком и забором. Витька отмахивался. Милиционеров пропустили вперед, и Витька сдуру ударил одного по голове бляхой. Бляха Витькина страшна еще тем, что с внутренней стороны, в изогнутость ее, был налит свинец. Милиционер упал... Все ахнули и оторопели. Витька понял, что свершилось непоправимое, бросил ремень... Витьку отвезли в КПЗ.

Мать Витькина узнала о несчастье на другой день. Утром ее вызвал участковый и сообщил, что Витька натворил в городе то-то и то-то.

— Батюшки-святы! — испугалась мать.— Чего же ему теперь за это?

— Тюрьма. Тюрьма верная. У милиционера травма, лежит в больнице. За такие дела — только тюрьма. Лет пять могут дать. Что он, сдурел, что ли?

— Батюшка, ангел ты мой господний,— взмолилась мать,— помоги как-нибудь!

— Да ты что! Как я могу помочь?..

— Да выпил он, должно, он дурной выпимши...

— Да не могу я ничего сделать, пойми ты! Он в КПЗ, на него уже, наверно, завели дело...

— А кто же бы мог бы помочь-то?

— Да никто. Кто?.. Ну, съезди в милицию, узнай хоть подробности. Но там тоже... Что они там могут сделать?

Мать Витькина, сухая, двужильная, легкая на ногу, заметалась по селу. Сбегала к председателю сельсовета — тот тоже развел руками:

— Как я могу помочь? Ну, характеристику могу написать... Все равно, наверно, придется писать. Ну, напишу хорошую.

— Напиши, напиши, как получше, разумная ты наша головушка. Напиши, что — по пьянке он, он тверезый-то мухи не обидит...

— Там ведь не будут спрашивать, по пьянке он или не по пьянке... Ты вот что: съезди к тому милиционеру, может, не так уж он его и зашиб-то. Хотя вряд ли...

— Вот спасибо-то тебе, ангел ты наш, вот спасибочко-то...

— Да не за что...

Мать Витькина кинулась в район. Мать Витькина родила пятерых детей, рано осталась вдовой (Витька еще грудной был, когда пришла похоронка об отце в 42-м году), старший сын ее тоже погиб на войне в 45-м году, девочка умерла от истощения в 46-м году, следующие два сына выжили, мальчиками еще ушли по вербовке в ФЗУ и теперь жили в разных городах. Витьку мать выходила из последних сил, все распродала, но сына выходила — крепкий вырос, ладный собой, добрый... Все бы хорошо, но пьяный — дурак дураком становится. В отца пошел — тот, царство ему небесное, ни одной драки в деревне не пропускал.

В милицию мать пришла, когда там как раз обсуждали вчерашнее происшествие на автобусной станции. Милиционера Витька угостил здорово — тот действительно лежал в больнице. Еще двое алкашей тоже лежали в больнице — тоже от Витькиной бляхи.

Бляху с интересом разглядывали.

— Придумал, сволочь!.. Догадайся: ремень и ремень. А у него тут целая гирька. Хорошо еще — не ребром угодил...

И тут вошла мать Витьки... И, переступив порог, упала на колени, и завыла, и запричитала:

— Да ангелы вы мои милые, да разумные ваши головушки!.. Да способитесь вы как-нибудь с вашей обидушкой — простите вы его, окаянного! Пьяный он был... Он тверезый последнюю рубаху отдаст, сроду тверезый никого не обидел...

Заговорил старший, что сидел за столом и держал в руках Витькин ремень. Заговорил обстоятельно, спокойно, попроще — чтоб мать все поняла.

— Ты подожди, мать. Ты встань, встань — здесь не церква. Иди, глянь...

Мать поднялась, чуть успокоенная доброжелательным тоном начальственного голоса.

— Вот гляди: ремень твоего сына... Он во флоте, что ли, служил?

— Во флоте, во флоте — на кораблях-то на этих...

— Теперь смотри: видишь? — Начальник перевернул бляху, взвесил на руке: — Этим же убить человека — дважды два. Попади он вчера кому-нибудь этой штукой ребром — конец. Убийство. Да и плашмя троих уходил так, что теперь врачи борются за их жизни. А ты говоришь: простить. Ведь он же трех человек в больницу уложил. А одного при исполнении служебных обязанностей. Ты подумай сама: как же можно прощать за такие дела, действительно?

Материнское сердце, оно — мудрое, но там, где замаячила беда родному дитю, мать не способна воспринимать посторонний разум, и логика тут ни при чем.

— Да сыночки вы мои милые! — воскликнула мать и заплакала.— Да нешто не бывает по пьяному делу?! Да всякое бывает — подрались... Сжальтесь вы над ним!..

Тяжело было смотреть на мать. Столько тоски и горя, столько отчаяния было в ее голосе, что становилось не по себе. И хоть милиционеры — народ до жалости неохочий, даже и они — кто отвернулся, кто стал закуривать...

— Один он у меня — при мне-то: и поилец мой, и кормилец. А еще вот жениться надумал — как же тогда с девкой-то, если его посадют? Неужто ждать его станет? Не станет. А девка-то добрая, из хорошей семьи — жалко...

— Он зачем в город-то приезжал? — спросил начальник.

— Сала продать. На базар — сальца продать. Деньжонки-то нужны, раз уж свадьбу-то наметили, где их больше возьмешь?

— При нем никаких денег не было.

— Батюшки-святы! — испугалась мать.— А иде ж они?

— Это у него надо спросить.

— Да украли небось! Украли!.. Да милый ты сын, он оттого, видно, и в драку-то полез — украли их у него!.. Жулики украли...

— Жулики украли, а при чем здесь наш сотрудник — за что он его-то?

— Да попал, видно, под горячую руку.

— Ну, если каждый раз так попадать под горячую руку, у нас скоро и милиции не останется. Слишком уж они горячие, ваши сыновья! — Начальник набрался твердости.— Не будет за это прощения, получит свое — по закону.

— Да ангелы вы мои, люди добрые,— опять взмолилась мать,— пожалейте вы хоть меня, старуху, я только теперь маленько и свет-то увидела... Он работящий парень-то, а женился бы, он бы совсем справный мужик был. Я бы хоть внучаток понянчила...

— Дело даже не в нас, мать, ты пойми. Есть же прокурор! Ну, выпустили мы его, а с нас спросят: на каком основании? Мы не имеем права. Права даже такого не имеем. Я же не буду вместо него садиться, действительно.

— А может, как-нибудь задобрить того милиционера? У меня холст есть, я нынче холста наткала — пропасть! Все им готовила...

— Да не будет он у тебя ничего брать, не будет! — уже кричал начальник.— Не ставь ты людей в смешное положение, действительно. Это же не кум с кумом поцапались!

— Куда же мне теперь идти-то, сыночки? Повыше-то вас есть кто или уж нету?

— Пусть к прокурору сходит,— посоветовал один из присутствующих.

— Мельников, проводи ее до прокурора,— сказал начальник. И опять повернулся к матери, и опять стал с ней говорить, как с глухой или совсем уже бестолковой: — Сходи к прокурору — он повыше нас! И дело уже у него. И пусть он тебе там объяснит: можем мы чего сделать или нет? Никто же тебя не обманывает, пойми ты!

Мать пошла с милиционером к прокурору.

Дорогой пыталась заговорить с милиционером Мельниковым.

— Сыночек, что, шибко он его зашиб-то?

Милиционер Мельников задумчиво молчал.

— Сколько же ему дадут, если судить-то станут?

Милиционер шагал широко. Молчал.

Мать семенила рядом и все хотела разговорить длинного, заглядывала ему в лицо.

— Ты уж разъясни мне, сынок, не молчи уж... Мать-то и у тебя небось есть, жалко ведь вас, так жалко, что вот говорю — а кажное слово в сердце отдает. Много ли дадут-то?

Милиционер Мельников ответил туманно:

— Вот когда украшают могилы: оградки ставят, столбики, венки кладут... Это что — мертвым надо? Это живым надо. Мертвым уже все равно.

Мать охватил такой ужас, что она остановилась.

— Ты к чему это?

— Пошли. Я к тому, что — будут, конечно, судить. Могли бы, конечно, простить — пьяный, деньги украли: обидели человека. Но судить все равно будут — чтоб другие знали. Важно на этом примере других научить...

— Да сам же говоришь — пьяный был!

— Это теперь не в счет. Его насильно никто не поил, сам напился. А другим это будет поучительно. Ему все равно теперь — сидеть, а другие задумаются. Иначе вас никогда не перевоспитаешь.

Мать поняла, что этот длинный враждебно настроен к ее сыну, и замолчала.

Прокурор матери с первого взгляда понравился — внимательный. Внимательно выслушал мать, хоть она говорила длинно и путано — что сын ее, Витька, хороший, добрый, что он трезвый мухи не обидит, что как же ей теперь одной-то оставаться? Что девка, невеста, не дождется Витьку, что такую девку подберут с руками-ногами — хорошая девка... Прокурор все внимательно выслушал, поиграл пальцами на столе... Заговорил издалека, тоже как-то мудрено:

— Вот ты — крестьянка, вас, наверно, много в семье росло?..

— Шестнадцать, батюшка. Четырнадцать выжило, двое маленькие ишо померли. Павел помер, а за ним другого мальчика тоже Павлом назвали...

— Ну вот — шестнадцать. В миниатюре — целое общество. Во главе — отец. Так?

— Так, батюшка, так. Отца слушались...

— Вот! — Прокурор поймал мать на слове.— Слушались! А почему? Нашкодил один — отец его ремнем. А брат или сестра смотрят, как отец учит шкодника, и думают: шкодить им или нет? Так в большом семействе поддерживался порядок. Только так. Прости отец одному, прости другому — что в семье? Развал. Я понимаю тебя, тебе жалко... Если хочешь, и мне жалко — там не курорт, и поедет он, судя по всему, не на один сезон. По-человечески все понятно, но есть соображения высшего порядка, там мы бессильны... Судить будут. Сколько дадут, не знаю, это решает суд.

Мать поняла, что и этот — невзлюбил ее сына. «За своего обиделись».

— Батюшка, а выше-то тебя есть кто?

— Как это? — не сразу понял прокурор.

— Ты самый главный али повыше тебя есть?

Прокурор, хоть ему потом и неловко стало, невольно рассмеялся.

— Есть, мать, есть. Много!

— Где же они?

— Ну, где?.. Есть краевые организации... Ты что, ехать туда хочешь? Не советую.

— Мне подсказали добрые люди: лучше теперь вызволять, пока не сужденый, потом тяжельше будет...

— Скажи этим добрым людям, что они... не добрые. Это они со стороны добрые... добренькие. Кто это посоветовал?

— Да посоветовали...

— Ну, поезжай. Проездишь деньги, и все. Результат будет тот же. Я тебе совершенно официально говорю: будут судить. Нельзя не судить, не имеем права. И никто этот суд не отменит.

У матери больно сжалось сердце... Но она обиделась на прокурора, а поэтому вида не показала, что едва держится, чтоб не грохнуться здесь и не завыть в голос. Ноги ее подкашивались.

— Разреши мне хоть свиданку с ним...

— Это можно,— сразу согласился прокурор.— У него что, деньги большие были, говорят?

— Были...

Прокурор написал что-то на листке бумаги, подал матери.

— Иди в милицию.

Дорогу в милицию мать нашла одна, без длинного —

его уже не было. Спрашивала людей. Ей показывали. В глазах матери все туманилось и плыло... Она молча плакала, вытирала слезы концом платка, но шла привычно скоро, иногда только спотыкалась о торчащие доски тротуара... Но шла и шла, торопилась. Ей теперь, она понимала, надо поспешать, надо успеть, пока они его не засудили. А то потом вызволять будет трудно. Она верила этому. Она всю жизнь свою только и делала, что справлялась с горем, и все вот так — на ходу, скоро, вытирая слезы концом платка. Неистребимо жила в ней вера в добрых людей, которые помогут. Эти — ладно — эти за своего обиделись, а те — подальше которые — те помогут. Неужели же не помогут? Она все им расскажет — помогут. Странно, мать ни разу не подумала о сыне, что он совершил преступление, она знала одно: с сыном случилась большая беда. И кто же будет вызволять его из беды, если не мать? Кто? Господи, да она пешком пойдет в эти краевые организации, она будет день и ночь идти и идти... Найдет она этих добрых людей.

— Ну? — спросил ее начальник милиции.

— Велел в краевые организации ехать,— слукавила мать.— А вот — на свиданку.— Она подала бумажку.

Начальник был несколько удивлен, хоть тоже старался не показать этого. Прочитал записку... Мать заметила, что он несколько удивлен. И подумала: «А-а». Ей стало маленько полегче.

— Проводи, Мельников.

Мать думала, что идти надо будет далеко, долго, что будут открываться железные двери — сына она увидит за решеткой, и будет с ним разговаривать снизу, поднимаясь на цыпочки... А сын ее сидел тут же, внизу, в подвале. Там, в коридоре, стриженые мужики играли в домино... Уставились на мать и на милиционера. Витьки среди них не было.

— Что, мать,— спросил один мордастый,— тоже пятнадцать суток схлопотала?

Засмеялись.

Милиционер подвел мать к камере, которых по коридору было три или четыре, открыл дверь...

Витька был один, а камера большая и нары широкие. Он лежал на нарах... Когда вошел милиционер, он не поднялся, но увидев за ним мать, вскочил.

— Десять минут на разговоры,— предупредил длинный. И вышел.

Мать присела на нары, поспешно вытерла слезы платком.

— Гляди-ка — под землей, а сухо, тепло,— сказала она.

Витька молчал, сцепив на коленях руки. Смотрел на дверь. Он осунулся за ночь, оброс — сразу как-то, как нарочно. На него больно было смотреть. Его мелко трясло, он напрягался, чтоб мать не заметила хоть этой тряски.

— Деньги-то, видно, украли? — спросила мать.

— Украли.

— Ну и бог бы уж с имя, с деньгами, зачем было драку из-за их затевать? Не они нас наживают — мы их.

Никому бы ни при каких обстоятельствах не рассказал Витька, как его обокрали — стыдно. Две шлюхи... Мучительно стыдно! И еще — жалко мать. Он знал, что она придет к нему, пробьется через все законы,— ждал этого и страшился.

У матери в эту минуту было на душе другое: она вдруг совсем перестала понимать, что есть на свете — милиция, прокурор, суд, тюрьма... Рядом сидел ее ребенок, виноватый, беспомощный... И кто же может сейчас отнять его у нее, когда она — только она, никто больше — нужна ему?

— Не знаешь, сильно я его?..

— Да нет, плашмя попало... Но лежит, не поднимается.

— Экспертизу, конечно, сделали... Бюллетень возьмет...— Витька посмотрел на мать.— Лет семь заделают.

— Батюшки-святы!..— Сердце у матери упало.— Что же уж так много-то?

— Семь лет!..— Витька вскочил с нар, заходил по камере.— Все прахом! Все, вся жизнь кувырком!

Мать мудрым сердцем своим поняла, какое отчаяние гнетет душу ее ребенка...

— Тебя как вроде уж осудили! — сказала она с укором.— Сразу уж — жизнь кувырком.

— А чего тут ждать? Все известно...

— Гляди-ка, все уж известно! Ты бы хоть сперва спросил: где я была, чего достигла?..

— Где была? — Витька остановился.

— У прокурора была...

— Ну? И он что?

— Дак вот и спроси сперва: чего он? А то сразу — ку-

вырком! Какие-то слабые вы... Ишо ничем ничего, а уж... мысли бог знает какие.

— А чего прокурор-то?

— А то... Пусть, говорит, пока не переживает, пусть всякие мысли выкинет из головы... Мы, дескать, сами тут сделать ничего не можем, потому что не имеем права. А ты, мол, не теряй время, а садись и езжай в краевые организации. Нам, мол, оттуда прикажут, мы волей-неволей его отпустим. Тада, говорит, нам и перед своими совестно не будет: хотели, мол, осудить, но не могли. Они уж все обдумали тут. Мне, говорит, самому его жалко... Но мы, говорит, люди маленькие. Езжай, мол, в краевые организации, там все обскажи подробно... У тебя сколь денег-то было?

— Полторы сотни.

— Батюшки-святы! Нагрели руки...

В дверь заглянул длинный милиционер.

— Кончайте.

— Счас, счас,— заторопилась мать.— Мы уж все обговорили... Счас я, значит, доеду до дому, Мишка Бычков напишет на тебя карахтеристику... Хорошую, говорит, напишу.

— Там... это... у меня в чемодане грамоты всякие лежат со службы... возьми на всякий случай...

— Какие грамоты?

— Ну, там увидишь. Может, поможет.

— Возьму. Потом схожу в контору — тоже возьму карахтеристику... С голыми руками не поеду. Может, холст-то продать уж, у меня Сергеевна хотела взять?

— Зачем?

— Да взять бы деньжонок-то с собой — может, кого задобрить придется?

— Не надо, хуже только наделаешь.

— Ну, погляжу там.

В дверь опять заглянул милиционер.

— Время.

— Пошла, пошла,— опять заторопилась мать. А когда дверь закрылась, вынула из-за пазухи печенюжку и яйцо.— На-ка поешь... Да шибко-то не задумывайся — не кувырком ишо. Помогут добрые люди. Большие-то начальники — они лучше, не боятся. Эти боятся, а тем некого бояться — сами себе хозяева. А дойти до них я дойду. А ты скрепись и думай про чего-нибудь — про Верку

хошь... Верка-то шибко закручинилась тоже. Даве забежала, а она уж слыхала...

— Ну?

— Горюет.

У Витьки в груди не потеплело оттого, что невеста горюет. Как-то так, не потеплело.

— А ишо вот чего...— Мать зашептала: — Возьми да в уме помолись. Ничего, ты — крещеный. Со всех сторон будем заходить. А я пораньше из дому-то выеду — до поезда — да забегу свечечку Николе-угоднику поставлю, попрошу тоже его. Ничего, смилостивются. Похоронку от отца возьму...

— Ты братьям-то... это... пока уж не сообщай.

— Не буду, не буду. Только лишний раз душу растревожут. Ты, главно, не задумывайся, что все теперь кувырком. А если уж дадут, так год какой-нибудь — для отвода глаз. Не семь же лет! А кому год дают, смотришь — они через полгода выходют. Хорошо там поработают, их раньше выпускают. А может, и года не дадут.

Милиционер вошел в камеру и больше уже не выходил.

— Время, время...

— Пошла.— Мать встала с нар, повернулась спиной к милиционеру, мелко перекрестила сына и одними губами прошептала:

— Спаси тебя Христос.

И вышла из камеры... И шла по коридору, и опять ничего не видела от слез. Жалко сына Витьку, ох, жалко. Когда они хворают, дети, тоже очень их жалко, но тут какая-то особая жалость — когда вот так, тут — просишь людей, чтоб помогли, а они отворачиваются, в глаза не смотрят. И временами жутко становится... Но мать — действовала. Мыслями она была уже в деревне, прикидывала, кого ей надо успеть охватить до отъезда, какие бумаги взять. И та неистребимая вера, что добрые люди помогут ей, вела ее и вела, мать нигде не мешкала, не останавливалась, чтоб наплакаться вволю, тоже прийти в отчаяние — это гибель, она знала. Она — действовала.

Часу в третьем пополудни мать выехала опять из деревни — в краевые организации.

«Господи, помоги, батюшка,— твердила она в уме беспрерывно.— Не допусти сына до худых мыслей, образумь его. Он маленько заполошный — как бы не сделал чего над собой».

Поздно вечером она села в поезд и поехала.
«Ничего, добрые люди помогут».
Она верила, что помогут.

ОХОТА ЖИТЬ

Поляна на взгорке, на поляне — избушка. Избушка — так себе, амбар, рядов в тринадцать-четырнадцать, в одно оконце, без сеней, а то и без крыши. Кто их издревле рубит по тайге?.. Приходят по весне какие-то люди, валят сосняк поровней, ошкуривают... А ближе к осени погожими днями за какую-нибудь неделю в три-четыре топора срубят. Найдется и глина поблизости, и камни — собьют камелек, и трубу на крышу выведут, и нары сколотят — живи не хочу!

Зайдешь в такую избушку зимой — жилым духом не пахнет. На стенах, в пазах, куржак в ладонь толщиной, промозглый запах застоялого дыма.

Но вот затрещали в камельке поленья... Потянуло густым волглым запахом оттаивающей глины; со стен каплет. Угарно. Лучше набить полный камелек и выйти пока на улицу, нарубить загодя дровишек... Через полчаса в избушке теплее и не тяжко. Можно скинуть полушубок и наторкать в камелек еще дополна. Стены слегка парят, от камелька пышет жаром. И охватывает человека некое тихое блаженство, радость. «А-а!..— хочется сказать.— Вот так-то». Теперь уж везде почти сухо, но доски нар еще холодные. Ничего — скоро. Можно пока кинуть на них полушубок, под голову мешок с харчами, ноги — к камельку. И дремота охватит — сил нет. Лень встать и подкинуть еще в камелек. А надо.

В камельке целая огненно-рыжая горка углей. Поленья сразу вспыхивают, как береста. Тут же, перед камельком, чурбачок. Можно сесть на него, закурить и — думать. Одному хорошо думается. Темно. Только из щелей камелька светится; свет этот играет на полу, на стенах, на потолке. И вспоминается бог знает что! Вспомнится вдруг, как первый раз провожал девку. Шел рядом и молчал, как дурак... И сам не заметишь, что сидишь и ухмыляешься. Черт ее знает — хорошо!

Совсем тепло. Можно чайку заварить. Кирпичного, зеленого. Он травой пахнет, лето вспоминается.

...Так в сумерки сидел перед камельком старик Никитич, посасывал трубочку.

В избушке было жарко. А на улице — морозно. На душе у Никитича легко. С малых лет таскался он по тайге — промышлял. Белковал, а случалось, медведя-шатуна укладывал. Для этого в левом кармане полушубка постоянно носил пять-шесть патронов с картечным зарядом. Любил тайгу. Особенно зимой. Тишина такая, что маленько давит. Но одиночество не гнетет, свободно делается; Никитич, прищурившись, оглядывался кругом — знал: он один безраздельный хозяин этого большого белого царства.

...Сидел Никитич, курил.

Прошаркали на улице лыжи, потом — стихло. В оконце вроде кто-то заглянул. Потом опять скрипуче шаркнули лыжи — к крыльцу. В дверь стукнули два раза палкой.

— Есть кто-нибудь?

Голос молодой, осипший от мороза и долгого молчания — не умеет человек сам с собой разговаривать

«Не охотник»,— понял Никитич, охотник не станет спрашивать — зайдет, и все.

— Есть!

Тот, за дверью, отстегнул лыжи, приставил их к стене, скрипнул ступенькой крыльца... Дверь приоткрылась, и в белом облаке пара Никитич едва разглядел высокого парня в подпоясанной стеганке, в ватных штанах, в старой солдатской шапке.

— Кто тут?

— Человек.— Никитич поджег лучину, поднял над головой.

Некоторое время молча смотрели друг на друга.

— Один, что ли?

— Один.

Парень прошел к камельку, снял рукавицы, взял их под мышку, протянул руки к плите.

— Мороз, черт его...

— Мороз.— Тут только заметил Никитич, что парень без ружья. Нет, не охотник. Не похож. Ни лицом, ни одежкой.— Март — он ишо свое возьмет.

— Какой март? Апрель ведь.

— Это по-новому. А по-старому — март. У нас говорят: марток — надевай двое порток. Легко одетый.— Что ружья нет, старик промолчал.

— Ничего,— сказал парень.— Один здесь?

— Один. Ты уж спрашивал.

Парень ничего не сказал на это.

— Садись. Чайку щас поставим.

— Отогреюсь малость...— Выговор у парня не здешний, «расейский». Старика разбирало любопытство, но вековой обычай — не лезть сразу с расспросами — был сильнее любопытства.

Парень отогрел руки, закурил папироску.

— Хорошо у тебя. Тепло.

Когда он прикуривал, Никитич лучше разглядел его — красивое бледное лицо с пушистыми ресницами. С жадностью затянулся, приоткрыл рот — сверкнули два передних золотых зуба. Оброс. Бородка аккуратная, чуть кучерявится на скулах... Исхудал... Перехватил взгляд старика, приподнял догорающую спичку, внимательно посмотрел на него. Бросил спичку. Взгляд Никитичу запомнился: прямой, смелый... И какой-то «стылый» — так определил Никитич. И подумал некстати: «Девки таких любят».

— Садись, чего стоять-то?

Парень улыбнулся.

— Так не говорят, отец. Говорят — присаживайся.

— Ну, присаживайся. А пошто не говорят? У нас говорят.

— Присесть можно. Никто не придет еще?

— Теперь кто? Поздно. А придет, места хватит.— Никитич подвинулся на пеньке, парень присел рядом, опять протянул руки к огню. Руки — не рабочие. Но парень, видно, здоровый. И улыбка его понравилась Никитичу — не «охальная», простецкая, сдержанная. Да еще эти зубы золотые... Красивый парень. Сбрей ему сейчас бородку, надень костюмчик — учитель. Никитич очень любил учителей.

— Иолог какой-нибудь? — спросил он.

— Кто? — не понял парень.

— Ну... эти, по тайге-то ищут...

— А-а... Да.

— Как же без ружьишка-то? Рыск.

— Отстал от своих,— неохотно сказал парень.— Деревня твоя далеко?

— Верст полтораста.

Парень кивнул головой, прикрыл глаза, некоторое время сидел так, наслаждаясь теплом, потом встряхнулся, вздохнул.

— Устал.

— Долго один-то идешь?

— Долго. У тебя выпить нету?

— Найдется.

Парень оживился.

— Хорошо! А то аж душа трясется. Замерзнуть к черту можно. Апрель называется...

Никитич вышел на улицу, принес мешочек с салом. Засветил фонарь под потолком.

— Вас бы хошь учили маленько, как быть в тайге одному... А то посылают, а вы откуда знаете! Я вон лони́сь[1] нашел одного — вытаял весной. Молодой тоже. Тоже с бородкой. В одеяло завернулся — и все, и окочурился.— Никитич нарезал сало на краешке нар.— А меня пусти одного, я всю зиму проживу, не охну. Только бы заряды были. Да спички.

— В избушку-то все равно лезешь.

— Дак а раз она есть, чего же мне на снегу-то валяться? Я не лиходей себе.

Парень распоясался, снял фуфайку... Прошелся по избушке. Широкоплечий, статный. Отогрелся, взгляд потеплел — рад, видно, до смерти, что набрел на тепло, нашел живую душу. Еще закурил одну. Папиросами хорошо пахло. Никитич любил поговорить с городскими людьми. Он презирал их за беспомощность в тайге; случалось, подрабатывал, провожая какую-нибудь поисковую партию, в душе подсменвался над ними, но любил слушать их разговоры и охотно сам беседовал. Его умиляло, что они разговаривают с ним ласково, снисходительно похохатывают, а сами — оставь их одних — пропадут, как сосунки слепые. Еще интересней, когда в партии — две-три девки. Терпят, не жалуются. И всё вроде они такие же и никак не хотят, чтоб им помогали. Спят все в куче. И ничего — не безобразничают. Доведись до деревенских — греха не оберешься. А эти — ничего. А ведь бывают — одно загляденье: штаны узкие наденет, кофту какую-нибудь тесную, косынкой от мошки закутается, вся кругленькая — кукла и кукла. А ребята — ничего, как так и надо.

— Кого ищете-то?

— Где?

— Ну, ходите-то.

Парень усмехнулся себе.

[1] В прошлом году.

— Долю.

— Доля... Она, брат, как налим, склизкая: вроде ухватил ее, вроде — вот она, в руках, а не тут-то было.— Никитич настроился было поговорить, как обычно с городскими — позаковыристей, когда внимательно слушают, когда слушают и переглядываются меж собой, а какой-нибудь возьмет да еще в тетрадку карандашиком чего-нибудь запишет. А Никитич может рассуждать таким манером хоть всю ночь — только развесь уши. Свои бы, деревенские, бо́талом обозвали, а эти слушают. Приятно. И сам иногда подумает о себе: складно выходит, язви тя. Такие турусы разведет, что тебе поп раньше. И лесины-то у него с душой: не тронь ее, не секи топором зазря, а то засохнет, а засохнет, и сам засохнешь — тоска навалится и засохнешь, и не догадаешься, отчего тоска такая.— Или вот: понаедут из города с ружьями и давай направо-налево: трах-бах! — кого попало: самку — самку, самца — самца, лишь бы убить. За такие дела надо руки выдергивать. Убил ты ее, медведицу, а у ей двое маленьких. Подохнут. То ты одну шкуру добыл, а подожди маленько — три будет. Бестолковое дело — душу на зверье тешить. Вот те и доля — ты говоришь,— продолжал Никитич.

Только парню не хотелось слушать. Подошел к окну, долго всматривался в темень. Сказал, как очнулся:

— Все равно весна скоро.

— Придет, никуда не денется. Садись. Закусим, чем бог послал.

Натаяли в котелке снегу, разбавили спирт, выпили. Закусили мерзлым салом. Совсем на душе хорошо сделалось. Никитич подкинул в камелек. А парня опять потянуло к окну. Отогрел дыханием кружок на стекле и все смотрел и смотрел в ночь.

— Кого ты щас там увидишь? — удивился Никитич. Ему хотелось поговорить.

— Воля,— сказал парень. И вздохнул. Но не грустно вздохнул. И про волю сказал — крепко, зло и напористо. Откачнулся от окна.

— Дай еще выпить, отец.— Расстегнул ворот черной сатиновой рубахи, гулко хлопнул себя по груди широкой ладонью, погладил.— Душа просит.

— Поел бы, а то с голодухи-то развезет.

— Не развезет. Меня не развезет.— И ласково и крепко приобнял старика за шею. И пропел:

А в камере смертной,
Сырой и холодной,
Седой появился старик...

И улыбнулся ласково. Глаза у парня горели ясным, радостным блеском.

— Выпьем, добрый человек!

— Наскучал один-то.— Никитич тоже улыбнулся. Парень все больше и больше нравился ему. Молодой, сильный, красивый. А мог пропасть.— Так, парень, пропасть можно. Без ружьишка в тайге — поганое дело.

— Не пропадем, отец. Еще поживем!

И опять сказал это крепко, и на миг глаза его заглянули куда-то далеко-далеко и опять «остыли»... И непонятно было, о чем он подумал, как будто что-то вспомнил. Но вспоминать ему это «что-то» не хотелось. Запрокинул стакан, одним глотком осушил до дна. Крякнул. Крутнул головой. Пожевал сала. Закурил. Встал — не сиделось. Прошелся широким шагом по избушке, остановился посредине, подбоченился и опять куда-то далеко засмотрелся.

— Охота жить, отец.

— Жить всем охота. Мне, думаешь, неохота? А уж мне скоро...

— Охота жить! — упрямо, с веселой злостью повторил большой красивый парень, не слушая старика.— Ты ее не знаешь, жизнь. Она...— Подумал, стиснул зубы: — Она — дорогуша. Милая! Роднуля моя.

Захмелевший Никитич хихикнул.

— Ты про жись, как все одно про бабу.

— Бабы — дешевки.— Парня накаляло какое-то упрямое, дерзкое, радостное чувство. Он не слушал старика, говорил сам, а тому теперь хотелось его слушать. Властная сила парня стала и его подмывать.

— Бабы, они... конечно. Но без них тоже...

— Возьмем мы ее, дорогушу,— парень выкинул вперед руки, сжал кулаки,— возьмем, милую, за горлышко... Помнишь Колю-профессора? Забыла? — Парень с кем-то разговаривал и очень удивился, что его «забыли».— Колю-то!.. А Коля помнит тебя. Коля тебя не забыл.— Он не то радовался, не то собирался кому-то зло мстить.— А я — вот он. Прошу, мадам, на пару ласковых. Я не обижу. Но ты мне отдашь все. Все! Возьму!..

— Правда, што ли, баба так раскипятила? — спросил удивленный Никитич.

Парень тряхнул головой.

— Эту бабу зовут — воля. Ты тоже не знаешь ее, отец. Ты — зверь, тебе здесь хорошо. Но ты не знаешь, как горят огни в большом городе. Они манят. Там милые, хорошие люди, у них тепло, мягко, играет музыка. Они вежливые и очень боятся смерти. А я иду по городу, и он весь мой. Почему же они там, а я здесь? Понимаешь?

— Не навечно же ты здесь...

— Не понимаешь.— Парень говорил серьезно, строго.— Я должен быть там, потому что я никого не боюсь. Я не боюсь смерти. Значит, жизнь — моя.

Старик качнул головой.

— Не пойму, паря, к чему ты?

Парень подошел к нарам, налил в стаканы. Он как будто сразу устал.

— Из тюрьмы бегу, отец,— сказал без всякого выражения.— Давай?

Никитич машинально звякнул своим стаканом о стакан парня. Парень выпил. Посмотрел на старика... Тот все еще держал стакан в руке. Глядел снизу на парня.

— Что?

— Как же это?

— Пей,— велел парень. Хотел еще закурить, но пачка оказалась пустой.— Дай твоего.

— У меня листовуха.

— Черт с ней.

Закурили. Парень присел на чурбак, ближе к огню.

Долго молчали.

— Поймают вить,— сказал Никитич. Ему не то что жаль стало парня, а он представил вдруг, как ведут его, крупного, красивого, под ружьем. И жаль стало его молодость, и красоту, и силу. Сцапают — и все, все псу под хвост: никому от его красоты ни жарко ни холодно. Зачем же она была? — Зря,— сказал он трезво.

— Чего?

— Бежишь-то. Теперь не ранешное время — поймают.

Парень промолчал. Задумчиво смотрел на огонь. Склонился. Подкинул в камелек полено.

— Надо бы досидеть... Зря.

— Перестань! — резко оборвал парень. Он тоже както странно отрезвел.— У меня своя башка на плечах.

— Это знамо дело,— согласился Никитич.— Далеко идти-то?

— Помолчи пока.

«Мать с отцом есть, наверно,— подумал Никитич, глядя в затылок парню.— Придет — обрадует, сукин сын».

Минут пять молчали. Старик выколотил золу из трубочки и набил снова. Парень все смотрел на огонь.

— Деревня твоя — райцентр или нет? — спросил он, не оборачиваясь.

— Какой райцентр! До району от нас еще девяносто верст. Пропадешь ты. Зимнее дело — по тайге...

— Дня три поживу у тебя — наберусь силенок,— не попросил, просто сказал.

— Живи, мне што. Много, видно, оставалось — не утерпел?

— Много.

— А за што давали?

— Такие вопросы никому никогда не задавай, отец.

Никитич попыхтел угасающей трубочкой, раскурил, затянулся и закашлялся. Сказал, кашляя:

— Мне што!.. Жалко только. Поймают...

— Бог не выдаст — свинья не съест. Дешево меня не возьмешь. Давай спать.

— Ложись. Я подожду, пока дровишки прогорят,— трубу закрыть. А то замерзнем к утру.

Парень расстелил на нарах фуфайку, поискал глазами, что положить под голову. Увидел на стене ружье Никитича. Подошел, снял, осмотрел, повесил.

— Старенькое.

— Ничо, служит пока. Вон там в углу кошма лежит, ты ее под себя, а куфайку-то под голову сверни. А ноги вот сюда протяни, к камельку. К утру все одно выстынет.

Парень расстелил кошму, вытянулся, шумно вздохнул.

— Маленький Ташкент,— к чему-то сказал он.— Не боишься меня, отец?

— Тебя-то? — изумился старик.— А чего тебя бояться?

— Ну... я ж лагерник. Может, за убийство сидел.

— За убивство тебя бог накажет, не люди. От людей можно побегать, а от его не уйдешь.

— Ты верующий, что ли? Кержак, наверно?

— Кержак!.. Стал бы кержак с тобой водку пить.

— Это верно. А насчет боженек ты мне мозги не... Меня тошнит от них.— Парень говорил с ленцой, чуть

осевшим голосом.— Если бы я встретил где-нибудь этого вашего Христа, я бы ему с ходу кишки выпустил.

— За што?

— За што?.. За то, что сказки рассказывал, врал. Добрых людей нет! А он — добренький, терпеть учил. Паскуда! — Голос парня снова стал обретать недавнюю крепость и злость. Только веселости в голосе уже не было.— Кто добрый?! Я? Ты?

— Я, к примеру, за свою жись никому никакого худа не сделал...

— А зверей бьешь! Разве он учил?

— Сравнил хрен с пальцем. То — человек, а то — зверь.

— Живое существо — сами же трепетесь, сволочи.

Лица парня Никитич не видел, но оно стояло у него в глазах — бледное, с бородкой; дико и нелепо звучал в теплой тишине избушки свирепый голос безнадежно избитого судьбой человека с таким хорошим, с таким прекрасным лицом.

— Ты чего рассерчал-то на меня?

— Не врите! Не обманывайте людей, святоши. Учили вас терпеть? Терпите! А то не успеет помолиться и тут же штаны спускает — за бабу хляет, гадина. Я бы сейчас нового Христа выдумал: чтоб он по морде учил бить. Врешь? Получай, погань!

— Не поганься! — строго сказал Никитич.— Пустили тебя, как доброго человека, а ты лаяться начал. Обиделся — посадили! Значит, было за што. Кто тебе виноват?!

— М-м.— Парень скрипнул зубами. Промолчал.

— Я не поп, и здесь тебе не церква, чтобы злобой своей харкать. Здесь — тайга: все одинаковые. Помни это. А то и до воли своей не добежишь — сломишь голову. Знаешь, говорят: молодец — против овец, а спроть молодца — сам овца. Найдется и на тебя лихой человек. Обидишь вот так вот — ни за што ни про што, он тебе покажет, где волю искать.

— Не сердись, отец,— примирительно сказал парень.— Ненавижу, когда жить учат. Душа кипит! Суют в нос слякоть всякую, глистов: вот хорошие, вот как жить надо. Ненавижу! — почти крикнул.— Не буду так жить. Врут! Мертвечиной пахнет! Чистых, умытых покойничков мы все жалеем, все любим, а ты живых полюби, грязных. Нету на земле святых! Я их не видел. Зачем их выдумывать?! — Парень привстал на локоть; смутно — пятном —

белело в сумраке, в углу, его лицо, зло и жутковато сверкали глаза.

— Поостынешь маленько, поймешь: не было бы добрых людей, жись ба давно остановилась. Сожрали бы друг друга или перерезались. Это никакой меня не Христос учил, сам так щитаю. А святых — это верно: нету. Я сам вроде ничо, никто не скажет: плохой или злой там. А молодой был... Недалеко тут кержацкий скит стоял, за согрой, семья жила: старик со старухой да дочь ихная годов двадцати пяти. Они, может, не такие уж старые были, старики-то, а мне казалось тогда — старые. Они потом ушли куда-то. Ну, дак вот: была у их дочь. Все божественные, спасу нет: от людей ушли, от греха, дескать, подальше. А я эту дочь-то заманил раз в березник и... это...— ла-ла с ей. Хорошая девка была, здоровая. До ребенка дело дошло. А уж я женатый был...

— А говоришь, худого ничего не делал?

— Вот и выходит, што я не святой. Я не насильничал, правда, лаской донял, а все одно... дитя-то пустил по свету. Спомнишь — жалко. Большой уж теперь, материт, поди.

— Жизнь дал человеку — не убил. И ее, может, спас. Может, она после этого рванула от них. А так довели бы они ее своими молитвами: повесилась бы на суку где-нибудь, и все. И мужика бы ни разу не узнала. Хорошее дело сделал, не переживай.

— Хорошее или плохое, а было так. Хорошего-то мало, конешно.

— Там еще осталось?

— Спиртяги? Есть маленько. Пей, я не хочу больше.

Парень выпил. Опять крякнул. Не стал закусывать.

— Много пьешь-то?

— Нет, это... просто перемерз. Пить надо не так, отец. Надо красиво пить. Музыка... Хорошие сигареты, шампанское... Женщины. Чтоб тихо, культурно.— Парень опять размечтался, лег, закинул руки за голову.— Бардаки презираю. Это не люди — скот. М-м, как можно красиво жить! Если я за одну ночь семь раз заигрывал с курносой — так? — если она меня гладила костлявой рукой и хотела поцеловать в лоб,— я устаю. Я потом отдыхаю. Я наслаждаюсь и люблю жизнь больше всех прокуроров, вместе взятых. Ты говоришь — риск? А я говорю — да. Пусть обмирает душа, пусть она дрожит, как

овечий хвост,— я иду прямо, я не споткнусь и не поверну назад.

— Ты кем работал до этого? — поинтересовался Никитич.

— Я? Агентом по снабжению. По культурным связям с зарубежными странами. Вообще я был ученый. Я был доцентом на тему: «Что такое колорадский жук и как с ним бороться».— Парень замолчал, а через минуту сонным голосом сказал: — Все, отец... Я ушел.

— Спи.

Никитич пошуровал короткой клюкой в камельке, набил трубочку и стал думать про парня. Вот тебе и жизнь — все дадено человеку: красивый, здоровый, башка вроде недурная... А... что? Дальше что? По лесам бегать? Нет, это город их доводит до ручки. Они там свихнулись все. Внуки Никитича — трое — тоже живут в большом городе. Двое учатся, один работает, женат. Они не хвастают, как этот, но их тянет в город. Когда они приезжают летом, им скучно. Никитич достает ружья, водит в тайгу и ждет, что они просветлеют, отдохнут душой и проветрят мозги от ученья. Они притворяются, что им хорошо, а Никитичу становится неловко: у него больше ничего нет, чем порадовать внуков. Ему тяжело становится, как будто он обманул их. У них на уме один город. И этот, на нарах, без ума в город рвется. На его месте надо уйти подальше, вырыть землянку и лет пять не показываться, если уж сидеть невмоготу стало. А он снова туда, где на каждом шагу могут за шкирку взять. И ведь знает, что возьмут, а идет. «Что за сила такая в этом городе! Ну ладно, я — старик, я бывал там три раза всего, я не понимаю... Согласен. Там весело и огней много. Но раз я не понимаю, так я и не хаю. Охота там? На здоровье. А мне здесь хорошо. Но так получается, что они приходят оттуда и нос воротят: скучно, тоска. Да присмотрись хорошенько! Ты же увидеть-то ничего не успел, а уж давай молоть про свой город. А посмотри, как, к примеру, муравей живет. Или — крот. Да любая животина!.. Возьми приглядись для интереса. А потом подумай: много ты про жизнь знаешь или нет? Вы мне — сказки про город?.. А если я начну рассказывать, сколько я знаю! Но меня не слушают, а на вас глаза пялят — городской. А мне хрен с тобой, что ты городской, что ты штиблетами по тротуару форсишь. Доборсился вот: отвалили лет пятнадцать, на-

верно, за красивую-то жизнь. Магазин, наверно, подломил, не иначе. Шиканул разок и — загремел. И опять на рога лезет. Сам! Это уж, значит, не может без города. Опять на какой-нибудь магазин нацелился. Шампанское... А откуда оно, шампанское-то, возьмется? Дурачье... Сожрет он вас, город, с костями вместе. И жалко дураков. И ничего сделать нельзя. Не докажешь».

Дрова в камельке догорели. Никитич дождался, когда последние искорки умерли в золе, закрыл трубу, погасил фонарь, лег рядом с парнем. Тот глубоко и ровно дышал, неловко подвернув под себя руку. Даже не шевельнулся, когда Никитич поправил его руку.

«Намаялся,— подумал Никитич.— Дурило... А кто заставляет? Эх, вы!!»

...За полночь на улице, около избушки, зашумели. Послышались голоса двух или трех мужчин.

Парень рывком привстал — как не спал. Никитич тоже приподнял голову.

— Кто это? — быстро спросил парень.

— Шут их знает.

Парень рванулся с нар — к двери, послушал, зашарил рукой по стене — искал ружье. Никитич догадался.

— Ну-ка, не дури! — прикрикнул негромко.— Хуже беды наделаешь.

— Кто это? — опять спросил парень.

— Не знаю, тебе говорят.

— Не пускай, закройся.

— Дурак. Кто в избушке закрывается? Нечем закрываться-то. Ложись и не шевелися.

— Ну, дед!..

Парень не успел досказать. Кто-то поднялся на крыльцо и искал рукой скобку. Парень ужом скользнул на нары, еще успел шепнуть:

— Отец, клянусь богом, чертом, дьяволом: продашь... Умоляю, старик. Век...

— Лежи,— велел Никитич.

Дверь распахнулась.

— Ага! — весело сказал густой бас.— Я же говорил: кто-то есть. Тепло, входите!

— Закрывай дверь-то! — сердито сказал Никитич, слезая с нар.— Обрадовался — тепло! Расшиперься пошире — совсем жарко будет.

— Все в порядке,— сказал бас.— И тепло, и хозяин приветливый.

Никитич засветил фонарь.

Вошли еще двое. Одного Никитич знал: начальник районной милиции. Его все охотники знали: мучил охотничьими билетами и заставлял платить взносы.

— Емельянов? — спросил начальник, высокий упитанный мужчина лет под пятьдесят.— Так?

— Так, товарищ Протокин.

— Ну вот!.. Принимай гостей.

Трое стали раздеваться.

— Пострелять? — не без иронии спросил Никитич. Он не любил этих наезжающих стрелков: только пошумят и уедут.

— Надо размяться маленько. А это кто? — Начальник увидел парня на нарах.

— Иолог,— нехотя пояснил Никитич.— От партии отстал.

— Заблудился, что ли?

— Но.

— У нас что-то неизвестно. Куда шли, он говорил?

— Кого он наговорит! — едва рот разевал: замерзал. Спиртом напоил его — щас спит как мертвый.

Начальник зажег спичку, поднес близко к лицу парня. У того не дрогнул ни один мускул. Ровно дышал.

— Накачал ты его.— Спичка начальника погасла.— Что же у нас-то ничего не известно?

— Может, не успели еще сообщить? — сказал один из пришедших.

— Да нет, видно, долго бродит уже. Не говорил он, сколько один ходит?

— Нет,— ответствовал Никитич.— Отстал, говорит. И все.

— Пусть проспится. Завтра выясним. Ну что, товарищи: спать?

— Спать,— согласились двое.— Уместимся?

— Уместимся,— уверенно сказал начальник.— Мы прошлый раз тоже впятером были. Чуть не загнулись к утру: протопили, да мало. А мороз стоял — под пятьдесят.

Разделись, улеглись на нарах. Никитич лег опять рядом с парнем.

Пришлые поговорили еще немного о своих районных делах и замолчали.

Скоро все спали.

...Никитич проснулся, едва только обозначилось в сте-

не оконце. Парня рядом не было. Никитич осторожно слез с нар, нашарил в карманах спички. Еще ни о чем худом не успел подумать. Чиркнул спичкой... Ни парня нигде, ни фуфайки его, ни ружья Никитича не было. Неприятно сжало под сердцем.

«Ушел. И ружье взял».

Неслышно оделся, взял одно ружье из трех, составленных в углу, пощупал в кармане патроны с картечью. Тихо открыл дверь и вышел.

Только-только занимался рассвет. За ночь потеплело. Туманная хмарь зáстила слабую краску зари. В пяти шагах еще ничего не было видно. Пахло весной.

Никитич надел свои лыжи и пошел по свежей лыжне, четко обозначенной в побуревшем снегу.

— Сукин ты сын, варнак окаянный,— вслух негромко ругался он.— Уходи, пес с тобой, а ружье-то зачем брать! Што я тут без ружья делать стану, ты подумал своей башкой? Што я, тыщи, што ли, большие получаю,— напасаться на вас на всех ружьями? Ведь ты же его, поганец, все равно бросишь где-нибудь. Тебе лишь бы из тайги выйти? А я сиди тут, сложа ручки, без ружья. Ни стыда у людей, ни совести.

Помаленьку отбеливало. День обещал быть пасмурным и теплым.

Лыжня вела не в сторону деревни.

— Боишься людей-то? Эх, вы... «Красивая жисть». А последнее ружьишко у старика взять — это ничего, можно. Но от меня ты не уйде-ешь, голубчик. Я вас таких семерых замотаю, хоть вы и молодые.

Зла большого у старика не было. Обидно было: пригрел человека, а он взял и унес ружье. Ну не подлец после этого!

Никитич прошел уже километра три. Стало совсем почти светло; лыжня далеко была видна впереди.

— Рано поднялся. И ведь как тихо сумел!

В одном месте парень останавливался закурить: сбочь лыжни ямка — палки втыкал. На снегу крошки листовухи и обгоревшая спичка.

— И кисет прихватил! — Никитич зло плюнул.— Вот поганец так поганец! — Прибавил шагу.

...Парня Никитич увидел далеко в ложбине, внизу.

Шел парень дельным ровным шагом, не торопился, но податливо. За спиной — ружье.

— Ходить умеет,— не мог не отметить Никитич. Свер-

нул с лыжни и побежал в обход парню, стараясь, чтоб его скрывала от него вершина длинного отлогого бугра. Он примерно знал, где встретит парня: будет на пути у того неширокая просека. Он пройдет ее, войдет снова в чащу... и тут его встретит Никитич.

— Щас я на тебя посмотрю,— не без злорадства приговаривал Никитич, налегая вовсю на палки. Странно, но ему очень хотелось еще раз увидеть прекрасное лицо парня. Что-то было до страсти привлекательное в этом лице. «Может, так и надо, что он рвется к своей красивой жизни. Что ему тут делать, если подумать? Засохнет. Жизнь, язви ее, иди разберись».

У просеки Никитич осторожно выглянул из чащи: лыжни на просеке еще не было — обогнал. Быстро перемахнул просеку, выбрал место, где примерно выйдет парень, присел в кусты, проверил заряд и стал ждать. Невольно, опытным охотничьим глазом осмотрел ружье: новенькая тулка, блестит и резко пахнет ружейным маслом. «На охоту собирались, а не подумали: не надо, чтоб ружье так пахло. На охоте надо и про табачок забыть, и рот чаем прополоскать, чтобы от тебя не разило за версту, и одежду лучше всего другую надеть, которая на улице висела, чтоб жильем не пахло. Охотники — горе луковое».

Парень вышел на край просеки, остановился. Глянул по сторонам. Постоял немного и скоро-скоро побежал через просеку. И тут навстречу ему поднялся Никитич.

— Стой! Руки вверьх! — громко скомандовал он, чтоб совсем ошарашить парня. Тот вскинул голову, и в глазах его отразился ужас. Он дернулся было руками вверх, но узнал Никитича.— Говоришь: не боюсь никого,— сказал Никитич,— а в штаны сразу наклал.

Парень скоро оправился от страха, улыбнулся обаятельной своей улыбкой немножко насильственно.

— Ну, отец... ты даешь. Как в кино... твою в душу мать. Так можно разрыв сердца получить.

— Теперь, значит, так,— деловым тоном распорядился Никитич,— ружье не сымай, а достань сзади руками, переломи и выкинь из казенника патроны. И из кармана все выбрось. У меня их шешнадцать штук оставалось. Все брось на снег, а сам отойди в сторону. Если задумаешь шутки шутить, стреляю. Сурьезно говорю.

— Дошло, батя. Шутить мне сейчас что-то не хочется.

— Бесстыдник, ворюга.

— Сам же говорил: погано в лесу без ружья.

— А мне чо тут без его делать?

— Ты дома.

— Ну, давай, давай. Дома. Што у меня дома-то — завод, што ли?

Парень выгреб из карманов патроны — четырнадцать: Никитич считал. Потом заломил руки за спину; прикусив нижнюю губу, прищурившись, внимательно глядел на старика. Тот тоже не сводил с него глаз: ружье со взведенными курками держал в руках, стволами на уровне груди парня.

— Чего мешкаешь?

— Не могу вытащить...

— Ногтями зацепи... Или постучи кулаком по прикладу.

Выпал сперва один патрон, потом второй.

— Вот. Теперь отойди вон туда.

Парень повиновался.

Никитич собрал патроны, поклал в карманы полушубка.

— Кидай мне ружье, а сам не двигайся.

Парень снял ружье, бросил старику.

— Теперь садись, где стоишь, покурим. Кисет мне тоже кинь. И кисет спер...

— Курить-то охота мне.

— Ты вот все — мне да мне. А про меня, черт полосатый, не подумал! А чего мне-то курить?

Парень закурил.

— Можно я себе малость отсыплю?

— Отсыпь. Спички-то есть?

— Есть.

Парень отсыпал себе листовухи, бросил кисет старику. Тот закурил тоже.

Сидели шагах в пяти друг от друга.

— Ушли эти?.. Ночные-то.

— Спят. Они спать здоровы. Не охотничают, а дурочку валяют. Погулять охота, а в районе у себя не шибко разгуляешься — на виду. Вот они и идут с глаз долой.

— А кто они?

— Начальство... Заряды зря переводют.

— М-да...

— Ты чо же думал: не догоню я тебя?

— Ничего я не думал. А одного-то ты знаешь. Кто это? По фамилии называл... Протокин, что ли.

— В собесе работает. Пенсию старухе хлопотал, видел его там...

Парень пытливо посмотрел на старика.

— Это там, где путевки на курорт выписывают?

— Ага.

— Темнишь, старичок. Неужели посадить хочешь? Из-за ружья...

— На кой ты мне хрен нужен — сажать? — искренне сказал Никитич.

— Продай ружье? У меня деньги есть.

— Нет,— твердо сказал Никитич.— Спросил бы с вечера — подобру, может, продал бы. А раз ты так посвински сделал, не продам.

— Не мог же я ждать, когда они проснутся.

— На улицу бы меня ночью вызвал: так и так, мол, отец: мне шибко неохота с этими людями разговаривать. Продай, мол, ружье — я уйду. А ты... украл. За воровство у нас руки отрубают.

Парень положил локти на колени, склонился головой на руки. Сказал глуховато:

— Спасибо, что не выдал вчера.

— Не дойдешь ты до своей воли все одно.

Парень вскинул голову.

— Почему?

— Через всю Сибирь идти — шутка в деле!

— Мне только до железной дороги, а там поезд. Документы есть. А вот здесь без ружья... здесь худо. Продай, а?

— Нет, даже не упрашивай.

— Я бы теперь новую жизнь начал... Выручил бы ты меня, отец...

— А документы-то где взял? Ухлопал, поди, кого-нибудь?

— Документы тоже люди делают.

— Фальшивые. Думаешь, не поймают с фальшивыми?

— Ты обо мне... прямо как родная мать заботишься.

— Заладил, как попугай: поймают, поймают. А я тебе говорю: не поймают.

— А шампанскуя-то на какие шиши будешь распивать?.. Если честно-то робить пойдешь.

— Сдуру я вчера натрепался, не обращай внимания. Захмелел.

— Эх, вы...— Старик сплюнул желтую едкую слюну на снег.— Жить бы да жить вам, молодым... а вас... как

этих... как угорелых по свету носит, места себе не можете найти. Голод тебя великий воровать толкнул? С жиру беситесь, окаянные. Петух жареный в зад не клевал...

— Как сказать, отец...

— Кто же тебе виноватый?

— Хватит об этом,— попросил парень.— Слушай...— Он встревоженно посмотрел на старика.— Они ж сейчас проснутся, а ружья — нет. И нас с тобой нет... Искать кинутся?

— Они до солнышка не проснутся.

— Откуда ты знаешь?

— Знаю. Они сами вчера с похмелья были. В избушке теплынь: разморит — до обеда проспят. Им торопиться некуда.

— М-да...— грустно сказал парень.— Дела-делишки.

Повалил вдруг снег большими густыми хлопьями — теплый, тяжелый.

— На руку тебе.— Никитич посмотрел вверх.

— Что? — Парень тоже посмотрел вверх.

— Снег-то... Заметет все следы.

Парень подставил снегу ладонь, долго держал. Снежинки таяли на ладони.

— Весна скоро...— вздохнул он.

Никитич посмотрел на него, точно хотел напоследок покрепче запомнить такого редкостного здесь человека. Представил, как идет он один, ночью... без ружья.

— Как ночуешь-то?

— У огня покемарю... Какой сон.

— Хоть бы уж летом бегали-то. Все легше.

— Там заявок не принимают — когда бежать легче. Со жратвой плохо. Пока дойдешь от деревни до деревни, кишки к спине прирастают. Ну ладно. Спасибо за хлеб-соль.— Парень поднялся.— Иди, а то проснутся эти твои...

Старик медлил.

— Знаешь... есть один выход из положения,— медленно заговорил он.— Дам тебе ружье. Ты завтра часам к двум, к трем ночи дойдешь до деревни, где я живу...

— Ну?

— Не понужай. Дойдешь. Постучишь в какую-нибудь крайную избу: мол, ружье нашел... или... нет, как бы придумать?.. Чтоб ты ружье-то оставил. А там, от нашей деревни прямая дорога на станцию — двадцать верст. Там уж не страшно. Машины ездют. К свету будешь на станции. Только там заимка одна попадется, от нее, от заим-

ки-то, ишо одна дорога влево пойдет, ты не ходи по ей — это в район. Прямо иди.

— Отец...

— Погоди! Как с ружьем-то быть? Скажешь: нашел — перепужаются, искать пойдут. А совсем ружье отдавать жалко. Мне за него, хоть оно старенькое, три вот таких не надо.— Никитич показал на новую переломку.

Парень благодарно смотрел на старика и еще старался, наверно, чтобы благодарности в глазах было больше.

— Спасибо, отец.

— Чего спасибо? Как я ружье-то получу?

Парень встал, подошел к старику, присел рядом.

— Сейчас придумаем... Я его спрячу где-нибудь, а ты возьмешь потом.

— Где спрячешь?

— В стогу каком-нибудь, недалеко от деревни.

Никитич задумался.

— Чего ты там разглядишь ночью?.. Вот што: постучишь в крайнюю избу, спросишь, где Мазаев Ефим живет. Тебе покажут. Это кум мой. Ефиму придешь и скажешь: стретил, мол, Никитича в тайге, он повел иологов в Змеиную согру. Патроны, мол, у него кончились, а чтоб с ружьем зря не таскаться, он упросил меня занести его тебе. И чтоб ждали меня к послезавтрему! А што я повел иологов, пусть он никому не говорит. Заработает, мол, придет — выпьете вместе, а то старуха все деньги отберет сразу. Запомнил? Щас мне давай на литровку — а то от Ефима потом не отвяжешься — и с богом. Патронов даю тебе... шесть штук. И два картечных — на всякий случай. Не истратишь, возле деревни закинь в снег подальше. Ефиму не отдавай — он хитрый, зачует неладное. Все запомнил?

— Запомнил. Век тебя не забуду, отец.

— Ладно... На деревню держись так: солнышко выйдет — ты его все одно увидишь — пусть оно сперва будет от тебя слева. Солнышко выше, а ты его все слева держи. А к закату поворачивай, чтоб оно у тебя за спиной очутилось, чуток с правого уха. А там — прямо. Ну, закурим на дорожку...

Закурили.

Сразу как-то не о чем стало говорить. Посидели немного, поднялись.

— До свиданья, отец, спасибо.

— Давай.

И уж пошли было в разные стороны, но Никитич остановился, крикнул парню:

— Слышь!.. А вить ты, парень, чуток не вляпался: Протокин-то этот — начальник милиции. Хорошо, не разбудил вчерась... А то бы не отвертеться тебе от него — дошлый, черт.

Парень ничего не говорил, смотрел на старика.

— Он бы щас: откуда? куда? Никакие бы документы не помогли.

Парень промолчал.

— Ну шагай.— Никитич подкинул на плече чужое ружье и пошел через просеку назад, к избушке. Он уж почти прошел ее всю, просеку... И услышал: как будто над самым ухом оглушительно треснул сук. И в то же мгновение сзади, в спину и в затылок, как в несколько кулаков, сильно толканули вперед. Он упал лицом в снег. И ничего больше не слышал и не чувствовал. Не слышал, как закидали снегом и сказали: «Так лучше, отец. Надежнее».

...Когда солнышко вышло, парень был уже далеко от просеки. Он не видел солнца, шел, не оглядываясь, спиной к нему. Он смотрел вперед.

Тихо шуршал в воздухе сырой снег.

Тайга просыпалась. Весенний густой запах леса чуть дурманил и кружил голову.

● ОРАТОРСКИЙ ПРИЕМ

Тринадцать человек совхозных — молодых мужиков и холостых парней — направили «на кубы» (на лесозаготовки). На три-четыре недели — как управятся с нормой. Старшим назначили Александра Щиблетова. Директор совхоза, напутствуя отъезжающих, пошутил:

— Значит, Щиблетов... ты, значит, теперь Христос, а это — твои апостолы.

«Апостолы» засмеялись. «Христос» сдержанно, с достоинством улыбнулся. И тут же, в конторе, показал, что его не зря назначили старшим.

— Сбор завтра в семь ноль-ноль, возле школы,— сказал он серьезно.— Не опаздывать. Ждать никого не будем.

Директор посмотрел на него несколько удивленно, «апостолы» переглянулись между собой... Щиблетов сказал директору «до свидания» и вышел из конторы с видом человека, выполняющего неприятную обязанность, но которую, он понимает, выполнять надо.

— Вот, значит, э-э... чтобы все было в порядке,— сказал директор.— Через недельку приеду попроведаю вас.

«Апостолы» вышли из конторы и, прежде чем разойтись по домам, остановились покурить в коридоре. Потолковали немного.

— Щиблетов-то!.. Понял? Уже — хвост трубой!

— Да-а... Любит это дело, оказывается.

— Разок по букварю угодить чем-нибудь — враз разлюбит,— высказался Славка Братусь, маленький мужичок, с маленьким курносым лицом, муж горбатой жены.

— Ты лучше иди делай восхождение на Эльбрус,— мрачновато посоветовал Славке Борис Куликов, грузный, медлительный, славный своим бесстрашием, которое дважды приводило его на скамью подсудимых.

— А ты иди похмелись,— огрызнулся Славка.

— Золотые слова и вовремя сказаны,— прогудел Борис и отвалил в сторону сельмага.

Разошлись, и все — кто куда.

В семь ноль-ноль к школе пришел один Щиблетов. Он был в бурках, в галифе, в суконной «москвичке» (полупальто на теплой подкладке, с боковыми карманами), в кожаной шапке. Морозец стоял крепкий: Щиблетов ходил около машины с крытым верхом, старался не ежиться. Место он себе предусмотрительно занял в кабине, положив узел на сиденье.

Щиблетов Александр Захарович — сорокалетний мужчина, из первых партий целинников, оставшийся здесь, кажется, навсегда. Он сразу взял ссуду и поставил домик на берегу реки. В летние месяцы к нему приезжала жена... или кто она ему — непонятно. По паспорту — жена, на деле — какая же это жена, если живет с мужем полтора месяца в году? Сельские люди не понимали этого, но с расспросами не лезли. Редко кто по пьяному делу интересовался:

— Как вы так живете?

— Так...— неохотно отвечал Щиблетов.— Она на приличном месте работает, не стоит уходить.

Темнил что-то мужичок, а какие мысли скрывал, бог

его знает. За эту скрытность его недолюбливали. Он был толковый автослесарь, не пил, правильно выступал на собраниях, любил выступать, готовился к выступлениям, выступая, приводил цифры, факты. Фамилии, правда, называл осторожно, больше напирал на то, что «мы сами во многом виноваты...». С начальством был сдержанно-вежлив. Не подхалимничал, нет, а все как будто чего-то ждал большего, чем только красоваться на Доске почета.

Старшим его назначили впервые.

— Не спешат друзья,— сказал Щиблетов.

— Придут,— беспечно откликнулся шофер и сладко, с хрустом потянулся. И завел мотор.— Иди погрейся, что ты там топчешься.

— Придут-то, я знаю, что придут,— Щиблетов полез в кабину,— но было же сказано: в семь ноль-ноль.

— Счас придут. Ты за бригадира, что ли?

— Да.

— Счас придут. Вон они!..

Стали подходить «апостолы». Щиблетов вылез из кабины.

— Друзья!..— Он выразительно постучал ногтем указательного пальца по стеклышку часов и покачал головой.

— Успеем,— успокоили его.

Куликов пришел последним. Он, видно, хорошо опохмелился на дорожку, настроение приподнятое.

— Здорово, орлы! — приветствовал он всех. И отдельно Щиблетову: — Но не те, которые летают, а которые... это самое клюют.

— Залезайте,— несколько даже брезгливо велел Щиблетов.

— Зале-езем, куда мы денемся,— гудел Куликов, не обратив внимания на брезгливость Щиблетова.— Залезем... за милую душу.

— Ко всем обращаюсь! — возвысил голос Щиблетов, глядя в кузов через задний борт.— Чтобы вот такого больше не повторялось!

У «апостолов» вытянулись лица — чего не повторялось?

— Я предупредил вчера: отъезд в семь ноль-ноль. Сейчас... без четверти восемь. Каждое опоздание буду фиксировать. Ясно?

«Апостолы» от изумления потеряли дар речи... Смотрели на Щиблетова. Щиблетов не стал дожидаться, пока

они своими чалдонскими мозгами сообразят, что ответить, скрипуче повернулся, кашлянул в кулак и пошел в кабину.

— Поехали.

Поехали.

— Куликов частенько закладывает? — поинтересовался Щиблетов.

— А ты спроси у него,— невежливо ответил шофер.— Он ответит... Что за манера — справки наводить! Рядом же человек, живой — спрашивай.

Щиблетов промолчал. Смотрел вперед на дорогу, серьезный и озабоченный.

На выезде из села, у чайной, в кабину застучали.

— Чего они? — встревожился Щиблетов.

— Погреться хотят.— Шофер подрулил к чайной.— Это здесь тепло, а в кузове продерет — дорога длинная.

— Не останавливайся! — строго сказал Щиблетов.

Шофер посмотрел на него, засмеялся, ничего не сказал, вылез из кабины, крепко хлопнув дверцей. Из кузова выпрыгивали, весело галдели, направляясь к дверям чайной.

Щиблетов вдруг тоже выскочил из кабины и скорым шагом, обогнав «апостолов», зашел в чайную. Чайная только открылась, в ней было еще прохладно, но в углу с гулом и треском топилась печь, пахло дымком и отогретыми сосновыми поленьями, которые большой кучей лежали перед печкой и парили, и парок тот, плавно загибаясь, уплывал в приоткрытую дверцу.

Буфетчица Галя, молодая аппетитная женщина, улыбчивая, черноглазая, увидев в окно знакомых мужиков и парней, сказала весело:

— Орава идет.

Она удивилась, когда Щиблетов, стремительно подойдя к стойке, приказал:

— Водку не продавать. В крайнем случае — по стакану красного.

Ввалилась орава. Загалдели.

Кто-то вслух прочитал укоряющую надпись на большом щите: «Напился пьяный — сломал деревцо: стыдно людям смотреть в лицо!»

Над надписью — рисунок: безобразный алкаш сломал тоненькую березку и сидит плачет.

— Горюет!.. Жалко.

— Тут голову сломаешь, и то никому не жалко,—

сказал Борька Куликов, отсчитывая на огромной ладони рубль с мелочью — на стакан водки.

С Галей весело здоровались, рылись в карманах.

— Мужики, а водки не велено вам продавать.— Хитрая Галя нарочно сказала это громко, чтоб сразу все слышали.

— Кто? — спросили в несколько голосов.

— А вот... товарищ... Я не знаю, кто он над вами,— не велел продавать.

— Друзья,— обратился ко всем Щиблетов,— разрешаю по стакану красного!.. Традиции перед дорогой не будем нарушать, но обойдемся красненьким.

Борька Куликов как считал на ладони мелочь, так, не поднимая головы, уставился на Щиблетова — никак не мог уразуметь, что он такое говорит.

— Чево, чево?

— Водку пить не разрешаю.

Борька сунул деньги в карман и двинулся на Щиблетова. Так примерно он зарабатывал себе срок. Причем его не интересовало, сколько перед ним человек: один или семеро. Щиблетова подхватил под руку Иван Чернов, из мужиков постарше, и повел из чайной. На крыльце Щиблетов вспомнил, что он тоже, черт возьми, мужчина: отнял руку...

— А в чем дело, вообще-то? Он что, чокнутый на одно ухо?

— Пошли,— сказал Иван, увлекая его к машине.— А то он так чокнет, что получится — на два уха с лишним. Садись в кабину и сиди. И не строй из себя. По сто пятьдесят все выпьют... Я тоже.

— Что, дома, что ли, не могли выпить?

— Дома не могли. Тебе хорошо — один живешь... Сиди, не рыпайся — лучше будет.

Почти всю дорогу потом Щиблетов молчал, смотрел вперед. В кузове Борька Куликов орал:

К нам в гавань заходили корабли;
Уютна и прекрасна наша гавань.
В таверне веселились моряки
И пили за здоровье атамана!

— Валенок сибирский,— зло и насмешливо прошептал Щиблетов.— В таверне!.. Хоть бы знал, что это такое.

А в кузове угрожающе нарастало:

И в воздухе блеснуло два ножа:
— Эх, братцы, он не наш, не с океана!
— Мы, Гари, посчитаемся с тобой! —
Раздался пьяный голос атамана.

— Посчитаешься, посчитаешься,— шептал Щиблетов.

Как приехали на место, поскидали барахло в избушку, затопили печь, Щиблетов объявил:

— Сейчас проведем коротенькое производственное собрание!

Щиблетова приготовились слушать, расселись на нарах — собрание есть собрание, дело такое. Щиблетов положил на стол тетрадь, авторучку (заранее приготовил), покашлял в кулак.

— Я попрошу шофера пока не уезжать — отвезешь протокол... Я думаю, что я его сам составлю. Возражений нет?

— Валяй.

Щиблетов еще покашлял в кулак.

— На повестке дня нашего собрания два вопроса. Буду по порядку. Первый вопрос: наша задача в связи с предстоящей работой по заготовке леса. Вы знаете, товарищи, что лес мы должны повалить, очистить от сучков... В общем, приготовить его к весеннему сплаву. Нам дается сроку — четыре недели, месяц. В связи с этим я предлагаю взять на себя соцобязательство и повалить необходимое количество леса за две с половиной недели...

— Вон как!

— Что эт тебе, бабу повалить?

— Как получится, так получится! Для чего раньше времени трепаться?

Щиблетов помахал рукой, успокаивая мужиков.

— Спокойно, спокойно. Поясню: хоть мы и небольшой коллектив и находимся на приличном расстоянии от основной базы, это все равно остается наш коллектив, со своей дисциплиной, со своей маленькой, но системой планирования. И нам никто не позволит ломать эту систему. Предлагаю голосовать.

Проголосовали. Приняли.

— Перехожу ко второму вопросу,— продолжал Щиблетов, воодушевленный правильным ходом собрания.— Вопрос о Куликове.

В избушке стало тихо.

Сам Куликов задремал было, пригревшись у печки, но тут встряхнулся, тоже уставился на Щиблетова.

— Формулирую: Куликов сразу же, с первых шагов неправильно повел себя в нашем коллективе. Я сам не святой, но существует предел всякому безобразию. Куликов об этом забыл. Мы ему напомним. Есть нормы поведения советских людей, и нам никто не позволит нарушать их.— Щиблетов набирал высоту: речь его текла свободно, он даже расстегнулся и снял «москвичку».— Представьте себе другое положение: мы дрейфуем на льдине. И среди нас завелся один... субъект, который мутит воду. Все горят желанием взять правильный курс, а этот субъект явно тормозит. И подбивает других. Ставлю вопрос честно и открыто: что делать с этим субъектом?

— В воду! — подсказал Славка Братусь.

— В воду! — подхватил Щиблетов.— Для того чтобы всем спастись и взять правильный курс, необходимо вырвать из сердца всякую жалость и столкнуть ненужный элемент в воду.

Потом, вспоминая это собрание, мужики говорили, что они не успели «глазом моргнуть», «опомниться»... Врали, черти. То есть не то чтоб сознательно врали — вводили в заблуждение, а отдавали должное быстроте, с какой Борька Куликов оказался возле Щиблетова и с вопросом: «Это меня — в воду?» — навесил ему три пудовых оплеухи. Щиблетов успел крикнуть: «Дурак, это ораторский прием!» Но остановить Борькины кулаки он не мог. Борьку остановили мужики, да и то когда навалились все.

Щиблетов уехал с шофером обратно в село и больше не приезжал. Приезжал директор совхоза, дал всем разгон, а Куликову сказал, чтобы он «сушил сухари» — дескать, будет суд. Но в субботу лесорубам привозили харчи и передали, что Щиблетов в суд не подал, а подал директору... протокол собрания, где в точности записана речь, за которую он пострадал.

● ВЕРУЮ!

По воскресеньям наваливалась особенная тоска. Какая-то нутряная, едкая... Максим физически чувствовал ее, гадину: как если бы неопрятная, не совсем здоровая баба, бессовестная, с тяжелым

запахом изо рта, обшаривала его всего руками — ласкала и тянулась поцеловать.

— Опять!.. Навалилась.

— О!.. Господи... Пузырь: туда же, куда и люди,— тоска,— издевалась жена Максима, Люда, неласковая, рабочая женщина: она не знала, что такое тоска.— С чего тоска-то?

Максим Яриков смотрел на жену черными, с горячим блеском глазами... Стискивал зубы.

— Давай матерись. Полайся — она, глядишь, пройдет, тоска-то. Ты лаяться-то мастер.

Максим иногда пересиливал себя — не ругался. Хотел, чтоб его поняли.

— Не поймешь ведь.

— Почему же я не пойму? Объясни, пойму.

— Вот у тебя все есть — руки, ноги... и другие органы. Какого размера — это другой вопрос, но все, так сказать, на месте. Заболела нога — ты чувствуешь, захотела есть — налаживаешь обед... Так?

— Ну.

Максим легко снимался с места (он был сорокалетний легкий мужик, злой и порывистый, никак не мог измотать себя на работе, хоть работал много), ходил по горнице, и глаза его свирепо блестели.

— Но у человека есть также — душа! Вот она, здесь,— болит! — Максим показывал на грудь.— Я же не выдумываю! Я элементарно чувствую — болит.

— Больше нигде не болит?

— Слушай! — взвизгивал Максим.— Раз хочешь понять, слушай! Если сама чурбаком уродилась, то постарайся хоть понять, что бывают люди с душой. Я же не прошу у тебя трешку на водку, я же хочу... Дура! — вовсе срывался Максим, потому что вдруг ясно понимал: никогда он не объяснит, что с ним происходит, никогда жена Люда не поймет его. Никогда! Распори он ножом свою грудь, вынь и покажи в ладонях душу, она скажет — требуха. Да и сам он не верил в такую-то — в кусок мяса. Стало быть, все это — пустые слова. Чего и злить себя? — Спроси меня напоследок: кого я ненавижу больше всего на свете? Я отвечу: людей, у которых души нету. Или она поганая. С вами говорить — все равно, что об стенку головой биться.

— Ой, трепло!

— Сгинь с глаз!

— А тогда почему же ты такой злой, если у тебя душа есть?

— А что, по-твоему, душа-то — пряник, что ли? Вот она как раз и не понимает, для чего я ее таскаю, душа-то, и болит. А я злюсь поэтому. Нервничаю.

— Ну и нервничай, черт с тобой! Люди дождутся воскресенья-то да отдыхают культурно... В кино ходют. А этот — нервничает, видите ли. Пузырь.

Максим останавливался у окна, подолгу стоял неподвижно, смотрел на улицу.

Зима. Мороз. Село коптит в стылое ясное небо серым дымом — люди согреваются. Пройдет бабка с ведрами на коромысле, даже за двойными рамами слышно, как скрипит под ее валенками тугой, крепкий снег. Собака залает сдуру и замолкнет — мороз. Люди — по домам, в тепле. Разговаривают, обед налаживают, обсуждают ближних... Есть — выпивают, но и там веселого мало.

Максим, когда тоскует, не философствует, никого мысленно ни о чем не просит, чувствует боль и злобу. И злость эту свою он ни к кому не обращает, не хочется никому по морде дать и не хочется удавиться. Ничего не хочется — вот где сволочь-маета! И пластом, недвижно лежать — тоже не хочется. И водку пить не хочется — не хочется быть посмешищем, противно. Случалось, выпивал... Пьяный начинал вдруг каяться в таких мерзких грехах, от которых и людям и себе потом становилось нехорошо. Один раз спьяну бился в милиции головой об стенку, на которой наклеены были всякие плакаты, ревел — оказывается: он и какой-то еще мужик, они вдвоем изобрели мощный двигатель величиной со спичечную коробку и чертежи передали американцам. Максим сознавал, что это — гнусное предательство, что он — «научный Власов», просил вести его под конвоем в Магадан. Причем он хотел идти туда непременно босиком.

— Зачем же чертежи-то передал? — допытывался старшина.— И кому!!!

Этого Максим не знал, знал только, что это — «хуже Власова». И горько плакал.

В одно такое мучительное воскресенье Максим стоял у окна и смотрел на дорогу. Опять было ясно и морозно, и дымились трубы.

«Ну, и что? — сердито думал Максим.— Так же было сто лет назад. Что нового-то? И всегда так будет. Вон парнишка идет, Ваньки Малофеева сын... А я помню самого Ваньку, когда он вот такой же ходил, и сам я такой был. Потом у этих — свои такие же будут. А у тех — свои... И все? А зачем?»

Совсем тошно стало Максиму... Он вспомнил, что к Илье Лапшину приехал в гости родственник жены, а родственник тот — поп. Самый натуральный поп — с волосьями. У попа что-то такое было с легкими — болел. Приехал лечиться. А лечился он барсучьим салом, барсуков ему добывал Илья. У попа было много денег, они с Ильей часто пили спирт. Поп пил только спирт.

Максим пошел к Лапшиным.

Илюха с попом сидели как раз за столом, попивали спирт и беседовали. Илюха был уже на развезях — клевал носом и бубнил, что в то воскресенье, не в это, а в то воскресенье он принесет сразу двенадцать барсуков.

— Мне столько не надо. Мне надо три хороших — жирных.

— Я принесу двенадцать, а ты уж выбирай сам — каких. Мое дело принести. А ты уж выбирай сам, каких получше. Главное, чтоб ты оздоровел... А я их тебе приволоку двенадцать штук...

Попу было скучно с Илюхой, и он обрадовался, когда пришел Максим.

— Что? — спросил он.

— Душа болит,— сказал Максим.— Я пришел узнать: у верующих душа болит или нет?

— Спирту хочешь?

— Ты только не подумай, что я пришел специально выпить. Я могу, конечно, выпить, но я не для того пришел. Мне интересно знать: болит у тебя когда-нибудь душа или нет?

Поп налил в стаканы спирт, придвинул Максиму один стакан и графин с водой.

— Разбавляй по вкусу.

Поп был крупный шестидесятилетний мужчина, широкий в плечах, с огромными руками. Даже не верилось: что у него — что-то там с легкими. И глаза у попа — ясные, умные. И смотрит он пристально, даже нахально. Такому — не кадилом махать, а от алиментов скрываться. Никакой он не благостный, не постный — не ему бы, не с таким рылом, горести и печали человеческие — жи-



вые, трепетные нити — распутывать. Однако — Максим сразу это почувствовал — с попом очень интересно.

— Душа болит?

— Болит.

— Так.— Поп выпил и промакнул губы крахмальной скатертью, уголочком.— Начнем подъезжать издалека. Слушай внимательно, не перебивай.— Поп откинулся на спинку стула, погладил бороду и с удовольствием заговорил.

— Как только появился род человеческий, так появилось зло. Как появилось зло, так появилось желание бороться с ним, со злом то есть. Появилось добро. Значит, добро появилось только тогда, когда появилось зло. Другими словами, есть зло — есть добро, нет зла — нет добра. Понимаешь меня?

— Ну, ну.

— Не понужай, ибо не запрег еще.— Поп, видно, обожал порассуждать вот так вот — странно, далеко и безответственно.— Что такое Христос? Это воплощенное добро, призванное уничтожить зло на земле. Две тыщи лет он присутствует среди людей как идея — борется со злом.

Илюха заснул за столом.

— Две тыщи лет именем Христа уничтожается на земле зло, но конца этой войне не предвидится. Не кури, пожалуйста. Или отойди вон к отдушине и смоли.

Максим погасил о подошву цигарку и с интересом продолжал слушать.

— Чего с легкими-то? — поинтересовался для вежливости.

— Болят,— кратко и неохотно пояснил поп.

— Барсучатина-то помогает?

— Помогает. Идем дальше, сын мой занюханный...

— Ты что? — удивился Максим.

— Я просил не перебивать меня.

— Я насчет легких спросил...

— Ты спросил: отчего болит душа? Я доходчиво рисую тебе картину мироздания, чтобы душа твоя обрела покой. Внимательно слушай и постигай. Итак, идея Христа возникла из желания победить зло. Иначе — зачем? Представь себе: победило добро. Победил Христос... Но тогда — зачем он нужен? Надобность в нем отпадает. Значит, это не есть нечто вечное, непреходящее, а есть временное средство, как диктатура пролетариата. Я же хочу верить в вечность, в вечную огромную силу и в вечный порядок, который будет.

— В коммунизм, что ли?

— Что коммунизм?

— В коммунизм веришь?

— Мне не положено. Опять перебиваешь!

— Все. Больше не буду. Только ты это... понятней маленько говори. И не торопись.

— Я говорю ясно: хочу верить в вечное добро, в вечную справедливость, в вечную Выс-шую силу, которая все это затеяла на земле. Я хочу познать эту силу и хочу надеяться, что сила эта — победит. Иначе — для чего все? А? Где такая сила? — Поп вопросительно посмотрел на Максима.— Есть она?

Максим пожал плечами.

— Не знаю.

— Я тоже не знаю.

— Вот те раз!..

— Вот те два. Я такой силы не знаю. Возможно, что мне, человеку, не дано и знать ее, и познать, и до конца осмыслить. В таком случае я отказываюсь понимать свое пребывание здесь, на земле. Вот это как раз я и чувствую, и ты со своей больной душой пришел точно по адресу: у меня тоже болит душа. Только ты пришел за готовеньким ответом, а я сам пытаюсь дочерпаться до дна, но это — океан. И стаканами нам его не вычерпать. И когда мы глотаем вот эту гадость...— Поп выпил спирт, промакнул скатертью губы.— Когда мы пьем это, мы черпаем из океана в надежде достичь дна. Но — стаканами, стаканами, сын мой! Круг замкнулся — мы обречены.

— Ты прости меня... Можно я одно замечание сделаю?

— Валяй.

— Ты какой-то... интересный поп. Разве такие попы бывают?

— Я — человек, и ничто человеческое мне не чуждо. Так сказал один знаменитый безбожник, сказал очень верно. Несколько самонадеянно, правда, ибо при жизни никто его за бога и не почитал.

— Значит, если я тебя правильно понял, бога нет?

— Я сказал — нет. Теперь я скажу — да, есть. Налей-ка мне, сын мой, спирту, разбавь стакан на двадцать пять процентов водой и дай мне. И себе тоже налей. Налей, сын мой простодушный, и да увидим дно! — Поп выпил.— Теперь я скажу, что бог — есть. Имя ему — Жизнь. В этого бога я верую. Это — суровый, могучий Бог. Он предлагает добро и зло вместе — это, собственно, и есть рай. Чего мы решили, что добро должно победить зло? Зачем? Мне же интересно, например, понять, что ты пришел ко мне не истину выяснять, а спирт пить. И сидишь тут, напрягаешь глаза — делаешь вид, что тебе интересно слушать...

Максим пошевелился на стуле.

— Не менее интересно понять мне, что все-таки не спирт тебе нужен, а истина. И уж совсем интересно, наконец, установить: что же верно? Душа тебя привела сюда или спирт? Видишь, я работаю башкой, вместо того чтобы просто пожалеть тебя, сиротиночку мелкую. Поэтому, в соответствии с этим моим богом, я говорю: душа болит? Хорошо. Хорошо! Ты хоть зашевелился, ядрена мать! А то бы тебя с печки не стащить с равновесием-то душевным. Живи, сын мой, плачь и приплясывай. Не бойся, что будешь языком сковородки лизать на том свете, потому что ты уже здесь, на этом свете, получишь сполна и рай, и ад.— Поп говорил громко, лицо его пылало, он вспотел.— Ты пришел узнать: во что верить? Ты правильно догадался: у верующих душа не болит. Но во что верить? Верь в Жизнь. Чем все это кончится, не знаю. Куда все устремилось, тоже не знаю. Но мне крайне интересно бежать со всеми вместе, а если удастся, то и обогнать других... Зло? Ну — зло. Если мне кто-нибудь в этом великолепном соревновании сделает бяку в виде подножки, я поднимусь и дам в рыло. Никаких — «подставь правую». Дам в рыло, и баста.

— А если у него кулак здоровей?

— Значит, такая моя доля — за ним бежать.

— А куда бежим-то?

— На Кудыкину гору. Какая тебе разница — куда? Все в одну сторону — добрые и злые.

— Что-то я не чувствую, чтобы я устремлялся куда-нибудь,— сказал Максим.

— Значит, слаб в коленках. Паралитик. Значит, доля такая — скулить на месте.

Максим стиснул зубы... Вьелся горячим злым взглядом в попа.

— За что же мне доля такая несчастная?

— Слаб. Слаб, как... вареный петух. Не вращай глазами.

— Попяра!.. А если я счас, например, тебе дам разок по лбу, то как?

Поп громко, густо — при больных-то легких! — расхохотался.

— Видишь! — показал он свою ручищу.— Надежная: произойдет естественный отбор.

— А я ружье принесу.

— А тебя расстреляют. Ты это знаешь, поэтому ружье не принесешь, ибо ты слаб.

— Ну — ножом пырну. Я могу.

— Получишь пять лет. У меня поболит с месяц и заживет. Ты будешь пять лет тянуть.

— Хорошо, тогда почему же у тебя у самого душа болит?

— Я болен, друг мой. Я пробежал только половину дистанции и захромал. Налей.

Максим налил.

— Ты самолетом летал? — спросил поп.

— Летал. Много раз.

— А я летел вот сюда первый раз. Грандиозно! Когда я садился в него, я думал: если этот летающий барак навернется, значит, так надо. Жалеть и трусить не буду. Прекрасно чувствовал себя всю дорогу! А когда он меня оторвал от земли и понес, я даже погладил по боку — молодец. В самолет верую. Вообще в жизни много справедливого. Вот жалеют: Есенин мало прожил. Ровно — с песню. Будь она, эта песня, длинней, она не была бы такой щемящей. Длинных песен не бывает.

— А у вас в церкви... как заведут...

— У нас не песня, у нас — стон. Нет, Есенин... Здесь прожито как раз с песню. Любишь Есенина?

— Люблю.

— Споем?

— Я не умею.

— Слегка поддерживай, только не мешай.

И поп загудел про клен заледенелый, да так грустно и умно как-то загудел, что и правда — защемило в груди. На словах «ах, и сам я нынче чтой-то стал нестойкий» поп ударил кулаком в столешницу и заплакал и затряс гривой.

— Милый, милый!.. Любил крестьянина!.. Жалел! Милый!.. А я тебя люблю. Справедливо? Справедливо. Поздно? Поздно...

Максим чувствовал, что он тоже начинает любить попа.

— Отец! Отец... Слушай сюда!

— Не хочу! — плакал поп.

— Слушай сюда, колода!

— Не хочу! Ты слаб в коленках...

— Я таких, как ты, обставлю на первом же километре! Слаб в коленках... Тубик.

— Молись! — Поп встал.— Повторяй за мной...
— Пошел ты!..
Поп легко одной рукой поднял за шкирку Максима, поставил рядом с собой.
— Повторяй за мной: верую!
— Верую! — сказал Максим.
— Громче! Торжественно: ве-рую! Вместе: ве-ру-ю-у!
— Ве-ру-ю-у! — заблажили вместе. Дальше поп один привычной скороговоркой зачастил:
— В авиацию, в механизацию сельского хозяйства, в научную революцию-у! В космос и невесомость! Ибо это объективно-о! Вместе! За мной!..
Вместе заорали:
— Ве-ру-ю-у!
— Верую, что скоро все соберутся в большие вонючие города! Верую, что задохнутся там и побегут опять в чисто поле!.. Верую!
— Верую-у!
— В барсучье сало, в бычачий рог, в стоячую оглоблю-у! В плоть и мякость телесную-у!..

...Когда Илюха Лапшин продрал глаза, он увидел: громадина поп мощно кидал по горнице могучее тело свое, бросался с маху вприсядку и орал и нахлопывал себя по бокам и по груди:
— Эх, верую, верую!
Ту-ды, ту-ды, ту-ды — раз!
Верую, верую!
М-па, м-па, м-па — два!
Верую, верую!..
А вокруг попа, подбоченясь, мелко работал Максим Яриков и бабьим голосом громко вторил:
— У-тя, у-тя, у-тя — три!
Верую, верую!
Е-тя, етя — все четыре!
— За мной! — восклицал поп.
— Верую! Верую!
Максим пристраивался в затылок попу, они, приплясывая, молча совершали круг по избе, потом поп опять бросался вприсядку, как в прорубь, распахивал руки... Половицы гнулись.
— Эх, верую, верую!
Ты-на, ты-на, ты-на — пять!

Все оглобельки — на ять!
Верую! Верую!
А где шесть, там и шерсть!
Верую! Верую!

Оба, поп и Максим, плясали с такой с какой-то злостью, с таким остервенением, что не казалось и странным, что они — пляшут. Тут — или плясать, или уж рвать на груди рубаху и плакать, и скрипеть зубами.

Илюха посмотрел-посмотрел на них и пристроился плясать тоже. Но он только время от времени тоненько кричал: «Их-ха! Их-ха!» Он не знал слов.

Рубаха на попе — на спине — взмокла, под рубахой могуче шевелились бугры мышц: он, видно, не знал раньше усталости вовсе, и болезнь не успела еще перекусить тугие его жилы. Их, наверно, не так легко перекусить: раньше он всех барсуков слопает. А надо будет, если ему посоветуют, попросит принести волка пожирнее — он так просто не уйдет.

— За мной! — опять велел поп.

И трое во главе с яростным, раскаленным попом пошли, приплясывая, кругом, кругом. Потом поп, как большой тяжелый зверь, опять прыгнул на середину круга, прогнул половицы... На столе задребезжали тарелки и стаканы.

— Эх, верую! Верую!..

● ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

Некоторые конкретные мысли Н. Н. Князева, человека и гражданина

1. «О ГОСУДАРСТВЕ»

В райгородок «Н» приехали эти, которые по вертикальной стене на мотоциклах ездят. На бывшей базарной площади соорудили большой балаган из щитов и брезента, и пошла там трескотня с паузами; над площадью целыми днями висела синяя дымка и остро пахло бензином. Трескотня начиналась в 11 часов и заканчивалась в 19. По стене гоняли супруги Кайгородовы — так гласила афиша.

Кайгородовы остановились в здешней гостинице.

Как-то вечером к ним в дверь постучали.

Кайгородов, лежа на кровати, читал газету, жена его, рослая, круглолицая спортсменка, гладила платье.

— Да,— сказал Кайгородов. Отложил газету, сел, подобрал дальше под кровать босые ноги.— Войдите!

Вошел невысокий человек лет 45, голубоглазый, в галстуке, усмешливый, чуть нахальный.

— Здравствуйте! — сказал человек весело.— Разрешите познакомиться: Князев. Николай Николаич. Вас я знаю: наблюдал вашу работу.

Кайгородов, крепкий красивый мужик, пожал руку гостя. Тот слегка тоже пожал руку хозяина и поклонился Кайгородовой.

— Садитесь,— пригласил Кайгородов.

— Спасибо.— Князев сел и оглядел жилище спортсменов.— А номерок-то... не очень. А?

Кайгородов пожал плечами.

— Ничего. Временно же...

— Я, собственно, вот чего: хотел пригласить вас к себе домой,— сказал Князев. И вопросительно посмотрел сперва на Кайгородову, потом на Кайгородова.

— Зачем? — спросил прямодушный Кайгородов.

— Да так — в гости. Попьем чайку...— Князев смотрел на хозяев весело и бесцеремонно.— Я здесь близко живу. Иконами интересуетесь?

— Иконами?.. Нет. А что?

— У моей тетки есть редкие иконы. Она, конечно, трясется над ними, но когда приезжают знающие люди — показывает. Кроме того, если ей поднести стаканчик водки — тоже покажет.

— Нет, не интересуемся.

— Ну, просто так пойдемте.

— Да зачем? — все не понимал хозяин.

— В гости, боже мой! — воскликнул Князев.— Что тут такого?

Жена Кайгородова посмотрела на мужа... Тот тоже глянул на нее. Они ничего не понимали.

— Ну? — продолжал Князев.— Чего переглядываться-то? Я же не приглашаю вас на троих сообразить.

— Слушайте,— перебил Кайгородов, человек прямой и несдержанный,— я не понимаю, чего вам надо?

— Тю-тю-тю,— с улыбкой, мирно сказал Князев.— Сразу — обида. Зачем же обижаться-то? Я просто приглашаю вас в гости. Что тут обидного?

— Да я не обижаюсь...— Спортсмен несколько смутился.— Но с другой стороны... я не пойму...

— А я объясняю: пойдемте ко мне в гости,— опять мирно, терпеливо пояснил Князев.— И будет как раз с той стороны, с какой...

— Не пойду,— отчетливо, тоже изо всех сил спокойно сказал Кайгородов. Он опять обозлился. Обозлило вконец это нахальное спокойствие гостя, его какая-то противная веселость.— Вам ясно? Не пойду. Не хочу пить чай.

Князев от души засмеялся.

— Да почему?!

Кайгородов почувствовал себя в дураках. Ноздри его крупного красивого носа запрыгали...

— Гриша,— сказала жена предостерегающе.

Кайгородов встал... Пристально глядя на гостя, нашел под кроватью — ногой — тапочки, надел их и пошел к выходу.

— Пойдемте,— велел он Князеву тихо, но решительно.

— Гриша! — опять сказала жена.

— Все в порядке,— обернулся с порога Кайгородов.— Чего? — И требовательно посмотрел на сидящего Князева. И еще раз сказал: — Пойдемте.

— Куда? — спросил Князев.

— В коридор. Там объясните мне: чего вам надо.

— Да я здесь объясню, зачем в коридор-то? — Похоже, гость струсил, потому что оставил веселость. И говорил теперь, обращаясь больше к хозяйке.— Вы не подумайте, ради бога, что я чего-нибудь тут... преследую, просто мне захотелось поговорить с приезжими людьми. К нам ведь не часто жалуют. Почему вы обиделись-то? — И Князев просто, кротко посмотрел на хозяина.— Я вовсе не хотел вас обидеть. Извините, если уж вам так не по нутру мое приглашение...— Князев встал со стула.— Как умел, так и пригласил.

Кайгородову опять неловко стало за свою несдержанность. Он вернулся от двери, сел на кровать. Хмурился и не глядел на гостя.

— Гриша,— заговорила жена,— ты ведь свободен... Я-то не могу,— сказала она гостю,— мы завтра уезжаем, надо приготовиться...

— Я знаю, что вы завтра уезжаете, поэтому и пришел,— сказал Князев.— Вы уж извините, что так не-

складно вышло... Хотел, как лучше. Вас, наверно, покоробило, что я хихикать стал? — повернулся он к Кайгородову.— Это я от смущения. Все же вы люди... заметные.

— Да ну, чего тут!..— сказал Кайгородов. И посмотрел на жену.— Можно сходить, вообще-то...

— Сходи. А я буду собираться пока.

— Пойдемте! — подхватил Князев.— Посмотрите, как живут провинциалы... Все равно ведь так лежите.

Кайгородов, совсем уже было собравшийся с духом, опять заколебался. Вопросительно посмотрел на Князева. Князев поглядел на него опять весело и с каким-то необъяснимым нахальством. Это изумляло Кайгородова.

— Пойдемте,— решительно сказал он.— И встал.

— Ну вот,— с облегчением, как бы сам себе молвил Князев.— А то — в коридор...

Кайгородову теперь уж даже хотелось поскорей выйти отсюда с Князевым — понять, наконец, что это за человек и чего он хочет. Что тут что-то неспроста, он не сомневался, но ему стало любопытно, и он был достаточно сильный и смелый человек, чтобы надеяться на себя. Зато теперь жена явно обеспокоилась.

— А может быть, лучше...— начала было она, но муж не дал ей договорить:

— Я скоро, Галя.

— Мы быстро,— сказал и Князев.

Всякое смущение у Кайгородова прошло. Он скоренько оделся, и они вышли с Князевым из номера. На прощание Князев слегка опять поклонился Кайгородовой и сказал:

— Спокойной ночи.

На дворе уже стемнело. На улицах городка совсем почти не было освещения, только возле гостиницы, у подъезда, лежал на земле светлый круг, а дальше было темно и тревожно.

— Вон там вон мой дом,— сказал Князев.— Метров триста.

Когда вышли из светлого круга и ступили в темень, Кайгородов остановился прикурить.

— Ну, так в чем дело? — спросил он, когда прикурил. Он не видел лица Князева, но чувствовал его веселый, нахальный взгляд, поэтому говорил прямо и жестко.

— Вас как по батюшке-то? — спросил Князев.

— Что надо, я спрашиваю?

Они стояли друг против друга.

— Господи! — насмешливо сказал Князев.— Да вы что, испугались, что ли?

— Что надо?! — в третий раз спросил Кайгородов строго.— Я знаешь, всяких этих штук не люблю...

— Тьфу! — горько и по правде изумился Князев.— Да вы что?! Ну, спортсмены... На чай приглашаю, в гости! Вот мой дом — рукой подать. У меня жена дома, дети, двое... Тетка в боковой комнате. Ну, дают спортсмены. Вы что?

— А что это за манера такая... странная? — сказал Кайгородов.— Хаханьки какие-то...

— Манера-то? — Князев хмыкнул.— Заметил!..— И он двинулся в темноту. Кайгородов пошел следом.— Манера, которая вырабатывается от постоянного общения с человеческой глупостью и тупостью. Вот побьешься-побьешься об нее лбом — и начнешь хихикать.— Князев говорил серьезно, негромко, с грустью.— Сперва, знаете, кричать хочется, ругаться, а потом уж — смешно.

Кайгородов не знал, что говорить. Да и говорить сейчас было бы крайне неудобно: он продвигался наугад, несколько раз натыкался на Князева. Тот протягивал назад руку и говорил:

— Осторожно.

— Темно, как...

— Про Спинозу что-нибудь слышали? — спросил Князев.

— Слышал... Мыслитель такой был?

— Мыслитель, совершенно верно. Философ. Приехал он однажды в один городок, остановился у каких-то людей... Целыми днями сидит, что-то пишет. А ведь простые люди, они как? — сразу насмех: глядите, мол, ничего человек не делает, только пишет. Что остается делать Спинозе?

— Вы спрашиваете, что ли?

— Спрашиваю. Что делать мыслителю?

— Что делать?.. Что он и делал — писать.

Князев помолчал... Потом сказал грустно:

— Это — легко сказать... спустя триста лет. А он был живой человек, его всякие эти... штуки, как вы говорите, тоже из себя выводили. Вот и мой дом,— сказал Князев.— Я хочу только предупредить...— Князев остановился перед воротцами.— Жена у меня... как бы это поточнее — не сильно приветливая. Вы все поймете. Глав-

ное, не обращайте внимания, если она будет чего-нибудь... недовольство проявлять, например.

Кайгородов очень жалел, что пошел черт знает куда и с кем.

— Может, не ходить, если она недовольство проявляет?

Князев — слышно было — тихо заругался матом.

— А что делал Спиноза? Вы же сами сказали! Смелей, спортсмен. Пусть нас осудят потом — если исторически окажутся умней нас.— Князев — чувствовалось — намеренно вызывал в себе некую непреклонность, которую он ослабил на время общения с незнакомыми людьми.— Не бойтесь.

— Да ничего я не боюсь! — раздраженно сказал Кайгородов.— Но поперся с вами зря, это уж точно.

— Как сказать, как сказать,— молвил Князев, открывая сеничную дверь.— Тут осторожней — головой можно удариться.

В большой светлой комнате, куда вошли, бросалось в глаза много телевизоров. Они стояли везде: на столе, на стульях... Потом Кайгородов увидел сухощавую женщину в кути у печки, она чистила картошку. Кайгородова поразили ее глаза: враждебно-вопросительные, умные, но сердитые.

— Здравствуйте,— сказал Кайгородов, наткнувшись на сердитый взгляд женщины.

— Это товарищ из госцирка,— пояснил Князев.— Приготовь нам чайку. А мы пока побеседуем... Проходите сюда, товарищ Кайгородов.

Они прошли в горницу — тоже большая комната, очень много книг, большой письменный стол и тоже полно телевизоров.

— Почему столько телевизоров-то? — спросил Кайгородов.

— Ремонтирую,— сказал Князев, сразу подсаживаясь к столу и извлекая из ящика какие-то бумаги.— Спиноза стекла шлифовал, а я вот... паяю, тем самым зарабатываю на хлеб насущный. А мастерская у нас маленькая, поэтому приходится домой брать.— Он достал бумаги — несколько общих тетрадей, посмотрел на них. Он не улыбался, он был озабочен, как-то привычно озабочен, покорно.— Садитесь, пожалуйста. Чаю, возможно, не будет... Может, и будет, если совесть проснется. Но дело не в этом. Садитесь, я не люблю, когда стоят.—

Князев говорил так, как если бы говорил и делал это же самое много раз уже — торопился, не интересовался, как воспримут его слова. Весь он был поглощен тетрадями, которые держал в руках.— Здесь,— продолжал он и качнул тетради,— труд многих лет. Я вас очень прошу...— Князев посмотрел на Кайгородова, и глаза его... в глазах его стояла серьезная мольба и тревога.— Это размышления о государстве.

— О государстве? — невольно переспросил Кайгородов.

Князев пропустил мимо ушей его удивление.

— Мне нужно полтора часа вашего времени...— Тут Князев уловил чутким слухом нечто такое, что встревожило и рассердило его. Он вскочил с места и скорым шагом, почти бегом, устремился к двери. Открыл ее одной рукой и сказал громко: — Я прошу! Я очень пр-рошу!.. Не надо нам твоего чая, только не грохай, пожалуйста, и не психуй!

Из той комнаты ему что-то негромко ответили, на что Князев еще раз четко, раздельно, с некоторым отчаянием, но и зло сказал:

— Я очень тебя прошу! О-чень! — И захлопнул дверь. Вернулся к столу, взял опять тетради в обе руки и, недовольный, сказал:

— Психуем.

Кайгородов во все глаза смотрел на необычного человека.

Князев положил тетради на стол, а одну взял, раскрыл на коленях... Погладил рукой исписанные страницы. Рука его чуть дрожала.

— Государство,— начал он, но еще не читать начал, а так пока говорил, готовясь читать,— это очень сложный организм; чтобы извлечь из него пользу, надо... он требует осмысления в целом. Не в такой, конечно, обстановке...— Он показал глазами на дверь.— Но... тут уж ничего не сделаешь. Тут моя ошибка: не надо было жениться. Пожалел дуру... А себя не пожалел. Но это все — так, прелюдия. Вот тут и есть, собственно, осмысление государства.— Князев погладил опять страницы, кашлянул и стал читать:

— Глава первая: схема построения целесообразного государства. Государство — это многоэтажное здание, все этажи которого прозваниваются и сообщаются лестницей. Причем, этажи постепенно сужаются, пока не ос-

танется наверху одна комната, где и помещается пульт управления. Смысл такого государства состоит в следующем... Мобилизуйте вашу фантазию и пойдем нанизывать явления, которые нельзя пощупать руками.— Князев поднял глаза от тетради, посмотрел на Кайгородова, счел нужным добавить еще: — Русский человек любит все потрогать руками — тогда он поймет, что к чему. Мыслить категориями он еще не привык. Вам смысл ясен, о чем я читаю?

Кайгородов засмотрелся в глаза Князева, не сразу ответил.

— Вам ясно?

— Ясно,— сказал Кайгородов.

— Представим себе,— продолжал читать Князев,— это огромное здание в разрезе. А население этажей — в виде фигур, поддерживающих этажи. Таким образом, все здание держится на фигурах. Для нарушения общей картины представим себе, что некоторые фигуры на каком-то этаже — «х» — уклонились от своих обязанностей, перестали поддерживать перекрытие: перекрытие прогнулось. Или же остальные фигуры, которые честно держат свой этаж, получат дополнительную нагрузку; закон справедливости нарушен. Нарушен также закон равновесия — на пульт управления летит сигнал тревоги. С пульта управления запрос: где провисло? Немедленно прозваниваются все этажи... Люди доброй воли плюс современная техника — установлено: провисло на этаже «у». С пульта управления...

— Вы это серьезно все? — спросил Кайгородов.

— То есть? — не понял Князев.

— Вы серьезно этим занимаетесь?

Князев захлопнул тетрадь, положил ее на стопку других... Чуть подумал и спрятал все тетради в ящик стола. Встал и бесцветным, тусклым голосом сказал:

— До свиданья.

Кайгородову стало вдруг жалко Князева, он почувствовал всю его беззащитность, беспомощность в этом железном мире.

— Слушай,— сказал он добро и участливо,— ну что ты дурака-то валяешь? Неужели тебе никто не говорил...

— Я понимаю, понимаю,— негромко перебил его Князев,— двигатель мотоцикла — это конкретно, предметно... Я понимаю. Центробежную силу тоже, в конце

концов, можно... представить. Так ведь? Здесь — другое.— Князев, не оборачиваясь, тронул ящик стола. Смотрел на Кайгородова грустно и насмешливо.— До свиданья.

Кайгородов качнул головой, встал.

— Ну и ну,— сказал он. И пошел к выходу.

— Там не ударьтесь в сенях,— напомнил Князев. И голос его был такой обиженный, такая в нем чувствовалась боль и грусть, что Кайгородов невольно остановился.

— Пойдем ко мне? — предложил он.— У нас там буфет до двенадцати работает... Выпьем по маленькой.

Князев удивился, но грусть его не покинула, и из нее-то, из грусти, он еще хотел улыбнуться.

— Спасибо.

— А что? Пойдем! Что одному-то сидеть? Развеемся маленько.— Кайгородов сам не знал, что способен на такую жалость, он прямо растрогался. Шагнул к Князеву...— Брось ты обижаться — пойдем! А?

Князев внимательно посмотрел на него. Видно, он не часто встречал такое к себе участие. У него даже недоверие мелькнуло в глазах. И Кайгородов уловил это недоверие.

— Как тебя зовут-то? Ты не сказал...

— Николай Николаевич.

— Николай... Меня — Григорий. Микола, пойдем ко мне. Брось ты свое государство! Там без нас разберутся...

— Вот так мы и рассуждаем все. Но вы же даже не дослушали, в чем там дело у меня. Как же так можно? — У Князева родилась слабая надежда, что его хоть раз в жизни дослушают до конца, поймут.— Вы послушайте... хотя бы главы две. А?

Кайгородов помолчал, глядя на Князева... Почувствовал, что жалость его к этому человеку стала слабеть.

— Да нет, чего же?.. Зря ты все это, честное слово. Послушай доброго совета: не смеши людей. У тебя образование-то какое?

— Какое есть, все мое.

— Ну, до свиданья.

— До свиданья.

«Подосвиданькались» довольно жестко. Кайгородов ушел. А Князев сел к столу и задумался, глядя в стену. Долго сидел так, барабанил пальцами по столу... Раз-

вернулся на стуле к столу, достал из ящика тетради, раскрыл одну, недописанную, склонился и стал писать.

В дверь заглянула жена. Увидела, что муж опять пишет, сказала с тихой застарелой злостью:

— Ужинать.

— Я работаю,— тоже со злостью, привычной, постоянной, негромко ответил Николай Николаевич, не отрываясь от писания.— Закрой дверь.

2. «О СМЫСЛЕ ЖИЗНИ»

Летом, в июле, Князев получил отпуск и поехал с семьей отдыхать в деревню. В деревне жили его тесть и теща, молчаливые, жадные люди; Князев не любил их, но больше деваться некуда, поэтому он ездил к ним. Но всякий раз предупреждал жену, что в деревне он тоже будет работать — будет писать. Жене его, Алевтине, очень хотелось летом в деревню, она не ругалась и не ехидничала.

— Пиши... Хоть запишись вовсе.

— Вот так. Чтобы потом не было: «Опять за свое!» Чтобы этого не было.

— Пиши, пиши,— говорила Алевтина грустно. Она больно переживала эту неистребимую, несгораемую страсть мужа — писать, писать и писать, чтобы навести порядок в государстве, ненавидела его за это, стыдилась, умоляла — брось! Ничто не помогало. Николай Николаевич сох над тетрадями, всюду с ними совался, ему говорили, что это глупость, бред, пытались отговорить... Много раз хотели отговорить, но все без толку.

У Князева в деревне были знакомые люди, и он, как приехали, пошел их навестить. И в первом же семействе встретил человека, какого и хотела постоянно встретить его неуемная душа. Приехал в то семейство — тоже отдохнуть — некто Сильченко, тоже зять, тоже горожанин и тоже несколько ушибленный общими вопросами. И они сразу сцепились.

Это произошло так.

Князев в хорошем, мирном расположении духа прошелся по деревне, понаблюдал, как возвращаются с работы домой «колхозники-совхозники» (он так называл сельских людей), поздоровался с двумя-тремя... Все спе-

шили, поэтому никто с ним не остановился, только один попросил прийти глянуть телевизор.

— Включишь — снег какой-то идет...

— Ладно, потом как-нибудь,— пообещал Князев.

И вот пришел он в то семейство, где был Сильченко. Он там знал старика, с которым они говорили. То есть говорил обычно Князев, а старик слушал, он умел слушать, даже любил слушать. Слушал, кивал головой, иногда только удивлялся:

— Ишь ты!..— негромко говорил он.— Это сурьезно.

Старик как раз был в ограде, и тот самый Сильченко тоже был в ограде, налаживали удочки.

— А-а! — весело сказал старик.— Поудить нету желания? А то мы вот налаживаемся с Юрьем Викторовичем:

— Не люблю,— сказал Князев.— Но посижу с вами на бережку.

— Рыбалку не любите? — спросил Сильченко, худощавый мужчина таких же примерно лет, что и Князев,— около сорока.— Чего так?

— Трата времени.

Сильченко посмотрел на Князева, отметил его нездешний облик — галстук, запонки с желтыми кружочками... Сказал снисходительно:

— Отдых есть отдых, не все ли равно, как тратить время.

— Существует активный отдых,— отбил Князев эту нелепую попытку учить его,— и пассивный. Активный предполагает вместе с отдыхом какое-нибудь целесообразное мероприятие.

— От этих мероприятий и так голова кругом идет,— посмеялся Сильченко.

— Я говорю не об «этих мероприятиях», а о целесообразных,— подчеркнул Князев. И посмотрел на Сильченко твердо и спокойно.— Улавливаете разницу?

Сильченко тоже не понравилось, что с ним поучительно разговаривают... Он тоже был человек с мыслями.

— Нет, не улавливаю, объяснитесь, сделайте милость.

— Вы кто по профессии?

— Какое это имеет значение?

— Ну все же...

— Художник-гример.

Тут Князев вовсе осмелел: синие глаза его загорелись

веселым насмешливым огнем, он стал нахально-снисходителен.

— Вы в курсе дела, как насыпаются могильные курганы? — спросил он. Чувствовалось удовольствие, с каким он подступает к изложению своих мыслей.

Сильченко никак не ждал этих курганов, он недоумевал.

— При чем здесь курганы?

— Вы видели когда-нибудь, как их насыпают?

— А вы видели?

— Ну, в кино-то видели же!

— Ну... допустим.

— Представление имеете. Я хочу, чтобы вы вызвали умственным взглядом эту картину: как насыпают курган. Идут люди, один за одним, каждый берет горсть земли и бросает. Сперва засыпается яма, потом начинает расти холм... Представили?

— Допустим.

Князев все больше воодушевлялся — это были дорогие минуты в его жизни; есть перед глазами слушатель, который хоть ерепенится, но внимает.

— Обрати тогда внимание вот на что: на несоответствие величины холма и горстки земли. Что же случилось? Ведь вот — горсть земли,— Князев показал ладонь, сложенную горстью,— а с другой стороны — холм. Что же случилось? Чудо? Никаких чудес: накопление количества. Так создавались государства — от Урарту до современных суперо́в. Что может сделать слабая человеческая рука?..— Князев огляделся, ему на глаза попалась удочка, он взял ее из рук старика и показал обоим.— Удочка. Вот тоже произведение рук человеческих — удочка. Верно? — Он вернул удочку старику.— Это — когда один человек. Но когда они беспрерывно идут друг за другом и бросают по горстке земли — образуется холм. Удочка — и холм.— Князев победно смотрел на Сильченко и на старика тоже, но больше на Сильченко.— Улавливаете?

— Не улавливаю,— сказал Сильченко вызывающе. Его эта победность Князева раздражала.— При чем здесь одно и при чем другое? Мы заговорили, как провести свободное время... Я высказал мысль, что чем бы ты ни занимался, но если тебе это нравится, значит, ты отдохнул хорошо.

— Бред, галиматья,— сурово и весело сказал Кня-

зев.— Рассуждение на уровне каменного века. Как только вы начинаете так рассуждать, вы тем самым автоматически выходите из той беспрерывной цепи человечества, которая идет и накопляет количество. Я же вам дал очень наглядный пример: как насыпается холм! — Князев хоть был возбужден, но был и терпелив.— Вот представьте себе: все прошли и бросили по горстке земли... А вы — не бросили! Тогда я вас спрашиваю: в чем смысл вашей жизни?

— Чепуха какая-то. Вот уж, действительно, галиматья-то. Какой холм? Я вам говорю: вот я приехал отдохнуть... На природу. Мне нравится рыбачить... вот я и буду рыбачить. В чем дело?

— И я тоже приехал отдохнуть.

— Ну?..

— Что?

— Ну и что, холм, что ли, будете насыпать здесь?

Князев посмеялся снисходительно, но уже и не очень терпеливо, зло.

— То нам непонятно, когда мыслят категориями, то не устраивает... Такой уж наглядный пример! — Самому Князеву этот пример с холмом, как видно, очень нравился, он наскочил на него случайно и радовался ему, его простоте и разительной наглядности.— В чем смысл нашей жизни вообще? — спросил он прямо.

— Это — кому как,— уклонился Сильченко.

— Нет, нет, вы ответьте: в чем всеобщий смысл жизни? — Князев подождал ответа, но нетерпение уже целиком овладело им.— Во всеобщей государственности. Процветает государство — процветаем и мы. Так? Так или не так?

Сильченко пожал плечами... Но согласился — пока, в ожидании, куда затем стрельнет мысль Князева.

— Ну, так...

— Так. Образно говоря опять же, мы все несем на своих плечах известный груз... Вот представьте себе,— еще больше заволновался Князев от нового наглядного примера,— мы втроем — я, вы, дедушка — несем бревно. Несем — нам его нужно пронести сто метров. Мы пронесли пятьдесят метров, вдруг вы бросаете нести и отходите в сторону. И говорите: «У меня отпуск, я отдыхаю».

— Так что же, отпусков не нужно, что ли? — заволновался и Сильченко.— Это же тоже бред сивой кобылы.

— В данном конкретном случае отпуск возможен,

когда мы это бревешко пронесем положенных сто метров и сбросим — тогда отдыхайте.

— Не понимаю, чего вы хотите сказать,— сердито заговорил Сильченко.— То холм, то бревно какое-то... Вы приехали отдыхать?

— Приехал отдыхать.

— Что же, значит, бросил бревно по дороге? Или как... по-вашему-то?

Князев некоторое время смотрел на Сильченко проникновенно и строго.

— Вы что, нарочно, что ли, не понимаете?

— Да я серьезно не понимаю! Глупость какая-то, бред!.. Бестолочь какая-то! — Сильченко чего-то нервничал и потому говорил много лишнего.— Ну полная же бестолочь!.. Ну, честное слово, ничего же понять нельзя. Ты понимаешь что-нибудь, дед?

Старик с интересом слушал эту умную перепалку. С вопросом его застали врасплох.

— А? — встрепенулся он.

— Ты понимаешь хоть что-нибудь, что этот... товарищ молотит здесь?

— Я слушаю,— сказал дед неопределенно.

— А я ничего не понимаю. Ни-чего не понимаю!

— Да вы спокойней, спокойней,— снисходительно и недобро посоветовал Князев.— Успокойтесь. Зачем же нервничать-то?

— А зачем тут чепуху-то пороть?!

— Да ведь вы даже не вошли в суть дела, а уже — чепуха. Да почему же... Когда же мы научимся рассуждать-то логически!

— Да вы сами-то...

— Раз не понял — значит, чепуха, бред. Ве-ли-колепная логика! Сколько же мы так отмахиваться-то будем!

— Хорошо,— взял себя в руки Сильченко. И даже присел на дедов верстак.— Ну-ка, ясно, просто, точно — что вы хотите сказать? Нормальным русским языком. Так?

— Вы где живете? — спросил Князев.

— В Томске.

— Нет, шире... В целом.— Князев широко показал руками.

— Не понимаю. Ну, не понимаю! — стал опять нервничать Сильченко.— В каком «целом»? В чем это? Где?

— В государстве живете,— продолжал Князев.—

В чем лежат ваши главные интересы? С чем они совпадают?

— Не знаю.

— С государственными интересами. Ваши интересы совпадают с государственными интересами. Сейчас я понятно говорю?

— Ну, ну, ну?

— В чем же тогда ваш смысл жизни?

— Ну, ну, ну?

— Да не «ну», а уже нужна черта: в чем смысл жизни каждого гражданина?

— Ну, в чем?.. Чтобы работать, быть честным,— стал перечислять Сильченко,— защищать Родину, когда потребуется...

Князев согласно кивал головой. Но ждал чего-то еще, а чего, Сильченко никак не мог опять уловить.

— Это все правильно,— сказал Князев.— Но это все — ответвления. В чем главный смысл? Где главный, так сказать, ствол?

— В чем?

— Я вас спрашиваю.

— А я не знаю. Ну, не знаю, что хошь делай! Ты просто дурак! Долбо...— И Сильченко матерно выругался. И вскочил с верстака.— Чего тебе от меня надо?! — закричал он.— Чего?! Ты можешь прямо сказать? Или я тебя попру отсюда поленом!.. Дурак ты! Дубина!..

Князеву уже приходилось попадать на таких вот нервных. Он не испугался самого этого психопата, но испугался, что сейчас сбегутся люди, будут таращить глаза, будет... Тьфу!

— Тихо, тихо, тихо,— сказал он, отступая назад. И грустно, и безнадежно смотрел на неврастеника гримера.— Зачем же так? Зачем кричать-то?

— Чего вам от меня надо?! — все кричал Сильченко.— Чего?!

Из дома на крыльцо вышли люди...

Князев повернулся и пошел вон из ограды.

Сильченко еще что-то кричал вслед ему.

Князев не оглядывался, шел скорым шагом, и в глазах его была грусть и боль.

— Хамло,— сказал он негромко.— Ну и хамло же... Разинул пасть.— Помолчал и еще проговорил горько: — Мы не поймем — нам не треба. Мы лучше орать будем. Вот же хамло!

На другой день, поутру, к Нехорошевым (тесть Князева) пришел здешний председатель сельсовета. Старики Нехорошевы и Князев с женой завтракали.

— Приятного аппетита,— сказал председатель. И посмотрел внимательно на Князева.— С приездом вас.

— Спасибо,— ответил Князев. У него сжалось сердце от дурного предчувствия.— С нами... не желаете?

— Нет, я позавтракал.— Председатель присел на лавку. И опять посмотрел на Князева.

Князев окончательно понял: это по его душу. Вылез из-за стола и пошел на улицу. Через минуту-две за ним вышел и председатель.

— Слушаю,— сказал Князев. И усмехнулся тоскливо.

— Что там у вас случилось-то? — спросил председатель. Один раз (в прошлом году, летом тоже) председатель уже разбирал нечто подобное. Тогда на Князева тоже пожаловались, что он «пропагандирует».— Опять мне чего-то там рассказывают...

— А что рассказывать-то?! — воскликнул Князев.— Боже мой! Что там рассказывать-то! Хотел внушить товарищу... более ясное представление...

— Товарищ Князев,— сухо, казенным голосом заговорил председатель,— мне это неловко делать, но я должен...

— Да что должен-то? Что я?.. Не понимаю, ей-богу: что я сделал? Хотел просто объяснить ему... а он заорал, как дурной. Я не знаю... Он нормальный, этот Сильченко?

— Товарищ Князев...

— Ну, хорошо, хорошо. Хорошо! — Князев нервно сплюнул.— Больше не буду. Черт с ними, как хотят, так и пусть живут. Но, боже ж мой!..— опять изумился он.— Что я такого ему сказал?! Наводил на мысль, чтобы он отчетливее понимал свои задачи в жизни!.. Что тут такого?

— Человек отдыхать приехал... Зачем его тревожить. Не надо. Не надо, товарищ Князев, прошу вас.

— Хорошо, хорошо. Пусть, как хотят... Ведь он же гример!

— Ну?

— Я хотел его подвести к мысли, чтобы он выступил в клубе, рассказал про свою работу...

— Зачем?

— Да интересно же! Я бы сам с удовольствием по-

слушал. Он же, наверно, артистов гримирует... Про артистов бы рассказал.

— А при чем тут... жизненные задачи?

— Он бы сделал полезное дело! Я с того и начал вчера: идет вереница людей, каждый берет горсть земли и бросает — образуется холм. Холм тире целесообразное государство. Если допустить, что смысл жизни каждого гражданина в том, чтобы, образно говоря...

— Товарищ Князев,— перебил председатель,— мне сейчас некогда: у меня в девять совещание... Я как-нибудь вас с удовольствием послушаю. Но еще раз хочу попросить...

— Хорошо, хорошо,— торопливо, грустно сказал Князев.— Идите на совещание. До свиданья. Я не нуждаюсь в вашем слушанье.

Председатель удивился, но ничего не сказал, пошел на совещание.

Князев глядел вслед ему... И проговорил негромко, как он имел привычку говорить про себя:

— Он с удовольствием послушает! Обрадовал... Иди заседай! Штаны протрете на ваших заседаниях, заседатели. Одолжение он сделает — послушает...

3. «О ПРОБЛЕМЕ СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ»

Как-то Николай Николаевич Князев был в областном центре по делам своей телевизионной мастерской. И случился у него там свободный день — с утра и до позднего вечера, до поезда. Князев подумал-подумал — куда бы пойти? И пошел в зоопарк. Ему давно хотелось посмотреть удава.

Удава в зоопарке не было. Князев походил по звериному городку, постоял около льва... Потом услышал звонкие детские голоса и пошел в ту сторону. На большой площадке, огороженной проволочной сеткой, катались на пони. А около сетки толпилось много людей. Катались в основном детишки. Визг, восторги!.. Князев тоже остановился и стал смотреть. Ничего особенного, а смотреть, правда, интересно. Перед Князевым стояла какая-то шляпа и тоже выказывала большой интерес к езде на пони.

— Во, во, что делают! — говорил негромко мужчина в шляпе.— Радости-то, радости-то!

Князева подмывало сказать, что это-то и хорошо, и славно — и радость людям, и государству польза: взрослый билет — 20 копеек, детский — 10 копеек. Это как раз пример того, как можно разумно организовать отдых. Кому, скажите, жалко истратить 30 копеек на себя и на ребенка! А радости, действительно, сколько! Князеву даже жалко стало, что с ним нет его ребятишек.

— Да ведь... это — прощаются! — все говорил мужчина в шляпе. Он ни к кому не обращался, себе говорил.— Как, скажи, в кругосветное путешествие уезжают!

— Психологически — это для них кругосветное путешествие,— сказал Князев.

Мужчина в шляпе оглянулся... И Князева обдало сивушным духом. Мужчина молодой и очень приветливый.

— Да? Радости-то сколько!

— Да, да,— неохотно сказал Князев. И отошел от шляпы. Он физически не переносил пьяных, его тошнило.

Он еще немного посмотрел, как бегают запряженные пони, как радуются дети... Потом посмотрел птиц, потом обезьянок... Один дурак-обезьян (мужского пола) начал ни с того, ни с сего делать нечто непотребное. Женщины застыдились и не знали, куда смотреть, а мужчины смеялись и смотрели на обезьяна. Князев похихикал тоже, украдкой поглядел на женщин и пошел из зоопарка — надоело.

Возле зоопарка, на углу, было кафе, и Князев зашел перекусить.

Он взял кофе с молоком, булочку и ел, стоя возле высокого мраморного столика. Думал о людях и обезьянах: в том смысле, что — неужели люди произошли от обезьян?

— Тут свободно? — спросили Князева.

Князев поднял голову — стоит с подносом тот самый молодой человек, который давеча так живо интересовался детской ездой на пони.

— Свободно,— сказал Князев. Ничего больше не оставалось — столик, и правда, свободный.

Молодой человек расставил на столике стаканы с кофе, тарелочки с блинчиками, тарелочку с хлебом, тарелочку с холодцом... Отнес поднос, вернулся и стал значительно и приветливо смотреть на Князева.

— Примешь?..— спросил он.— Полстакашка.

Князев энергично закрутил головой.

— Нет, нет.

— Чего? — удивился молодой человек, доставая из внутреннего кармана нового пиджака бутылку, при этом облокотился на столик, набулькал в стакан, заткнул бутылку и опустил ее опять в карман.— Не пьешь?

— Не пью,— недружелюбно ответил Князев.

Молодой человек осадил стакан, шумно выдохнул и принялся закусывать.

— Вот и решена проблема свободного времени,— не без иронии сказал Князев, имея в виду бутылку.

— М-м? — не понял молодой человек.

— Все, оказывается, просто?

— Чего просто?

— Ну, с проблемой свободного времени-то.

Молодой человек жевал, но внимательно слушал Князева.

— Какого свободного времени?

— Ну, шумят, спорят... А тут,— Князев показал глазами на оттопыренную полу пиджака,— полная ясность.

Молодой человек был приветлив и на редкость терпелив. Он не понимал, о чем говорит Князев, но нетерпения или раздражения какого-нибудь не выказал. Он с удовольствием ел и смотрел на Князева. Больше того, ему было приятно, что с ним говорят, и он напрягался, чтобы понять, о чем говорят,— хотелось тоже поддержать разговор.

— Кто спорит? — терпеливо и вежливо спросил он.

Князев жалел уже, что заговорил.

— Ну, спорят: как проводить свободное время. А вам вот... все совершенно ясно.

Молодой человек и теперь не понял, но согласно кивнул головой. И сказал:

— Да, да.

— Зверей смотрели? — спросил Князев.

— А шел мимо — зайти, что ли, думаю? Пацаном был, помню... А ведь... это — дорого их держать-то? Это ж сколько он сожрет за сутки!

— Кто?

— Слон хотя бы.

Князев пожал плечами:

— Черт его знает!

— Но, если б не было выгоды, их не держали бы,— тут же и заметил молодой человек.— Выгода, конечно, есть. Верно же?

Князев обиделся за государство: намекнули, что госу-

дарство только и делает, что преследует голую выгоду.

— Верно... Но вы пропустили познавательный процесс. Не все же идут от нечего делать: идут познать что-либо для себя.

— Ну-у уж!..— неопределенно сказал молодой человек. Прожевал, проглотил и закончил: — Чего тут познавать-то? Слона, что ли? Дерьма-то.— Он огляделся, опять облокотился на стол и занялся бутылкой.

Князева обозлила спокойная уверенность, налаженность, с какой этот молодой дурак проделывал свою подлую операцию: булькал из бутылки в стакан.

— Сейчас пойду и заявлю,— сказал Князев.

Молодой человек так изумился, что даже рот приоткрыл. Он изумился, но и готов был улыбнуться — так это не походило на правду, это заявление Князева.

— Что? — спросил Князев.— Удивительно? А надо бы.

Молодой человек уловил серьезную злость в голосе Князева и поверил, что, наверно, правда: человек готов на него донести. Он сам тоже обозлился... Но не знал пока, как поступить. Он долго и внимательно смотрел на Князева.

— Что? — опять спросил Князев.

— Ничего,— значительно сказал молодой человек. Красивое смуглое лицо его уже не было ни приветливым, ни добродушным.

Князев поскорей доел булочку, пошел из кафе. Молодой человек проводил его взглядом до самого выхода.

— Скоты,— вслух сказал Князев, выйдя из кафе.— В зоопарк, видите ли, поперся! Сиди уж у бочки где-нибудь... нагружайся.

Князев хотел перейти улицу, но машинам загорелся зеленый свет; Князев стоял на краю тротуара и тихо негодовал на пьянчуг. Потом машинам дали передохнуть, Князев вместе со всеми перешел улицу и пошел себе не спеша по той стороне улицы — просто так, от нечего делать: до поезда было еще долго. Он постепенно забыл про пьянчуг, наладился было думать про город в целом, как его кто-то тронул сзади за плечо... Князев остановился и оглянулся: стоит перед ним опять этот, в шляпе... Смотрит.

— Что такое?! — резко сказал Князев. Он испугался.

— Хотел спросить...— мирно заговорил молодой человек.— Я давеча не понял: ты правда, что ли?

— Что «правда»?

— Заложить-то хотел.

Князев несколько помолчал...

— Ничего я не хотел... Но внушить кое-что надо бы! — вдруг осмелел он. И посмотрел прямо в глаза выпивохе. Тот, кстати, не так уж и пьян-то был, только глаза блестели и — разило.

— Ну-ка? — согласился молодой человек.

Князев оглянулся... Стояли они недалеко от скверика, где были скамейки. Он направился туда, молодой человек — за ним.

Сели на скамейку.

— Видите ли, в чем дело,— заговорил Князев серьезно,— я ничего в принципе не имею против того, что люди выпивают. Но существует разумная организация людей, в целом эта организация называется — государство. И вот представьте себе, что все в государстве начнут выпивать?..

— Я же не на работе,— возразил молодой человек тоже серьезно.— Я — в свой выходной.

— Во-от! — поймал его Князев на слове. Он все больше увлекался.— Вот об этом и стоит поговорить. Выходной день... Что это такое? Допустим, мы возводим с вами некоторую... Допустим, что мы монтируем какую-то стальную конструкцию...

— Я электрик.

— Прекрасно! Представьте, мы ведем где-то очень сложную сеть. Выходной день — мы напились. Протрезвились, отработали неделю — опять напились...

— Что я, алкаш, что ли?

— Я хочу сказать: нам государство представляет выходной день... даже два теперь — для чего?

Молодой человек молчал. Смотрел на Князева.

— Для того,— продолжал Князев,— чтобы мы, во-первых, отдохнули, во-вторых, не отстали в своем развитии. Вот вы: получили выходной день и не знаете, что с ним делать. Шел мимо зоопарка: «Зайти, что ли?» Ну, а если бы мимо... не знаю, мимо аптеки шел: «Зайти, что ли, касторки взять?» Так, что ли?

Молодой человек стиснул зубы и продолжал смотреть на Князева. Князев не заметил, что он стиснул зубы. Ему смешно стало от этой «касторки». Он посмеялся и уже добродушнее продолжал:

— Нельзя же... таким деревом-то плыть по реке: куда

прибьет, туда и ладно. Человек получает свободное время, чтобы познать что-нибудь полезное для себя. Нужное. И чем выше его умственный уровень, тем он умнее как работник. Ну, что же: так мы и будем веками дуть эту сивуху? — Князев посмотрел на молодого человека, но опять не обратил внимания, как тот изменился.— Хватит уж, хватит, мил человек: хватит ее дуть-то, пора и честь знать. Государство ускоряет ритм, это давно уже не телега, это уже — лайнер! А мы — за этим лайнером-то — все пешком, пешком... Все наклоняемся да в стакан булькаем. Тьфу! О каком же движении тут можно говорить! Куда же мы на этот лайнер — с красными-то глазами? Блевать там?..

— Сука,— с дрожью в голосе негромко сказал молодой человек,— карьеру на мне хочешь сострoить.— И он наклонился к Князеву, как давеча наклонялся к столику!..

Князев сперва не понял, что он хочет сделать. И когда уже получил первый толчок в бок, то и тогда не понял еще, что его бьют. Понял это, когда получил еще пару тычков в бок и в живот, и довольно больных. Но не пугали его и эти тычки, а испугали близкие, злые, какие-то даже безумные глаза молодого человека.

— Ты!..— взволновался Князев и хотел вскочить. Но этот, в шляпе, держал его за полу, а другой рукой насаживал в бок, насаживал успевал. И как-то у него это получалось не широко, не шумно, со стороны едва ли заметно.

— А-а!..— закричал Князев. Вырвался, вскочил и тяжелым своим портфелем, где лежали некоторые детали телевизора, навернул сверху по шляпе.— Сюда, люди! Ко мне!..— кричал он. И второй раз навернул по шляпе.

Молодой человек вскочил тоже и откровенно загвоздил Князеву в челюсть. Князев полетел с ног. Но когда летел, слышал, что уже к ним бегут...

...Потом в милиции выясняли их личности. Князев все порывался рассказать, как было дело, но дежурный офицер останавливал: он пока записывал.

— Где работаете? — спрашивал он молодого человека.

— В рембытконторе,— отвечал тот и успевал тоже сказать: — Он на меня начал говорить, что я блюю где попало...

— Подождите вы! — строго говорил дежурный.— Кем?

— Я про тебя, что ли, говорил?! — накинулся Князев на своего врага.

— Про кого же? Про Пушкина?

— Дурак! Я развивал общую мысль о проблеме...

— Да тихо! — приказал дежурный.— Можете вы помолчать?! Кем работаешь?

— Электриком.

— Дубина,— сказал Князев, потирая челюсть.— Тебе не электриком, а золотарем надо... В две смены. Гад подколодный! Руки еще распускает...

— А вы? — перешел к нему дежурный.

...Князева отпустили, но он заплатил штраф пятнадцать рублей. Он не стал возмущаться, потому что этого, в шляпе, при нем прямо повели куда-то по коридору — сажать, как понял Князев. Он даже сказал дежурному «до свиданья». И пошел на вокзал.

И тихо прождал на вокзале все долгое время до поезда. Ни с кем не заговаривал, а только сидел на скамейке в зале ожидания и смотрел, смотрел на людей, как они слоняются туда-сюда по залу. Челюсть болела, Князев время от времени трогал ее и качал головой. И шептал:

— Сволота... Руки, видите ли, начал распускать! Гад какой.

4. КОНЕЦ МЫСЛЯМ

Ну, может, не конец еще, но какой-то срыв целеустремленной души — тут налицо.

Вот что случилось.

Князев закончил свой труд: мысли о государстве. Он давно понял, что здесь, в райгородке своем, он не найдет никого, кто оценил бы его большую сложную работу. Опять будут недоумевать, говорить, что «Вы знаете, товарищ Князев...» О, недоумки! Всю жизнь стоят, упершись лбами в стенку, а полагают, что идут проспектом. Что тут сделаешь?!

Князев собрал тетради (восемь общих тетрадей) и пошел на почту — отсылать в Центр. Получалось что-то вроде посылочки, что ли: Князев не знал, как это делается, склонился к окошечку узнать, что надо сделать — посылочку, что ли?

За окошечком сидела знакомая женщина, подруга его жены. Князев часто видел ее у себя дома, он поэтому вежливо поздоровался и стал объяснять, что вот, восемь общих тетрадей, их надо послать... Пока он так объяснял, он невольно обратил внимание: женщина смотрит на него, но соображает что-то свое, далекое от тетрадей — от того, как их послать. И еще он уловил в ее глазах то противное жалостливое участие, вполне искреннее, но какое особенно бесило Князева — опять он на него наткнулся. И именно теперь, когда труд закончен, когда позади бессонные ночи, волнения... Даже и теперь эта курица сидит и смотрит жалостливо. Но и еще стерпел бы Князев, еще раз проглотил бы обиду, не заговори она, эта... Нет, она открыла рот и заговорила!

— Николай Николаевич, дорогой... давайте подождем с посылкой? Конечно, не мое это дело, но, тем не менее, послушайте доброго совета: подождите. Ведь всегда успеете, а может быть, раздумаете... А?

Князев помнил потом, что было такое ощущение, точно его стали вдруг поднимать куда-то вверх. Но не просто поднимают, а хотят вроде перевернуть вниз головой и подержать за ноги. Все взорвалось в Князеве злым протестом, все вскипело волной гнева. Он закричал неприлично:

— Дура! Дура ты пучеглазая!.. Что ты сидишь квакаешь?! Что?! Ты хоть слово «государство» напишешь правильно? Ведь ты же напишешь «гасударство»!

— Не смейте так орать! — тоже закричала женщина.— Сергей Николаич! А, Сергей Николаич!..

— Сергей Николаич! — подхватил и Князев ее зов.— Идите-ка суда — вместе глаза выпучим: тут чявой-то про гасударство! Идите, Сергей Николаич!..

Сергей Николаич и вправду появился из двери в глубине... И стремительно подошел к Князеву.

— Что? Что это тут?!

— Тут чявой-то про гасударство,— с мстительным злорадным чувством говорил Князев.— Разберись, Сергей Николаич: может, в твоей тыкве хоть полторы извилины есть...

Все, кто был на почте, с удивлением смотрели на Князева. А Сергей Николаич вышел из-за перегородки и приближался к Князеву. Вид у Сергея Николаича — впору вязать кого-нибудь.

— В чем дело?

— В шляпе.— Князев хотел собрать свои тетради, но Сергей Николаич крепко положил на них ладонь.

— Прочь! — крикнул Князев. И хотел отбросить наглую руку. Но не смог отбросить.— Прр-очь! — закричал тогда Князев громче прежнего и толкнул Сергея Николаича в грудь.— Прр-очь, хамло!..

Сергей Николаич сгреб его спереди за руки и сильно сдавил.

— Ну-ка, кто-нибудь помогите! — позвал он.— Он, наверно, буйный!

Охотники тут же нашлись. Подбежали, завели Князеву руки за спину и держали. И странно, в этом именно положении Князев заговорил более осмысленно, более подробно.

— Ура!..— воскликнул он.— Наша взяла! Ну, вяжите. Вяжите. Эх, лягушатинка! Нет, я не пьян, этот номер у вас не пройдет... Я позволил себе записать некоторые мысли — и нечаянно уронил камень в ваше болото. Какое кваканье поднялось, боже мой! Я вас не задел по голове, Сергей Николаич? Вы тут — главная лягушка. Жаба! Все знает — знает, как связать человека. Курица ты дохлая, остолоп!

— Поговори, поговори,— спокойно молвил Сергей Николаич, связывая ремнем руки Князева.— Покричи. Вконец свихнулся?

— Кретины,— говорил Князев.— Полудурки. И ведь нравится — вот ситуация-то — нравится быть полудурками! Хоть ты лоб тут разбей — нравится им быть полудурками, и все.

Князева подтолкнули вперед... Вывели на улицу и пошли с ним в отделение милиции. Сзади несли его тетради. Прохожие останавливались и глазели. А Князев... Князев вышагнул из круга — орал громко и вольно. И испытывал некое сладостное чувство, что кричит людям всю горькую правду про них. Редкое чувство, сладкое чувство, дорогое чувство.

— Пугачева ведут! — кричал он.— Не видели Пугачева? Вот он — в шляпе, в галстуке!..— Князев смеялся.— А сзади несут чявой-то про гасударство. Удивительно, да? Вот же еще: мы всю жизнь лаптем шти хлебаем, а он там чявой-то про гасударство! Какой еще! Ишь, чяво захотел!.. Мы-то не пишем же! Да?! Мы те попишем! Мы те подумаем!.. Да здравствуют полудурки!

Хорошо еще, что отделение милиции было рядом, а то бы Князев накричал много всякого.

В отделении он как-то стих, устал, что ли, на вопросы отвечал односложно, нисколько не пугался, а только морщился и хотел скорей уйти домой.

— Ну, шумел, шумел... Я же не пьяный. Я непьющий. Оскорбил я кого-нибудь?

Когда ему стали перечислять, как он оскорбил всех, он опять сморщился и сказал тихо:

— У меня голова болит. Ну, отвезите в больницу, отвезите. Что полудурками-то назвал? А кто же они?

С Князевым не знали, что делать. Посадили пока в камеру и вызвали из больницы врача.

Врач пришел, побыл с Князевым минут десять, вышел и сказал:

— Совершенно нормальный человек. А что?

— Да кинулся оскорблять всех,— стали объяснять врачу.— Всех подряд обзывать начал...

— Ну, это уж... что-то другое. Он в здравом уме, вполне нормальный.

Начальник лично знал Князева. Вызвал его опять в кабинет, закрыл дверь.

— Что случилось-то, Князев?

— Да ну их к черту! — устало сказал Князев.— Взорвался просто... Глупость человеческую не мог больше вынести. Я ей одно, она мне: «Давайте пока не посылать — давайте подумаем». Она подумает!.. Курица.

— Ну, а оскорблять-то зачем было?

— Да она меня хуже оскорбила! Она же меня за идиота считает! Ведь она же ни строчки тут не прочитала — тетради лежали у начальника на столе,— а судит! И я знаю, откуда: жена ей наговорила... Она к жене моей ходит, та ей и... охарактеризовала всю работу — что глупость, мол, бред, пустая трата... и прочее.

— А что тут вообще-то?

— Мысли о государстве. Семь лет писал.

Начальник поглядел на стопку тетрадей... Потом на Князева. И опять это проклятое удивление, изумление... Князев поморщился.

— Только ничего не надо сейчас... Не надо.

— Оставь мне, я посмотрю.

— Посмотрите,— Князев встал.— Можно идти, что ли?

— Можно-то можно... Надо потом извиниться перед

почтовскими. Надо, Князев.— Начальник строго глядел на Князева.— Надо, как думаешь?

— Ладно,— сказал Князев.— Извинюсь.— Ему очень хотелось домой. Пустота была в голове оглушительная. Пусто и плохо было. Хотелось покоя.— Я извинюсь.

— Хорошо. Иди. Это я потом вам отдам.— Начальник положил руку на тетради.

Князев пошел к двери, но на пороге остановился, оглянулся и сказал:

— Там — восемь тетрадей.

Начальник пробежал глазами стопку.

— Так... И что?

— Чтобы не случилось чего. Там восемь?

— Восемь.

— Чтобы не затерялись где-нибудь.

— Все будут в сохранности.

— Ведь тут...— Князев отшагнул от двери и показал пальцем на стопку тетрадей,— тут, может быть...— Но опять сморщился в каком-то бессильном отчаянии, махнул рукой и ушел.

Начальник взял одну тетрадь, раскрыл...

Раскрыл как раз первую тетрадь. Она так и поименована:

«ТЕТРАДЬ № 1»

Дальше было вступление, которое имело заглавие:

«КОРОТКО ОБ АВТОРЕ».

И следовала краткая «Опись жизни» Н. Н. Князева, сделанная им самим.

«Я родился в бедной крестьянской семье девятым по счету. Само собой, ни о каком образовании не могло быть речи. Воспитания тоже никакого. Нас воспитывал труд, а также улица и природа. И если я все-таки пробил эти пласты жизни над моей головой, то я это сделал сам. Проблески философского сознания наблюдались у меня с самого детства. Бывало, если бригадир наорет на меня, то я, спустя некоторое время, вдруг задумаюсь: «А почему он на меня орет?» Мой разум еще не смог ответить на подобные вопросы, но он упорно толкался в закрытые двери. Когда я научился читать, я много читал, хотя наживал через это массу неприятностей себе. Отец, не одобряя мою страсть, заставлял больше работать. Но я все же урывал время и читал. Я читал все подряд, и чем

больше читал, тем больше открывались двери, сильнее меня охватывало беспокойство. Я оглядывался вокруг себя и думал: «Сколько всего наворочено! А порядка нет». Так постепенно я весь проникся мыслями о государстве. Я с грустью и удивлением стал понимать, что мы живем каждый всяк по себе — никому нет дела до интересов государства, а если кто кричит об интересах, тот притворяется. Все равно ему свое дороже, но он хочет выглядеть передовым и тем самым побольше урвать. Я видел, как разбазаривают государство: каждый старается на своем месте. «И тем не менее,— думал я,— государство еще все же живет. Чем же оно живет? — продолжал я размышлять. И пришел к такому выводу: — Структурой». Структура государства такова, что даже при нашем минимуме, который мы ему отдаем, оно еще в состоянии всячески себя укреплять. А что было бы, если бы мы, как муравьи, несли максимум государству! Вы только вдумайтесь: никто не ворует, не пьет, не лодырничает — каждый на своем месте кладет свой кирпичик в это грандиозное здание... Когда я вдумался во все это, окинул мысленно наши просторы, у меня захватило дух. «Боже мой,— подумал я,— что же мы делаем! Ведь мы могли бы, например, асфальтировать весь земной шар! Прорыть метро до Владивостока! Построить лестницу до луны!» Я здесь утрирую, но я это делаю нарочно, чтобы подчеркнуть масштабность своей мысли. Я понял, что одна глобальная мысль о государстве должна подчинять себе все конкретные мысли, касающиеся нашего быта и поведения.

И я, разумеется, стал писать. Я не могу иначе. Иначе у меня лопнет голова от напряжения, если я не дам выход мыслям».

Начальник прочитал вступление и задумался. Потом отложил все тетради в сторону — решил взять их домой и почитать.

«РАСКАС»

От Ивана Петина ушла жена. Да как ушла!.. Прямо как в старых добрых романах — бежала с офицером. Иван приехал из дальнего рейса, загнал машину в ограду, отомкнул избу... И нашел на столе записку:

«Иван, извини, но больше с таким пеньком я жить не могу. Не ищи меня. Людмила».

Огромный Иван, не оглянувшись, грузно сел на табуретку — как от удара в лоб. Он почему-то сразу понял, что никакая это не шутка, это — правда.

Даже с его способностью все в жизни переносить терпеливо показалось ему, что этого не перенести: так нехорошо, больно сделалось под сердцем. Такая тоска и грусть взяла... Чуть не заплакал. Хотел как-нибудь думать и не мог — не думалось, а только больно ныло и ныло под сердцем.

Мелькнула короткая ясная мысль: «Вот она какая, большая-то беда». И все.

Сорокалетний Иван был не по-деревенски изрядно лыс, выглядел значительно старше своих лет. Его угрюмость и молчаливость не тяготили его, досадно только, что на это всегда обращали внимание. Но никогда не мог он помыслить, что мужика надо судить по этим качествам — всегда ли он весел и умеет ли складно говорить. «Ну а как же?!» — говорила ему та же Людмила. Он любил ее за эти слова еще больше... и молчал. «Не в этом же дело,— думал он,— что я тебе, политрук?» И вот — на тебе, она, оказывается, правда горевала, что он такой молчаливый и неласковый.

Потом узнал Иван, как все случилось.

Приехало в село небольшое воинское подразделение с офицером — помочь смонтировать в совхозе электроподстанцию. Побыли-то всего с неделю!.. Смонтировали и уехали. А офицер еще и семью тут себе «смонтировал».

Два дня Иван не находил себе места. Пробовал напиться, но еще хуже стало — противно. Бросил. На третий день сел писать рассказ в районную газету. Он частенько читал в газетах рассказы людей, которых обидели ни за что.

Ему тоже захотелось спросить всех: как же так можно?!

Раскас

Значит было так: я приезжаю — настоле записка. Я ее не буду пирисказывать: она там обзываться начала. Главное я же знаю, почему она сделала такой финт ушами. Ей все говорили, что она похожая на какую-то артистку. Я забыл на какую. Но она дурочка не понимает: ну и что? Мало ли на кого я похожий, я и давай теперь

скакать как блоха на зеркале. А ей когда говорили, что она похожа она прямо щастливая становилась. Она и в культ прасветшколу из-за этого пошла, она сама говорила. А еслив сказать кому што он на Гитлера похожий, то што ему тада остается делать: хватать ружье и стрелять всех подряд? У нас на фронте был один такой — вылитый Гитлер. Его потом куда-то в тыл отправили потому што нельзя так. Нет, этой все в город надо было. Там говорит меня все узнавать будут. Ну не дура! Она вобчем то не дура, но малость чокнутая нащет своей физиономии. Да мало ли красивых — все бы бегали из дому! Я же знаю, он ей сказал: «Как вы здорово похожи на одну артистку!» Она конешно вся засветилась... Эх, учили вас учили гусударство деньги на вас тратила, а вы теперь сяли на шею обчеству и радешеньки! А гусударство в убытке.

Иван остановил раскаленное перо, встал, походил по избе. Ему нравилось, как он пишет, только насчет государства, кажется, зря. Он подсел к столу, зачеркнул «гусударство». И продолжал:

Эх, вы!.. Вы думаете, еслив я шофер, дак я ничего не понимаю? Да я вас наскрозь вижу! Мы гусударству пользу приносим вот этими самыми руками, которыми я счас пишу, а при стрече могу этими же самыми руками так засветить промеж глаз, што кое кто с неделю хворать будет. Я не угрожаю и нечего мне после этого пришивать, што я кому-то угрожал но при стрече могу разок угостить. А потому што это тоже неправильно: увидал бабенку боле или мене ничего на мордочку и сразу подсыпаться к ней. Увиряю вас хоть я и лысый, но кое кого тоже мог бы поприжать, потому што в рейсах всякие стречаются. Но однако я этого не делаю. А вдруг она чья нибуть жена? А они есть такие што может и промолчать про это. Кто же я буду перед мужиком, которому я рога надстроил! Я не лиходей людям.

Теперь смотрите што получается: вот она вильнула хвостом, уехала куда глаза глядят. Так? Тут семья нарушена. А у ей есть полная уверенность, што она там наладит новую? Нету. Она всего навсего неделю человека знала, а мы с ей четыре года прожили. Не дура она пос-

ле этого? А гусударство деньги на ее тратила — учила. Ну, и где же та учеба? Ее же плохому-то не учили. И родителей я ее знаю, они в соседнем селе живут хорошие люди. У ей между прочим брат тоже офицер старший лейтенант, но об ём слышно только одно хорошее. Он отличник боевой и политической подготовки. Откуда же у ей это пустозвонство в голове? Я сам удивляюсь. Я все для ей делал. У меня сердце к ей приросло. Каждый рас еду из рейса и у меня душа радуется: скоро увижу. И пожалуйста: мне надстраивают такие рога! Да черт с ей не вытерпела там такой ловкач попался, што на десять минут голову потиряла... Я бы как-нибудь пережил это. Но зачем совсем то уезжать? Этого я тоже не понимаю. Как то у меня ни укладываится в голове. В жизни всяко бываит, бываит иной рас слабость допустил человек, но так вот одним разом всю жизнь рушить — зачем же так? Порушить-то ее лехко но снова складать трудно. А уж ей самой — тридцать лет. Очень мне счас обидно, поэтому я пишу свой раскас. Еслив уж на то пошло у меня у самого три ордена и четыре медали. И я давно бы уж был ударником коммунистического труда, но у меня есть одна слабость: как выпью так начинаю материть всех. Это у меня тоже не укладывается в голове, тверезый я совсем другой человек, А за рулем меня никто ни разу выпимши не видал и никогда не увидит. И при жене Людмиле я за все четыре года ни разу не матернулся, она это может подтвердить. Я ей грубого слова никогда не сказал. И вот пожалуста она же мне надстраиваит такие прямые рога! Тут кого хошь обида возьмет. Я тоже — не каменный.

С приветом.
Иван *Петин.* Шофер I класса.

Иван взял свой «раскас» и пошел в редакцию, которая была неподалеку.

Стояла весна, и от этого еще хуже было на душе: холодно и горько. Вспомнилось, как совсем недавно они с женой ходили этой самой улицей в клуб — Иван встречал ее с репетиций, А иногда провожал на репетицию.

Он люто ненавидел это слово «репетиция», но ни разу не выказал своей ненависти: жена боготворила репетиции, он боготворил жену. Ему нравилось идти с ней по улице, он гордился красивой женой. Еще он любил вес-

ну, когда она только-только подступала, но уже вовсю чувствовалась даже у́трами, сердце сладко поднывало — чего-то ждалось. Весны и ждалось. И вот она наступила, та самая — нагая, раздрызганная и ласковая, обещающая земле скорое тепло, солнце... Наступила... А тут — глаза бы ни на что не глядели.

Иван тщательно вытер сапоги о замусоленный половичок на крыльце редакции и вошел. В редакции он никогда не был, но редактора знал: встречались на рыбалке.

— Агеев здесь? — спросил он у женщины, которую часто видел у себя дома и которая тоже бегала в клуб на репетиции. Во всяком случае, когда ему доводилось слушать их разговор с Людмилой, это были все те же «репетиция», «декорация». Увидев ее сейчас, Иван счел нужным не поздороваться; больно дернуло за сердце.

Женщина с любопытством и почему-то весело посмотрела на него.

— Здесь. Вы к нему?

— К нему... Мне надо тут по одному делу.— Иван прямо смотрел на женщину и думал: «Тоже небось комунибудь рога надстроила — веселая».

Женщина вошла в кабинет редактора, вышла и сказала:

— Пройдите, пожалуйста.

Редактор — тоже веселый, низенький... Несколько больше, чем нужно бы при его росте, полненький, кругленький, тоже лысый. Встал навстречу из-за стола.

— А?! — воскликнул он и показал на окно.— На нас, на нас времечко-то работает! Не пробовали еще переметами?..

— Нет.— Иван всем видом своим хотел показать, что ему не до переметов сейчас.

— Я в субботу хочу попробовать.— Редактора все не покидало веселое настроение.— Или не советуете? Просто терпения нет...

— Я раскас принес,— сказал Иван.

— Рассказ? — удивился редактор.— Ваш рассказ? О чем?

— Я тут все описал.— Иван подал тетрадку.

Редактор полистал ее... Посмотрел на Ивана. Тот серьезно и мрачно смотрел на него.

— Хотите, чтоб я сейчас прочитал?

— Лучше бы сейчас...

Редактор сел в кресло и стал читать. Иван остался стоять и все смотрел на веселого редактора и думал: «Наверно, у него тоже жена на репетиции ходит. А ему хоть бы что — пусть ходит! Он сам сумеет про эти всякие «декорации» поговорить. Он про все сумеет».

Редактор захохотал.

Иван стиснул зубы.

— Ах, славно! — воскликнул редактор. И опять захохотал, так что заколыхался его упругий животик.

— Чего славно? — спросил Иван.

Редактор перестал смеяться... Несколько даже смутился.

— Простите... Это вы о себе? Это ваша история?

— Моя.

— Кхм... Извините, я не понял.

— Ничего. Читайте дальше.

Редактор опять уткнулся в тетрадку. Он больше не смеялся, но видно было, что он изумлен и ему все-таки смешно. И чтоб скрыть это, он хмурил брови и понимающе делал губы «трубочкой». Он дочитал.

— Вы хотите, чтоб мы это напечатали?

— Ну да.

— Но это нельзя печатать. Это не рассказ...

— Почему? Я читал, так пишут.

— А зачем вам нужно это печатать? — Редактор действительно смотрел на Ивана сочувственно и серьезно.— Что это даст? Облегчит ваше... горе?

Иван ответил не сразу.

— Пускай они прочитают... там.

— А где они?

— Пока не знаю.

— Так она просто не дойдет до них, газетка-то наша!

— Я найду их... И пошлю.

— Да нет, даже не в этом дело! — Редактор встал и прошелся по кабинету.— Не в этом дело. Что это даст? Что, она опомнится и вернется к вам?

— Им совестно станет.

— Да нет! — воскликнул редактор.— Господи... Не знаю, как вам... Я вам сочувствую, но ведь это глупость, что мы сделаем! Даже если я отредактирую это.

— Может, она вернется.

— Нет! — громко сказал редактор.— Ах ты, господи!.. — Он явно волновался.— Лучше напишите письмо. Давайте вместе напишем?

Иван взял тетрадку и пошел из редакции.

— Подождите! — воскликнул редактор.— Ну давайте вместе — от третьего лица...

Иван прошел приемную редакции, даже не глянув на женщину, которая много знала о «декорациях», «репетициях»...

Он направился прямиком в чайную. Там взял полкило водки, выпил сразу, не закусывая, и пошел домой — в мрак и пустоту. Шел, засунув руки в карманы, не глядел по сторонам. Все как-то не наступало желанное равновесие в душе его. Он шел и молча плакал. Встречные люди удивленно смотрели на него. А он шел и плакал. И ему было не стыдно. Он устал.

КРЕПКИЙ МУЖИК

В третьей бригаде колхоза «Гигант» сдали в эксплуатацию новое складское помещение. Из старого склада — из церкви — вывезли пустую вонючую бочкотару, мешки с цементом, сельповские кули с сахаром-песком, с солью, вороха рогожи, сбрую (коней в бригаде всего пять, а сбруи нашито на добрых полтора десятка; оно бы ничего, запас карман не трет, да мыши окаянные... И дегтярили и химией обсыпали сбрую — грызут), метла, грабли, лопаты... И осталась она пустая, церковь, вовсе теперь никому не нужная. Она хоть небольшая, церковка, а оживляла деревню (некогда сельцо), собирала ее вокруг себя, далеко выставляла напоказ.

Бригадир Шурыгин Николай Сергеевич постоял перед ней, подумал... Подошел к стене, поколупал кирпичи подвернувшимся ломиком, закурил и пошел домой.

Встретившись через два дня с председателем колхоза, Шурыгин сказал:

— Церква-то освободилась теперь...

— Ну.

— Чего с ней делать-то?

— Закрой да пусть стоит. А что?

— Там кирпич добрый, я бы его на свинарник пустил, чем с завода-то возить.

— Это ее разбирать — надо пятерым полмесяца возиться. Там не кладка, а литье. Черт их знает, как они так клали.



— Я ее свалю.

— Как?

— Так. Тремя тракторами зацеплю — слетит как миленькая.

— Попробуй.

В воскресенье Шурыгин стал пробовать. Подогнал три могучих трактора... На разной высоте обвели церковку тремя толстыми тросами, под тросы — на углах и посреди стены — девять бревен...

Сперва Шурыгин распоряжался этим делом, как всяким делом,— крикливо, с матерщиной. Но когда стал сбегаться народ, когда кругом стали ахать и охать, стали жалеть церковь, Шурыгин вдруг почувствовал себя важным деятелем с неограниченными полномочиями. Перестал материться и не смотрел на людей — вроде и не слышал их и не видел.

— Николай, да тебе велели али как? — спрашивали.— Не сам ли уж надумал?

— Мешала она тебе?!

Подвыпивший кладовщик, Михайло Беляков, полез под тросами к Шурыгину.

— Колька, ты зачем это?

Шурыгин всерьез затрясся, побелел:

— Вон отсудова, пьяная харя!

Михайло удивился и попятился от бригадира. И вокруг все удивились и примолкли. Шурыгин сам выпивать горазд и никогда не обзывался «пьяной харей». Что с ним?

Между тем бревна закрепили, тросы подровняли... Сейчас взревут тракторы и произойдет небывалое в деревне — упадет церковь. Люди постарше все крещены в ней, в ней отпевали усопших дедов и прадедов, как небо привыкли видеть каждый день, так и ее...

Опять стали раздаваться голоса:

— Николай, кто велел-то?

— Да сам он!.. Вишь, морду воротит, черт.

— Шурыгин, прекрати своевольничать!

Шурыгин — ноль внимания. И все то же сосредоточенное выражение на лице, та же неподкупная строгость во взгляде. Подтолкнули из рядов жену Шурыгина, Кланьку... Кланька несмело — видела: что-то непонятное творится с мужем — подошла.

— Коль, зачем свалить-то хочешь?

— Вон отсудова! — велел и ей Шурыгин.— И не лезь!

Подошли к трактористам, чтобы хоть оттянуть время — побежали звонить в район и домой к учителю. Но трактористам Шурыгин посулил по бутылке на брата и наряд «на исполнение работ».

Прибежал учитель, молодой еще человек, уважаемый в деревне.

— Немедленно прекратите! Чье это распоряжение? Это семнадцатый век!..

— Не суйтесь не в свое дело,— сказал Шурыгин.

— Это мое дело! Это народное дело!..— Учитель волновался, поэтому не мог найти сильные, убедительные слова, только покраснел и кричал: — Вы не имеете права! Варвар! Я буду писать!..

Шурыгин махнул трактористам... Моторы взревели. Тросы стали натягиваться. Толпа негромко, с ужасом вздохнула. Учитель вдруг сорвался с места, забежал с той стороны церкви, куда она должна была упасть, стал под стеной.

— Ответишь за убийство! Идиот...

Тракторы остановились.

— Уйди-и! — заревел Шурыгин. И на шее у него вспухли толстые жилы.

— Не смей трогать церковь! Не смей!

Шурыгин подбежал к учителю, схватил его в беремя и понес прочь от церкви. Щуплый учитель вырывался как мог, но руки у Шурыгина крепкие.

— Давай! — крикнул он трактористам.

— Становитесь все под стену! — кричал учитель всем.— Становитесь!.. Они не посмеют! Я поеду в область, ему запретят!..

— Давай, какого!.. — заорал Шурыгин трактористам.

Трактористы усунулись в кабины, взялись за рычаги.

— Становитесь под стену! Становитесь все!..

Но все не двигались с места. Всех парализовало неистовство Шурыгина. Все молчали. Ждали.

Тросы натянулись, заскрипели, затрещали, зазвенели... Хрустнуло одно бревно, трос, врезавшись в угол, запел балалаечной струной. Странно, что все это было хорошо слышно — ревели же три трактора, напрягая свои железные силы. Дрогнул верх церкви... Стена, противоположная той, на какую сваливали, вдруг разодралась по всей ширине... Страшная, черная в глубине, рваная щель на белой стене пошла раскрываться. Верх церкви с маковкой поклонился, поклонился и ухнул вниз.

Шурыгин отпустил учителя, и тот, ни слова не говоря, пошел прочь от церкви.

Два трактора еще продолжали скрести гусеницами землю. Средний по высоте трос прорезал угол и теперь без толку крошил кирпичи двух стен, все глубже врезаясь в них.

Шурыгин остановил тракторы. Начали по-новой заводить тросы.

Народ стал расходиться. Остались самые любопытные и ребятишки.

Через три часа все было кончено. От церкви остался только невысокий, с неровными краями остов. Церковь лежала бесформенной грудой, прахом. Тракторы уехали.

Потный, весь в пыли и известке, Шурыгин пошел звонить из магазина председателю колхоза.

— Все, угорела! — весело закричал в трубку.

Председатель, видно, не понял, кто угорел.

— Да церква-то! Все, мол, угорела! Ага. Все в порядке. Учитель тут пошумел малость... Но! Учитель, а хуже старухи. Да нет, все в порядке. Гробанулась здорово! Покрошилось много, ага. Причем они так: по три, по четыре кирпича — кусками. Не знаю, как их потом долбать... Попробовал ломиком — крепкая, зараза. Действительно, литье! Но! Будь здоров! Ничего.

Шурыгин положил трубку. Подошел к продавщице, которую не однажды подымал ночами с постели — кто-нибудь приезжал из района рыбачить, засиживались после рыбалки у бригадира до вторых петухов.

— Видели, как мы церкву уговорили? — Шурыгин улыбался, довольный.

— Дурацкое дело не хитрое,— не скрывая злости, сказала продавщица.

— Почему дурацкое? — Шурыгин перестал улыбаться.

— Мешала она тебе, стояла?

— А чего ей зря стоять? Хоть кирпич добудем...

— А то тебе, бедному, негде кирпич достать! Идиот.

— Халява! — тоже обозлился Шурыгин.— Не понимаешь, значит, помалкивай.

— Разбуди меня еще раз посередь ночи, разбуди, я те разбужу! Халява... За халяву-то можно и по морде получить. Дам вот счас гирькой по кумполу, узнаешь халяву.

Шурыгин хотел еще как-нибудь обозвать дуру продавщицу, но подошли вездесущие бабы.

— Дай бутылку.

— Иди промочи горло-то,— заговорили сзади.— Пересохло.

— Как же — пыльно!

— Руки чесались у дьявола...

Шурыгин пооглядывался строго на баб, но их много, не перекричать. Да и злость их — какая-то необычная: всерьез ненавидят. Взял бутылку, пошел из магазина. На пороге обернулся, сказал:

— Я вам прижму хвосты-то!

И скорей ушел.

Шел, злился: «Ведь все равно же не молились, паразитки, а теперь хай устраивают. Стояла — никому дела не было, а теперь хай подняли».

Проходя мимо бывшей церкви, Шурыгин остановился, долго смотрел на ребятишек, копавшихся в кирпичах. Смотрел и успокаивался. «Вырастут, будут помнить: при нас церкву свалили. Я вон помню, как Васька Духанин с нее крест своротил. А тут —вся грохнулась. Конечно, запомнят. Будут своим детишкам рассказывать: дядя Коля Шурыгин зацепил тросами и...— Вспомнилась некстати продавщица, и Шурыгин подумал зло и непреклонно: — И нечего ей стоять, глаза мозолить».

Дома Шурыгина встретили форменным бунтом: жена, не приготовив ужина, ушла к соседкам, хворая мать заругалась с печки:

— Колька, идол ты окаянный, грех-то какой взял на душу!.. И молчал, ходил молчал, дьяволина... Хоть бы заикнулся раз — тебя бы, может, образумили добрые люди. Ох горе ты мое горькое, теперь хоть глаз не кажи на люди. Проклянут ведь тебя, прокляну-ут! И знать не будешь, откуда напасти ждать: то ли дома окочурисся в одночасье, то ли где лесиной прижмет невзначай...

— Чего эт меня проклинать-то возьмутся? От нечего делать?

— Да грех-то какой!

— Ваську Духанина прокляли — он крест своротил? Наоборот, большим человеком стал...

— Тада время было другое. Кто тебе счас-то подталкивал — рушить ее? Кто? Дьявол зудил руки... Погоди, тебя ишо сама власть взгреет за это. Он вот, учитель-то, пишет, сказывали, он вот напишет куда следоват — узнаешь. Гляди-ко, тогда устояла, матушка, так он теперь нашелся. Идол ты лупоглазый.

— Ладно, лежи хворай.

— Глаз теперь не кажи на люди...

— Хоть бы молиться ходили! А то стояла — никто не замечал...

— Почто это не замечали! Да, бывало, откуда ни

идешь, а ее уж видишь. И как ни пристанешь, а увидишь ее — вроде уж дома. Она сил прибавляла...

— Сил прибавляла... Ходят они теперь пешком-то! Атомный век, понимаешь, они хватились церкву жалеть. Клуба вон нету в деревне — ни один черт не охнет, а тут — загоревали. Переживут!

— Ты-то переживи теперь! Со стыда теперь усохнешь...

Шурыгин, чтобы не слышать ее ворчанья, ушел в горницу, сел к столу, налил сразу полный стакан водки, выпил. Закурил. «К кирпичам, конечно, ни один дьявол не притронется,— подумал.— Ну и хрен с ними! Сгребу бульдозером в кучу и пусть крапивой зарастает».

Жена пришла поздно. Шурыгин уже допил бутылку, хотелось выпить еще, но идти и видеть злую продавщицу не хотелось — не мог. Попросил жену:

— Сходи возьми бутылку.

— Пошел к черту! Он теперь дружок тебе.

— Сходи, прошу...

— Тебя просили, ты послушал? Не проси теперь и других. Идиот.

— Заткнись. Туда же...

— Туда же! Туда же, куда все добрые люди! Неужели туда же, куда ты, харя необразованная? Просили, всем миром просили — нет! Вылупил шары-то свои...

— Замолчи! А то опояшу разок...

— Опояшешь! Тронь только, харя твоя бесстыжая!.. Только тронь!

«Нет, это, пожалуй, на всю ночь. С ума посходили все».

Шурыгин вышел во двор, завел мотоцикл... До района восемнадцать километров, там магазин, там председатель колхоза. Можно выпить, поговорить. Кстати, рассказать, какой ему тут скандал устроили... Хоть посмеяться.

На повороте из переулка свет фары выхватил из тьмы безобразную груду кирпича, пахнуло затхлым духом потревоженного подвала.

«Семнадцатый век,— вспомнил Шурыгин.— Вот он, твой семнадцатый век! Писать он, видите ли, будет. Пиши, пиши».

Шурыгин наддал газку... И пропел громко, чтобы все знали, что у него — от всех этих проклятий — прекрасное настроение:

Что ты, что ты, что ты, что ты!
Я солдат девятой роты,
Тридцать первого полка...
Оп, тирдар-пупия!

Мотоцикл вырулил из деревни, воткнул в ночь сверкающее лезвие света и помчался по накатанной ровной дороге в сторону райцентра. Шурыгин уважал быструю езду.

● ВОЛКИ

В воскресенье, рано утром к Ивану Дегтяреву явился тесть Наум Кречетов, нестарый еще, расторопный мужик, хитрый и обаятельный. Иван не любил тестя; Наум, жалеючи дочь, терпел Ивана.

— Спишь? — живо заговорил Наум.— Эхха!.. Эдак, Ванечка, можно все царство небесное проспать. Здравствуйте.

— Я туда не сильно хотел. Не устремляюсь.

— Зря. Вставай-ка... Поедем съездим за дровишками. Я у бригадира выпросил две подводы. Конечно, не за «здорово живешь», но черт с ним — дров надо.

Иван полежал, подумал... И стал одеваться.

— Вот ведь почему молодежь в город уходит? — заговорил он.— Да потому, что там отработал норму — иди гуляй. Отдохнуть человеку дают. Здесь как проклятый: ни дня ни ночи. Ни воскресенья.

— Што же, без дров сидеть? — спросила Нюра, жена Ивана.— Ему же коня достали, и он же еще недовольный.

— Я слыхал: в городе тоже работать надо,— заметил тесть.

— Надо. Я бы счас с удовольствием лучше водопровод пошел рыть, траншеи: выложился раз, зато потом без горя — и вода, и отопление.

— С одной стороны, конечно, хорошо — водопровод, с другой — беда: ты б тогда совсем заспался. Ну, хватит, поехали.

— Завтракать будешь? — спросила жена.

Иван отказался — не хотелось.

— С похмелья? — полюбопытствовал Наум.

— Так точно, ваше благородие!

— Да-а... Вот так. А ты говоришь — водопровод... Ну, поехали.

День был солнечный, ясный. Снег ослепительно блестел. В лесу тишина и нездешний покой.

Ехать надо было далеко, верст двадцать: ближе рубить не разрешалось.

Наум ехал впереди и все возмущался:

— Черт-те чего!.. Из лесу в лес — за дровами.

Иван дремал в санях. Мерная езда убаюкивала.

Выехали на просеку, спустились в открытую логовину, стали подыматься в гору. Там, на горе, снова синей стеной вставал лес.

Почти выехали в гору... И тут увидели, недалеко от дороги,— пять штук. Вышли из леса, стоят, ждут. Волки.

Наум остановил коня, негромко, нараспев заматерился:

— Твою в душеньку ма-ать... Голубочки сизые. Выставились.

Конь Ивана, молодой, трусливый, попятился, заступил оглоблю. Иван задергал вожжами, разворачивая его. Конь храпел, бил ногами — не мог перешагнуть оглоблину.

Волки двинулись с горы.

Наум уже развернулся, крикнул:

— Ну, што ты?!

Иван выскочил из саней, насилу втолкал коня в оглобли... Упал в сани. Конь сам развернулся и с места взял в мах.

Наум был уже далеко.

— Грабю-ут! — заполошно орал он, нахлестывая коня.

Волки серыми комками податливо катились с горы, наперерез подводам.

— Грабю-ут! — орал Наум.

«Что он, с ума сходит? — невольно подумал Иван.— Кто кого грабит?» Он испугался, но как-то странно: был и страх, и жгучее любопытство, и смех брал над тестем. Скоро, однако, любопытство прошло. И смешно тоже уже не было. Волки достигли дороги метрах в ста позади саней и, вытянувшись цепочкой, стали легко нагонять. Иван крепко вцепился в передок саней и смотрел на волков.

Впереди отмахивал крупный, грудастый, с паленой мордой... Уже только метров пятнадцать — двадцать отделяло его от саней. Ивана поразило несходство волка

с овчаркой. Раньше он волков так близко не видел и считал, что это что-то вроде овчарки, только крупнее. Сейчас понял, что волк — это волк, зверь. Самую лютую собаку еще может в последний миг что-то остановить: страх, ласка, неожиданный властный окрик человека. Этого, с паленой мордой, могла остановить только смерть. Он не рычал, не пугал... Он догонял жертву. И взгляд его круглых желтых глаз был прям и прост.

Иван оглядел сани — ничего, ни малого прутика. Оба топора в санях тестя. Только клок сена под боком да бич в руке.

— Грабю-ут! — кричал Наум.

Ивана охватил настоящий страх.

Передний, очевидно вожак, стал обходить сани, примериваясь к лошади. Он был в каких-нибудь двух метрах... Иван привстал и, держась левой рукой за отводину саней, огрел вожака бичом. Тот не ждал этого, лязгнул зубами, прыгнул в сторону, сбился с маха... Сзади налетели другие. Вся стая крутнулась с разгона вокруг вожака. Тот присел на задние лапы, ударил клыками одного, другого... И снова, вырвавшись вперед, легко догнал сани. Иван привстал, ждал момента... Хотел еще раз достать вожака. Но тот стал обходить сани дальше. И еще один отвалил в сторону от своры и тоже начал обходить сани — с другой стороны. Иван стиснул зубы, сморщился....

«Конец. Смерть». Глянул вперед.

Наум нахлестывал коня. Оглянулся, увидел, как обходят зятя волки, и быстро отвернулся.

— Грабю-ут!

— Придержи малость, отец!.. Дай топор! Мы отобьемся!..

— Грабю-ут!

— Придержи, мы отобьемся!.. Придержи малость, гад такой!

— Кидай им чево-нибудь! — крикнул Наум.

Вожак поравнялся с лошадью и выбирал момент, чтоб прыгнуть на нее. Волки, бежавшие сзади, были совсем близко: малейшая задержка, и они с ходу влетят в сани — и конец. Иван кинул клочок сена; волки не обратили на это внимания.

— Отец, сука, придержи, кинь топор!

Наум обернулся.

— Ванька!.. Гляди, кину!..

— Ты придержи!

— Гляди, кидаю! — Наум бросил на обочину дороги топор.

Иван примерился... Прыгнул из саней, схватил топор... Прыгая, он пугнул трех задних волков, они отскочили в сторону, осадили бег, намереваясь броситься на человека. Но в то самое мгновение вожак, почувствовав под собой твердый наст, прыгнул. Конь шарахнулся в сторону, в сугроб... Сани перевернулись: оглобли свернули хомут, он захлестнул коню горло. Конь захрипел, забился в оглоблях. Волк, настигавший жертву с другой стороны, прыгнул под коня и ударом когтистой лапы распустил ему брюхо повдоль.

Три отставших волка бросились тоже к жертве.

В последующее мгновение все пять рвали мясо еще дрыгавшей лошади, растаскивали на ослепительно белом снегу дымящиеся клубки сизо-красных кишок, урчали. Вожак дважды прямо глянул своими желтыми круглыми глазами на человека...

Все случилось так чудовищно скоро и просто, что смахивало скорей на сон. Иван стоял с топором в руках, растерянно смотрел на жадное, торопливое пиршество. Вожак еще раз глянул на него... И взгляд этот, торжествующий, наглый, обозлил Ивана. Он поднял топор, заорал что было силы и кинулся к волкам. Они нехотя отбежали несколько шагов и остановились, облизывая окровавленные рты. Делали они это так старательно и увлеченно, что, казалось, человек с топором нимало их не занимает. Впрочем, вожак смотрел внимательно и прямо. Иван обругал его самыми страшными словами, какие знал. Взмахнул топором и шагнул к нему... Вожак не двинулся с места. Иван тоже остановился.

— Ваша взяла,— сказал он.— Жрите, сволочи.— И пошел в деревню. На растерзанного коня старался не смотреть. Но не выдержал, глянул... И сердце сжалось от жалости, и злость великая взяла на тестя. Он скорым шагом пошел по дороге.

— Ну погоди!.. Погоди у меня, змей ползучий. Ведь отбились бы и конь был бы целый. Шкура.

Наум ждал зятя за поворотом. Увидев его живого и невредимого, искренне обрадовался:

— Живой? Слава те господи! — На совести у него все-таки было нелегко.

— Живой! — откликнулся Иван.— А ты тоже живой?

Наум почуял в голосе зятя недоброе. На всякий случай зашагнул в сани.

— Ну, что они там?..

— Поклон тебе передают. Шкура!..

— Чего ты? Лаешься-то?..

— Счас я тебя бить буду, а не лаяться.— Иван подходил к саням.

Наум стегнул лошадь.

— Стой! — крикнул Иван и побежал за санями.— Стой, паразит!

Наум опять нахлестывал коня... Началась другая гонка: человек догонял человека.

— Стой, тебе говорят! — крикнул Иван.

— Заполошный! — кричал в ответ Наум.— Чего ты взъелся-то? С ума, что ли, спятил? Я-то при чем здесь?

— Ни при чем?! Мы бы отбились, а ты предал!..

— Да где же отбились?! Где отбились-то, ты што!

— Предал, змей! Я тебя проучу малость. Не уйдешь ты от меня, остановись лучше. Одного отметелю — не так будет позорно. А то при людях отлуплю. И расскажу все... Остановись лучше!

— Сейчас — остановился, держи карман! — Наум нахлестывал коня.— Оглоед чертов... откуда ты взялся на нашу голову!

— Послушай доброго совета — остановись! — Иван стал выдыхаться.— Тебе же лучше: отметелю и никому не скажу.

— Тебя, дьявола, голого почесть в родню приняли, а ты же на меня с топором! Стыд-то есть или нету?

— Вот отметелю, потом про стыд поговорим. Остановись! — Иван бежал медленно, уже далеко отстал. И наконец вовсе бросил догонять. Прошел шагом.

— Найду, никуда не денешься! — крикнул он напоследок тестю.

Дома у себя Иван никого не застал: на двери висел замок. Он отомкнул его, вошел в дом. Поискал в шкафу... Нашел недопитую вчера бутылку водки, налил стакан, выпил и пошел к тестю.

В ограде тестя стояла выпряженная лошадь.

— Дома,— удовлетворенно сказал Иван.— Счас будем уроки учить.

Толкнулся в дверь — не заперто. Он ждал, что будет

заперто. Иван вошел в избу... Его ждали: в избе сидели тесть, жена Ивана и милиционер. Милиционер улыбался.

— Ну что, Иван?

— Та-ак... Сбегал уже? — спросил Иван, глядя на тестя.

— Сбегал, сбегал. Налил шары-то, успел?

— Малость принял для... красноречия.— Иван сел на табуретку.

— Ты чего это, Иван? С ума, что ли, сошел? — поднялась Нюра.— Ты што?

— Хотел папаню твоего поучить... Как надо человеком быть.

— Брось ты, Иван,— заговорил милиционер.— Ну, случилось несчастье, испугались оба... Кто же ждал, что так будет? Стихия.

— Мы бы легко отбились. Я потом один был с ними...

— Я же тебе бросил топор? Ты попросил, я бросил. Чего еще-то от меня требовалось?

— Самую малость: чтоб ты человеком был. А ты — шкура. Учить я тебя все равно буду.

— Учитель выискался! Сопля... Гол как сокол, пришел в дом на все на готовенькое да еще грозится. Да еще недовольный всем: водопроводов, видите ли, нету!

— Да не в этом дело, Наум,— сказал милиционер.— При чем тут водопровод?

— В деревне плохо!.. В городе лучше,— продолжал Наум.— А чево приперся сюда? Недовольство свое показывать? Народ возбуждать против Советской власти?

— От сука! — изумился Иван. И встал.

Милиционер тоже встал.

— Бросьте вы! Пошли, Иван...

— Таких взбудителев-то знаешь куда девают? — не унимался Наум.

— Знаю! — ответил Иван.— В прорубь головой...— И шагнул к тестю.

Милиционер взял Ивана под руки и повел из избы. На улице остановились, закурили.

— Ну не паразит ли! — все изумлялся Иван.— И на меня же попер.

— Да брось ты его!

— Нет, отметелить я его должен.

— Ну и заработаешь! Из-за дерьма.

— Куда ты меня счас?!

— Пойдем, переночуешь у нас... Остынешь. А то себе хуже сделаешь. Не связывайся.

— Нет, это же... што ж это за человек?

— Нельзя, Иван, нельзя: кулаками ничего не докажешь.

Пошли по улице по направлению к сельской кутузке.

— Там-то не мог? — спросил вдруг милиционер.

— Не догнал! — с досадой сказал Иван.— Не мог догнать.

— Ну вот... Теперь — все, теперь нельзя.

— Коня жалко.

— Да...

Замолчали. Долго шли молча.

— Слушай: отпусти ты меня.— Иван остановился.— Ну чего я в воскресенье там буду?! Не трону я его.

— Да нет, пойдем. А то потом не оберешься... Тебя жалеючи говорю. Пойдем счас в шахматишки сыграем... Играешь в шахматы?

Иван сплюнул на снег окурок и полез в карман за другой папироской.

— Играю.

ВЕРСИЯ

Санька Журавлев рассказал диковинную историю. Был он в городе (мотоцикл ездил покупать), зашел там в ресторан покушать. Зашел, снял плащ в гардеробе, направился в зал... А не заметил, что зал отделяет стеклянная стена — пошел на эту стенку. И высадил ее. Она прямо так стоймя и упала перед Санькой и со звоном разлетелась в куски. Ну, сбежались. Санька был совершенно трезв, поэтому милицию вызывать не стали, а повели его к директору ресторана на второй этаж. Человек, который вел его по мягкой лестнице, подсчитал:

— Зарплаты две выложишь. А то и три.

— Я же не нарочно.

— Мало ли что!

Зашли в кабинет директора... И тут-то и начинается диковина, тут сельские люди слушали и переглядывались — не верили. Санька рассказывал так:

— Заходим — сидит молодая женщина. Пышная, глаза маленько навыкате, губки бантиком, при золотых ча-

сиках. «Что случилось?» Товарищ этот начинает ей докладывать, что вот, мол, стенку решили... А эта на меня смотрит.— Тут Санька всякий раз хотел показать, как она на него смотрела: делал губы куриной гузкой и выпучивал глаза. И смотрел на всех. Люди смеялись и продолжали не верить.

— Ну, ну?

— Она этому товарищу говорит: «Ну хорошо, говорит, идите. Мы разберемся». А кабинет!.. Ну, ё-мое, наверно, у министров такие: кругом мягкие креслы, диваны, на стенах картины... «Вы откуда?» — спрашивает. Я объяснил. «Так, так,— говорит.— Как же это вы так?» А сама на меня смо-отрит, смо-отрит... До-олго смотрела.

Еще потому не верили земляки Саньке, что смотреть-то на него, да еще, как он уверяет, долго, да еще городской женщине — зачем, господи?! Чего там высматривать-то? Длинный, носатый, весь в морщинах раньше времени... Догадывались, что Саня потому и выдумал эту историю, чтобы хоть так отыграться за то, что деревенские девки его не любили.

— Ну-ну, Саня? Дальше?

Дальше Санька бил в самое дыхало; история начинала звенеть и искриться, как та стенка в ресторане...

— Дальше мы едем с ней в ее трехкомнатную квартиру и гужуемся. Три дня! Я просыпаюсь, от так от шарю возле кровати, нахожу бутылку шампанского — бульбуль-буль!.. Она мне: «Ты бы хоть из фужера, Санек, вон же фужеров полно!» Я говорю: «Имел я в виду эти фужеры!» Гужуемся три дня и три ночи! Как во сне жил. Она на работу вечером сходит, я пока один в квартире. Ванну принимаю, в туалете сижу... Ванна отделана голубым кафелем, туалет — желтым. Все блестит, мебель вся лакирована. Я сперва с осторожностью относился, она заметила, подняла насмех. «Брось ты, говорит, Санек! Надо, чтоб вещи тебе служили, а не ты вещам. Что же, говорит, я все это с собой, что ли, возьму?» Шторы такие зеленые, с листочками... Задернешь — полумрак такой в комнатах. Кто-нибудь спал из вас в спальне из карельской березы? Мы же фраера! Мы думаем, что спать на панцирной сетке — это мечта жизни. Счас я себе делаю кровать из простой березы... город давно уже перешел на деревянные кровати. Если ты каждый день получаешь гигантский стресс, то выспаться-то ты должен!

— Ну, ну, Сань?

— Так проходят эти три дня. Вечером она привозит на такси курочек, разные заливные... Они мне сигналют, я спускаюсь, беру переносной такой холодильничек, несу... И мы опять гужуемся. Включаем радиолу на малую громкость, попиваем шампанское... Чего только моя левая нога захочет, я то немедленно получаю. Один раз я говорю: «А вот я видел в кино: наливает человек немного виски в стакан, потом туда из сифончика... Ты можешь так?» — «Это, говорит, называется виски с содовой. Сифон у меня есть, виски счас привезут». Точно, минут через пятнадцать привезли виски. Они мне, кстати, не поглянулись. Я пил водку с содовой. От так от нажимаешь курóчек на сифончике, оттуда как даст в стакан... Прелесть.

— А как со стеклом-то?

— С каким стеклом?

— Ну, разбил-то...

— А-а. А никак. Она меня потом разглядывала всего и удивлялась: «Как ты, говорит, не порезался-то?» А мотоцикл — я ей деньги отдал, мне его прямо к подъезду подкатили...

Вот такая история случилась будто бы с Санькой Журавлевым. Из всего этого несомненной правдой было: Санька в самом деле ездил в город; не было его три дня; мотоцикл привез именно такой, какой хотел и на какой брал деньги; лишних денег у него с собой не было. Это все правда. В остальное односельчане никак не могли поверить. Санька нервничал, злился... Говорил мужикам про такие поганые подробности, каких со зла не выдумаешь. Но считали, что всего этого Санька где-то наслышался.

— Ну, ё-мое! — психовал Санька.— Да где же я эти три дня был-то?! Где?!

— Может, в вытрезвителе.

— Да как я в вытрезвитель-то попаду?! Как? У меня лишнего рубля не было!

— Ну, это... Свинья грязи найдет.

— Иди найди! Иди хоть пятак найди за так-то. На что же бы я жил-то три дня?

Этого не могли объяснить. Но и в пышного директора ресторана и в ее трехкомнатную квартиру — тоже не могли поверить. Это уж черт знает что такое — таких дур и на свете-то не бывает.

— Дистрофики! — обзывал всех Санька.— Жуки на-

возные. Что вы понимаете-то? Ну, что вы можете понимать в современной жизни?

Слушал как-то эту историю Егорка Юрлов, мрачноватый, бесстрашный парень, шофер совхозный. Дослушал до конца, усмехнулся ядовито. К нему все повернулись, потому что его мнение — как-то так повелось — уважали. И, надо сказать, он и вправду был парень неглупый.

— Что скажешь, Егорка?

— Версия,— кратко сказал Егорка.

— Какая версия? — не понял Санька.

— Что ты дурачка-то из себя строишь? — прямо спросил Егорка.— Чего ты людей в заблуждение вводишь?

Санька аж побелел... Думали, что они подерутся. Но Санька прищемил обиду зубами. И тоже прямо спросил:

— У тебя машина на ходу?

— Зачем?

— Я спрашиваю: у тебя машина на ходу? — Санька угрожающе придвинулся к Егорке.— Ну?

Егорка подождал, не кинется ли на него Санька; подождал и ответил:

— На ходу.

— Поедем,— приказным голосом сказал Санька.— Надоела мне эта комедия: им рассказываешь, как добрым, а они, стерва, хаханьки строют. Поедем к ней, я покажу тебе, как живут люди в двадцатом веке. Предупреждаю: без моего разрешения никого не лапать и не пить дорогое вино стаканами. Возможно, там соберется общество — может, подруги ее придут. Кто еще хочет ехать, фраера? — Саньку повело на спектакль — он любил иногда «выступить», но при всем том... При всем том он предлагал проверить, правду ли он говорит или врет. Это серьезно.

Егорка, не долго думая, сказал:

— Поехали.

— Кто еще хочет? — еще раз спросил Санька.

Никто больше не пожелал ехать. История сама по себе довольно темная, да еще два таких едут... Недолго и того... угореть.

А Санька с Егоркой поехали.

Дорогой еще раз ругнулись. Санька опять начал учить Егорку, чтоб он никого не лапал в городе и не пил дорогое вино стаканами.

— А то я ж вас знаю...

— Да пошел ты к такой-то матери! — обозлился Егорка.— Строит из себя, сидит... «Я — ва-ас...» Кого это «вас»-то? А ты-то кто такой?

— Я тебя учу, как лучше ориентироваться в новой обстановке, понял?

— Научи лучше себя — как не трепаться. Не врать. А то звону наделал... Счас, если приедем и там никакой трехкомнатной квартиры не окажется,— Егорка постучал пальцем по рулю,— обратно пойдешь пешком.

— Ладно. Но если все будет, как я говорил, я те... Ты принародно, в клубе, скажешь со сцены: «Товарищи, зря мы не верили Саньке Журавлеву — он не врал». Идет?

— Едет,— буркнул мрачный Егорка.

— Черти! — в сердцах сказал Санька.— Сами живут... как при царе Горохе, и других не пускают.

Приехали в город засветло.

«Направо», «Налево», «Прямо!» — командовал Санька. Он весь подсобрался, в глазах появилась решимость: он слегка трусил. Егорка искоса взглядывал на него, послушно поворачивал «влево», «вправо»... Он видел, что Санька вибрирует, но помалкивал. У него у самого сердце раза два сжалось в недобром предчувствии.

— Узнаю ресторан «Колос»,— торжественно сказал Санька.— Тут, по-моему, опять налево. Да, иди налево.

— Адрес-то не знаешь, что ли?

— Адресов я никогда не помнил — на глаз лучше всего.

Еще покрутились меж высоких спичечных коробков, поставленных стоймя... И подъехали к одному, и остановились.

— Вот он подъездик,— негромко сказал Санька.— Голубенький, с козырьком.

Посидели немного в кабине.

— Ну? — спросил Егорка.

— Счас... Она, наверно, на работе,— неуверенно сказал Санька.— Сколько счас?

— Без двадцати девять.

— У нее самый разгар работы...

— Ну-у... начинается. Уже очко работает?

— Пошли! — скомандовал Санька.— Пошли, теленочек, пошли. Если дома нет, поедем в ресторан.

Поднялись на четвертый этаж пешком...

— Так,— сказал Санька. Он волновался.— Следи за

мной: как я, так и ты, но малость скромнее. Как будто ты мой бедный родственник... Фу! Волнуюсь, стерва. А чего волнуюсь? Упэред! — И он нажал беленький пупочек звонка.

За дверью из тишины послышались остренькие шажочки...

— Паркет, знаешь, какой!..— успел шепнуть Санька.

В двери очень долго поворачивался и поворачивался ключ — может, не один?

Санька нервно подмигнул Егорке.

Наконец дверь приоткрылась... Санька растянул большой рот в улыбке, хотел двинуть дверь, чтоб она распахнулась приветливее, но она оказалась на цепочке.

— Кто это? — тревожно и недовольно спросили из-за двери. Женщина спросила.

— Ира... это я! — сказал Санька ненатуральным голосом. И улыбку растянул еще шире. Можно сказать, что на лице его в эту минуту были — нос и улыбка, остальное — морщины.

— Боже мой! — зло и насмешливо сказал голос за дверью (Егорка не видел из-за Саньки лица женщины), и дверь захлопнулась и резко, сухо щелкнула.

Санька ошалел... Посмотрел растерянно на Егорку.

— Ё-мое! — сказал он.— Она что, озверела?

— Может, не узнала? — без всякого ехидства подсказал Егорка.

Санька еще раз нажал на белый пупочек. За дверью молчали. Санька давил и давил на кнопочку. Наконец послышались шаги — тяжелые, мужские. Дверь опять открылась, но опять мешал цепок. Выглянуло розовое мужское лицо. Мужчина боднул строгим взглядом Саньку... Потом глаза его обнаружили мрачноватого Егорку и — быстро-быстро,— поискали, нет ли еще кого? И, стараясь, чтоб вышло зло и страшно, спросил:

— В чем дело?

— Позови Ирину,— сказал Санька.

Мужчина мгновенье решал, как поступить... Из глубины квартиры ему что-то сказали. Мужчина резко захлопнул дверь. Санька тут же нажал на кнопку звонка и не отпускал. Дверь опять раскрылась.

— Что, выйти накостылять, что ли?! — уже всерьез злобно сказал мужчина.

Санька подставил ногу под дверь, чтобы мужчина не сумел ее закрыть.

— Выйди на минутку,— сказал он.— Я спрошу кое-что.

Мужчина чуть отступил и всем телом ринулся на дверь... Санька взвыл. Егорка с той стороны — точно так, как тот за дверью — откачнулся и саданул дверь плечом. Санька выдернул ногу и тоже навалился плечом на дверь.

— Семен! — заполошно крикнул мужчина.

Пока Семен бежал в тапочках на зов товарища, молодые деревенские бычки поднатужились тут... Цепочка лопнула.

— Руки вверх! — заорал Санька, ввалившись в коридор.

Мужчина с розовым лицом попятился от них... Мужчина в тапочках тоже резко осадил бег. Но тут вперед с визгом вылетела коротконогая женщина с могучим торсом.

— Вон-он! — Странно, до чего она была легкая при своей тучности, и до чего же пронзительно она визжала.— Вон отсюда, сволочи!! Звоните в милицию! Я звоню в милицию! — Женщина так же легко ускакала звонить.

— Пошли, Санька,— сказал Егорка.

Санька не знал, как подумать про все это.

— Пошли,— еще сказал Егор.

— Нет, не пошли-и,— свирепо сказал розоволицый. И стал надвигаться на Саньку.— Нет, не пошли-и... Так просто, да? Семен, заходи-ка с той стороны. Окружай хулиганов!

Человек в тапочках пошел было окружать. Но тут вернулся от двери Егор...

...Из «окружения» наши орлы вышли, но получили по пятнадцать суток. А у Егорки еще и права на полгода отняли — за своевольную поездку в город. Странно, однако, что деревенские после всего этого в Санькину историю полностью поверили. И часто просили рассказать, как он гужевался в городе три дня и три ночи. И смеялись.

Не смеялся только Егорка: без машины стал меньше зарабатывать.

— Дурак — поперся,— ворчал он.— На кой черт?

— Егор, а как баба-то? Правда, что ли, шибко красивая?

— Да я и разглядеть-то не успел как следует: прыгал какой-то буфет по квартире...

— А квартира-то, правда, что ли, такая шикарная?
— Квартира шикарная. Квартиру успел разглядеть. Квартира шикарная.
Санька долго еще ходил по деревне героем.

● ГОРЕ

Бывает летом пора: полынь пахнет так, что сдуреть можно. Особенно почему-то ночами. Луна светит, тихо... Неспокойно на душе, томительно. И думается в такие огромные, светлые, ядовитые ночи вольно, дерзко, сладко. Это даже — не думается, что-то другое: чудится, ждется, что ли. Притаишься где-нибудь на задах огородов, в лопухах,— сердце замирает от необъяснимой, тайной радости. Жалко, мало у нас в жизни таких ночей.

Одна такая ночь запомнилась мне на всю жизнь.

Было мне лет двенадцать. Сидел я в огороде, обхватив руками колени, упорно, до слез смотрел на луну. Вдруг услышал: кто-то невдалеке тихо плачет. Я оглянулся и увидел старика Нечая, соседа нашего. Это он шел, маленький, худой, в длинной холщовой рубахе. Плакал и что-то бормотал неразборчиво.

У дедушки Нечаева три дня назад умерла жена, тихая, безответная старушка. Жили они вдвоем, дети разъехались. Старушка Нечаева, бабка Нечаиха, жила незаметно и умерла незаметно. Узнали поутру: «Нечаиха-то... гляди-ко, сердешная»,— сказали люди. Вырыли могилку, опустили бабку Нечаиху, зарыли — и все. Я забыл сейчас, как она выглядела. Ходила по ограде, созывала кур: «Цып-цып-цып». Ни с кем не ругалась, не заполошничала по деревне. Была — и нету, ушла.

...Узнал я в ту светлую, хорошую ночь, как тяжко бывает одинокому человеку. Даже когда так прекрасно вокруг, и такая теплая, родная земля, и совсем не страшно на ней.

Я притаился.

Длинная, ниже колен, рубаха старика ослепительно белела под луной. Он шел медленно, вытирал широким рукавом глаза. Мне его было хорошо видно. Он сел неподалеку.

— Ничо... счас маленько уймусь... мирно побеседуем,— тихо говорил старик и все не мог унять слезы.—

Третий день маюсь — не знаю, куда себя деть. Руки опустились... хошь што делай.

Помаленьку он успокоился.

— Шибко горько, Парасковья: пошто напоследок-то ничо не сказала? Обиду, што ль, затаила какую? Сказала бы — и то легше. А то — думай теперь... Охо-хо...— Помолчал.— Ну, обмыли тебя, нарядили — все, как у добрых людей. Кум Сергей гроб сколотил. Поплакали. Народу, правда, не шибко много было. Кутью варили. А положили тебя с краешку, возле Дадовны. Место хорошее, сухое. Я и себе там приглядел. Не знаю вот, што теперь одному-то делать? Может, уж заколотить избенку да к Петьке уехать?.. Опасно: он сам ничо бы, да бабенка-то у его... сама знаешь: и сказать не скажет, а кусок в горле застрянет. Вот беда-то!.. Чего посоветуешь?

Молчание.

Я струсил. Я ждал, вот-вот заговорит бабка Нечаиха своим ласковым, терпеливым голосом.

— Вот гадаю,— продолжал дед Нечай,— куда приткнуться? Прям хошь петлю накидывай. А этто вчерашной ночью здремнул маленько, вижу: ты вроде идешь по ограде, яички в сите несешь. Я пригляделся, а это не яички, а цыпляты живые, маленькие ишо. И ты вроде начала их по одному исть. Ешь да ишо прихваливаешь... Страсть господня! Проснулся... Хотел тебя разбудить, а забыл, что тебя — нету. Парасковьюшка... язви тя в душу!..— Дед Нечай опять заплакал. Громко. Меня мороз по коже продрал — завыл как-то, как-то застонал протяжно: — Э-э-э... у-у... Ушла?.. А не подумала: куда я теперь? Хошь бы сказала: я бы доктора из города привез... вылечиваются люди. А то ни слова, ни полслова — вытянулась! Так и я сумею...— Нечай высморкался, вытер слезы, вздохнул.— Чижало там, Парасковьюшка? Охота, поди, сюда? Снишься-то. Снись хошь почаще... только нормально. А то цыпляты какие-то...— черт-те чего. А тут...— Нечай заговорил шепотом, я половину не расслышал.— Грешным делом хотел уж... А чего? Бывает, закапывают, я слыхал. Закопали бабу в Краюшкино... стонала. Выкопали... Эти две ночи ходил, слушал: вроде тихо. А то уж хотел... Сон, говорят, наваливается какой-то страшенный — и все думают, што помер человек, а он не помер, а — сонный...

Тут мне совсем жутко стало. Я ползком-ползком —

да из огорода. Прибежал к деду своему, рассказал все. Дед оделся, и мы пошли с ним на зады.

— Он сам с собой или вроде как с ней разговаривает? — расспрашивал дед.

— С ей. Советуется, как теперь быть...

— Тронется ишо, козел старый. Правда пойдет выкопает. Может, пьяный?

— Нет, он пьяный поет и про бога рассказывает.— Я знал это.

Нечай, заслышав наши шаги, замолчал.

— Кто тут? — строго спросил дед.

Нечай долго не отвечал.

— Кто здесь, я спрашиваю?

— А чего тебе?

— Ты, Нечай?

— Но...

Мы подошли. Дедушка Нечай сидел, по-татарски скрестив ноги, смотрел снизу на нас — был очень недоволен.

— А ишо кто тут был?

— Иде?

— Тут... Я слышал, ты с кем-то разговаривал.

— Не твое дело.

— Я вот счас возьму палку хорошую и погоню домой, чтоб бежал и не оглядывался. Старый человек, а с ума сходишь... Не стыдно?

— Я говорю с ей и никому не мешаю.

— С кем говоришь? Нету ее, не с кем говорить! Помер человек — в земле.

— Она разговаривает со мной, я слышу,— упрямился Нечай.— И нечего нам мешать. Ходют тут, подслушивают...

— Ну-ка, пошли.— Дед легко поднял Нечая с земли.— Пойдем ко мне, у меня бутылка самогонки есть, счас выпьем — полегчает.

Дедушка Нечай не противился.

— Чижало, кум,— силов нету.— Он шел впереди, спотыкался и все вытирал рукавом слезы. Я смотрел сзади на него, маленького, убитого горем, и тоже плакал — неслышно, чтоб дед подзатыльника не дал. Жалко было дедушку Нечая.

— А кому легко? — успокаивал дед.— Кому же легко родного человека в землю зарывать? Дак если бы все ложились с ими рядом от горя, што было бы? Мне уж

теперь сколько раз надо бы ложиться? Терпи. Скрепись и терпи.

— Жалко.

— Конешно, жалко... кто говорит. Но вить ничем теперь не поможешь. Изведешься, и все. И сам ноги протянешь. Терпи.

— Вроде, соображаю, а... запеклось вот здесь все — ничем не размочишь. Уж пробовал — пил: не берет.

— Возьмет. Петька-то чего не приехал? Ну, тем вроде далеко, а этот-то?..

— В командировку уехал. Ох, чижало, кум!.. Сроду не думал...

— Мы всегда так: живет человек — вроде так и надо. А помрет — жалко. Но с ума от горя сходить — это тоже... дурость.

Не было для меня в эту минуту ни ясной, тихой ночи, ни мыслей никаких, и радость непонятная, светлая умерла. Горе маленького старика заслонило прекрасный мир. Только помню: все так же резко, горько пахло полынью.

Дед оставил Нечая у нас. Они легли на полу, накрылись тулупом.

— Я тебе одну историю расскажу,— негромко стал рассказывать мой дед.— Ты вот не воевал — не знаешь, как там было... Там, брат... похуже дела были. Вот какая история: я санитаром служил, раненых в тыл отвозили. Едем раз. А студебеккер наш битком набитый. Стонают, просют потише... А шофер, Миколай Игринев, годок мне, и так уж старается поровней ехать, медлить шибко тоже нельзя: отступаем. Ну, подъезжаем к одному развилку, впереди легковуха. Офицер машет: стой, мол. А у нас приказ строго-настрого: не останавливаться, хоть сам черт с рогами останавливай. Оно правильно: там сколько ишо их, сердешных, лежат, ждут. Да хоть бы наступали, а то отступаем. Ну, проехали. Легковуха обгоняет нас, офицер поперек дороги — с наганом. Делать нечего, остановились. Оказалось, офицер у их чижалораненый, а им надо в другую сторону. Ну, мы с тем офицером, который наганом-то махал, кое-как втиснули в кузов раненого. Миколай в кабинке сидел: с им там тоже капитан был — совсем тоже плохой, почесть лежал; Миколай-то одной рукой придерживал его, другой рулил. Ну, уместились кое-как. А тот, какого подсадили-то, часует, бедный. Голова в крове, все позасохло. Подумал ишо тогда: не довезем. А парень молодой, лейтенант, только брить-

ся, наверно, начал. Я голову его на коленки к себе взял — хоть поддержать маленько, да кого там!.. Доехали до госпиталя, стали снимать раненых...— Дед крякнул, помолчал. Закурил.— Миколай тоже стал помогать... Подал я ему лейтенанта-то... «Всё, говорю, кончился». А Миколай посмотрел на лейтенанта, в лицо-то... Кхэх...— Опять молчание. Долго молчали.

— Неужто сын? — тихо спросил дед Нечай.

— Сын.

— Ох ты, господи!

— Кхм...— Мой дед швыркнул носом. Затянулся вчастую раз пять подряд.

— А потом-то што?

— Схоронили... Командир Миколаю отпуск на неделю домой дал. Ездил. А жене не сказал, што сына схоронил. Документы да ордена спрятал, пожил неделю и уехал.

— Пошто не сказал-то?

— Скажи!.. Так хоть какая-то надежа есть — без вести и без вести, а так... совсем. Не мог сказать. Сколько раз, говорит, хотел и не мог.

— Господи, господи,— опять вздохнул дед Нечай.— Сам-то хоть живой остался?

— Микола? Не знаю, нас раскидало потом по разным местам... Вот какая история. Сына! — легко сказать. Да молодого такого...

Старики замолчали.

В окна все лился и лился мертвый торжественный свет луны. Сияет!.. Радость ли, горе ли тут — сияет!

● МАСТЕР

Жил-был в селе Чебровка некто Семка Рысь, забулдыга, непревзойденный столяр. Длинный, худой, носатый — совсем не богатырь на вид. Но вот Семка снимает рубаху, остается в одной майке, выгоревшей на солнце... И тогда-то, когда он, поигрывая топориком, весело лается с бригадиром, тогда-то видна вся устрашающая сила и мощь Семки. Она — в руках. Руки у Семки не комкастые, не бугристые, они — ровные от плеча до лапы, толстые, словно литые. Красивые руки. Топорик в них — игрушечный. Кажется, не знать таким рукам усталости, и Семка так, для куража, орет:

— Што мы тебе — машины? Тогда иди заведи меня — я заглох. Но сзади подходи осторожней — лягаюсь!

Семка не злой человек. Но ему, как он говорит, «остолбенело все на свете», и он транжирит свои «лошадиные силы» на что угодно — поорать, позубоскалить, нашкодить где-нибудь — милое дело.

— У тебя же золотые руки! — скажут ему.— Ты бы мог знаешь как жить!.. Ты бы как сыр в масле катался...

— А я не хочу, как сыр в масле. Склизко.

Он всю зарплату отдавал семье. Выпивал только на то, что зарабатывал слева. Он мог такой шкаф изладить, что у людей глаза разбегались. Приезжали издалека, просили сделать, платили большие деньги. Его даже писатель один, который отдыхал летом в Чебровке, возил с собой в областной центр, и он ему там оборудовал кабинет... Кабинет они оба додумались подогнать под деревенскую избу (писатель был из деревни, тосковал по родному).

— Во, дурные деньги-то! — изумлялись односельчане, когда Семка рассказал, какую они избу уделали в современном городском доме.— 16-й век!

— На паркет настелили плах, обстругали их — и все, даже не покрасили. Стол — тоже из досок сколотили, вдоль стен — лавки, в углу — лежак. На лежаке никаких матрасов, никаких одеял... Лежат кошма и тулуп — и все. Потолок паяльной лампой закоптили — вроде по-черному топится. Стены горбылем обшили...

Сельские люди только головами качали.

— Делать нечего дуракам.

— Шестнадцатый век,— задумчиво говорил Семка.— Он мне рисунки показывал, я все по рисункам делал.

Между прочим, когда Семка жил у писателя в городе, он не пил, читал разные книги про старину, рассматривал старые иконы, прялки... Этого добра у писателя было навалом.

В то же лето, как побывал Семка в городе, он стал приглядываться к церковке, которая стояла в деревне Талице, что в трех верстах от Чебровки. В Талице от двадцати дворов осталось восемь. Церковка была закрыта давно. Каменная, небольшая, она открывалась взору — вдруг, сразу за откосом, который огибала дорога в Талицу... По каким-то соображениям те давние люди не поставили ее на возвышение, как принято, а поставили

внизу, под откосом. Еще с детства помнил Семка, что если идешь в Талицу и задумаешься, то на повороте, у косогора вздрогнешь,— внезапно увидишь церковь, белую, легкую среди тяжкой зелени тополей.

В Чебровке тоже была церковь, но явно позднего времени, большая, с высокой колокольней. Она тоже давно была закрыта и дала в стене трещину. Казалось бы — две церкви, одна большая, на возвышении, другая спряталась где-то под косогором — какая должна выиграть, если сравнить? Выигрывала маленькая, под косогором. Она всем брала: и что легкая, и что открывалась глазам внезапно... Чебровскую видно было за пять километров — на то и рассчитывали строители. Талицкую как будто нарочно спрятали от праздного взора, и только тому, кто шел к ней, она являлась вся, сразу...

Как-то в выходной день Семка пошел опять к талицкой церкви. Сел на косогор, стал внимательно смотреть на нее. Тишина и покой кругом. Тихо в деревне. И стоит в зелени белая красавица — столько лет стоит! — молчит. Много-много раз видела она, как восходит и заходит солнце, полоскали ее дожди, заносили снега... Но вот — стоит. Кому на радость? Давно уж истлели в земле строители ее, давно распалась в прах та умная голова, что задумала ее такой, и сердце, которое волновалось и радовалось, давно есть земля, горсть земли. О чем же думал тот неведомый мастер, оставляя после себя эту светлую каменную сказку? Бога ли он величил или себя хотел показать? Но кто хочет себя показать, тот не забирается далеко, тот норовит поближе к большим дорогам или вовсе — на людную городскую площадь — там заметят. Этого заботило что-то другое — красота, что ли? Как песню спел человек, и спел хорошо. И ушел. Зачем надо было? Он сам не знал. Так просила душа. Милый, дорогой человек!.. Не знаешь, что и сказать тебе — туда, в твою черную жуткую тьму небытия — не услышишь. Да и что тут скажешь? Ну,— хорошо, красиво, волнует, радует... Разве в этом дело? Он и сам радовался, и волновался, и понимал, что — красиво. Что же?.. Ничего. Умеешь радоваться — радуйся, умеешь радовать — радуй... Не умеешь — воюй, командуй или что-нибудь такое делай — можно разрушить вот эту сказку: подложить пару килограммов динамита — дроболызнет, и все дела. Каждому свое.

Посмотрел Семка и заметил: четыре камня вверху,

под карнизом, не такие, как все,— блестят. Подошел поближе, всмотрелся — да, тот мастер хотел, видно, отшлифовать всю стену. А стена — восточная, и, если бы он довел работу до конца, то при восходе солнца (оно встает из-за косогора) церковка в ясные дни загоралась бы с верхней маковки, и постепенно занималась светлым огнем вся, во всю стену — от креста до фундамента. И он начал эту работу, но почему-то бросил — может, тот, кто заказывал и давал деньги, сказал: «Ладно, и так сойдет».

Семка больше того заволновался — захотел понять, как шлифовались камни? Наверно, так: сперва грубым песком, потом песочком помельче, потом — сукном или кожей. Большая работа.

В церковь можно было проникнуть через подвал — это Семка знал с детства, не раз лазал туда с ребятней. Ход в подвал, некогда закрываемый створчатой дверью (дверь давно унесли), полуобвалился, зарос бурьяном... Семка с трудом протиснулся в щель между плитой и подножными камнями и, где на четвереньках, где согнувшись в три погибели, вошел в притвор. Просторно, гулко в церкви... Легкий ветерок чуть шевелил отставший, вислый лист железа на маковке, и шорох тот, едва слышный на улице, здесь звучал громко, тревожно. Лучи света из окон рассекали затененную пустоту церкви золотыми широкими мечами.

Только теперь, обеспокоенный красотой и тайной, оглядевшись, обнаружил Семка, что между стенами и полом не прямой угол, а строгое, правильное закругление желобом внутрь. Попросту внизу вдоль стен идет каменный прикладок примерно в метре от стены у основания и в рост человеческий высотой. Наверху он аккуратно сводится на нет со стеной. Для чего он, Семка сперва не сообразил. Отметил только, что камни прикладка, хорошо отесанные и пригнанные друг к другу, внизу — темные, потом — выше — светлеют и вовсе сливаются с белой стеной. В самом верху, купол, выложен из какого-то особенного камня, и он еще, наверно, шлифован — так светло, празднично там, под куполом. А всего-то — четыре узких оконца...

Семка сел на приступку алтаря, стал думать: зачем этот каменный прикладок? И объяснил себе так: мастер убрал прямые углы — разрушил квадрат. Так как церковка маленькая, то надо было создать ощущение сво-

боды внутри, а ничто так не угнетает, не теснит душу, как клетка-квадрат. Он поэтому снизу положил камни потемней, а по мере того, как поднимал прикладок, выравнивал его со стеной,— стены, таким образом, как бы отодвинулись.

Семка сидел в церкви, пока пятно света на каменном полу не подкралось к его ногам. Он вылез из церкви и пошел домой.

На другой день Семка, сказавшись больным, не пошел на работу, а поехал в райгородок, где была действующая церковь. Батюшку он нашел дома, неподалеку от церкви. Батюшка отослал сына и сказал просто:

— Слушаю.

Темные, живые, даже с каким-то озорным блеском глаза нестарого еще попа смотрели на Семку прямо, твердо — он ждал.

— Ты знаешь талицкую церкву? — Семка почему-то решил, что с писателями и попами надо говорить на «ты».— Талица, Чебровского района.

— Талицкую?.. Чебровский район... Маленькая такая?

— Ну.

— Знаю.

— Какого она века?

Поп задумался.

— Какого? Боюсь, не соврать бы... Думаю, при Алексее Михайловиче еще... Сынок-то его не очень баловал народ храмами. Семнадцатый век, вторая половина. А что?

— Красота-то какая!..— воскликнул Семка.— Как же вы так?

Поп усмехнулся.

— Славу богу, хоть стоит пока. Красивая, да. Давно не видел ее, но помню. Внизу, кажется?..

— А кто делал, неизвестно?

— Это надо у митрополита узнать. Этого я не могу сказать.

— Но ведь у вас же есть деньги! Есть ведь?

— Ну, допустим.

— Да не допустим, а есть. Вы же от государства отдельно теперь...

— Ты это к чему?

— Отремонтируйте ее — это же чудо! Я возьмусь от-



ремонтировать. За лето сделаю. Двух-трех помощников мне — до холодов сделаем. Платите нам рублей по...

— Я, дорогой мой, такие вопросы не решаю. У меня тоже есть начальство... Сходи к митрополиту! — Поп сам тоже заволновался.— Сходи, а чего! Ты веруешь ли?

— Да не в этом дело. Я, как все, а то и похуже — пью. Мне жалко — такая красота пропадает. Ведь сейчас же восстанавливают...

— Восстанавливает государство.
— Но у вас же тоже есть деньги!
— Государство восстанавливает. В своих целях. Ты сходи, сходи к митрополиту-то.
— А он где? Здесь разве?
— Нет, ехать надо.
— В область?
— В область.
— У меня с собой денег нет. Я только до тебя ехал...
— А я дам. Ты откуда будешь-то?
— Из Чебровки, столяр, Семен Рысь...
— Вот, Семен,— съезди-ка! Он у нас человек... умница... Расскажи ему все. Ты от себя только?
— Как «от себя»? — не понял Семка.
— Сам ко мне-то или выбрали да послали?
— Сам.
— Ну все равно — съезди! А пока ты будешь ехать, я ему позвоню — он уже будет знать, что к чему, примет тебя.
Семен подумал немного.
— Давай! Я потом тебе вышлю.
— Потом договоримся. От митрополита заезжай снова ко мне, расскажешь.
Митрополит, крупный, седой, вечно трезвый старик, с неожиданно тоненьким голоском, принял Семку радушно.
— Звонил мне отец Герасим... Ну, расскажи, расскажи, как тебя надоумило храм ремонтировать?
Семка отхлебнул из красивой чашки горячего чаю.
— Да как?.. Никак. Смотрю — красота какая! И никому не нужна!..
Митрополит усмехнулся.
— Красивая церковь, я ее знаю. При Алексее Михайловиче, да. Кто архитектор, пока не знаю. Можно узнать. А земли были бояр Борятинских... Тебе зачем мастера-то знать?
— Да так, интересно. С большой выдумкой человек!
— Мастер большой, потом выясним, кто. Ясно, что он знал владимирские храмы, московские...
— Ведь до чего додумался!..— И Семка стал рассказывать, как ему удалось разгадать тайну старинного мастера.
Митрополит слушал, кивал головой, иногда говорил: «Ишь ты!» А попутно Семка выкладывал и свои соображения: стену ту, восточную, отшлифовать, как и хотел

мастер, маковки обшить и позолотить, и в верхние окна вставить цветные стекла — тогда под куполом будет такое сияние, такое сияние!.. Мастер туда подобрал какой-то особенный камень, наверно с примесью слюды... И если еще оранжевые стекла всадить...

— Все хорошо, все хорошо, сын мой,— перебил митрополит.— Вот скажи мне сейчас: разрешаем вам ремонтировать талицкую церковь. Назовите, кому вы поручаете это сделать? Я, не моргнув глазом, называю: Семен Рысь, столяр из Чебровки. Только... не разрешат мне ее ремонтировать, вот какое дело, сын мой. Грустное дело.

— Почему?

— Я тоже спрошу: «Почему?» А они меня спросят: «А зачем?» Сколько дворов в Талице? Это уже я спрашиваю...

— Да в Талице-то мало...

— Дело даже не в этом. Какая же это будет борьба с религией, если они начнут новые приходы открывать? Ты подумай-ка.

— Да не надо в ней молиться! Есть же всякие музеи...

— Вот музеи-то — как раз дело государственное, не наше.

— И как же теперь?

— Я подскажу как. Напишите миром бумагу: так, мол, и так — есть в Талице церковь в запустении. Нам она представляется ценной не с точки зрения религии...

— Не написать нам сроду такой бумаги. Ты сам напиши.

— Я не могу. Найдите, кто сумеет написать. А то и — сами, своими словами... даже лучше...

— Я знаю! У меня есть такой человек! — Семка вспомнил про писателя.

— И с той бумагой — к властям. В облисполком. А уж они решат. Откажут, пишите в Москву... Но раньше в Москву не пишите, дождитесь, пока здесь откажут. Оттуда могут прислать комиссию...

— Она бы людей радовала — стояла!..

— Таков мой совет. А что говорил с нами, про это не пишите. И не говори нигде. Это только испортит дело. Прощай, сын мой. Дай бог удачи.

Семка, когда уходил от митрополита, отметил, что живет митрополит — дай бог! Домина — комнат, наверно, из восьми... Во дворе «Волга» стоит. Это неприятно уди-

вило Семку. И он решил, что действительно лучше всего иметь дело с родной Советской властью. Эти попы темнят чего-то... И хочется им, и колется, и мамка не велит.

Но сперва Семка решил сходить к писателю. Нашел его дом... Писателя дома не было.

— Нет его,— резковато сказала Семке молодая полная женщина и захлопнула дверь. Когда он отделывал здесь «избу 16-го века», он что-то не видел этой женщины. Ему страсть как захотелось посмотреть «избу». Он позвонил еще раз.

— Я сама! — услышал он за дверью голос женщины. И дверь опять открылась...

— Ну? Что еще?

— Знаете, я тут отделывал кабинет Николая Ефимыча... охота глянуть...

— Боже мой! — негромко воскликнула женщина. И закрыла дверь.

«По-моему, он дома,— догадался Семка.— И, по-моему, у них идет крупный разговор».

Он немного подождал в надежде, что женщина проговорится в сердцах: «Какой-то идиот, который отделывал твой кабинет», и писатель, может быть, выйдет сам. Писатель не вышел. Наверно, его, правда, не было.

Семка пошел в облисполком.

К председателю облисполкома он попал сразу и довольно странно. Вошел в приемную, секретарша накинулась на него:

— Почему же опаздываете?! То обижаются — не принимают, а то самих не дождешься. Где остальные?

— Там,— сказал Семка.— Идут.

— Идут.— Секретарша вошла в кабинет, побыла там короткое время, вышла и сказала сердито: — Проходите.

Семка прошел в кабинет... Председатель пошел ему навстречу — здороваться.

— А шуму-то наделали, шуму-то! — сказал он хоть с улыбкой, но и с укоризной тоже.— Шумим, братцы, шумим? Здравствуйте!

— Я насчет церкви,— сказал Семка, пожимая руку председателя.— Она меня перепутала, ваша помощница. Я один... насчет церкви...

— Какой церкви?

— У нас, не у нас, в Талице, есть церква семнадцатого века. Красавица необыкновенная! Если бы ее отре-

монтировать, она бы... Не молиться, нет! Она ценная не с религиозной точки. Если бы мне дали трех мужиков, я бы ее до холодов сделал.— Семка торопился, потому что не выносил, когда на него смотрят с недоумением. Он всегда нервничал при этом.— Я говорю, есть в деревне Талица церква,— стал он говорить медленно, но уже раздражаясь.— Ее необходимо отремонтировать, она в запустении. Это — гордость русского народа, а на нее все махнули рукой. А отремонтировать, она будет стоять еще триста лет и радовать глаз и душу.

— Мгм,— сказал председатель.— Сейчас разберемся.— Он нажал кнопку на столе. В дверь заглянула секретарша.— Попросите сюда Завадского. Значит, есть у вас в деревне старая церковь, она показалась вам интересной как архитектурный памятник семнадцатого века. Так?

— Совершенно точно! Главное, не так уж много там и делов-то: перебрать маковки, кое-где поддержать камни, может, растягу вмонтировать — повыше, крестом...

— Сейчас, сейчас... у нас есть товарищ, который как раз этим делом занимается. Вот он.

В кабинет вошел молодой еще мужчина, красивый, с волнистой черной шевелюрой на голове и с ямочкой на подбородке.

— Игорь Александрович, займитесь, пожалуйста, с товарищем — по вашей части.

— Пойдемте,— предложил Игорь Александрович.

Они пошли по длинному коридору, Игорь Александрович впереди, Семка сзади на полшага.

— Я сам не из Талицы, из Чебровки, Талица от нас...

— Сейчас, сейчас,— покивал головой Игорь Александрович не оборачиваясь.— Сейчас во всем разберемся.

«Здесь, вообще-то, время зря не теряют»,— подумал Семка.

Вошли в кабинет... Кабинет победней, чем у председателя,— просто комната, стол, стул, чертежи на стенах, полка с книгами.

— Ну? — сказал Игорь Александрович. И улыбнулся.— Садитесь и спокойно все расскажите.

Семка начал все подробно рассказывать. Пока он рассказывал, Игорь Александрович, слушая его, нашел на книжной полке какую-то папку, полистал, отыскал нужное и, придерживая ладонью, чтобы папка не закрылась, стал заметно проявлять нетерпение. Семка заметил это.

— Все? — спросил Игорь Александрович.

— Пока все.

— Ну, слушайте. Талицкая церковь. Н-ской области. Чебровского района,— стал читать Игорь Александрович.— Так называемая — на крови. Предположительно семидесятые-девяностые годы 17-го века. Кто-то из князей Борятинских погиб в Талице от руки недруга...— Игорь Александрович поднял глаза от бумаги, высказал предположение: — Возможно, передрались пьяные братья или кумовья. Итак, значит... погиб от руки недруга, и на том месте поставлена церковь. Архитектор неизвестен. Как памятник архитектуры ценности не представляет, так как ничего нового для своего времени, каких-то неожиданных решений или поиска таковых автор здесь не выказал. Более или менее точная копия владимирских храмов. Останавливают внимание размеры церкви, но и они продиктованы соображениями не архитектурными, а, очевидно, материальными возможностями заказчика. Перестала действовать в 1925 году.

— Вы ее видели? — спросил Семка.

— Видел. Это,— Игорь Александрович показал страничку казенного письма в папке,— ответ на мой запрос. Я тоже, как вы, обманулся...

— А внутри были?

— Был, как же. Даже специалистов наших областных возил...

— Спокойно! — зловеще сказал Семка.— Што сказали специалисты? Про прикладок...

— Вдоль стен? Там, видите, какое дело: Борятинские увлекались захоронениями в самом храме и основательно раздолбали фундамент. Церковь, если вы заметили, слегка покосилась на один бок. Какой-то из поздних потомков их рода прекратил это. Сделали вот такой прикладок... Там, если обратили внимание,— надписи на прикладке — в тех местах, где внизу захоронения.

Семка чувствовал себя обескураженным.

— Но красота-то какая! — попытался он упорствовать.

— Красивая, да.— Игорь Александрович легко поднялся, взял с полки книгу, показал фотографию храма.— Похоже?

— Похоже...

— Это владимирский храм Покрова. Двенадцатый век. Не бывали во Владимире?

— Я што-то не верю...— Семка кивнул на казенную бумагу.— По-моему, они вам втерли очки, эти ваши специалисты. Я буду писать в Москву.

— Так это и есть ответ из Москвы. Я почему обманулся: думал, что она тоже двенадцатого века... Я думал, кто-то самостоятельно — сам по себе, может быть, понаслышке — повторил владимирцев. Но чудес не бывает. Вас что, сельсовет послал?

— Да нет, я сам...

Домой Семен выехал в тот же день. В райгородок прибыл еще засветло и пошел к отцу Герасиму.

Отец Герасим был в церкви на службе. Семка отдал его домашним деньги, какие еще оставались, оставил себе на билет и на бутылку красного, сказал, что долг вышлет по почте... И поехал домой.

С тех пор он про талицкую церковь не заикался, никогда не ходил к ней, а если случалось ехать талицкой дорогой, он у косогора поворачивался спиной к церкви, смотрел на речку, на луга за речкой, курил и молчал. Люди заметили это, и никто не решался заговорить с ним в это время. И зачем он ездил в область, и куда там ходил, тоже не спрашивали. Раз молчит, значит, не хочет говорить об этом, значит,— зачем спрашивать?

● ЧУДИК

Жена называла его — Чудик. Иногда ласково.

Чудик обладал одной особенностью: с ним постоянно что-нибудь случалось. Он не хотел этого, страдал, но то и дело влипал в какие-нибудь истории — мелкие, впрочем, но досадные.

Вот эпизоды одной его поездки.

Получил отпуск, решил съездить к брату на Урал: лет двенадцать не виделись.

— А где блесна такая... на-подвид битюря?! — орал Чудик из кладовой.

— Я откуда знаю?

— Да вот же все тут лежали! — Чудик пытался строго смотреть круглыми иссиня-белыми глазами. — Все тут, а этой, видите ли, нету.

— На битюря похожая?

— Ну, щучья.

— Я ее, видно, зажарила по ошибке.

Чудик некоторое время молчал.

— Ну, и как?

— Что?

— Вкусная? Ха-ха-ха!.. — Он совсем не умел острить, но ему ужасно хотелось. — Зубки-то целые? Она ж — дюралевая!..

...Долго собирались — до полуночи.

А рано утром Чудик шагал с чемоданом по селу.

— На Урал! На Урал! — отвечал он на вопрос: куда это он собрался? — Проветриться надо! — При этом круглое мясистое лицо его, круглые глаза выражали в высшей степени плевое отношение к дальним дорогам — они его не пугали. — На Урал!

Но до Урала было еще далеко.

Пока что он благополучно доехал до районного города, где предстояло ему взять билет и сесть в поезд.

Времени оставалось много. Чудик решил пока накупить подарков племяшам — конфет, пряников... Зашел в продовольственный магазин, пристроился в очередь. Впереди него стоял мужчина в шляпе, а впереди шляпы — полная женщина с крашеными губами. Женщина негромко, быстро, горячо говорила шляпе:

— Представляете, насколько надо быть грубым, бестактным человеком! У него склероз, хорошо, у него уже семь лет склероз, однако никто не предлагал ему уходить на пенсию. А этот — без году неделя руководит коллективом — и уже: «Может, вам, Александр Семеныч, лучше на пенсию?» Нах-хал!

Шляпа поддакивала.

— Да, да... Они такие теперь. Подумаешь, склероз. А Сумбатыч?.. Тоже последнее время текст не держал. А эта, как ее?..

Чудик уважал городских людей. Не всех, правда: хулиганов и продавцов не уважал. Побаивался.

Подошла его очередь. Он купил конфет, пряников, три плитки шоколада. И отошел в сторонку, чтобы уложить все в чемодан. Раскрыл чемодан на полу, стал укладывать... Что-то глянул на полу-то, а у прилавка, где очередь, лежит в ногах у людей пятидесятирублевая бумажка. Этакая зеленая дурочка, лежит себе, никто ее не видит. Чудик даже задрожал от радости, глаза загорелись. Второпях, чтоб его не опередил кто-нибудь, стал

быстро соображать, как бы повеселее, поостроумнее сказать этим, в очереди, про бумажку.

— Хорошо живете, граждане! — сказал он громко и весело.

На него оглянулись.

— У нас, например, такими бумажками не швыряются.

Тут все немного поволновались. Это ведь не тройка, не пятерка — пятьдесят рублей, полмесяца работать надо. А хозяина бумажки — нет.

«Наверно, тот, в шляпе», — догадался Чудик.

Решили положить бумажку на видное место на прилавке.

— Сейчас прибежит кто-нибудь, — сказала продавщица.

Чудик вышел из магазина в приятнейшем расположении духа. Все думал, как это у него легко, весело получилось: «У нас, например, такими бумажками не швыряются!» Вдруг его точно жаром всего обдало: он вспомнил, что точно такую бумажку и еще двадцатипятирублевую ему дали в сберкассе дома. Двадцатипятирублевую он сейчас разменял, пятидесятирублевая должна быть в кармане... Сунулся в карман — нету. Туда-сюда — нету.

— Моя была бумажка-то! — громко сказал Чудик. — Мать твою так-то!.. Моя бумажка-то.

Под сердцем даже как-то зазвенело от горя. Первый порыв был пойти и сказать: «Граждане, моя бумажка-то. Я их две получил в сберкассе: одну двадцатипятирублевую, другую полусотельную. Одну, двацатипятирублевую, сейчас разменял, а другой — нету». Но только он представил, как он огорошит всех этим своим заявлением, как подумают многие: «Конечно, раз хозяина не нашлось, он и решил прикарманить». Нет, не пересилить себя — не протянуть руку за проклятой бумажкой. Могут еще и не отдать.

— Да почему же я такой есть-то? — вслух горько рассуждал Чудик.— Что теперь делать?..

Надо было возвращаться домой.

Подошел к магазину, хотел хоть издали посмотреть на бумажку, постоял у входа... И не вошел. Совсем больно станет. Сердце может не выдержать.

Ехал в автобусе и негромко ругался — набирался духу: предстояло объяснение с женой.

Сняли с книжки еще пятьдесят рублей.

Чудик, убитый своим ничтожеством, которое ему опять разъясняла жена (она даже пару раз стукнула его шумовкой по голове), ехал в поезде. Но постепенно горечь проходила. Мелькали за окном леса, перелески, деревеньки... Входили и выходили разные люди, рассказывались разные истории. Чудик тоже одну рассказал какому-то интеллигентному товарищу, когда стояли в тамбуре, курили.

— У нас в соседней деревне один дурак тоже... Схватил головешку — и за матерью. Пьяный. Она бежит от него и кричит: «Руки, кричит, руки-то не обожги, сынок!» О нем же и заботится... А он прет, пьяная харя. На мать. Представляете, каким надо быть грубым, бестактным...

— Сами придумали? — строго спросил интеллигентный товарищ, глядя на Чудика поверх очков.

— Зачем? — не понял тот.— У нас за рекой, деревня Раменское...

Интеллигентный товарищ отвернулся к окну и больше не говорил.

После поезда Чудику надо было еще лететь местным самолетом полтора часа. Он когда-то летал разок. Давно. Садился в самолет не без робости. «Неужели в нем за полтора часа ни один винтик не испортится!» — думал. Потом — ничего, осмелел. Попытался даже заговорить с соседом, но тот читал газету, и так ему было интересно, что там, в газете, что уж послушать живого человека ему не хотелось. А Чудик хотел выяснить вот что: он слышал, что в самолетах дают поесть. А что-то не несли. Ему очень хотелось поесть в самолете — ради любопытства.

«Зажилили»,— решил он.

Стал смотреть вниз. Горы облаков внизу. Чудик почему-то не мог определенно сказать: красиво это или нет? А кругом говорили, что «ах, какая красота!». Он только ощутил вдруг глупейшее желание: упасть в них, в облака, как в вату. Еще он подумал: «Почему же я не удивляюсь? Ведь подо мной чуть ли не пять километров». Мысленно отмерил эти пять километров на земле, поставил их «на попа» — чтоб удивиться, и не удивился.

— Вот человек!.. Придумал же,— сказал он соседу. Тот посмотрел на него, ничего не сказал, зашуршал опять газетой.

— Пристегнитесь ремнями! — сказала миловидная молодая женщина.— Идем на посадку.

Чудик послушно застегнул ремень. А сосед — ноль внимания. Чудик осторожно тронул его:

— Велят ремень застегнуть.

— Ничего,— сказал сосед. Отложил газету, откинулся на спинку сиденья и сказал, словно вспоминая что-то: — Дети — цветы жизни, их надо сажать головками вниз.

— Как это? — не понял Чудик.

Читатель громко засмеялся и больше не стал говорить.

Быстро стали снижаться. Вот уж земля — рукой подать, стремительно летит назад. А толчка все нет. Как потом объяснили знающие люди, летчик «промазал». Наконец толчок, и всех начинает так швырять, что послышался зубовный стук и скрежет. Это читатель с газетой сорвался с места, боднул Чудика лысой головой, потом приложился к иллюминатору, потом очутился на полу. За все это время он не издал ни одного звука. И все вокруг тоже молчали — это поразило Чудика. Он тоже молчал. Стали. Первые, кто опомнился, глянули в иллюминаторы и обнаружили, что самолет — на картофельном поле. Из пилотской кабины вышел мрачноватый летчик и пошел к выходу. Кто-то осторожно спросил его:

— Мы, кажется, в картошку сели?

— Что, сами не видите,— ответил летчик.

Страх схлынул, и наиболее веселые уже пробовали робко острить.

Лысый читатель искал свою искусственную челюсть. Чудик отстегнул ремень и тоже стал искать.

— Эта?! — радостно воскликнул он. И подал.

У читателя даже лысина побагровела.

— Почему обязательно надо руками трогать? — закричал он шепеляво.

Чудик растерялся.

— А чем же?..

— Где я ее кипятить буду?! Где?!

Этого Чудик тоже не знал.

— Поедемте со мной? — предложил он.— У меня тут брат живет. Вы опасаетесь, что я туда микробов занес? У меня их нету...

Читатель удивленно посмотрел на Чудика и перестал кричать.

В аэропорту Чудик написал телеграмму жене:

«Приземлились. Ветка сирени упала на грудь, милая Груша меня не забудь. Васятка».

Телеграфистка, строгая сухая женщина, прочитав телеграмму, предложила:

— Составьте иначе. Вы — взрослый человек, не в детсаде.

— Почему? — спросил Чудик.— Я ей всегда так пишу в письмах. Это же моя жена!.. Вы, наверно, подумали...

— В письмах можете писать что угодно, а телеграмма — это вид связи. Это открытый текст.

Чудик переписал.

«Приземлились. Все в порядке. Васятка».

Телеграфистка сама исправила два слова: «Приземлились» и «Васятка» Стало: «Долетели. Василий».

— «Приземлились». Вы что, космонавт, что ли?

— Ну, ладно,— сказал Чудик.— Пусть так будет.

...Знал Чудик, есть у него брат Дмитрий, трое племянников... О том, что должна еще быть сноха, как-то не думалось. Он никогда не видел ее. А именно она-то, сноха, все испортила, весь отпуск. Она почему-то сразу невзлюбила Чудика.

Выпили вечером с братом, и Чудик запел дрожащим голосом:

Тополя-а-а...

Софья Ивановна, сноха, выглянула из другой комнаты, спросила зло:

— А можно не орать? Вы же не на вокзале, верно? — И хлопнула дверью.

Брату Дмитрию стало неловко.

— Это... там ребятишки спят. Вообще-то она хорошая.

Еще выпили. Стали вспоминать молодость, мать, отца...

— А помнишь? — радостно спрашивал брат Дмитрий.— Хотя, кого ты там помнишь! Грудной был. Меня оставят с тобой, а я тебя зацеловывал. Один раз ты посинел даже. Попадало мне за это. Потом уже не стали оставлять. И все равно: только отвернутся, я около тебя — опять целую. Черт знает, что за привычка

была. У самого-то еще сопли по колена, а уж... это... с поцелуями...

— А помнишь?! — тоже вспоминал Чудик.— Как ты меня...

— Вы прекратите орать? — опять спросила Софья Ивановна совсем зло, нервно.— Кому нужно слушать эти ваши разные сопли да поцелуи? Туда же — разговорились.

— Пойдем на улицу,— сказал Чудик.

Вышли на улицу, сели на крылечке.

— А помнишь? — продолжал Чудик.

Но тут с братом Дмитрием что-то случилось: он заплакал и стал колотить кулаком по колену.

— Вот она, моя жизнь! Видел? Сколько злости в человеке!.. Сколько злости!

Чудик стал успокаивать брата.

— Брось, не расстраивайся. Не надо. Никакие они не злые, они — психи. У меня такая же.

— Ну чего вот невзлюбила?!! За што? Ведь она невзлюбила тебя... А за што?

Тут только понял Чудик, что — да, невзлюбила его сноха. А за что действительно?

— А вот за то, што ты — никакой не ответственный, не руководитель. Знаю я ее, дуру. Помешалась на своих ответственных. А сама-то кто! Буфетчица в управлении, шишка на ровном месте. Насмотрится там и начинает... Она и меня-то тоже ненавидит — что я не ответственный, из деревни.

— В каком управлении-то?

— В этом... горно... Не выговорить сейчас. А зачем выходить было? Што она, не знала, што ли?

Тут и Чудика задело за живое.

— А в чем дело, вообще-то? — громко спросил он, не брата, кого-то еще.— Да если хотите знать, почти все знаменитые люди вышли из деревни. Как в черной рамке, так смотришь — выходец из деревни. Надо газеты читать!.. Што ни фигура, понимаешь, так — выходец, рано пошел работать.

— А сколько я ей доказывал: в деревне-то люди лучше, незаносистые.

— А Степана-то Воробьева помнишь? Ты ж знал его...

— Знал, как же.

— Уже там куда деревня!.. А — пожалуйста: Герой

Советского Союза. Девять танков уничтожил. На таран шел. Матери его теперь пожизненно пенсию будут шестьдесят рублей платить. А разузнали только недавно, считали — без вести...

— А Максимов Илья!.. Мы ж вместе уходили. Пожалуйста — кавалер Славы трех степеней. Но про Степана ей не говори... Не надо.

— Ладно. А этот-то!..

Долго еще шумели возбужденные братья. Чудик даже ходил около крыльца и размахивал руками.

— Деревня, видите ли!.. Да там один воздух чего стоит! Утром окно откроешь — как, скажи, обмоет тебя всего. Хоть пей его — до того свежий да запашистый, травами разными пахнет, цветами разными...

Потом они устали.

— Крышу-то перекрыл? — спросил старший брат негромко.

— Перекрыл.— Чудик тоже тихо вздохнул.— Веранду подстроил — любо глядеть. Выйдешь вечером на веранду... начинаешь фантазировать: вот бы мать с отцом были бы живые, ты бы с ребятишками приехал — сидели бы все на веранде, чай с малиной попивали. Малины нынче уродилось пропасть. Ты, Дмитрий, не ругайся с ней, а то она хуже невзлюбит. А я как-нибудь поласковей буду, она, глядишь, отойдет.

— А ведь сама из деревни! — как-то тихо и грустно изумился Дмитрий.— А вот... Детей замучила, дура: одного на пианинах замучила, другую в фигурное катание записала. Сердце кровью обливается, а — не скажи, сразу ругань.

— Ммх!..— опять возбудился Чудик.— Никак не понимаю эти газеты: вот, мол, одна такая работает в магазине — грубая. Эх, вы!.. а она домой придет — такая же. Вот где горе-то! И я не понимаю! — Чудик тоже стукнул кулаком по колену.— Не понимаю: почему они стали злые?

Когда утром Чудик проснулся, никого в квартире не было: брат Дмитрий ушел на работу, сноха тоже, дети, постарше, играли во дворе, маленького отнесли в ясли.

Чудик прибрал постель, умылся и стал думать, что бы такое приятное сделать снохе. Тут на глаза ему попалась детская коляска. «Эге! — подумал Чудик.— Разрисую-ка я ее». Он дома так разрисовал печь, что все дивились. На-

шел ребячьи краски, кисточку и принялся за дело. Через час все было кончено; коляску не узнать. По верху колясочки Чудик пустил журавликов — стайку уголком, по низу — цветочки разные, травку-муравку, пару петушков, цыпляток... Осмотрел коляску со всех сторон — загляденье. Не колясочка, а игрушка. Представил, как будет приятно изумлена сноха, усмехнулся.

— А ты говоришь — деревня. Чудачка.— Он хотел мира со снохой.— Ребенок-то как в корзиночке будет.

Весь день Чудик ходил по городу, глазел на витрины. Купил катер племяннику, хорошенький такой катерок, белый, с лампочкой. «Я его тоже разрисую»,— думал.

Часов в 6 Чудик пришел к брату. Взошел на крыльцо и услышал, что брат Дмитрий ругается с женой. Впрочем, ругалась жена, а брат Дмитрий только повторял:

— Да ну, что тут!.. Да ладно... Сонь... Ладно уж...

— Чтоб завтра же этого дурака не было здесь! — кричала Софья Ивановна.— Завтра же пусть уезжает!

— Да ладно тебе!.. Сонь...

— Не ладно! Не ладно! Пусть не дожидается — выкину его чемодан к чертовой матери, и все!

Чудик поспешил сойти с крыльца... А дальше не знал, что делать. Опять ему стало больно. Когда его ненавидели, ему было очень больно. И страшно. Казалось: ну, теперь все, зачем же жить? И хотелось куда-нибудь уйти подальше от людей, которые ненавидят его или смеются.

— Да почему же я такой есть-то? — горько шептал он, сидя в сарайчике.— Надо бы догадаться: не поймет ведь она, не поймет народного творчества.

Он досидел в сарайчике дотемна. И сердце все болело. Потом пришел брат Дмитрий. Не удивился — как будто знал, что брат Василий давно уж сидит в сарайчике.

— Вот...— сказал он.— Это... опять расшумелась. Коляску-то... не надо бы уж.

— Я думал, ей поглянется. Поеду я, братка.

Брат Дмитрий вздохнул... И ничего не сказал.

Домой Чудик приехал, когда шел рясный парной дождик. Чудик вышел из автобуса, снял новые ботинки, побежал по теплой мокрой земле — в одной руке чемодан, в другой ботинки. Подпрыгивал и пел громко:

Тополя-а-а, тополя-а...

С одного края небо уже очистилось, голубело, и близко где-то было солнышко. И дождик редел, шлепал крупными каплями в лужи; в них вздувались и лопались пузыри.

В одном месте Чудик поскользнулся, чуть не упал.

Звали его — Василий Егорыч Князев. Было ему тридцать девять лет от роду. Он работал киномехаником в селе. Обожал сыщиков и собак. В детстве мечтал быть шпионом.

● СИЛЬНЫЕ ИДУТ ДАЛЬШЕ

Всю темную осеннюю ночь ровно и сильно дул ветер. Байкал к утру здорово раскачало. Утром ветер поослаб, но волны катились высокие — поседевший Байкал сердито шумел, хлестал каменистый берег, точно на нем хотел выместить теперь всю злость, какую накопил за тревожную ночь.

На берегу собрались туристы, отдыхающие. Смотрели на Байкал, бросали ему в рассерженную морду палки. Кто-то, глядя на эти палки, обнаружил такую закономерность:

— Смотрите, чем дальше палка от берега, тем дольше ее не выбрасывает.

— Да.

— Простите, сэр, это велосипед.

— Почему?

— Это давно известно. Корабли в шторм стараются уйти подальше от берега.

— Я думал не о законе, как таковом, а о том, что это похоже на людей.

— ??

— Сильные идут дальше. В результате: в шторм... в житейский, так сказать, шторм выживают наиболее сильные — кто дальше отгребется.

— Это слишком умно...

— Это слишком неверно, чтобы быть умным.

— Почему?

— Вопрос: как оказаться подальше от берега?

— Я же и говорю: наиболее сильные...

— А может быть, так: наиболее хитрые?

— Это другое дело. Возможно...

— Ничего не другое. Есть задача: как выжить в житейский шторм? И есть решение ее: выживают наиболее «легкие» — любой ценой. Можно за баркас зацепиться...

— Это — по чьему-то опыту, что ли?

— По опыту сильных.

— Я имел в виду другую силу — настоящую.

— Важен результат...

Очкарики... Все образованные, прочитали уйму книг... О силе стоят толкуют. А столкни сейчас в воду любого — в одну минуту пузыри пустит. Очки дольше продержатся на воде.

Вот в этом — что очки дольше держатся на воде, чем сам очкарик,— никогда в своей жизни не сомневался Митька Ермаков. Он в этот час тоже вышел глянуть на Байкал. Постоял на берегу (разговор очкариков слышал), криво улыбнулся и пошел к воде...

Но надо хоть немного рассказать о Митьке. Митька — это ходячий анекдот, так про него говорят. Определение броское, но мелкое, и о Митьке говорящее не больше, чем то, что он — выпивоха. Вот тоже — показали на человека — выпивоха... А почему он выпивоха, что за причина, что за сила такая роковая, что берет его вечерами за руку и ведет в магазин? Тут тремя словами объяснишь ли, да и сумеешь ли вообще объяснить? Поэтому проще, конечно, махнуть рукой — выпивоха, и все. А Митька... Митька — мечтатель. Мечтал смолоду. Совсем еще юным мечтал, например, собраться втроем-вчетвером, обору́довать лодку, взять ружья, снасти и сплыть по рекам к Ледовитому океану. А там попытаться продвинуться по льду к Северному полюсу. Мечтал также отправиться в поисковую экспедицию в Алтайские горы — искать золото и ртуть. Мечтал... Много мечтал. Все мечтают, но другие — отмечтали и принялись устраивать свою жизнь... подручными, так скажем, средствами. Митька превратился в самого нелепого, безнадежного мечтателя — великовозрастного. Жизнь лениво жевала его мечты, над Митькой смеялись, а он — с упорством неистребимым — мечтал. Только научился скрывать от людей свои мечты. А мечты были — одна причудливее другой. Вот, допустим, узнал он одну травку... Травка — так себе, неказистая, почти все знают ее, но никто не знает, что этой травкой можно лечить... рак. А Митька знает. Он по ночам, чтобы никто не видел, собирает с фонариком эту травку, настаивает и лечит направо и на-

лево рак легких, рак печени, рак матки — лечит злой, омерзительный рак. Любой. В три дня. Славу Митьке поют великую, поговаривают, не отлить ли ему еще при жизни золотой памятник в рост. Митька только криво улыбается на эту затею, пьет шампанское, живет с женщинами, вылеченными им от рака... И напоминает людям, как они смеялись над ним. К нему — запись со всего земного шара. Митька по утрам обходит скорбные ряды и показывает пальцем: «Можно» — «Подождать» — «Подождать» — «Можно» — «Срочно ко мне». Лечит сперва тех, кто победней и помоложе. Женщины до тридцати идут вне очереди. Митька жесток: наставит мужу рога, не задумается. И живет он с женщинами, вылеченными от рака, не таясь, открыто. И пусть только мужья заикнутся, что... Раза два было: мужья возмутились. Благодарные женщины чуть не выцарапали им глаза. Ученые и президенты ползают на коленях перед Митькой: «Скажи, что за травка?» Митька криво улыбается. «Вы по ней ходите».— «Скажи!» — «Фигу вам!» Бывает, что он кричит на президентов: «Трепачи! Слюнтяи! Только болтать умеете!» Принимает Митька на берегу Байкала. У него огромный двухэтажный дом, причем весь второй этаж спальня. Там у него гигантские фикусы, ковры на полу, ковры на стенах, туалетные столики, столики для газет и журналов, ширмы... На подоконнике — увлажнитель с «Шипром».

В нетрезвом состоянии Митька проговаривается, но никто не понимает — о чем он?

— Да, знаю! — кричит Митька в магазине.— Но вам не скажу. Фигу вам!

— Чего ты, Митька?

— Вы по ней ходите. Ногами ее топчете, а дотумкать — вот!..— Митька стучит себя по лбу и криво улыбается.— Не дано.

Вот это вот только и знают люди — бред, глупости. И еще — всякие «хохмы» про Митьку. Вроде этой.

Летом Митька уходит с геологоразведочными партиями и ходит до холодов (почему-то он ужасно гордится и важничает: «Я — сезонник»). Однажды он пришел в поселок среди лета. И, не заходя домой, протопал в аптеку. В аптеке были люди. Девушка-аптекарь отпускала лекарство. Девушка та была очень и очень миленькая, беленькая в белом халатике. В мечтах своих Митька то и дело лечил ее от рака. В аптеке — уютно, пахнет не-

мощью. Митька бухнул в угол свой вещмешок, подошел к прилавку, бородатый, пропахший дымом, смолой и болотами, и громко сказал:

— Мне триста штук презервативов, пожалуйста.

Ну, замешательство... Аптекарша покраснела. Одна старушка в очереди даже перекрестилась. Тишина. Этот «сундукявичус», как его прозвали в одной партии, опять:

— Триста презервативов. И счет.

Нет, чтобы отозвать аптекаршу в сторонку и тихонько объяснить ей: так и так, нужно это для того, чтобы делать взрывы в мокрых забоях. Нет, Митька непременно должен «отмочить хохму».

...Итак, Митька, послушав рассуждения о сильных и несильных, криво улыбнулся и пошел к воде. И начал снимать фуфайку, пиджак...

— Освежиться, что ли, малость! — сказал он.

— Куда вы? — удивились очкарики.— Вы же простынете! Вода — пять градусов.

— Простынете.

Митька даже не посмотрел на очкариков. (Там была женщина, которую он с удовольствием бы вылечил от рака.) Снял рубаху, штаны... Поднял большой камень, покидал с руки на руку — для разминки. Бросил камень, сделал несколько приседаний и пошел волнам навстречу. Очкарики смотрели на него.

— Остановите его, он же захлебнется! — вырвалось у девушки. (Девушка — еще и в штанишках, черт бы их побрал с этими штанишками. Моду взяли!)

— Морж, наверно.

— По-моему, он к своим тридцати шести добавил еще сорок градусов.

Митька взмахнул руками, крикнул:

— Эх, роднуля! — И нырнул в «набежавшую волну». И поплыл. Плыл саженками, красиво, пожалуй, слишком красиво — нерасчетливо. Плыл и плыл, орал, когда на него катилась волна: — Давай!

Подныривал под волну, выскакивал и опять орал:

— Хорошо! Давай еще!..

— Сибиряк,— сказали на берегу.— Все нипочем.

— Верных семьдесят шесть градусов.

— ...авай! — орал Митька.— Роднуля!

Но тут «роднуля» подмахнул высокую крутую волну. Митька хлебнул раз, другой, закашлялся. А «роднуля»

все накатывал, все стегал наглеца. Митька закрутился на месте, стараясь высунуть голову повыше. «Роднуля» бил и бил его холодными мягкими лапами, толкал вглубь.

— ...сы-ы! — донеслось на берег.— Тру-сы спали-и! Тону!

Очкарики заволновались.

— Он серьезно, что ли?

— Он же тонет, ребята!

— Э-эй! Ты серьезно, что ли?!

— Да серьезно, какого черта!

— ...у-у! — орал Митька. Он серьезно тонул. Видно было, как он опять хлебнул... Скрылся под водой, но опять выкарабкался. Но больше уже не орал.

— Лодку! Лодку! — забегали на берегу.— Эй, держись!

Побежали к лодке, что лежала метрах в ста отсюда и далеко от воды. Но кто-то разглядел:

— Она примкнута к коряге.

— Черт, утонет ведь! Еще хлебнет пару раз...

— Ребята, ну что же вы?! — чуть не плакала девушка в штанишках.

Голова Митьки поплавком качалась в волнах, скрывалась из виду, опять появлялась... И руками Митька теперь взмахивал реже.

— Ребята, ну что вы?!

Двое очкариков начали торопливо сбрасывать с себя одежду. Вот скинул один, прыгнул в воду, ойкнул и сильно погреб к Митьке. И второй прыгнул в воду и стал догонять первого.

— Эй, держись! Держи-ись! — кричала девушка и махала зачем-то руками.— Ребята, они успеют?

— Успеют.

— Вот фраер-то! — волновались на берегу.

— Зачем он полез-то!

— Семьдесят шесть градусов. Николай верно говорил.

— Трепач-то! Хоть бы успели.

— Мне эти сильные!.. Сибиряки. Куда полез? Зачем?

— Ребята, успеют или нет? Где он, ребята?!

Ребята только-только успели: поймали Митьку за волосы и погребли к берегу.

Митька наглотался изрядно. Очкарики начали делать ему искусственное дыхание по всем правилам где-то когда-то усвоенной науки спасения утопающих: подложили

Митьке под поясницу кругляш, болтали бесчувственными Митькиными руками, давили на живот... Митька был без трусов, и девушка просила издали:

— Ребята, ну наденьте ему брюки. Ребят, ну наденьте! Я помогу вам откачивать.

— Ты лучше беги в магазин,— попросил один из тех, кто плавал за Митькой. Он прыгал на одной ноге, стараясь попасть другой в штанину. Его так трясло, что вблизи слышно было, как щелкают зубы.— А то пропадешь к черту... с этими моржами.

— Ребят, вам теперь медали дадут, да?

Те, что возились с Митькой, захихикали.

— Ирочка, без трусов не считается.

— Как без трусов не считается?

— Если вытащили утопающего, но он без трусов, то не считается, что спасли. Надо достать трусы, тогда дадут медаль.

— Ира, иди подержи голову.

— Да ну, какие-то!.. Ну наденьте же штаны, ребята!

— Мы в штанах, Ира. Ты что, бог с тобой!

Митька стал подавать признаки жизни. Открыл глаза, замычал... Потом его стало рвать водой и корежить. Рвало долго, Митька устал. Закрыл глаза. Потом вдруг — то ли вспомнил, то ли почувствовал, что он без трусов — вскочил, схватился... там где носят трусы... Очкарики засмеялись. Митька вскочил и — бегом по камням, прикрывая руками стыд. Добежал к своей одежде, схватил, еще три-четыре прыжка, и он скрылся в кустах. И больше не появлялся.

Очкарики пошли в магазин — покупать лекарство для двух своих героев. А заодно полагалось выпить и за здоровье спасенного.

— Зря он сбежал! — сокрушались.— Лютенко нахмурится: «В честь чего выпивка?» — «Спасли утопающего». Не поверит. Скажет, выдумали. Ира, подтвердишь?

— Если вам не полагаются медали, то и выпивка не полагается. Я против.

— Все дело в трусах...

— А лихо он в кусты сиганул! Прямо детектив: спасли утопающего, он схватил одежду и был таков. Может, шпион?

Беззаботный народ, эти очкарики! Шляются по дорогам... Все бы им хаханьки, хиханьки. Несерьезно как-то все это. В их годы... Но вернемся к Митьке.

Митька перед самым закрытием магазина пришел туда. Он был уже хорош. Оглянулся, спросил продавщицу негромко:

— Здесь бумажник никто не находил?

— Какой бумажник?

— Кожаный... в нем пятнадцать отделений.

— Твой, что ли?

— Не имеет значения. Никто не поднимал?

— Нет. А что там было?

— Деньги.

— Твои, что ли?

— Не имеет значения.

— Много денег?

— Полторы тысячи.

— Новых?!

— Новых... Новеньких. Никто не поднимал?

Тут только сообразила продавщица, что у Митьки — «транс». Митька наскочил на новый сюжет.

— Господи!.. Митька, заикой сделаешь так. Да ведь как серьезно, черт такой! Ты хоть раз в глаза видал такие деньги?

Митька криво улыбнулся.

— Хочешь, я тебе сейчас... Ну, ладно. Замнем для ясности. Дай бутылку.

— Чего «я сейчас»?

— Ладно, ладно. Давай бутылку и помалкивай. Я про деньги не спрашивал.

— Женился бы ты, чудак-человек,— с искренним сочувствием сказала продавщица, здешняя женщина, знавшая Митьку с малых лет.— Женисся — заботы пойдут, некогда выдумывать-то будет что попало.

— Ладно, ладно,— сказал Митька. Взял бутылку и пошел из магазина. На пороге остановился, еще раз предупредил продавщицу: — Имей в виду: я про деньги не спрашивал. Если кто найдет, станут тебе отдавать — ты ничего не знаешь, чьи они.

— Ладно, Митя, не скажу. Только ведь не отдадут.

— Как?

— А то не знаешь — как? Найдут и промолчат. Полторы тыщи — это дом крестовый, какой же дурак отдаст. Присвоит, и все.

— На всякий случай: ты ничего не знаешь.

— Добро.

Митька ушел.

Да, опять у него это самое... Похоже, изобрел машинку для печатания бумажных денег. Опять будет помогать бедным и женщинам. Митька добрый человек, но очень наивный: ведь попадутся бедные и женщины с фальшивыми деньгами! И им же будет плохо. Об этом он почему-то не думает. Лучше уж рак лечить — безопасней.

● АЛЕША БЕСКОНВОЙНЫЙ

Его и звали-то — не Алеша, он был Костя Валиков, но все в деревне звали его Алешей Бесконвойным. А звали его так вот за что: за редкую в наши дни безответственность, неуправляемость. Впрочем, безответственность его не простиралась беспредельно: пять дней в неделе он был безотказный работник, больше того — старательный работник, умелый (летом он пас колхозных коров, зимой был скотником — кочегарил на ферме, случалось — ночное дело — принимал телят), но наступала суббота, и тут все: Алеша выпрягался. Два дня он не работал в колхозе: субботу и воскресенье. И даже уж и забыли, когда это он завел себе такой порядок, все знали, что этот преподобный Алеша «сроду такой» — в субботу и в воскресенье не работает. Пробовали, конечно, повлиять на него, и не раз, но все без толку. Жалели вообще-то: у него пятеро ребятишек, из них только старший добрался до десятого класса, остальной чеснок сидел где-то еще во втором, в третьем, в пятом... Так и махнули на него рукой. А что сделаешь? Убеждай его, не убеждай — как об стенку горох. Хлопает глазами... «Ну, понял, Алеша?» — спросят. «Чего?» — «Да нельзя же позволять себе такие вещи, какие ты себе позволяешь! Ты же не на фабрике работаешь, ты же в сельском хозяйстве! Как же так-то? А?» — «Чего?» — «Брось дурачка из себя строить! Тебя русским языком спрашивают: будешь в субботу работать?» — «Нет. Между прочим, насчет дурачка — я ведь могу тоже... дам в лоб разок, и ты мне никакой статьи за это не найдешь. Мы тоже законы знаем. Ты мне — оскорбление словом, я тебе — в лоб: считается — взаимность». Вот и поговори с ним. Он даже на собрания не ходил в субботу.

Что же он делал в субботу?

В субботу он топил баню. Все. Больше ничего. Накалял баню, мылся и начинал париться. Парился, как не-

нормальный, как паровоз,— по пять часов парился! С отдыхом, конечно, с перекуром... Но все равно — это же какой надо иметь организм! Конский?

В субботу он просыпался и сразу вспоминал, что сегодня — суббота. И сразу у него распускалась в душе тихая радость. Он даже лицом светлел. Он даже не умывался, а шел сразу во двор — колоть дрова.

У него была своя наука — как топить баню. Например, дрова в баню шли только березовые: они дают после себя стойкий жар. Он колол их аккуратно, с наслаждением...

Вот, допустим, одна такая суббота.

Погода стояла как раз скучная — зябко было, сыро, ветрено — конец октября. Алеша такую погоду любил. Он еще ночью слышал, как пробрызнул дождик — постукало мягко, дробно в стекла окон — и перестало. Потом в верхнем правом углу дома, где всегда гудело, загудело — ветер наладился. И ставни пошли дергаться. Потом ветер поутих, но все равно утром еще потягивал — снеговой, холодный.

Алеша вышел с топором во двор и стал выбирать березовые кругляши на расколку. Холод полез под фуфайку... Но Алеша пошел махать топориком и согрелся.

Он выбирал из поленницы чурки потолще... Выберет, возьмет ее, как поросенка, на руки и несет к дровосеке.

— Ишь ты... какой,— говорил он ласково чурбаку.— Атаман какой...— Ставил этого «атамана» на широкий пень и тюкал по голове.

Скоро он так натюкал большой ворох... Долго стоял и смотрел на этот ворох. Белизна и сочность, и чистота сокровенная поленьев, и дух от них — свежий, нутряной, чуть стылый, лесовой...

Алеша стаскал их в баню, аккуратно склал возле каменки. Еще потом будет момент — разжигать, тоже милое дело. Алеша даже волновался, когда разжигал в каменке. Он вообще очень любил огонь.

Но надо еще наносить воды. Дело не столько милое, но и противного в том ничего нет. Алеша старался только поскорей натаскать. Так семенил ногами, когда нес на коромысле полные ведра, так выгибался длинной своей фигурой, чтобы не плескать из ведер, смех смотреть. Бабы у колодца всегда смотрели. И переговаривались.

— Ты глянь, глянь, как пружинит! Чисто акробат!..

— И не плескает ведь!

— Да куда так несется-то?

— Ну, баню опять топить...

— Да рано же еще!

— Вот — весь день будет баней заниматься. Бесконвойный он и есть... Алеша.

Алеша наливал до краев котел, что в каменке, две большие кадки и еще в оцинкованную ванну, которую он купил лет пятнадцать назад, в которой по очереди перекупались все его младенцы. Теперь он ее приспособил в баню. И хорошо! Она стояла на полкé, с краю, места много не занимала — не мешала париться,— а вода всегда под рукой. Когда Алеша особенно заходился на полкé, когда на голове волосы трещали от жары, он курял голову прямо в эту ванну.

Алеша натаскал воды и сел на порожек покурить. Это тоже дорогая минута — посидеть покурить. Тут же Алеша любил оглядеться по своему хозяйству в предбаннике и в сарайчике, который пристроен к бане — продолжал предбанник. Чего только у него там не было! Старые литовки без черенков, старые грабли, вилы... Но был и верстачок, и был исправный инструмент: рубанок, ножовка, долота, стамески... Это все — на воскресенье, это завтра он тут будет упражняться.

В бане сумрачно и неуютно пока, но банный терпкий, холодный запах разбивался уже запахом березовых поленьев — тонким, еле уловимым — это предвестье скорого праздника. Сердце Алеши нет-нет да подмоет радость — подумает: «Сча-ас». Надо еще вымыть в бане: даже и этого не позволял делать Алеша жене — мыть. У него был заготовлен голичок, песочек в баночке... Алеша снял фуфайку, засучил рукава рубахи и пошел пластать, пошел драить. Все перемыл, все продрал голиком, окатил чистой водой и протер тряпкой. Тряпку ополоснул и повесил на сучок клена, клен рос рядом с баней. Ну, теперь можно и затопить. Алеша еще разок закурил... Посмотрел на хмурое небо, на унылый далекий горизонт, на деревню... Ни у кого еще баня не топилась. Потом будут, к вечеру,— на скорую руку, кое-как, пыхных... Будут глотать горький чад и париться. Напарится не напарится — угорит, придет, хлястнется на кровать, еле живой — и думает, это баня. Хэх!.. Алеша бросил

окурок, вдавил его сапогом в мокрую землю и пошел топить.

Поленья в каменке он клал, как и все кладут: два — так, одно — так, поперек, а потом сверху. Но там — в той амбразуре-то, которая образуется-то,— там кладут обычно лучины, бумагу, керосином еще навадились теперь обливать,— там Алеша ничего не клал: то полено, которое клал поперек, он его посередке ершил топором, и все, и потом эти заструги поджигал — загоралось. И вот это тоже очень волнующий момент — когда разгорается. Ах, славный момент! Алеша присел на корточки перед каменкой и неотрывно смотрел, как огонь, сперва маленький, робкий, трепетный,— все становится больше, все надежней. Алеша всегда много думал, глядя на огонь. Например: «Вот вы там хотите, чтобы все люди жили одинаково... Да два полена и то сгорают неодинаково, а вы хотите, чтоб люди прожили одинаково!» Или еще он сделал открытие: человек, помирая — в конце в самом,— так вдруг захочет жить, так обнадеется, так возрадуется какому-нибудь лекарству!.. Это знают. Но точно так и палка любая: догорая, так вдруг вспыхнет, так озарится вся, такую выкинет шапку огня, что диву даешься: откуда такая последняя сила?

Дрова хорошо разгорелись, теперь можно пойти чайку попить.

Алеша умылся из рукомойника, вытерся и с легкой душой пошел в дом.

Пока он занимался баней, ребятишки, один за одним, ушлепали в школу. Дверь — Алеша слышал — то и дело хлопала, и скрипели воротца. Алеша любил детей, но никто бы никогда так не подумал — что он любит детей: он не показывал. Иногда он подолгу внимательно смотрел на какого-нибудь, и у него в груди ныло от любви и восторга. Он все изумлялся природе: из чего получился человек?! Ведь не из чего, из малой какой-то малости. Особенно он их любил, когда они были еще совсем маленькие, беспомощные. Вот уж, правда что, стебелек малый: давай цепляйся теперь изо всех силенок, карабкайся. Впереди много всякого будет — никаким умом вперед не скинешь. И они растут, карабкаются. Будь на то Алешина воля, он бы еще пятерых смастерил, но жена устала.

Когда пили чай, поговорили с женой.

— Холодно как уж стало. Снег, гляди, выпадет,— сказала жена.

— И выпадет. Оно бы и ничéго, выпал-то,— на сырую землю.

— Затопил?

— Затопил.

— Кузьмовна заходила... Денег занять.

— Ну? Дала?

— Дала. До среды, говорит, а там, мол, за картошку получит...

— Ну и ладно.— Алеше нравилось, что у них можно, например, занять денег — все как-то повеселей в глаза людям смотришь. А то наладились: «Бесконвойный, Бесконвойный». Глупые.— Сколько попросила-то?

— Пятнадцать рублей. В среду, говорит, за картошку получим...

— Ну и ладно. Пойду продолжать.

Жена ничего не сказала на это, не сказала, что иди, мол, или еще чего в таком духе, но и другого чего — тоже не сказала. А раньше, бывало, говорила, до ругани дело доходило: надо то сделать, надо это сделать — не день же целый баню топить! Алеша и тут не уступил ни на волос: в субботу только баня. Все. Гори все синим огнем! Пропади все пропадом! «Что мне, душу свою на куски порезать?!» — кричал тогда Алеша не своим голосом. И это испугало Таисью, жену. Дело в том, что старший брат Алеши, Иван, вот так-то застрелился. А довела тоже жена родная: тоже чего-то ругались, ругались, до того доругались, что брат Иван стал биться головой об стенку и приговаривать: «Да до каких же я пор буду мучиться-то?! До каких?! До каких?!» Дура-жена вместо того, чтобы успокоить его, взяла да еще подъелдыкнула: «Давай, давай... Сильней! Ну-ка, лоб крепче или стенка?» Иван сгреб ружье... Жена брякнулась в обморок, а Иван полыхнул себе в грудь. Двое детей осталось. Тогда-то Таисью и предупредили: «Смотри... а то — не в роду ли это у них». И Таисья отступилась.

Напившись чаю, Алеша покурил в тепле, возле печки, и пошел опять в баню.

А баня вовсю топилась.

Из двери ровно и сильно, похоже, как река заворачивает, валил, плавно загибаясь кверху, дым. Это первая пора, потом, когда в каменке накопится больше жару, дыму станет меньше. Важно вовремя еще подкинуть:

чтоб и не на угли уже, но и не набить тесно — огню нужен простор. Надо, чтоб горело вольно, обильно, во всех углах сразу. Алеша подлез под поток дыма к каменке, сел на пол и несколько времени сидел, глядя в горячий огонь. Пол уже маленько нагрелся, парит; лицо и коленки достает жаром, надо прикрываться. Да и сидеть тут сейчас нежелательно: можно словить незаметно угару. Алеша умело пошевелил головешки и вылез из бани. Дел еще много: надо заготовить веник, надо керосину налить в фонарь, надо веток сосновых наготовить... Напевая негромко нечто неопределенное — без слов, голосом, Алеша слазал на потолок бани, выбрал там с жердочки веник поплотнее, потом насек на дровосеке сосновых лап — поровней, без сучков, сложил кучкой в предбаннике. Так, это есть. Что еще? Фонарь!.. Алеша нырнул опять под дым, вынес фонарь, поболтал — надо долить. Есть, но... чтоб уж потом ни о чем не думать, Алеша все напевал... Какой желанный покой на душе, господи! Ребятишки не болеют, ни с кем не ругался, даже денег взаймы взяли... Жизнь: когда же самое главное время ее? Может, когда воюют? Алеша воевал, был ранен, поправился, довоевал и всю жизнь потом с омерзением вспоминал войну. Ни одного потом кинофильма про войну не смотрел — тошно. И удивительно на людей — сидят смотрят! Никто бы не поверил, что Алеша серьезно вдумывался в жизнь: что в ней за тайна, надо ее жалеть, например, или можно помирать спокойно — ничего тут такого особенного не осталось? Он даже напрягал свой ум так: вроде он залетел — высоко-высоко — и оттуда глядит на землю... Но понятней не становилось: представлял своих коров на поскотине — маленькие, как букашки... А про людей, про их жизнь озарения не было. Не озаряло. Как все же: надо жалеть свою жизнь или нет? А вдруг да потом, в последний момент, как заорешь — что вовсе не так жил, не то делал? Или так не бывает? Помирают же другие — ничего: тихо, мирно. Ну, жалко, конечно, грустно: не так уж тут плохо. И вспоминал Алеша, когда вот так вот подступала мысль, что здесь не так уж плохо,— вспоминал он один момент в своей жизни. Вот какой. Ехал он с войны... Дорога дальняя — через всю почти страну. Но ехали звонко — так-то ездил бы. На одной какой-то маленькой станции, еще за Уралом, к Алеше подошла на перроне молодая женщина и сказала:

— Слушай, солдат, возьми меня — вроде я твоя сест-



ра... Вроде мы случайно здесь встретились. Мне срочно ехать надо, а никак не могу уехать.

Женщина тыловая, довольно гладкая, с родинкой на шее, с крашеными губами... Одета хорошо. Ротик маленький, пушок на верхней губе. Смотрит — вроде пальцами трогает Алешу, гладит. Маленько вроде смущается, но все же очень бессовестно смотрит, ласково. Алеша за всю

войну не коснулся ни одной бабы... Да и до войны-то тоже — горе: на вечеринках только целовался с девками. И все. А эта стоит смотрит странно... У Алеши так заломило сердце, так он взволновался, что и оглох, и рот свело.

Но, однако, поехали.

Солдаты в вагоне тоже было взволновались, но эта, ласковая-то, так прилипла к Алеше, что и подступаться как-то неловко. А ей ехать близко, оказывается: через два перегона она уж и приехала. А дело к вечеру. Она грустно так говорит:

— Мне от станции маленько идти надо, а я боюсь. Прямо не знаю, что делать...

— А кто дома-то? — разлепил рот Алеша.

— Да никого, одна я.

— Ну, так я провожу,— сказал Алеша.

— А как же ты? — удивилась и обрадовалась женщина.

— Завтра другим эшелоном поеду... Мало их!

— Да, их тут каждый день едет...— согласилась она.

И они пошли к ней домой. Алеша захватил, что вез с собой: две пары сапог офицерских, офицерскую же гимнастерку, ковер немецкий, и они пошли. И этот-то путь до ее дома, и ночь ту грешную и вспоминал Алеша. Страшная сила — радость не радость — жар и немота, и ужас сковали Алешу, пока шли они с этой ласковой... Так было томительно и тяжко, будто прогретое за день июньское небо — опустилось, и Алеша еле передвигал пудовые ноги, и дышалось с трудом, и в голове все сплюснулось. Но и теперь все до мелочи помнил Алеша. Аля, так ее звали, взяла его под руку... Алеша помнил, какая у нее была рука — мяконькая, теплая под шершавеньким крепдешином. Какого цвета платье было на ней, он, правда, не помнил, но колючечки остренькие этого крепдешина, некую его теплую шершавость он всегда помнил, и теперь помнит. Он какой-то и колючий, и скользкий, этот крепдешин. И часики у нее на руке помнил Алеша — маленькие (трофейные), узенький ремешок врезался в мякоть руки. Вот то-то и оглушило тогда, что женщина сама — просто, доверчиво — взяла его под руку и пошла потом прикасаться боком своим мяконьким к нему... И тепло это — под рукой ее — помнил же. Да... Ну, была ночь. Утром Алеша не обнаружил ни Али, ни своих шмоток.

Потом уж, когда Алеша ехал в вагоне (документы она не взяла), он сообразил, что она тем и промышляла, что встречала эшелоны и выбирала солдатиков поглупей. Но вот штука-то — спроси она тогда утром: отдай, мол, Алеша, ковер немецкий, отдай гимнастерку, отдай сапоги — все отдал бы. Может, пару сапог оставил бы себе.

Вот ту Алю крепдешиновую и вспоминал Алеша, когда оставался сам с собой, и усмехался. Никому никогда не рассказывал Алеша про тот случай, а он ее любил, Алю-то. Вот как.

Дровишки прогорели... Гора, золотая, горячая, так и дышала, так и валил жар. Огненный зев нет-нет да схватывал синий огонек... Вот он — угар. Ну, давай теперь накаляйся все тут — стены, поло́к, лавки... Потом не притронешься.

Алеша накидал на пол сосновых лап — такой будет потом Ташкент в лесу, такой аромат от этих веток, такой вольный дух, черт бы его побрал,— славно! Алеша всегда хотел не суетиться в последний момент, но не справлялся. Походил по ограде, прибрал топор... Сунулся опять в баню — нет, угарно.

Алеша пошел в дом.

— Давай бельишко,— сказал жене, стараясь скрыть свою радость — она почему-то всех раздражала, эта его радость субботняя. Черт их тоже поймет, людей: сами ворочают глупость за глупостью, не вылезают из глупостей, а тут, видите ли, удивляются, фыркают, не понимают.

Жена Таисья молчком открыла ящик, усунулась под крышку... Это вторая жена Алеши. Первая, Соня Полосухина, умерла. От нее детей не было. Алеша меньше всего про них думал: и про Соню, и про Таисью. Он разболокся до нижнего белья, посидел на табуретке, подобрав поближе к себе босые ноги, испытывая в этом положении некую приятность. Еще бы закурить... Но курить дома он отвык давно уж — как пошли детишки.

— Зачем Кузьмовне деньги-то понадобились? — спросил Алеша.

— Не знаю. Да кончились — от и понадобились. Хлеба небось не на что купить.

— Много они картошки-то сдали?

— Воза два отвезли... Кулей двадцать.

— Огребут деньжат!

— Огребут. Все копют... Думаешь, у их на книжке нету?

— Как так нету! У Соловьевых да нету!

— Кальсоны-то потеплей дать? Или бумажные пока?..

— Давай бумажные, пока еще не так нижет.

— На.

Алеша принял свежее белье, положил на колени, посидел еще несколько, думая, как там сейчас в бане.

— Так... Ну, ладно.

— У Кольки ангина опять.

— Зачем же в школу отпустила?

— Ну...— Таисья сама не знала, зачем отпустила.— Чего будет пропускать. И так-то учится — через пень колоду.

— Да...— Странно, Алеша никогда всерьез не переживал болезнь своих детей, даже когда они тяжело болели,— не думал о плохом. Просто как-то не приходила эта мысль. И ни один, слава богу, не помер. Но зато как хотел Алеша, чтоб дети его выучились, уехали бы в большой город и возвысились там до почета и уважения. А уж летом приезжали бы сюда, в деревню, Алеша суетился бы возле них — возле их жен, мужей, детишек ихних... Ведь никто же не знает, какой Алеша добрый человек, заботливый, а вот те, городские-то, сразу бы это заметили. Внучатки бы тут бегали по ограде... Нет, жить, конечно, имеет смысл. Другое дело, что мы не всегда умеем. И особенно это касается деревенских долбаков — вот уж упрямый народишко! И возьми даже своих ученых людей — агрономов, учителей: нет зазнавитее человека, чем свой, деревенский же, но который выучился в городе и опять приехал сюда. Ведь она же идет, она же никого не видит! Какого бы она малого росточка ни была, а все норовит выше людей глядеть. Городские, те как-то умеют, собаки, и культуру свою показать, и никого не унизить. Он с тобой, наоборот, первый поздоровается.

— Так... Ну, ладно,— сказал Алеша.— Пойду.

И Алеша пошел в баню.

Очень любил он пройти из дома в баню как раз при такой погоде, когда холодно и сыро. Ходил всегда в одном белье, нарочно шел медленно, чтоб озябнуть. Еще находил какое-нибудь заделье по пути: собачью цепь распутает, пойдет воротца хорошенько прикроет... Это чтоб покрепче озябнуть.

В предбаннике Алеша разделся донага, мельком оглядел себя — ничего, крепкий еще мужик. А уж сердце заныло — в баню хочет. Алеша усмехнулся на свое нетер-

пение. Еще побыл маленько в предбаннике... Кожа покрылась пупырышками, как тот самый крепдешин, хэ-х... Язви тебя в душу, чего только в жизни не бывает! Вот за что и любил Алеша субботу: в субботу он так много размышлял, вспоминал, думал, как ни в какой другой день. Так за какие же такие великие ценности отдавать вам эту субботу? А?

Догоню, догоню, догоню,
Хабибу догоню!..—

пропел Алеша негромко, открыл дверь и ступил в баню.

Эх, жизнь!.. Была в селе общая баня, и Алеша сходил туда разок — для ощущения. Смех и грех! Там как раз цыгане мылись. Они не мылись, а в основном пиво пили. Мужики ворчат на них, а они тоже ругаются: «Вы не понимаете, что такое баня!» Они — понимают! Хоть, впрочем, в такой-то бане, как общая-то, только пиво и пить сидеть. Не баня, а недоразумение какое-то. Хорошо еще не в субботу ходил; в субботу истопил свою и смыл к чертовой матери все воспоминания об общественной бане.

...И пошла тут жизнь — вполне конкретная, но и вполне тоже необъяснимая — до краев дорогая и родная. Пошел Алеша двигать тазы, ведра...— стал налаживать маленький Ташкент. Всякое вредное напряжение совсем отпустило Алешу, мелкие мысли покинули голову, вселилась в душу некая цельность, крупность, ясность — жизнь стала понятной. То есть она была рядом, за окошечком бани, но Алеша стал недосягаем для нее, для ее суетни и злости, он стал большой и снисходительный. И любил Алеша — от полноты и покоя — попеть пока, пока еще не наладился париться. Наливал в тазик воду, слушал небесно-чистый звук струи и незаметно для себя пел негромко. Песен он не знал: помнил только кое-какие деревенские частушки да обрывки песен, которые пели дети дома. В бане он любил помурлыкать частушки.

Погляжу я по народу —
Нет моего милого,—

спел Алеша, зачерпнул еще воды.

Кучерявый чуб большой,
Как у Ворошилова.

И еще зачерпнул, еще спел:

Истопила мама баню,
Посылает париться.

Мне, мамаша, не до бани —
Миленький венчается.

Навел Алеша воды в тазике... А в другой таз, с кипятком, положил пока веник — распаривать. Стал мыться... Мылся долго, с остановками. Сидел на теплом полу, на ветках, плескался и мурлыкал себе:

Я сама иду дорогой,
Моя дума — стороной,
Рано, милый, похвалился,
Что я буду за тобой.

И точно плывет он по речке — плавной и теплой, а плывет как-то странно и хорошо — сидя. И струи теплые прямо где-то у сердца.

Потом Алеша полежал на полке́ — просто так. И вдруг подумал: а что, вытянусь вот так вот когда-нибудь... Алеша даже и руки сложил на груди и полежал так малое время. Напрягся было, чтоб увидеть себя, подобного, в гробу. И уже что-то такое начало мерещиться — подушка вдавленная, новый пиджак... Но душа воспротивилась дальше, Алеша встал и, испытывая некое брезгливое чувство, окатил себя водой. И для бодрости еще спел:

Эх, догоню, догоню, догоню,
Хабибу до-го-ню!

Ну ее к черту! Придет — придет, чего раньше времени тренироваться! Странно, однако же: на войне Алеша совсем не думал про смерть — не боялся. Нет, конечно, укрывался от нее, как мог, но в такие вот подробности не входил. Ну ее к лешему! Придет — придет, никуда не денешься. Дело не в этом. Дело в том, что этот праздник на земле — это вообще не праздник, не надо его и понимать, как праздник, не надо его и ждать, а надо спокойно все принимать и «не суетиться перед клиентом». Алеша недавно услышал анекдот о том, как опытная сводня учила в бардаке своих девок: «Главное, не суетиться перед клиентом». Долго Алеша смеялся и думал: «Верно, суетимся много перед клиентом». Хорошо на земле, правда, но и прыгать козлом — чего же? Между прочим, куда радостнее бывает, когда радость эту не ждешь, не готовишься к ней. Суббота — это другое дело, субботу он как раз ждет всю неделю. Но вот бывает: плохо с утра, вот что-то противно, а выйдешь с коровами за село, выглянет солнышко, загорится какой-нибудь куст тихим огнем

сверху... И так вдруг обогреет тебя нежданная радость, так хорошо сделается, что станешь и стоишь, и не заметишь, что стоишь и улыбаешься. Последнее время Алеша стал замечать, что он вполне осознанно любит. Любит степь за селом, зарю, летний день... То есть он вполне понимал, что он — любит. Стал случаться покой в душе — стал любить. Людей труднее любить, но вот детей и степь, например, он любил все больше и больше.

Так думал Алеша, а пока он так думал, руки делали. Он вынул распаренный душистый веник из таза, сполоснул тот таз, навел в нем воды попрохладней... Дальше зачерпнул ковш горячей воды из котла и кинул на каменку — первый, пробный. Каменка ахнула и пошла шипеть и клубиться. Жар вцепился в уши, полез в горло... Алеша присел, переждал первый натиск и потом только взобрался на поло́к. Чтобы доски полка не поджигали бока и спину, окатил их водой из тазика. И зашуршал веничком по телу. Вся-то ошибка людей, что они сразу начинают что есть силы охаживать себя веником. Надо сперва почесать себя — походить веником вдоль спины, по бокам, по рукам, по ногам... Чтобы он шепотком, шепотком, шепотком пока. Алеша искусно это делал: он мелко тряс веник возле тела, и листочки его, точно маленькие горячие ладошки, касались кожи, раззадоривали, вызывали неистовое желание сразу исхлестаться. Но Алеша не допускал этого, нет. Он ополоснулся, полежал... Кинул на каменку еще полковша, подержал веник над каменкой, над паром и поприкладывал его к бокам, под коленки, к пояснице... Спустился с полка́, приоткрыл дверь и присел на скамеечку покурить. Сейчас даже малые остатки угарного газа, если они есть, уйдут с первым сырым паром. Каменка обсохнет, камни снова накалятся, и тогда можно будет париться без опаски и вволю. Так-то, милые люди.

...Пришел Алеша из бани, когда уже темнеть стало. Был он весь новый, весь парил. Скинул калоши у порога и по свежим половичкам прошел в горницу. И прилег на кровать. Он не слышал своего тела, мир вокруг покачивался согласно сердцу.

В горнице сидел старший сын Борис, читал книгу.

— С легким паром! — сказал Борис.

— Ничего,— ответил Алеша, глядя перед собой.— Иди в баню-то.

— Сейчас пойду.

Борис, сын, с некоторых пор стал — не то что стыдиться, а как-то неловко ему было, что ли,— стал как-то переживать, что отец его — скотник и пастух. Алеша заметил это и молчал. По первости его глубоко обидело такое, но потом он раздумался и не показал даже вида, что заметил перемену в сыне. От молодости это, от больших устремлений. Пусть. Зато парень вымахал рослый, красивый, может, бог даст, и умишком возьмет. Хорошо бы. Вишь, стыдится, что отец — пастух... Эх, милый! Ну, давай, давай — целься повыше, глядишь, куда-нибудь и попадешь. Учится хорошо. Мать говорила, что уж и девчонку какую-то провожает... Все нормально. Удивительно вообще-то, но все нормально.

— Иди в баню-то,— сказал Алеша.

— Жарко там?

— Да теперь уж какой жар!.. Хорошо. Ну, жарко покажется, открой отдушину.

Так и не приучил Алеша сыновей париться: не хотят. В материну породу — в Коростылевых.

Он пошел собираться в баню, а Алеша продолжал лежать.

Вошла жена, склонилась опять над ящиком — достать белье сыну.

— Помнишь,— сказал Алеша,— Маня у нас, когда маленькая была, стишок сочинила:

Белая березка
Стоит под дождем,
Зеленый лопух ее накроет,
Будет там березке тепло и хорошо.

Жена откачнулась от ящика, посмотрела на Алешу... Какое-то малое время вдумывалась в его слова, ничего не поняла, ничего не сказала, усунулась опять в сундук, откуда тянуло нафталином. Достала белье, пошла в прихожую комнату. На пороге остановилась, повернулась к мужу.

— Ну и что? — спросила она.

— Что?

— Стишок-то сочинила... К чему ты?

— Да смешной, мол, стишок-то.

Жена хотела было уйти, потому что не считала нужным тратить теперь время на пустые слова, но вспомнила что-то и опять оглянулась.

— Боровишку-то загнать надо да дать ему — я наме-

шала там. Я пойду ребятишек в баню собирать. Отдохни да сходи приберись.

— Ладно.

Баня кончилась. Суббота еще не кончилась, но баня уже кончилась.

ПЬЕДЕСТАЛ

И стало это у Константина Смородина как болезнь: днем, на работе, рисует свои вывески, плакаты, афиши, а вечером, дома, начинает все ругать — свою работу, своих начальников, краски, зрителя, всех и все.

— Долбаки! — зло говорил он и стискивал зубами янтарный мундштук.— Если они рекламируют пиво, то на вывеске обязательно давай счастливое рыло. Почему?! — Константин Смородин, маленький, грудастый, в пляжном халате 54-го размера, походил на воробья, которому зачем-то накинули детскую распашонку.— В чем здесь логика восприятия? Счастье — в кружке пива?

Жена Константина Смородина, худощавая, медлительная, смотрела большими темными глазами чуть выше мужа, о чем-то думала о своем, затяжном и неясном. Она работала кассиром в кинотеатре и могла думать вот так вот — рассеянно и бесконечно — даже когда продавала билеты. Отрывала билетики, брала деньги, сдавала сдачу — и думала, думала. Она была очень молчалива. Константин Смородин упражнялся перед ней как хотел — она до поры до времени не реагировала. Да он и не требовал, чтоб она реагировала. И — странно тоже — почему-то его не интересовало, о чем она думает, он не спрашивал.

— А если я вам, вместо счастливого лица, нарисую кружку пива и большой кукиш — это как? А ведь тут ба-альшой смысл! — Константин Смородин мастеровито посасывал мундштук, щурил глаза от дыма, но мундштук изо рта не вынимал.— Не согласны? А я вам докажу! Пойдем по логике. Чтобы выпить кружку пива, ты должен на жаре отстоять очередь. Потом — ты взял кружку пива. Выпил. Постоял маленько, тебе еще захотелось. Но ты посмотрел на очередь, поднял руку и резко опустил — и пошел в магазин. Взял бутылку вина и выпил ее на жаре. Тебя развезло... Ты пошарил в кармане — у тебя

оказалось еще два рваных. Ты, как говорится, «затроил», в результате пришел домой на бровях. Шум. Скандал. Все началось с кружки пива.— Константин Смородин, удовлетворенный, смотрел в дымчато-темные, чуть влажные глаза жены... Она ему — из далеких-далеких каких-то своих дум — кивала поощрительно.

— Пойдем еще по логике...— продолжал Смородин. И так ходил он по этой логике каждый вечер, нервничал, злился, но не уставал и не отчаивался.

— Будешь ужинать? — спрашивала жена.

— Окрошечки бы... М-м? — спрашивал Смородин.— Холодненькой.

— Садись.

Хлебая окрошку, Смородин опять возмущался.

— Окрошка из сладкого кваса! Ну не ё-моё?! — В недавнем прошлом Смородина значилась тюрьма, лет пять,— за отдаленное участие в изготовлении фальшивых денег, он прихватил в лагере тамошний сочный, богатый образами язык и обильно вплетал разные слова и словечки в теперешнюю мирную речь.— Пить его — еще туда-сюда, но окрошка-то!.. Сахар с луком! Ну делай: для питья один, для окрошки — другой, кислый. Ну что же — сладкая окрошка-то?! Или тоже от фонаря: все съедят?! Ну, кумовья, я их маму...

— Не ругайся,— спокойно просила жена.

— Я не ругаюсь, я злюсь. Хорошая злость помогает в работе, это еще мой учитель говорил. «Как, говорит, дойдет, что охота укусить кого-нибудь,— беги к колету!» У Смородина был и учитель, оказывается: деревенский любитель, добрый человек, не от мира сего, дядя Иван, коновал, философ и художник. Он давно помер, но Смородин хранил о нем светлую память. Философия дяди Ивана покоилась на трех китах. 1. Когда тебя обижает кто-нибудь, ты думай про того: «Дурак, делать, что ли, больше нечего?» 2. Не гонись за богатством — меньше хлопот. 3. Самые хорошие люди — кони. Когда изведут всех коней под корень, наступит конец света, в том смысле, что каждый озлобится на каждого.

Были у него и еще правила, но так, на каждый день. Например: если тебе нечего делать, а делать чего-нибудь всегда надо,— складывай песню. Или рисуй. Или на балалайке играй. Только не торчи без дела, лучше как-нибудь скрась людям жизнь. Смородин не все усвоил из учения дяди Ивана, то есть почти ничего не усвоил. Как

подрос, попал в город, так пошло его носить, как-то не до правил стало. Какие правила! Несет тебя — цепляйся за все, что подвернется под руку, иначе в этой опасной реке булькнешь и только пузыри от тебя пойдут. Но кое-что Смородин все же взял из житейской науки дяди Ивана: например, никогда не ленился работать. И теперь у Смородина была работа. Большая! Был холст... Он стоял в маленькой отдельной комнатке против окна — от стены до стены. Он стоял здесь с год уже; работа подвигалась трудно, но подвигалась упорно. Вот что было на холсте. Стоит стол, за столом сидят два человека... с одинаковым лицом. Никакого зеркала, просто два одинаковых человека сидят за столом, и один целится в другого (в себя, стало быть) пистолетом. Картина должна называться «Самоубийца». Откуда, из каких подвалов вынес Смородин такую печальную тему, это станет понятно несколько позже. Впрочем, это и теперь не секрет: тему и сюжет подсказала жена Константина Смородина, эта странная задумчивая женщина.

Когда Смородин входил в маленькую комнатку, на лице его появлялось выражение злой решимости. Укусить не укусить, но надавать в зубы кому-нибудь — с таким лицом только и делать. Он подолгу стоял перед полотном в пляжном халате, перехваченном в талии толстым поясом с шишками на концах, стоял, сунув руки глубоко в карманы халата, сосал мундштук и свирепо щурился. Жена его не входила во время работы в комнатку, он не велел.

Работал Смородин днем, чаще в субботу и воскресенье. Световой день его заканчивался рано, и когда поздно вечером приходила жена с работы, Смородин сидел обычно на кухне в неизменном халате, пил чай.

— Как дела? — спрашивал Смородин.

Жена пожимала плечами, что — «никак». Молча переодевалась (тоже надевала халат), молча ж подсаживалась к столу и пила чай. А Смородин рассказывал.

— Захожу вчера к своему долбаку: «Вызывали?» — «Вызывал. Для молочного кафе эскиз вы делали?» — «Я-с. Не нравится?» — «Что это у вас тут такое?» — «Вымя коровье. А — это соски. Просто же».— «Это авиабомбы какие-то, а не соски!»

Жена Смородина, когда он рассказал об этом, засмеялась. Она смеялась беззвучно, и опять же — вроде себе, своим мыслям. Посмеялась и покачала головой, как делают, когда даже ничего говорить не хочется на глупость.

Смородина этот ее смех сильно воодушевил. Он встал и заходил по шестиметровой кухне, да так быстро поворачивался, что полы его халата распахивались, видны были кривые волосатые ноги.

— Авиабомбы, да! — начиненные молоком и здоровьем! Когда они обрушиваются на людей, они сеют... так сказать, кровь с молоком. Пусть бьет меня такая бомба по кумполу — на здоровье!

— Про Вьетнам надо было,— подсказала жена.

— Что про Вьетнам? — не понял Смородин. И остановился.

— Там — смерть, здесь — молоко. Он бы завизжал от восторга.

— Не сообразил.— Смородин двинулся было, но опять остановился.— А если вообще — триптих такой: бомбежка — раз, кладбище — два, и вымя в облаках... А?

Жена, не меняя задумчивого выражения на лице, посмотрела на мужа. Спросила:

— Зачем?

— Ну, триптих такой...

— Это же не музей.

— Ну да,— согласился Смородин.

— Чем закончилось с вымем-то?

— Переделал! — как-то даже весело воскликнул Смородин.— Пусть кушают примитив. Я теперь пришел к выводу: чем хуже, тем для них лучше.— И Смородин гордо посмотрел на жену. Жена тоже посмотрела на него и кивнула головой. И в глазах ее темных померцал слабый свет ласки.

— Ты таких слов не говорил,— сказала она.

— Я их говорю!

— Ты их не говорил,— упрямо повторила смуглая жена.

— Не понял,— признался Смородин. И вынул изо рта мундштук.

— Твой начальник ни-когда не слышал от тебя таких слов. И соседи не слышали. И никто. Иначе ты ничего не успеешь сделать.

— А-а! — дошло, наконец, до Смородина.— Ну, это само собой. Это я секу.

— Надо, чтоб у них потом отвисли челюсти. Талант всегда немножко взрывается. Живет человек, никто на него не обращает внимания, замечают только, что он ка-

кой-то раздражительный. Но в политику не лезет. Вдруг, в один прекрасный день, все узнают, что этот человек — гений. Ну, не гений, крупный талант.— Жена Смородина не всегда молчала. Иногда она начинала говорить и тогда преображалась: говорила сильно, с глубокой страстью, и опять куда-то, в даль своих постоянных далеких дум. И глаза ее явственно светились светом иной жизни, той жизни, где она жила мыслями,— в жизни, где дни и ночи тихо истлевали бы в довольстве и пресыщении, где не надо продавать билеты, где ничего не надо делать, может быть, играть в пинг-понг, ибо делать что-нибудь за кусок хлеба — это мерзко, гадко, противно, наконец просто неохота. Она знала, что такая жизнь есть. Где она, такая жизнь, черт ее знает, но она всем существом была в той жизни, а здесь только с презрением, брезгливо пребывала. В прошлой судьбе ее тоже была тюрьма; она не рисовала фальшивых денег, она не умела рисовать, она где-то в каких-то серьезных бумагах подставляла нули и угодила туда же, куда угодил Смородин. И где-то там они и познакомились. Она очень заинтересовалась способностями ершистого Константина Смородина... Когда они вышли на волю, они разыскали друг друга и сошлись. С тех пор Константин Смородин и стал поносить всех и все. И тогда же, примерно, он натянул большой холст и посадил туда этого отчаянного человека, который сам в себя целится.

— Могут не признать, суки,— встрял Смородин в убежденную речь жены. Он часто сомневался.— Это же не передовик на комбайне, понимаешь. Чего ты не хочешь передовика какого-нибудь.

— Ни в коем случае!— твердо сказала жена. И строго посмотрела на мужа.— Что ты! Это вшивота. Крохоборство. Это же дешевка! — Все же прекрасен сильный человек!— Жена Смородина, когда вселяла в слабого, суетливого мужа дух борьбы и протеста, сама на глазах хорошела: глаза совсем темнели, становились как будто еще больше, ноздри прямого носа вздрагивали, верхняя губа хищновато дергалась кверху и на ней явственней обозначался темный пушок. Смородин, парализованный ее волей, вынимал изо рта мундштук, слушал, смотрел... и начинал томительно ждать, когда они лягут спать и выключат свет.

— Но не признают же...

— Кто?

— Ну, кто... Что ты не знаешь, кто?

— И прекрасно! Это-то и нужно. Не хватало еще, чтоб они признали! Признают другие. Кому осточертели все эти передовики, те и признают. А тогда уж... все само собой сделается.

И все же самое удивительное во всем этом было, наверно, то, что Смородин вовсе не думал о деньгах. И когда он участвовал в изготовлении фальшивок, и тогда он не думал о деньгах — о том, чтоб иметь их много-много. Ему нравилось, что его, самодельного художника, признают талантливым, что где-то кто-то очень нуждается в его работе, и он старался делать, что ему положено было делать, хорошо. А так как накрыли их скоро, то больших-то денег он еще и не имел, и не успел, так сказать, войти во вкус. Жена его — другое дело: хоть скупо и неохотно, но кое-что рассказывала из своей жизни той поры, когда подставлялись в бумагах нулики. Она знала в этом толк, в деньгах. Смородину же очень хотелось «взорваться» — чтоб о нем заговорили, заговорили о его картинах, рисунках... Может, и станут покупать, пусть, но главное все же не в том.

Таким он и входил в маленькую комнатку — готовый «взрываться», отсюда и такая свирепая решимость на его маленьком круглом лице, вовсе не злом, а даже добродушном, доверчивом и мясистом.

— Ну, суки...— говорил он, стоя перед картиной с мундштуком в зубах и засунув руки в карманы халата.

И вот пришла пора, пришел день, который жена Смородина молча ждала и молча торопила.

— Завтра позову его,— сказал вечером на кухне Смородин.

У жены — как будто она напугалась чего — широко распахнулись темные глаза, она стремительно вышла из ТОЙ жизни в ЭТУ, тесную и вонючую, и спросила негромко:

— Да?

— Да. Можно сказать. Если он не нарежется с утра... Пораньше схожу за ним, чтоб не успел нарезаться. Пусть лучше здесь выпьет. Ты приготовь тут...

— Я все сделаю,— с не свойственной ей поспешностью сказала жена.— Все будет на уровне, не беспокойся.

И на другой день, рано утром, в воскресенье, Смородин привел его, художника, который должен был сказать, что Константин Смородин — «взорвался». Или он это

скажет, или... Смородин и его жена волновались. По-разному волновались. Жена вся ушла в свои глазницы, вся там трепетала и надеялась; Смородин, как всегда, много суетился и говорил.

Художник был бородатый, большой, с курносым русским лицом. Заявился шумно, загудел в малогабаритной квартире, стал всего касаться плечами...

— Ну, что ты тут намазал?.. Где?

— Погоди, погоди,— суетился Смородин,— давай сперва дернем по малой... Зоя, у нас есть там чего-нибудь?

— Проходите сюда, пожалуйста,— сказала жена Смородина, обшаривая художника вопрошающими глазами.

Художник Коля тоже глянул на нее, сказал «гм» и зашагнул на кухню.

— О-о! — густо сказал он.— Это я понимаю. Да ты славно живешь, Константин! Ну, давайте...— И художник первым сел за стол и пригласил хозяев: — Садитесь. Вы славно живете! — еще приятно удивился он.— Как вас, Роза?..

— Зоя,— сказала жена Смородина.

— Зоя! Садитесь, Зоя. Садись, Костя... Ну, так... Нет, славно, славно, молодцы. Вы тоже рисуете, Зоя? — спросил художник, галантно повернувшись к хозяйке.

— Нет, она... по финансовой части,— сказал Смородин.— Наливай, Зайка.

Когда выпили по одной, художнику Коле стало легче.

— Вчера приняли с Поволоцким... Ты знаешь его? А-а, ты его не знаешь. Славный парень.— Художнику было лет 37, и здоровье свое он еще только-только начал пропивать. В городе он считался лучшим художником, знал московских мастеров, был о них невысокого мнения, материл, когда принимал за галстук.— И ну, так, так... Хорошо!

Еще выпили по одной дорогого коньяку.

— Эх, жизнь бекова! — сказал художник Коля.— Как там у вас говорили, Константин? А интересно там, да? Мне охота бы побывать, только не долго, ну ее к черту... Не вытерплю долго. С полгода бы вытерпел.

Смородин хихикнул встревоженно... И глянул на жену — проверить: не подали ли художнику лишнего? Но жена его спокойно и даже с интересом разглядывала лучшего художника города.

— Что нарисовал-то? — спросил тот. И посмотрел весело на Смородина.— «Утро нашей Родины»?

— Увидишь,— уклончиво, но и обещающе сказал Смородин.— Давай посидим пока...

Художник засмеялся.

— Чего ты меня готовишь, как... невесту смотреть. Волнуешься, что ли? А?

Смородин пожал плечами.

— Год работал...

— Ну-у, даже интересно. Пойдем глянем!

Смородин опять быстро и вопросительно глянул на жену.

— Выпейте еще,— сказала Зоя,— потом уж делами займетесь.

— Да что вы такие?! — спросил удивленный художник, глядя на Смородина...— Можно подумать, что у вас там труп висит, а не картина. Чего вы?

— Выпейте,— жена Смородина засмеялась от растерянности, что с ней редко бывало — чтобы она терялась.— Выпейте, закусите, потом и пойдете.— Боялась она, что ли?

Еще выпили. И закусили.

— Пойдем,— нетерпеливо сказал художник Коля.— А то нагнали тут мистики какой-то. Пойдем, что там такое?

Пошли.

Вошли в маленькую комнатку... Смородин снял белую тряпку с холста, целую простынь. Руки его мелко дрожали; он крепко прикусил мундштук и засунул руки в карманы брюк. У него даже в животе заныло.

Художник прищурился на картину... Долго смотрел... Потом посмотрел на Смородина...

— Самоубийца,— сказал тот, слабо кивнув на холст. Голос его охрип.

Художник засмеялся, и даже не спохватился, что, может, грешно смеяться-то. Не увидел, не заметил, не обратил внимания, какой стоял Смородин — весь наструнившийся, весь отчаянный и жалкий, как на краю обрыва стоял и боялся смотреть вниз.

— Чего ты? — спросил тихо Смородин.

— Ты прямо напугал меня,— добродушно сказал Коля-художник.— Я уж думал тут правда черт-те чего... Не вышло, Константин. Самоубийца...— Он опять неволь-

но хохотнул.— Тут до самоубийства-то еще далеко, друг. А чего ты туда полез-то? А?

Смородин молчал. Чтобы не выдать, что с ним творится, не смотрел на художника, смотрел на картину и кусал мундштук. И тут, видно, понял художник, как он немилосерден, жесток.

— Костя!..— окликнул он.— Ты чего? Брось ты так... Давно надо было позвать меня — не тратил бы год на эту мазню. Надо учиться, дружок, надо много уметь... Ну куда тебя к черту понесло — самоубийца! Тут еще и ремесла-то нету. Тут ни примитивизма, ни реализма... Ничего.— Он посмотрел на картину.— Ты человек способный, это я тебе не из какой не из жалости говорю. Способный. Но абсолютно неграмотный. Да и тема-то вовсе не твоя, ты вон какой... окорок, с чего вдруг самоубийство-то? Да ведь как выдумал!.. Ловко. Но это штука, дружок, фокус, а фокус не удался. Не переживай. Хочешь, буду учить тебя?

— Вон отсюда! — раздался вдруг сзади них голос. Художник Коля и Смородин вздрогнули от неожиданности, оглянулись. Стояла жена Смородина, Зоя, смотрела в упор на художника, и глаза ее полыхали... не гневом даже, а — гибелью, крушением. Изождавшиеся ее глаза кричали болью.

— Вон из квартиры! — повторила она, глядя на художника.

— Зоя... — хотел что-то сказать Смородин.

— Вон! — крикнула Зоя. И топнула ногой. И лицо ее тоже исказилось болью.— Вон! Вон! Вон!!!

Художник Коля ничего не понял, но испугался, понял только, что тут сейчас должно что-то случиться... И даже не показав никак, что он удивлен или что ему странно все это,— пошел вон. Подошел к двери, оглянулся...

— Во-он!! — закричала истерично жена Смородина. Схватила мужа за руку и потащила вслед за художником. И говорила, как в бреду, торопливо, едва разборчиво: — Спусти его!.. Двинь сзади! Скорей!..

Смородин и сам тоже испугался. Шел за женой, не противился... Художник, видя такое дело, поскорей вышел из квартиры и поскорей же начал спускаться по лестнице. А жена Смородина все тащила мужа за рукав — Смородин невольно отметил, какая у нее сильная рука,— и все торопила, все повторяла:

— Спусти его! Вниз его, вниз его, вниз... Двинь его! Скорей же!

На лестнице, увидев внизу уходящего художника, бросила руку мужа и стала показывать, как надо спустить художника вниз: торопливо, с силой совала острым кулаком в воздух, вниз, и твердила, и твердила:

— Догони его! Догони — двинь его, двинь! Толкни вниз! Вот так вот, вот так вот... Что ты стоишь-то?! Что ты стоишь-то?!

Смородин обнял жену, стал успокаивать.

— Зоя, Зоя... ну, что ты? Что ты? Перестань, люди сбегутся. Люди же сбегутся!..

— Уйди! — зло кричала Зоя и колотила мужа в широкую грудь, как в дверь, обитую дерматином.— Уйди! Подонки!.. Хамье! Подонки! Подонки!..

Это была уже истерика. Константин Смородин слышал, как надо останавливать женскую истерику: приотпустил жену и, не разворачиваясь, больно дал ей ладонью по щеке. Жена уткнулась ему в грудь, обмякла, заплакала. Смородин поднял ее на руки и понес домой.

— Ну что ты, дурашка ты моя? — говорил ласково Смородин.— Чего ты?.. Подумаешь! Ну, и ничего страшного! Ничего же страшного не случилось. Ну, дурак пришел, наговорил... Что он понимает-то! Я других художников позову, не алкоголиков... они скажут. Не реви. Успокойся.— Смородин целовал голову жены, обильно надушенную ради сегодняшнего дня, и крепче прижимал ее к груди.— Успокойся, милая, успокойся, не надо...

А Зоя плакала, не могла остановиться, плакала, мочила слезами его выходной светло-серый костюм... Даже подвывала тихонько — так горько плакала. И не могла остановиться.

УПОРНЫЙ

Все началось с того, что Моня Квасов прочитал в какой-то книжке, что вечный двигатель — невозможен. По тем-то и тем-то причинам — потому, хотя бы, что существует трение. Моня... Тут, между прочим, надо объяснить, почему — Моня. Его звали — Митька, Дмитрий, но бабка звала его — Митрий, а ласково — Мотька, Мотя. А уж дружки переделали в Моню — так проще, кроме того, непоседливому Митьке имя это,

Моня, как-то больше шло, выделяло его среди других, подчеркивало как раз его непоседливость и строптивый характер.

Прочитал Моня, что вечный двигатель невозможен... Прочитал, что многие и многие пытались все же изобрести такой двигатель... Посмотрел внимательно рисунки тех «вечных двигателей», какие — в разные времена — предлагались... И задумался. Что трение там, законы механики — он все это пропустил, а сразу с головой ушел в изобретение такого «вечного двигателя», какого еще не было. Он почему-то не поверил, что такой двигатель невозможен. Как-то так бывало с ним, что на всякие трезвые мысли... от всяких трезвых мыслей он с пренебрежением отмахивался и думал свое: «Да ладно, будут тут мне...» И теперь он тоже подумал: «Да ну!.. Что значит — невозможен?»

Моне шел двадцать шестой год. Он жил с бабкой, хотя где-то были и родители, мать с отцом, но бабка еще маленького взяла его к себе от родителей (те вечно то расходились, то опять сходились) и вырастила. Моня окончил семилетку в деревне, поучился в сельскохозяйственном техникуме полтора года, не понравилось, бросил, до армии работал в колхозе, отслужил в армии, приобрел там специальность шофера и теперь работал в совхозе шофером. Моня был белобрыс, скуласт, с глубокими маленькими глазами. Большая нижняя челюсть его сильно выдавалась вперед, отчего даже и вид у Мони был крайне заносчивый и упрямый. Вот уж что у него было, так это было: если ему влетела в лоб какая-то идея,— то ли научиться играть на аккордеоне, то ли, как в прошлом году, отстоять в своем огороде семнадцать соток, не пятнадцать, как положено по закону, а семнадцать, сколько у них с бабкой, почему им и было предложено перенести плетень ближе к дому,— то идея эта, какая в него вошла, подчиняла себе всего Моню: больше он ни о чем не мог думать, как о том, чтобы научиться на аккордеоне или не отдать сельсоветским эти несчастные две сотки земли. И своего добивался. Так и тут, с этим двигателем: Моня перестал видеть и понимать все вокруг, весь отдался великой изобретательской задаче. Что бы он ни делал — ехал на машине, ужинал, смотрел телевизор — все мысли о двигателе. Он набросал уже около десятка вариантов двигателя, но сам же и браковал их один за одним. Мысль работала судорожно, Моня вскакивал ночами,

чертил какое-нибудь очередное колесо... В своих догадках он все время топтался вокруг колеса, сразу с колеса начал и продолжал искать новые и новые способы — как заставить колесо постоянно вертеться.

И наконец способ был найден. Вот он: берется колесо, например велосипедное, закрепляется на вертикальной оси. К ободу колеса жестко крепится в наклонном положении (под углом в 45 градусов к плоскости колеса) желоб — так, чтоб по желобу свободно мог скользить какой-нибудь груз, допустим, килограммовая гирька. Теперь, если к оси, на которой закреплено колесо, жестко же прикрепить (приварить) железный стерженек так, чтобы свободный конец этого стерженька проходил над желобом, где скользит груз... То есть, если груз, стремясь вниз по желобу, упрется в этот стерженек, то — он же будет его толкать, ну, не толкать — давить на него будет, на стерженек-то! А стерженек соединен с осью, ось — закрутится, закрутится и колесо. Таким образом, колесо само себя будет крутить.

Моня придумал это ночью... Вскочил, начертил колесо, желоб, стерженек, грузик... И даже не испытал особой радости, только удивился: чего же они столько времени головы-то ломали! Он походил по горнице в трусах, глубоко гордый и спокойный, сел на подоконник, закурил. В окно дул с улицы жаркий ветер, качались и шумели молодые березки возле штакетника; пахло пылью. Моня мысленно вообразил вдруг огромнейший простор своей родины, России,— как бесконечную равнину, и увидел себя на той равнине — идет спокойно по дороге, руки в карманах, поглядывает вокруг... И в этой ходьбе — ничего больше, идет, и все,— почудилось Моне некое собственное величие. Вот так вот пройдет человек по земле — без крика, без возгласов — поглядит на все тут — и уйдет. А потом хватятся: кто был-то! Кто был... Кто был... Моня еще походил по горнице... Если бы он был не в трусах, а в брюках, то уже теперь сунул бы руки в карманы и так походил бы — хотелось. Но лень было надевать брюки, не лень, а совестно суетиться. Покой, могучий покой объял душу Мони. Он лег на кровать, но до утра не заснул. Двигатель свой он больше не трогал — там все ясно, а лежал поверх одеяла, смотрел через окно на звезды. Ветер горячий к утру поослаб, было тепло, но не душно. Густое небо стало бледнеть, стало как ситчик голубенький, застиранный... И та особенная тишина, рассветная, пугливая, не-

вечная, прилегла под окно. И скоро ее вспугнули, эту тишину,— скрипнули недалеко воротца, потом звякнула цепь у колодца, потом с визгом раскрутился колодезный вал... Люди начали вставать. Моня все лежал на кровати и смотрел в окно. Ничего вроде не изменилось, но какая желанная, дорогая сделалась жизнь. Ах, черт возьми, как, оказывается, не замечаешь, что все тут — прекрасно, просто, бесконечно дорого. Еще полежал Моня с полчаса и тоже поднялся: хоть и рано, но все равно уже теперь не заснуть.

Подсел к столу, просмотрел свой чертежик... Странно, что он не волновался и не радовался. Покой все пребывал в душе. Моня закурил, откинулся на спинку стула и стал ковырять спичкой в зубах — просто так, нарочно, чтобы ничтожным этим действием подчеркнуть огромность того, что случилось ночью и что лежало теперь на столе в виде маленьких рисунков. И Моня испытал удовольствие: на столе лежит чертеж вечного двигателя, а он ковыряется в зубах. Вот так вот, дорогие товарищи!.. Вольно вам в жарких перинах трудиться на заре с женами, вольно сопеть и блаженствовать — кургузые. Еще и с довольным видом будут ходить потом днем, будут делать какие-нибудь маленькие дела, и при этом морщить лоб — как если бы они думали. Ой-ля-ля! Даже и думать умеете?! Гляди-ка. Впрочем, что же: выдумали же, например, рукомойник. Ведь это же какую голову надо иметь, чтобы... Ах, люди, люди. Моня усмехнулся и пошел к человеческому изобретению — к рукомойнику, умываться.

И все утро потом Моня пробыл в этом насмешливом настроении. Бабка заметила, что он какой-то блаженный с утра... Она была веселая крепкая старуха, Мотьку своего любила, но никак любви этой не показывала. Она сама тоже думала о людях несложно: живут, добывают кусок хлеба, приходит время — умирают. Важно не оплошать в трудную пору, как-нибудь выкрутиться. В войну, например, она приспособилась так: заметила в одном колхозном амбаре щель в полу, а через ту щель потихоньку сыплется зерно. А амбар задней стеной выходил на дорогу, но с дороги его заслоняли заросли крапивы и бурьяна. Ночью Квасиха пробралась с мешочком через эти заросли, изжалилась вся, но к зерну попала. Амбар был высокий, пол над землей высоко — хватит пролезть человеку. Квасиха подчистила зерно, проковыряла ножом щель пошире... И с неделю ходила ночами под тот амбар

с мешочком. И наносила зерна изрядно. И в самый голод великий толкла ночами зерно это в ступке, подмешивала в муку сосновой коры и пекла хлебушек. Так обошла свою гибель. Мотька был ей как сын, даже, наверно, дороже, потому что больше теперь никого не было. Была дочь (сыновей, двух, убило на войне), мать Мотькина, но она вконец запуталась со своим муженьком, закружилась в городе, вообще как-то не вышло толку из бабы, она сюда и носа не казала, так что — есть она, и вроде ее нет.

— Чего эт ты седня такой? — спросила бабка, когда сидели завтракали.

— Какой? — спокойно и снисходительно поинтересовался Моня.

— Довольный-то. Жмурисся, как кот на солнышке... Приснилось, что ль, чего?

Моня несколько подумал... И сказал заковыристо:

— Мне приснилось, что я нашел десять тысяч рублей в портфеле.

— Подь ты к лешему! — Старуха усмехнулась, помолчала и спросила: — Ну, и что бы ты с имя стал делать?

— Что?.. А ты что?

— Я тебя спрашиваю.

— Хм... Нет, а вот ты чего бы стала делать? Чего тебе, например, надо?

— Мне ничего не надо. Может, дом бы перебрать...

— Лучше уж новый срубить. Чего тут перебирать — гнилье трясти.

Бабка вздохнула. Долго молчала.

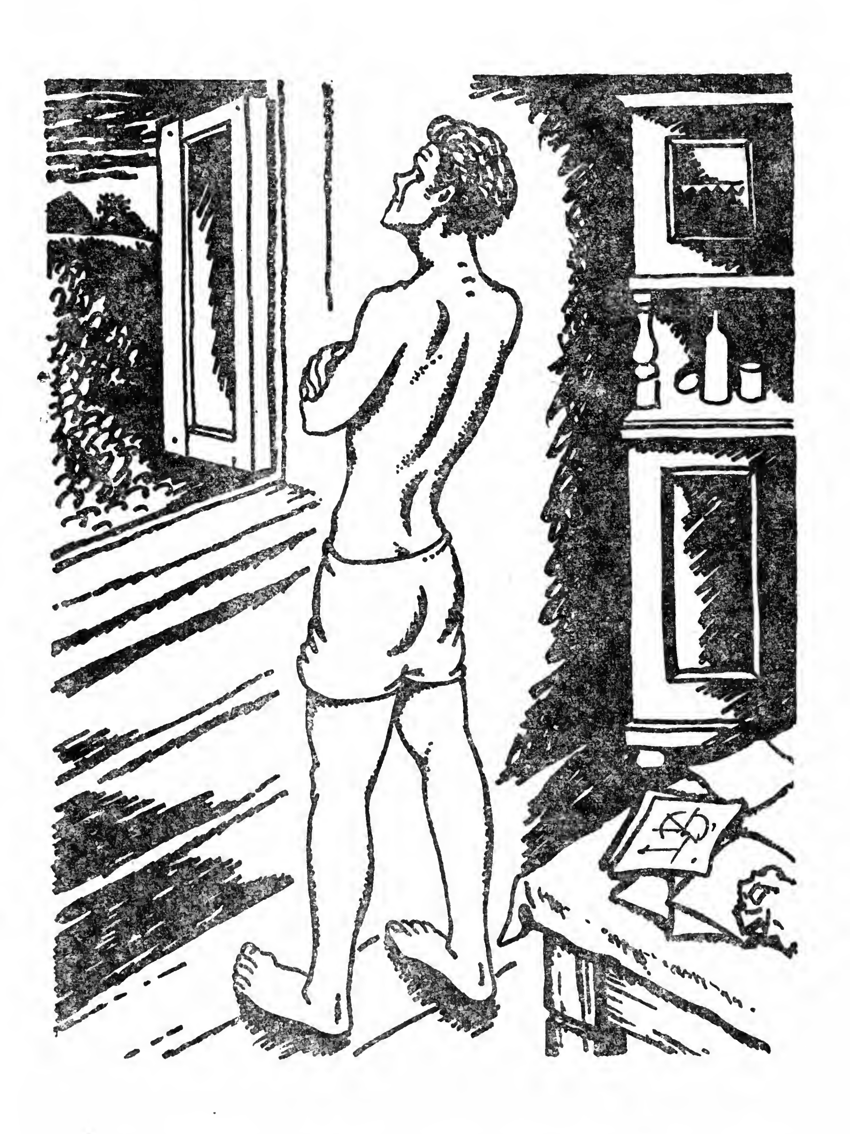
— Гнилье-то гнилье... А уж я доживу тут. Немного уж осталось. Я уж все продумала, как меня отсюда выносить будут.

— Начинается! — недовольно сказал Моня. Он тоже любил бабку, хоть, может, не очень это сознавал, но одно в ней раздражало Моню: разговоры о предстоящей смерти. Да добро бы немощью, хилостью они порождались, обреченностью — нет же, бабка очень хотела жить, смерть ненавидела, но притворно строила перед ней, перед смертью, покорную фигуру.— Чего ты опять?

Умная старуха поддельно-скорбно усмехнулась.

— А чего же? Что я, два века жить буду? Приде-ет матушка...

— Ну, и... придет — значит, придет: чего об этом говорить раньше время?



Но говорить старухе об этом хотелось, жаль только, что Мотька не терпит таких разговоров. Она любила с ним говорить. Она считала, что он умный парень, удивительно только, что в селе так не думают.

— Дак чего приснилось-то?

— Да ничего... Так я: утро вон хорошее, я и... радый.

— Ну, ну... И радуйся, пока молодой. Старость придет — не возрадуесся.

— Ничего! — беспечно и громко сказал Моня, закончив трапезу.— Мы еще... сообразим тут! Скажем еще свое «фэ»!

И Моня пошел в гараж. Но по дороге решил зайти к инженеру РТС Андрею Николаевичу Голубеву, молодому специалисту. Он был человек приезжий, толковый, несколько мрачноватый, правда, но зато не трепач. Раза два Моня с ним общался, инженер ему нравился.

Инженер был в ограде, возился с мотоциклом.

— Здравствуй! — сказал Моня.

— Здравствуй! — не сразу откликнулся инженер. И глянул на Моню неодобрительно: наверно, не понравилось, что с ним на «ты».

«Переживешь,— подумал Моня.— Молодой еще».

— Зашел сказать свое «фэ»,— продолжал Моня, входя в ограду.

Инженер опять посмотрел на него.

— Что еще за «фэ»?

— Как ученые думают насчет вечного двигателя? — сразу начал Моня. Сел на бревно, достал папиросы... И смотрел на инженера снизу.— А?

— Что за вечный двигатель?

— Ну, этот — перпетум мобиле. Нормальный вечный двигатель, который никак не могли придумать...

— Ну? И что?

— Как сейчас насчет этого думают?

— Да кто думает-то? — стал раздражаться инженер.

— Ученый мир... Вообще. Что, сняли, что ли, эту проблему?

— Никак не думают. Делать, что ли, нечего больше, как об этом думать.

— Значит, сняли проблему?

Инженер снова склонился к мотоциклу.

— Сняли.

— Не рано? — не давал ему уйти от разговора Моня.

— Что «не рано»? — оглянулся опять инженер.

— Сняли-то. Проблему-то.

Инженер внимательно посмотрел на Моню.

— Что, изобрел вечный двигатель, что ли?

И Моня тоже внимательно посмотрел на инженера. И всадил в его дипломированную головушку... Как палку в муравейник воткнул:

— Изобрел.

Инженер, не вставая с корточек, попристальнее вгляделся в Моню... Откровенно улыбнулся и возвратил Моне палку — тоже отчетливо, не без ехидства сказал:

— Поздравляю.

Моня обеспокоился. Не то что он усомнился вдруг в своем двигателе, а то обеспокоило, до каких же, оказывается, глубин вошло в сознание людей, что вечный двигатель — невозможен. Этак — и выдумаешь его, а они будут твердить: невозможен. Спорить с людьми — это тяжко, грустно. Вся-то строптивость Мони, все упрямство его — чтоб люди не успели сделать больно, пока будешь корячиться перед ними со своей доверчивостью и согласием.

— А что дальше? — спросил Моня.

— В каком смысле?

— Ну, ты поздравил... А дальше?

— Дальше — пускай его по инстанции, добивайся... Ты его сделал уже? Или только придумал?

— Придумал.

— Ну, вот...— Инженер усмехнулся, качнул головой.— Вот и двигай теперь... Пиши, что ли, я не знаю.

Моня помолчал, задетый за больное усмешкой инженера.

— Ну, а что ж ты даже не поинтересуешься: что за двигатель? Узнал бы хоть принцип работы... Ты же инженер. Неужели тебе неинтересно?

— Нет,— жестко сказал инженер.— Неинтересно.

— Почему?

Инженер оставил мотоцикл, вытер руки тряпкой, бросил тряпку на бревна, полез в карман за сигаретами. Посмотрел на Моню сверху.

— Парень... ты же говорил, что в техникуме сколько-то учился...

— Полтора года.

— Вот видишь... Чего же ты такую бредятину несешь сидишь? Сам шофер, с техникой знаком... Что, неужели веришь в этот свой двигатель?

— Ты же даже не узнал принцип его работы, а сразу — бредятина! — изумился Моня, чувствуя, что — все: с этой минуты он уперся. Узнал знакомое подрагивание в груди, противный холодок и подрагивание.

— И узнавать не хочу.

— Почему?

— Потому что — это глупость. И ты должен сам понимать, что глупость.

— Ну, а вдруг не глупость?

— Проверь. Проверь, а потом уж приходи... с принципом работы. Но если хочешь мой совет: не трать время и на проверку.

— Спасибо за совет.— Моня встал.— Вообще за добрые слова...

— Ну, вот...— сказал инженер вроде с сожалением, но непреклонно.— И не тронь вас. Скажи еще, что меня в институте учили...

— Да ну, при чем тут институт! Я же к тебе не за справкой пришел...

— Ну, а чего же уж такая... самодеятельность-то тоже! — воскликнул инженер.— Почти девять лет учился, и — на тебе: вечный двигатель. Что же уж?.. Надо же понимать хоть такие-то вещи. Как ты думаешь: если бы вечный двигатель был возможен, неужели бы его до сих пор не изобрели?

— Да вот так вот все рассуждают: невозможен, и все. И все махнули рукой...

— Да не махнули рукой, а доказали давно: не-воз-мо-жен! Ладно, было бы у человека четыре класса, а то... Ты же восемь с половиной лет учился! Ну... Как же так? — Инженер по-живому рассердился, именно рассердился. И не скрывал, что сердится: смотрел на Моню зло и строго. И отчитывал.— Что же ты восемь с половиной лет делал?

— Смолил и к стенке становил,— тоже зло сказал Моня. И тоже поглядел в глаза инженеру.— Что ты, как на собрании выступаешь? Чего красуешься-то? Я тебя никуда выдвигать не собираюсь.

— Вот видишь...— чуть растерялся инженер от встречной напористой злости, но и своей злости тоже не убавил.— Умеешь же говорить... Значит, не такой уж темный. Не хрена тогда и с вечным двигателем носиться... Людей смешить.— Инженер бросил сигарету, наступил на нее, крутнулся, вдавив ее в землю, и пошел заводить мотоцикл.

Моня двинулся из ограды.

Оглушил его этот инженер. И стыдно было, что отчитали, и злость поднялась на инженера нешуточная... Но ужасно, что явилось сомнение в вечном двигателе. Он пошел прямиком домой — к чертежу. Шагал скоро, глядел

вниз. Никогда так стыдно не было. Стыдно было еще своей утренней беспечности, безмятежности, довольства. Надо было все же хорошенько все проверить. Черт, и в такой безмятежности поперся к инженеру! Надо было проверить, конечно.

Бабки дома не было. И хорошо: сейчас полезла бы с тревогой, с вопросами... Моня сел к столу, придвинул чертеж. Ну, и что? Груз — вот он — давит на стержень... Давит же он на него? Давит. Как же он не давит-то! А что же он делает? Моня вспомнил, как инженер спросил: «Что же ты восемь с половиной лет делал?» Нервно ерзнул на стуле, вернул себя опять к двигателю. Ну?.. Груз давит на стержень, стержень от этого давления двинется... Двинется. А другим концом он приварен к оси... Да что за мать-перемать-то! Ну, и почему это невозможно?! Вот теперь Моня волновался. Определенно волновался, прямо нетерпение охватило. Правильно, восемь с половиной лет учился, совершенно верно. Но — вот же, вот! Моня вскочил со стула, походил по горнице... Он не понимал: что они? Ну, пусть докажут, что груз не будет давить на стержень, а стержень не подвинется от этого. А почему он не подвинется-то? Вы согласны — подвинется? Тогда и ось... Тьфу! Моня не знал что делать. Делать что-то надо было — иначе сердце лопнет от всего этого. Кожа треснет от напряжения. Моня взял чертеж и пошел из дома, сам пока не зная куда. Пошел бы и к инженеру, если бы тот не уехал. А может, и не уехал? И Моня пошел опять к инженеру. И опять шел скоро. Стыдно уже не было, но такое нетерпение охватило, в пору бегом бежать. Малость Моня и подбежал — в переулке, где людей не было.

Мотоцикла в ограде не было. Моне стадо досадно. И он, больше машинально, чем с какой-то целью, зашел в дом инженера. Дома была одна молодая хозяйка, она недавно встала, ходила в халатике еще, припухшая со сна, непричесанная.

— Здравствуйте,— сказал Моня.— А муж уехал?

— Уехал.

Моня хотел уйти, но остановился.

— А вы же ведь учительница? — спросил он.

Хозяйка удивилась.

— Да. А что?

— По какому?

— По математике.

Моня, не обращая внимания на беспорядок, которого хозяйки стыдятся, не обращая внимания и на хозяйку,— что она еще не привела себя в порядок,— прошел к столу.

— Ну-ка, гляньте одну штуку... Я тут поспорил с вашим мужем... Идите-ка сюда.

Молодая женщина какое-то время нерешительно постояла, глядя на Моню. Она была очень хорошенькая, пухленькая.

— Что? — спросил Моня.

— А в чем дело-то? — тоже спросила учительница, подходя к столу.

— Смотрите,— стал объяснять Моня по чертежу,— вот это такой желобок, из сталистой какой-нибудь жести... Так? Он — вот так вот — наклонно прикреплен к ободу этого колеса. Если мы сюда положим груз, вот здесь, сверху... А вот это будет стержень, он прикреплен к оси. Груз поехал, двинул стерженек... Он же двинет его?

— Надавит...

— Надавит! Он будет устремляться от этого груза, так же? Стерженек-то. А ось что будет делать? Закрутится? А колесо? Колесо-то на оси жестко сидит...

— Это что же, вечный двигатель, что ли? — удивилась учительница.

Моня сел на стул. Смотрел на учительницу. Молчал.

— Что это? — спросила она.

— Да вы же сами сказали!

— Вечный двигатель?

— Ну.

Учительница удивленно скривила свежие свои губки, долго смотрела на чертеж... Тоже пододвинула себе стул и села.

— А? — спросил Моня, закуривая. У него опять вздрагивало в груди, но теперь от радости и нетерпения.

— Не будет колесо вращаться,— сказала учительница.

— Почему?

— Не знаю пока... Это надо рассчитать. Оно не должно вращаться.

Моня крепко стукнул себя кулаком по колену... Встал и начал ходить по комнате.

— Ну, ребята!..— заговорил он.— Я не понимаю: или вы заучились, или... Почему не будет-то? — Моня остановился, глядя в упор на женщину.— Почему?

Женщина тоже смотрела на него, несколько встревоженная. Она, как видно, немножко даже испугалась.

— А вам нужно, чтобы вращалось? — спросила она.

Моня пропустил, что она это весьма глупо спросила, сам спросил — все свое:

— Почему оно не будет вращаться?

— А как вам муж объяснил?

— Муж... никак. Муж взялся стыдить меня.— И опять Моня кинулся к чертежу: — Вы скажите, почему колесо... Груз давит?

— Давит.

— Давит. Стержень от этого давления...

— Знаете что,— прервала Моню учительница,— чего мы гадаем тут: это нам легко объяснит учитель физики, Александр Иванович такой... Не знаете его?

— Знаю.

— Он же недалеко здесь живет.

Моня взял чертеж. Он знал, где живет учитель физики.

— Только подождите меня, ладно? — попросила учительница.— Я с вами пойду. Мне тоже интересно стало.

Моня сел на стул.

Учительница замешкалась...

— Мне одеться нужно...

— А-а,— догадался Моня.— Ну, конечно. Я на крыльце подожду.— Моня пошел к выходу, но с порога еще оглянулся, сказал с улыбкой: — Вот дела-то! Да?

— Я сейчас,— сказала женщина.

Учитель физики, очень добрый человек, из поволжских немцев, по фамилии Гекман, с улыбкой слушал возбужденного Моню... Смотрел в чертеж. Выслушал.

— Вот!..— сказал он молодой учительнице с неподдельным восторгом.— Видите, как все продумано! А вы говорите...— И повернулся к Моне. И потихоньку тоже возбуждаясь, стал объяснять:

— Смотрите сюда: я почти ничего не меняю в вашей конструкции, но только внесу маленькие изменения. Я уберу (он выговаривал «упреу») ваш желоб и ваш груз... А к ободу колеса вместо желоба прикреплю тоже стержень — вертикально. Вот...— Гекман нарисовал свое колесо и к ободу его «прикрепил» стержень.— Вот сюда мы его присобачим... Так? — Гекман был очень доволен.— Теперь я к этому вертикальному стержню прикреп-

ляю пружину... Во-от.— Учитель и пружину изобразил.— А другим концом...

— Я уже такой двигатель видел в книге,— остановил Моня учителя.— Так не будет крутиться.

— Ага! — воскликнул счастливый учитель.— А почему?

— Пружина одинаково давит в обои концы...

— Это ясно?! Взяли ваш вариант: груз. Груз лежит на желобе и давит на стержень. Но ведь груз — это та же пружина, с которой вам все ясно: груз так же одинаково давит и на стержень, и на желоб. Ни на что — чуть-чуть меньше, ни на что — чуть-чуть больше. Колесо стоит.

Это показалось Моне чудовищным.

— Да как же?! — вскинулся он.— Вы что? По желобу он только скользит,— желоб можно еще круче поставить,— а на стержень падает. И это — одинаково?! — Моня свирепо смотрел на учителя. Но того все не оставляла странная радость.

— Да! — тоже воскликнул он, улыбаясь. Наверно, его так радовала незыблемость законов механики.— Одинаково! Эта неравномерность — это кажущаяся неравномерность, здесь абсолютное равенство...

— Да горите вы синим огнем с вашим равенством! — горько сказал Моня. Сгреб чертеж и пошел вон.

Вышел на улицу и быстро опять пошагал домой. Это походило на какой-то заговор. Это черт знает что!.. Как сговорились. Ведь ясно же, ребенку ясно: колесо не может не вертеться! Нет, оно, видите ли, **не должно** вертеться. Ну что это?!

Моня приколбасил опять домой, написал записку, что он себя неважно чувствует, нашел бабку на огороде, велел ей отнести записку в совхозную контору, не стал больше ничего говорить бабке, а ушел в сарай и начал делать вечный двигатель.

...И он его сделал. Весь день пластался, дотемна. Доделывал уже с фонарем. Разорил велосипед (колесо взял), желоб сделал из старого оцинкованного ведра, стержень не приварил, а скрепил с осью болтами... Все было сделано, как и задумалось.

Моня подвесил фонарь повыше, сел на чурбак рядом с колесом, закурил... И без волнения толкнул колесо ногой. Почему-то охота было начать вечное движение непременно ногой. И привалился спиной к стене. И стал сни-

сходительно смотреть, как крутится колесо. Колесо покрутилось-покрутилось и стало. Моня потом его раскручивал уже руками... Подолгу — с изумлением, враждебно — смотрел на сверкающий спицами светлый круг колеса. Оно останавливалось. Моня сообразил, что не хватает противовеса. Надо же уравновесить желоб и груз! Уравновесил. Опять что есть силы раскручивал колесо, опять сидел над ним и ждал. Колесо останавливалось. Моня хотел изломать его, но раздумал... Посидел еще немного, встал и с пустой душой медленно пошел куда-нибудь.

...Пришел на реку, сел к воде, выбирал на ощупь возле себя камешки и стрелял ими с ладони в темную воду. От реки не исходил покой, она чуть шумела, плескалась в камнях, вздыхала в темноте у того берега... Всю ночь чего-то все беспокоилась, бормотала сама с собой — и текла, текла. На середине, на быстрине, поблескивала ее текучая спина, а здесь, у берега, она все шевелила какие-то камешки, шарилась в кустах, иногда сердито шипела, а иногда вроде смеялась тихо — шепотом.

Моня не страдал. Ему даже понравилось, что вот один он здесь, все над ним надсмеялись и дальше будут смеяться: хоть и бывают редкие глупости, но вечный двигатель никто в селе еще не изобретал. Этого хватит месяца на два — говорить. Пусть. Надо и посмеяться людям. Они много работают, развлечений тут особых нет — пусть посмеются, ничего. Он в эту ночь даже любил их за что-то, Моня, людей. Он думал о них спокойно, с сожалением, даже подумал, что зря он так много спорит с ними. Что спорить? Надо жить, нести свой крест молча... И себя тоже стало немного жаль.

Дождался Моня, что и заря занялась. Он вовсе отрешился от своей неудачи. Умылся в реке, поднялся на взвоз и пошел береговой улицей. Просто так опять, без цели. Спать не хотелось. Надо жениться на какой-нибудь, думал Моня, нарожать детей — трех, примерно, и смотреть, как они развиваются. И обрести покой, ходить вот так вот — медленно, тяжело и смотреть на все спокойно, снисходительно, чуть насмешливо. Моня очень любил спокойных мужиков.

Уже совсем развиднело. Моня не заметил, как пришел к дому инженера. Не нарочно, конечно, пришел, а шел мимо и увидел в ограде инженера. Тот опять возился со своим мотоциклом.

— Доброе утро! — сказал Моня, остановившись у изгороди. И смотрел на инженера мирно и весело.

— Здорово! — откликнулся инженер.

— А ведь крутится! — сказал Моня.— Колесо-то.

Инженер отлип от своего мотоцикла... Некоторое время смотрел на Моню — не то что не верил, скорее так: не верил и не понимал.

— Двигатель, что ли?

— Двигатель. Колесо-то... Крутится. Всю ночь крутилось... И сейчас крутится. Мне надоело смотреть, я пошел малость пройтись.

Инженер теперь ничего не понимал. Вид у Мони усталый и честный. И нисколько не пристыженный, а даже какой-то просветленный.

— Правда, что ли?

— Пойдем — поглядишь сам.

Инженер пошел из ограды к Моне.

— Ну, это... фокус какой-нибудь,— все же не верил он.— Подстроил там чего-нибудь?

— Какой фокус! В сарае... на полу: крутится и крутится.

— От чего колесо-то?

— От велика.

Инженер приостановился.

— Ну, правильно: там хороший подшипник — оно и крутится.

— Да,— сказал Моня,— но не всю же ночь!

Они опять двинулись.

Инженер больше не спрашивал. Моня тоже молчал. Благостное настроение все не оставляло его. Хорошее какое-то настроение, даже самому интересно.

— И всю ночь крутится? — не удержался и еще раз спросил инженер перед самым домом Мони. И посмотрел пристально на Моню. Моня преспокойно выдержал его взгляд и, вроде сам тоже изумляясь, сказал:

— Всю ночь! Часов с десяти вечера толкнул его и вот... сколько уж сейчас?

Инженер не посмотрел на часы, шел с Моней, крайне озадаченный, хоть старался не показать этого, щадя свое инженерное звание. Моне даже смешно стало, глядя на него, но он тоже не показал, что смешно.

— Приготовились! — сказал он, остановившись перед дверью сарая. Посмотрел на инженера и пнул дверь... И посторонился, чтобы тот прошел внутрь и увидел коле-

со. И сам тоже вошел в сарай — крайне интересно стало: как инженер обнаружит, что колесо не крутится.

— Ну-у,— сказал инженер.— Я думал, ты хоть фокус какой-нибудь тут придумал. Не смешно, парень.

— Ну, извини,— сказал Моня, довольный.— Пойдем — у меня дома коньячишко есть... сохранился: выпьем по рюмахе?

Инженер с интересом посмотрел на Моню. Усмехнулся.

— Пойдем.

Пошли в дом. Осторожно, стараясь не шуметь, прошли через прихожую комнату... Прошли уже было, но бабка услышала.

— Мотька, где был-то всю ночь? — спросила она.

— Спи, спи,— сказал Моня.— Все в порядке.

Они вошли в горницу.

— Садись,— пригласил Моня.— Я сейчас организую...

— Да ты... ничего не надо организовывать! — сказал инженер шепотом.— Брось. Чего с утра организовывать?

— Ну, ладно,— согласился Моня.— Я хотел хоть пирожок какой-нибудь... Ну, ладно.

Когда выпили по рюмахе и закурили, инженер опять с интересом поглядел на Моню, сощурил в усмешке умные глаза.

— Все же не поверил на слово? Сделал... Всю ночь, наверно, трудился?

А Моня сидел теперь задумчивый и спокойный — как если бы у него уже было трое детей, и он смотрел, как они развиваются.

— Весь день вчера угробил... Дело не в этом,— заговорил Моня, и заговорил без мелкого сожаления и горя, а с глубоким, искренним любопытством,— дело в том, что я все же не понимаю: почему оно не крутится? Оно же должно крутиться.

— Не должно,— сказал инженер.— В этом все дело.

Они посмотрели друг на друга... Инженер улыбнулся, и ясно стало, что вовсе он не злой человек — улыбка у него простецкая, доверчивая. Просто, наверно, на него, по его молодости и совестливости, навалили столько дел в совхозе, что он позабыл и улыбаться, и говорить приветливо — не до этого стало.

— Учиться надо, дружок,— посоветовал инженер.— Тогда все будет понятно.

— Да при чем тут — учиться, учиться,— недовольно

сказал Моня.— Вот нашли одну тему: учиться, учиться... А ученых дураков не бывает?

Инженер засмеялся... и встал.

— Бывают! Но все же неученых их больше. Я не к этому случаю говорю... вообще. Будь здоров!

— Давай еще по рюмахе?

— Нет. И тебе не советую.

Инженер вышел из горницы и постарался опять пройти по прихожей неслышно, но бабка уже не спала, смотрела на него с печки.

— Шагай вольнее,— сказала она,— все равно не сплю.

— Здравствуй, бабушка! — поприветствовал ее инженер.

— Здорово, милок. Чего вы-то не спите? Гляди-ка, молодые, а как старики... Вам спать да спать надо.

— А в старости-то что будем делать? — сказал инженер весело.

— В старости тоже не поспишь.

— Ну, значит, потом когда-нибудь... Где-нибудь.

— Рази что там...

Моня сидел в горнице, смотрел в окно. Верхняя часть окна уже занялась красным — всходило солнце. Село пробудилось; хлопали ворота, мычали коровы, собираясь в табун. Переговаривались люди, уже где-то и покрикивали друг на друга... Все как положено. Слава богу, хоть тут-то все ясно, думал Моня. Солнце всходит и заходит, всходит и заходит — недосягаемое, неистощимое, вечное. А тут себе шуруют: кричат, спешат, трудятся, поливают капусту... Радости подсчитывают, удачи. Хэх!.. люди, милые люди... Здравствуйте!

БИЛЕТ НА ВТОРОЙ СЕАНС

Последнее время что-то совсем неладно было на душе у Тимофея Худякова — опостылело все на свете. Так бы вот встал на четвереньки, и зарычал бы, и залаял, и головой бы замотал. Может, заплакал бы.

Пил со сторожем у себя на складе (он был кладовщиком перевалочной товарной базы) — не брало. Не то что не брало — легче не делалось.

— С чего эт тебя так? — притворно сочувствовал сторож Ермолай.

Тимофей понимал притворство Ермолая, но все равно жаловался:

— Судьба-сучка...— И дальше сложно: — Чтоб у ней голова не качалась... Чтоб сухари в сумке не мялись...— Тимофей, когда у него болела душа, умел ругаться сладостно и сложно, точно плел на кого-то, ненавистного, многожильный ременный бич. Ругать судьбу до страсти хотелось, и поэтому было еще «двенадцать апостолов», «осиновый кол в бугорок», «мама крестителя» — много. Даже Ермолай изумлялся:

— Забрало тебя!

— Заберет, когда она, сучка, так со мной обошлась.

— Ну, если уж тебе на судьбу обидеться, то... не знаю. Чего тебе не хватает-то? В доме-то всего невпроворот.

Тимофею не хотелось объяснять дураку-сторожу, отчего болит душа. Да и не понимал он. Сам не понимал. В доме действительно все есть, детей выучил в институтах... Было время, гордился, что жить умеет, теперь тосковал и злился. А сторож думал про себя: «Совесть тебя, дьявола, заела: хапал всю жизнь, воровал... И не попался ни разу, паразит!»

— Разлад, Ермоха... Полный разлад в душе. Сам не знаю отчего.

— Пройдет.

Не проходило.

В тот день, в субботу (он весь какой-то вышел, день, нараскосяк), Тимофей опечатал склад, опять выпили со сторожем, и Тимофей пошел домой. Домой не хотелось — там тоже тоска, еще хуже: жена начнет нудить.

Была осень после дождей. Несильно дул сырой ветер, морщил лужи. А небо с закатного края прояснилось, выглянуло солнце. Окна в избах загорелись холодным желтым огнем. Холодно, тоскливо. И как-то противно ясно...

Тимофей думал: «Вот — жил, подошел к концу... Этот остаток в десять-двенадцать лет, это уже не жизнь, а так — обглоданный мосол под крыльцом — лежит, а к чему? Да и вся-то жизнь, как раздумаешься,— тьфу! Вертелся всю жизнь, ловчил, дом крестовый рубил, всю жизнь всякими правдами и неправдами доставал то то, то это... А Ермоха, например, всю жизнь прожил валиком — рыбачил себе в удовольствие: ни горя, ни заботы. А червей вместе будем кормить. Но Ермоха хоть какую-

нибудь радость знал, а тут — как циркач на проволоке: пройти прошел, а коленки трясутся».

Шел Тимофей, думал... И взял да свернул в знакомый переулок. Жила в том знакомом переулке Поля Теплящина. Когда-то давно Тимофей с Полей «крутили» преступную любовь. Были скандалы, битье окон, позор. Жена Тимофея, Гутя, семь лет отчаянно боролась с Полей за Тимоху, Гутю хвалили в деревне, она гордилась и учила молодых баб, какие оказывались в ее положении:

— Он к сударушке, а ты — со стяжком — под окошки к им. Да по окошкам-то, по окошкам-то — стяжком-то...

Бывала в деревне такая любовь — со стяжками. Теперь лучше — разошлись, и все. Раньше годами лютовали.

С Тимохиной любовью тогда все само собой утряслось: у вдовы Поли подрос сын Колька, Николай Петрович, и стал гонять Тимофея от матери. Тимофей набычился — к Поле:

— Уйми сосуна!

А та вдруг залепила:

— Пошел ты!.. Чего я, сына на тебя променяю? На — выкуси.

Тимофей хотел разок покуражиться, но нарвался на молодой Колькин кулак и после этого перестал туда ходить. Самое дурацкое положение настало потом: обе женщины, Поля и Гутя, вдруг подружились. И вместе смеялись над Тимохой.

— Как там сударчик-то мой поживает? — принародно спрашивала Поля.

Гутя смеялась:

— На печке — клопов давит.

Мстили, что ли.

Тимоха тогда же налетел на законную жену, но получил отпор на этот раз от своих детей.

Спроси сейчас Тимофей, зачем он идет к Поле, он не сказал бы. Не знал.

Поля удивилась.

— Вона!.. Вот так гость. Зачем это?

— А что? Что ты, заразная, что ли, что тебя обходить надо? Посидим по старой памяти, выпьем вот...— У Тимофея была с собой бутылка, он ее поставил на стол.— Спомним былое...

— Было бы чего!



Поля стала старая, некрасивая. Тимофей со злости подумал: «Она красивой-то и не была сроду». Стало вдруг жалко себя.

— Хошь, анекдот один расскажу?

— Вона!

— Чего ты, как попка, заладила: «вона! вона!» Как дикари, честное слово. Ну, зашел... Ну, и что? Глупые вы какие-то бабы, честное слово!

— Чего же ходите — к глупым-то?

— А где вас, умных-то, взять? Так и меняешь — шило на мыло.

— Небось ревизия была — злой-то?

— На меня еще такой ревизор не родился...

— Оно видно.

Тимофей выпил стакан — закусить чем-нибудь не спросил, Поля не предложила. Зато и он Полю не пригласил с собой выпить.

— Слушай анекдот. Приехал один мужик в город, идет по улице... А сам доходной-доходной — мужик-то. Но все-таки думает: где бы тут подцепить какую-нито? Слыхал, значит, про городских-то, ну и мысли-то заиграли. И тут подходит к нему одна — гладкая вся, тут — полна пазуха, вежливая. «Пойдемте ко мне, я тут близко живу». Мужик радешенький — сама навялилась. Приходит. Она говорит: «Раздевайтесь, я счас приду». А сама — в другую комнату. Ну, он разделся, сидит. Ждет. А она выводит детей малых и говорит им: «Вот, детки, если не будете хорошо кушать, будете такие же худые, как вот этот дядя».

Полю эта история не рассмешила. Тимофею тоже было не смешно. А днем, когда рассказали, смеялся с шоферами. И подумал еще, что историйка поучительная.

— К чему эт ты? — спросила Поля.

Тимофей пояснил:

— Точно так со мной выкинула судьба-сучка. Живи, мол, Тимофей!.. Раз башка есть на плечах — живи, никого не бойся! Ну, Тимофей и разлысил лоб...

— Жил бы честно, никого бы и не боялся.

Это она больно уела.

Тимофей стал соображать, как бы ее тоже побольней укусить.

— Не знаешь, кто это вот тут,— показал на кровать,— честно с чужим мужиком миловался? Не приходилось слышать?

— Приходилось. А тебе не приходилось слышать, кто на этом же самом месте от живой жены с чужой бабой миловался? Я одинокая была, вдова, а ты семейный. Поганец ты...

Тимофей еще выпил. Вот теперь он, кажется, все понял: жалко себя, жалко свою прожитую жизнь. Не вышло жизни.

— Сказка про белого бычка у нас получается, Поля...

Поля засмеялась.

— Чего смеешься? — спросил Тимофей.

— А чего мне не посмеяться?

— Не надо... Тебе не личит — зубы кривые.

— А ведь когда-то не замечал...

— Замечал, почему не замечал, только... Эхма! Что ведь и обидно-то, дорогуша моя: кому дак все в жизни — и образование, и оклад дармовой, и сударка пригожая, с сахарными зубами. А Тимохе, ему с кривинкой сойдет, с гнильцой...

— Во змей-то! — изумилась Поля.— Козел вонючий. Ну-ка забирай свою бутылку — и чтоб духу твоего тут не было! А то возьму ухват вон да по башке-то по умной... Умник!

Тимофей аккуратно надел на бутылку железненькую косыночку, устроил бутылку во внутренний карман пиджака и, не торопясь, пошел прочь. Стало вроде малость полегче. Но хотелось еще кому-нибудь досадить. Кому-нибудь так же бы вот спокойно, тихо наговорить бы гадостей.

Пришел он домой, а дома, в прихожей избе, склонившись лотком на стол, сидит... Николай-Угодник. По всем описаниям, по всем рассказам — вылитый Николай-Угодник: белый, невысокого росточка, игрушечный старичочек. Сидит, головку склонил, смотрит ласково. Больше никого в доме нет.

— Ну, здравствуй, Тимофей,— говорит.

Тимофей глянул кругом... И вдруг бухнулся в ноги старичку. И, стараясь тоже ласково, тоже кротко и благостно, сказал тихо:

— Здорово, Николай-Угодничек. Я сразу тебя узнал, батюшка.

Угодник весь как-то встрепенулся, удивился, засмеялся мелко, погрозил пальцем.

— Пьяненький?

— А — есть маленько! — с отчаянной какой-то веселостью, с любовью продолжал Тимофей.— С тоски больше... не обессудь, батюшка. С тоски. Шибко-то не загуливаюсь. Ребятишек теперь вырастил — чего, думаю, теперь не попить? Какой ты, батюшка, седенький... А чего пришел-то?

Угодник поморгал ясными глазами... Опять посмеялся.

— С чего тоска-то?

— Тоска-то? А бог ее знает! Не верим больше — вот и тоска. В боженьку-то перестали верить, вот она и навалилась, матушка. Церквы позакрывали, матершинничаем, блудим... Вот она и тоска.

— А ты веровал ли когда?

— Батюшка!.. Вот те крест: маленький был, веровал. В рождество Христа славить ходил. Не приди большевики, я бы и теперь, может, верил бы.

— Сам-то не коммунист?

— Откуда! Я бы, может, и коммунистом стал,— перед тобой-то чего лукавить! — но был у меня тесть — ни дна бы ему, ни покрышки! — его в тридцатом году раскулачили...

— Ну.

— Ну, я с той поры и завязал рот тряпочкой и не заикался никогда.

Угодник больше того удивился. Горько удивился.

— Ты что, Тимофей?

— Как на духу, батюшка! Дак ты чего пришел-то? К добру или к худу — как понимать-то?

Угодник потрогал маленькой сморщенной ладонью белую бородку.

— Чего пришел... Да вот попроведать вас, окаянных, пришел. Ты, однако, подымись с колен-то.

— Постою! Чего мне не постоять? Не отсохнут. Что, батюшка, так вот походишь, поглядишь по свету-то: испаскудился народишко?

— Маленько есть. Значит, говоришь, тесть тебе перешел дорогу?

— Перешел. Да он и кулаком-то, по правде сказать, никогда не был, так — заупрямился тогда, с колхозами-то, нашумел, натрепался где-то... Трепач он был, тесть-то. Дурак дураком. Ботало коровье. Жил, правда, крепко. А я середнячишко был... мне бы в партию большевиков-то можно бы...

— И что же он, тесть-то?

— Отпыхтел свое, пришел. Я его так и не видел — далеко живем друг от друга. У сына он живет, балда старая. А сын далеко где-то. Так, говоришь, испаскудился народишко?

— Здорово испаскудился,— серьезно сказал Угодник.

— Совсем никудышный стал народ! — подхватил Тимофей.— Пьют, воруют... Я и то приворовываю на скла-

де. Знамо, грех, но поглядишь кругом-то — господи-господи, что делается!

— Приворовываешь?

— Приворовываю, батюшка. Ребятишек вон выучил — на какие бы шиши, так-то? Батюшка...— Тимофей весь собрался, подполз поближе.— Чего я тебя хотел попросить...

— Ну?

— Ты там к господу нашему, Исусу Христу, близко сидишь... К деве Марии... Посоветуйтесь там сообча да и... это... Шибко уж жалко, батюшка! До того жалко, сердце обмирает. Ведь я мужик-то неглупый, ведь у меня грамотешки-то совсем почти нету, а я вон каких молодцев обвожу вокруг пальца...

— Не пойму я.

— Родиться бы мне ишо разок! А? Пусть это не считается, что прожил — родите-ка вы меня ишо разок. А?

Угодник опять невольно рассмеялся.

— То жалуется — тоска, а то... Ну и сукин ты сын, Тимоха!

— Да потому я жалуюсь, что жизнь-то не вышла! — Тимофей готов был заплакать злыми слезами.— Ты вот смеешься, а мало тут смешного, батюшка, одна грусть-тоска зеленая. Ведь вон на земле-то... хорошо-то как! Разве ж я не вижу, не понимаю, все понимаю, потому и жалко-то. Тьфу! — да растереть, вот и вся моя жизнь.

— А как бы ты, интересно, жить стал? Другой-то раз...

— Перво-наперво я б на другой бабе женился. Про любовь даже в библии писано, а для меня — что любовь, что чирей на одном месте, прости, господи,— одинаково. Или как все одно килу смолоду нажил — так и жена мне: кряхтишь, а носишь. Никудышная бабенка попалась. Дура. Вся в папашу своего. Хайло разинет и давай — только и знает. Сундук плетеный, не баба. Из-за нее больше и приворовываю-то. Жадная!.. Несусветно жадная. А с моей-то башкой — мне бы и в начальстве походить тоже бы не мешало... Из меня бы прокурор, я думаю, неплохой бы получился.— Тимофей засмотрелся снизу в святые глаза Угодника.— Тестюшку, например, своего я б тада так законопатил, что он бы и по сей день там... За язычину его...

— Цыть! — зло сказал старичок.— Ведь я и есть твой тесть, дьявол ты! Ворюга. Разуй глаза-то! Допился?

Тимофей, удовлетворенный, поднялся с колен, отряхнул штаны и спокойно и устало сказал:

— Гляди-ка, правда — тесть. Тестюшка! Ну, давай выпьем. Со стречей. Вишь, за кого я тебя принял...

— Допился, сукин сын!

— Все секреты свои рассказал тебе. Тц! Ну, ничего — знай. Вот ведь как обознался! Это ж надо так вклепаться... А-я-я-я-й!

...Потом, когда выпили, тесть, оскорбленный за себя и за дочь, тыкал под нос Тимофею опрятный кукиш и твердил скороговоркой:

— Вот тебе, а не другую жись! Вот тебе — билетик на второй сеанс! Ворюга...

А Тимофей, красный, удовлетворенный, повторял:

— Ах, как я вклепался!.. А-я-я-я-яй! Это ж надо так!

— Я тебя самого посажу, ворюга!

— Кто, ты? Господь с тобой! Кто тебе поверит, лишенцу?

— Вот, вот тебе — билетик на второй сеанс! Хе-хе-хе! Другой раз жить собрался!.. На-ка! — Тесть-Угодник хотел опять угодить под нос зятю белым кукишком, но зять вылил ему на голову стакан водки и, пугая, полез в карман за спичками.

— Подожгу ведь.

Тесть-Угодник вытерся полотенцем и заплакал.

— Чего ты, Тимоха?.. Над старым-то человеком... Бесстыдник ты! Дешевка... Приехал к нему, как к доброму...

— В том-то и дело, что не знаю,— миролюбиво уже сказал Тимоха.— Не знаю, тестюшка, не знаю. Я б все честно сказал, только не знаю, чего такое со мной делается. Пристал, видно, так жить. Насмерть пристал. Укатали Сивку... Жалко. Прожил, как песню спел, а спел плохо. Жалко — песня-то была хорошая. Прости за комедию-то. Прости великодушно.

В ВОСКРЕСЕНЬЕ МАТЬ-СТАРУШКА...

А были у него хорошие времена. В войну. Он ходил по деревне, пел. Водила его Матрена Кондакова, сухая, на редкость выносливая баба, жадная и крикливая. Он называл ее — супружница.

Обычно он садился на крыльцо сельмага, вынимал из мешка двухрядку русского строя, долго и основательно устраивал ее на коленях, поправлял ремень на плече... Он был, конечно, артист. Он интриговал слушателей, он их готовил к действу. Он был спокоен. Незрячие глаза его (он был слепой от роду) «смотрели» куда-то далеко-далеко. Наблюдать за ним в эту минуту было интересно. Матрена малость портила торжественную картину — суетилась, выставляла на крыльце алюминиевую кружку для денег, зачем-то надевала на себя цветастую кашемировую шаль, которая совсем была не к лицу ей, немолодой уж... Но на нее не обращали внимания. Смотрели на Ганю. Ждали. Он негромко, сдержанно прокашливался, чуть склонял голову и, продолжая «смотреть» куда-то в даль, одному ему ведомую, начинал...

Песен он знал много. И все они были — про войну, про тюрьму, про сироток, про скитальцев... Знал он и «божественные», но за этим следили «сельсоветские». А если никого из «сельсоветских» близко не было, его просили:

— Гань, про безноженьку.

Ганя пел про безноженьку (девочку), которая просит ласкового боженьку, чтоб он приделал ей ноженьки. Ну — хоть во сне, хоть только чтоб узнать, как ходят на ноженьках...

Бабы плакали.

Матрена тоже вытирала слезы концом кашемировой шали. Может, притворялась, бог ее знает. Она была хитрая.

Пел Ганя про «сибулонцев» (заключенных сибирских лагерей) — как одному удалось сбежать; только он сбежать-то сбежал, а куда теперь — не знает, потому что жена его, курва, сошлась без него с другим.

Пел про «синенький, скромный платочек»...

Слушали затаив дыхание. Пел Ганя негромко, глуховатым голосом, иногда (в самые захватывающие моменты) умолкал и только играл, а потом продолжал. Разные были песни.

В воскресенье мать-старушка
К воротам тюрьмы пришла,
Своему родному сыну
Передачку принесла.

Оттого, что Ганя все «смотрел» куда-то далеко и лицо его было скорбное и умное, виделось, как мать-старушка подошла к воротам тюрьмы, а в узелке у нее — передач-

ка: сальца кусочек, шанежки, яички, соль в тряпочке, бутылка молока...

Передайте передачку,
А то люди говорят:
Заключенных в тюрьмах много —
Сильно с голоду морят.

Бабы, старики, ребятишки как-то все это понимали — и что много их там, и что морят. И очень хотелось, чтоб передали тому несчастному «сидельцу», сыну ее, эту передачку — хоть поест, потому что в «терновке» (тюрьме), знамо дело, несладко. Но...

Ей привратник усмехнулся:
«Твоево тут сына нет.
Прошлой ночью был расстрелян
И отправлен на тот свет».

Горло сжимало горе. Завыть хотелось... Ганя понимал это. Замолкал. И только старенькая гармошка его с медными уголками все играет и играет. Потом:

Повернулась мать-старушка,
От ворот тюрьмы пошла...
И никто про то не знает —
На душе что понесла.

Как же не знали — знали! Плакали. И бросали в кружку пятаки, гривенники, двадцатики. Матрена строго следила, кто сколько дает. А Ганя сидел, обняв гармошку, и все «смотрел» в свою далекую, неведомую даль. Удивительный это был взгляд, необъяснимо жуткий, щемящий душу.

Потом война кончилась. Вернулись мужики, какие остались целые... Стало шумно в деревнях. А тут радио провели, патефонов понавезли — как-то не до Гани стало. Они еще ходили с Матреной, но слушали их плохо. Подавали, правда, но так — из жалости, что человек — слепой, и ему надо как-то кормиться. А потом и совсем: вызвали Ганю в сельсовет и сказали:

— Назначаем тебе пенсию. Не шляйся больше.

Ганя долго сидел молча, смотрел мимо председателя... Сказал:

— Спасибо нашей дорогой Советской власти.

И ушел.

Но и тогда не перестал он ходить, только — куда подальше, где еще не «провели» это «вшивое радиво».

Но чем дальше, тем хуже и хуже. Молодые, те даже подсмеиваться стали.

— Ты, дядя... шибко уж на слезу жмешь. Ты б чего-нито повеселей.

— Жиганье,— обиженно говорил Ганя.— Много вы понимаете!

И укладывал гармошку в мешок, и они шли с Матреной дальше... Но дальше — не лучше.

И Ганя перестал ходить.

Жили они с Матреной в небольшой избенке под горой. Матрена занималась огородом. Ганя не знал, что делать. Стал попивать. На этой почве у них с Матреной случались ругань и даже драки.

— Глот! — кричала Матрена.— Ты вот ее пропьешь, пензию-то, а чем жить будем?! Ты думаешь своей башкой дырявой, или она у тебя совсем прохудилась?

— Закрой варежку,— предлагал Ганя.— И никогда не открывай.

— Я вот те открою счас — шумовкой по калгану!.. черт слепошарый.

Ганя бледнел.

— Ты мои шары не трожь! Не ты у меня свет отняла, не тебе вякать про это.

Вообще стал Ганя какой-то строптивый. Звали куда-нибудь: на свадьбу поиграть — отказывался.

— Я не комик, штоб под пляску вам наигрывать. Поняли? У вас теперь патефоны есть — под их и пляшите.

Пришли раз молодые из сельсовета (наверно, Матрена сбегала, пожаловалась), заикнулись:

— Вы знаете, есть ведь такое общество — слепых...

— Вот и записывайтесь туда,— сказал Ганя.— А мне и тут хорошо. А этой... моей... передайте: если она ишо по сельсоветам бегать будет, я ей ноги переломаю.

— Почему вы так?

— Как?

— Вам же лучше хотят...

— А я не хочу! Вот мне хотят, а я не хочу! Такой я... губошлеп уродился, што себе добра не хочу. Вы мне пензию пло́тите — спасибо. Больше мне ничего от вас не надо. Чево мне в тем обчестве делать? Чулки вязать да радиво слушать?.. Спасибо. Передайте им всем там от меня низкий поклон.

...Один только раз встрепенулся Ганя душой, оживился, помолодел даже...

Приехали из города какие-то люди — трое, спросили:

— Здесь живет Гаврила Романыч Козлов?

Ганя насторожился.

— А зачем? В обчество звать?

— В какое общество?.. Вы песен много знаете, нам сказали...

— Ну, так?

— Нам бы хотелось послушать. И кое-что записать...

— А зачем? — пытал Ганя.

— Мы собираем народные песни. Записываем. Песни не должны умирать...

Догадался же тот городской человек сказать такие слова!.. Ганя встал, заморгал пустыми глазами... Хотел унять слезы, а они текли, ему было стыдно перед людьми, он хмурился и покашливал и долго не мог ничего сказать.

— Вы споете нам?

— Спою.

Вышли на крыльцо. Ганя сел на приступку, опять долго устраивал гармонь на коленях, прилаживал поудобней ремень на плече. И опять «смотрел» куда-то далеко-далеко, и опять лицо его было торжественное и умное. И скорбное, и прекрасное.

Был золотой день бабьего лета, было тепло и покойно на земле. Никто в деревне не знал, что сегодня, в этот ясный погожий день, когда торопились рубить капусту, ссыпать в ямы картошку, пока она сухая, сжигать на огородах ботву, пока она тоже сухая,— никто в этот будничный, рабочий день не знал, что у Гаврилы Романыча Козлова сегодня — праздник.

Пришла с огорода Матрена.

Навалился на плетень соседский мужик, Егор Анашкин... С интересом разглядывали городских, которые разложили на крыльце какие-то кружочки, навострились с блокнотами — приготовились слушать Ганю.

— Сперва жалобные или тюремные? — спросил Ганя.

— Любые.

И Ганя запел... Ах, как он пел! Сперва спел про безноженьку. Подождал, что скажут. Ждал напряженно и «смотрел» вдаль.

— А что-нибудь такое... построже... Нет, это тоже хорошая! Но... что-нибудь — где горе настоящее...

— Да рази ж это не горе — без ног-то? — удивился Ганя.

— Горе, горе,— согласились.— Словом, пойте, какие хотите.

Как на кладбище
Митрофановском
Отец дочку родную убил,—

запел Ганя. И славно так запел, с душой.

— Это мы знаем, слышали,— остановили его.

Ганя растерялся.

— А чего же тогда?

Тут эти трое негромко заспорили: один говорил, что надо писать все, двое ему возражали: зачем?

Ганя напряженно слушал и все «смотрел» туда куда-то, где он, наверно, видел другое — когда слушали его и не спорили, слушали и плакали.

— А вот вы говорили — тюремные. Ну-ка тюремные.

Ганя поставил гармонь рядом с собой. Закурил.

— Тюрьма — это плохое дело,— сказал он.— Не приведи господи. Зачем вам?

— Почему же ?!

— Нет, люди хорошие,— будет. Попели, поиграли — и будет.— И опять жесткая строптивость сковала лицо.

— Ну просют же люди! — встряла Матрена.— Чево ты кобенисся-то?

— Закрой! — строго сказал ей Ганя.

— Ишак,— сказала Матрена и ушла в огород.

— Вы обиделись на нас? — спросили городские.

— Пошто? — изумился Ганя.— Нет. За што же? Каких песен вам надо, я их не знаю. Только и делов.

Городские собрали свои чемоданчики, поблагодарили Ганю, дали три рубля и ушли.

Егор Анашкин перешагнул через низенький плетень, подсел к Гане.

— А чево, правда, заартачился-то? — поинтересовался он.— Спел ба, может, больше бы дали.

— Свиней-то вырастил? — спросил Ганя после некоторого молчания.

— Вырастил,— вздохнул Егор.— Теперь не знаю, куда с имя деваться, черт бы их надавал. Сдуру тада — разрешили: давай по пять штук! А куда теперь? На базар — там без меня навалом, не один я такой...

Егор закурил и задумался.

— Эх ты, поросятинка! — вдруг весело сказал Ганя.— На-ка трешку-то — сходи возьми бутылочку. За здоровье свинок твоих... и штоб не кручинился ты — выпьем.

● ВАНЬКА ТЕПЛЯШИН

Ванька Тепляшин лежал у себя в сельской больнице с язвой двенадцатиперстной кишки. Лежал себе и лежал. А приехал в больницу какой-то человек из районного города, Ваньку вызвал к себе врач, они с тем человеком крутили Ваньку, мяли, давили на живот, хлопали по спине... Поговорили о чем-то между собой и сказали Ваньке:

— Поедешь в городскую больницу?

— Зачем? — не понял Ванька.

— Лежать. Так же лежать, как здесь лежишь. Вот... Сергей Николаевич лечить будет.

Ванька согласился.

В горбольнице его устроили хорошо. Его там стали называть «тематический больной».

— А где тематический больной-то? — спрашивала сестра.

— Курит, наверно, в уборной,— отвечали соседи Ванькины.— Где же еще.

— Опять курит? Что с ним делать, с этим тематичсским...

Ваньке что-то не очень нравилось в горбольнице. Все рассказал соседям по палате, что с ним случалось в жизни: как у него в прошлом году шоферские права хотели отнять, как один раз тонул с машиной...

— Лед впереде уже о так от горбатится — горкой... Я открыл дверцу, придавил газку. Вдруг — вниз поехал!..— Ванька, когда рассказывает, торопится, размахивает руками, перескакивает с одного на другое.— Ну, поехал!.. Натурально, как с горки! Вода — хлобысь мне в ветровое стекло! А дверку льдиной шваркнуло и заклинило. И я, натурально, иду ко дну, а дверку не могу открыть. А сам уже плаваю в кабине. Тогда я другую нашарил, вылез из кабины-то и начинаю осматриваться...

— Ты прямо, как это... как в баню попал: «вылез, начинаю осматриваться». Меньше ври-то.

Ванька на своей кровати выпучил честные глаза.

— Я вру?! — Некоторое время он даже слов больше не находил.— Хот... Да ты что? Как же я врать стану! Хот...

И верно, посмотришь на Ваньку — и понятно станет, что он, пожалуй, и врать-то не умеет. Это ведь тоже — уметь надо.

— Ну, ну? Дальше, Вань. Не обращай внимания.

— Я, значит, смотрю вверх — вижу: дыра такая голубая, это куда я провалился... Я туда погреб.

— Да сколько ж ты под водой-то был?

— А я откуда знаю? Небось, недолго, это я рассказываю долго. Да еще перебивают...

— Ну, ну?

— Ну, вылез... Ко мне уже бегут. Завели в первую избу...

— Сразу — водки?

— Одеколоном сперва оттерли... Я целую неделю потом «красной гвоздикой» вонял. Потом уж за водкой сбегали.

...Ванька и не заметил, как наладился тосковать. Стоял часами у окна, смотрел, как живет чужая его уму и сердцу улица. Странно живет: шумит, кричит, а никто друг друга не слышит. Все торопятся, но оттого, что сверху все люди одинаковы, кажется, что они никуда не убегают: какой-то загадочный бег на месте. И Ванька скоро привык скользить взглядом по улице — по людям, по машинам... Еще пройдет, надламываясь в талии, какая-нибудь фифочка в короткой юбке, Ванька проводит ее взглядом. А так — все одинаково. К Ваньке подступила тоска. Он чувствовал себя одиноко.

И каково же было его удивление, радость, когда он в этом мире внизу вдруг увидел свою мать... Пробирается через улицу, оглядывается — боится. Ах, родная ты, родная! Вот догадалась-то.

— Мама идет! — закричал он всем в палате радостно.

Так это было неожиданно, так она вольно вскрикнула, радость человеческая, что все засмеялись.

— Где, Ваня?

— Да вон! Вон, с сумкой-то! — Ванька свесился с подоконника и закричал: — Ма-ам!

— Ты иди встреть ее внизу,— сказали Ваньке.— А то ее еще не пропустят: сегодня не приемный день-то.

— Да пустят! Скажет — из деревни...— Гадать стали.

— Пустят! Если этот стоит, худой такой, с красными глазами, этот сроду не пустит.

Ванька побежал вниз.

А мать уже стояла возле этого худого с красными глазами, просила его. Красноглазый даже и не слушал ее.

— Это ко мне! — издали еще сказал Ванька.— Это моя мать.

— В среду, субботу, воскресенье,— деревянно прокуковал красноглазый.

Мать тоже обрадовалась, увидев Ваньку, даже и пошла было навстречу ему, но этот красноглазый придержал ее.

— Назад.

— Да ко мне она! — закричал Ванька.— Ты что?!

— В среду, субботу, воскресенье,— опять трижды отстукал этот... вахтер, что ли, как их там называют.

— Да не знала я,— взмолилась мать,— из деревни я... Не знала я, товарищ. Мне вот посидеть с им где-нибудь, маленько хоть...

Ваньку впервые поразило,— он обратил внимание,— какой у матери сразу сделался жалкий голос, даже какой-то заученно-жалкий, привычно-жалкий, и как она сразу перескочила на этот голос... И Ваньке стало стыдно, что мать так униженно просит. Он велел ей молчать:

— Помолчи, мам.

— Да я вот объясню товарищу... Чего же?

— Помолчи! — опять велел Ванька.— Товарищ,— вежливо и с достоинством обратился он к вахтеру, но вахтер даже не посмотрел в его сторону.— Товарищ! — повысил голос Ванька.— Я к вам обращаюсь!

— Вань,— предостерегающе сказала мать, зная про сына, что он ни с того ни с сего может соскочить с зарубки.

Красноглазый все безучастно смотрел в сторону, словно никого рядом не было и его не просили сзади и спереди.

— Пойдем вон там посидим,— изо всех сил спокойно сказал Ванька матери и показал на скамеечку за вахтером. И пошел мимо него.



— Наз-зад,— как-то даже брезгливо сказал тот. И хотел развернуть Ваньку за рукав.

Ванька точно ждал этого. Только красноглазый коснулся его, Ванька движением руки вверх резко отстранил руку вахтера и, бледнея уже, но еще спокойно, сказал матери:

— Вот сюда вот, на эту вот скамеечку.

Но и дальше тоже ждал Ванька — ждал, что красноглазый схватит его сзади. И красноглазый схватил. За воротник Ванькиной полосатой пижамы. И больно дернул. Ванька поймал его руку и так сдавил, что красноглазый рот скривил.

— Еще раз замечу, что ты свои руки будешь распускать...— заговорил Ванька ему в лицо негромко, не сразу находя веские слова,— я тебе... я буду иметь с вами очень серьезный разговор.

— Вань,— чуть не со слезами взмолилась мать.— Господи, господи...

— Садись,— велел Ванька чуть осевшим голосом.— Садись вот сюда. Рассказывай, как там?..

Красноглазый на какое-то короткое время оторопел, потом пришел в движение и подал громкий голос тревоги.

— Стигнеев! Лизавета Сергеевна!..— закричал он.— Ко мне! Тут произвол!..— И он, растопырив руки, как если бы надо было ловить буйнопомешанного, пошел на Ваньку. Но Ванька сидел на месте, только весь напружинился и смотрел снизу на красноглазого. И взгляд этот остановил красноглазого. Он оглянулся и опять закричал: — Стигнеев!

Из боковой комнаты, из двери выскочил квадратный Евстигнеев в белом халате, с булочкой в руке...

— А? — спросил он, не понимая, где тут произвол, какой произвол.

— Ко мне! — закричал красноглазый. И, растопырив руки, стал падать на Ваньку.

Ванька принял его... Вахтер отлетел назад. Но тут уже и Евстигнеев увидел «произвол» и бросился на Ваньку.

...Ваньку им не удалось сцапать... Он не убегал, но не давал себя схватить, хоть этот Евстигнеев был мужик крепкий и старались они с красноглазым во всю силу, а Ванька еще стерегся, чтоб поменьше летели стулья и тумбочки. Но все равно, тумбочка вахтерская полетела, и с нее полетел графин и раскололся. Крик, шум поднялся... Набежало белых халатов. Прибежал Сергей Николаевич, врач Ванькин... Красноглазого и Евстигнеева еле-еле уняли. Ваньку повели наверх. Сергей Николаевич повел. Он очень расстроился.

— Ну как же так, Иван?..

Ванька, напротив, очень даже успокоился. Он понял, что сейчас он поедет домой. Он даже наказал матери, чтоб она подождала его.

— На кой черт ты связался-то с ним? — никак не мог понять молодой Сергей Николаевич. Ванька очень уважал этого доктора.

— Он мать не пустил.

— Да сказал бы мне, я бы все сделал! Иди в палату, я ее приведу.

— Не надо, мы счас домой поедем.

— Как домой? Ты что?

Но Ванька проявил непонятную ему самому непреклонность. Он потому и успокоился-то, что собрался домой. Сергей Николаевич стал его уговаривать в своем кабинетике... Сказал даже так:

— Пусть твоя мама поживет пока у меня. Дня три. Сколько хочет! У меня есть где пожить. Мы же не довели дело до конца. Понимаешь? Ты просто меня подводишь. Не обращай внимания на этих дураков! Что с ними сделаешь? А мама будет приходить к тебе...

— Нет,— сказал Ванька. Ему вспомнилось, как мать униженно просила этого красноглазого...— Нет. Что вы!

— Но я же не выпишу тебя!

— Я из окна выпрыгну... В пижаме убегу ночью.

— Ну-у,— огорченно сказал Сергей Николаевич.— Зря ты.

— Ничего.— Ваньке было даже весело. Немного только жаль, что доктора... жалко, что он огорчился.— А вы найдете кого-нибудь еще с язвой... У окна-то лежит, рыжий-то, у него же тоже язва.

— Не в этом дело. Зря ты, Иван.

— Нет.— Ваньке становилось все легче и легче.— Не обижайтесь на меня.

— Ну, что ж...— Сергей Николаевич все же очень расстроился.— Так держать тебя тоже бесполезно. Может, подумаешь?.. Успокоишься...

— Нет. Решено.

Ванька помчался в палату — собрать кой-какие свои вещички.

В палате его стали наперебой ругать:

— Дурак! Ты бы пошел...

— Ведь тебя бы вылечили здесь, Сергей Николаевич довел бы тебя до конца.

Они не понимали, эти люди, что скоро они с матерью сядут в автобус и через какой-нибудь час Ванька будет дома. Они этого как-то не могли понять.

— Из-за какого-то дурака ты себе здоровье не хочешь поправить. Эх ты!

— Надо человеком быть,— с каким-то мстительным покоем, даже, пожалуй, торжественно сказал Ванька.— Ясно?

— Ясно, ясно... Зря порешь горячку-то, зря...

— Ты бы полтинник сунул ему, этому красноглазому, и все было бы в порядке. Чего ты?

Ванька весело со всеми попрощался, пожелал всем здоровья и с легкой душой поскакал вниз.

Надо было еще взять внизу свою одежду. А одежду выдавал как раз этот Евстигнеев. Он совсем не зло посмотрел на Ваньку и с сожалением даже сказал:

— Выгнали? Ну вот...

А когда выдавал одежду, склонился к Ваньке и сказак негромко, с запоздалым укором:

— Ты бы ему копеек пятьдесят дал, и все — никакого шуму не было бы. Молодежь, молодежь... Неужели трудно догадаться?

— Надо человеком быть, а не сшибать полтинники,— опять важно сказал Ванька. Но здесь, в подвале, среди множества вешалок, в нафталиновом душном облаке, слова эти не вышли торжественными; Евстигнеев не обратил на них внимания.

— Ботинки эти? Твои?

— Мои.

— Не долечился и едешь...

— Дома долечусь.

— До-ома! Дома долечисся...

— Будь здоров, Иван Петров! — сказал Ванька.

— Сам будь здоров. Попросил бы врача-то... может, оставют. Зря связался с этим дураком-то.

Ванька не стал ничего объяснять Евстигнееву, а поспешил к матери, которая небось сидит возле красноглазого и плачет.

И так и было: мать сидела на скамеечке за вахтером и вытирала полушалком слезы. Красноглазый стоял возле своей тумбочки, смотрел в коридор — на прострел.

Стоял прямо, как палка. У Ваньки даже сердце заколотилось от волнения, когда он увидел его. Он даже шаг замедлил — хотел напоследок что-нибудь сказать ему. Покрепче. Но никак не находил нужное.

— Будь здоров! — сказал Ванька.— Загогулина.

Красноглазый моргнул от неожиданности, но головы не повернул — все смотрел вдоль своей вахты.

Ванька взял материну сумку, и они пошли вон из хваленой-перехваленой горбольницы, где, по слухам, чуть ли не рак вылечивают.

— Не плачь,— сказал Ванька матери.— Чего ты?

— Нигде ты, сынок, как-то не можешь закрепиться,— сказала мать свою горькую думу.— Из ФЗУ тада тоже...

— Да ладно!.. Вались они со своими ФЗУ. Еще тебе одно скажу: не проси так никого, как давеча этого красношарого просила. Никогда никого не проси. Ясно?

— Много так сделаешь — не просить-то!

— Ну... и так тоже нельзя. Слушать стыдно.

— Стыдно ему!.. Мне вон счас гумажки собирать на пенсию — побегай-ка за имя, да не попроси... Много соберешь?

— Ладно, ладно...— Мать никогда не переговорить.— Как там, дома-то?

— Ничо. У себя-то будешь долеживать?

— Та-а... не знаю,— сказал Ванька.— Мне уже лучше.

Через некоторое время они сели у вокзала в автобус и поехали домой.

НА КЛАДБИЩЕ

Ах, славная, славная пора!.. Теплынь. Ясно. Июль месяц... Макушка-лето. Где-то робко ударили в колокол... И звук его — медленный, чистый — поплыл в ясной глубине и высоко умер. Но не грустно, нет.

...Есть за людьми, я заметил, одна странность: любят в такую вот милую сердцу пору зайти на кладбище и посидеть час-другой. Не в дождь, не в хмарь, а когда на земле вот так — тепло и покойно. Как-то, наверно, объясняется эта странность. Да и странность ли это? Лично

меня влечет на кладбище вполне определенное желание: я люблю там думать. Вольно и как-то неожиданно думается среди этих холмиков. И еще: как бы там ни думал, а все — как по краю обрыва идешь: под ноги жутко глянуть. Мысль шарахается то вбок, то вверх, то вниз, на два метра. Но кресты, как руки деревянные, растопырились и стерегут свою тайну. Странно как раз другое: странно, что сюда доносятся гудки автомобилей, голоса людей... Странно, что в каких-нибудь двухстах метрах улица, и там продают газеты, вино, какой-нибудь амидопирин... Я один раз слышал, как по улице проскакал конный наряд милиции — вот уж странно-то!

...Сидел я вот так на кладбище в большом городе, задумался. Задумался и не услышал, как сзади подошли. Услышал голос:

— Ты чего тут, сынок? Это моя могилка-то.

Оглянулся, стоит старушка, смотрит мирно.

— Моя могилка-то,— сказала она еще.

Я вскочил со скамеечки... Смутился чего-то.

— Извините...

— Да что же?.. Садись.— Она села на скамеечку и показала рядом с собой.— Садись, садись. Я думаю, может, ты перепутал могилки.

Я сел.

— Сынок у меня тут,— сказала она, глядя на ухоженную могилку.— Сынок... Спит.— Она молча поплакала, молча же вытерла концом платка слезы, вздохнула. Все это она проделала привычно, деловито... Видно, горе ее — давнее, стало постоянным, и она привыкла с ним жить.

— А ты чего? — спросила старушка, повернувшись ко мне.— Тоже есть тут кто-нибудь?

— Нет... я так. Зашел просто... Зашел отдохнуть.

Старушка с любопытством и более внимательно посмотрела на меня.

— Тут рази отдыхают...

— А что? — Я все боялся как-нибудь не так сказать, как-нибудь неосторожно сказать.— Тут-то и отдохнуть. Подумать.

— Оно так,— согласилась старушка.— Только дума-то тут... вишь, какая? Мне надо там лежать-то, мне, а не ему.— Она повернулась опять к могилке.— Мне надо лежать там, а он бы приходил да сидел тут — мне бы и спо-

койней было. Куда лучше! Только... не нам это решать дадено, вот беда.

— Давно схоронили?

— Давно. Семь лет уж.

— Болел?

Старушка не ответила на это. Долго молчала, слегка покачивала головой — вверх-вниз. Когда я пригляделся потом, понял, что у нее это почти все время — покачивает головой.

— Двадцать четыре годочка всего и пожил,— сказала старушка покорно. Еще помолчала.— Только жить начинать, а он вот... завалился туда... А тут, как хошь, так и живи.— Она опять поплакала, опять вытерла слезы и вздохнула. И повернулась ко мне.— Неладно живете, молодые, ох неладно,— сказала она вдруг, глядя на меня ясными умытыми глазами.— Вот расскажу тебе одну историю, а ты уж как знаешь: хошь верь, хошь не верь. А все — послушай да подумай, раз уж ты думать любишь. Никуда не торописся?

— Нет.

— Вот тут у нас, на Мочишшах... Ты здешный ли?

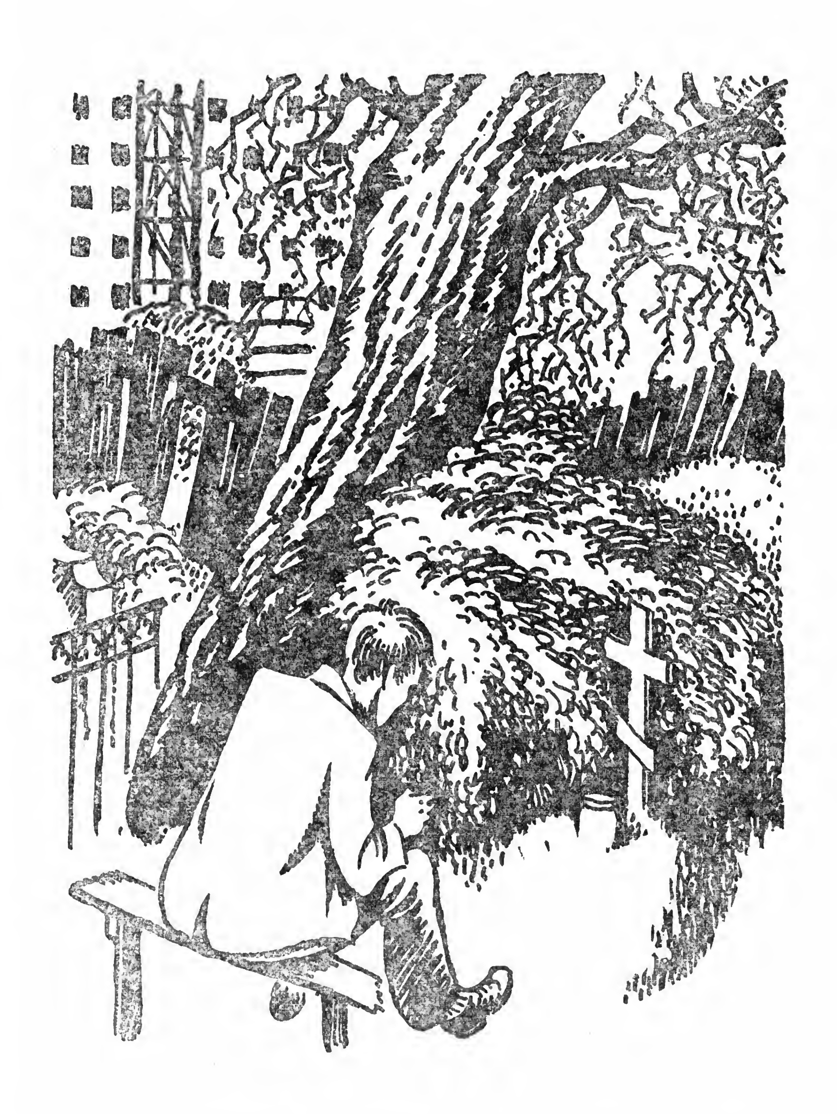
— Нет.

— А-а. У нас тут, на окраинке, место зовут — Мочишши, там военный городок, военные стоят. А там тоже есть кладбище, но оно старое, там теперь не хоронют. Раньше хоронили. И вот стоял один солдат на посту... А дело ночное, темное. Ну, стоит и стоит, его дело такое. Только вдруг слышит, кто-то на кладбище плачет. По голосу — женщина плачет. Да так горько плачет, так жалко. Ну, он мог там, видно, позвонить куда-то, однако звонить он не стал, а подождал другого, кто его сменяет-то, другого солдата. Ну-ка, говорит, послушай: может, мне кажется? Тот послушал — плачет. Ну, тогда пошел тот, который сменился-то, разбудил командира. Так и так, мол, плачет какая-то женщина на кладбище. Командир сам пришел на пост, сам послушал: плачет. То затихнет, а то опять примется плакать. Тогда командир пошел в казарму, разбудил солдат и говорит: так, мол, и так, на кладбище плачет какая-то женщина, надо узнать, в чем дело — чего она там плачет. На кладбище давно никого не хоронют, подозрительно, мол... Кто хочет? Один выискался: пойду, говорит. Дали ему оружию, на случай чего, и он пошел. Приходит он на кладбище, плач затих...

А темень, глаз коли. Он спрашивает: есть тут кто-нибудь живой? Ему откликнулись из темноты: есть, мол. Подходит женщина... Он ее, солдат-то, фонариком было осветил — хотел разглядеть получше. А она говорит: убери фонарик-то, убери. И оружию, говорит, зря с собой взял. Солдатик оробел... «Ты плакала-то?» — «Я плакала».— «А чего ты плачешь?» — «А об вас, говорит, плачу, об молодом поколении. Я есть земная божья мать и плачу об вашей непутевой жизни. Мне жалко вас. Вот иди и скажи так, как я тебе сказала».— «Да я же комсомолец!— Это солдатик-то ей.— Кто же мне поверит, что я тебя видел? Да и я-то, говорит, не верю тебе». А она вот так вот прикоснулась к ему,— и старушка легонько коснулась ладошкой моей спины,— и говорит: «По-ве-ерите». И — пропала, нету ее. Солдатик вернулся к своим и рассказывает, как было дело — кого он видал. Там его, знамо дело, обсмеяли. Как же!..— Старушка сказала последние слова с горечью. И помолчала обиженно. И еще сказала тихо и горестно.— Как же не обсмеют! Обсмею-ут. Вот. А когда солдатик зашел в казарму-то — на свет-то,— на гимнастерке-то образ божьей матери. Вот такой вот.— Старушка показала свою ладонь, ладошку.— Да такой ясный, такой ясный!..

Так это было неожиданно — с образом-то — и так она сильно, зримо завершала свою историю, что встань она сейчас и уйди, я бы снял пиджак и посмотрел — нет ли и там чего. Но старушка сидела рядом и тихонько кивала головой. Я ничего не спросил, никак не показал, поверил я в ее историю, не поверил, охота было, чтоб она еще что-нибудь рассказала. И она точно угадала это мое желание: повернулась ко мне и заговорила. И тон ее был уже другой — наш, сегодняшний.

— А другой у меня сын, Минька, тот с женами закружился, кобель такой: меняет их без конца. Я говорю: да чего ты их меняешь-то, Минька? Чего ты все выгадываешь-то? Все они нонче одинаковые, меняй ты их, не меняй. Шило на мыло менять? Сошелся тут с одной, рабеночка нажили... Ну, думаю, будут жить. Нет, опять не пожилось. Опять, говорит, не в те ворота заехал. Ах, ты, господи-то! Беда прямо. Ну, пожил один сколько-то, подвернулась образованная, лаборанка, увезла его к черту на рога, в Фергану какую-то. Пишут мне оттудова: «Приезжай, дорогая мамочка, погостить к нам». Старушка так умело и смешно передразнивала этих молодых в Ферга-



не, что я невольно засмеялся, и, спохватившись, что мы на кладбище, прихлопнул смех ладошкой. Но старушку, кажется, даже воодушевил мой смех. Она с большей охотой продолжала рассказывать.— Ну, я и разлысила лоб-то — поехала. Приехала, погостила... Дура, старая, так мне и надо — поперлась!

— Плохо приняли, что ли?

— Да сперва вроде ничего... Ведь я же не так поехала-то, я же деньжонок с собой повезла. Вот дура-то старая, ну не дура ли?! Ну и пока деньжонки-то были, она ласковая была, потом деньжонки-то кончились, она: «Мамаша, кто же так оладьи пекет!» — «Как кто? — говорю.— Все так пекут. А чего не так-то?» Дак она набралась совести и давай меня учить, как оладушки пекчи. Ты, говорит, масла побольше в сковсродку-то, масла. Да сколько же тебе, матушка, тада масла-то надо? Полкило на день? И потом, они же черные будут, когда масла-то много, не пышные, какие же это оладьи. Ну, и взялись друг дружку учить. Я ей слово, она мне — пять. Иди их переговори, молодых-то: черта с рогами замучают своими убеждениями, прости, господи, не к месту помянула рогатого. Где же мне набраться таких убеждениев? А мужа не кормит! Придет, бедный, нахватается чего попади, и все. А то и вовсе: я, говорит, в столовку забежал. Ах ты, думаю, образованная! Вертихвостки вы, а не образованные.— Старушка помолчала и еще добавила с сердцем: — Прокломации! Только подолом трясти умеют. Как же это так-то? — повернулась она ко мне.— Вот и знают много, и вроде и понимают все на свете, а жить не умеют. А?

— Да где они там знают много! — сказал я тоже со злостью.— Там насчет знаний-то... конь не валялся.

— Да вон по сколь годов учатся!

— Ну и что? Как учатся, так и знают. Для знаний, что ли, учатся-то?

— Ну, да, в колхозе-то неохота работать,— согласилась старушка.— Господи, господи... Вот жизнь пошла! Лишь ба день урвать, а там хоть трава не расти.

Мы долго молчали. Старушка ушла в свои думы, они пригнули ее ниже к земле, спина сделалась совсем покатой; она не шевелилась, только голова все покачивалась и покачивалась.

Опять где-то звякнул колокол. Старушка подняла голову, посмотрела в дальний конец кладбища, где стояла в деревьях маленькая заброшенная церковка, сказала негромко:

— Сорванцы.

— Ребятишки, что ли?

— Да ну, лазиют там... Пойду палкой попру.— Старушка поднялась, посмотрела на меня.— Ты один-то не

сиди тут больше, а то мне как-то... все думать буду: сидит кто-то возле моей могилки. Не надо.

— Нет, я тоже пойду. Хватит.

— Ага. А то все как-то думается...— вроде извиняясь, еще сказала старушка. И пошла по дорожке, совсем маленькая, опираясь на свою палочку. А шла все же податливо, скоро. Я посмотрел ей вслед и пошел своей дорогой.

КЛЯУЗА

(Опыт документального рассказа)

Хочу попробовать написать рассказ, ничего не выдумывая. Последнее время мне нравятся такие рассказы — невыдуманные. Но вот только начал я писать, как сразу запнулся: забыл лицо женщины, про которую собрался рассказать. Забыл! Не ставь я такой задачи — написать только так, как было на самом деле,— я бы, не задумываясь, подробно описал ее внешность... Но я-то собрался иначе. И вот не знаю: как теперь? Вообще, удивительно, что я забыл ее лицо, я думал, буду помнить его долго-долго, всю жизнь. И вот — забыл. Забыл даже: есть на этом лице бородавка или нету. Кажется, есть, но, может быть, и нету, может быть, это мне со зла кажется, что — есть. Стало быть, лицо пропускаем, не помню. Помню только: не хотелось смотреть в это лицо, неловко как-то было смотреть, стыдно, потому, видно, и не запомнилось-то. Помню еще, что немного страшно было смотреть в него, хотя были мгновения, когда я, например, кричал: «Слушайте!..» Значит, смотрел же я в это лицо, а вот — не помню. Значит, не надо кричать и злиться, если хочешь что-нибудь запомнить. Но это так — на будущее. И потом: вовсе я не хотел тогда запомнить лицо этой женщины, мы в те минуты совершенно серьезно НЕНАВИДЕЛИ друг друга... Что же с ненависти спрашивать! Да и теперь,— если уж говорить всю правду,— не хочу я вспоминать ее лицо, не хочу. Это я за ради документальности решил было начать с того: как выглядит женщина. Никак! Единственное, что я хотел бы сейчас вспомнить: есть на ее лице бородавка или нет, но и этого не могу вспомнить. А прошло-то всего три недели! Множество лиц помню с детского возраста, прекрасно помню, мог бы подробно описать,

если бы надо было, а тут... так, отшибло память, и все.

Но — к делу.

Раз уж рассказ документальный, то и начну я с документа, который сам и написал. Написал я его по просьбе врачей той больницы, где все случилось. А случилось все вечером, а утром я позвонил врачам и извинился за самовольный уход из больницы и объяснил, что случилось. А когда позвонил, они сказали, что ТА женщина уже написала на меня ДОКУМЕНТ, и посоветовали мне тоже написать что-то вроде объяснительной записки, что ли. Я сказал дрожащим голосом: «Конечно, напишу. Я напишу-у!..» Меня возмутило, что ОНА уже успела написать! Ночью писала! Я, приняв димедрол, спал, а она не спала — писала. Может, за это уважать надо, но никакого чувства, похожего на уважение (уважают же, говорят, достойных врагов!), не шевельнулось во мне. Я ходил по комнате и только мычал: «Мх, ты...» Не то возмутило, что ОНА опередила меня, а то — что́ ОНА там понаписала. Я догадывался, что́ ОНА там наворочала. Кстати, почерк ЕЕ, не видя его ни разу, я, мне кажется, знаю. Лица не помню, не знаю, а почерк — покажи — сразу сказал бы, что это ЕЕ почерк. Вот дела-то!

Я походил, помычал и сел писать.

Вот что я написал:

«Директору клиники пропедевтики 1-го мединститута им. Сеченова».

Я не знал, как надо: «главврачу» или «директору», но подумал и решил: лучше «директору». Если там «главврач», то он или она, прочитав: «директору», подумает: «Ну уж!..» Потому что, как ни говорите, но директор — это директор.

Я писал дальше:

«Объяснительная записка.

Хочу объяснить свой инцидент...»

Тут я опять остановился и с удовлетворением подумал, что в ЕЕ ДОКУМЕНТЕ наверняка нет слова «инцидент», а у меня — вот оно, извольте: резкое, цинковое словцо, которое и само за себя говорит, и за меня говорит, что я его знаю.

«...с работником вашей больницы...»

Тут опять вот — «вашей»... Другой бы подмахнул — «Вашей», но я же понимаю, что больница-то не лично его,

директора, а государственная, то есть, общее достояние, поэтому, слукавь я, польсти с этим «Вашей», я бы уронил себя в глазах того же директора, он еще возьмет и подумает: «Э-х, братец, да ты сам безграмотный». Или — еще хуже — подумает: «Подхалим».

Итак:

«Хочу объяснить свой инцидент с работником вашей больницы (женщина, которая стояла на вахте 2 декабря 1973 года, фамилию она отказалась назвать, а узнавать теперь, задним числом, я как-то по-человечески не могу, ибо не считаю это свое объяснение неким «заявлением» и не жду, и не требую никаких оргвыводов по отношению к ней), который произошел у нас 2 декабря. В 11 часов утра...»

В этом абзаце мне понравилось, во-первых, что «задним числом, я как-то по-человечески не могу...». Вот это «по-человечески» мне очень понравилось. Еще понравилось, что я не требую никаких «оргвыводов». Я даже подумал: «Может, вообще не писать?» Ведь получается, что я, благородный человек, все же — пишу на кого-то что-то такое... В чем-то таком кого-то хочу обвинить... Но как подумал, что ОНА-то уже написала, так снова взялся за ручку. ОНА, небось, не раздумывала! И потом, что значит — обвинить? Я не обвиняю, я объясняю и «оргвыводов» не жду, больше того, не требую никаких «оргвыводов», я же и пишу об этом.

«В 11 часов утра (в воскресенье) жена пришла ко мне с детьми (6 и 7 лет), я спустился по лестнице встретить их, но женщина-вахтер не пускает их. Причем я, спускаясь по лестнице, видел посетителей с детьми, поэтому, естественно, выразил недоумение — почему она не пускает? В ответ услышал какое-то злостное — не объяснение даже — ворчание: «Ходют тут!» Мне со стороны умудренные посетители тихонько подсказали: «Да дай ты ей пятьдесят копеек, и все будет в порядке». 50 к. у меня не случилось, кроме того (я это совершенно серьезно говорю), я не умею «давать»: мне неловко. Я взял и выразил сожаление по этому поводу вслух: что у меня нет с собой 50 копеек».

Я помню, что в это время там, в больнице, я стал нервничать. «Да до каких пор!..» — подумал я.

«Женщина-вахтер тогда вообще хлопнула дверью перед носом жены. Тогда стоявшие рядом люди хо-

ром стали просить ее: «Да пустите вы жену-то, пусть она к дежурному врачу сходит, может, их пропустят!»

Честное слово, так и просили все... У меня там, в больнице, слезы на глаза навернулись от любви и благодарности к людям. «Ну!..» — подумал я про вахтершу, но от всяческих оскорблений и громких возмущений я удерживался, можете поверить. Я же актер, я понимаю... Наоборот, я сделал «фигуру полной беспомощности» и выразил на лице большое огорчение.

«После этого женщина-вахтер пропустила жену, так как у нее же был пропуск, а я, воспользовавшись открытой дверью, вышел в вестибюль к детям, чтобы они не оставались одни. Женщина-вахтер стала громко требовать, чтобы я вернулся в палату...»

Тут я не смогу, пожалуй, передать, как ОНА требовала. ОНА как-то механически, не так уж громко, но на весь вестибюль повторяла, как репродуктор: «Больной, вернитесь в палату! Больной, вернитесь в палату! Больной, я кому сказала: вернитесь сейчас же в палату!» Народу было полно; все смотрели на нас.

«При этом женщина-вахтер как-то упорно, зло, гадко не хочет понять, что я этого не могу сделать — уйти от детей, пока жена ищет дежурного врача. Наконец она нашла дежурного врача, и он разрешил нам войти. Женщине-вахтеру это очень не понравилось».

О, ЕЙ это не понравилось; да: все смотрели и ждали, чем это кончится, а кончилось, что ЕЕ как бы отодвинули в сторону. Но и я, по правде сказать, радости не испытал, я чувствовал, что это еще не победа, я понимал тогда сердцем и понимаю теперь разумом: ЕЕ победить невозможно.

«Когда я проходил мимо женщины-вахтера, я услышал ее недоброе обещание: «Я тебе это запомню». И сказано это было с такой проникновенной злобой, с такой глубокой, с такой истинной злобой!.. Тут со мной что-то случилось: меня стало мелко всего трясти...»

Это правда. Не знаю, что такое там со мной случилось, но я вдруг почувствовал: что — все, конец. Какой «конец», чему «конец» — не пойму, не знаю и теперь, но предчувствие какого-то очень простого, тупого конца было отчетливое. Не смерть же, в самом деле, я почувствовал — не ее приближение, но какой-то КОНЕЦ... Я тогда повернулся к НЕЙ и сказал: «Ты же не человек». Вот — смот-

рел же я на НЕЕ! — а лица не помню. Мне тогда показалось, что я сказал гулко, мощно, показалось, что я чуть не опрокинул ЕЕ этими словами. Мне на миг самому сделалось страшно, я поскорей отвернулся и побежал догонять своих на лестнице. «О-о!.. —думал я про себя.— А вот — пусть!.. А то только и знают, что — грозят!» Но тревога в душе осталась, смутная какая-то жуть... И правая рука дергалась, не вся, а большой палец, у меня это бывает.

Я никак не мог потом успокоиться в течение всего дня. Я просил жену, пока она находилась со мной, чтобы она взяла такси — и я бы уехал отсюда прямо сейчас. Страшно и противно стало жить, не могу собрать воедино мысли, не могу доказать себе, что это мелочь. Рука трясется, душа трясется, думаю: «Да отчего же такая сознательная, такая в нас осмысленная злость-то?» При этом не хочет видеть, что со мной маленькие дети, у них глаза распахнулись от ужаса, что «на их папу кричат», а я ничего не могу сделать. Это ужасно, я и хочу сейчас, чтобы вот эта-то мысль стала бы понятной: жить же противно, жить неохота, когда мы такие.

Вечером того же дня (в 6 ч. вечера) ко мне приехали из Вологды писатели В. Белов и секретарь Вологодского отделения писателей поэт В. Коротаев. Я знал об их приезде (встреча эта деловая), поэтому заранее попросил моего лечащего врача оставить пропуск на них. В 6 ч. они приехали — она не пускает. Я опять вышел... Она там зло орет на них. Я тоже зло стал говорить, что есть же пропуск!.. Вот тут-то мы все трое получили...».

В вестибюле в то время было еще двое служителей — она, видно, давала им урок «обращения», они с интересом смотрели. Это было, наверно, зрелище. Я хотел рвать на себе больничную пижаму, но почему-то не рвал, а только истерично, неубедительно выкрикивал, показывая куда-то рукой: «Да есть же пропуск!.. Пропуск же!..» ОНА, подбоченившись, с удовольствием, гордо, презрительно — и все же лица не помню, а помню, что презрительно и гордо — тоже кричала: «Пропуск здесь — я!» Вот уж мы бесились-то!.. И ведь мы, все трое,— немолодые люди, повидали всякое, но как же мы суетились, господи! А она кричала: «А то — побежа-али!.. К дежурному врачу-у!..— Это ОНА мне.— Я побегаю! Побегаю тут!.. тут!.. Марш на место! — Это опять мне.— А то завтра же

вылетишь отсудова!» Эх, тут мы снова, все трое,— возмущаться, показывать, что мы тоже законы знаем! «Как это — «вылетишь»?! Как это! Он больной!..» — «А вы — марш на улицу! Вон отсудова!..»

Так мы там упражнялись в пустом гулком вестибюле.

«Словом, женщина-вахтер не впустила моих товарищей ко мне, не дала и там поговорить и стала их выгонять. Я попросил, чтобы они нашли такси...»

Тут наступает особый момент в наших с НЕЙ отношениях. Когда товарищи мои ушли ловить такси, мы замолчали... И стали смотреть друг на друга: кто кого пересмотрит. И еще раз хочу сказать — боюсь, надоел уж с этим — не помню ЕЕ лица, хоть убей. Но отлично помню — до сих пор это чувствую,— с какой враждебностью, как презрительно ОНА не верила, что я вот так вот возьму и уеду. Может, у НЕЙ драма какая была в жизни, может, ЕЙ много раз заявляли вот так же: возьму и сделаю!.. А — не делали, она обиделась на веки вечные, не знаю, только ОНА прямо смеялась и особо как-то ненавидела меня за это трепаческое заявление — что я уеду. Мы еще некоторое время смотрели друг на друга.... И я пошел к выходу. Тут было отделился от стенки какой-то мужчина и сказал: «Э, э, куда это?» Но я нес в груди огромную силу и удовлетворенность. «Прочь с дороги!» — сказал я, как Тарас Бульба. И вышел на улицу.

Был морозец, я в тапочках, без шапки... Хорошо, что больничный костюм был темный, а без шапок многие ходят... Я боялся, что таксист, обнаружив на мне больничное, не повезет. Но было уже и темновато. Я беспечно, не торопясь, стараясь не скользить в тапочках, чтобы тот же таксист не подумал, что я пьяный, пошагал вдоль тротуара, оглядываясь назад, как это делают люди, которые хотят взять такси. Я шел и думал: «У меня же ведь еще хроническая пневмония... Я же прямо горстями нагребаю в грудь воспаление». Но и тут же с необъяснимым упорством и злым удовлетворением думал: «И пусть».

А друзья мои в другом месте тоже ловили такси. На мое счастье, я скоро увидел зеленый огонек...

Все это я и рассказал в «Объяснительной записке». И когда кончил писать, подумал: «Кляуза, вообще-то...» Но тут же сам себе с дрожью в голосе сказал:

— Ну, не-ет!

И послал свой ДОКУМЕНТ в больницу.

Мне этого показалось мало: я попросил моих вологодских друзей тоже написать ДОКУМЕНТ и направить туда же. Они написали, прислали мне, так как точного адреса больницы не знали. Я этот их ДОКУМЕНТ в больницу не послал — я и про свою-то «Объяснительную записку» сожалею теперь,— а подумал: «А напишу-ка я документальный рассказ! Попробую, по крайней мере. И приложу оба ДОКУМЕНТА».

Вот — прикладываю и их ДОКУМЕНТ.

г. Москва, ул. Погодинская, клиника пропедевтики, Главному врачу.

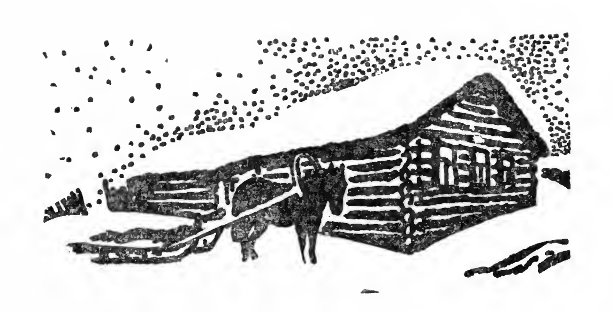
Настоящим письмом обращаем Ваше внимание на следующий возмутительный случай, происшедший в клинике 2 декабря в период с 18 до 19 часов. Приехав из другого города по делам, связанным с писательской организацией, мы обратились к дежурной с просьбой разрешить свидание с находившимся в клинике Шукшиным В. М. Вначале дежурная разрешила свидание и порекомендовала позвонить на этаж. Но, узнав фамилию больного, вдруг переменила решение и заявила: «К нему я вас не пущу». На вопрос «почему?» она не ответила и вновь надменно и грубо заявила, что «может сделать, но не сделает», что «другим сделает, а нам не сделает». Такие действия для нас были совершенно непонятны, тем более что во время наших объяснений входили и выходили посетители, которым дежурная демонстративно разрешала свидания. Один из них благодарил дежурную весьма своеобразно, он сказал, уходя: «Завтра с меня шоколадка». (Мы не предполагали, что в столичной клинике может существовать такая форма благодарности, и шоколадом не запаслись.) В. М. Шукшин, которому сообщили о нашем приходе другие больные, спустился с этажа и спросил дежурную, почему она не разрешает свидание, хотя у нас выписан пропуск. Она ответила грубым криком и оскорблением. Она не разрешила нам даже поговорить с В. М. Шукшиным и выгнала из вестибюля. На вопрос, каковы ее имя и фамилия, она не ответила и демагогически заявила, что мы пьяны. Разумеется, это была заведомая ложь и ничем не прикрытое оскорбление.

Считаем, что подобные люди из числа младшего медицинского персонала позорят советскую медицину, и требуем принять административные и общественные меры в отношении медработника, находившегося на дежурстве во второй половине дня 2-го декабря с. г.

Ответственный секретарь Вологодской писательской организации — *В. Коротаев*.
Писатель — *В. Белов*.

И — число и подписи.

...Прочитал сейчас все это... И думаю: «Что с нами происходит?»



ПОВЕСТИ

● КАЛИНА КРАСНАЯ

Киноповесть

История эта началась в исправительно-трудовой колонии севернее города Н., в местах прекрасных и строгих.

Был вечер после трудового дня. Люди собрались в клубе.

На сцену вышел широкоплечий мужчина с обветренным лицом и объявил:

— А сейчас хор бывших рецидивистов споет нам задумчивую песню «Вечерний звон»!

На сцену из-за кулисы стали выходить участники хора — один за одним. Они стали так, что образовали две группы — большую и малую. Хористы все были далеко не певческого облика.

— В группе «бом-бом»,— возвестил дальше широкоплечий и показал на большую группу,— участвуют те, у кого завтра оканчивается срок заключения. Это наша традиция, и мы ее храним.

Хор запел. То есть завели в малой группе, а в большой нагнули головы и в нужный момент ударили с чувством:

— Бом-м, бом-м...

В группе «бом-бом» мы видим и нашего героя — Егора Прокудина, сорокалетнего, стриженого. Он старался всерьез и, когда «звонили», морщил лоб и качал круглой головой — чтобы похоже было, что звук колокола плывет и качается в вечернем воздухе.

Так закончился последний срок Егора Прокудина. Впереди — воля.

Утром в кабинете у одного из начальников произошел следующий разговор:

— Ну, расскажи, как думаешь жить, Прокудин? — спросил начальник. Он, видно, много-много раз спрашивал это — больно уж слова его вышли какие-то готовые.

— Честно! — поторопился с ответом Егор, тоже, надо полагать, готовым, потому что ответ выскочил поразительно легко.

— Да это-то я понимаю... А как? Как ты это себе представляешь?

— Думаю заняться сельским хозяйством, гражданин начальник.

— Товарищ.

— А? — не понял Егор.

— Теперь для тебя все — товарищи,— напомнил начальник.

— А-а! — с удовольствием вспомнил Прокудин. И даже посмеялся своей забывчивости.— Да, да... Много будет товарищей!

— А что это тебя в сельское хозяйство-то потянуло? — искренне поинтересовался начальник.

— Так я же ведь крестьянин! Родом-то. Вообще люблю природу. Куплю корову...

— Корову? — удивился начальник.

— Корову. Вот с таким вымем.— Егор показал руками.

— Корову надо не по вымю выбирать. Если она еще молодая, какое же у нее «вот такое» вымя? А то выберешь старую, у нее действительно вот такое вымя... Толку-то что? Корова должна быть... стройная.

— Так это что же тогда — по ногам? — сугодничал Егор вопросом.

— Что?

— Выбирать-то. По ногам, что ли?

— Да почему по ногам? По породе. Существуют породы — такая-то порода... Например, холмогорская...— больше начальник не знал.

— Обожаю коров,— еще раз с силой сказал Егор.— Приведу ее в стойло... поставлю...

Начальник и Егор помолчали, глядя друг на друга.

— Корова — это хорошо,— согласился начальник.— Только... что ж, ты одной коровой и будешь заниматься? У тебя профессия-то есть какая-нибудь?

— У меня много профессий.

— Например?

Егор подумал, как если бы выбирал из множества своих профессий наименее... как бы это сказать — меньше всего пригодную для воровских целей.

— Слесарь...

Зазвонил телефон. Начальник взял трубку.

— Да. Да. А какой урок-то был? Тема какая? «Евгений Онегин»? Так, а насчет кого они вопросы-то стали задавать? Татьяны? А что им там непонятно, в Татьяне? Что, говорю, им там...— Начальник некоторое время слушал тонкий, крикливый голос в трубке, укоризненно смотрел при этом на Егора и чуть кивал головой: мол, все ясно.— Пусть... Слушай сюда: пусть они там демагогией не занимаются! Что значит — будут дети, не будут дети?! Про это, что ли, поэма написана! А то я им приду объясню! Ты им... Ладно, счас Николаев придет к вам.— Начальник положил трубку и взял другую. Пока набирал номер, недовольно проговорил: — Доценты мне... Николаев? Там у учительницы литературы урок сорвали: начали вопросы задавать. А? «Евгений Онегин». Да не насчет Онегина, а насчет Татьяны: будут у нее дети от старика или не будут? Иди разберись. Давай. Во, доценты, понимаешь! — сказал начальник, кладя трубку.— Вопросы начали задавать.

Егор посмеялся, представив этот урок литературы.

— Хотят знать...

— У тебя жена-то есть? — спросил начальник строго.

Егор вынул из нагрудного кармана фотографию и подал начальнику. Тот взял, посмотрел.

— Это твоя жена? — спросил он, не скрывая удивления.

На фотографии была довольно красивая молодая женщина, добрая и ясная.

— Будущая,— сказал Егор. Ему не понравилось, что начальник удивился.— Ждет меня. Но живую я ее ни разу не видел.

— Как это?

— Заочница.— Егор потянулся, взял фотографию.— Позвольте. И сам засмотрелся на милое русское простое лицо.— Байкалова Любовь Федоровна. Какая доверчи-

вость на лице, а! Это удивительно, правда? На кассира похожа.

— И что она пишет?

— Пишет, что беду мою всю понимает... Но, говорит, не понимаю, как ты додумался в тюрьму угодить. Хорошие письма. Покой от них... Муж был пьянчуга — выгнала. А на людей все равно не обозлилась.

— А ты понимаешь, на что идешь? — негромко и серьезно спросил начальник.

— Понимаю,— тоже негромко сказал Егор и спрятал фотографию.

— Во-первых, оденься как следует. Куда ты такой... Ванька с Пресни заявишься.— Начальник недовольно оглядел Егора.— Что это за... почему так одет-то?

Егор был в сапогах, в рубахе-косоворотке, в фуфайке и каком-то форменном картузе — не то сельский шофер, не то слесарь-сантехник, с легким намеком на участие в художественной самодеятельности.

Егор мельком оглядел себя, усмехнулся.

— Так надо было по роли. А потом уже не успел переодеться.

— Артисты... — только и сказал начальник и засмеялся. Он был не злой человек, и его так и не перестали изумлять люди, изобретательность которых не знает пределов.

И вот она — воля!

Это значит — захлопнулась за Егором дверь, и он очутился на улице небольшого поселка. Он вдохнул всей грудью весеннего воздуха, зажмурился и покрутил головой. Прошел немного и прислонился к забору. Мимо шла какая-то старушка с сумочкой, остановилась.

— Вам плохо?

— Мне хорошо, мать,— сказал Егор.— Хорошо, что я весной сел. Надо всегда весной садиться.

— Куда садиться? — не поняла старушка.

— В тюрьму.

Старушка только теперь сообразила, с кем говорит. Опасливо отстранилась и засеменила дальше. Посмотрела еще на забор, мимо которого шла. Опять оглянулась на Егора.

А Егор поднял руку навстречу «Волге». «Волга» остановилась. Егор стал договариваться с шофером. Шо-

фер сперва не соглашался везти. Егор достал из кармана пачку денег, показал... и пошел садиться рядом с шофером.

В это время к ним подошла старушка, которая проявила участие к Егору,— не поленилась перейти улицу.

— Я прошу извинить меня,— заговорила она, склоняясь к Егору.— А почему именно весной?

— Садиться-то? Так весной сядешь — весной и выйдешь. Воля и весна! Чего еще человеку надо? — Егор улыбнулся старушке и продекламировал: — Май мой синий! Июнь голубой!

— Вон как!..— Старушка изумилась. Выпрямилась и глядела на Егора, как глядят в городе на коня — туда же, по улице идет, где машины. У старушки было румяное морщинистое личико и ясные глаза. Она, сама того не ведая, доставила Егору приятнейшую, дорогую минуту.

«Волга» поехала.

Старушка некоторое время смотрела ей вслед:

— Скажите... Поэт нашелся. Фет.

А Егор весь отдался движению.

Кончился поселок, выскочили на простор.

— Нет ли у тебя какой музыки? — спросил Егор.

Шофер, молодой парень, достал одной рукой из-за спины транзисторный магнитофон.

— Включи. Крайняя клавиша.

Егор включил какую-то славную музыку. Откинулся головой на сиденье. Закрыл глаза. Долго он ждал такого часа. Заждался.

— Рад? — спросил шофер.

— Рад? — очнулся Егор.— Рад...— Он точно на вкус попробовал это словцо.— Видишь ли, малыш, если бы я жил три жизни, я бы одну просидел в тюрьме, другую — отдал тебе, а третью — прожил бы сам, как хочу. Но так как она у меня всего одна, то сейчас я, конечно, рад. А ты умеешь радоваться? — Егор от полноты чувства мог иногда взбежать повыше — где обитают слова красивые и пустые.— Умеешь, нет?

Шофер пожал плечами, ничего не ответил.

— Э-э, тухлое твое дело, сынок,— не умеешь.

— А чего радоваться-то?

Егор вдруг стал серьезным. Задумался. С ним это бывало — вдруг ни с того ни с сего задумается.

— А? — спросил Егор из каких-то своих мыслей.

— Чего, говорю, шибко радоваться-то? — Шофер был парень трезвый и занудливый.

— Ну, это я, брат, не знаю — чего радоваться,— заговорил Егор, с неохотой возвращаясь из своего далекого далека.— Умеешь — радуйся, не умеешь — сиди так. Тут не спрашивают. Стихи, например, любишь?

Парень опять неопределенно пожал плечами.

— Вот видишь,— с сожалением сказал Егор,— а ты радоваться собрался.

— Я и не собирался радоваться.

— Стихи надо любить,— решительно закруглил Егор этот вялый разговор.— Слушай, какие стихи бывают.— И Егор начал читать — с пропуском, правда, потому что подзабыл:

...в снежную выбель
Заметалась звенящая жуть.
Здравствуй ты, моя черная гибель,
Я навстречу тебе выхожу!
Город! Город! Ты в схватке жестокой
Окрестил нас как падаль и мразь,
Стынет поле в тоске...

какой-то. Тут подзабыл малость.

Телеграфными столбами давясь...

Тут опять забыл. Дальше:

Пусть для сердца тягуче колко,
Это песня звериных прав!..
...Так охотники травят волка,
Зажимая в тиски облав.
Зверь припал... и из пасмурных недр
Кто-то спустит сейчас курки...
Вдруг прыжок... И двуногого недруга
Раздирают на части клыки.
О, привет тебе, зверь мой любимый!
Ты недаром даешься ножу.
Как и ты — я, отвсюду гонимый,
Средь железных врагов прохожу.
Как и ты — я всегда наготове,
И хоть слышу победный рожок,
Но отпробует вражеской крови
Мой последний, смертельный прыжок.
И пускай я на рыхлую выбель
Упаду и зароюсь в снегу...
Все же песню отмщенья за гибель
Пропоют мне на том берегу.

Егор, сам оглушенный силой слов, некоторое время сидел, стиснув зубы, глядел вперед. И была в его взгляде, сосредоточенном, устремленном вдаль, решимость,

точно и сам он когда-то бросил прямой вызов кому-то и не страшился ни тогда, ни теперь.

— Как стихи? — спросил Егор.

— Хорошие стихи.

— Хорошие. Как стакан спирту дернул,— сказал Егор.— А ты: не люблю стихи. Молодой еще, надо всем интересоваться. Останови-ка... я своих подружек встретил.

Шофер не понял, каких он подружек встретил, но остановился.

Егор вышел из машины. Вокруг был сплошной березовый лес. И такой это был чистый белый мир на черной еще земле, такое свечение!.. Егор прислонился к березке, огляделся кругом.

— Ну, ты глянь, что делается! — сказал он с тихим восторгом. Повернулся к березке, погладил ее ладонью.— Здорово! Ишь ты какая... Невеста какая. Жениха ждешь? Скоро уж, скоро.— Егор быстро вернулся к машине. Все теперь было понятно. Нужен выход какой-нибудь. И скорее. Немедленно.

— Жми, малыш, на весь котел. А то у меня сердце сейчас из груди выпрыгнет: надо что-то сделать. Ты спиртного с собой не возишь?

— Откуда?

— Ну, тогда рули. Сколько стоит твой музыкальный ящичек?

— Двести.

— Беру за триста. Он мне понравился.

В областном городе, на окраине, Егор велел остановиться, не доезжая того дома, где должны быть свои люди. Щедро расплатился с шофером, взял музыкальный ящичек и дворами, сложно, пошел «на хату».

«Малина» была в сборе.

Сидела приятная молодая женщина с гитарой. Сидел около телефона некий здоровый лоб, похожий на бульдога, упорно смотрел на телефон. Сидели четыре девицы с голыми ногами... Ходил по комнате рослый молодой парень, поглядывал на телефон... Сидел в кресле губошлеп с темными зубами, потягивал из фужера шампанское... Еще человек пять-шесть молодых парней сидели кто где — курили или просто так.

Комната была драная, гадкая. Синенькие какие-то

обои, захватанные и тоже драные, совсем уж некстати напоминали цветом своим весеннее небо, и от этого вовсе нехорошо было в этом вонючем сокрытом мирке, тяжко. Про такие обиталища говорят, обижая зверей,— логово.

Все сидели в каком-то странном оцепенении. Время от времени поглядывали на телефон. Напряжение чувствовалось во всем. Только скуластенькая молодая женщина чуть перебирала струны и негромко, красиво пела, хрипловато, но очень душевно:

Калина красная,
Калина вызрела,
Я у залеточки
Характер вызнала.
Характер вызнала,
Характер — ой какой,
Я не уважила,
А он ушел к другой...

— А я...

Во входную дверь постучали условным стуком. Все сидящие дернулись, как от вскрика.

— Цыть! — сказал Губошлеп. И весело посмотрел на всех.— Нервы,— еще сказал Губошлеп. И взглядом послал одного открыть дверь.

Пошел рослый парень.

— Чепочка,— сказал Губошлеп. И сунул руку в карман. И ждал.

Рослый парень, не скидывая дверной цепочки, приоткрыл дверь. И поспешно скинул цепочку, оглянулся на всех...

Дверь закрылась.

И вдруг за дверью грянул марш. Егор пинком открыл ее и вошел под марш. На него зашикали и повскакали с мест.

Егор выключил магнитофон, удивленно огляделся. К нему подходили, здоровались... Но старались не шуметь.

— Привет, Горе.— (Такова была кличка Егора — Горе).

— Здорово.

— Отпыхтел?

Егор подавал руку, но все не мог понять, что здесь такое. Много было знакомых, а были и не просто знакомые — была тут Люсьен (скуластенькая), был, наконец, Губошлеп — их Егор рад был видеть. Но что они?

— А чего вы такие все?
— Ларек наши берут,— пояснил один, здороваясь.— Должны звонить... Ждем.
Очень обрадовалась Егору скуластенькая женщина. Она повисла у него на шее... И всего исцеловала. Глаза ее, чуть влажные, прямо сияли от неподдельной радости.
— Горе ты мое!.. Я тебя сегодня во сне видела...
— Ну-ну,— говорил счастливый Егор.— И что я во сне делал?
— Обнимал меня. Крепко-крепко.
— А ты ни с кем меня не спутала?
— Горе!..
— А ну, повернись-ка, сынку! — сказал Губошлеп.— Экий ты какой стал!
Егор подошел к Губошлепу, они сдержанно обнялись. Губошлеп так и не встал. Весело смотрел на Егора.
— Я вспоминаю один весенний вечер...— заговорил Губошлеп. И все стихли.— В воздухе было немножко сыро, на вокзале — сотни людей. От чемоданов рябит в глазах. Все люди взволнованны — все хотят уехать. И среди этих взволнованных, нервных сидел один... Сидел он на своем деревенском сундуке и думал горькую думу. К нему подошел некий изящный молодой человек и спросил: «Что пригорюнился, добрый молодец?» — «Да вот... горе у меня! Один на земле остался, не знаю, куда деваться». Тогда молодой человек...
Зазвонил телефон. Всех опять как током дернуло.
— Да? — вроде как безразлично спросил парень, похожий на бульдога. И долго слушал. И кивал.— Все сидим здесь. Я не отхожу от телефона. Все здесь. Горе пришел... Да. Только что. Ждем. Ждем.— Похожий на бульдога положил трубку и повернулся ко всем.
— Начали.
Все пришли в нервное движение.
— Шампанзе! — велел Губошлеп.
Бутылки с шампанским пошли по рукам.
— Что за ларек? — спросил Егор Губошлепа.
— Кусков на восемь,— сказал тот.— Твое здоровье!
Выпили.
— Люсьен... Что-нибудь... снять напряжение,— попросил Губошлеп. Он был худой, спокойный и чрезвычайно наглый, глаза очень наглые.
— Я буду петь про любовь,— сказала приятная Лю-

сьен. И тряхнула крашеной головой и с маху положила ладонь на струны. И все стихли.

Тары-бары-растабары,
Чары, чары...
Очи-ночь.
Кто не весел,
Кто в печали —
Уходите прочь!
Во лугах, под покровом ночи,
Счастье даром раздают!
Очи, очи...
Сердце хочет:
Поманите — я пойду!
Тары-бары-растабары...

Опять зазвонил телефон. Вмиг повисла гробовая тишина.

— Да? — изо всех сил спокойно сказал Бульдог в трубку.— Нет, вы ошиблись номером. Ничего, пожалуйста. Бывает, бывает.— Бульдог положил трубку.— В прачечную звонит, сука.

Все пришли в движение.

— Шампанзе! — опять велел Губошлеп.— Горе, от кого поклоны принес?

— Потом,— сказал Егор.— Дай я сперва нагляжусь на вас. Вот, вишь, тут молодые люди незнакомые... Ну-ка, я познакомлюсь.

Молодые люди по второму разу, с почтением подавали руки. Егор внимательно, с усмешкой, заглядывал им в глаза. И кивал головой, и говорил: «Так, так».

— Хочу плясать! — заявила Люсьен. И трахнула фужер об пол.

— Ша, Люсьен.— сказал Губошлеп.— Не заводись.

— Иди ты к дьяволу! — сказала подпившая Люсьен.— Горе, наш коронный номер!

И Егор тоже с силой бросил свой фужер.

И у него заблестели глаза.

— Ну-ка, молодые люди, дайте круг. Брысь!

— Ша, Горе! — повысил голос Губошлеп.— Выбрали время!

— Да мы же услышим звонок! — заговорили со всех сторон Губошлепу.— Пусть сбацают.

— Чего ты? Пусть выйдут!

— Бульдя же сидит на телефоне.

Губошлеп вынул белый платочек и хоть запоздало, но важно, как Пугачев, махнул им.

Две гитары дернули «барыню».

Пошла Люсьен... Ах, как она плясала! Она умела. Не размашисто, нет, а четко, легко, с большим тактом. Вроде вколачивала каблучками в гроб свою калеку-жизнь, а сама, как птица, била крыльями — чтобы отлететь. Много она вкладывала в пляску. Она даже красивой вдруг сделалась, родной и милой...

Егор, когда Люсьен подступала к нему, начинал тоже и работал ногами. Руки заложены за спину, ничего вроде особенного, не прыгал козлом — а тоже хорошо. Хорошо у них выходило. Таилось что-то за этой пляской — неизжитое, незабытое.

— Вот какой минуты ждала моя многострадальная душа,— сказал Егор вполне серьезно. Такой, верно, ждалась желанная воля.

— Подожди, Егорушка, я еще не так успокою твою душу,— откликнулась Люсьен.— Ах как я ее успокою! И сама успокоюсь.

— Успокой, Люсьен. А то она плачет.

— Успокою. Я прижму ее к сердцу, голубку, скажу ей: «Устала? Милая... милая... добрая... Устала».

— Смотри, не клюнула бы эта голубка,— встрял в этот деланный разговор Губошлеп.— А то клюнет.

— Нет, она не злая,— серьезно сказал Егор, не глядя на Губошлепа. И жестокость легла тенью на его доброе лицо. Но плясать они не перестали, они плясали. На них хотелось без конца смотреть, и молодые люди смотрели, с какой-то тревогой смотрели, жадно, как будто тут заколачивалась в гроб отвратительная часть и их жизни тоже — можно потом выйти на белый свет, а там — весна.

— Она устала в клетке,— сказала Люсьен нежно.

— Она плачет,— сказал Егор.— Нужен праздник.

— По темечку ее... Прутиком,— сказал Губошлеп.— Она успокоится.

— Какие люди, Егорушка! А? — воскликнула Люсьен.— Какие злые!

— Ну, на злых, Люсьен, мы сами — волки. Но душа-то, душа-то... Плачет.

— Успокоим, Егорушка, успокоим. Я же волшебница, я все чары свои пущу в ход..

— Из голубей похлебка хорошая,— сказал ехидный Губошлеп. Весь он худой, как нож, собранный, странный

своей молодой ненужностью, весь он ушел в свои глаза. Глаза горели злобой.

— Нет, она плачет! — остервенело сказал Егор.— Плачет! Тесно ей там — плачет! — Он рванул рубаху... И стал против Губошлепа. Гитары смолкли. И смолк перепляс волшебницы Люсьен.

Губошлеп держал уже руку в кармане.

— Опять ты за старое, Горе? — спросил он, удовлетворенный.

— Я тебе, наверно, последний раз говорю,— спокойно тоже и устало сказал Егор, застегивая рубаху.— Не тронь меня за болячку... Когда-нибудь ты не успеешь сунуть руку в карман. Я тебе сказал.

— Я слышал.

— Эх-х!..— огорчилась Люсьен.— Скука... Опять покойники, кровь... Бр-р. Налей-ка мне шампанского, дружок.

Зазвонил телефон. Про него как-то забыли все.

Бульдог кинулся к аппарату, схватил трубку... Поднес к уху, и она обожгла его. Он бросил ее на рычажки.

Первым вскочил с места Губошлеп. Он был стремительный человек. Но все же он был спокоен.

— Сгорели,— коротко и ужасно сказал Бульдог.

— По одному — кто куда,— скомандовал Губошлеп.— Веером. На две недели все умерли. Время!

Стали исчезать по одному. Исчезать они, как видно, умели. Никто ничего не спрашивал.

— Ни одной пары! — еще сказал Губошлеп.— Сбор у Ивана. Не раньше десяти дней.

Егор сел к столу, налил фужер шампанского, выпил.

— Ты что, Горе? — спросил Губошлеп.

— Я? — Егор помедлил в задумчивости.— Я, кажется, действительно займусь сельским хозяйством.

Люсьен и Губошлеп стояли над ним в недоумении.

— Каким сельским хозяйством?

— Уходить надо, чего ты сел?! — встряхнула его Люсьен.

Егор очнулся. Встал.

— Уходить? Опять уходить... Когда же я буду приходить, граждане? А где мой славный ящичек?.. А, вот он. Обязательно надо уходить? Может...

— Что ты! Через десять минут здесь будут. Наверно, выследили.

Люсьен пошла к выходу.

Егор двинулся было за ней, но Губошлеп мягко остановил его за плечо. И мягко сказал:

— Не надо. Погорим. Мы скоро все увидимся...

— А ты с ней пойдешь? — прямо спросил Егор.

— Нет,— твердо и, похоже, честно сказал Губошлеп.— Иди! — резко крикнул он Люсьен, которая задержалась в дверях.

Люсьен недобро глянула на Губошлепа и вышла.

— Отдохни где-нибудь,— сказал Губошлеп, наливая в два фужера.— Отдохни, дружок,— хоть к Кольке Королю, хоть к Ваньке Самыкину, у него уголок хороший. А меня прости за... сегодняшнее. Но... Горе ты мое, Горе, ты же мне тоже на болячку жмешь, только не замечаешь. Давай. Со встречей. И — до свидания пока. Не горюй. Гроши есть?

— Есть. Мне там собрали...

— А то могу подкинуть.

— Давай,— передумал Егор.

Губошлеп вытащил из кармана и дал сколько-то Егору. Пачку.

— Где будешь?

— Не знаю. Найду кого-нибудь. Как же вы так — завалились-то?

В это время в комнату скользнул один из молодых, белый от испуга.

— Квартал окружили,— сказал он.

— А ты что?

— Я не знаю, куда... Я вам сказать.

— Сам прет на рога,— засмеялся Губошлеп.— Чего ж ты опять сюда-то? Ах, милый ты мой, теленочек мой... За мной, братики!

Они вышли каким-то черным ходом и направились было вдоль стены в сторону улицы, но оттуда, с той стороны, послышались крепкие шаги патруля. Они — в другую сторону, но и оттуда раздались шаги...

— Так,— сказал Губошлеп, не утрачивая своей загадочной веселости.— Что-то паленым пахнет. А, Егор? Чуешь?

— Ну-ка, сюда! — Егор втолкнул своих спутников в какую-то нишу.

Шаги с обеих сторон приближались...

В одном месте, справа, по стене прыгнул лучик сильного карманного фонаря.

Губошлеп вынул из кармана наган...

— Брось, дура! — резко и зло сказал Егор.— Психопат. Может, те не расколются... А ты тут стрельбу откроешь.

— Та знаю я их! — нервно воскликнул Губошлеп. Вот сейчас, вот тут, он, пожалуй, утратил свое спокойствие.

— Вот я сейчас рвану — уведу их. У меня справка об освобождении,— заговорил Егор быстро, выискивая глазами — в какую сторону рвануть.— Справка помечена сегодняшним числом... Я прикрытый. Догонят — скажу: испугался. Скажу: бабенку искал, услышал свистки — испугался сдуру... Все. Не поминайте лихом!

И Егор ринулся от них... И побежал напропалую. Тотчас со всех сторон раздались свистки и топот ног.

Егор бежал с каким-то азартом, молодо... Бежал, да еще и приговаривал себе, подпевал. Увидел просвет, кинулся туда, полез через какие-то трубы и победно спел:

— Оп, тирдарпупия! Ничего я не видал, ох, никого не знаю!..

Он уже перебрался через трубы... Сзади в темноте, совсем близко, бежали. Егор юркнул в широкую трубу и замер.

Над ним загрохотали железные шаги...

Егор сидел скрючившись и довольно улыбался. И шептал:

— Д-ничего я не видал, д-никого не знаю.

Он затеял какую-то опасную игру. Когда гул железный прекратился и можно было пересидеть тут и вовсе, он вдруг опять снялся с места и опять побежал.

За ним опять устремились.

— Эх, ничего я не видал, ох, никого не знаю! Д-никого не знаю! — подбадривал себя Егор. Маханул через какую-то невысокую изгородь, побежал по кустам — похоже, попал в какой-то сад. Близко взлаяла собака. Егор кинулся вбок... Опять изгородь, он перепрыгнул и очутился на кладбище.

— Привет! — сказал Егор. И пошел тихо.

А шум погони устремился дальше — в сторону.

— Ну надо же, сбежал! — изумился Егор.— Всегда бы так, елки зеленые. А то ведь, когда хочешь подорвать, попадаешься как ребенок.

И опять охватила Егора радость воли, радость жизни.

— Ох, д-ничего ж я не видал, д-никого не знаю,— еще разок спел Егор. И включил свой славный ящичек на малую громкость. И пошел читать надписи на над-

гробиях. Кладбище огибала улица, и свет фар надолго освещал кресты — пока машина сгибала угол. И тени от крестов, длинные, уродливые, плыли по земле, по холмикам, по оградкам... Жутковатая, в общем-то, картина. А тут еще музычка Егорова вовсе как-то нелепо. Егор выключил музыку.

— «Спи спокойно до светлого утра»,— успевал прочитывать Егор.— «Купец первой гильдии Неверов»... А ты-то как здесь?! — удивился Егор.— Тыща восемьсот девяноста... А-а, ты уже давно. Ну-ну, купец первой гильдии... «Едут с товарами в путь из Касимова...»,— запел было негромко Егор, но спохватился.— «Дорогому, незабвенному мужу от неутешной вдовы», — прочитал он дальше. Присел на скамеечку, посидел некоторое время... Встал.— Ну, ладно, ребята, вы лежите, а я пойду. Ничего не сделаешь... Пойду себе, как честный фраер: где-то же надо в конце концов приткнуть голову. Надо же? Надо.— И все же спел еще разок: — Д-ничего ж я не видал, д-никого ж не зна-аю.

И стал он искать, куда бы приткнуться.

У двери деревянного домика на самой окраине из сеней ему сурово сказали:

— Иди отсюда! А то я те выйду, покажу горе... Горе покажу и страдание.

Егор помолчал немного.

— Ну, выйди.

— И выйду!

— Выйдешь... Ты мне скажи: Нинка здесь или нет? — по-доброму спросил Егор мужика за дверью.— Только правду! А то ведь я узнаю. И строго накажу, если обманешь.

Мужик тоже помолчал. И тоже сменил тон, сказал дерзко, но хоть не так зло:

— Никакой здесь Нинки нет, тебе говорят! Неужели непонятно? Шляются тут по ночам-то.

— Подожечь, что ли, вас? — вслух подумал Егор. И брякнул спичками в кармане.— А?

За дверью долго молчали.

— Попробуй,— сказал наконец голос. Но уже вовсе не грозно.— Попробуй и подожги. Нет Нинки, я те серьезно говорю. Уехала она.

— Куда?

— На Север куда-то.

— А чего ты лаяться кинулся? Неужели трудно было сразу объяснить?

— А потому что меня зло берет на вас! Из-за таких вот и уехала... С такими же вот.

— Ну, считай, что она в надежных руках — не пропадет. Будь здоров!

В телефонной будке Егор тоже рассердился.

— Почему нельзя-то?! Почему? — орал он в трубку.

Ему что-то долго объясняли.

— Заразы вы все,— с дрожью в голосе сказал Егор.— Я из вас букет сделаю, суки: головками вниз посажу в клумбу... Ну, твари! — Егор бросил трубку... И задумался.— Люба,— произнес он с дурашливой нежностью.— Все. Еду к Любе.— И он зло саданул дверью будки и пошагал к вокзалу. И говорил дорогой:

— Ах ты, лапушка ты моя! Любушка-голубушка... Оладушек ты мой сибирский! Я хоть отъемся около тебя... Хоть волосы отрастут. Дорогуша ты моя сдобная! — Егор все набирал и набирал какого-то остервенения.— Съем я тебя поеду! — закричал он в тишину, в ночь. И даже не оглянулся посмотреть — не потревожил ли кого своим криком. Шаги его громко отдавались в пустой улице; подморозило на ночь, асфальт звенел.— Задушу в объятиях!.. Разорву и сховаю! И запью самогонкой. Все!

И вот районный автобус привез Егора в село Ясное.

А Егора на взгорке стояла и ждала Люба. Егор сразу увидел и узнал ее... В сердце толкнуло — она!

И пошел к ней.

— Ё-моё,— говорил он себе негромко, изумленный,— да она просто красавица! Просто зоренька ясная. Колобок просто... Красная шапочка...

— Здравствуйте,— сказал он вежливо и наигранно застенчиво. И подал руку.— Георгий.— И пожал с чувством крепкую крестьянскую руку. И — на всякий случай — тряхнул ее, тоже с чувством.

— Люба.— Женщина просто и как-то задумчиво гля-

дела на Егора. Молчала. Егору от ее взгляда сделалось беспокойно.

— Это я,— сказал он. И почувствовал себя очень глупо.

— А это — я,— сказала Люба. И все смотрела на него спокойно и задумчиво.

— Я некрасивый,— зачем-то сказал Егор.

Люба засмеялась.

— Пойдем-ка посидим пока в чайной,— сказала она.— Расскажи про себя, что ли...

— Я непьющий,— поспешил Егор.

— Ой ли? — искренне удивилась Люба. И очень както просто у нее это получалось, естественно. Егора простота эта сбила с толку.

— Нет, я, конечно, могу поддержать компанию, но... это... не так, чтобы засандалить там... Я очень умеренный.

— Да мы чайку выпьем, и все. Расскажешь про себя маленько.— Люба все смотрела на своего заочника... И так странно смотрела, точно над собой же и подсмеивалась в душе, точно говорила себе, изумленная своим поступком: «Ну, не дура ли я? Что затеяла-то?» Но женщина она, видно, самостоятельная: и смеется над собой, а делает что хочет.— Пойдем... Расскажи. А то у меня мать с отцом строгие, говорят: и не заявляйся сюда со своим арестантом.— Люба шла немного впереди и, говоря это, оглядывалась, и вид у нее был спокойный и веселый.— А я им говорю: да он арестант-то по случайности. По несчастью. Верно же?

Егор при известии, что у нее родители, да еще строгие, заскучал. Но вида не подал.

— Да-да,— сказал он «интеллигентно».— Стечение обстоятельств, громадная невезуха.

— Вот и я говорю.

— У вас родители — кержаки?

— Нет. Почему ты так решил?

— Строгие-то... Попрут еще. Я, например, курю.

— Господи, у меня отец сам курит. Брат, правда, не курит...

— И брат есть?

— Есть. У нас семья большая. У брата двое детей — большие уже: один в институте учится, другая десятилетку заканчивает.

— Все учатся... Это хорошо,— похвалил Егор.— Молодцы.— Но, однако, ему кисло сделалось от такой родни.

Зашли в чайную. Сели в углу за столик. В чайной было людно, беспрестанно входили и выходили... И все с интересом разглядывали Егора. От этого тоже было неловко, неуютно.

— Может, мы возьмем бутылочку да пойдем куда-нибудь? — предложил Егор.

— Зачем? Здесь вон как славно... Нюра, Нюр! — позвала Люба девушку.— Принеси нам, голубушка... Чего принести-то? — повернулась она к Егору.

— Красненького,— сказал Егор, снисходительно поморщившись.— У меня от водки изжога.

— Красненького, Нюр! — Загадочное впечатление производила Люба: она точно играла какую-то умную игру, играла спокойно, весело и с любопытством всматривалась в Егора: разгадал тот или нет, что это за игра?

— Ну, Георгий...— начала она,— расскажи, значит, про себя.

— Прямо как на допросе,— сказал Егор и мелко посмеялся. Но Люба его не поддержала, и Егор посерьезнел.

— Ну, что рассказывать? Я бухгалтер, работал в орсе, начальство, конечно, воровало... Тут — бах! — ревизия. И мне намотали... Мне, естественно, пришлось отдуваться. Слушай,— тоже перешел он на «ты»,— давай уйдем отсюда: они смотрят, как эти...

— Да пусть смотрят! Чего они тебе? Ты же не сбежал.

— Вот справка! — воскликнул Егор. И полез было в карман.

— Я верю, верю, господи! Я так, к слову. Ну, ну? И сколько же ты сидел?

— Пять.

— Ну?

— Все... А что еще?

— Это с такими ручищами ты — бухгалтер? Даже не верится.

— Что? Руки?.. А-а. Так это я их уже там натренировал...— Егор потянул руки со стола.

— Такими руками только замки ломать, а не на счетах...— Люба засмеялась.

И Егор, несколько встревоженный, фальшиво посмеялся тоже.

— Ну, а здесь чем думаешь заниматься? Тоже бухгалтером будешь?

— Нет! — поспешно сказал Егор.— Бухгалтером я больше не буду.

— А кем же?

— Надо осмотреться... А можно малость попридержать коней, Люба? — Егор тоже прямо глянул в глаза женщины.— Ты как-то сразу погнала в мах: работа, работа... Работа — не Алитет. Подожди с этим.

— А зачем ты меня обманывать-то стал? — тоже прямо спросила Люба.— Я же писала вашему начальнику, и он мне ответил...

— А-а,— протянул Егор, пораженный.— Вот оно что...— И ему стало легко и даже весело.— Ну, тогда гони всю тройку под гору. Наливай.

И включил Егор музыку.

— А такие письма писал хорошие,— с сожалением сказала Люба.— Это же не письма, а целые... поэмы прямо целые.

— Да? — оживился Егор.— Тебе нравятся? Может, талант пропадает...— Он пропел: — Пропала молодость, талант в стенах тюрьмы. Давай, Любовь, наливай. Цантралка, все ночи полные огня... Давай, давай!

— А чего ты-то погнал? Подожди... Поговорим.

— Ну, начальничек, мля! — воскликнул Егор.— И ничего не сказал мне. А тихим фраером я подъехал? Да? Бухгалтер...— Егор хохотнул.— Бухгалтер... По учету товаров широкого потребления.

— Так чего же ты хотел, Георгий? — спросила Люба.— Обманывал-то... Обокрасть, что ли, меня?

— Ну, мать!.. Ты даешь! Поехал в далекие края — две пары валенок брать. Ты меня оскорбляешь, Люба.

— А чего же?

— Что?

— Чего хочешь-то?

— Не знаю. Может, отдых душе устроить... Но это тоже не то: для меня отдых — это... Да. Не знаю, не знаю, Любовь.

— Эх, Егорушка.

Егор даже вздрогнул и испуганно глянул на Любу: так похоже она это сказала — так говорила далекая Люсьен.

— Что?

— Ведь и правда, пристал ты, как конь в гору... толь-

ко еще боками не проваливаешь. Да пена изо рта не идет. Упадешь ведь. Запалишься и упадешь. У тебя, правда, что ли, никого нету? Родных-то...

— Нет, я сиротинушка горькая. Я же писал. Кличка моя знаешь какая? Горе. Мой псевдоним. Но все же ты мне на мозоль, пожалуйста, не наступай. Не надо. Я еще не побирушка. Чего-чего, а магазинчик-то подломить я еще смогу. Иногда я бываю фантастически богат, Люба. Жаль, что ты мне не в эту пору встретилась... Ты бы увидела, что я эти деньги вонючие... вполне презираю.

— Презираешь, а идешь из-за них на такую страсть. Из-за чего же?

— Никем больше не могу быть на этой земле — только вором.— Егор сказал это с гордостью. Ему было очень легко с Любой. Хотелось, например, чем-нибудь ее удивить.

— Ое-ей! Ну, допивай да пойдем,— сказала Люба.

— Куда? — удивился Егор.

— Ко мне. Ты же ко мне приехал. Или у тебя еще где-нибудь заочница есть? — Люба засмеялась. Ей тоже было легко с Егором, очень легко.

— Погоди...— не понимал Егор.— Но мы же теперь выяснили, что я не бухгалтер...

— Ну, уж ты тоже выбрал профессию...— Люба качнула головой.— Хотя бы уж свиновод, что ли, и то лучше. Выдумал бы какой-нибудь падеж свиней — ну, осудили, мол. А ты и правда-то не похож на жулика. Нормальный мужик... Даже вроде наш, деревенский. Ну, свиновод, пошли, что ли?

— Между прочим,— не без фанаберии заговорил Егор,— к вашему сведению: я шофер второго класса.

— И права есть? — с недоверием спросила Люба.

— Права в Магадане.

— Ну, видишь, тебе же цены нет, а ты — Горе! Бича хорошего нет на это горе. Пошли.

— Типичная крестьянская психология. Ломовая. Я рецидивист, дурочка. Я ворюга несусветный. Я...

— Тише! Что, опьянел, что ли?

— Так. А в чем дело? — опомнился Егор.— Не понимаю, объясни, пожалуйста. Ну, мы пойдем... Что дальше?

— Пошли ко мне. Отдохни хоть с недельку... Украсть у меня ровно нечего. Отдышись... Потом уж поедешь магазины ломать. Пойдем. А то люди скажут: встретила — от ворот поворот. Зачем же тогда звала? Знаешь, мы тут

какие!.. Сразу друг друга осудим. Да и потом... не боюсь я тебя чего-то, не знаю.

— Так. А папаша твой не приголубит меня... колуном по лбу? Мало ли, какая ему мысль придет в голову.

— Нет, ничего. Теперь уж надейся на меня.

Дом у Байкаловых большой, крестовый. В одной половине жила Люба со стариками, через стенку — брат с семьей.

Дом стоял на высоком берегу реки, за рекой открывались необозримые дали. Хозяйство у Байкаловых налаженное, широкий двор с постройками, баня на самой крутизне.

Старики Байкаловы как раз стряпали пельмени, когда хозяйка, Михайловна, увидела в окно Любу и Егора.

— Гли-ка, ведет ведь! — всполошилась она.— Любка-то!.. Рестанта-то!..

Старик тоже приник к окошку.

— Вот теперь заживем! — в сердцах сказал он.— По внутреннему распорядку, язви тя в душу! Вот это отчебучила дочь!

Видно было, как Люба что-то рассказывала Егору: показывала рукой за реку, оглядывалась и показывала назад, на село. Егор послушно крутил головой. Но больше взглядывал на дом Любы, на окна.

А тут переполох полный. Все же не верили старики, что кто-то приедет к ним из тюрьмы. И хоть Люба и телеграмму им показывала от Егора, все равно не верилось. А обернулось все чистой правдой.

— Ну, окаянная, ну, халда! — сокрушалась старуха.— Ну, чё я могла с халдой поделать? Ничё же я не могла...

— Ты вида не показывай, что мы напужались или ишо чего...— учил ее дед.— Видали мы таких... разбойников! Стенька Разин нашелся.

— Однако и приветить ведь надо?..— первая же и сообразила старуха.— Или как? У меня голова кругом пошла — не соображу...

— Надо. Все будем по-людски делать, а там уж поглядим: может, жизни свои покладем... через дочь родную. Ну, Любка, Любка...

Вошли Люба с Егором.

— Здравствуйте! — приветливо сказал Егор.

Старики в ответ только кивнули... И открыто, в упор разглядывали Егора.

— Ну, вот и бухгалтер наш,— как ни в чем не бывало заговорила Люба.— И никакой он вовсе не разбойник с большой дороги, а попал по... этому, по...

— По недоразумению,— подсказал Егор.

— И сколько же счас дают за недоразумение? — спросил старик.

— Пять,— кротко сказал Егор.

— Мало. Раньше больше давали.

— По какому же такому недоразумению загудел-то? — прямо спросила старуха.

— Начальство воровало, а он списывал,— пояснила Люба.— Ну, допросили? А теперь покормить надо — человек с дороги. Садись пока, Георгий.

Егор обнажил свою стриженую голову и скромненько присел на краешек стула.

— Посиди пока,— велела Люба.— Я пойду баню затоплю. И будем обедать.— Люба ушла. Нарочно, похоже, ушла, чтобы они тут до чего-нибудь хоть договорились. Сами. Наверно, надеялась на своих незлобивых родителей.

— Закурить можно? — спросил Егор. Не то что тяжело ему было — ну и выгонят, делов-то! — но если бы, например, все обошлось миром, то оно бы и лучше. Интереснее. Конечно, не ради одного голого интереса хотелось бы здесь прижиться хоть на малое время, а еще и надо было. Где-то же надо было и пересидеть пока, и осмотреться.

— Кури,— разрешил дед.— Какие куришь?

— «Памир».

— Сигаретки, что ли?

— Сигаретки.

— Ну-ка, дай я спробую.— Дед подсел к Егору. И все приглядывался к нему, приглядывался.

Закурили.

— Дак какое, говоришь, недоразумение-то вышло? Метил кому-нибудь по лбу, а угодил в лоб? — как бы между делом спросил дед.

Егор посмотрел на смекалистого старика.

— Да...— неопределенно сказал он.— Семерых в одном месте зарезали, а восьмого не углядели — ушел. Вот и попались...

Старуха выронила из рук полено и села на лавку.

Старик оказался умнее, не испугался.

— Семерых?

— Семерых. Напрочь: головы в мешок поклали и ушли.

— Свят-свят-свят...— закрестилась старуха.— Федя...

— Тихо! — скомандовал старик.— Один дурак городит чего не попадя, а другая... А ты, кобель, аккуратней с языком-то: тут пожилые люди.

— Так что же вы, пожилые люди, сами меня с ходу в разбойники записали? Вам говорят — бухгалтер, а вы, можно сказать, хихикаете. Ну — из тюрьмы... Что же, в тюрьме одни только убийцы сидят?

— Кто тебя в убийцы зачисляет! Но только ты тоже, того... что ты булгахтер, это ты тоже... не заливай тут. Булгахтер! Я булгахтеров-то видел-перевидел! Булгахтера тихие все, маленько вроде пришибленные. У булгахтера голос слабенький, очечки... и потом я заметил: они все курносые. Какой же ты булгахтер — об твой лоб-то можно поросят шестимесячных бить. Это ты Любке вон говори про булгахтера — она поверит. А я, как ты зашел, сразу определил: этот — или за драку, или машину лесу украл. Так?

— Тебе прямо оперуполномоченным работать, отец,— сказал Егор.— Цены бы не было. Колчаку не служил в молодые годы? В контрразведке белогвардейской?

Старик часто-часто заморгал. Тут он чего-то растерялся. А чего — он и сам не знал. Слова очень уж зловещие.

— Ты чего это? — спросил он.— Чего мелешь-то?

— А чего так сразу смутился? Я просто спрашиваю... Хорошо, другой вопрос: колоски в трудные годы не воровал с колхозных полей?

Старик, изумленный таким неожиданным оборотом, молчал. Он вовсе сбился с налаженного было снисходительного тона и не находил, что отвечать этому обормоту. Впрочем, Егор так и построил свой «допрос», чтобы сбивать и не давать опомниться. Он повидал в своей жизни мастеров этого дела.

— Затрудняетесь,— продолжал Егор.— Ну, хорошо... Ну, поставим вопрос несколько иначе, по-домашнему, что ли: на собраниях часто выступал?

— Ты чего тут Микитку-то из себя строишь? — спросил наконец старик. И готов был очень обозлиться. Готов был наговорить много и сердито но тут Егор пружинисто

снялся с места, надел форменную свою фуражку и заходил по комнате.

— Видите, как мы славно пристроились жить! — заговорил Егор, изредка остро взглядывая на сидящего старика.— Страна производит электричество, паровозы, миллионы тонн чугуна... Люди напрягают все силы. Люди буквально падают от напряжения, ликвидируют все остатки разгильдяйства и слабоумия, люди, можно сказать, заикаются от напряжения,— Егор наскочил на слово «напряжение» и с удовольствием смаковал его,— люди покрываются морщинами на Крайнем Севере и вынуждены вставлять себе золотые зубы... А в это самое время находятся другие лица, которые из всех достижений человечества облюбовали себе печку! Вот как! Славно, славно... Будем лучше чувал подпирать ногами, чем дружно напрягаться вместе со всеми...

— Да он с десяти годов работает! — встряла старуха.— Он с малолетства на пашне...

— Реплики потом,— резковато осадил ее Егор.— А то мы все добренькие, когда это не касается наших интересов, нашего, так сказать, кармана...

— Я — стахановец вечный! — чуть не закричал старик.— У меня восемнадцать похвальных грамот.

Егор остановился удивленный.

— Так чего же ты сидишь молчишь? — спросил он другим тоном.

— Молчишь... Ты же мне слова не даешь воткнуть!

— Где похвальные грамоты?

— Там,— сказала старуха, вконец сбитая с толку.

— Где «там»?

— Вон, в шкапчике... все прибраны.

— Им место не в шкапчике, а на стене! В «шкапчике». Привыкли все по шкапчикам прятать, понимаешь...

В это время вошла Люба.

— Ну, как вы тут? — спросила она весело. Она разрумянилась в бане, волосы выбились из-под платка... Такая она была хорошая! Егор невольно загляделся на нее.— Все тут у вас хорошо? Мирно?

— Ну и ухаря ты себе нашла! — с неподдельным восторгом сказал старик.— Ты гляди, как он тут попер!.. Чисто комиссар какой! — Старик засмеялся.

Старуха только головой покачала... И сердито поджала губы.

Так познакомился Егор с родителями Любы.

С братом ее, Петром, и его семьей знакомство произошло позже.

Петро въехал во двор на самосвале... Долго рычал самосвал, сотрясая стекла окошек. Наконец стал на место, мотор заглох, и Петро вылез из кабины. К нему подошла жена Зоя, продавщица сельпо, членораздельная бабочка, быстрая и суетливая.

— К Любке-то приехал... Этот-то, заочник-то,— сразу сообщила она.

— Да? — нехотя полюбопытствовал Петро, здоровый мужчина, угрюмоватый, весь в каких-то своих думах.— Ну и что? — Пнул баллон, другой.

— Говорит, был бухгалтером, ну, мол, ревизия,— то-се... А по роже видать: бандит.

— Да? — опять нехотя и лениво сказал Петро.— Ну и что?

— Да ничего. Надо осторожней первое время... Ты иди глянь на этого бухгалтера! Иди глянь! Нож воткнет и не задумается этот бухгалтер.

— Да? — Петро продолжал пинать баллоны.— Ну и что?

— Ты иди глянь на него! Иди глянь! Вот так нашла себе!.. Иди глянь на него — нам же под одной крышей жить теперь.

— Ну и что?

— Ничего! — завысила голос Зоя.— У нас дочь-школьница, вот что! Заладил свое: «Ну и что? ну и что?» Мы то и дело одни на ночь остаемся, вот что! «Ну и что». Чтокалка чертова, пень. Жену с дочерью зарежут, он шагу не прибавит...

Петро пошел в дом, вытирая на ходу руки ветошью. Насчет того, что он «шагу не прибавит» — это как-то на него похоже: на редкость спокойный мужик, медлительный, но весь налит свинцовой разящей силой. Сила эта чувствовалась в каждом движении Петра, в том, как он медленно ворочал головой и смотрел маленькими своими глазами — прямо и с каким-то стылым, немигающим бесстрашием:

— Вот счас с Петром вместе пойдете,— говорила Люба, собирая Егора в баню.— Чего же тебе переодеть-то дать? Как же ты так: едешь свататься, и даже лишней пары белья нету? Ну? Кто же так заявляется!

— На то она и тюрьма! — воскликнул старик.— А не курорт. С курорта и то, бывает, приезжают прозрачные.

Илюха вон Лопатин радикулит ездил лечить: корову целую ухнул, а приехал без копья.

— Ну-ка вот, мужнины бывшие... Нашла. Небось годится.— Люба извлекла из сундука длинную белую рубаху и кальсоны.

— То есть? — не понял Егор.

— Моего мужика бывшего...— Люба стояла с бельем в руках.— А чего?

— Да я что?! — обиделся Егор.— Совсем, что ли, подзаборник — чужое белье напялю. У меня есть деньги — надо сходить и купить в магазине.

— Где ты теперь купишь? Закрыто уж все. А чего тут такого? Оно стираное...

— Бери, чего? — сказал и старик.— Оно же чистое.

Егор подумал и взял.

— Опускаюсь все ниже и ниже,— проворчал он при этом.— Даже самому интересно... Я потом вам спою песню: «Во саду ли, в огороде».

— Иди, иди,— провожала его к выходу Люба.— Петро у нас не шибко ласковый, так что не удивляйся: он со всеми такой.

Петро уже раздевался в предбаннике, когда туда сунулся Егор.

— Бритых принимают? — постарался он заговорить как можно веселее, даже рот растянул в улыбке.

— Всяких принимают,— все тем же ровным голосом, каким он говорил «ну и что», сказал Петро.

— Будем знакомы — Георгий.— Егор протянул руку. И все улыбался и заглядывал в сумрачные глаза Петра. Все же хотелось ему освоиться среди этих людей, почему-то теперь хотелось. Люба, что ли?..— Я говорю: я — Георгий.

— Ну-ну,— сказал Петро.— Давай еще целоваться. Георгий, значит, Георгий. Значит, Жора...

— Джордж.— Егор остался с протянутой рукой. Перестал улыбаться.

— А? — не понял Петро.

— На! — с сердцем сказал Егор.— Курва, суюсь сегодня, как побирушка!..— Егор бросил белье на лавку.— Осталось только хвостом повилять. Что, я тебе дорогу перешел, что ты мне руку не соизволил подать? — Егор и

вправду заволновался и полез в карман за сигаретой. Закурил. Сел на лавочку. Руки у него чуть дрожали.

— Чего ты? — спросил Петро.— Расселся-то?

— Иди мойся,— сказал Егор.— Я потом. Я же из заключения... Мы после вас. Не беспокойтесь.

— Во!..— сказал Петро. И, не снимая трусов, вошел в баню. Слышно было, как он загремел там тазами, ковшом...

Егор прилег на широкую лавку, курил.

— Ну, надо же!..— сказал он.— Как бедный родственник, мля.

Открылась дверь бани, и из парного облака выглянул Петро.

— Чего ты? — спросил он.

— Чего?

— Чего лежишь-то?

— Я подкидыш.

— Во!..— сказал Петро. И усунулся опять в баню. Долго там наливал воду в тазы, двигал лавки... Не выдержал и опять открыл дверь.— Ты пойдешь или нет?! — спросил он.

— У меня справка об освобождении! — чуть не заорал ему в лицо Егор.— Я завтра пойду и получу такой же паспорт, как у тебя! Точно такой, за исключением маленькой пометки, которую никто не читает. Понял?

— Сейчас возьму и силком суну в тазик,— сказал Петро невыразительно.— И посажу на каменку. Без паспорта.— Петру самому понравилось, как он сострил. Еще добавил: — Со справкой.— И хохотнул коротко.

— Вот это уже другой разговор! — Егор сел на лавке. И стал раздеваться.— А то начинает тут... Диплом ему покажи.

А в это время мать Любина и Зоя, жена Петра, загнали в угол Любу и наперебой допрашивали ее.

— На кой ты его в чайную-то повела? — визгливо спрашивала членораздельная Зоя, женщина вполне истеричная.— Ведь вся уж деревня знает: к Любке тюремщик приехал! Мне на работе прямо сказали...

— Любка, Любка...— насилу дозвалась мать.— Ты скажи так: если ты, скажи, просто так приехал — жир накопить да потом опять зауситься по свету,— то, скажи, уезжай седни же, не позорь меня перед людями. Если, скажи, у тебя...

— Как это может так быть, чтобы у него семьи не

было? Как? Что он — парень семнадцати годов? Ты думаешь своей головой-то?

— Ты скажи так: если, скажи, у тебя чего худое на уме, то собирай манатки и...

— Ему собраться — только подпоясаться,— встрял в разговор молчавший до этого старик.— Чего вы навалились на девку? Чего счас с нее спрашивать? Тут уж — как выйдет, какой человек окажется. Как она за него может счас заручиться?

— Не пугайте вы меня, ради христа,— только и сказала Люба.— Я сама боюсь. Что, вы думаете, просто мне?

— Вот!.. Я тебе чего и говорю-то! — воскликнула Зоя.

— Ты вот чего... девка... Любка, слышь? — опять затормошила Любу мать.— Ты скажи так: вот чего, добрый человек, иди седни ночуй где-нибудь.

— Это где же? — обалдела Люба.

— В сельсовете...

— Тьфу! — разозлился старик.— Да вы что, совсем сдурели?! Гляди-ка: вызвали мужика да отправили его в сельсовет ночевать! Вот так да!.. Совсем уж нехристи какие-то.

— Пусть его завтра милиционер обследует,— не сдавалась мать.

— Чего его обследовать-то? Он весь налицо.

— Не знаю...— заговорила Люба.— А вот кажется мне, что он хороший человек. Я как-то по глазам вижу... Еще на карточке заметила: глаза какие-то... грустные. Вот хоть убейте вы меня — мне его жалко. Может, я и...

Тут из бани с диким ревом выскочил Петро и покатился с веником по сырой земле.

— Свари-ил! — кричал Петро.— Живьем сварил!..

Следом выскочил Егор с ковшом в руке.

К Петру уже бежали из дома. Старик бежал с топором.

— Убили! Убили! — заполошно кричала Зоя, жена Петра.— Люди добрые, убили!..

— Не ори,— страдальческим голосом попросил Петро, садясь и поглаживая ошпаренный бок.— Чего ты?

— Чего, Петька? — спросил запыхавшийся старик.

— Попросил этого полудурка плеснуть ковшик горячей воды — поддать на каменку, а он взял меня да окатил.

— А я еще удивился,— растерянно говорил Егор,— как же, думаю, он стерпит?.. Вода-то ведь горячая. Я еще

пальцем попробовал — прямо кипяток! Как же, думаю, он вытерпит? Ну, думаю, закаленный, наверно. Наверно, думаю, кожа, как у быка,— толстая. Я же не знал, что надо на каменку...

— «Пальцем попробовал»,— передразнил Петро.— Что, совсем уж? Ребенок, что ли, малый?

— Я же думал, тебе окупнуться надо...

— Да я еще не парился! — заорал спокойный Петро.— Я еще не мылся даже!.. Чего мне ополаскиваться-то?

— Жиром каким-нибудь надо смазать,— сказал отец, исследовав ожог.— Ничего тут страшного нету. Надо только жиру какого-нибудь... Ну-ка, кто?

— У меня сало баранье есть,— сказала Зоя. И побежала в дом.

— Ладно, расходитесь,— велел старик.— А то уж вон людишки сбегаются.

— Да как же это ты, Егор? — спросила Люба.

Егор поддернул трусы и опять стал оправдываться:

— Понимаешь, как вышло: он уже наподдавал — дышать нечем и просит: «Дай ковшик горячей». Ну, думаю, хочет мужик температурный баланс навести...

— «Бала-анс»,— опять передразнил его Петро.— Навел бы я те счас баланс — ковшом по лбу! Вот же полудурок-то — весь бок ошпарил. А если бы там живой кипяток был?

— Я же пальцем попробовал...

— «Пальцем»!.. Чем тебя только делали, такого.

— Ну, дай мне по лбу, правда,— взмолился Егор,— мне легче будет.— Он протянул Петру ковш.— Дай, умоляю...

— Петро...— заговорила Люба.— Он же нечаянно. Ну, что теперь?

— Да идите вы в дом, ей-богу! — рассердился на всех Петро.— Вон и правда люди собираться начали.

У изгороди Байкаловых действительно остановилось человек шесть-семь любопытных.

— Чё там у них? — спросил у стоявших вновь подошедший мужик.

— Петро ихний... Пьяный на каменку свалился,— пояснила какая-то старуха.

— Ох, ё! — сказал мужик.— Дак а живой ли?

— Живой... Вишь, сидит. Чухается.

— Вот заорал-то, наверно!

— Так заорал, так заорал!.. У меня ажник стекла задребезжали.
— Заорешь...
— Чё же задом, что ли, приспособился?
— Как же задом? Он же сидит.
— Да, сидит же... Боком, наверно, угодил. А эт кто же у их? Что за мужик-то?
— Это ж надо так пить! — удивлялась старушка.

Засиделись далеко за полночь.
Старые люди, слегка захмелев, заговорили и заспорили о каких-то своих делах. Их, старых, набралось за столом изрядно, человек двенадцать. Говорили, перебивая друг друга, а то и сразу по двое, по трое.
— Ты кого говоришь-то? Кого говоришь-то? Она замуж-то вон куда выходила — в Краюшкино, ну!
— Правильно. За этого, как его? За этого...
— За Митьку Хромова она выходила!
— Ну, за Митьку.
— А Хромовых раскулачили...
— Кого раскулачили? Громовых? Здорово живешь!..
— Да не Громовых, а Хромовых!
— А-а. А то я слушаю — Громовых. Мы с Михайлой-то Громовым шишковать в чернь ездили.
— А когда, значит, самого-то Хромова раскулачили...
— Правильно, он маслобойку держал.
— Кто маслобойку держал? Хромов? Это маслобойку-то Воиновы держали, ты чё! А Хромов, сам-то, гурты вон перегонял из Монголии. Шерстобитку они держали, верно, а маслобойку Воиновы держали. Их тоже раскулачили. А самого Хромова прямо от гурта взяли... Я ишо помню: амбар у их стали ломать — пимы искали, они пимы катали, вся деревня, помню, сбежалась глядеть.
— Нашли?
— Девять пар.
— Дак а Митьку-то не тронули?
— А Митька-то успел уже, отделился. Вот как раз на Кланьке-то женился, его отец и отделил. Их не тронули. Но все равно, когда отца увезли, Митька сам уехал из Краюшкина: чижало ему показалось после этого жить там.
— Погоди-ка, а кто же тада у их в Карасук выходил?
— Это Манька! Манька-то тоже ишо живая, в городе

у дочери живет. Да тоже плохо живет! Этто как-то стрела ее на базаре: жалеет, что дом продала в деревне. Пока, говорит, ребятишки, внучатки-то, маленькие были, говорит, нужна была, а ребятишки выросли — в тягость стала.

— Оно так,— сказали враз несколько старух.— Пока водисся — нужна, как маленькие ребятишки подросли — не нужна.

— Ишо какой зять попадет. Попадет обмылок какой-нибудь — он тебе...

— Какие они нынче, зятья-то! Известное дело...

Несколько в сторонке от пожилых сидели Егор с Любой. Люба показывала семейный альбом с фотографиями, который сама она собрала и бережно хранила.

— А это Михаил,— показывала Люба братьев.— А это Павел и Ваня... вместе... Они сперва вместе воевали, потом Пашу ранило, но он поправился и опять пошел. И тогда уж его убило. А Ваню последним убило, в Берлине. Нам командир письмо прислал... Мне Ваню больше всех жалко, он такой веселый был. Везде меня с собой таскал, я маленькая была. А помню его хорошо... Во сне вижу — смеется. Вишь, и здесь смеется. А вот Петро наш... Во, строгий какой, а самому всего только... сколько же? Восемнадцать ему было? Да, восемнадцать. Он в плен попадал, потом наши освободили их. Его там избили сильно... А больше нигде даже не царапнуло.

Егор поднял голову, посмотрел на Петра... Петро сидел один, курил. Выпитое на нем не отразилось никак, он сидел, как всегда, задумчивый и спокойный.

— Зато я его сегодня... ополоснул. Как черт под руку подтолкнул.

Люба склонилась ближе к Егору и спросила негромко и хитро:

— А ты не нарочно его? Прямо не верится, что ты...

— Да ты что! — искренне воскликнул Егор.— Я, правда, думал — он на себя просит, как говорится: вызываю огонь на себя.

— Да ты же из деревни, говоришь, как же ты так подумал?

— Ну... везде свои обычаи.

— А я уж, грешным делом, решила: сказал ему чего-нибудь Петро не так, тот прикинулся дурачком да и плесканул.

— Ну!.. Что ж я?..

Петро, почувствовав, что на него смотрят и говорят о нем, посмотрел в их сторону... Встретились взглядом с Егором. Петро по-доброму усмехнулся.

— Что, Жоржик, сварил было?

— Ты прости, Петро.

— Да будет! Заведи-ка еще разок свою музыку, хорошая музыка.

Егор включил магнитофон. И грянул тот самый марш, под который Егор входил в «малину». Жизнерадостный марш, жизнеутверждающий. Он странно звучал здесь, в крестьянской избе,— каким-то нездешним ярким движением вломился в мирную беседу. Но движение есть движение: постепенно разговор за столом стих. И все сидели и слушали марш-движение.

А ночью было тихо-тихо. Светила в окна луна.

Егору постелили в одной комнате со стариками, за цветастой занавеской, которую насквозь всю прошивал лунный свет.

Люба спала в горнице. Дверь в горницу была открыта. Там тоже было тихо.

Егору не спалось. Эта тишина бесила.

Он приподнял голову, прислушался... Тихо. Только старик похрапывает да тикают ходики.

Егор ужом выскользнул из-под одеяла и, ослепительно белый, в кальсонах и длинной рубахе, неслышно прокрался в горницу. Ничто не стукнуло, не скрипнуло... Только хрустнула какая-то косточка в ноге Егора, в лапе где-то.

Он дошел уже до двери горницы. И ступил уже шаг-другой по горнице, когда в тишине прозвучал отчетливый, совсем не сонный голос Любы:

— Ну-ка, марш на место!

Егор остановился. Малость помолчал...

— А в чем дело-то? — спросил он обиженно, шепотом.

— Ни в чем. Иди спать.

— Мне не спится.

— Ну, так лежи... думай о будущем.

— Но я хотел поговорить! — стал злиться Егор.— Хотел задать пару вопросов.

— Завтра поговорим. Какие вопросы ночью?

— Один вопрос! — Вконец обозлился Егор.— Больше не задам...

— Любка, возьми чего-нибудь... Возьми сковородник,— раздался вдруг голос старухи сзади, тоже никакой не заспанный.

— У меня пестик под подушкой,— сказала Люба.

Егор пошел на место.

— Поше-ел... На цыпочках. Котяра,— сказала еще старуха.— Думает, его не слышут. Я все слышу. И вижу.

— Фраер!..— злился шепотом Егор за цветастой занавеской.— Отдохнуть душой!.. Телом!.. Фраер со справкой!

Он полежал тихо... Перевернулся на другой бок.

— Луна еще, сука!.. Как сдурела.— Он опять перевернулся.— Круговую оборону заняли, понял! Кого охранять, спрашивается?

— Не ворчи, не ворчи там,— миролюбиво уже сказала старуха.— Разворчался.

И вдруг Егор громко, отчетливо, остервенело процитировал:

— Ее нижняя юбка была в широкую красную и синюю полоску и казалась сделанной из театрального занавеса. Я бы много дал, чтобы занять первое место, но спектакль не состоялся.— Пауза. И потом в тишину из-за занавески полетело еще — последнее, ученое: — Лихтенберг! Афоризмы!

Старик перестал храпеть и спросил встревоженно:

— Кто? Чего вы?

— Да вон... ругается лежит,— сказала старуха недовольно.— Первое место не занял, вишь.

— Это не я ругаюсь,— пояснил Егор.— А Лихтенберг.

— Я вот поругаюсь,— проворчал старик.— Чего ты там?

— Это не я! — раздраженно воскликнул Егор.— Так сказал Лихтенберг. И он вовсе не ругается, он острит.

— Тоже, наверно, булгахтер? — спросил старик не без издевки.

— Француз,— откликнулся Егор.

— А?

— Француз!

— Спите! — сердито сказала старуха.— Разговорились.

Стало тихо. Только тикали ходики.

И пялилась в окошко луна.

Наутро, когда отзавтракали, и Люба с Егором остались одни за столом, Егор сказал:

— Так, Любовь... еду в город заниматься эки... ров... экипировкой. Оденусь.

Люба спокойно, чуть усмешливо, но с едва уловимой грустью смотрела на него. Молчала, как будто понимала нечто большее, чем то, что ей сказал Егор.

— Ехай,— сказала она тихо.

— А чего ты так смотришь? — Егор и сам засмотрелся на нее, на утреннюю, хорошую. И почувствовал тревогу от возможной разлуки с ней. И ему тоже стало грустно, но он грустить не умел — он нервничал.

— Как?

— Не веришь мне?

Люба долго опять молчала.

— Делай, как тебе душа велит, Егор. Что ты спрашиваешь — верю, не верю?.. Верю я или не верю — тебя же это не остановит.

Егор нагнул свою стриженую голову.

— Я бы хотел не врать, Люба,— заговорил он решительно.— Мне всю жизнь противно врать... Я вру, конечно, но от этого... только тяжелей жить. Я вру и презираю себя. И охота уж добить свою жизнь совсем, вдребезги. Только бы веселей и, желательно, с водкой. Поэтому сейчас я не буду врать: я не знаю. Может, вернусь. Может, нет.

— Спасибо за правду, Егор.

— Ты хорошая,— вырвалось у Егора. И он засуетился, хуже того, занервничал.— Повело!.. Сколько ж я раз говорил это слово. Я же его замусолил. Ничего же слова не стоят! Что за люди!.. Дай, я сделаю так.— Егор положил свою руку на руку Любы.— Останусь один и спрошу свою душу. Мне надо, Люба.

— Делай, как нужно. Я тебе ничего не говорю. Уйдешь, мне будет жалко. Жалко-жалко! Я, наверно, заплачу...— У Любы и теперь на глазах выступили слезы.— Но худого слова не скажу.

Егору вовсе стало невмоготу: он не переносил слез.

— Так... Все, Любовь. Больше не могу — тяжело. Прошу пардона.

И вот шагает он раздольным молодым полем... Поле непаханое, и на нем только-только проклюнулась первая остренькая травка. Егор шагает шибко. Решительно. Уп-

рямо. Так он и по жизни своей шагал, как по этому полю — решительно и упрямо. Падал, поднимался и опять шел. Шел — как будто в этом одном все искупление, чтобы идти и идти, не останавливаясь, не оглядываясь, как будто так можно уйти от себя самого.

И вдруг за ним — невесть откуда, один за одним — стали появляться люди. Появляются и идут за ним, едва поспевают. Это все его дружки, подружки, потертые, помятые, с бессовестным откровением в глазах. Все молчат. Молчит и Егор — шагает. А за ним толпа все прибывает... И долго шли так. Потом Егор вдруг резко остановился и, не оглядываясь, с силой отмахнулся от всех и сказал зло, сквозь зубы:

— Ну, будет уж! Будет!

Оглянулся. Ему навстречу шагает один только Губошлеп. Идет и улыбается. И держит руку в кармане. Егор стиснул крепче зубы и тоже сунул руки в карманы... И Губошлеп пропал.

...А стоял Егор на дороге и поджидал: не поедет ли автобус или какая-нибудь попутная машина — до города.

Одна грузовая показалась вдали.

Работалось и не работалось Любе в тот день... Перемогалась душой. Призналась нежданно подруге своей, когда отдоились, молоко увезли и они выходили со скотного двора:

— Гляди-ка, Верка, присохла ведь я к мужику-то.— Сказала и сама подивилась.— Ну, надо же! Болит и болит душа — весь день.

— Так а совсем уехал-то? Чего сказал-то?

— Сам, говорит, не знаю.

— Да пошли ты его к черту! Плюнь. Ка-кой! «Сам не знаю». У него жена где-нибудь есть. Что говорит-то?

— Не знаю. Никого, говорит, нету.

— Врет! Любка, не дури: прими опять Кольку, да живите. Все они пьют нынче! Кто не пьет-то? Мой вон позавчера пришел... Ну, паразит!..— И Верка, коротконогая живая бабочка, по секрету негромко рассказала: — Пришел, кэ-эк я его скалкой огрела! Даже сама напугалась. А утром встал — голова, говорит, болит, ударился где-то. Я ему: пить надо меньше.— И Верка мелко-мелко засмеялась.

— И когда успела-то? — удивилась опять Люба своим мыслям.

— А? — не поняла Верка.

— Да когда, говорю, успела-то? Видела-то... всего сутки. Как же так? Неужели так бывает?

— Он за что сидел-то?

— За кражу...— и Люба беспомощно посмотрела на подругу.

— Шило на мыло,— сказала та.— Пьяницу на вора... Ну и судьбина тебе выпала! Живи одна, Любка. Может, потом путный какой подвернется. А ну-ка да его опять воровать потянет? Что тогда?

— Что тогда? Посадют.

— Ну, язви тебя-то! Ты что, полоумная, что ли?

— А я сама не знаю, чего я. Как сдурела. Самой противно. Вот болит и болит душа, как, скажи, век я его знала. А знала — сутки. Правда, он целый год письма слал...

— Да им там делать-то нечего, они и пишут.

— Но ты бы знала, какие письма!..

— Про любовь?

— Да нет... Все про жизнь. Он, правда, наверно, повидал много, черт стриженый. Так напишет — прямо сердце заболит, читаешь. И я уж не знаю: то ли я его люблю, то ли мне его жалко. А вот болит душа — и все.

А Егор в это самое время делал свои дела в райгороде.

Перво-наперво он шикарно оделся.

Шел по улице небольшого деревянного городка, по деревянному тротуару, в новеньком костюме, при галстуке, в шляпе, руки в карманах.

Зашел на почту. Написал на телеграфном бланке адрес, сумму прописью и несколько слов привета. Подал бланк, облокотился возле окошечка и стал считать деньги.

— «Деньги передать Губошлепу»,— прочитала девушка в окошечке.— Губошлеп — это фамилия, что ли?

Егор секунду-две думал. И сказал:

— Совершенно верно, фамилия.

— А чего же вы пишете с маленькой буквы? Ну и фамилия!..

— Бывают похуже,— сказал Егор.— У нас в тресте один был — Пистонов.

Девушка подняла голову. Она была очень миленькая девушка, глазастенькая, с коротким тупым носиком.

— Ну и что?

— Ничего. Фамилия, мол, Пистонов.— Егор был серьезен. Он помнил, что он в шляпе.

— Ну, и... нормальная фамилия.

— Вообще-то, нормальная,— согласился Егор. И вдруг забыл, что он в шляпе, улыбнулся. И обеспокоился.— Скажите, пожалуйста,— сунулся он в окошечко,— вот я приехал с золотых приисков, а у меня совершенно тут никаких знакомых...

— Ну и что? — не поняла девушка.

— У вас есть молодой человек? — прямо спросил Егор.

— А вам что? — Тупоносенькая вроде не очень удивилась, а даже оставила работу и смотрела на Егора.

— Я в том смысле, что не могли бы мы вместе совершить какое-нибудь уникальное турне по городу?

— Гражданин!..— строго повысила голос девушка.— Вы не хамите тут! Вы деньги переводите? Вот и переводите.

Егор вылез из окошечка. Он обиделся. Зачем же надо было оставлять работу и смотреть ласково? Егор так только и понимал теперь: девушка, прежде чем зарычать, смотрела на него ласково. К чему, спрашивается, эти разные штучки-дрючки?

— И сразу на арапа берут! — негромко возмущался он.— «Гражданин!..» Как я вам гражданин? Я вам — товарищ и даже друг и брат.

Девушка опять подняла на него большие серые глаза.

— Работайте, работайте,— сказал Егор.— А то только глазками стрелять туда-сюда!

Девушка хмыкнула и склонилась к бланку.

— Шляпу, главное, надел,— не удержалась и сказала она, не глядя на Егора.

И квиточек отдала тоже не глядя: положила на стойку и занялась другим делом. И попробуй отвлеки ее от этого дела.

— Шалашовка,— ругался Егор, выходя с почты.— Вы у меня танец маленьких лебедей будете исполнять. Краковяк!..— Он зашагал к вокзальному ресторану.— Польку-бабочку! — Егор накалял себя. В глазах появился тот беспокойный блеск, который свидетельствовал, что душа его тронулась и больно толкается в груди. Он прибавил шагу.— Нет, как вам это нравится! Марионетки. Красные шапочки... Я вам устрою тут фигурные катания! Я наэлек-

тризую здесь атмосферу и поселю бардак.— Дальше он и вовсе бессмысленно бормотал, что влетит в голову: — Тарьям-па-пам, тарьям-папам!.. Тарьям-папам-папам...

В ресторане он заказал бутылку шампанского и подал юркому человеку, официанту, бумажку в двадцать пять рублей и сказал:

— Спасибо. Сдачи не нужно.

Официант даже растерялся...

— Очень благодарен, очень благодарен...

— Ерунда,— сказал Егор. И показал рукой, чтоб официант присел на минуточку. Официант присел на стул рядом.— Я приехал с золотых приисков,— продолжал Егор, изучая податливого человечка,— и хотел вас спросить: не могли бы мы здесь где-нибудь организовать маленький бардак?

Официант машинально оглянулся...

— Ну, я грубо выразился... Я волнуюсь, потому что мне деньги жгут ляжку.— Егор вынул из кармана довольно толстую пачку десятирублевок и двадцатипятирублевок.— А? Их же надо пристроить. Как вас зовут, простите?

Официант при виде этой пачки очень обеспокоился, но изо всех сил старался хранить достоинство. Он знал: людям достойным платят больше.

— Сергей Михайлович.

— А? Михайлович... Нужен праздник. Я долго был на Севере...

— Я, кажется, придумал,— сказал Михайлыч, изобразив сперва, что он внимательно подумал.— Вы где остановились?

— Нигде. Я только приехал.

— По всей вероятности, можно будет сообразить... Что-нибудь знаете, вроде такого пикничка — в честь прибытия, так сказать.

— Да-да-да,— заволновался Егор.— Такой небольшой бардак. Аккуратненький такой бардельеро... Забег в ширину. Да, Михайлыч? Вы мне что-то с первого взгляда понравились! Я подумал: вот с кем я взлохмачу мои деньги!

Михайлыч искренне посмеялся.

— А? — спросил Егор.— Чего смеешься?

— О'кей,— весело сказал Михайлыч.— Ми фас понъяль.

Поздно вечером Егор полулежал на плюшевом диване и разговаривал по телефону с Любой. В комнате был еще Михайлыч и заходила и что-то тихонько спрашивала Михайлыча востроносая женщина с бородавкой на виске.

— Але-е! Любаша!..— кричал Егор.— Я говорю: я в военкомате! Никак не могу на учет стать! Поздно?.. А здесь допоздна. Да, да.— Егор кивнул Михайлычу.— Да, Любаша!

Михайлыч приоткрыл дверь комнаты, громко хлопнул и громко прошел мимо Егора. И когда был рядом, громко крикнул:

— Товарищ капитан! Можно вас на минуточку?

Егор кивнул ему головой, мол, хорошо, и продолжал разговаривать. А Михайлыч в это время беззвучно показушно хохотал.

— Любаша, ну что же я могу сделать? Придется даже ночевать, наверно. Да, да...— Егор долго слушал и «дакал». И улыбался, и смотрел на фальшивого Михайлыча счастливо и гордо. Даже прикрыл трубку ладошкой и сообщил: — Беспокоюсь, говорит. И жду.

— Жди-жди, дол...— подхватил было угодливый Михайлыч, но Егор взглядом остановил его.

— Да, Любушка!.. Говори, говори: мне нравится слушать твой голосок. Я даже волнуюсь!..

— Ну, дает!..— прошептал в притворном восхищении Михайлыч.— Волнуюсь, говорит...— И опять засмеялся. Бессовестно он как-то смеялся: сипел, оскалив фиксатые зубы. Егор посулил хорошо заплатить за праздник, поэтому он старался.

— Ночую-то? А вот тут где-нибудь, на диванчике... Да ничего! Ничего, мне не привыкать. Ты за это не беспокойся! Да, дорогуша ты моя!.. Малышкина ты моя милая!..— У Егора это вырвалось так искренне, так душевно, что Михайлыч даже перестал изображать смех.— До свидания, дорогая моя! До свидания, целую тебя... Да я понимаю, понимаю. До свидания.

Егор положил трубку и некоторое время странно смотрел на Михайлыча — смотрел и не видел его. И в эту минуту как будто чья-то ласковая незримая ладонь гладила его по лицу, и лицо Егора потихоньку утрачивало обычную свою жестокость, строптивость.

— Да...— сказал Егор, очнувшись.— Ну что, трактирная душа? Займемся развратом. Как там?

— Все готово.

— Халат нашли?

— Нашли какой-то... Пришлось к одному старому артисту поехать. Нет ни у кого!

— А ну? — Егор надел длинный халат, стеганый, местами вытертый. Огляделся.

— Больше нигде нету,— оправдывался Михайлыч.

— Хороший халат,— похвалил Егор.— Н-ну... как я велел?

Михайлыч вышел из комнаты.

Егор прилег с сигаретой на диван.

Михайлыч вошел и доложил:

— Народ для разврата собрался!

— Давай,— кивнул Егор.

Михайлыч распахнул дверь... И Егор в халате, чуть склонив голову, стремительно, как Калигула, пошел развратничать.

«Развратничать» собрались диковинные люди: больше пожилые. Были и женщины, но какие-то все на редкость некрасивые, несчастные. Все сидели за богато убранным столом и с недоумением смотрели на Егора. Егор заметно оторопел, но вида не подал.

— Чего взгрустнули?! — весело и громко сказал Егор. И прошел во главу стола. Остановился и внимательно оглядел всех.

— Да,— не удержался он.— Сегодня мы оторвем от хвоста грудинку. Ну!.. Налили.

— Мил человек,— обратился к нему один из гостей, пожилой, старик почти,— ты объясни нам: чего это мы празднỏваем-то? Случай какой... или чего?

Егор некоторое время думал.

— Мы собрались здесь,— негромко, раздумчиво, как на похоронах, начал Егор, глядя на бутылки шампанского,— чтобы...— Вдруг он поднял голову и еще раз оглядел всех. И лицо его опять разгладилось от жесткости и напряжения.— Братья и сестры,— проникновенно сказал он,— у меня только что от нежности содрогнулась душа. Я понимаю, вам до фени мои красивые слова, но дайте все же я их скажу.— Егор говорил серьезно, напористо, даже торжественно. Он даже немного прошелся, сколь позволило место, и опять оглядел всех.— Весна...— продолжал он.— Скоро зацветут цветочки. Березы станут зеленые...— Егор чего-то вовсе заволновался и замолчал.

Он все еще слышал родной голос Любы, и это пугало и сбивало.

— Троица скоро, чего же,— сказал кто-то за столом.

— Можно идти и идти,— продолжал Егор.— Будет полянка, потом лесок, потом в ложок спустился — там ручеек журчит... Я непонятно говорю? Да потому что я, как фраер, говорю и стыжусь своих слов! — Егор всерьез на себя рассердился. И стал валить напропалую — зло и громко, как если бы перед ним стояла толпа несогласных.— Вот вы все меня приняли за дурака — взял триста рублей и ни за что выбросил. Но если я сегодня люблю всех подряд. Я сегодня нежный, как самая последняя... как корова, когда она отелится. Пусть пикничка не вышло — не надо! Даже лучше. Но поймите, что я не глупый, не дурак. И если кто подумает, что мне можно наступить на мозоль, потому что я нежный,— я тем не менее не позволю. Люди!.. Давайте любить друг друга! — Егор почти закричал это. И сильно стукнул себя в грудь.— Ну чего мы шуршим, как пауки в банке? Ведь вы же знаете, как легко помирают?! Я не понимаю вас...— Егор прошелся по-за столом.— Не понимаю! Отказываюсь понимать! И себя тоже не понимаю, потому что каждую ночь вижу во сне ларьки и чемоданы. Все! Идите, воруйте сами... Я сяду на пенек и буду сидеть тридцать лет и три года. Я шучу. Мне жалко вас. И себя тоже жалко. Но если меня кто-нибудь другой пожалеет или сдуру полюбит, я... не знаю, мне будет тяжело и грустно. Мне хорошо, даже сердце болит — но страшно. Мне страшно! Вот штука-то...— неожиданно тихо и доверчиво закончил Егор. Помолчал, опустив голову, потом добро посмотрел на всех и велел: — Взяли в руки по бутылке шампанского... взяли, взяли! Взяли? Откручивайте, там проволочки такие есть,— стреляйте!

Все задвигались, заговорили... Под шум и одобрение захлопали бутылки.

— Наливайте быстрей, пока градус не вышел! — распоряжался Егор.

— А-а, правда,— выходит! Давай стакан!.. Подай-ка стакан, кум! Скорей!

— Эх, язви тебя!.. Пролил маленько.

— Пролил?

— Пролил. Жалко — добро такое.

— Да, штука веселая. Гли-ка, прямо кипит, кипит! Как набродило. Видно, долго выдерживают.

— Да уж конечно! Тут уж, конечно, стараются...
— Ух, а шипит-то!..
— Милые мои! — с искренней нежностью и жалостью сказал Егор.— Я рад, что вы задвигались и заулыбались. Что одобряете мое шампанское. Я все больше и больше люблю вас!
На Егора стеснялись открыто смотреть — такую он порол чушь и бестолочь. Затихали, пока он говорил, смотрели на свои стаканы и фужеры.
— Выпили! — сказал Егор.
Выпили.
— С ходу — еще раз! Давай!
Опять задвигались и зашумели. Диковинный случился праздник — дармовой.
— Ух ты, все шипит и шипит!
— Но счас уже поменьше. Уже сила ушла.
— Но вкус какой-то... Не пойму.
— Да, какой-то неопределенный.
— А?
— На вид — вроде конской мочи, а вкус какой-то... неясный.
— А чего-то оно в горле останавливается... Ни у кого не останавливается?
— Да, распирает как-то.
— Ага! И в нос бьет! Пей — хорошо!
— А вот градус-то и распирает.
— Да какой тут к черту градус — квас! Это газ выходит, а не градус.
— Так, отставили шампанское! — велел Егор.— Взяли в руки коньяк.
— А мы куда торопимся-то?
— Я хочу, чтобы мы песню спели.
— Э-э, что мы сумеем!
— Взяли коньяк!
Взяли коньяк. Тут уж — что велят, то и делай.
— Налили по полстакана. Коньяк помногу сразу не пьют. И если сейчас кто-нибудь заявит, что пахнет клопами,— дам бутылкой по голове. Выпили!
Выпили.
— Песню! — велел Егор.
— Мы же не закусили еще...
— Начинается...— обиженно сказал Егор и сел.— Ну, ешьте, ешьте, все наесться никак не могут. Все бы ели, ели!..

Некоторые — совестливые — отложили вилки, смотрели с недоумением на Егора.

— Да ешьте, ешьте! Чего вы?..

— Ты бы и сам поел тоже, а то захмелеешь.

— Не захмелею. Ешьте.

— Ну, язви тебя-то! — громко взмутился один лысый мужик.— Что же ты, пригласил, а теперь попрекаешь? Я, например, не могу без закуски, я моментально под стол полезу. Мне же неинтересно так. И никому неинтересно, я думаю.

— Ну и ешьте!

А в это время в деревне мать с отцом допрашивали Любу. Ее, бедную, все допрашивали и допрашивали.

— Ну, а чего же, военкомат на ночь-то не запирается, что ли? — хотела понять старуха.

Люба и сама терялась в догадках. И верилось ей, и не верилось с этим военкоматом. Но ведь она же сама говорила с Егором, сама слышала его голос, и какие он слова говорил... Она и теперь еще все разговаривала с ним мысленно. «Ну, Егор, с тобой не соскучишься. Что же у тебя на уме, парень?»

— Любк?

— Ну?

— Какой же военкомат. Все на ночь запирается, ты чё!

— Нет, наверно, раз он говорит, что ночует там...

— Да он говорит, только развесь уши.

— Я думаю так,— решил старик,— ему сказали: явиться завтра к восьми часам. Точь-в-точь — там люди военные. И он подумал, что лучше уж заночевать, чем завтра утром опять переться туда.

— Да он же и говорит! — обрадовалась Люба.— Ночую, говорит, здесь на диване...

— Да все учериждения на ночь запираются! — стояла на своем старуха.— Вы чё? Как это его там одного на ночь оставют? А он возьмет да печать украдет...

— Ну, мама!..

И старик тоже скосоротился на такую глупость.

— На кой она ему черт нужна, печать?

— Да я к слову говорю! Сразу «мама!» Слова не дадут сказать.

Егор налаживал хор из «развратников».

— Мы с тобой будем заводить,— тормошил он лысого мужика,— а вы, как я махну, будете петь «бом-бом». Пошли:

Вечерний зво-он,
Вечерний зво-о-он...

Егор махнул, но группа «бом-бом» не поняла.

— Ну, чего вы?! Я же сказал: как махну, так «бом-бом».

— Дак ты махнул, а сам поёшь...

— Наступай! Я от того и завыл, что вроде слышу, как на колокольне бьют. Тоска меня берет по родине... И я запел потихоньку. А вы свое «бом-м, бом-м». Вы и знать не знаете, как я здесь тоскую,— это не ваше дело.

— Вроде в тюрьме человек сидит — тоскует,— подсказал Михайлыч.— Или в плену где-нибудь.

— В плену какие церкви? — возразили на это.

— Как же? У них же там тоже церкви есть. Не такие, конечно, но все одно — церква, с колоколом. Верно же, Георгий?

— Да пошли вы!.. Только болтать умеете,— вконец рассердился Егор.— Во-от начнут говорить! И говорят, и говорят... Чего вы так слова любите? Что за понос такой словесный?!

— Ну, давай. Ты не расстраивайся.

— Да как же не расстраиваться? Говоришь вам, а вы... Ну, пошли:

Вечерний зво-он,
Вечерний зво-о-он...

— Б-м, бо-ом, бо-о-ом...— вразнобой «забили на колокольне», все спутали и погубили.

Егор махнул рукой и ушел в другую комнату. На пороге остановился и сказал безнадежно:

— Валяйте любую. Не обижайтесь, но я больше не могу с вами. Гуляйте. Можете свой родной «камыш» затянуть.

Группа «бом-бом», да и все, кто тут был, растерянно помолчали... Но вина и всевозможной редкой закуски за столом было много, поэтому хоть и погоревали, но так, больше для очистки совести.

— Чего он?

— А вы уж тоже — «бом-бом» не могли спеть! — упрекнул всех Михайлыч.— Чего там петь-то!

— Да, разнобой вышел...

— Это Кирилл вон... Куда зачастил?

— Кто зачастил? — оскорбился Кирилл.— Я пел нормально — как вроде в колокол бьют. Я же понимаю, что там не надо частить. Колокол, его еще раскачать надо.

— А кто зачастил?

— Да ладно, чего теперь? Давайте, правда,— он же велел гулять.

— Оно, конечно, того... вроде не заслужили, но с другой стороны, а если я не пою? Какого я хрена буду рот разевать, если у меня сроду голоса не было?

Егор, недовольный, полулежал на диване, когда вошел Михайлыч.

— Георгий, ты уж прости — не вышло у нас... с колоколами-то.

Егор помолчал... И капризно спросил:

— А почему они все такие некрасивые?

Михайлыч даже растерялся.

— Дак... это... Георгий, красивые-то все — семейные, замужем. А я одиноких собрал, ты же сам велел.

Егор еще некоторое время сидел. И лицо его стало опять светлеть. Похоже, встрепенулась, вспомнилась в душе его какая-то радость.

— Ты можешь такси вызвать?

— Могу.

— До Ясного. Я заплачу, сколько он хочет. Звони! — Егор встал, сбросил халат, надел пиджак и поправил галстук.

— А зачем в Ясное-то?

— У меня там друг.— И опять стал взволнованно ходить.— Душа у меня... наскипидаренная какая-то, Михайлыч. Заведет она меня куда-нибудь. Как волю почует, так места себе не могу найти. Звони, звони! Сколько ты собрал людей?

— Пятнадцать. С нами — семнадцать. А что?

— Вот тебе две сотни. Всем дать по червонцу, себе остальное. Не обмани! Я заеду, узнаю.

— Да что ты, Георгий!..

И вот Егор летел светлой лунной ночью по доброму большаку — в село, к Любе.

«Ну, что это, что это? — пытал себя Егор.— Что

это я?» Беспокойство и волнение овладели им. Он уже забыл, когда он так волновался из-за юбки.

— Ну, как там... насчет семейной жизни? — спросил он таксиста.— Что пишут новенького?

— Где пишут? — не понял тот.

— Да вообще — в книгах...

— В книгах-то понапишут,— недовольно сказал таксист.— В книгах все хорошо.

— А в жизни?

— А в жизни... Что, сам не знаешь, как в жизни?

— Плохо, да?

— Кому как.

— Ну, тебе, например?

Таксист пожал плечами — очень похоже, как тот парень, который продал Егору магнитофон.

— Да что вы все какие-то!.. Ну, братцы, не понимаю вас. Чего вы такие кислые-то все? — изумился Егор.

— А чего мне тут — хихикать с тобой? Ублажать, что ли, тебя?

— Да где уж ублажать! Ублажать — это ты свою бабу ублажай. И то ведь — суметь еще надо. А то полезешь к ней, а она скажет: «Отойди, от тебя козлом пахнет».

Таксист засмеялся.

— Что, тебе говорили так?

— Нет, я сам не люблю, когда козлом пахнет. Давай-ка маленько опустим стекло.

Таксист глянул на Егора, но смолчал.

А Егор опять вернулся к своим мыслям, которые он никак не мог собрать воедино,— все в голове спуталось из-за этой Любы.

Подъехали к большому темному дому. Егор отпустил машину. И вдруг оробел. Стоял с бутылками коньяка у ворот и не знал, что делать. Обошел дом, зашел в другие ворота — в ограду Петра, поднялся на крыльцо, постучал ногой в дверь. Долго было тихо, потом скрипнула избяная дверь, легко — босиком — прошли по сеням, и голос Петра спросил:

— Кто там?

— Я, Петро. Георгий, Жоржик...

Дверь открылась.

— Ты чего? — удивился Петро.— Выгнали, что ли?

— Да нет .. Не хочу будить. Ты когда-нибудь «Рэми-Мартин» пил?

Петро долго молчал, всматривался в лицо Егора.

— Чего?

— «Рэми-Мартин». Двадцать рублей бутылка. Пойдем врежем в бане?

— Пошто в бане-то?

— Чтоб не мешать никому.

— Да пойдем на кухне сядем...

— Не надо! Не буди никого.

— Ну, дай я хоть обуюсь... Да закусить вынесу чего-нибудь.

— Не надо! У меня полные карманы шоколада, я весь уже провонял им, как студентка.

В бане, в тесном черном мире, лежало на полу — от окошечка — пятно света. Зажгли еще фонарь, сели к окошечку.

— Чего домой-то не пошел? — не понимал Петро.

— Не знаю. Видишь, Петро...— заговорил было Егор, но и замолк. Открыл бутылку, поставил на подоконник.— Видишь — коньяк. Двадцать рублей, гад! Это ж надо!

Петро достал из кармана старых галифе два стакана. Помолчали.

— Не знаю я, что говорить, Петро. Сам не все понимаю.

— Ну, не говори. Наливай своего дорогого... Я в войну пил тоже какой-то. В Германии. Клопами пахнет.

— Да не пахнет он клопами! — воскликнул Егор.— Это клопы коньяком пахнут. Откуда взяли, что он клопами-то пахнет?

— Дорогой, может, и не пахнет. А такой... нормальный, пахнет.

Ночь истекала. А луна все сияла. Вся деревня была залита бледным, зеленовато-мертвым светом. И тихо-тихо. Ни собака нигде не залает, ни ворота не скрипнут. Такая тишина в деревне бывает перед рассветом. Или в степи еще — тоже перед рассветом, когда в низинках незримо скапливается туман и сырость. Зябко и тихо.

И вдруг в тишине этой из бани донеслось:

— Сижу за решеткой в темнице сырой...—

завел первым Егор. Петро поддержал. И так неожиданно красиво у них вышло, так — до слез — складно и грустно:

Вскормленный в неволе орел молодо-ой,
Мой грустны-ый товарищ, махая крыло-ом,
Кровавую пищу клюет под окном...

Рано утром Егор провожал Любу на ферму. Так — увязался с ней и пошел. Был он опять в нарядном костюме, в шляпе и при галстуке. Но какой-то задумчивый. Люба очень радовалась, что он пошел с ней,— у нее было светлое настроение. И утро было хорошее — с прохладцей, ясное. Весна все-таки, как ни крутись.

— Чего загрустил, Егорша? — спросила Люба.

— Так...— неопределенно сказал Егор.

— В баню зачем-то поперлись.— Люба засмеялась.— И не боятся ведь! Меня сроду туда ночью не загонишь.

Егор удивился:

— Чего?

— Да там же черти! В бане-то... Они там и водются.

Егор с изумлением и ласково посмотрел на Любу... И погладил ее по спине. У него это нечаянно вышло.

— Правильно: никогда не ходи ночью в баню. А то эти черти... Я их знаю!

— Когда ты ночью на машине подъехал, я слышала. Я думала, это мой Коленька преподобный приехал.

— Какой Коленька?

— Да муж-то мой.

— А-а. А он что, приезжает иногда?

— Приезжает, как же.

— Ну? А ты что?

— Ухожу в горницу и запираюсь там. И сижу. Он трезвый-то ни разу и не приезжал, а я его пьяного прямо видеть не могу: он какой-то дурак вовсе делается. Противно, меня трясти начинает.

Егор встрепенулся, заслышав живые, гневные слова. Не выносил он в людях унылость, вялость ползучую. Оттого, может, и завела его житейская дорога так далеко вбок, что всегда, и смолоду, тянулся к людям, очерченным резко, хоть иногда кривой линией, но резко, определенно.

— Да-да-да,— притворно посочувствовал Егор.— Прямо беда с этими алкашами!

— Беда! — подхватила простодушная Люба.— Да беда-то какая. Горькая: слезы да ругань.

— Прямо трагедия. О-е!..— удивился Егор.— Коров-то сколько!

— Ферма... Вот тут я и работаю.

Егор чего-то вдруг остолбенел при виде коров.

— Вот они... коровы-то,— повторял он.— Вишь, тебя увидели, да? Заволновались. Ишь, смо-отрют...— Егор помолчал... И вдруг, не желая этого, проговорился.— Я из всего детства мать помню да корову. Манькой звали корову. Мы ее весной, в апреле, выпустили из ограды, чтобы она сама пособирала на улице. Знаешь, зимой возют, а весной из-под снега вытаивает на дорогах, на плетнях остается... Вот... А ей кто-то брюхо вилами проколол. Зашла к кому-нибудь в ограду, у некоторых сено было еще... Прокололи. Кишки домой приволокла.

Люба смотрела на Егора, пораженная этим незамысловатым рассказом. А Егор — видно было — жалел, что он у него вырвался, этот рассказ, был недоволен.

— Чего смотришь?

— Егорша...

— Брось,— сказал Егор.— Это же слова. Слова ничего не стоят.

— Ты что, выдумал, что ли?

— Да почему!.. Но ты меньше слушай людей. То есть слушай, но слова пропускай. А то ты доверчивая, как...— Егор посмотрел на Любу и опять ласково и бережно, чуть стесняясь, погладил ее по спине.— Неужели тебя никогда не обманывали?

— Нет... Кому?

— М-гм.— Егор засмотрелся в ясные глаза женщины, усмехнулся.— Кошмар.— Все время хотелось трогать ее. И смотреть.

— Глянь-ка, директор совхоза идет,— сказала Люба.— У нас был.— Она оживилась и заулыбалась, сама не зная чего.

К ним шел гладкий, крепкий, довольно молодой еще мужчина, наверно, таких же лет, как Егор. Шел он твердой хозяйской походкой, с любопытством смотрел на Любу и на ее — непонятно кого — мужа, знакомого?

— Чего ты так уж разулыбалась-то? — неприятно поразился Егор.

— Он хороший у нас, хозяйственный. Мы его уважаем. Здравствуйте, Дмитрий Владимирович! Что, у нас были?

— Был у вас. Здравствуйте! — Директор крепко тряхнул руку Егора.— Что, не пополнение ли к нам?

— Дмитрий Владимирович, он — шофер,— не без гордости сказала Люба.

— Да ну? Хорошо. Прямо сейчас могу за руль посадить? Права есть?

— У него еще паспорта нету...— Гордость Любина угасла.

— А-а. А то поехали со мной. Моего зачем-то в военкомат вызывают. Боюсь, надолго.

— Егор!..— заволновалась Люба.— А? Район наш увидишь. Поглянется!

И это живое волнение, и слова эти нелепые — про район — подтолкнули Егора на то, над чем он пять минут назад искренне бы посмеялся.

— Поехали,— сказал он.

И они пошли с директором.

— Егор! — крикнула вслед Люба.— Пообедаешь в чайной где-нибудь! Где будете... Дмитрий Владимирович, вы ему подскажите, а то он не знает еще!

Дмитрий Владимирович посмеялся.

Егор оглянулся на Любу и некоторое время смотрел на нее. Потом повернулся и пошел за директором. Тот подождал его.

— Сам из каких мест? — спросил директор.

— Я-то. Я здешний. Из вашего района, деревня Листвянка.

— Листвянка? У нас нет такой.

— Как нет? Есть.

— Да нету! Я-то знаю свой район.

— Странно... Куда же она девалась? — Егору не понравился директор: довольный, гладкий. Но особенно не по нутру, что довольный. Егор не переваривал довольных людей.— Была деревня Листвянка, я хорошо помню.

Директор внимательно посмотрел на Егора.

— М-да,— сказал он.— Наверно, сгорела.

— Наверно, сгорела. Жалко — хорошая была деревня.

— Ну, так поедешь со мной?

— Поеду. Мы же и собрались ехать. Правильно я вас понял?

И поехали они по просторам совхоза-гиганта, совхоза-миллионера.

— Чего так со мной заговорил-то? — спросил директор.

— Как?

— Ну... как: Ванькой сразу прикинулся. Зачем?

— Да не люблю, когда с биографии сразу начинают. Биография — это слова, ее всегда можно выдумать.

— Ну-у, как же так? Как это можно биографию выдумать?

— Как? Так... Документов у меня никаких нету, кроме одной справки, никто меня тут не знает,— чего хочу, то и наговорю. Если хотите знать, я сын прокурора.

Директор посмеялся. Егор ему тоже не понравился: какой-то бессмысленно строптивый.

— А что? Вон я какой — в шляпе, при галстуке...— Егор посмотрелся в зеркальце.— Чем не прокурорский сын?

— Я же не спрашиваю с тебя никаких документов. Без прав даже едем. Напоремся вот на участкового — что делать?

— Вы хозяин.

Подъехали к пасеке. Директор легко выпрыгнул из машины.

— У меня тут дельце одно. А то, хошь, пойдем со мной — старик медом угостит.

— Нет, спасибо,— Егор тоже вышел на волю.— Я вот тут... пейзажем полюбуюсь.

— Ну, смотри.— И директор ушел.

Егор стал любоваться пейзажем. Посмотрел вокруг, подошел к березке, потрогал ее.

— Что? Начинаешь слегка зеленеть? Скоро уж, скоро... Оденешься. Надоело голой-то стоять? Ишь ты какая... Скоро нарядная будешь.

Из избушки вышел дед-пасечник.

— А что не зайдешь-то? — крикнул Егору с крыльца.— Иди чайку стакан выпей!

— Спасибо, батя! Не хочу.

— Ну, гляди.— И дед ушел.

Вскоре вышел и директор. Дед провожал его.

— Заезжайте почаще,—приветливо говорил дед.— Чай, по дороге. То и дело ездите тут.

— Спасибо, отец, спасибо. Поехали.

Поехали.

— Вот...— сказал директор, устраивая какой-то свер-

точек между сиденьями.— Есть вещество такое — прополис, пчелиный клей иначе.

— Язву желудка лечить?

— Да. Что, болел? — повернулся директор.

— Нет, слыхал просто.

— Да. Вот один человек заболел, надо помочь: хороший человек.

— Говорят, здорово помогает.

— Да, говорят, помогает.

Впереди показалась деревня.

— Меня ссадишь у клуба,— сказал директор,— а сам съездишь в Сосновку — здесь семь километров: привезешь бригадира Савельева. Если нет дома, спроси, где он, найди.

Егор кивнул.

Ссадил у клуба директора и уехал.

К клубу сходились мужики, женщины, парни, девушки. И люди пожилые тоже подходили. Готовилось какое-то собрание. Директора окружили, он что-то говорил и был опять очень уверен и доволен.

Молодые люди отбились в сторонку, и там тоже шел оживленный разговор. Часто смеялись.

Старики курили у штакетника.

На фасаде клуба висели большие плакаты. Все походило на праздник, к которому люди привыкли.

Клуб был новый, недавно выстроенный: возле фундамента еще лежала груда кирпичей и стоял старый кузов самосвала с застывшим цементом.

Егор привез бригадира Савельева и пошел искать директора. Ему сказали, что директор уже в клубе, на сцене, за столом президиума.

Егор прошел через зал, где рассаживались рабочие совхоза, поднялся на сцену и подошел сзади к директору.

Директор разговаривал с каким-то широкоплечим человеком, тряс бумажкой. Егор тронул его за рукав.

— Владимирыч...

— А? А-а. Привез? Хорошо, иди.

— Нет...— Егор позвал директора в сторонку и, когда они отошли, где их не могли слышать, сказал: — Вы сами умеете на машине?

— Умею. А что такое?



— Я больше не могу. Доехайте сами — не могу больше. И ничего мне с собой не поделать, я знаю.

— Да что такое? Заболел, что ли?

— Не могу возить. Я согласен: я дурак, несознательный, отсталый... Зэк несчастный, но не могу. У меня такое ощущение, что я вроде все время вам улыбаюсь. Я лучше буду на самосвале. На тракторе! Ладно? Не обижайся. Ты мужик хороший, но... Вот мне уже сейчас плохо — я пойду.— И Егор быстро пошел вон со сцены. И пока шел

через зал, терзался, что наговорил директору много слов. Тараторил, как... Извинялся, что ли? А что извиняться-то? Не могу — и все. Нет, пошел объяснять, пошел выкладываться, несознательность свою пялить... Тьфу! Горько было Егору. Так помаленьку и угодником станешь. Пойдешь в глаза заглядывать... Тьфу! Нет, очень это горько.

А директор, пока Егор шел через зал, смотрел вслед ему — он не все понял, то есть он ничего не понял.

Егор шел обратно перелеском.

Вышел на полянку, прошел полянку — опять начался лесок, погуще, покрепче.

Потом он спустился в ложок — там ручеек журчит. Егор остановился над ним.

— Ну надо же! — сказал он.

Постоял-постоял, перепрыгнул ручеек, взошел на пригорок...

А там открылась глазам березовая рощица, целая большая семья выбежала навстречу и остановилась.

— Ух, ты!..— сказал Егор.

И вошел в рощицу.

Походил среди березок... Снял с себя галстук, надел одной — особенно красивой, особенно белой и стройной. Потом увидел рядом высокий пенек, надел на него шляпу. Отошел и полюбовался со стороны.

— Ка-кие — фраера! — сказал он. И пошел дальше. И долго еще оглядывался на эту нарядную парочку. И улыбался. На душе сделалось легче.

Дома Егор ходил из угла в угол, что-то обдумывая. Курил. Время от времени принимался вдруг напевать: «Зачем вы, девушки, красивых любите?» Бросал петь, останавливался, некоторое время смотрел в окно или в стенку... И снова ходил. Им опять овладело какое-то нетерпение. Как будто он на что-то такое решался и никак не мог решиться. И опять решался. И опять не мог... Он нервничал.

— Не переживай, Егор,— сказал дед. Он тоже похаживал по комнате — к двери и обратно, сучил из суровых ниток леску на перемет, которая была привязана к дверной скобке, и дед обшаркивал ее старой рукавицей.— Трактористом не хуже. Даже ишо лучше. Они вон по сколь счас выгоняют!

— Да я не переживаю.

— Сплету вот переметы... Вода маленько посветлеет, пойдем с тобой переметы ставить — милое дело. Люблю.

— Да... Я тоже. Прямо обожаю переметы ставить.

— И я. Другие есть — больше предпочитают сеть. Но сеть — это... поймать могут, раз; второе: ты с ей намучаешься, с окаянной, пока ее разберешь да выкидаешь — время-то сколько надо!

— Да... Попробуй покидай ее. «Зачем вы, девушки...» А Люба скоро придет?

Дед глянул на часы.

— Скоро должна придтить. Счас уж сдают молоко. Счас сдадут — и придет. Ты ее, Егор, не обижай: она у нас — последыш, а последышка жальчее всех. Вот пойдут детишки у самого — спомнишь мои слова. Она хорошая девка, добрая, только все как-то не везет ей... Этого пьянчужку нанесло — насилу отбрыкались.

— Да, да... С этими алкашами беда прямо! Я вот тоже... это смотрю — прямо всех пересажал бы чертей. В тюрьму! По пять лет каждому. А?

— Ну, в тюрьму зачем? Но на годок куда-нибудь,— оживился дед,— под строгий изолятор — я бы их столкал! Всех, в кучу!

— А Петро скоро придет?

— Петро-то? Счас тоже должон приехать... Пущай посидят и подумают.

— Сидеть — это каждый согласится. Нет, пусть поработают! — подбросил жару Егор.

— Да, правильно: лес вон валить!

— В шахты! В лес — это... на чистом-то воздухе дурак согласится поработать. Нет, в шахты! В рудники! В скважины!

Тут вошла Люба.

— Вот те раз! — удивилась она.— Я думала, они только ночью приедут, а он уж дома.

— Он не стал возить директора,— сказал дед.— Ты его не ругай — он объяснил почему: его тошнит на легковушке.

— Пойдем-ка на пару слов, Люба,— позвал Егор. И увел ее в горницу. На что-то он, похоже, решился.

В это время въехал в ограду Петро на своем самосвале, и Егор пошел к нему. Он так и не успел сказать Любе, что его растревожило.

Люба видела, как они о чем-то довольно долго гово-

рили с Петром, потом Егор махнул ей рукой, и она скоро пошла к нему. Егор полез в кабину самосвала, за руль.

— Далеко ли? — спросил дед, который тоже видел из окна, что Петро дал машину, а Егор и Люба собрались куда-то ехать

— Да я сама толком не знаю... Егору куда-то надо,— успела сказать Люба на ходу.

— Любка!..— хотел что-то еще сказать дед, но Люба хлопнула уже дверью.

— Чего он такое затеял, этот Жоржик? — вслух подумал дед.— Это что за жизнь такая чертова пошла — вот и опасайся ходи, вот и узнавай бегай...

И он скоренько тоже пошел на половину сына — спросить, куда это Егор повез дочь, вообще куда они поехали?

— Есть деревня Сосновка,— объяснял Егор Любе в машине, когда уже ехали,— девятнадцать километров отсюда.

— Знаю Сосновку.

— Там живет старушка, по кличке Куделиха. Она живет с дочерью, но дочь лежит в больнице.

— Где это ты узнал-то все?

— Ну, узнал... я был сегодня в Сосновке. Дело не в этом. Меня один товарищ просил попроведать эту старуху, про детей ее расспросить — где они, живы ли?

— А зачем ему — товарищу-то?

— Ну... Родня она ему какая-то, тетка, что ли. Но мы сделаем так: подъедем, ты зайдешь... Нет, зайдем вместе, но расспрашивать будешь ты.

— Почему?

— Ты дай объяснить-то, потом уж спрашивай! — повысил голос Егор. Нет, он, конечно, нервничал.

— Ну-ну! Ты только на меня не кричи, Егор, ладно? Больше не спрашиваю. Ну?

— Потому что, если она увидит, что расспрашивает мужик, то она догадается, что, значит, он сидел с ее сы... это, с племянником. Ну, и сама кинется выспрашивать. А товарищ мне наказал, чтоб я не говорил, что он в тюрьме... Фу-у! Дошел. Язык сломать можно. Поняла хоть?

— Поняла. А под каким предлогом я ее расспрашивать-то возьмусь?

— Надо что-то выдумать. Например, ты из сельсовета... Нет, не из сельсовета, а из рай... этого, как его, пенсии-то намеряют?

— Райсобес?

— Райсобес, да. Из райсобеса, мол, проверяю условия жизни престарелых людей. Расспроси, где дети, пишут ли? Поняла?

— Поняла. Все сделаю, как надо.

— Не говори «гоп»...

— Вот увидишь.

Егор замолчал. Был он непривычно серьезен и сосредоточен. Через силу улыбнулся и сказал:

— Не обижайся, Люба, я помолчу. Ладно?

Люба тронула ладонью его руку.

— Молчи, молчи. Делай, как знаешь, не спрашиваю.

— А что закричал... прости,— еще раз сказал Егор.— Я сам не люблю, когда кричат.

Егор добро разогнал самосвал. Дорога шла обочиной леса, под колеса попадали оголенные коренья, кочки, самосвал прыгал. Люба, когда ее подкидывало, хваталась за ручку дверцы. Егор смотрел вперед — рот плотно сжат, глаза чуть прищурены.

Просторная изба. Русская печь, лавки, сосновый пол, мытый, скобленный и снова мытый. Простой стол с крашеной столешницей. В красном углу — Николай-угодник.

Старушка Куделиха долго подслеповато присматривалась к Любе, к Егору... Егор был в темных очках.

— Чего же, сынок, глаза-то прикрыл? — спросила она.— Рази через их видать?

Егор на это неопределенно пожал плечами. Ничего не сказал.

— Вот мне велели, бабушка, разузнать все,— сказала Люба.

Куделиха села на лавочку, сложила сухие коричневые руки на переднике.

— Дак а чего узнавать-то? Мне платют двадцать рублей...— Она снизу, просто посмотрела на Любу. — Чего же еще?

— А дети где ваши? У вас сколько было?

— Шестеро, милая, шестеро. Одна вот теперь со мной живет, Нюра, а трое в городах... Коля в Новоси-

бирске на паровозе работает, Миша тоже там же, он дома строит, а Вера на Дальнем Востоке, замуж там вышла, военный муж-то. Фотокарточку недавно прислали — всей семьей, внучатки уж большенькие, двое: мальчик и девочка.

Старуха замолчала, отерла рот краешком передника, покивала маленькой птичьей головой, вздохнула. Она тоже, видно, умела уходить в мыслях далеко — и ушла, перестала замечать гостей. Потом очнулась, посмотрела на Любу, сказала — так, чтоб не молчать, а то неловко молчать, о ней же и заботятся:

— Вот... Живут. — И опять замолчала.

Егор сидел на стуле у порога. Он как-то окаменел на этом стуле, ни разу не шевельнулся, пока старуха говорила, смотрел на нее.

— А еще двое? — спросила Люба.

— А вот их-то... я и не знаю: живые они, сердешные душеньки, или нету их давно. — Старушка опять закивала сухой головой, хотела, видно, скрепиться и не заплакать, но слезы закапали ей на руки, и она поспешно вытерла глаза фартуком.

— Не знаю. В голод разошлись по миру... Теперь не знаю. Два сына ишо, два братца... Про этих не знаю.

Зависла в избе тяжелая тишина... Люба не могла придумать, что еще спрашивать,— ей было жалко бабушку. Она глянула на Егора... Тот сидел изваянием и все смотрел на Куделиху. И лицо его под очками тоже как-то окаменело. Любе и вовсе не по себе стало.

— Ладно, бабушка... — Она вдруг забылась, что она «из райсобеса», подошла к старушке, села рядом, умело как-то — естественно, просто — обняла ее и приголубила. — Погоди-ка, милая, погоди — не плачь, не надо: глядишь, еще и найдутся. Надо же и поискать!

Старушка послушно вытерла слезы, еще покивала головой.

— Может, найдутся... Спасибо тебе. Сама-то не из крестьян? Простецкая-то.

— Из крестьян, откуда же. Поискать надо сынов-то...

Егор встал и вышел из избы.

Медленно прошел по сеням. Остановился около уличной двери, погладил косяк — гладкий, холодный. И прислонился лбом к этому косяку, и замер. Долго стоял так,



сжимая рукой косяк, так, что рука побелела. Господи, хоть бы еще уметь плакать в этой жизни — все немного легче было бы. Но ни слезинки же ни разу не выкатилось из его глаз, только каменели скулы и пальцы до отека сжимали что-нибудь, что оказывалось под рукой. И ничего больше, что помогло бы в тяжкую минуту: ни табак, ни водка — ничто, все противно. Откровенно болела душа, мучительно ныла, точно жгли ее там медленным

огнем. И еще только твердил в уме, как молитву: «Ну, будет уж! Будет!»

Егор заслышал в избе шаги Любы, откачнулся от косяка, спустился с низкого крылечка. Скорым шагом пошел по ограде, оглядываясь на избу. Был он опять сосредоточен, задумчив. Походил вокруг машины, попинал баллоны... Снял очки, стал смотреть на избу.

Вышла Люба.

— Господи, до чего же жалко ее стало! — сказала она. — Прямо сердце заломило.

— Поехали,— велел Егор.

Развернулись... Егор последний раз глянул на избу и погнал машину.

Молчали. Люба думала о старухе, тоже взгрустнула.

Выехали за деревню.

Егор остановил машину, лег головой на руль и крепко зажмурил глаза.

— Чего, Егор? — испугалась Люба.

— Погоди... постоим... — осевшим голосом сказал Егор. — Тоже знаешь... сердце заломило. Мать это, Люба. Моя мать.

Люба тихо ахнула.

— Да что же ты, Егор? Как же ты?..

— Не время,— почти зло сказал Егор. — Дай время... Скоро уж. Скоро.

— Да какое время, ты что! Развернемся!

— Рано! — крикнул Егор. — Дай хоть волосы отрастут... Хоть на человека похожим стану.— Егор включил скорость. — Я перевел ей деньги,— еще сказал он,— но боюсь, как бы она с ними в сельсовет не поперлась — от кого, спросит. Еще не возьмет. Прошу тебя, съезди завтра к ней опять и... скажи что-нибудь. Придумай что-нибудь. Мне пока... Не могу пока — сердце лопнет. Не могу. Понимаешь?

— Останови-ка,— велела Люба.

— Зачем?

— Останови.

Егор остановил.

Люба обняла его, как обняла давеча старуху,— ласково, умело,— прижала к груди его голову.

— Господи!.. Да почему вы такие есть-то? Чего вы такие дорогие-то?..— Она заплакала.— Что мне с вами делать-то?

Егор освободился из ее объятий, крякнул несколько раз, чтобы прошел комок в горле, включил скорость и с веселым остервенением сказал:

— Ничего, Любаша!.. Все будет в порядке! Голову свою покладу, но вы у меня будете жить хорошо. Я зря не говорю!

Дома их в ограде встретил Петро.

— Волнуется, видно. За машину-то,— догадалась Люба.

— Да ну, что я? Я же сказал...

Люба с Егором вылезли из кабины, и Петро подошел к ним.

— Там этот пришел... твой,— сказал он по своей привычке как бы нехотя, через силу.

— Колька? — неприятно удивилась Люба.— Вот гад-то! Что ему надо-то? Замучил, замучил, слюнтяй!..

— Ну, я пойду познакомлюсь,— сказал Егор. И глянул на Петра. Петро чуть заметно кивнул головой.

— Егор!..— всполошилась Люба.— Он же пьяный небось драться кинется. Не ходи, Егор! — И Люба сделала было движение за Егором, но Петро придержал ее.

— Не бойся,— сказал он.— Эй, Егор...

Егор обернулся.

— Там еще трое дожидаются — за плетнем. Знай.

Егор кивнул и пошел в дом.

Люба теперь уже силой хотела вырваться, но брат держал крепко.

— Да они же изобьют его! — чуть не плакала Люба.— Ты что? Ну, Петро!..

— Кого изобьют? — спокойно басил Петро.— Жоржика? Его избить трудно. Пускай поговорят... И больше твой Коля не будет ходить сюда. Пусть поймет раз и навсегда.

— А-а,— сказал Коля, растянув в насильственной улыбке рот.— Новый хозяин пришел.— Он встал с лавки.— А я — старый.— Он пошел на Егора.— Надо бы потолковать...— Он остановился перед Егором.— М-м?— Коля был не столько пьян, сколько с перепоя. Высокий парень, довольно приятной наружности, с голубыми умными глазами.

Старики со страхом смотрели на «хозяев» — старого и нового.

Егор решил не тянуть: сразу лапнул Колю за шкирку и поволок из избы...

Вывел с трудом на крыльцо и подтолкнул вниз.

Коля упал. Он не ждал, что они так сразу и начнут.

— Если ты, падали кусок, будешь еще... Ты был здесь последний раз,— сказал Егор сверху. И стал спускаться.

Коля вскочил с земли... И засуетился.

— Пойдем отсюда! Иди за мной... Идем, идем. Ну, собака!.. Иди, иди-и!..

Они шли уже из ограды. Егор шел впереди, а Коля сзади. Коля очень суетился, разок даже подтолкнул Егора в спину. Егор оглянулся и укоризненно качнул головой.

— Иди, иди-и,— с дрожью в голосе повторял Коля.

Поднялись навстречу те трое, о которых говорил Петро.

— Только не здесь,— решительно сказал Егор.— Пошли дальше!

Пошли дальше. Егор опять очутился впереди всех.

— Слушайте,— остановился он,— идите рядом, а то как на расстрел ведут. Люди же смотрят.

— Иди, иди-и,— опять сказал Коля. Он едва сдерживал себя.

Прошли еще немного.

Под высоким плетнем, где их меньше было видно с улицы, Коля не выдержал и прыгнул сзади на Егора. Егор качнулся вбок и подставил Коле ногу. Коля опять позорно упал. Но еще один кинулся, этого Егор ударил наотмашь — кулаком в живот. И этот сел. Двое стоявших оторопели от такого оборота дела. Зато Коля вскочил и побежал к плетню выламывать кол.

— Ну, собака!..— задыхался Коля от злости. Выломил кол и страшно ринулся на Егора.

Сколько уж раз на деле убеждался Егор, что все же человек никогда до конца не забывается — всегда, даже в страшно короткое время, успеет подумать: что будет? И если убивают, то хотели убить. Нечаянно убивают редко.

Егор стоял, сунув руки в карманы брюк, смотрел на

Колю. Коля наткнулся на его спокойный — как-то по-особому спокойный, зловеще спокойный — взгляд.

— Не успеешь махнуть, — сказал Егор. Помолчал и добавил участливо: — Коля.

— А чего ты тут угрожаешь-то?! Чего ты угрожаешь-то?! — попытался еще надавить Коля.— С ножом, что ли? Ну, вынимай свой нож, вынимай!

— Пить надо меньше, дурачок,— участливо сказал Егор.— Кол-то выломил, а у самого руки трясутся. Больше в этот дом не ходи.

Егор повернулся и пошел обратно. Слышал, как сзади кто-то двинулся было за ним,— наверно, Коля,— но его остановили:

— Да брось ты его! Дерьма-то еще. Фраер городской. Мы его где-нибудь в другом месте прищучим.

Егор не остановился, не оглянулся.

Первую борозду в своей жизни проложил Егор.

Остановил трактор, спрыгнул на землю, прошелся по широкой борозде, сам себе удивляясь: неужто это его работа? Пнул сапогом ком земли, хмыкнул:

— Ну и ну... Жоржик. Это ж надо! Ты же так ударником будешь! Он оглянулся по степи, вдохнул весенний земляной дух и на минуту прикрыл глаза. Постоял так.

Парнишкой он любил слушать, как гудят телеграфные столбы. Прижмется ухом к столбу, закроет глаза и слушает... Волнующее чувство. Егор всегда это чувство помнил: как будто это нездешний какой-то гул, не на земле гудит, а черт знает где. Если покрепче зажмуриться и целиком вникнуть в этот мощный утробный звук, то он перейдет в тебя — где-то загудит внутри, в голове, что ли, или в груди — не поймешь. Жутко бывало, но интересно. Странно, ведь вот была же длинная, вон какая разная жизнь, а хорошо помнилось только вот это немногое: корова Манька, да как с матерью носили на себе березки, чтобы истопить печь. Эти-то дорогие воспоминания и жили в нем, и, когда бывало вовсе тяжко, он вспоминал далекую свою деревеньку, березовый лес на берегу реки, саму реку... Легче не становилось, только глубоко жаль было всего этого и грустно, и по-иному щемило сердце — и дорого, и больно. И теперь, когда от пашни веяло таким покоем, когда голову

грело солнышко и можно остановить свой постоянный бег по земле, Егор не понимал, как это будет — что он остановился, обретет покой. Разве это можно? Жило в душе предчувствие, что это будет, наверно, короткая пора.

Егор еще раз оглядел степь. Вот этого и будет жаль. «Да что же я за урод такой! — невольно подумал он.— Что я жить-то не умею? К чертям собачьим! Надо жить. Хорошо же? Хорошо. Ну и радуйся!» — Егор глубоко вздохнул.

— Сто сорок лет можно жить... с таким воздухом,— сказал он. И теперь только увидел на краю поля березовый колок и пошел к нему.

— Ох, вы мои хорошие!.. И стоят себе: прижухлись с краешку и стоят. Ну, что, дождались? Зазеленели...— Он ласково потрогал березку.— Ох, ох, нарядились-то! Ах, невестушки вы мои, нарядились. И молчат стоят. Хоть бы крикнули, позвали,— нет, нарядились и стоят. Ну, уж вижу теперь, вижу — красивые. Ну, ладно, мне пахать надо. Я тут рядом буду, буду заходить теперь.— Егор отошел немного от березок, оглянулся и засмеялся: — Как-кие стоят! — И пошел к трактору.

Шел и все говорил по своей привычке:

— А то простоишь с вами и ударником труда не станешь. Вот так вот... Вам-то что, вам все равно, а мне надо в ударники выходить. Вот так.— И запел Егор:

Калина красная,
Калина вызрела,
Я у залеточки-и
Характер вызнала-а,
Характер вызнала-а,
Характер — ой какой-ой...

Так с песней он залез в кабину и двинул всю железную громадину вперед. И продолжал петь, но уже песни не было слышно из-за грохота и лязга.

Вечером ужинали все вместе: старики, Люба и Егор.

В репродукторе пели хорошие песни, слушали эти песни.

Вдруг дверь отворилась, и заявился нежданный гость: высокий молодой парень, тот самый, который заполошничал тогда вечером при облаве.

Егор даже слегка растерялся.

— О-о! — сказал он.— Вот так гость! Садись, Вася!

— Шура,— поправил гость, улыбнувшись.

— Да, Шура! Все забываю. Все путаю с тем Васей, помнишь? Вася-то был, большой такой, старшиной-то работал...— Егор тараторил, а сам, похоже, приходил пока в себя — гость был и вправду нежданный.— Мы с Шурой служили вместе,— пояснил он.— У одного генерала. Садись, Шура, ужинать с нами.

— Садитесь, садитесь,— пригласила и старуха.

А старик даже и подвинулся на лавке — место дал:

— Давайте.

— Да нет, меня такси ждет. Мне надо сказать тебе, Георгий, кое-что. Да передать тут...

— Да ты садись поужинай! — упорствовал Егор.— Подождет таксист.

— Да нет...— Шура глянул на часы.— Мне еще на поезд успеть...

Егор полез из-за стола. И все тараторил, не давая времени Шуре как-нибудь нежелательно вылететь с языком. Сам Егор, бунтовавший против слов пустых и ничтожных, умел иногда так много трещать и тараторить, что вконец запутывал других. Бывало это и от растерянности.

— Ну как, знакомых встречаешь кого-нибудь? Эх, золотые были денечки!.. Мне эта служба до сих пор во сне снится. Ну, пойдем — чего там тебе передать надо: в машине, что ли, лежит? Пойдем, примем пакет от генерала. Расписаться ж надо, да? Ты сюда рейсовым? Или на перекладных? Пойдем...

Они вышли.

Старик помолчал... И в его безгрешную крестьянскую голову пришла только такая мысль:

— Это ж сколько они на такси-то прокатывают — от города и обратно? Сколько с километра берут?

— Не знаю,— рассеянно сказала Люба.— Десять копеек.— Она в этом госте почуяла что-то недоброе.

— Десять копеек? Десять копеек — на тридцать шесть верст... Сколько это?

— Ну, тридцать шесть копеек и будет,— сказала старуха.

— Здорово живешь! — воскликнул старик.— Десять верст — это уже рупь. А тридцать шесть — это... три шестьдесят, вот сколь. Три шестьдесят да три шестьдесят — семь двадцать. Семь двадцать — только туда-сюда съездить. А я, бывало, за семь двадцать-то месяц работал.

Люба не выдержала, тоже вылезла из-за стола.

— Чего они там? — сказала она и пошла из избы.

...Вышла в сени, а сеничная дверь на улицу — открыта. И она услышала голоса Егора и этого Шуры. И замерла.

— Так передай. Понял? — жестко, зло говорил Егор.— Запомни и передай.

— Я передам. Но ты же знаешь его...

— Я знаю. Он меня тоже знает. Деньги он получил?

— Получил.

— Все. Я вам больше не должен. Будете искать, я на вас всю деревню подниму.— Егор коротко посмеялся.— Не советую.

— Горе... Ты не злись только, я сделаю, как мне велено: если, мол, у него денег нет, дай ему. На.

И Шура, наверно, протянул Егору заготовленные деньги. Егор, наверно, взял их и с силой ударил ими по лицу Шуру — раз, и другой, и третий. И говорил негромко, сквозь зубы:

— Сучонок... Сопляк... Догадался, сучонок!..

Люба грохнула чем-то в сенях. Шагнула на крыльцо.

Шура стоял руки по швам, бледный...

Егор протянул ему деньги, сказал негромко, чуть охрипшим голосом:

— На. До свидания, Шура. Передавай привет! Все запомнил, что я сказал?

— Запомнил,— сказал Шура. Посмотрел на Егора последним — злым и обещающим — взглядом. И пошел к машине.

— Ну, вот.— Егор сел на приступку. Проследил, как машина развернулась... Проводил ее глазами и оглянулся на Любу.

Люба стояла над ним.

— Егор...— начала она было.

— Не надо,— сказал Егор.— Это мои старые дела. Долги, так сказать. Больше они сюда не приедут.

— Егор, я боюсь,— призналась Люба.

— Чего? — удивился Егор.

— Я слышала, у вас... когда уходят от них, то...

— Брось! — резко сказал Егор. И еще раз сказал: — Брось. Садись. И никогда больше не говори об этом. Садись...— Егор потянул ее за руку вниз.— Что ты стоишь за спиной, как... Это нехорошо — за спиной стоять, невежливо.

Люба села.

— Ну? — спросил весело Егор.— Что закручинилась, зоренька ясная? Давай-ка споем лучше!

— Господи, до песен мне...

Егор не слушал ее.

— Давай я научу тебя... Хорошая есть одна песня.— И Егор запел:

Калина красная-а-а,
Калина вызрела-а...

— Да я ее знаю! — сказала Люба.

— Ну? Ну-ка, поддержи. Давай:

Калина...

— Егор,— взмолилась Люба.— Христом богом прошу, скажи, они ничего с тобой не сделают?

Егор стиснул зубы и молчал.

— Не злись, Егорушка. Ну что ты? — И Люба заплакала.— Как же ты меня-то не можешь понять: ждала я, ждала свое счастье, а возьмут да... Да что уж я — проклятая, что ли? Мне и порадоваться в жизни нельзя?!

Егор обнял Любу и ладошкой вытер ей слезы.

— Веришь ты мне?

— Веришь, веришь... А сам не хочет говорить. Скажи, Егор, я не испугаюсь. Может, мы уедем куда-нибудь...

— О-о! — взвыл Егор.— Станешь тут ударником! Нет, я так никогда ударником не стану, честное слово. Люба, я не могу, когда плачут. Не могу! Ну сжалься ты надо мной, Любушка.

— Ну, ладно, ладно. Все будет хорошо?

— Все будет хорошо,— четко, раздельно сказал

Егор.— Клянусь, чем хочешь... всем дорогим. Давай песню.— И он запел первый:

Калина красная-а-а,
Калина вызрела-а...

Люба поддержала, да так тоже хорошо подладилась, так славно. На минуту забылась, успокоилась.

Я у залеточки
Характер вызнала.
Характер вызнала-а,
Характер — ой какой,
Я не уважила,
А он ушел к другой.

Из-за плетня на них насмешливо смотрел Петро.
— Спишите слова,— сказал он.
— Ну, Петро,— обиделась Люба.— Взял спугнул песню.
— Кто это приезжал, Егор?
— Дружок один. Баню будем топить? — спросил Егор.
— А как же? Иди-ка сюда, что скажу...
Егор подошел к плетню. Петро склонился к его уху и что-то тихо заговорил.
— Петро! — прикрикнула Люба.— Я ведь знаю, что ты там, знаю. После бани!
— Я жиклер его прошу посмотреть,— сказал Петро.
— Я только жиклер гляну,— сказал Егор.— Там, наверно, продуть надо.
— Я вам дам жиклер! После бани, сказала,— сурово молвила напоследок Люба. И ушла в дом. Она вроде и успокоилась, но все же тревога вкралась в душу. А тревога та — стойкая, любящие женщины знают это.
Егор полез через плетень к Петру.
— Бренди — это дерьмо,— сказал он.— Я предпочитаю или шампанзе, или «Рэми-Мартини».
— Да ты спробуй!
— А то я не пробовал! Еще меня устраивает, например, виски с содовой...
Так, разговаривая, они направились к бане.

Теперь то самое поле, которое Егор пахал, засевали. Егор же и сеял. То есть он вел трактор, а на сеялке — сзади, где стоят и следят, чтоб зерно равномерно сыпалось,— стояла молодая женщина с лопаточкой.

Подъехал Петро на своем самосвале с нашитыми бортами — привез зерно. Засыпали вместе в сеялку. Малость поговорили с Егором:

— Обедать здесь будешь или домой? — спросил Петро.

— Здесь.

— А то отвезу, мне все равно ехать.

— Да нет, у меня с собой все... А тебе чего ехать?

— Да что-то стрелять начала. Правда, наверное, жиклер.

Они посмеялись, имея в виду тот «жиклер», который они вместе «продували» прошлый раз в бане.

— У меня дома есть один, все берег его.

— Может, посмотреть — чего стреляет-то?

— Ну, время еще терять. Жиклер, точно. Я с ним давно мучаюсь, все жалко было выбрасывать. Но теперь уж сменю.

— Ну, гляди.— И Егор полез опять в кабину. Петро поехал развозить зерно к другим сеялкам.

И трактор тоже взревел и двинулся дальше.

...Егор отвлекся от приборов на щите, глянул вперед, а впереди, как раз у того березового колка, что с края пашни, стоит «Волга» и трое каких-то людей. Егор всмотрелся... и узнал людей. Люди эти были — Губошлеп, Бульдя, еще какой-то высокий. А в машине — Люсьен. Люсьен сидела на переднем сиденье, дверца была открыта, и хоть лица не было видно, Егор узнал ее по юбке и по ногам. Мужчины стояли возле машины и поджидали трактор.

Ничто не изменилось в мире. Горел над пашней ясный день, рощица на краю пашни стояла вся зеленая, умытая вчерашним дождем... Густо пахло землей, так густо, тяжко пахло сырой землей, что голова легонько кружилась. Земля собрала всю свою весеннюю силу, все соки живые — готовилась опять породить жизнь. И далекая синяя полоска леса, и облако, белое, кудрявое, над этой полоской, и солнце в вышине — все была жизнь, и перла она через край, и не заботилась ни о чем, и никого не страшилась.

Егор чуть-чуть сбавил скорость... Склонился, выбрал гаечный ключ — не такой здоровый, а поаккуратней — и положил в карман брюк. Покосился — не виден он из-под пиджака? Вроде не виден.

Поравнявшись с «Волгой», Егор остановил трактор и заглушил мотор.

— Галя, иди обедать,— сказал помощнице.

— Мы же только засыпались,— не поняла Галя.

— Ничего, иди. Мне надо вот тут с товарищами... из ЦК профсоюза поговорить.

Галя пошла к отдаленно виднеющемуся бригадному домику. На ходу раза три оглянулась на «Волгу», на Егора...

Егор тоже незаметно глянул по полю... Еще два трактора с сеялками ползли по тому краю; ровный гул их как-то не нарушал тишины огромного светлого дня.

Егор пошел к «Волге».

Губошлеп заулыбался, еще когда Егор был далековато от них.

— А грязный-то! — с улыбкой воскликнул Губошлеп.— Люсьен, ты глянь на него!..

Люсьен вылезла из машины. И серьезно смотрела на подходящего Егора, не улыбалась.

Егор тяжело шел по мягкой пашне... Смотрел на гостей... Он тоже не улыбался.

Улыбался один Губошлеп.

— Ну, не узнал бы, ей-богу! — все потешался он.— Встретил бы где-нибудь — не узнал бы.

— Губа, ты его не тронешь,— сказала вдруг Люсьен чуть хриплым голосом и посмотрела на Губошлепа требовательно, даже зло.

Губошлеп, напротив, весь так и встрепенулся от мстительной какой-то радости.

— Люсьен!.. О чем ты говоришь! Это он бы меня не тронул! Скажи ему, чтобы он меня не тронул. А то как двинет святым кулаком по окаянной шее...

— Ты не тронешь его, тварь! — сорвалась Люсьен.— Ты сам скоро сдохнешь, зачем же...

— Цыть! — сказал Губошлеп. И улыбку его как ветром сдуло. Видно стало — проглянуло в глазах,— что мстительная немощность его взбесилась: этот человек оглох навсегда для всякого справедливого слова. Если ему некого будет кусать, он, как змея, будет кусать свой хвост.— А то я вас рядом положу. И заставлю обниматься — возьму себе еще одну статью: глумление над трупами. Мне все равно.

— Я прошу тебя,— сказала Люсьен после некоторого молчания,— не тронь его. Нам все равно скоро конец, пусть он живет. Пусть пашет землю — ему нравится.

— Нам — конец, а он будет землю копать? — Губошлеп показал в улыбке гнилые зубы свои.— Где же справедливость? Что он, мало натворил?

— Он вышел из игры... У него справка.

— Он не вышел.— Губошлеп опять повернулся к Егору.— Он только еще идет.

Егор все шел. Увязал сапогами в мягкой земле и шел.

— У него даже и походка-то какая стала!..— с восхищением сказал Губошлеп.— Трудовая.

— Пролетариат,— промолвил глуповатый Бульдя.

— Крестьянин, какой пролетариат.

— Но крестьяне-то тоже пролетариат!

— Бульдя! Ты имеешь свои четыре класса и две ноздри — читай «Мурзилку» и дыши носом. Здорово, Горе! — громко приветствовал Губошлеп Егора.

— А чего они еще сказали? — допрашивала встревоженная Люба своих стариков.

— Ничего больше... Я им рассказал, как ехать туда...

— К Егору?

— Ну.

— Да мамочка моя родимая! — закричала Люба. И побежала из избы.

В это время в ограду въезжал Петро.

Люба замахала ему — чтоб не въезжал, чтоб остановился.

Петро остановился...

Люба вскочила в кабину... Сказала что-то Петру. Самосвал попятился, развернулся и сразу шибко поехал, прыгая и грохоча на выбоинах дороги.

— Петя, братка милый, скорей, скорей! Господи, как сердце мое чуяло!..— У Любы из глаз катились слезы, она их не вытирала — не замечала их.

— Успеем,— сказал Петро.— Я же недавно от него...

— Они только что здесь были... спрашивали. А теперь уж там. Скорей, Петя!..

Петро выжимал из своего горбатого богатыря все что мог.

Группа, что стояла возле «Волги», двинулась к березовому колку. Только женщина осталась у машины, даже залезла в машину и захлопнула все дверцы.

Группа немного не дошла до берез — остановилась. О чем-то, видимо, поговорили... И двое из группы отделились и вернулись к машине. А двое — Егор и Губошлеп — зашли в лесок и стали удаляться и скоро скрылись из глаз.

...В это время далеко на дороге показался самосвал Петра. Двое стоявших у «Волги» пригляделись к нему. Поняли, что самосвал гонит сюда, крикнули что-то в сторону леска. Из леска тотчас выбежал один человек, Губошлеп, пряча что-то в карман. Тоже увидел самосвал и побежал к «Волге». «Волга» рванула с места и понеслась, набирая скорость...

...Самосвал поравнялся с рощицей.

Люба выпрыгнула из кабины и побежала к березам.

Навстречу ей тихо шел, держась одной рукой за живот, Егор. Шел, хватаясь другой рукой за березки. И на березах оставались ярко-красные пятна.

Петро, увидев раненого Егора, вскочил опять в самосвал, погнал было за «Волгой». Но «Волга» была уже далеко. Петро стал разворачиваться.

Люба подхватила Егора под руки.

— Измажу я тебя,— сказал Егор, страдая от боли.

— Молчи, не говори.— Сильная Люба взяла его на руки. Егор было запротестовал, но новый приступ боли накатил, Егор закрыл глаза.

Тут подбежал Петро, бережно взял с рук сестры Егора и понес к самосвалу.

— Ничего, ничего,— гудел он негромко.— Ерунда это... Штыком наскрозь прокалывали и то оставались жить. Через неделю будешь прыгать...

Егор слабо качнул головой и вздохнул — боль немного отпустила.

— Там — пуля,— сказал он.

Петро глянул на него, на белого, стиснул зубы и ничего не сказал. Прибавил только шагу.



Люба первая вскочила в кабину. Приняла на руки Егора. Устроила на коленях у себя, голову его положила на грудь себе. Петро осторожно поехал.

— Потерпи, Егорушка... милый. Счас доедем до больницы...

— Не плачь,— тихо попросил Егор, не открывая глаз.

— Я не плачу...

— Плачешь... На лицо капает. Не надо.

— Не буду, не буду...

Петро, выворачивая руль и так, и этак,— старался не трясти. Но все равно трясло, и Егор мучительно морщился и раза два простонал.

— Петя...— сказала Люба.

— Да уж стараюсь. Но и тянуть-то нельзя. Скорей надо.

— Остановите,— попросил Егор.

— Почему, Егор? Скорей надо...

— Нет... все. Снимите.

Егора сняли на землю, положили на фуфайку.

— Люба,— позвал Егор, выискивая ее невидящими глазами где-то в небе — он лежал на спине.— Люба...

— Я здесь, Егорушка, здесь, вот она.

— Деньги...— с трудом говорил Егор последнее.— У меня в пиджаке... раздели с мамой...— У Егора из-под прикрытых век по темени сползла слезинка, подрожала, повиснув около уха, и сорвалась, и упала в траву. Егор умер.

И лежал он, русский крестьянин, в родной степи, вблизи от дома... Лежал, приникнув щекой к земле, как будто слушал что-то такое, одному ему слышное. Так он в детстве прижимался к столбам.

Люба упала ему на грудь и тихо, жутко выла.

Петро стоял над ними, смотрел на них и тоже плакал. Молча.

Потом поднял голову, вытер слезы рукавом фуфайки.

— Да что же,— сказал он на выдохе, в котором почувствовалась вся его устрашающая сила,— так и уйдет, что ли? — Обошел лежащего Егора и сестру и, не оглядываясь, тяжело побежал к самосвалу.

Самосвал взревел и понесся прямо по степи, минуя большак. Петро хорошо знал здесь все дороги, все проселки и теперь только сообразил, что «Волгу» можно перехватить — наперерез. «Волга» будет огибать большой выступ того леса, который синел отсюда ровной полосой... А в лесу есть зимник, по нему зимой выволакивают на тракторных санях лесины. Теперь, после дождя, захламленный ветками зимник даже надежнее для самосвала, чем большак. Но «Волга», конечно, туда не сунется. Да и откуда им знать, куда ведет тот зимник?

...И Петро перехватил «Волгу».

Самосвал выскочил из леса раньше, чем здесь успела прошмыгнуть бежевая красавица. И сразу обнаружилось ее безысходное положение: разворачиваться назад поздно — самосвал несся в лоб, разминуться как-нибудь тоже нельзя: узка дорога... Свернуть — с одной стороны лес, с другой целина, напитанная вчерашним дождем, не для городской машинки. Оставалось попытаться все же по целине с ходу, на скорости, объехать самосвал и выскочить опять на большак. «Волга» свернула с накатанной дороги и сразу завиляла задом, пошла тихо, хоть скреблась и ревела изо всех сил. Тут ее и настиг Петро. Из «Волги» даже не успели выскочить... Труженик-самосвал, как разъяренный бык, ударил ее в бок, опрокинул и стал над ней.

Петро вылез из кабины...

С пашни, от тракторов, к ним бежали люди, которые все видели.

● ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Повесть-сказка

В некотором царстве, в некотором государстве жили-были два молодых человека — Пессимист и Оптимист. Жили они по соседству и все спорили. Пессимист говорил: «Все в жизни плохо, пошло, неинтересно». Оптимисту, наоборот, все чрезвычайно нравилось. «Жизнь — это сплошное устремление вперед, это как бы стометровка,— любил говорить он. И добавлял: — Я, может быть, говорю общеизвестные истины, но в том-то и дело, что я не думаю о том, как надо думать о жизни,— она переполняет меня всего, и мне остается только петь». И он часто пел. А Пессимист нехорошо как-то смеялся: «Ка-ка-ка!» — «под Мефистофеля».

— Вы, такие, не знаете, что такое жизнь! — громко кричал Оптимист.— И мы вас, таких, предупреждаем!..

— Нет, это вы не знаете, что такое жизнь! — тоже кричал Пессимист.— А мы знаем. Наша тоска оправданна!

— Ты неправ, Алик!

— Ка-ка-ка! — горько смеялся Алик, Пессимист.

Вот раз спорили они, спорили, чуть не подрались, но опять ни до чего не договорились. Тогда Оптимист говорит:

— Я знаю одного волшебного человека. Пойдем к нему, он нас рассудит.

— Я знаю, зачем вы пришли ко мне,— сказал Волшебный человек.— Я помогу вам. Но прежде вы мне — каждый — покажете жизнь такой, какой вы ее видите. Только тогда я смогу разрешить ваш спор.

— Я согласен! — звонко воскликнул Оптимист.

— С удовольствием,— сказал Пессимист.— Я вам ее покажу. О, я вам ее покажу!

— Видите этот дом? — спросил Волшебный человек, поморщившись на такую чрезвычайную уверенность Пессимиста.

— Видим!

— Там живет девушка. Вечером ее придут сватать. Я хочу, чтобы каждый из вас показал это событие в ее жизни так, как он видит. Заделаем? — И Волшебный человек негромко засмеялся.

Сказано — сделано. Вечером все трое пришли к дому девушки и сели напротив, на лавочке. Волшебный человек посмотрел на часы.

— Пора. Кто первый?

— Я! — сказал Пессимист. Ему очень уж не терпелось.

Волшебный человек дал Пессимисту волшебную веточку и велел:

— Махни этой веточкой и скажи:

«Распояшьтесь, распахнитесь,
Не стесняйтесь, покажитесь.

Веточка, веточка, покажи мне людей, но не такими, какими их все видят, а такими, какими я, имярек, вижу».

Пессимист взял веточку, взмахнул ею и сказал:

— Распояшьтесь, распахнитесь,
Не стесняйтесь, покажитесь.

Веточка, веточка, покажи мне людей, но не такими, какими их все видят, а такими, какими я, Алик, вижу.

Только он так сказал, стена дома Невесты с треском раскололась. И видно стало: грязная комната; семейство Невесты — сама Невеста, ее Мать, Отец и Дедушка сидят за столом, ужинают.

Мать Невесты наклонилась к уху свекра и сказала:

— Ну и жрать ты здоров, папаша!

Дед сморщился, переспросил:

— А?

— Кушаешь, говорю, много, куда к черту!

Старик обиделся, отодвинул тарелку.

За него вступился сын, Отец Невесты:

— Объел он тебя? — крикнул он на жену.

— А что я такое сказала? — в свою очередь обиделась Мать Невесты.— Пусть ест. Надо только меру знать.

Невеста крикнула на ухо Деду:

— Рубай, дедушка!

Старик придвинул тарелку и стал торопливо хлебать.

В это время по улице, направляясь в дом Невесты, прошла группа людей — семейство Жениха: сам Жених, его Мать, Отец. И с ними еще кто-то — Непонятно кто.

— А ту комнату я все равно перегорожу, и мы будем там жить! — кричал Жених.

— А шишок под носок хочешь? — спросил Отец.

— А я говорю: буду!

— А я говорю: нет!

— А я говорю: буду!

— А я говорю: нет!

— А где же он жить-то будет? — спросила мужа Мать Жениха.— Интересный ты тоже какой-то.

— Пусть где хочет, там и живет,— заявил Отец.— Когда я женился, мне отец тоже так сказал: «Как хошь, так и живи».

— Суд разберется,— значительно сказал Жених.

— Суд разберется,— согласился Отец.

Группа вошла в подъезд.

А в комнате между тем Мать Невесты рассказывала:

— Эта зараза сегодня и говорит мне на кухне: «Мне,— говорит,— кто-то керосину в суп подлил». А сама на меня смотрит. Я говорю: «Если ты,— говорю,— думаешь, что это я, так ты глубоко ошибаешься — не из таких. Нас,— говорю,— девять человек в семье росло, и все в люди вышли, а ты, говорю, одного...»

— Мамаша, а я видела,— сказала Невеста.

Дед тихонько засмеялся.

— Чего ты видела? — строго спросила Мать.

— Как ты керосин подливала.

Дед опять тихонько засмеялся. И все тихонько засмеялись. Мать Невесты тоже хихикнула.

— Я ей хотела туда мочалку положить, но пожалела мочалку,— призналась она.

В дверь постучали.

— Кого там еще черт несет,— проворчал Отец и пошел открывать.

В комнату вошел Жених со своим семейством. Поздоровались:

— Привет!

— Здравствуйте!

— Приятного аппетита!

— Здравствуйте.

Только двое промолчали: Дед и Непонятно кто. Непонятно кто стал осматриваться в комнате.

— Может, ужинать с нами? — спросила Мать Невесты.

— Благодарственны,— сказал Отец Жениха.— Мы по делу к вам.

— По какому такому делу? — спросил Отец Невесты, будто не понимая, в чем, собственно, это дело.

Отец Жениха с неудовольствием посмотрел на сына, вышел на середину комнаты и сказал:

— Ну вот, значит: у вас, мы слыхали, товар залежался, а у нас купец вот дурью мучается... Вопчем, надо их окрутить, и дело с концом. Как вы насчет жилплощади?

— Это вы не туда попали! — отрезала Мать Невесты.

— Как? — Отец Жениха посмотрел на сына; тот сделал ему знак рукой: «Туда. Она просто поломаться хочет».— Нет, мы туда попали. Мы «не туда» никогда не попадаем.

— Может, и туда, но товар у нас не залежался,— пояснила обиженным тоном мать Невесты.— У нас в роду этого не было...

Тут не выдержала Невеста.

— Мама, ну чего ты? Прям-то, как эта... Это же обряд такой,— сказала она.

— А ты молчи! — прикрикнула на нее Мать.— Прижми хвост и помалкивай. Без тебя как-нибудь разберемся.

— Вы свататься, что ли, пришли? — нетерпеливо спросил Отец Невесты.

— Свататься.

— Так и говорите, а то крутют тут...

— А то ты не понимаешь! — ехидно сказал Отец Жениха.

Непонятно кто не обращал никакого внимания на сватовство. Он осмотрелся, подошел к старику, спросил:

— Шифонер не сами делали?

Дед не расслышал.

— А?

— Шифонер, говорю, не сами делали?

Дед посмотрел на шифоньер.

— Нет. Какого лешего я его сам буду делать?

— А чего эт ты к шифонеру приглядываешься? — спросил Отец Невесты, подозрительно глядя на незнакомого человека. Тот в это время внимательно разглядывал тумбочку. На вопрос не ответил.

Жених все время стоял у двери. Когда Мать Невесты сказала дочери: «Прижми хвост и помалкивай!» — он уставился на нее немигающими строгими глазами. Потом не вытерпел и сказал:

— Я дико извиняюсь, но вы, мамаша, тоже неправильно выражаетесь. Вы, например, сказали: «Прижми хвост». Я не согласен.

Мать Невесты приятно изумилась.

— Скажите, какой заступник выискался! Она еще пока моя дочь — как хочу, так и говорю с ней. Вот когда она будет твоя жена, тогда можешь мне затыкать рот.

Жених не почувствовал в словах будущей тещи доброго отношения к себе, глупо уперся.

— А я не согласен! Надо тоже выбирать выражения. Я вам тоже могу сказать: «Закройте поддувало». Вы тоже будете несогласны.

Мать Жениха и Отец Жениха засмеялись. Зато Мать Невесты и Отец Невесты нехорошо посерьезнели.

— Нет, почему,— сказал Отец Невесты,— я просто за такие слова в лоб дам разок, и все.

Жених снисходительно улыбнулся, а Невеста хихикнула.

— Папаша,— сказала она радостно,— он же перворазрядник по боксу. У него же удар — двести пятьдесят кило.

Отец Невесты прикусил язык.

— А тумбочки тоже не сами делали? — спросил Непонятно кто Деда.

— А?

— Тумбочки, говорю...

Дед посмотрел на тумбочки.

— Нет.

— Ну ладно,— сказал Отец Жениха,— это все пустые разговоры. Как у вас с жилплощадью? Только не тяните кота за хвост.

Тут неожиданно взорвался Дед.

— Это безобразие! — воскликнул он.— При чем тут жилплощадь, если они любют друг друга?

Все удивились.

— Ты что, чокнулся? — спросил Отец Невесты.— Или сорвался с одного места?

— Проснулся,— ядовито заметила Мать Невесты.— Чего ты лезешь не в свое дело? Твое место знаешь где?.. Сказать?

— Я правильно говорю. Сперва надо невесту спросить: согласна она или нет. Ты согласна, внучка, за этого дурака?

Жених опять снисходительно улыбнулся. Все, однако, посмотрели в сторону Невесты.

В этот момент как на грех вошла Соседка, стареющая дева. Зыркнула глазами туда-сюда и моментально сообразила, что здесь происходит.

— О, у вас гости? — сказала она улыбаясь.— Извините, пожалуйста, я только хотела утюга попросить. Катя,— к Невесте,— дай мне, пожалуйста, утюга.

Катя решила сыграть на Соседку, решила воздвигнуть на кухне небольшой нерукотворный памятник себе: решила убить Соседку.

— Я еще не знаю,— сказала она потупясь.— Я еще подумаю. Вообще-то, мне еще рано замуж.

Все опешили. Повисла неловкая пауза.

— Да? — спросил Жених.— Может, нам лучше разойтись как в море корабли? Чтобы без трепа?..

Опять пауза. Момент тяжелый, противный.

— Катя,— заговорила Соседка.— Я насчет утюга... Извините, пожалуйста.

Никто на нее не обращал внимания. Кате и подавно было не до утюга. Дед поднялся, нашел утюг, подал Соседке. Та вышла. Непонятно кто остановил Деда и заговорил:

— Интересно, а этажерку...

— Пошел к черту! — разозлился старик.— Я не столяр! Я машинистом был — ту-ту!.. Понял?

— Что вы кричите? Я же не глухой, как некоторые тут...

— Нет, я хочу понять — в каком смысле надо понимать: «Мне еще рано замуж»? — спросил Жених.

— Да в таком самом...— Невеста поняла, что ужасно сглупила, растерялась.

— В каком «в таком самом»?

— Да в таком самом. И нечего ко мне приставать.— Она чуть не плакала от отчаяния.

— Я все понял,— сказал Жених.— Пойдемте, родители.

— Посмешили людей и пошли? Так только комики делают,— сказала Мать Невесты.

— Я, может, пошутила,— попробовала выйти из положения Невеста.— Я, может, просто так сказала.

— Ничего себе шуточки! — воскликнул Жених.— Я тоже могу сказать: «Мне еще рано жениться, я еще не нагулялся». Интересно, понравится тебе это? Не понравится, я больше чем уверен.

— Она не хотела так сказать,— сказала Мать Невесты.

— А как же она хотела сказать?! Я же не дурак, как намекает ваш глухарь, я же понимаю, как она сказала.

— Она — девушка и должна проявлять скромность,— встрял в неприятный разговор Отец Невесты.— Мало ли, что она согласна! Она должна говорить, что не согласна.

— Я только сказала: я подумаю.

— Знаете!..— взревел Жених.— Знаем мы эти штучки! Сегодня — подумаю, а завтра — хаханьки с соседом. Знаем мы это. У меня один друг тоже женился: она ему на другой же день изменила.

— Ну и мы тоже кое-что знаем! — оживилась Невеста.— У одной моей подружки тоже муж сказал, что едет в командировку, а сам жил с нашей общей знакомой. Она их застукала. Так он набрался нахальства и говорит: «А мы,— говорит,— ничего, мы,— говорит,— письмо турецкому султану пишем...»

— Тоже — комик,— заметила Мать Невесты.

— А у меня товарищ был,— вспомнил Отец Невесты,— так что он выкинул: застукал тоже жену с хахалем и скинул его с четырнадцатого этажа.

— Разбился? — поинтересовался Непонятно кто.

— Хахаль-то? Конечно. С четырнадцатого этажа... Попробуй.

— А я этто иду вчера по улице,— заговорил Отец Жениха,— гляжу: муж колотит жену со всех сил. А у самого кулак — с детскую головку. Я ему говорю: «Что ж ты делаешь? Ты же можешь ей ребра сломать». А он мне отвечает: «Чем,— говорит,— меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей». Доцент какой-нибудь...

— У вас санузел объединенный? — спросил Непонятно кто у Отца Невесты.

— Объединенный,— ответил тот.

— Это плохо,— сказал Непонятно кто.

— Кому как.— Отец Невесты опять подозрительно посмотрел на незнакомца.— В тесноте, да не в обиде, говорят.

— А соседи как? Ничего?

— Ничего. Тимошка Соколов только буянит часто. Вот тут, через стенку, живет. С топором бегает, стекла бьет иногда... А вчера, например, явился домой в состоянии зеленого алкоголя. А семья,— ну, то есть, родные и знакомые, смотрели телевизор. Ну, он тоже стал смотреть. Посмотрел немного и говорит: «Таких плотников не бывает!» Его попросили привести себя в порядок. А он свое: «Таких плотников не бывает! Я,— говорит,— сам плотник — знаю! Это вранье все». Снял сапог с левой ноги и произвел удар по телевизору.

— Сколько дали? — спросил Непонятно кто.

— Пятнадцать суток. Я сам и отвел его в отделение. Критик ты,— говорю,— а не плотник.

— Какой телевизор? — спросил Непонятно кто.

— Обыкновенный телевизор.

— Они разные бывают.

— У них «Рекорд» был,— сказала Невеста.

— Самый плохой. А вот у вас, я смотрю, никакого телевизора нету.

— Телевизор — это одно беспокойство,— упрямо сказал Жених.— У одного моего друга тоже телевизор был... Смотрели как-то с соседями постановку про любовь. Свет, конечно, выключен. Ну, один сосед начал щупать жену друга. Они, значит, так сидели: она впереди, жена-то, а муж с соседями сзади. Ну, он начал ее поглаживать. Она говорит: «Это ты, Вася?» — мужа-то Васей звать. А Вася — ни сном, ни духом. «Чего?» — говорит. «Ничего»,— это она-то. «Я,— говорит,— думала, это ты».

— Ая-яй,— сказала Мать Невесты.

— Ловко! — с восхищением заметил Отец Невесты.

— А, по мне, вот — хоть он есть, этот телевизор, хоть его нет,— все равно,— сказала Невеста.— Я больше люблю в окно смотреть.

— Баловство одно от этих телевизоров,— согласилась Мать Невесты.

— Нет, иногда можно посмотреть, почему,— сказал Жених.— Совсем не смотреть телевизор — это тоже отсталость. Но зачем свет выключать?

— Да, это уж так,— поддакнула Мать Невесты.— Свет выключут — тут уж конечно...

— Да, тут уж только держись, это точно,— подкинул Отец Невесты.

— При свете-то, конечно, можно посмотреть,— поправилась Невеста,— я в этом смысле и сказала. Я в этом смысле ничего не имею против. У одной моей подружки тоже телевизор есть... Она, как видит меня, всегда говорит: «Почему ты никогда на телевизор не приходишь?» Я говорю: «Нет, смотрите уж сами». Она говорит: «Почему? Хоть,— говорит,— посмеемся».— «Нет,— говорю,— смотрите уж сами». А потому что я знаю, что они, когда смотрят телевизор, свет всегда выключают.

— «Посмеемся»! — возмутилась Мать Невесты.— «Приходи, хоть посмеемся»! Начнут все смеяться, так ты и не заметишь, как тебя общупают всю. И я всегда своей дочери говорила: «Никогда не смейся, доченька!» Она иной раз: «Мам, я в кино схожу».— «А чего,— говорю,— ты там не видела? Чего? Опять смеяться будете?»

— Нет, иногда можно посмеяться, почему. Если комедия какая-нибудь — пожалуйста, смейся. Для того и на афишах пишут: «Комедия».— Жених потихоньку наглел.— Я сам люблю комедии...

— В здоровом теле — здоровый дух,— согласился Отец Невесты. Чем больше наглел Жених, тем активнее заискивали перед ним Невеста, Отец Невесты, Мать: как ни крути, а замуж надо.

— А при чем тут тело? — строго спросил Жених.

— Я в том смысле, что я тоже кино уважаю.

— Надо же выбирать выражения.

— Это правильно, конечно.

— Вообще-то, кино — это разврат,— сказал Жених.— Ты же берешь билет, ты же не знаешь, кто рядом с тобой сидеть будет. Бывает так, что сядет какая-нибудь фифочка... От нее духами и всякими... Тут не то что на экран, тут всякие мысли в голову лезут, хе-хе...

Все громко засмеялись.
В дверь постучали.
— Можно! — сказал Отец Невесты.
Вошел пожилой скромный Гражданин с газетой в руках.
— Что случилось, соседушка? — миролюбиво спросил Отец Невесты.
— Нельзя ли потише, товарищи?
— У нас, видишь ли, ЧП — дочку замуж выдаем.
— Я понимаю, но все-таки... пожалуйста, а?
— Ладно.
Скромный Гражданин вышел.
— Кто это? — спросил Непонятно кто.
— Да бухгалтеришка один... Вредный, зараза! Мы тут на днях клопов морили керосином, ну, конечно, открыли дверь, чтобы запах в коридор выходил. Так он нарочно завязал голову полотенцем и ходит с полотенцем. «Голова,— говорит,— болит от вашего керосину».
— «От вашего керосину...» А сам, наверно, с похмелья мучился,— сердито сказала Мать Невесты.
— Закладывает? — спросил Непонятно кто.
— Да говорит, что у него желудок вырезан. А сам, наверно, пьет потихоньку. Кто нынче не пьет?
— Я сам на днях клюкнул с дружками в кафе — еле до дому добрался,— весело сказал Отец Невесты.— Спасибо, ребята-дружинники помогли.
— Если не буяните, почему не выпить? — вставила свое слово Мать Жениха.— Бывают буйные.
— Нет, он у нас спокойный,— не без одобрения сказала Мать Невесты.
Отец Невесты был явно польщен этим замечанием жены и стал хвастать:
— Я сразу — спать. Других тянет шататься где-ни-то, а я сразу домой — спать.
— Папа у нас, как напьется, так берет песенник и поет все песни подряд. И все на один мотив,— сказала Невеста, с любовью глядя на отца.
Довольный Отец засмеялся.
— Ну, ты уж скажешь, дочка.
— А что, неправда? Мама его ругает матом, а он себе поет.
— Хе-хе-хе... Нет, я действительно не понимаю таких: напьется — и вот начинает строить из себя! Правильно, что начали бороться с такими. Напился? — иди домой!

И никто никогда тебе слова не скажет. Наоборот, будут в пример ставить.

— Если не буяните, то почему же,— опять сказала Мать Жениха и посмотрела на своего мужа.

— У меня отец-покойничек, царство ему небесное, дедушка Катин,— вспомнила Мать Невесты,— такой был. Душевный человек! Уж там пил, господи-батюшка!.. Один две пол-литры усиживал. Но чтобы он кому-нибудь лишнее слово сказал или ругнулся на улице — никогда! Придет, бывало,— еле на ногах стоит, а сам все улыбается. «Вот и я»,— говорит. Любили его все. Так от запоя и помер, сердешный.

— А я вот никогда не помню, что со мной бывает,— сказал Отец Жениха.— Проснешься утром и думаешь: «Что же вчерась было?»

— Это опасно,— авторитетно сказал Отец Невесты.— Так можно подзалететь. У нас на днях судили одного...

— А с моим другом тоже на днях история была,— заговорил Жених.— Пошел он с женой в гости к нашим общим знакомым, выпили тоже, завели радиолу, пошли танцевать. А он, друг-то, замечает, что у его жены что-то глаза блестят. Ну, притворился пьяным. Потом — раз на кухню: а там целует его жену наш общий знакомый. Свет, конечно, выключен.

— Ая-яй! — сказала Мать Невесты.

— Ловко! — воскликнул Отец Невесты.

— А он что? — спросил Непонятно кто.— Выкинул его?

— Кто?

— Муж-то?

— Он им ничего не сказал.

— !!!

— А когда они ушли из кухни, он взял им холодильник испортил и выпустил попугая из клетки. Совсем — в форточку.

— Ловко!

— Я вот не понимаю женщин, которые танцевать любят,— заговорила Невеста.— Что хорошего? Кружатся, кружатся — смотреть противно.

— Нет, иногда можно потанцевать, почему. Но вообще-то — это разврат, я по себе погонюсь: пойдешь с какой-нибудь фифочкой, а от нее духами всякими... Хе-хе...

Все опять громко засмеялись.

В дверь постучали.

— Можно! — сказал Отец Невесты.

Вошел пожилой человек с газетой.

— Товарищи, нельзя ли потише?

— Знаете что!..— взорвалась Мать Невесты.— Идите лучше похмелитесь! Ходют тут алкоголики всякие!

Гражданин вытаращил на нее глаза.

— Вы что, спятили?

На Гражданина двинулся Отец Невесты.

— Как ты сказал? Я что-то не расслышал. Ну-ка, повтори еще...

Жених остановил его и вежливо сказал скромному Гражданину:

— Товарищ, я вас сейчас изуродую. Вот сюда достану разок... Оп!..— Он сделал выпад, пугая Гражданина.

Гражданин выбежал из комнаты. Все опять засмеялись.

— Вот так и надо с ними,— сказала Мать Невесты.

— До чего обнаглел народ! — возмутился Отец Невесты.— Это ж — не пройдешь по улице, чтобы тебе чего-нибудь не отдавили. Мне на днях все руки отдавили.

Непонятно кто вопросительно уставился на Отца Невесты.

— А я как-то иду по улице,— заговорил Отец Жениха,— ко мне подходят двое. «Давай,— говорят,— на троих?» Я говорю: «У меня денег нету». Так один мне сунул вот сюда кулаком и говорит: «Зазнался, сука».

— В таких случаях надо сразу вот сюда бить,— сказал Жених. Подошел к отцу, показал — под ложечку.— Вот так — р-раз!..

— Ой!

— У нас недавно случай был: приходим с другом в парк...

— Одну минуточку, я перебью,— сказал Непонятно кто.— Я не понял, как это вам руки отдавили?

Отец Невесты оглушительно захохотал. И все, кто был в комнате, оглушительно захохотали и посмотрели на Непонятно кого, как на дурачка.

— А вот как! — воскликнул Отец Невесты, встал на четвереньки и пошел по комнате.— Идите ко мне.

Непонятно кто стоял на месте.

— Ну иди, иди,— подтолкнул его Жених.

Непонятно кто пошел к Отцу Невесты.

— Вот я иду домой,— стал объяснять Отец Невесты,

стоя на четвереньках.— Так? А ты — прохожий... Иди мимо меня. Иди!

— Зачем?

— Да иди, не бойся!

Непонятно кто пошел мимо него.

— Идешь, да? — спросил Отец Невесты.

— Иду.

— Теперь наступай мне на руку... Ну, наступай!

— А-а! — понял наконец Непонятно кто.

Все опять засмеялись. Отец Невесты встал, отряхнул колени.

— Вот так и отдавливают руки, молодой человек,— сказал он, снисходительно улыбаясь.

— Ну, приходите вы, значит, с другом в парк? — напомнила Невеста Жениху, заранее улыбаясь.

— Ну, приходим мы, значит, в парк, друг и говорит мне: «Тут,— говорит,— один тип есть, он у меня девушку отбил. Пойдем,— говорит,— потолкуем с ним, как жельтмены». Я ему как дал вот сюда, он двадцать семь минут в нокауте был.

— Ловко!

— Я только не поняла, кто в нокауте лежал: ваш друг или тот тип? — спросила Мать Невесты.

— Да тот тип, конечно,— воскликнула Невеста.— Мама скажет тоже...

— Тип,— подтвердил Жених.— Я ему в печень дал.

— Одну минуточку, я перебью: сколько у вас квартплата выходит? — спросил Непонятно кто.

— Пять с копейками,— ответил Отец Невесты.

— Продолжайте.

Но тут заговорил Отец Жениха.

— Ну, а как мы решим наше дело-то? — спросил он всех.

— Нет, я же ясно сказал: ничего не выйдет,— сказал Жених.— Мы разойдемся как в море корабли.

Минуты три все молчали, смотрели на Жениха.

— Я не люблю зря трепаться,— пояснил тот.— Я же сказал давеча: «Знаем мы эти штучки».

Дед тихонько засмеялся.

— Пошляк! — громко сказала Невеста и заплакала.

Отец Невесты, тоже чуть не плача от обиды и оскорбления, пошел снимать ружье.

— Ты боксер, да? Ты боксер? — Снял ружье, взвел курок.— А я вас тогда дуплетом...

Первой, взвизгнув, бросилась из комнаты Мать Жениха, за ней — Отец Жениха. Потом выскочил Жених. Непонятно кто остался и, не обращая внимания на суматоху, стал мерять шагами комнату — считал метраж.

— А тебе чего тут надо?! — заорал Отец Невесты.— Ты кто такой?

— Я квартирант ихний, Лизунов Евгений Елизарович,— спокойно пояснил Непонятно кто.— Как вы насчет того, если мы поженимся с вашей дочкой?

Невеста неприлично разинула рот. Мать Невесты ущипнула себя за руку. Отец Невесты зачем-то посмотрел в дуло ружья и повесил ружье на стенку.

— Черт его знает,— сказал он.— Я что-то ничего не понимаю...

— Что ты не понимаешь?! — накинулась на него супруга.— Что тут непонятного, скажи, пожалуйста? Совсем уж одурел?..

Лизунов засмеялся.

— Это, знаете, бывает. По-научному — первая стадия.

— Закрой рот,— негромко сказала мать дочери. Потом обратилась с улыбкой к Лизунову: — Тонко же вы подъехали!.. Просто даже удивительно!

Лизунов снял пиджак, аккуратненько повесил его на спинку стула, стал закатывать рукава.

— Жизнь, мамаша, сложная штука. Простите, ванночку можно принять? И мне бы махровое полотенце и детскую шампунь. Перхоть, знаете...

— Можно. Пойдемте, я покажу,— захлопотала Мать Невесты.— А ты, Катюша, собери пока на стол. А ты, отец, сбегай в магазин...

Лизунов пошел и запел:

— Не брани меня, родная...

Тут Волшебный человек взял у Пессимиста волшебную веточку и взмахнул ею. Стена дома сомкнулась.

— Ты неправ, Алик! — воскликнул Оптимист и стал взволнованно ходить возле скамейки.— И откуда в тебе это?! Откуда?

— Ка-ка-ка!..— засмеялся Пессимист.

Волшебный человек между тем перевел свои волшебные часы назад на два часа и отдал веточку Оптимисту.

— Теперь ты. Время вернулось назад на два часа — событие то же: придут сватать Невесту. Покажи, как ты это видишь.

Оптимист махнул веточкой и сказал:

— Распояшьтесь, распахнитесь,
Не стесняйтесь, покажитесь.

Веточка, веточка, покажи нам людей, но не такими, какими их все видят, а такими, какими я, Эдуард, вижу.

Только он так сказал, стена дома Невесты с треском раскололась.

Все так же, как мы уже видели, и все тем не менее не так. Люди те же, и вместе с тем совсем другие. И в комнате все как будто так же, да не так...

— Ну и любите вы покушать, папаша! — весело сказала Мать Невесты на ухо Деду.

— А?

— Аппетит, говорю, у вас отличный!

— Не жалуюсь, не жалуюсь. Бывало, в империалистическую на спор барана съедал. Зато и силенка была! Посажу, бывало, трех неприятелей на штык — и через себя.

— Вы бы писали об этом, дедушка,— сказала Невеста.— У вас такая богатая жизнь.

— А я и пишу, внучка. Пишу книгу. Называться будет: «Руки вверх, неприятели!» Если хочешь, почитаю после ужина.

— С удовольствием послушаю,— согласилась Невеста.

— Кушайте, папаша, кушайте,— угощала его Мать Невесты.— Потом нам всем почитаете. Мы все с удовольствием послушаем.

По улице, направляясь в дом, проходит семейство Жениха, и с ними еще кто-то — Непонятно кто.

— Ну, рояль, холодильник, телевизор — это все забирайте,— говорил Отец Жениха.— Вы — молодые, вам это нужно.

— Спасибо, отец! — с чувством сказал Жених.— Но я предпочитаю приобрести все на свои заработанные деньги.

Отец Жениха улыбнулся хорошей улыбкой.

— Понимаю — гордость! Вот таким я и хотел видеть своего сына.

Мать отвела сына в сторонку и сказала негромко:

— Отец хочет вам подержанную «Победу» купить на свои сбережения.

— «Победу»?!

— Тш!.. Только ни слова об этом. Он хочет сделать сюрприз.

Сын догнал Отца, обнял его и поцеловал в щеку.

— Что еще такое? — спросил Отец с мужской, доброй суровостью.— За что?

— За все, папа!

Мать Жениха и Непонятно кто идут сзади.

— Какой у вас замечательный сын! — сказал Непонятно кто.

Мать было всплакнула, но тут же вытерла слезы. Улыбнулась.

Вошли в подъезд.

А в комнате Мать Невесты рассказывала:

— Сегодня поссорилась с Марьей Николаевной.

— Что такое? — спросил муж.— Почему?

— Она говорит, что сегодня ее очередь оставаться с соседской девочкой, а я говорю — моя.

— Мама, но вы же вчера оставались с ней,— сказала дочь.— Марья Николаевна права.

— Да, но девочка ко мне привыкла,— стала оправдываться Мать.— Кроме того, мы с девочкой не дочитали повесть «Жилин и Костылин».

— Какая повесть! — сказал Дед.— Умел закручивать граф Толстой. А? Мастер, мастер. Биография только... того, а так — мастер.

— Мастер,— согласился Отец Невесты.— И что удивительно — все предельно просто и лапидарно!

— В том-то и штука. Я, например, в своей книге «Руки вверх, неприятели!» хочу тоже изложить события предельно простым языком. Но трудное это дело! Ох, трудное! Я понимаю Толстого с его «Не могу молчать!» Иной раз такое волнение охватит, думаешь: лучше бы я ему в морду дал, отрицательному герою какому-нибудь, хочется, извиняюсь, матом крыть, а приходится писать, что называется, кор-рэктно. Тьфу!.. слово-то какое-то...

— Когда вы думаете закончить книгу, дедушка? — спросила Невеста.

— Думаю, что через пять лет закончу. Это будет мой скромный подарок грядущим поколениям.

В дверь постучали.

— Войдите! — сказал Отец Невесты.

Вошло семейство Жениха.

Жених: — Добрый вечер!

Отец Жениха: — Здравствуйте!

Мать Жениха: — Добрый вечер! Приятного аппетита!

Непонятно кто: — Здравствуйте, товарищи!

Невеста: — Здравствуйте!

Отец Невесты: — Вечер добрый!

Мать Невесты: — Добро пожаловать!

Дед: — К нашему шалашу!

— Извините, что в такой поздний час,— заговорил Отец Жениха.— Но дело, как говорят, не терпит отлагательств.

— Пожалуйста! — воскликнул Отец Невесты.— Какие могут быть разговоры? Присаживайтесь с нами.

— Спасибо за приглашение: мы только что отужинали — и сразу сюда.

Жених и Невеста переглядываются. Невеста покраснела. Дед с этакой стариковской хитрецой наблюдает за молодыми.

— Так по какому же такому делу пожаловали, товарищи? — спросил Отец Невесты: он действительно не понимает, в чем дело.

— Пожаловали мы по весьма, так сказать, щекотливому делу,— заговорил Отец Жениха, заметно волнуясь.— Молодые люди — ваша дочь и мой сын,— оказывается, любят друг друга.

Отец Невесты очень удивился, а Мать Невесты не удивилась, но она тоже была заметно взволнована. А Дед улыбался хорошей стариковской улыбкой — хитрой и доброй. Невеста опустила глаза долу.

— Я со своей стороны серьезно и обстоятельно беседовал с сыном,— продолжал Отец Жениха.— Думаю, что к браку он готов.

Отец Невесты, заметно волнуясь, ходил по комнате.

— Ах, стрекоза!.. А я-то, старый дурак, живу и ничегошеньки не знаю! Я-то думаю, что она у нас все еще девчонка, а она вон что!.. Почему ты мне не сказала, что у тебя есть молодой человек и что вы хотите пожениться? Почему? Неужели я консерватор какой-нибудь?

— Папуля, мне было как-то стыдно об этом говорить. Я просто не знаю... Я знала, что вы не консерватор, и все равно... Мне и сейчас ужасно стыдно, товарищи... Просто не знаю.— Невеста тоже заметно взволнована.

— Как же так, дочка? Я удивлен, я тебе честно говорю: я удивлен. Не сказать отцу...

— Ну что ты к ней пристал, Микола,— вступился за внучку Дед.— Молодость диктует свои законы, которые нам не всегда дано понять. Ты тоже в свое время не сказал мне...

— Тогда было другое время, отец.

— Я бы хотела только обратить внимание молодых людей на тот факт, что женитьба — это очень и очень ответственный шаг, дети мои,— сказала Мать Невесты.— Я не против того, чтобы вы поженились. Я знала о том, что вы дружите... Мне обо всем рассказывали соседи и ваши учителя. Но вы не представляете, дети мои, насколько это серьезный и ответственный шаг.— Она всплакнула.

— Успокойся, мать,— сказал Отец Невесты.— Жизнь есть жизнь: молодое растет, старое старится. А давно ли, кажется, мы с тобой стояли на перроне вокзала... Я уезжал тогда на Крайний Север... Ах, время, время! — Отец смахнул скупую слезу.

— Да, да... И мы тоже стояли когда-то на перроне вокзала,— Отец Жениха тоже смахнул скупую слезу.

Непонятно кто подошел к Деду и спросил:

— Я слышал, вы книжку пишете, дедушка?

— Пишу, молодой человек, пишу.

— «Воспоминания пожилого человека»?

— Ась?

— Я говорю, называться будет: «Воспоминания пожилого человека»?

— Плохо вы о нас думаете, молодой человек! — обиделся Дед.— Какие же мы пожилые?! Разве годы могут старить человека?

Непонятно кто смутился.

— Нет, я не в том смысле сказал... Я понимаю, что годы тут ни при чем.

— То-то! Я в свои семьдесят девять лет моложе иного восемнадцатилетнего. А почему? Да потому, что не отстаю от жизни. А вот некоторые... Ну-ка, молодые люди!..— (Это к отцам.) — Чего захлюпали?! Выше голову! Грянем, братцы, удалу-ую!..

Все громко засмеялись.

Стук в дверь.

— Войдите,— сказал Отец Невесты.

Вошел пожилой Гражданин с энциклопедией в руках.

— Добрый вечер, товарищи!
Отец Невесты: — Здорово, сосед!
Мать Невесты: — Здравствуйте, Семен Кузьмич!
Дед: — К нашему шалашу, Кузьмич!
Невеста: — Здравствуйте, дядя Семен.
Отец Жениха: — Здравствуйте!
Мать Жениха: — Здравствуйте!
Жених: — Здравствуйте!
Непонятно кто: — Здравствуйте!

— А я слышу: у вас какое-то торжество, дай, думаю, зайду,— сказал Гражданин.

— А вот они, виновники торжества! — сказал Отец Невесты и показал на Жениха и Невесту.— Моя дочь выходит замуж.

— Да что вы говорите! — изумился Гражданин.— Катюша, милая!.. Поздравляю тебя, дитя мое, поздравляю! — Подошел, поцеловал Невесту в лоб.— А где же?.. Ага, вот он! — Он строго, но вместе с тем любовно посмотрел на Жениха.— Ничего, ничего... хорош! А? Арсений Назарыч?.. Как находишь?

— Мне — лишь бы не отставал от жизни,— сказал Дед.

— Нет, хорош, хорош... Поздравляю, молодой человек, от души поздравляю! Вы, можно сказать, открыли клад.

— Э-э, что — клад, Семен Кузьмич,— упрекнул Гражданина Дед.— Что в наше время клад?

— Я просто к слову, Арсений Назарыч. Нет, хорош... А ведь я Катюшу-то вот с каких лет знаю, когда она еще под стол пешком ходила, хе-хе-хе... Ах, где мои семнадцать лет!

— А вот этого я не люблю, Семен Кузьмич,— опять осадил его Дед.— Что это за вздохи?

— Я так, Арсений Назарыч, к слову. Нет, хорош! Так, молодые люди... одну минуточку.— Семен Кузьмич вышел с таинственным видом.

— Неисправимый человек! — усмехнулся Отец Невесты.— Сейчас что-нибудь принесет в подарок, уж я его знаю.

— Когда я еще была маленькой,— заговорила Невеста,— дядя Семен водил меня в планетарий, показывал на Луну и говорил: «Учтите, вы там будете». И плакал.

— Он у нас, как Циолковский,— вставил Отец Невесты.— Тоже, кстати, все чертит чего-то. Спросишь: «Че-

го ты изобретаешь-то все?» Он махнет рукой и скажет: «Так... мысли распирают».

— Но сдает последнее время, сдает,— заметил Дед.

Вошел Семен Кузьмич с телевизором в руках.

— Прошу принять от меня этот скромный подарок, молодые люди.

— Что вы, дядя Семен! — воскликнула Невеста.

— Что вы, Семен... э-э... Семен Кузьмич! — тоже воскликнул Жених.

— Прошу, прошу... И без церемоний — я этого не люблю. Иначе обижусь. Берите, мне тяжело держать.

Жених принял телевизор.

— Спасибо.

— На здоровье. Мне он на старости лет...

Дед погрозил Семену Кузьмичу пальцем.

— Кузьми-ич!..

— Молчу. Эх, грянем, братцы, удалу-ую!..

Дед подхватил:

— Эх, на поми-ин ее души!

Все громко засмеялись.

Семен Кузьмич посмотрел на часы.

— Хорошо с вами, дорогие мои, но дело есть дело: судим одного прохвоста товарищеским судом. Представляете, выкинул номер: обиделся, что его покритиковали на жилактиве за некультурное поведение в лифте, пришел домой, включил везде свет — днем!.. Включил утюг, электроплитку и сидит.

— Позор! — сурово сказал Дед.— Выселить в необжитые районы.

— Мало того: он начал петь! Соседи, естественно, возмутились: попросили прекратить. И знаете, что он ответил? «Я, говорит, не знал, что в доме такая звукопроницаемость».

— А вот это уже нахальство,— сказал Отец Невесты.— Он не знал, что в доме такая звукопроницаемость! Наивный ребенок!

— В наше время многие под наив работают,— сказал Непонятно кто.— У нас в институте один парень тоже... «Я,— говорит,— не знаю, почему Ремарк — это плохо...»

— Пропесочить разок хорошенько — узнает,— посоветовал Дед.

В дверь постучали.

— Войдите! — сказал Отец Невесты.

Вбежала Соседка, подруга Невесты.

— Боже мой!.. Катя!..

— Зина!..

Они обнялись.

— Катя!..

— Зина!..

— Катька!..

— Зинка!..

Семен Кузьмич засмеялся, махнул рукой и вышел.

— Ну, теперь разговорам конца не будет,— притворно рассердился Дед и повернулся к Непонятно кому.— А вы что, тоже пишете, молодой человек?

— Да.

— О чем, если не секрет?

— Вещь называется «Три товарища» — в пику Ремарку. Действуют три друга: Димка, Толик и Боб. Они сперва заблуждаются, потом находят себя. А потом я буду писать еще одну вещь — в пику Хемингуэю.

— Одобряю,— похвалил Дед.— Благословляю, так сказать. Нам надо раскладывать, надо бичевать, надо перетряхивать!.. Я, например, в своей книге «Руки вверх, неприятели!» перетряхиваю все на свете. Надо, надо.

— Итак, молодые люди,— заговорил Отец Невесты,— вы будете жить самостоятельно. Как вы себе это представляете? Я хочу спросить прежде всего вас, молодой человек.

Жених вышел на середину комнаты и заговорил, заметно волнуясь:

— Мне легко отвечать на этот вопрос, потому что я недавно отвечал на вопросы анкеты одной молодежной газеты — «Ваше мнение о семье и браке». Я подробно остановился там на духовном облике современной молодой семьи, на ее, так сказать, идейной подоплеке. Я высказал там одну, на мой взгляд, интересную мысль: современная молодая семья не может существовать без взаимопонимания и дружбы.

— Так,— Отец Невесты кивнул головой.

— Далее, я указывал, что современная молодая семья не мыслится без взаимного уважения и доверия.

— Правильно.

— Вот эти четыре компонента, как три кита, составляют, на мой взгляд, основу основ современной молодой семьи.

— Так.

Жених вошел в раж.

— Я глубоко убежден,— говорил он звенящим голосом,— что, если даже только один из этих четырех компонентов перестанет соответствовать нормам современного общежития, молодая семья распадется. Я глубоко убежден также, что бракоразводный процесс в нашем законодательстве очень уж усложнен. Я могу навлечь на себя немилость леваков, могу показаться излишне тенденциозным, но я говорил и говорить буду, что объявлять в газетах о расторжении брака — это... альковное кощунство!

Все внимательно слушают расходившегося Жениха.

— Вы юрист? — спросил Отец Невесты.

— Я, так сказать, антиюрист.— Жених улыбнулся своей шутке.— Я филолог. Но дело тут, как вы сами понимаете, не в профессии. Меня глубоко волнует человеческая сторона этого вопроса. В самом деле, вы пришли с работы, приняли ванну, поужинали и ложитесь на диван. У вас отличное настроение. Вы берете газету и начинаете ее просматривать. Все хорошо. И вдруг: «Марья Иванна Загогулькина...»

Все громко засмеялись.

— «...возбуждает дело о расторжении брака с Загогулькиным».

Все опять громко засмеялись.

— Смешно? — спросил Жених.— Нет, грустно!!! Ты лежишь, тебе тепло, у тебя отличное настроение, а где-то плачет в пепел семейного счастья эта самая Загогулькина Марья Иванна...

Никто не смеется.

— Где-то пропадает хороший человек Загогулькин. Пропадает только потому, что вовремя не досмотрели, не проявили заботу! — В глазах Жениха горячие огоньки справедливого гнева.— Как же ты можешь лежать на диване, как ты можешь чувствовать себя хорошо, если где-то произошла драма! Нет, встань, найди этого самого Загогулькина, поговори с ним, узнай, в чем дело, а потом уж ложись. А до этого не смей лежать!!! Я кончил.

— Так их, молодой человек! — вскричал Дед.— И не бойтесь быть излишне тенденциозным! Слово-то какое-то тоже...

— Но ты впал в противоречие, Андж,— заметила Невеста.

— В какое?

— Если бы не было объявлений в газете, ты бы не узнал о драме.

— Ага! Ну-ка, ну-ка.— Дед от удовольствия потер ладони.— Люблю всякие пикники.

Жених снисходительно и с любовью посмотрел на Невесту.

— Я впал в противоречие только потому, что тебе этого хочется.

— Но если бы не было объявления в газете, ты не узнал бы о драме, и у тебя было бы хорошее настроение,— стояла на своем Невеста. У нее тоже загорелся в глазах огонек.

— Значит, по-твоему, не будь газеты, я бы не знал жизни? — спросил Жених.

Все с интересом наблюдают за молодыми, хорошо улыбаются.

— Я не утверждаю, что, не читая газет, ты бы не знал жизни — для этого существует кино, радио, телевидение. Я только хочу сказать, что ты бы не узнал о конкретной драме Загогулькина.

— Да я этого Загогулькина за два квартала узнаю! — воскликнул Жених.— Идет человек с грустными глазами — стоп! В чем дело, товарищ? Ну-ка выкладывай, не стесняйся — что там у вас случилось? И неважно, будет это Загогулькин или кто еще.

— Ты узнаешь, а другой не узнает. Нельзя всех мерить на свой аршин. Я знаю сколько угодно молодых людей, которые со спокойной совестью пройдут мимо Загогулькина.

— Во-от! — воскликнул Жених и показал пальцем на Невесту.— Вот мы и договорились!.. Вот с кем надо бороться — с равнодушными! Именно об этом я и хотел сказать, когда заговорил о бракоразводном процессе.

— Это все правильно, молодой человек,— сказал Дед.— Мне нравится ваша горячность, с какой вы отстаиваете свои убеждения. На мой взгляд, это несколько запальчиво, но с годами это уйдет. Вы станете спокойнее, и вам легче будет находить те единственно верные слова, которые проложат вам путь к счастливой жизни. Я хочу спросить о другом: как вы себе представляете

другую сторону семейной жизни — материальную, так сказать?

Жених поморщился.

— Как-то не хочется об этом сегодня...

— Нет, уж вы скажите,— настаивал Дед.— Я понимаю, мой вопрос несколько коробит вас, но мы, люди пожилые, знаем, что над этим вопросом многие ломали головы.

— Ну, во-первых, у нас будет две комнаты, два телевизора... Кроме того — я открываю чужую тайну...— Жених радостно засмеялся и посмотрел в сторону своего отца.— Но я очень рад и потому скажу: папа покупает мне подержанную «Победу».

В комнате воцарилась зловещая тишина. Все презрительно и гневно смотрят на Жениха. Он медленно, с ужасом постигает, как низко он пал со своей ничтожной, глупой, неуместной радостью.

— Вон,— негромко сказал Дед.

— Так вот вы какой, оказывается,— тоже негромко сказал Отец Невесты.— Вас в этом мире волнует только «Победа»? Можете считать, что сегодня вы не **победили.** Я присоединяюсь к требованию моего отца — вон! И, думаю, моя дочь тоже к нам присоединится.

— Я присоединяюсь, папа. Я... я не знала, какой он на самом деле...— Невеста заплакала.— Когда мы с ним говорили о семейной жизни, он говорил только о четырех компонентах. Он даже не заикался о «Победе». Он казался мне благородным, с превосходной подоплекой, а оказывается... оказывается, он вынашивал мысль о собственной «Победе»! Ничтожество! О, как я обманулась!

— Я сам только сегодня узнал,— вякнул было Жених.

— Не смейте! — Дед стукнул костылем в пол.— Не смейте ничего говорить! Если вы радуетесь по поводу того, что у вас будет своя «Победа», то радуйтесь еще больше, что вы в моем доме и я не могу вас отлупить вот этим костылем, потому что я бла-ародный человек! Можете идти в ресторан!

— Я потрясен, товарищи! — заговорил бледный Отец Жениха.— Мне трудно сейчас говорить... Я не узнаю своего сына... Я что-то просмотрел в нем в свое время — это несомненно. Я что-то главное не увидел в нем. Я действительно хотел купить ему «Победу». Но я никогда не

думал, что вместе с «Победой» в нем подымет голову тот маленький собственник, которого он так искусно скрывал в себе. Я сам всю жизнь вот этими руками разливал газировку (показал руки), мне подчас было не до сына, я передоверил его воспитание бабушке — и вот результат.

Мать Жениха тоже заплакала.

— Андрюша, сынок... Сколько раз я тебе говорила: не водись с этими молодыми людьми, это плохая компания. Ты мне что говорил? «Мама, это хорошие люди, хоть они и артисты. Но это не вина их, а беда». Ты говорил...

Отец Жениха: — О-о!

Отец Невесты: — Все понятно.

Мать Невесты: — Ая-яй!

Дед: — Ну, конечно!

Невеста: — Да-а!

Непонятно кто: — Да-а...

— А вместе с тем я знала,— продолжала Мать Жениха,— что один из этих молодых людей развелся с женой, у другого — выговор по общественной линии за грубость с начальством... И сколько бы он ни говорил, что это несправедливый выговор, я не верила. Несправедливых выговоров не бывает...

Жених стоял белый как бумага. Он посмотрел на Непонятно кого.

— Толик, скажи им, что это неплохие люди... Скажи хоть что-нибудь!

— Я не хочу с тобой говорить! — отрезал Толик.— Я больше тебе не друг. Ты только что говорил о борьбе с равнодушными — ты лгал! Ты не только не узнаешь Загогулькина, ты наедешь на него собственной «Победой». Ты раздавишь его! Подумай о том, что с тобой случилось сегодня, пойми, пока не поздно, что ты стоишь над пропастью во ржи! Ты говорил, что не надо объявлять расторгнутые браки в газетах, ты опять лгал: их давно не объявляют. Ты изолгался!

— Люди узнаются на крутых поворотах,— сурово сказал Дед.— Я не случайно заговорил о материальной, так сказать, стороне дела. Когда он говорил о четырех компонентах, в его словах чувствовалась какая-то неуверенность, он все время что-то недоговаривал. Меня не проведешь, молодой человек! Я раскусывал экземпляры посложнее, и мне жаль вашего отца и вашу мать: не велика радость иметь такого сына.

— Я осознал, товарищи,— жалко залепетал Жених.— Мне ужасно стыдно. Мне... я... Мне так трудно сейчас... Он сморщился, сдерживая невольные слезы... Махнул рукой и быстро вышел, не попрощавшись.

— Ничего, у него есть еще время стать настоящим человеком,— все так же сурово сказал Дед.— Помогите ему, не оставляйте сегодня его одного.

— Какой ужас! — простонал Отец Жениха.— Какой ужас!.. До свиданья!

— Вот до чего доводит дурная компания,— сказала Мать Жениха.— До свиданья.

— До свиданья.

— До свиданья.

— Всего хорошего,— сказал Дед.— Последите сегодня за ним. Уберите из его комнаты все ножи, вилки — вообще, колющие предметы. Но особенно чернила — не допускайте, чтобы он писал упадочнические стихи.

Мать Жениха и Отец Жениха ушли. Тут на середину комнаты вышел Непонятно кто (Толик).

— Николай Арсеньич, и вы, Анна Иванна, и вы, Арсений Назарыч...— Голос Толика слегка дрожал.— Одним словом, я прошу руки вашей дочери и внучки. Извините за дерзость.

Мать Невесты: — Как?

Отец Невесты: — Как?

Дед: — Как?

— Я давно люблю Катю. Но я знал, что она дружит с этим... Я не хотел мешать их счастью.

— Это бла-ародно, молодой человек!

— Я на последнем курсе филологического факультета — изучаю язык древних арабов. Защищаю диплом и еду на Крайний Север. Многим это может показаться странным — зачем, мол? Я же убежден, что мое знание древнеарабского языка пригодится в суровой тундре.

— Ничего в этом странного нет! — воскликнул Дед.— Это бла-ародно.

— А пока я живу в общежитии, гол как сокол, за душой — ни копейки. Все — в будущем. Если вас это смущает, скажите сразу — я напишу на вас фельетон.

— Что вы! — воскликнул Отец Невесты.— Кого это может смущать?

— Но учтите, дети мои, семейная жизнь, да еще в условиях тундры...— Мать Невесты опять всплакнула.

— Браво, молодой человек! — опять воскликнул Дед.— Я когда-то так же начинал.

— Толик!.. Толька...— Невеста бросилась к Толику.— Я всегда за тебя голосовала!..

Волшебный человек взял веточку у Оптимиста, махнул ею — стена дома сомкнулась.

— Я затрудняюсь, молодые люди,— сказал он.— Вот что: у меня есть заместитель по оргвопросам, я попрошу его побеседовать с вами, он дока в этих делах. Потом мы решим.— И Волшебный человек исчез.

А Пессимист и Оптимист опять заспорили.

— Ты кретин,— сказал Пессимист.

— Нет, это ты кретин,— ответил Оптимист.

— Ты — восторженный конь!

— Подонок!

— Сейчас я тебя буду бить!

Тут они стали драться. Прибежали люди, разняли их. Пришел милиционер.

— В чем дело, граждане?

Оптимист показал на Пессимиста.

— Вот этот тип исказил картину жизни!

— Нет, это ты исказил!

— Нет, ты!

— Нет, ты!

Милиционер видит, что так они ни до чего не договорятся, хотел их взять с собой, но тут подскочил Некто, хромой и бойкий, и сказал, что он разберется.

Пришли в какое-то помещение.

Пессимист струсил, Оптимист — тоже: им не понравилось помещение.

— Посидите здесь пока, никуда не уходите,— сказал Некто, а сам ушел.

— Давай заключим пока мир,— предложил Пессимист.

— Давай,— согласился Оптимист.

— Что делать?

— Не знаю.

— Эх, ту бы волшебную веточку сюда! — вздохнул Пессимист.

— У меня есть один листочек от нее,— сказал Оптимист.— Когда старик дал мне веточку, я незаметно сорвал один.

— Давай его сюда! — взревел Пессимист.

— Ишь ты какой!

— Давай так: кого первого вызовут, тот возьмет с собой листок,— предложил Пессимист.— Нужно, чтобы нас там поняли. Без листочка не поймут. Давай?

— Давай,— согласился Оптимист. Он был великодушный малый.

Первого вызвали Пессимиста. Оптимист незаметно сунул ему листок от волшебной веточки.

Едва только Пессимист ступил на порог кабинета, как в кабинете все помрачнело и Некто в один миг из доброго, расторопного превратился в какого-то свирепого Малюту Скуратова, нервного и внимательного.

— Говори, подонок, что случилось?! — рявкнул он.— Только не путай тут.

— Я высказывал свои взгляды на жизнь. Я убежден... Я утверждал...

— Короче!

— Я высказывал взгляды... Я утверждал...

— Короче!

— Я высказывал взгляды...

— Короче! Воруешь?

— Я бы попросил...

— Я тебе сейчас попрошу! — Некто встал, подошел к Пессимисту и начал его обыскивать.— Где нож?

— Нету.

— Где нож, я тебя спрашиваю?!

— Нету.

Некто дал Пессимисту в челюсть.

— Где нож?

Пессимист заплакал.

— Я не ворую, я принадлежу к философской группе...

Некто внимательно посмотрел на Пессимиста, сел, приготовился писать.

— Чем занимается группа? В каком районе действует? Кто вожак? Отвечать быстро и точно.

— Я — мыслитель.

— В чем заключаются твои обязанности?

— Я думаю. Я как бы разрезаю действительность и вскрываю...

— Где нож?

— Я мысленно разрезаю!

Некто ткнул Пессимиста в живот.

— Где нож!

Пессимист опять заплакал.

— У меня нет ножа. Я головой разрезаю...

Некто стоит в недоумении.

— Ты не темни здесь! Ты меня путаешь!

— Честное слово! Я головой разрезаю, извилинами...

Некто сел, начал писать.

— Говори дальше. Все говори.

— Я считаю, что самый верный и быстрый способ познания жизни — это заставать ее врасплох, неожиданно... Это мой метод. Я бросаюсь на нее прыжкообразно и срываю всяческие покрывала...

Некто достал из ящика стола наган, положил рядом с собой.

— Дальше.

— Меня уже ничем не удивишь. В жизни действуют одни подлецы и мошенники. Хороших людей нет. Их выдумывают писатели, чтобы заработать хорошие деньги. Честных людей тоже нет. Все воруют, лгут и оскорбляют друг друга...

Некто встал, подошел к Пессимисту и... пожал ему руку.

— Спасибо. Наконец-то я встретил настоящего человека. Извини, я принял тебя за вора. Говори дальше, я буду записывать каждое слово и вечерами читать.

— Самое мое любимое занятие — смотреть в чужие окна. И что же я там вижу?! Я вижу там одни свинцовые мерзости.

— Свинцовых мерзостей не бывает,— поправил Некто.— Бывают — пьяные. В нашем волшебном мире, например, много пьют.

— Кстати, что это за волшебный мир? Что вы там делаете? — поинтересовался Пессимист.

— Мы хотим жизнь превратить в сказку!

— Да?

— Да!

— Хотел бы я знать, как вы это болото превратите в сказку. Бульдозерами, что ли? Засыплете?

— Это не ваше собачье дело! — почему-то вдруг обозлился Некто.— Ваше дело...

Но тут Пессимист показал волшебный листик.

— Вы забываетесь...

— Да, да... Извините, увлекся. Так на чем мы остановились?

— Что жизнь — болото.

— Болото. Кстати, вы не хотели бы пойти поучиться на волшебника?

— Зачем это? — удивился Пессимист.

— Видите ли, в той сказке, которую мы хотим создать, предполагаются... как бы это выразиться... представители темных сил, что ли.

— Баба Яга, Змей Горыныч...

— Что-то вроде этого, только без той гадкой сущности, какую привыкли нести эти твари. Так вот, для подготовки этих персонажей...

— Нет,— твердо сказал Пессимист.— Я буду продолжать копаться в грязи, я буду выдумывать все новые и новые комбинации отчаяния и грусти. Я никогда не поверю ни в какое светлое будущее...

Некто перестал записывать.

— Я это не пишу. Дальше.

— Хорошо. Но я буду смеяться над теми, кто поверит в светлое будущее. Вот так: «Ка-ка-ка!»

— Прелесть! Умница! Оскар!

— Какой Оскар?

— Ну, тот... в тюрьме-то, в Рэдингской, забыл фамилию...

— Вы бросьте, слушайте! — прикрикнул опять Пессимист.

— Я уже заткнулся.

— Нам и так-то не сладко, а вы еще с намеками тут...

— Какие намеки? Бросьте вы тоже...

— Не надо. Не надо! Не надо!! — Пессимист стал нервничать и подергиваться.— Не надо!! А то я дам в лоб мраморной пепельницей...

— Довольно,— сказал Некто.— Спасибо. Я слушал ваши слова, как музыку. Это что-то невероятное!.. Пишите книгу, молодой человек, пишите стихи, делайте что-нибудь, черт вас возьми, но не зарывайте ваш талант. Подождите в коридоре, мы потом еще поговорим.

Пессимист вышел из кабинета.

— Ну что? — спросил его Оптимист.
— Ажур. Мы поняли друг друга: я ему наговорил...
— Давай листик.
— На. Только не потеряй его. Смело гни свою линию: листик работает.

В кабинет вызвали Оптимиста. И едва только он вошел туда, как все вокруг посветлело. Некто преобразился. Это уже не Малюта Скуратов, и это не бойкий, нервный зам — это спокойный проницательный добряк, веселый и жизнерадостный.

— Садитесь, молодой человек,— вежливо предложил он.— Курите.
— Спасибо.
— Так что у вас там случилось?
— Я волнуюсь и не умею говорить, но я скажу. Я все скажу! — загорячился Оптимист.
— Скажите, скажите,— Некто добродушно улыбался.
— Я не только скажу, я просто не позволю, чтобы всякие нытики глумились над жизнью. Ведь жизнь — это... это как бы стометровка!
— Почему же стометровка? — возразил Некто.— Я бы сказал: жизнь — это рысистые испытания. Или лучше: бег с препятствиями. Препятствия, в смысле — трудности, еще имеются, молодой человек. Незначительные, конечно, пустяковые, но имеются. Итак?..
— А меня лично жизнь зовет, и я устремляюсь. И я лично не понимаю, о каких трудностях вы говорите!..
— Ну, ну... я пошутил просто. Какой горячий молодой человек! Уж и пошутить нельзя!
— Нельзя! Нельзя так шутить, вы понимаете?!
— Ну а если, скажем, молодой человек или девушка едут в необжитые районы, в Сибирь, должны же им сказать, что их там, кроме всего прочего, ждут и трудности?
— Ни в коем случае! — воскликнул Оптимист.— Мы делаем великую глупость, когда предупреждаем об этом. Вот потому-то и видишь иной раз: человек едет в необжитый район, а задумчив. Почему, спрашивается? О чем задумался? Что ты оставил здесь, что давало бы тебе основания задумываться? Квартиру с удобствами? Родных и друзей?.. А там тебя ждет палатка! Там тебя ждут бураны, медведи, волки!.. Спрашивается: что же луч-

ше? Что лучше: удобная квартира или палатка с медведем?

— Я понимаю, что вы хотите сказать. Конечно, палатка с медведем лучше. Но ведь едут-то они туда строить дома с удобными квартирами. Это тоже нельзя забывать. Значит, медведь не вечен? — Некто поднял кверху палец, хитро прищурился.

— Медведь, к сожалению, не вечен,— согласился Оптимист.— Но это не должно нас смущать: кончатся трудности — мы их выдумаем!

— Это вы точно сказали. Это не в бровь, а в глаз.

— Я всегда говорю в глаз, хотя и не умею говорить и всегда волнуюсь. Да, так о чем мы? Ага, о юноше, который едет в необжитый район и сидит в вагоне задумчив.

— Нет, мы заговорили о медведе. И я хотел спросить вас в связи с этим: вот, скажем, вышли вы утром из палатки, а в десяти шагах стоит медведь. Бурый обыкновенный медведь средних размеров. Ваши действия?

Оптимист немного подумал.

— Песня! — воскликнул он.— Я запеваю бодрую песню и иду от палатки. Медведь слушает и идет за мной. Таким образом я увожу его от палатки, в которой спят мои товарищи, и они никогда не узнают, какая опасность подстерегала их в то утро. Я иду по тайге и пою. Медведь идет за мной. Я устаю идти, устаю петь, но я иду и пою. Потом я ползу и пою. Потом я перестаю ползти и петь. Медведь подходит ко мне, и я вижу в его звериных глазах восторг и удивление...

— Так, правильно. Еще один вопрос: вы идете с товарищем по тайге. Вы заблудились. У вас на исходе продукты. Вы все делите пополам и продолжаете идти...

— Стоп! — воскликнул Оптимист.— Во-первых, я не стану делить продукты пополам — я отдам товарищу все.

— Я знал, что вы так скажете. Поэтому еще один вопрос: а если ваш товарищ поступит точно так же?

— Тогда мы бросаем пищу и идем дальше.

— Правильно. Вас не поймаешь.

— Как-нибудь!

— Последний вопрос: вы выходите из тайги?

— Не-сом-нен-но!

— Вы готовы к трудностям, молодой человек!

— Потрогайте.— Оптимист дал потрогать свои бицепсы. Некто потрогал.

— Да, вы готовы к трудностям. В этом я еще и еще раз убеждаюсь.

— Я готов ко всяким трудностям.

— Значит, вы едете в Сибирь?

— Я повторяю: я готов ко всяким трудностям и лишениям, но у нас их нету. Палатка с медведем — это, сами понимаете, не трудность. Значит?..

Некто не догадывается, что — «значит».

Оптимист улыбнулся.

— Ну?.. Я готов к трудностям, но их нет,— значит?.. Логика, логика!

— Не могу догадаться.— Некто смутился.

Оптимист терпеливо объясняет:

— К трудностям я готов. Так? Но трудностей нет. Палатка, бураны и медведи не трудности. Значит?..

— Честное слово, не могу...

— Значит, я не еду в Сибирь! — громко и весело сказал Оптимист.

Оба искренне смеются.

— Браво, молодой человек! Двадцать копеек с меня. А в волшебники к нам не хотите пойти работать? У нас есть кое-какие трудности.

— Ваши трудности — это тоже не трудности,— сказал Оптимист.— Я их, кстати, не знаю и не хочу знать. Жизнь идет вперед. И как поезд идет мимо небольшого полустанка, не останавливаясь на нем, так жизнь грохочет мимо ваших, например, трудностей, не обращая на них внимания. Значит?..

Некто опять в затруднении.

Оптимист решил объяснить предметно.

— Вот полустанок — то есть ваши трудности.— Положил на стол коробок спичек.— Так? Вот — жизнь...— Хотел взять наган, но Некто смущенно убрал его. Оптимист взял протокол, свернул его в трубку.— Вот — жизнь, которая стремительно проносится мимо.— Показал.— Теперь: я занимаюсь вашими трудностями...— Ткнул в коробок пальцем.— А жизнь — смотрите! — грохочет мимо. Значит? Логика?..

— Не понимаю.— Некто опять в затруднении.

— Значит, я не иду к вам работать!

Опять весело рассмеялись.

— Ловко вы меня,— сказал Некто.

— Если я пойду к вам работать, значит, я останусь на полустанке, и жизнь будет грохотать мимо меня. Я же хочу все время устремляться вперед. И я устремляюсь.

— Стоп! Сейчас я угадаю вашу профессию,— сказал Некто.

— Не угадать.

— Угадаю!

— Ни за что!

Некто пристально посмотрел на Оптимиста.

— Летчик.

Оптимист покачал головой.

— Вы слишком буквально поняли устремление вперед. Летчик — это механическое устремление.

— Геолог!

— Геолог — это устремление вглубь, а не вперед.

— Преподаватель истории!

— Ну-у, это совсем не то. История — это...

— Нет, нет, это действительно не то. Сейчас, сейчас...

Оптимист улыбается, ждет.

— Ну?..

— Сейчас, сейчас... Поэт?

— Близко, но не то.

— Черт возьми! Сейчас, сейчас... Сутенер! То есть... Тьфу, черт... не то хотел сказать, извините, пожалуйста.— Некто покраснел.

— Ничего,— великодушно сказал Оптимист.

— Я хотел сказать — связист!

— Не то.

— Тогда не знаю. Пас.

— Вы взялись за непосильную задачу. Мою профессию определить невозможно.

— Почему?

— Потому что у меня нет никакой профессии.

Некто так и покатился.

— Ну, ловко же вы меня!.. Ха-ха-ха!.. А что вы делаете?

— Ничего, в том-то и дело.

— Как?

— Так. Обычно лежу на диване или прохаживаюсь по улице.

— Но вы же сказали, что вы все время устремляетесь вперед!

— Да, я лежу и устремляюсь. Понимаете?

— ???

— Ну, лежу и одновременно устремляюсь вперед! Неужели вы себе не можете представить такого? Это после эйнштейновской-то теории?!

— Как-то трудно, знаете... Не могу, знаете, ощутить этого явления.

— Душой! Сердцем! Помыслами устремляюсь!

— А-а, вот теперь понял...

В этот момент окна кабинета сами собой распахнулись, ворвался с улицы вихрь, выхватил из рук Оптимиста волшебный листик и унес в окно.

— Так вы, значит, нигде не работаете? — строго спросил Некто. Он сделался пожилым, усталым.

— Нет.

— И не желаете работать?

— Работать — значит не устремляться вперед. Верно? Значит?..

— Попросите другого сюда,— распорядился Некто.

Но дверь сама открылась, и вошли Волшебный человек и Пессимист. Пессимист сразу зарычал на Оптимиста:

— Сороконожка!.. Где волшебный лист?! Сейчас я тебя буду бить...

Волшебный человек остановил его твердой рукой.

— Спокойно.

— Вы видели подонков, которые никуда не устремляются?! — вскричал Оптимист.— Вот один из них.— Позвольте ваш наган, на минутку: я его кокну.

— Спокойно! — опять сказал Волшебный человек.— Сядьте. Лист у меня, больше вы его не получите.

— Но он же исказил картину жизни!

— Нет, это ты ее исказил!

— Спокойно! — еще раз сказал Волшебный человек.— А то я превращу вас в баранов, и мы с замом наделаем с вас шашлыков.— Волшебному человеку самому понравилась эта шутка, и он засмеялся: — Гы-гы-гы...

Пессимист и Оптимист не засмеялись.

Волшебный человек скрестил руки и долго ходил по кабинету. Он думал.

— Вы оба исказили картину жизни,— сказал он.—

Вы оба ударились в крайность. А смысл в том, чтобы...— Он опять погрузился в свои думы.

— В чем смысл? — спросил Оптимист.— А то я волнуюсь.

— Смысл в том, чтобы... Заманчивая идея, черт возьми! — Волшебный человек опять погрузился в думы.

— У вас туалет где? — негромко спросил его Оптимист.

— В коридор и налево. Побыстрей там, я сейчас буду изрекать смысл — нечто новое.

— Боитесь, что убегу? Принципиально не пойду. Я лучше здесь...

— В чем смысл? — нетерпеливо спросил Пессимист.

— Смысл в том,— торжественно заговорил Волшебный человек,— чтобы соединить обе эти точки зрения и в результате напряженного философского акта породить — третью! А? Заделаем?

— Как? — спросили все.

— Так. Я перевожу свои волшебные часы... Есть. Сватовство идет. Семейство Невесты такое, каким его видит наш Оптимист. Семейство Жениха — как видит Пессимист.

— Ура! — вскричали Пессимист и Оптимист. Взялись за руки и стали танцевать.

В этом мире — тру-ля-ля!
тру-ля-ля!
тру-ля-ля!
Жизнь не стоит ничего!
ничего!
ничего!

— Вперед, шалунишки! — скомандовал Волшебный человек.— Все идемте. Мы увидим сейчас нечто новое.

А в это время в доме Невесты творилось что-то невероятное.

Дед читал Непонятно кому свою книгу:

— ...Тут я взял винтовку и шарахнул его. Голубые мозга свистнули на парапет и ухлюпами долго содрогались. В этот момент она вышла из комнаты и подняла свою гадючью головку, стараясь произвести обратное впечатление. Я заклацал затвором, чувствуя, что меня

всего обволакивает. «Получай!» — сказал я и ее тоже шарахнул. «Гук! Гук! Гук!» — разнеслось по всем комнатам.

— Сколько метров? — спросил Непонятно кто.

— Где?

— Квартира?

— Не знаю.

— А чего же пишешь? Тумбочки лучше делай.

В другом углу Жених учил Отца Невесты боксу. Обмотал кулак полотенцем и показывал приемы.

— Крюк! — кричал разгоряченный Жених.— Опп!

Отец Невесты отлетел к стенке.

Отец Жениха повел его опять к окну.

— Удар, а?..

— Отличный удар. Вот я помню, когда уезжал на Крайний Север...

— Погоди ты со своим Севером! Становись.

— Вы полегче его,— сказала Мать Невесты.— А то сотрясение будет.

— Какое сотрясение! — воскликнул Отец Невесты.— Надо — значит, надо!

— Он мне один раз как засветил,— вспомнил Отец Жениха,— я неделю на кварц ходил. Ну-ка, сынок, как ты мне тогда?.. Ну-ка, ему тоже так!

— Прямой правой? — спросил важный Жених.

— Я не видел. У меня тогда искры из глаз посыпались.

Все засмеялись.

— Как образно! — сказала Невеста.— «Искры посыпались...» Какой все-таки русский язык!..

— Это — правой в лоб, снизу,— вспомнил Жених.— Это делается так... Нагни голову!

Отец Невесты послушно нагнул голову.

— Есть.

— Ниже.

— Есть.

— Следите за моей правой ногой... Вот что она делает... Удар пойдет оттуда.

Все замерли и следили за правой ногой Жениха. Он прыгал.

— Опп! — сказал Жених, и Отец Невесты полетел в угол.

— Все, нокаут,— сказал Жених.

Действительно, Отец Невесты не поднимался. Его стали приводить в чувство.

— Ты увлекся, Андж,— сказала Невеста.

— Если бы я увлекся, здесь бы давно уже никого не было. Мы один раз пошли с дружком к одним знакомым... А дружок с женой был. А там один фраер был. Ну, мы их застукали в туалете. Вот там я увлекся! Начали фраера в унитаз толкать, он не лезет...

— Принципиально не лезет или просто не может? — спросила Мать Невесты.

— Не хочет!

— А вы?

— Мы сняли с него костюм и пустили в одной шляпе. Он в два часа ночи голый когти рвал.

— Это же неэтично, Андж.

— Э? — спросил Жених.

— Неэтично...

— Зато — голый! И скорость приличная.

— Я понимаю твое увлечение скоростью, Андж, но согласись: голый человек в два часа ночи... Ты можешь возразить: а как же Высокое Возрождение?..

— Они не успели,— сказал Жених.

— То есть?

— Мы пришли раньше.

— Я говорю о Возрождении...

— Я тоже. Они не успели. Мы пришли раньше.

— При чем тут вы?

Жених посмотрел на Невесту как на дуру. Показал пальцем на лоб.

— У тебя что, замкнуло?

— Андж!!!

В это время в комнату вошли Волшебный человек, Оптимист, Пессимист и Некто. На них никто не обратил внимания.

Дед и Непонятно кто о чем-то спорили в своем углу. Невеста тоже что-то горячо доказывала. Жених возражал. Мать Жениха и Отец Жениха тоже заспорили с Матерью Невесты и Отцом Невесты.

— Он меня хотел изуродовать! — кричал Отец Невесты.— Это членовредительство!

— Членовредительство бывает не такое! — возражал Отец Жениха.— Он куда тебя шарахнул? По башке?..

— Я бы попросила!..— тоже горячо заговорила Мать Невесты.— Я бы попросила выбирать выражения!

— Да?! — спросила Мать Жениха.— А мне кажется, что тут кое-кому надо закрыть поддувало! А то — сквозняк!

Отец Жениха взял Отца Невесты за грудки.

— А я тебе говорю: голова — это что?

— А что же это такое, по-вашему?

— Голова-то?

— Ну.

— Голова — это орган. А членовредительство — это... Пойдем к двери, я тебе покажу членовредительство!

— Не пойду!

— Пойдешь!..

Страсти разгорались.

Все говорили сразу, ничего нельзя было разобрать.

И в этот момент раздался громкий протяжный возглас:

— Полундра!..— Это Дед вскочил с места и забегал по комнате.— Где моя сабля?! Я его сейчас развалю на две половинки! У меня еще полно пороха в пороховницах!..

Непонятно кто бегал за Дедом и повторял:

— Сундук! Сундук!

— Атас! — вскричал Жених и стал снимать пиджак.

Отец Жениха тащил Отца Невесты к двери.

— Иде-ем! Счас узнаешь, что такое членовредительство! Счас я тебе объясню...

— Полундра-а! — кричал Дед.

Тут не выдержал Волшебный человек и решил вмешаться.

— В чем дело, дедушка? Почему вы так раздухарились?

— Он на меня говорит: «Сундук»!

— Слушай,— обратился Волшебный человек к Непонятно кому.— Почему ты на него говоришь «Сундук»?

— Потому что он не хочет делать тумбочки,— сурово сказал Непонятно кто.

— Я пишу книгу!

— Он пишет книгу...

Тут подошел Пессимист и засмеялся «под Мефистофеля»:

— Ка-ка-ка!

— Что, что тут смешного? — встрял Оптимист.— Продолжайте, дедушка, писать, не слушайте разных хлюпиков.

— В том-то и дело! Поэтому-то я и хочу развалить его на две половинки!

Тут к ним подошли Отец Жениха и Отец Невесты.

— У нас спор,— сказал Отец Невесты.— Что такое голова?

— Голова? — удивился Волшебный человек.— Голова — это...— он подумал,— это чердак. Я выражаюсь образно. Вот дедушка меня поймет.

— Я в своей книге «Руки вверх, неприятели!» называю голову — кумпол.

— А вот у нас тоже был случай,— подошел Жених.— Идем мы раз с другом к нашей общей знакомой, к нам подходят двое. Я как дал одному...

— В каком районе? — спросил его Некто.

— Запутать хочешь, да? — насторожился Жених.— Не на того нарвался.

— При чем тут сразу — «запутать»? — вмешался Волшебный человек.— Он просто поинтересовался...

— А ты закрой поддувало и не вякай. Я не с тобой разговариваю.

— Сынок, дай им всем снизу вверх под сорок пять градусов,— посоветовал Отец Жениху.

— Что-то я не вижу тут ничего нового,— сказал Пессимист.

Волшебный человек нахмурился.

— Молодой человек, разве можно так выражаться?

— Они вообще расхамились тут,— сказал Отец Невесты.— Дочка, дай ружье.

— Руки! — закричал Дед.

— Кто сказал — «руки»? — озверел Жених.— Кто? Вот этот нафталин? Внимание, сейчас будет — правой снизу в челюсть! Следите за ногами.— Он запрыгал перед Дедом.

— Сейчас он его изуродует,— радостно сказал Отец Жениха.

Все остановились возле Жениха и Деда и ждали.

— Следите за ногами,— предупредил Жених,— удар начнется оттуда.

Дед растерянно ждет.

— Он же убьет его! — сказала Мать Невесты.

— Не убьет, у нас бокс любительский,— заметил Оптимист.— Но челюсть может вылететь.

— Сынок,— заговорила Мать Жениха,— лучше левой в печень, чтобы он сразу загнулся.

— Правильно,— согласился Непонятно кто,— метраж будет свободнее. Все равно он не хочет тумбочки делать.

— Нет, лучше по голове...

— По голове не надо,— предупредил Дед.— Я не допишу книгу.

— Следите за ногами! — опять крикнул Жених.

— Сейчас он его...

— Дедушка, сколько вам было лет? — спросил Оптимист.— Я завтра статью о вас буду писать.

— Семьдесят восемь.

— Кошмар! Давно надо было...

— Что давно?

— Давно надо было полное собрание написать. На чем вы остановились в вашей книге?

— Как я попал в плен и измордовал неприятельского генерала.

Жених перестал прыгать.

Все тоже удивились.

— В плену?

— Конечно. Он у меня двое суток пятый угол искал. Причем, что удивительно: он мне нарисовал карту земного шара и говорит: «Все, я больше ничего не знаю». Но этот номер ему не прошел...

— Следите за моими ногами! — вскричал опять Жених.

— В печень, сынок! В печень!

— Дочка, дай ружье!

— Держись, дедушка!

Все кричат, ничего не разобрать.

Дед громко запел:

— А я еду, а я еду за туманами,
За туманом и за запахом тайги!

— Слушайте, прекратите это! — потребовал Некто у Волшебного человека.— Тут ничего невиданного нет.

Волшебный человек посмотрел на руку...— часов нет.

— Кто свистнул мои волшебные часы?!

— Следите за ногами!..— орал Жених.

— В печень, сынок! В печень!

— Снизу вверх под сорок пять! Снизу вверх под сорок пять!

— Гоп со смыком — это буду я! Ха-ха!..

— Папаша, стреляй! Огонь, папа!

— Кто свистнул часы?!

«А я еду, а я еду за туманами,
За туманом и за запахом тайги!»

— Кто взял часы? Какая сволочь?

«В этом мире — тру-ля-ля!
тру-ля-ля!
тру-ля-ля!
Жизнь не стоит ничего!
ничего!
ничего!» —

пели Оптимист и Пессимист.

— Огонь, папа!

Некто и Волшебный человек пытаются навести порядок, но не могут. Пошли в ход подушки, стулья.

— Снизу вверх под сорок пять!

В это время вошел Сосед.

Взял за воротник Волшебного человека, подвел к двери и дал ему пинка под зад.

Потом взял Пессимиста и выпроводил его таким же образом. И Оптимиста также. И Некто пошел следом.

Все замолчали. И смотрят друг на друга с недоумением.

— Теперь давайте так, как это бывает на самом деле — с точки зрения нормальных людей.

* * *

— Проходите, товарищи,— сказал Отец Невесты,— садитесь, пожалуйста. Чем обязаны?

Гости (семейство Жениха) расселись, где кому удобно.

— Дело такое,— заговорил Отец Жениха,— пришли мы, как говорится, по весьма щекотливому делу: сватать вашу дочь. И решили целым семейством сразу: заодно и познакомимся. Не возражаете?

— Да ведь тут... как тут возразишь? — Отец Невесты засмеялся (нормально).— Кое-кто тут, надо полагать, раньше знаком. Что ж... просим к столу. Мы, правда, не готовились, но как-нибудь выйдем из положения.

— Прошу, дорогие гости, прошу,— сказала Мать Невесты.

— Э-э! — воскликнул Дед.— Так я еще и на свадьбе погуляю!

Все засмеялись и стали садиться за стол.

КОНЕЦ

● ЭНЕРГИЧНЫЕ ЛЮДИ

Сатирическая повесть для театра

Жил-был на свете Аристарх Петрович Кузькин, и жила-была жена его, Вера Сергеевна... Впрочем, почему — жили, они и теперь живут, а это и есть рассказ про их жизнь: какая случилась с ними и с их друзьями непредвиденная печальная история. Обоим им под сорок, конкретные, жилистые люди; у Аристарха Петровича интеллигентная плешь, маленькие, сведенные к носу глаза, он большой демагог, не лишен честолюбия. Вера Сергеевна — тоже демагог, но нет того мастерства, изящества, как у Аристарха Петровича, она из рабочей семьи, но тоже очень честолюбива и обидчива. Он и она — из торговой сети, он даже что-то вроде заведующего, что ли, она — продавщица ювелирного магазина «Сапфир». Была у них 3-комнатная квартира. Все было бы хорошо, но... Про это «но» много уже рассуждали — да: НО...

Аристархушка крепко пил.

И пил, собака, изобретательно.

ВЕЧЕР, КОТОРЫЙ НЕЗАМЕТНО ПРЕВРАЩАЕТСЯ В НОЧЬ

Аристарх назвал гостей пять человек, заставили письменный стол шампанским, коньяками, икрой в баночках... В комнате у Аристарха накурено и шумно — что-то такое, кажется, обмывали, может быть, автомобильные покрышки, потому что в коридоре лежали автомобильные покрышки, пять штук.

Вера Сергеевна много боролась с пьянством мужа, обозлилась вконец и отрешилась. Сидела в своей комнате и смотрела телевизор, нарочно запустив его на полную громкость, чтобы хоть как-то мешать этим идиотам, которые шумели в комнате Аристарха.

Гости шумели.

— Ты ль меня, я ль тебя любить буду!..— пел один, вовсе лысый; и все одно: «ты ль меня, я ль тебя...»

— Ну, полетели?! Вы, полетели?! — приставал ко всем курносый человек в очках и смеялся, и махал руками, как птица, и все звал: — Ну, полетели?!

— Рано, рано,— говорил Аристарх.— Тут еще полно всяких мошек.

Похоже, этот курносый хотел затеять какую-то знакомую игру, в перелетных птиц, что ли, но еще не все наклюкались. А один — с большим брюхом — не знал, что это такое — «полетели». И тоже приставал ко всем:

— А куда полетели-то? А? Куда это лететь-то?

— На Кудыкину гору!

— Куда, куда?

— Туда!..

— Да он же не знает, чего ты озверел-то? — остановил Аристарх одного чернявого, который обозлился на этого, с брюхом.

— Ну, полетели же! — стонал курносый.

— Ну, полетели,— сказал Аристарх.

Присели на дорожку, налили по чарочке...

— Прощай, родина,— грустно сказал Аристарх.— Березки милые...

Курносый всерьез заплакал и замотал головой.

— Полянки... Простор...

Чернявый дал кулаком по столу.

— Не распускать нюни!..

— Инстинкт,— сказал один пожилой с простым лицом.

— Выпили на дорожку! — пригласил Аристарх.

Все выпили... Аристарх первый поднялся из-за стола, пошел открыл дверь комнаты, вернулся и стал наизготовке посреди комнаты.

— Я — вожак,— сказал он.

За «вожаком» выстроились остальные пятеро...

И они «полетели»... Они замахали руками, закурлыкали и мелкими шажками потянулись за «вожаком». Сделали прощальный круг по комнате, «вылетели» в

коридор, пролетели, курлыкая, через комнату Веры Сергеевны и очутились в третьей комнате, где был тоже стол и холодильник.

Они сели, печальные, за стол... А Аристарх доставал из холодильника коньяк.

— Далеко теперь наши березки,— сказал курносый; он уже опять готов был плакать.

— А я люблю избу! — громко и враждебно сказал человек с простым лицом.— Я вырос на полатях, и они у меня до сих пор — вот где! — Он стукнул себя в грудь.— Обыкновенную русскую избу! И вы мне с вашими лифтами, с вашими холодильниками...

— А коньячок-то любишь — похолодней,— вставил чернявый.

— Он и в погребе будет холодный.

— В погребе он будет плесенью отдавать,— сказал брюхатый.— Ты попробуй поставь на недельку в погреб — потом выпей: плесенью будет отдавать.

— Сам ты плесень! — свирепел человек с простым лицом.— Свесил на коленки... По какому месяцу?

— Только... знаешь... не надо,— обиделся брюхатый.

— Не надо? Не надо и вякать, про чего не знаешь!

— Хватит вам,— хотел утихомирить их Аристарх.— Это вечная тема...

— Вот в деревне-то у тебя не было бы такого брюха! Ты бы там не жрал на ночь бифштексы кровавые, боров, а утром не валялся бы до двенадцати...

— Ты!.. Жлоб! — прикрикнул брюхатый.— Ты грузишь тару — грузи дальше, а язык не распускай, а то на него наступить можно!

— Да хватит вам! — встрял опять Аристарх.

— Деревню он любит!..— тоже очень обозлился брюхатый.— Чего ж ты не едешь в свою деревню? В свою избу?..

— У меня ее нету.

— А-а... трепачи. Писатель есть один — все в деревню зовет! А сам в четырехкомнатной квартире живет, паршивец! Я...— брюхатый ударил себя в пухлую грудь.— Я в коммунальной тогда жил, а он — в такой же — один...

— Как один? — не понял чернявый.

— Ну, с семьей!.. Но я — в коммунальной и никуда не призывал...

— Ему за это деньги хорошие платят, что призывает,— вставил курносый.

— Я его один раз в лифте прижал: чего ж ты, говорю, в деревню-то не едешь? А? Давай — покажи пример! А то — понаехало тут... не пройдешь. В автобусе не проедешь...

— Брюхо надо нормальное иметь, тогда и проедешь,— сказал человек с простым лицом.— А то отрастили тут... на самом деле, не проедешь. По какому месяцу, я тебя спрашиваю?

— Грузите бочки апельсинами! — огрызнулся брюхатый.— Избу он любит... Полати он любит... А дулю с маслом любишь? Ну, и катись отсюда!

— Вот: я занимаюсь погрузкой,— показал свой кулак человек с простым лицом,— поэтому он у меня тренированный: разок двину, так у тя сразу выкидыш будет.

— Ну!..— громко огорчился Аристарх,— прилетели в жаркие страны и давай тут... Мы же в жарких странах!

Все засмеялись.

— С прие... это — с прилетом! — воскликнул чернявый.

(Мы уж теперь так и будем называть их: чернявый — это Чернявый, брюхатый — Брюхатый, курносый — Курносый, лысый, который все песенки поет,— это Лысый, а человек с простым лицом будет, для краткости,— Простой человек.)

— С приехалом! — поддержали Чернявого.

— С прилетéлом! — сострил Аристарх.

— А мне здесь не нравится,— заявил Лысый.— Вообще мне вся эта история с журавлями... не того... не очень. Давайте споем?

— Выпить же надо,— сказал Простой человек.

— Да, елочки!..

— Коньяк стоит, а мы...

— С прилетéлом! — еще раз громко сострил Аристарх.

Выпили.

— Споем? — предложил опять Лысый. И запел:

Из-за острова на стрежень,
На просто-ор речной волны-ы...

Его поддержали Чернявый и Курносый.

Эх, выплыва-ают расписны-ые
Стеньки Ра-азина-а челны...

Но песня не сладилась — не вышла.

— Поехали обратно! — предложил Брюхатый.— Мне здесь тоже не нравится.

— Полетели?! — выкрикнул радостно Курносый.— К березкам!

— Я больше не полечу,— наотрез отказался Брюхатый.— Я поеду поездом.

— Идея! — закричал Лысый.— Едем поездом. Прихватим с собой на дорожку; будем на станциях выходить...

— Можно всю дорогу в вагон-ресторане просидеть,— предложил Простой человек.— Я раз из Воронежа ехал...

— Нет, нет!..— кричал Лысый.— Нет, мы нормально сядем в поезд, выпьем на дорожку...

— Можно с собой взять...

— Не надо! — Лысый воодушевился и сильно кричал.— Не надо! Зачем? Мы нормально сядем в поезд, выпьем на дорожку...

— Можно сразу... Слушай суда! — закричал тоже Простой человек.— Мы — сяли, поклали чемоданы — и в вагон-ресторан...

— Да иди ты со своим вагон-рестораном! — оборвал его Брюхатый.— Дай сказать человеку. Когда это ты в вагон-ресторане сидел?

— Я не сидел! — гордо сказал Простой человек.— Я там ночевал!

— Мы нормально сядем в поезд,— продолжал Лысый,— выпьем на дорожку...

— Ты только один в вагон-ресторанах сидишь, да? — Простого человека задело за живое, что Брюхатый ему не верит.

— Так, дальше? — слушал Брюхатый Лысого.— Выпили на дорожку?..

— Выпили на дорожку, малость проехали — у нас пересадка!

— Где пересадка?

— А вон в этой комнате,— показал Лысый на комнату, где сидела Вера Сергеевна.— Мы ее счас развеселим!

— По вагона-ам! — скомандовал Брюхатый.— Берите с собой на дорожку, а то пять минут осталось!

— А на посошок-то? Э-э!..— напомнил Чернявый.

— Давайте быстрее! Быстрее, быстрее.— Брюхатый посмотрел на часы.— Четыре минуты осталось.

Тут все оживились, засмеялись, задвигались... Стали скоренько разливать коньяк по рюмкам.

— Скорей, скорей,— суетился Брюхатый.— А то опоздаем.

— Успеем. Он не точно отходит...

— На ходу запрыгнем.

— Ты-то запрыгнешь, а некоторые... могут родить на рельсах.— Это Простой человек все кусал Брюхатого. Тот снисходительно посмотрел на него.

— Я предлагаю вот этого... жлоба не брать с собой,— сказал он.— Он напьется, и нас из-за него в милицию заберут.

— Ничего! — кричал Лысый.— Дернули!

Выпили.

И «побежали на поезд». На этот раз в голове строя стал Брюхатый и запыхтел, и даже ногой подстукивал.

— Пх-х, пх-х, пх-х... Ну, сели?

— Сели.

— Ту-ту-у!..— тонко и выразительно «загудел» Брюхатый и медленно стронулся с места. И «поехали»...

«Выехали» в комнату Веры Сергеевны... Брюхатый стал «замедлять ход» и опять тонко, с какой-то даже тоской «прогудел»: — Ту-ту-у!..

Вера Сергеевна с ненавистью смотрела на «поезд».

— Пересадка! — объявил Брюхатый.

«Пассажиры» вышли из вагонов... Расселись кто где смог: кто на тахту присел, кто на кресло... Простой человек сел на полу прямо.

— Много народу на вокзале,— сказал он.

— Вы давно сидите, гражданка? — любезно обратился Аристарх к Вере Сергеевне.

— Нет, я недавно. А вот вам... не знаю, сколько сидеть придется,— как-то значительно сказала Вера Сергеевна.

«Пассажиры» переглянулись.

— То есть? — не понял Аристарх.

— Я эти... путешествия с выпивками пресеку раз и навсегда,— опять зло и непонятно сказала Вера Сергеевна.— Вы у меня подудите... Подудите у меня, паразиты.

— Что, контролеры пришли? — испуганно спросил Простой человек с пола.— А у нас билеты-то есть?

Брюхатый засмеялся и хлопнул одобрительно по плечу Простого человека.

— Да это так — пугают,— сказал Чернявый.— Гражданочка, а вы что, билет не можете достать?

Вера Сергеевна больше не смотрела на «пассажиров», а смотрела телевизор.

— Ну, а почему же сразу — «паразиты»? — оскорбился Аристарх.

— А кто же вы? — повернулась Вера Сергеевна. И зло смотрела на мужа.— Ну — спекулянты, если не паразиты: еще хуже.

— Гражданочка,— опять заговорил Чернявый весело,— вы нас с кем-то спутали: мы обыкновенные пассажиры... Едем на свои денежки.

— Вот и проезжайте. А потом вас повезут бесплатно.

— Куда это? — тоже зло спросил Аристарх.— Куда это нас бесплатно повезут?..— Он двинулся было к жене, но его остановил Брюхатый.

— Стоп, Аристархушка! — сказал он разумно.— Никаких скандалов на перроне... Нам действительно пора ехать. По вагонам! — опять скомандовал он.

И все опять со смехом построились в затылок друг другу, Брюхатый опять «загудел» — и «поехали» в комнату Аристарха. А в комнате рассыпались и стали занимать места за столом.

— Хоть нормально посидим в ресторане,— пожаловался Лысый.— А то все — в дороге и в дороге... Все всухомятку, как попало...

— Что будем заказывать? — обратился ко всем Чернявый.

— Лично я,— сказал Простой человек,— выпил бы простой водочки. А?

Брюхатый интеллигентно скосоротился на это.

— Пусть пьет водку. А нам, пожалуйста, шампанского...

— И коньячку,— подсказал Курносый.— На меня шампанское, как пиво работает: я то и дело бегаю.

— Итак,— подвел Аристарх, перебросив полотенце с одной руки на другую,— коньяк, шампанское... Водки, извините, не держим.

— Ну, как же так — не держите?! — возмутился Брюхатый.— А если человек на полатях вырос?.. Что ему, ваш коньяк пить?

— Ерша ему! — подсказал Курносый.

А Вера Сергеевна в это время выключила телевизор, достала бумагу, ручку... И села писать.

И дальше,— если вообразить, что это на сцене,— можно услышать что́ она пишет. Причем уже слабо слышно, как там «сидят в ресторане» наши «пассажиры», а отчетливо слышен голос Веры Сергеевны:

«Уважаемый товарищ прокурор!

В то время, когда все наши люди занимаются производительностью труда, есть отдельные элементы, которые только хотят есть и пить. И занимаются этим каждый день. Вы меня спросите: на какие деньги? Я вам отвечу: они занимаются спекуляцией. Я уже не могу слушать их пьяные голоса, меня глубоко возмущает, как они импровизируют свои дела, а потом по всей ночи курлыкают или изображают из себя пассажиров...»

«Пассажиры» в это время танцевали летку-енку.

«Вот сейчас, когда я пишу Вам это заявление, они танцуют летку-енку. А в коридоре лежат покрышки для «Волги» в количестве пять штук. Вы думаете, где они их взяли? Они их симпровизировали. Так что, я думаю, что при вашей помощи, они станцуют более ответственный танец и поедут пассажирами на казенный счет, я им об этом намекнула. Они мой намек не поняли, только понял мой муж Аристарх, но он думает, что я только пугаю. А у меня уже всякое терпение мое лопнуло: мы перестали уважать друг друга, потому что, как мне кажется, он импровизирует не только с покрышками, но и с чужими женщинами...»

УТРО

Утром Аристархушка проснулся с больной головой... Потянулся к стулу, где был всегда заготовлен стакан с водой. Стакан стоял на месте, а под стаканом — бумага. Аристарх взял бумагу и прочитал:

— Копия...

И побежал глазами по бумаге... И, даже еще не дочитав всего, вскочил и побежал в комнату жены.

Вера Сергеевна, одетая, заслышав его шаги, направилась к выходу... И тут ее перехватил Аристарх.

— Ты что? — спросил он.

— Что? — спросила Вера Сергеевна. Она стояла с сумочкой и сумочку держала у груди.

— Ты куда?

— Туда...

— Куда это туда? — спросил Аристарх зло, сквозь зубы.— Куда это туда?

— Ударить хочешь? — спросила Вера Сергеевна спокойно.— Ударь — получишь лишних три года.

— Вера... — Аристарх растерялся.— Сядь... Давай сядем, поговорим.— В чем дело?

Вера стояла в шубке, а Аристарх в нижнем белье... Аристарх был жалок рядом с каракулевой шубкой.

— Давай сядем,— суетился Аристарх.— Сядь же ты!.. Скотина.

— Пусти!

— Вера!.. Прости — ну, вылетело. Сядь, я прошу.

— От этого ничего не изменится.— Вера Сергеевна села на диван, на краешек.

— В чем дело? — спросил Аристарх. Подставил стул к двери и сел тоже.— Что случилось?

— Мне надоело! — закричала Вера Сергеевна.— Мне надоела ваша пьяная самодеятельность! Я тебе не служанка!..

— При чем тут служанка? Ну, повеселились... Что, пошутить нельзя?

— С кем ты позавчера шутил? У тебя весь пиджак был в пудре! С кем?!

— Да мало ли... в автобусе прислонился...

— В автобусе?! А вот эту записку ты тоже в автобусе нашел? — Вера Сергеевна достала из сумочки записку и прочитала: — «Аристарх, голубь, а не пора ли нам бросить этот официоз — и мирно, полюбовно встретиться где-нибудь в укромном уголке?..»

— Это деловое письмо! — вскричал Аристарх.— Дай сюда!

— Да? Шиш! — Вера Сергеевна спрятала записку в сумочку.— Развратник. Спекулянт. Я те покажу — голубь!..

— Да это мужчина писал, дура! Это однокурсник мой...

— Однокурсник? А почему же подпись — «Соня»?

— Псевдоним! Мы его в институте так дразнили.

— А почему «твоя Соня»?

Аристарх опять растерялся... И от растерянности больше обозлился.

— Плебейка,— сказал он зло и тихо.— Что, я тебя должен утонченному стилю обучать? Если люди шутят, то шутят — до конца. Если он подписался «Соня», то он последовательно написал «твоя». Твоя — это значит твой.

— Твой Соня?

— Что, врезать, что ли? Врежу...

— Попробуй. Так тебе — лет восемь дадут, а так — одиннадцать.

— Ну, чумичка!..— занервничал Аристарх.— В чем дело-то? Чего ты взбесилась-то?

— Я все там написала.

— Так. И куда ты сейчас?

— К прокурору.

— Сегодня воскресенье.

— Я в почтовый ящик брошу.

Аристарх побледнел... И долго стоял над Верой Сергеевной.

— Я — спекулянт? — спросил он дрожащим голосом.

— Спекулянт,— сказала Вера Сергеевна.

— Я ворую у государства деньги?

— Воруешь у государства деньги.

— Снимай все с себя! — приказал Аристарх.— Снимай, снимай!.. Это все куплено на ворованные деньги.— Аристарх стал снимать с жены шубку, дорогой костюм.— Это все ворованно — чего ты напялила? Снимай!

— Пожалуйста! На!.. На, ворюга!..

— Все снимай! Твоего тут ничего нету!

— Что я, голая к прокурору пойду?

— Голая! — Аристарх изловчился, вырвал у Веры Сергеевны сумочку, заглянул — там ли заявление: заявление было там. Он достал из сумочки ключи, закрыл квартиру изнутри на ключ и ушел с сумочкой и с шубой в свою комнату. И сел к телефону. Дрожащим пальцем набрал номер.— Але? Семеныч?— И Аристарх заговорил негромко и торопливо.— Слушай, срочно ко мне... Да нет! Моя швабра накатала на нас телегу и собралась к прокурору...— Аристарх долго молчал, слушал.— Иди ты к черту!— сказал он.— Созвонись со всеми... давайте как-нибудь все... прощения, что ли, попросим. Уговорим ее как-нибудь. Мне эта Сонька еще подлянку кину-

ла: записку в карман подсунула, я даже не знал... А я знаю? Из-за Вальки, наверно. Давайте. Срочно.

Аристарх бросил трубку, минутку посидел подумал, оделся, выпил фужер шампанского и пошел с шубой жены и с ее костюмом к ней в комнату.

Вера Сергеевна лежала в нижнем белье на диване.

— Одевайся, Вера,— сказал он миролюбиво.— Давай спокойно поговорим обо всем.

Вера Сергеевна стала надевать костюм, а Аристарх заходил по комнате, как преподаватель вуза.

— Во-первых,— начал он,— ты думаешь, государство наше такое глупое?

— Я об этом не писала. Нечего мне тут...

— Я тебе прочитаю курс экономики! — воскликнул Аристарх.— Чтоб ты не бегала и не смешила прокурора. И прокурор твой, и все, кто всерьез занимается экономикой, прекрасно знают, что — воруют. Больше того, какой-то процент, кажется, пятнадцать процентов, государственного бюджета отводится специально — под воровство. Не удивляйся и не делай детские глаза. Всякое развитое общество живет инициативой... энергичных людей. Но так как у нас — равенство, то мне официально не могут платить зарплату в три раза больше, чем, например, этому вчерашнему жлобу, который грузит бочки. Но чем же тогда возместить за мою энергию? За мою инициативу? Чем? Ведь все же знают, что у меня в магазине всегда все есть — я умею работать! Какое же мне за это вознаграждение? Никакого. Все знают, что я — украду. То есть те деньги, которые я, грубо говоря, украл,— это и есть мои премиальные. Поняла? Это — мое, это мне дают по негласному экономическому закону...

— А сколько тебе дадут по гласному закону?

— Дура!..— сорвался на крик Аристарх.— Ты думаешь, меня посадят? Ни-ког-да! Посадят — это, значит, я там буду канавы рыть? Но у меня же — голова, и твой прокурор это знает. Прокурор знает, что общество должно жить полнокровной жизнью, моя голова здесь нужна, я здесь нужен, а не канавы рыть. Вот они — покрышки лежат, — показал Аристарх в коридор.— Пять штук. Лежат? Лежат — ты можешь подойти и пощупать их: они есть.— Аристарх остановил свой вузовский ход и торжественно поднял руку.— Но их нету! Их нигде нету, их не сделали на заводе. Их не су-ще-ствует. А они —

лежат, пять штук, друг на друге. Это и называется: экономический феномен. Попробуй... без специальной подготовки, без головы!.. Попробуй это сделать. Да как только прокурор обнаружит, например, эти покрышки, которых никто никогда не делал, он сразу поймет, с кем он имеет дело. И ты останешься с носом. Ну, разумеется, тебя поблагодарят, наговорят слов... А мне, я так думаю, предложат какое-нибудь повышение, пошлют куда-нибудь. Ведь не хватает же умных людей-то, не хватает. Где их набраться-то? Ну, окончил он свой вузишко, ну — с дипломом... А что дальше? А дальше ничего: еле-еле будет на восемьдесят процентов тянуть. А то я не знаю таких! Так что ты... поторопилась с этим своим заявлением, Верунчик.— Аристарх подсел к жене.— У нас вчера была самодеятельность... Согласен, самодеятельность, но это от избытка... я не знаю — чувств, что ли, ну расшалились... Может же художник... артист какой-нибудь там... в бассейне в бане кильку ловить и закусывать, ну а почему мы журавлей не можем изобразить? Нет, там, видите ли, понятно, а тут... Да, самодеятельность, но у тебя с этим заявлением — это, прости меня, безграмотность, это на уровне дворничихи. Мне даже стыдно, что ты моя жена.

Вот этого Аристарху не следовало говорить. Он уж и понял это, но поздно.

— Прекрасно,— сказала Вера Сергеевна,— иди к своей Сонечке, она твою голову ценит, а мне дай сюда ключ. Дай ключ! Я сделаю свое дело... Твою голову оценит прокурор. И не пудри мне мозги своими... своей экономикой: будешь канавы рыть как миленький. Шалунишка... Энергичный? Там энергичные тоже требуются. Канавы тоже надо энергично рыть.

Аристарх свирепо уставился на супругу.

— Лахудра,— сказал он весьма грязно, не по-вузовски.— Раздевайся! Этого костюма тоже не шили на фабрике — чего ты его напялила? И шубу не смей трогать: этих баранов,— показал он на каракулевую шубу,— никогда не было на свете. Чумичка в каракуле!.. Не пойдет. Я ей мозги пудрю!.. Да я тебе элементарно хотел объяснить, что определенная прослойка людей и должна жить... с выдумкой, более развязно, я бы сказал, не испытывать ни в чем затруднений. Нет, эта чумичка предлагает мне рыть канавы! Сэн-кью! — Аристарх забрал шубу, костюм жены и ушел в свою комнату.

ДВА ЧАСА СПУСТЯ

Все вчерашние «пассажиры» собрались у Аристарха. Нет только Простого человека — его не позвали.

Аристарх ходил в волнении по комнате, несколько театрально заламывал руки и повторял:

— Как, как эту дуру образумить? Как?

— Как ты с ней говорил-то? — спросил озабоченно Брюхатый.

— Всяко!.. Даже развивал мысль, что нация... должна иметь своих представителей... людей с повышенной энергией, надо же возбуждать фантазию всех органов государства, иначе будет застой...

— Аристофан, мать твою!..— заругался Брюхатый.— Мысли он развивал! Оскорблял, нет?

— А что, молиться на нее, на дуру?

— На карачках!.. Вот так вот ползать будешь! — воскликнул Брюхатый. И с досады даже показал, как ползают.— Вот так будешь, а не мысли развивать. Мысли он развивал! Пока ты их будешь развивать, мы уже будем...— Брюхатый сложил пальцы решеткой.— Я тебя вижу, ты меня — нет. Пойду сам...

Брюхатый одернул пиджак, сделал губы трубочкой, подумал... И пошел.

Постучал интеллигентно казанком в дверь комнаты Веры Сергеевны и сладким голосом сказал:

— Вера Сергеевна!.. Можно ваше одиночество нарушить?

— Ну? — откликнулась Вера Сергеевна; она по-прежнему лежала на диване, но не в костюме, а в платье.

— Здравствуйте, Вера Сергеевна! — приветствовал ее, появляясь в дверях, Брюхатый. Он улыбался.

— Здравствуйте,— с неким вызовом сказала Вера Сергеевна.

— Позвольте присесть?

— Что, опять куда-нибудь едете? Пересадка?

Брюхатый снисходительно посмеялся и махнул жирной рукой.

— Ну, уж... вы прямо в обиду! Хотел как раз попросить извинения за вчерашнее. Сильно шумели?

— Шумели-то, это бы еще ничего...

— А что такое? — встревожился Брюхатый.— Выражался кто-нибудь?

— И это бы ничего... Это я слышала.

— Ну, а что же мы такое вчера сделали?

— Да вы не только вчера, вы давно этим занимаетесь.

— Чем?

— Воруете. Спекулируете.

Брюхатый долго, скорбно, но в то же время как-то мудро молчал, глядя в пол. Потом поднял голову.

— Эх, Вера Сергеевна, Вера Сергеевна... Посадить хотите?

— Хочу посадить.

— А я уж сидел! — почему-то весело сказал Брюхатый.— Сидел. Четыре года и восемь месяцев.

— Ну, еще разок посидите.

— А хотите, расскажу, как это было?.. Нет, я не про подробности дела, а про... судьбу, так сказать, человеческую. Случай-то у нас, если можно так выразиться, аналогичный: жена посадила. Не то что прямо пошла и заявила, а... когда надо было... как бы это вам... В общем, когда надо было сказать «нет», она сказала «да».— Брюхатый обрел отеческий, снисходительный, ласковый даже тон в голосе. Смотрел на Веру Сергеевну, как на дочь.— А прожили мы с ней — ни много, ни мало — четырнадцать годков. И когда я уходил, я ей внима-ательно посмотрел в глаза, внимательно, внимательно. И говорю: «Прощай, Клава. Не скучай,— говорю,— тут без меня... Даст бог, увидимся когда-нибудь, ну, а если уж не приведет бог, то,— говорю,— не поминай лихом. У меня,— говорю,— зла на тебя нету, прости и ты меня, если был когда виноватый перед тобой, невнимательный там, сгрубил когда... Я,— говорю,— старался всегда сделать для тебя что-нибудь полезное, ну, может, не всегда умел». Так я ей сказал. Она, значит, в слезы... А у меня вот тут вот закаменело — смотрю на нее... Ну, в общем, отсидел я свои годки — не досидел даже, вел себя примерно — вышел. Вышел — и к своей Клаве. «Здравствуй,— говорю,— Клава! Вот — дал бог, свиделись». И так это улыбаюсь — изображаю радость. Она, значит, тоже обрадовалась, опять в слезы... И — было на шею мне. Я говорю: «Стоп, Клавдия Михайловна: семафор закрыт. Проезда нету. Извините,— говорю,— Клавдия Михайловна, дальше нам не по пути: разъезд». Она — туда-сюда — мол, я иначе не могла... Все! — Брюхатый это «все» сказал очень жестко. И прямо посмотрел на Веру Сергеевну.— Все, милая!

— К чему это вы? — спросила Вера Сергеевна.

— А просто!.. Случай-то — аналогичный. Но это не конец! Конец тут тоже немаловажную роль играет. Я ей все отдаю... Все отдал! Квартиру, тряпки — все! А за четырнадцать-то лет мы же нажили кое-чего — все отдал! Бери! У тебя будет квартира, туфли, платья... А у меня — голова. Он вот тут перед вами хвастался, что у него — голова,— показал Брюхатый на комнату Аристарха,— а не надо этим хвастаться, не надо. Есть она — есть, нет ее — ничего не сделаешь. Это ведь тоже, как деньги: или они есть, или их нету. Верно? Все бери! А со мной все мое богатство — тут! — Брюхатый ударил себя кулаком в лоб.— Хвастать не буду, но... прожить сумею. И что мы имеем на сегодняшний день? Она: выскочила замуж, разошлась; тот у ней половину площади оттяпал — он для того и расписывался... Тряпочки-шляпочки потихоньку в комиссионку ушли — ша! Как у нас там говорили: кругом шешнадцать. Я: имею трехкомнатную квартиру,— Брюхатый стал загибать пальцы,— дачу, «Волгу», гараж... У меня жена, Валентина, на семнадцать лет моложе меня. Но я опять же не хвастаюсь, но таковы, как говорится, факты. От них никуда не денешься.

— Вы пугаете, что ли, меня?

— Да господь с вами! Пугаю... Просто рассказываю про... некоторые эпизоды своей жизни. Теперь спросите меня: что я потерял за эти четыре года и восемь месяцев? Что? А ничего. Даже не похудел. А особенно, когда вышел, прямо в дверь не стал пролезать. Счас веду переговоры насчет института питания — надо маленько сбросить, а то даже неудобно. А что потеряла моя Клавдия Михайловна? Все. Год назад встретил — с авоськой из магазина кондехает... А я на «Волге» еду. Думаю, подвезти, что ли? Даже остановился... Подвезу, думаю. Скажу: «Клавдия Михайловна, позвольте, я вас до дома подвезу, я только не знаю, где вы теперь живете». Хотел так сострить, но душа не повернулась. Сто метров не подвезу! Она, видите ли, «иначе не могла», а я тоже не могу: шлепай дальше со своей авоськой.

— Слушайте, не надо,— попросила Вера Сергеевна.— Не надо: я же знаю, к чему вы это все. Не надо, умоляю.

Брюхатый встал.

— Да я ведь... что же... я ведь так: эпизоды. Смотрите, вам виднее. Конечно, порыв к прокурору — это кра-

сиво, руку будут жать, соседи скажут: «Какая молодец!» Но в душе подумают,— поверьте моему слову, я жизнь повидал,— в душе подумают: «Вот дура-то!» Вы вот телевизор любите смотреть: вот пусть вам там про жизнь расскажут, пусть расскажут... Смотрите, конечно, телевизор, книжки поучительные читайте, но мои слова тоже не забудьте. Так, на всякий случай...

Брюхатый вышел. Он сам растрогался от своих слов.

В комнате Аристарха его молча ждали «пассажиры».

— Ну!..— Брюхатый погрозил пальцем Аристарху,— Если она все же посадит нас...— он замолчал и слезливо заморгал глазами. И даже головой закрутил и показал на себя, и воскликнул сквозь слезы: — Куда я такой поеду? Я в воронок не влезу! Не мог с женой уладить!.. Купил бы ей... не знаю, чертика с рогами — забавляйся. Нет, он ей про государственные органы!.. Подожди, ты с имя еще будешь иметь дело, будешь. Она вон насмерть стоит, слюной исходит — посадить охота.

«Пассажиры» подавленно молчали.

Вдруг Курносый снялся с места и пошел к Вере Сергеевне.

— Вы, я вижу, оба умники! В гробу я вас видал с вашими теориями!.. С вашим опытом.

Он открыл дверь в комнату Веры Сергеевны и тут же, в дверях, опустился на четвереньки... И пошел так к дивану, где лежала Вера Сергеевна с книжкой.

— Пусть они как хотят, а я вот так буду. Не вставайте, умоляю вас,— сказал Курносый,— так и лежите: я буду так разговаривать.

— В чем дело?! — Вера Сергеевна все же чуть привстала.

— Я человек тоже энергичный, как треплется ваш муж,— быстро заговорил Курносый не поднимаясь,— но я не такой упорный долдон, как они: я прошу пощады. Не говорите!.. Дайте я скажу, потом —казните или милуйте. Я тоже замешан в этой... в этих... Но у меня двое маленьких детей, мать с отцом престарелые... Они не вынесут. Жена тоже не вынесет. Вы сразу уложите пятерых. Я, может быть, не такой энергичный, как эти... про себя информирует везде, но я очень конкретный, Вера Сергеевна. И я немножко внимательней их... Я же вижу,

Вера Сергеевна: вы скучаете. Не надо, не надо говорить! — Курносый вскочил с четверенек, побежал, закрыл дверь, подбежал и стал опять на колени перед диваном.— Но вы же — красивая! Как вы можете скучать? Это нельзя. Теперь слушайте меня внимательно: я не знаю, чего там у них было, у Аристарха с Сонькой, но он какие-то движения делал... По-моему, она тоже хотела его обаять. Но я не ручаюсь: дошло у них до этого или нет. Не знаю. Но я знаю, что он движения делал... в ресторане несколько раз сидели. Я знаю, что он вас сегодня оскорблял. Вера Сергеевна!.. — Курносый приложил умоляюще руку к сердцу.— Только не удивляйтесь и не пугайтесь фальшиво... то есть это, я хочу сказать, что я конкретный и деловой человек, и всякие деловые тайны умирают вместе со мной: давайте наставим ему рога. Не говорите, не надо — дайте я все скажу! Чего тут удивляться-то? Чего глаза-то делать? Это жизнь, Вера Сергеевна, жизнь. За Соньку, за его оскорбления!.. Как он может оскорблять?! Он спекулянт-то не крупный, он — так: середнячишка, щипач. Как он может оскорблять? Вместо того чтобы... Нет, у меня в голове не укладывается! Давайте наставим ему рога. Хотите, я сам этим займусь, хотите... Только не надо, не говорите: дайте я все скажу. Поймите меня: говорю это, спасая свою шкуру. Мне это сто лет не надо, я коньяк больше люблю, но... Вера Сергеевна, сидеть, сидеть неохота! Хотите, сам займусь, а если не подхожу, у меня есть один артист знакомый. Красавец! Под два метра ростом, нос, как у Потемкина... Ну, все, все при нем, я, мужчина, любуюсь на него. Он даже своим режиссерам рога ставит. А ему гараж позарез нужен: я договорюсь с ним. Вера Сергеевна, можно же так жизнь украсить!.. И на него,— Курносый показал на комнату Аристарха,— на него-то злости не будет! Это уже проверено. Мир будет в доме, у кого хотите спросите. Вот спросите у своих подружек, которые рога мужьям наставляют: ведь позавидовать можно, как они живут. Моя мне тоже, по-моему, ставит, потому что ласковая со мной... Я человек откровенный, я вам все говорю. Не обижайтесь на меня, а поймите: мне сильно сидеть неохота. Хотите, я вам завтра фотографию этого артиста покажу?.. Глаз не оторвете! Ну, Потемкин и Потемкин, собака! Он сам рассказывал, но, по-моему, малость врет: к нам одну шпионку заслали, а ее надо было расколоть — ну, то есть, разузнать у нее побольше, так,

говорит, его подослали, он познакомился и... доложил начальству, что задание выполнил. А? Ведь жизнь совсем другая будет!..

— Вон! — вскричала Вера Сергеевна, как графиня.— Вон отсюда!.. Сволочи! Совсем уж?..

— Да ну, что совсем? Что совсем?..— бормотал Курносый, поднимаясь.— Что совсем-то? Чего тут кричать-то? Я дело предлагаю, верняк же предлагаю... Вы подумайте, а мне только намекните...

— Во-он! — пуще прежнего заблажила Вера Сергеевна.

— Ну-у... орать будем, да? Что за люди!..— Курносый пошел из комнаты. Подошел к двери, вдруг резко обернулся и, грозя Вере Сергеевне пальцем, громко, зло и уверенно сказал: — Но сидеть я не буду! Понятно? Пусть Аристарх сидит, если ему хочется, а я сидеть не буду!

— Будешь,— сказала Вера Сергеевна.— Еще как будешь-то.

Курносый с этим боевым, невесть откуда слетевшим на него настроением вошел в комнату, где сидели все «пассажиры». И им тоже всем погрозил пальцем и сказал твердо и зло:

— Сидеть я все равно не буду, учтите! Вы можете садиться, а я не хочу. Поняли?!

— Ты что, с гвоздя сорвался? — спросил Аристарх.— Чего ты?

— Ничего! Пить надо меньше! — закричал Курносый на Аристарха.— Тогда жена будет любить... и сажать не будет. Импортанто!.. Садись тут... по милости всяких... Не буду сидеть! Не буду сидеть!

— Это уже психоз начинается,— сказал Лысый.— Неужели с одной бабенкой ничего сделать не можете?

— Она нас из-за Соньки вон его всех закатает! — все нервничал Курносый.— Нашел с кем — с Сонькой...

— В том-то и дело, что — не нашел! — тоже стал нервничать Аристарх.— Она мне со злости записку в карман сунула, чтобы эта нашла.

— Ну, так и объясни ей,— сказал Лысый.— Я, мол, не захотел флиртовать, она обозлилась...

— Так она и поверила!

— Ну, а что же делать-то?! — теперь уж и Лысый закричал.— Что, так и поведут всех туда, как телят?

— Почему покрышки-то до сих пор здесь?! — закричал и Чернявый на всех, но особенно на Аристарха.

— А куда их теперь?! — закричал и Аристарх на всех, но особенно на Чернявого.— Сейчас прикажешь выносить?

— Вчера надо было!

— Вчера!.. Вчера мы в жаркие страны улетали,— горько съязвил Аристарх.

«Пассажиры» явно нервничали... И не знали, что делать.

Вера Сергеевна, пристроив на коленях книгу, делала вид, что читает. Она была довольна, она догадывалась, что вчерашние нахальные «пассажиры» сейчас боятся и нервничают.

— Так,— сказал Лысый,— если гора не идет к Магомету, то Магомет пойдет к ней... с уголовным кодексом. Посмотрим, что там за крепость. Где ее тряпки? — спросил он Аристарха.

— Зачем? — не понял тот.

— Дай-ка сюда...— он взял шубку Веры Сергеевны, костюм и пошел к ней в комнату.

— С вашего позволения! — явился он вполне официально, с шубой и костюмом на руке.— Позвольте присесть?

— Разрешаю — садитесь,— со скрытым значением сказала Вера Сергеевна, полулежа на диване.

Лысый разгадал скрытое значение в этом ее «садитесь». Он внимательно и серьезно посмотрел на женщину, помолчал... И сказал:

— Сидеть будем вместе, гражданка Кузькина,— сказал он вполне бесцветным голосом.

— Как это? — не поняла Вера Сергеевна.

— Вы с уголовным кодексом знакомы? — в свою очередь спросил Лысый.

— Приблизительно... А вы что, юрист?

— Я не юрист, но с уголовным кодексом знаком,— неопределенно сказал Лысый. А дальше он спросил вполне определенно: —Это ваши вещи?

— Мои.
— Вы их купили?
— Мне их...купил муж.
— Сколько ваш муж получает?
— Какое ваше дело?
— Это не ответ.— Лысый отлично «вел дело»: спокойно, точно, корректно.— Сколько эта шуба стоит?
— Какое ваше дело?!
— Сидеть будем вместе, гражданка Кузькина,— еще раз отчетливо сказал Лысый.— Вы прекрасно знали, что эти вещи — не по карману вашему мужу: он их «симпровизировал», как вы пишете прокурору. Почему же вы про покрышки пишете, а про шубу, про костюм...— Лысый мельком оглядел довольно богато обставленную комнату,— а про все остальное не пишете. Здесь все ворованное.— Лысый сделал широкий жест рукой по комнате.— И вы это прекрасно знаете. Вы пользовались ворованным... И молчали. За это по статье...
— Здесь все мое! — вскричала Вера Сергеевна гневно, но и встревоженно.
— Ваша зарплата? — вежливо осведомился Лысый.
— Не ваше дело.
— Сто десять рублей, нам это прекрасно известно. Прикиньте на глаз стоимость всего этого хрусталя, этого гарнитура, этих ковров...
— Вы меня не запугаете!
— А я вас не пугаю. Это вы нас пугаете прокурором. А я просто вношу ясность: сидеть будем вместе. Не в одной колонии, разумеется, но в одно время. Причем учтите: из всей этой гоп-компании мне корячиться меньше всех, я не с перепугу влетел к вам, а зашел, жалея вас: вы еще молодая.
Вера Сергеевна что-то такое соображала... И сообразила.
— Все это,— сказала она и тоже повела рукой по комнате,— мое: мне папа с мамой дали деньги. Пусть Аристарх докажет, что это он купил...
— Лапочка,— сказал Лысый почти нежно,— тут и доказывать нечего: вот эту «Рамону» (гарнитур югославский) доставал ему я: я потерял на этом триста целковых, но зато он мне достал четыре дубленки: мне, жене, дочери и зятю — по нормальной цене.

— А чего же вы говорите, что вам меньше всех корячиться? Наберем! — весело сказала Вера Сергеевна.— Всем наберем помаленьку! А вы думаете, Аристарх будет доказывать, что это он все покупал? Да вы все в рот воды наберете. Вам за покрышки-то, дай бог, поровну разделить на каждого. Пришел тут... на испуг брать. Вы вон сперва за них получите! — Вера Сергеевна показала в сторону коридора, где лежали покрышки.— Там их — пять штук: за каждую — пять лет: пятью-пять — двадцать пять. Двадцать пять. Двадцать пять лет на всех. Что, мало?

Эта «арифметика» явно расстроила Лысого, хоть он изо всех сил не показывал этого.

— Примитивное решение вопроса, гражданочка. Сколько получают ваши папа с мамой?

— Мои папа с мамой всю жизнь работали... а я у них — единственная дочь.

— Неубедительно,— сказал Лысый. Но и у него это вышло тоже неубедительно. Он проиграл «процесс», это было совершенно очевидно. Но он не сдавал тона.— Аристарх,— продолжал он снисходительно,— конечно, не захочет говорить, что все это купил он, да... Но ведь там-то,— показал Лысый пальцем вверх,— тоже не дураки сидят: скажет! Там умеют... И папаша ваш, если он потомственный рабочий,— что он, врать станет? Да он на первом же допросе... гражданскую войну вспомнит, вспомнит, как он с белогвардейцами сражался. Не надо, не надо, гражданка Кузькина, строить иллюзий. Возьмите это...— Лысый встал и положил на валик дивана шубу и костюм.— Поносите пока.

И Лысый вышел.

А в комнате, где «пассажиры», о чем-то оживленно договаривались. На Лысого посмотрели... но тут же и утратили всякую надежду. Не очень-то, видно, и надеялись.

— Чего вы тут?

— Инсценируем счас ее убийство,— сказал Курносый, хихикнув.— Надо такого ей страху нагнать!.. Так ее, дуру, напугать, чтобы она... на диван сделала.

Аристарх что-то быстро писал, склонившись к столу.

— Как это? — не мог понять Лысый.

— Сделаем вид, что мы ее счас укокошим. Изрубим на куски, а вечером — по одному — всю вынесем в хозяйственных сумках.

— А он чего пишет?

— Полное ее отречение: «Ничего не видела, ничего не знаю». А? Я придумал. Или она подписывает это, или секир башка. Надо только все на полном серьезе! — предупредил Курносый.— Лично я зашиб бы ее без всякой инсценировки,— добавил он, помолчав.

— Все,— сказал Аристарх, поднимаясь.— Пошли. Вооружайтесь чем-нибудь пострашней... Все делаем, как на самом деле.

— Все на полном серьезе!

— А заорет? — спросил Лысый.

— Ори. Кругом никого нету, все на сдаче норм ГТО, она это знает,— сказал Аристарх.

Стали вооружаться: Курносый взял большой кухонный нож, Брюхатый выбрал тяжелый подсвечник...

— Я, как Юсупов,— сообщил он в связи с этим.— Они Распутина подсвечником добивали.

Аристарх взял топорик, которым рубят мясо, а Чернявый взял... подушку.

— А это-то зачем? — спросил Брюхатый.

— А я ей вроде рот буду затыкать.

— А-а.

А Лысый не взял ничего. Он пояснил так:

— А я буду бегать вокруг вас и умолять: «Братцы, может, не надо? Братцы, может, она одумается?»

Все это одобрили.

— Это хорошо.

— Правильно... А то все явимся, как в этой... мульти-пульти такой есть...

— Никакой оперетты! — еще раз предупредил Аристарх.— Она ж тоже... не совсем дура.

— Во, комедию отломаем! — воскликнул Курносый и опять хихикнул.

— А ее инфаркт не хватит раньше времени? — вдруг спросил всех Брюхатый.

Все на мгновение замерли...

— А?

— Инфаркт?

— Инфаркт... Нормальный инфаркт миокарда. Или — инсульт.

— Да ну!..— сказал Лысый.— Она из рабочей семьи, у нее отец на гражданской...

— Как, Аристарх?

— А черт ее!.. Не знаю.

— Ну, а если хватит? Ну и что? — спросил Курносый. И посмотрел на Аристарха.— Ну, допустим, хватит?

— Пошли,— сказал Аристарх жестко.— Она всех нас переживет... Какой там инфаркт!

И они вошли в комнату Веры Сергеевны.

Вера Сергеевна вскочила с дивана и попятилась к окну...

— Вера...— дрогнувшим голосом заговорил Аристарх.— У нас положение безвыходное... Ты не догадываешься, зачем мы пришли?

Веру Сергеевну стали потихоньку окружать.

— Другого выхода у нас нет, Вера...

— Братцы, может, не надо? Может, она одумается? — засуетился Лысый.

— Вера?..— Аристарх медленно приближался к супруге — в одной руке топорик, в другой — «отречение».

Вера Сергеевна побледнела... И все пятились к окну.

— Да ничего она не одумается! — воскликнул Курносый.— Давайте кончать.

— У тебя два выбора: или подписываешь на наших глазах вот это вот — что ты ничего не видела и не знаешь, не собиралась к прокурору... Или мы тебя...

— Давайте кончать! Чего тут тянуть?

— Я закричу,— еле слышно пролепетала Вера Сергеевна.

— А подушечка-то! — вылетел вперед Чернявый.

— Ты же знаешь, что кругом никого нет... Все на сдаче ГТО.

— А сумки-то заготовили? — спросил Брюхатый.— Разре́зать-то мы ее разрежем, а в чем выносить-то?

— Да есть сумки — полно́. Помельче только разрезать... и по одному все вынесем.

— Все уже предусмотрели! — сердито обернулся на всех Аристарх.— Вы выно́сите по одному, а я останусь — замою тут все. Чего тут базарить-то?

— Главное, внутренности вынести, а остальное-то...

— Внутренности! А руки, ноги?.. Куда ноги, например, денешь? Они ни в какую сумку не полезут.

— Перерубим! Я ж те говорю: помельче изрубить.

— Вы же интеллигентные люди,— негромко сказала Вера Сергеевна.— Все в шляпах... в галстуках...

— Вывеска! — воскликнул Чернявый.

— Интеллигентные!..— Брюхатый колыхнул животом от смеха.— Я в лагере трех человек задушил... вот этими вот руками.

— Мы, значит, жестокие? — спросил Аристарх.— А ты? Ты не жестокая? — столько людей сразу посадить собралась. Подписывай!

Как-то не заметили, что, пятясь, Вера Сергеевна подошла к самому окну, которое очень легко открывалось... Она вдруг вскочила на подоконник, распахнула окно и сказала заполошно:

— Если кто только двинется, я прыгаю! Тут только два этажа: сломаю ноги, но все расскажу. Только двиньтесь!

Все так и замерли.

Первым пришел в себя Аристарх. Он засмеялся искусственно.

— Мы же шутим, Верунчик!.. Неужели ты поверила?

— Немедленно все убирайтесь отсюда! — Вера Сергеевна обрела уже спокойный и злой голос.— Шутники.

— Нет, вы... Нет, она правда поверит, что мы...

— Убирайтесь!

— Да шутим же мы! — воскликнул в отчаянии Брюхатый. И бросил подсвечник.— Какие мы убийцы! Нас самих счас...

— Убирайтесь!

— Нет, она в самом деле может подумать!..

— Да думай она! — взорвался Курносый.— Что хочет, то и пускай думает! — И тоже бросил нож. И первым пошел к выходу. В дверях остановился, обернулся, как он давеча сделал, точно так же погрозил пальцем всем и сказал остервенело: — Но сидеть я все равно не буду! Ясно?! Сидеть я там не буду! Вот пусть они вот все... они вот, они — пусть сидят, а я не буду!

Никто ему на это ничего не сказал.

Он вышел... И за ним все тоже вышли.

И собрались опять в комнате Аристарха. Долго молчали.

— Интересно,— заговорил Чернявый, обращаясь к Курносому,— как это ты сидеть не будешь? Все будут сидеть, а ты не будешь?

— Не буду! — повторил Курносый.

— А у тя что, сиделки, что ли, нету? — ядовито спросил его Брюхатый.— Она у тебя на месте: будешь сидеть, как все.

— Он там ходить будет,— подал голос Лысый.

Аристарх сидел, обхватив голову руками, и тихо покачивался.

— Не буду сидеть! — опять тупо повторил Курносый.— Вы все как хотите, а я — не буду!

— Все будем сидеть,— сказал Аристарх, не поднимая головы.

Опять некоторое время молчали.

— Конечно,— заговорил опять Курносый,— если бы ты был человек как человек, мы, может быть, и не сидели бы.

Аристарх поднял голову.

— А кто же я?

— Бабник! Шлюха в штанах!.. Да хоть бы умел, господи! А то... не выходит же ничего, нет, туда же, куда добрые люди: давай любовницу! Даже Соньку, и ту... тьфу! Рогоносец. С этой Сонькой...

— А ты подхалим,— сказал Аристарх первое, что выскочило из его оскорбленной души.— Ты перед начальством на полусогнутых ходишь.

— У меня пятеро на шее! — Курносый крепко хлопнул ладонью себя по загривку.— Пятеро!.. Ты вон с одной телкой справиться не можешь, а у меня их — пятеро. Мне не до любовниц!

— Зато тебе — до коньяка,— вставил Брюхатый.

— А ты вообще заткнись! — развернулся к нему Курносый.— Тебе-то даже полезно посидеть: может, похудеешь маленько. В институт питания собрался!.. Вот тебе и будет институт питания. — И Курносый нервно засмеялся.

Брюхатый навел на него строгий взгляд.

— Шавка,— сказал он. Помолчал и еще сказал.— Моська.

— А ты слон, да? — вступился за Курносого Чернявый.— Это не тебя по улицам водили?

— Меня,— сказал Брюхатый.— А это не тебе я нечаянно на туфель наступил... двадцать седьмого июня тыща девятьсот семьдесят третьего года: на профсоюзном собрании? Что-то ты тогда был... зеленоватый, а сейчас, гляди-ка, кукарекает. Выговор-то кому тогда всучили?

— А кто всучил-то? Кто?

— Я, в том числе.

— Да ты сам первый лодырь! Прохиндей. Выговор он всучил!.. У меня первый раз недосмотр случился.

— Минуточку, минуточку,— прервал Брюхатый,— как это ты выразился — «прохиндей»? Я одиннадцать лет после суда без единого взыскания проработал! А ты мне, обезьяна, будешь еще вякать тут! Сам в выговорах весь, как... Ни одного же собрания не обходится, чтобы тебя...

— Хватит! — взревел Аристарх.— У меня вон,— показал он на стол,— семь почетных грамот лежат!.. Я и то молчу.

— А чего ты можешь сказать? — спросил его Лысый.— Там — семь почетных грамот, а там,— в сторону коридора,— пять покрышек. Я думаю, покрышки — потяжельше, перевесят. Если уж кто самый чистый среди вас, так это я.

— Ой! — изумились.

— Глядите на этого ангела!

— Прямо невеста... в свадебной марле.

— Шариков только не хватает.

— И ленточек разноцветных...

— Да! — гордо сказал Лысый.— У меня две общественные нагрузки, а у вас... У кого хоть одна общественная нагрузка?

Все промолчали.

— А-а, нечего говорить-то. Вы думаете, это на суде не учтется? Все учтется.

— Да, я думаю, все учтется,— сказал Аристарх.— Я думаю, что тот грузовичок с пиломатериалом — тоже учтется.

Лысый подрожал в гневе и обиде губами.

— Ворюга,— сказал он.— Плюс идейный ворюга: с экономической базой. Ты знаешь, сколько тебе за эту базу накинут? Вот сколько нам всем дадут, столько тебе — отдельно — за базу.

— База — для дураков,— струсил Аристарх.— Я — нормальный спекулянт, чего ты тут?

— А-а!.. Очко-то не железное?

— Но ты тоже — не ерепенься тут, кудрявый!..

В это время в дверь позвонили.

Все оторопели на миг... Брюхатый даже за сердце взялся.

Еще резко, длинно позвонили.

— По одному... с вещами,— тихо сказал Чернявый.

— Иди,— кивнул Брюхатый Аристарху.

— Может, это макулатуру собирают... пионеры,— тихо сказал бледный Аристарх.— Подождем.

Опять звонок.

— А я нож-то там бросил! — вскричал Курносый.— Подождите, я нож-то хоть уберу, а то же!..

— Топорик мой...

— А?

— Топорик, топорик,— невнятно повторил Аристарх. И показывал пальцем на комнату Веры Сергеевны.— Топорик...

— Чего топорик?

— Топорик мой тоже возьми, а то нам попытку к изнасило... ой, это... к убийству, к убийству...

— Тьфу!..— заругался Курносый. И побежал за ножом и за топориком.

— Мама, роди меня обратно: рубля государственного не возьму,— сказал Брюхатый.

— Не будет она тебя больше рожать,— зло и тихо сказал Чернявый.— Она и за этот-то раз раскаивается, наверно.

Курносый принес нож и топорик... И засуетился с ними. И зачем-то их оглядел еще.

— Ты что? — одними губами спросил Аристарх.

— Где они лежали-то?

— Вон...

Опять звонок, на этот раз вовсе длинный, никакой не «пионерский».

— Какая макулатура! — тихо воскликнул Лысый.— Иди.

Аристарх поднялся... И медленно, тяжело — как если бы он шел уже по этапу — пошел к двери.

— Кто? — спросил он тихо, обреченно.

Из-за двери что-то ответили...

Аристарх смело распахнул дверь и налетел на вошедшего:

— Какого черта ходишь тут?! Звони-ит!..

Вошедшим был Простой человек. Он держал ящик с коньяком и улыбался.

— А я думал, нет никого! — Он не обратил никакого внимания на ругань Аристарха, он держал в руках ящик с коньяком и улыбался.— Куда, думаю, они подевались? Договаривались же вчера. Вот он!

И Простой человек пошел с тяжелым ящиком к столу.

— Ну, ребятки, седня нам... до Владивостока хватит.

На него молча смотрели.

Только Брюхатый сказал:

— Идиот... Василий блаженный. На полатях вырос.

— А чего вы такие? — только теперь заметил Простой человек.— А? Что вы сидите-то, как вроде вас золотарь облил?

— Хочешь в свою Сибирь? В деревню? — спросил Брюхатый.

— Хочу,— сказал Простой человек.— Нынче поеду: у меня в сентябре отпуск...

— А в долгосрочный отпуск поедешь?

— Стоп! — воскликнул Чернявый.— Идея! Вот идея так идея.— И он вскочил и обнадеживающе посмотрел на всех...— Кажется, мы спасены!

— Как? — спросили все в один голос.

— Ждите меня! — велел Чернявый и куда-то убежал — вовсе, из квартиры.

ВЕЧЕР, КОТОРЫЙ НЕ УСПЕЛ ПРЕВРАТИТЬСЯ В НОЧЬ

«Пассажиры» ждали. Сидели молча и ждали. Стоял коньяк на столе, но никто к нему не притрагивался... Нет, одна бутылка была распочата: похоже, это Простой человек пригубил. Но и он тоже сидел и ждал. Тикали часы, слабо слышалась какая-то значительная кинематографическая музыка: Вера Сергеевна опять смотрела телевизор.

Долго-долго сидели и ждали.

Наконец Простой человек не выдержал и встал...

— Пойду еще раз,— сказал он.— Хлопну для смелости — и пойду.

Он выпил коньяку... Все — от нечего делать — внимательно глядели, как он наливал, как подержал рюмку в руке, тоже глядя на нее, и как выпил. Простой человек выпил и пошел к Вере Сергеевне.

— Я еще раз,— сказал он, входя.— Сергеевна, голубушка... ведь все это — опишут,— сказал он, показывая рукой гарнитур, диван, ковры...— Все-все. Одни обои останутся.

— Пусть,— сказала Вера Сергеевна.— Зато преступники будут наказаны.

— Преступников не надо наказывать...

— А что же их надо — награждать?

— И награждать не надо. На них не надо обращать внимания. В крайнем случае, надо с имя находить общий язык.

— Спасибо за науку. А они будут продолжать воровать?

— Они так и так будут продолжать! Потом: ну какие же они преступники! Вот эти-то?.. Господи!.. Это сморчки! Они вон уже перепугались сидят... с них капает. Ведь на них глядеть жалко. Вы зайдите, гляньте — ведь это готовое Ваганьково. Там только надписи осталось сделать: был такой-то, грел руки возле гарнитуров. Пожалейте вы их, ей-богу! Ну, припугнули — и хватит. Хоть Аристарха свово пожалейте: ведь он со страху... мужиком года полтора не будет.

— Ну, что вы — он любовниц заводит! — воскликнула Вера Сергеевна с дрожью в голосе.— У него есть Соня.

— Сонька?! — удивился Простой человек. И хлопнул себя руками по штанам.— Господи, боже мой. Ну нашла же ты к кому приревновать. Да с Сонькой вся база... Я! Я!..— постучал себя в грудь Простой человек,— я один, можеть, только и не вокшался: потому что я тоже больше коньяк уважаю. Не коньяк даже, а простую водку. Сонька!..

— Тем более! — мстительно воскликнула Вера Сергеевна. И встала от телевизора и нервно прошлась по комнате.— Тем более!.. Скотина он такая. Мне его нисколько не жалко! Из всей этой бригады,— показала она на комнату Аристарха,— мне ни-ко-го не жалко. Вас только жалко.

— Да меня-то!..— махнул рукой Простой человек.— Я и там грузчиком буду. Это им переквалификацию надо проходить, а мне-то... Коньячка вот только не будет, вот жалко. Ну, отдохну от него, наберусь сил — тоже полезно. Да мне много и не дадут — от силы, два года: за компанию. Мне их жалко, Сергеевна: у их, у всех, почесть, детишки. Вот этого толстого!..— почему-то вдруг обозлился Простой человек,— вот этого бы я посадил, не моргнув глазом. Ох, эт-то журавь, скажу тебе! Это самый главный воротила. Но его же отдельно не посадишь. Сажать, так уж всех.

— Вот все и будут сидеть.

— Оно, конечно... так. Знамо, что... А куда денешься? — будем сидеть.

И Простой человек вышел.

Когда он вошел в комнату, где сидели «пассажиры», на него посмотрели без всякой надежды, обреченно.

Простой человек присел к столу... И засмотрелся на бутылки с коньяком. И вдруг всплакнул.

На него удивленно посмотрели.

— Прощайте... драгоценные мои,— говорил Простой человек, глядя на бутылки.— Красавицы мои. Как я буду без вас?.. Одно страдание будет, тоска зеленая... Любимые мои. Тяжело мне с вами расставаться, ох, тяжело...

— Поплачь, поплачь, говорят, легче становится,— сказал Брюхатый.

— А я и плачу. Плачу и стонаю. Сердце кровью плачет, когда на них смотрю. Но канавы рыть с тобой в одной бригаде я не буду! — Простой человек сердито посмотрел на Брюхатого.— Я твою норму там не буду выполнять. Я за тебя... Недоедать из-за тебя не буду!

— Чего это ты решил, что я там канавы рыть буду? — спросил Брюхатый.

— А что же ты там будешь делать?

— Библиотекарем пойду... Или санитаром.

Все засмеялись: это был нехороший смех, нездоровый смех, болезненный смех, если можно так сказать про смех.

— Налей-ка и мне,— подошел к столу Курносый.

Простой человек налил две рюмочки... Одну пододвинул Курносому. Они чокнулись.

— За счастливую дорогу,— сказал Простой человек.

И тут вдруг сорвался «с гвоздя» Аристарх. Он вскочил, затопал ногой и закричал:

— Хватит паясничать! Хватит паясничать!.. Комеди франсез развели тут! Вон все отсюда! Вон! Скоты!.. Говядина!

Курносый поставил свою рюмку на стол и внимательно посмотрел на Аристарха.

— Слушай...— сказал он,— я умею останавливать истерики: я перворазрядник по боксу. Я хоть давно не в форме, но все равно... такую-то экономическую гниду я сделаю.

Аристархушка сел так же резко, как вскочил, обхватил опять руками голову и тихо стал покачиваться.

Простой человек промакнул губы уголком дорогой скатерти и опять пошел к Вере Сергеевне. Ему, похоже, пришла какая-то дельная мысль в голову.

— Сергеевна,— сказал он,— а на кого квартира записана?

— Как?..— не то что не поняла, а, скорей, растерялась Вера Сергеевна.— Как «на кого»?

— Кто ответственный квартиросъемщик?

— Он...

— Он.— Простой человек выразительно смотрел на Веру Сергеевну.

— А что? — спросила та.

— А ты куда? — спросил в свою очередь Простой человек.

— Как куда? Никуда.

— Она кооперативная?

— Да.

— С конфискацией имущества! Он же не к Марье Иванне в карман залез, он государству в карман залез...

— Ну? И что?

— С конфискацией всего имущества,— повторил Простой человек, даже с каким-то удовлетворением повторил.— У их теория одна: с конфискацией всего имущества.

— А я куда же?

— Я вот и зашел спросить: а ты куда?

— Нет такого закона! — слабо запротестовала Вера Сергеевна.

Простой человек присел на дорогое зеленое кресло.

— Коломийцева посадили — с конфискацией,— стал он загибать пальцы,— Коренева Илью Семеныча, веселый человек был! — с конфискацией... Он, к тому же, анекдоты любил...

— При чем тут Коренев какой-то? А я что, на улицу, что ли?

Простой человек помолчал...

— Угол снимать где-нибудь.

— Здравствуйте!

— Прощайте,— жестко сказал Простой человек — откуда и нашел в себе такую жестокость, он был добрый человек — и отбыл к «пассажирам».

— Слюнтяи,— сказал он всем. И прямо прошел к столу.— Интелефу занюханные.— Налил себе большой фужер коньяка и выпил один.— Энергичные люди!.. Это я...— стукнул он себя в грудь,— я энергичный! Соображать надо! Жить надо уметь! От меня три жены ушло, и ни одна,— он подчеркнул это,— ни одна не делает волны насчет алиментов! А потому что — что с меня возьмешь? С меня взять-то нечего. Я за свой труд беру, в основном, коньяком, а они не хотят коньяком. Не положено, они это прекрасно знают. Они каждый божий день видят, что я к вечеру лыка не вяжу, а сделать ничего не могут. Их мужья все озозлились... иззавидовались, а сделать ничего не могут. А вы — энергичные... Вот энергия-то! Боксер, садись, врежем. Не вешай свой курносый нос — он у тебя все равно кверху торчит. Вот ты еще, более-менее, энергичный. А эти все... Тара для... сказал бы для чего, но у меня настроение улучшилось.

Раздался звонок в дверь.

Все опять замерли.

— Открывайте! — велел Простой человек.— Памятники...

Но никто не стронулся с места.

Простой человек сам пошел открывать. И на ходу

изобразил, что вроде и в самом деле меж памятников идет: приостанавливался и разглядывал.

— Люблю по кладбищу ходить. Думаешь: а кто были эти люди? — рассуждал сам с собой Простой человек. Он остановился перед Брюхатым.— Вот этот, наверно, плохой был...

— Проходи,— негромко сказал Брюхатый,— а то я встану из гроба и задушу тебя.

— Да, этот был плохой,— повторил Простой человек.— Вор был, наверно.

Он подошел к двери, открыл... и воскликнул:

— Соня!..

Стояли: Соня и Чернявый. Соня всех внимательно разглядывала, а Чернявый улыбался значительно.

Никто ничего не понимал... Особенно Аристарх: он встал было, но сел снова, опять встал и опять сел — не мог встать от растерянности. Понимал что-то такое один Чернявый. Он помог снять Соне дорогую шубку... И, похоже, не собирался проходить с гостьей к «памятникам», а легонько — интеллигентно — подталкивал ее в комнату Веры Сергеевны.

И вошли.

Вера Сергеевна тоже растерялась... Встала с дивана и смотрела на женщину Соню.

А там, в комнате Аристарха, по-прежнему все сидели неподвижно. Только Простой человек, пробираясь опять меж «памятников» к столу, сказал:

— Счас там будет третья империалистическая.— Он тихо засмеялся, набулькал из бутылки в рюмочку и качнул головой.— Клочья полетят...

А в комнате, где Вера Сергеевна, пришли в движение.

— Это — Соня,— представил Чернявый гостью хозяйке.— Моя любовница.

— Ну,— засмущалась Соня.— Прямо сразу уж... Зачем так?

— Соня, мы договорились: все начистоту. Раз тут недоразумение, мы должны...

— У вас же семья,— сказала с удивлением Вера Сергеевна.— Как же вы говорите — любовница...

— Да! — гордо сказал Чернявый.— Я — из казаков...— И он энергично показал — не то лихо дернул поводья скакуна, не то... шут его знает, что-то такое показал энергичное руками,— густых, так сказать, кровей! Все даже удивляются. Ну, говорят, Сучков, ты даешь! Вы знаете, сколько я плачу́ алиментов? — Чернявый навис вопросом над Верой Сергеевной и сам заранее выпучил глаза.— Семьдесят пять процентов! Вы думаете,— горячо продолжал он,— если я связался с этими государственными ворюгами, то это от веселой жизни? Нет! Если я добуду рубль на стороне, то он хоть весь мой. С законного рубля мне только положено двадцать пять копеек. А у меня — четверо детей.

— Четверо детей!..

— Это — со мной, при мне. А так их у меня... по-моему, одиннадцать. Вместе с этими, которые со мной.

— Но как же... еще любовница? — все не могла прийти в себя Вера Сергеевна.

— А что я, хуже других? Вы думаете, этот Брюхатый, например, любовницу не имеет? Имеет. Я только не знаю, что он с ней делает, но имеет. А Лысый этот?.. С чего это он, скажите пожалуйста, полысел в сорок три года? Думал много? Над чертежами ночью склонялся? Нет, не над чертежами... Только уж не над чертежами. Да все имеют любовниц! Вы простите, вы замужняя женщина, но откройте глаза-то, откройте: ведь это же позор считается, кто не имеет любовницы. Ведь это только один Аристарх ваш... Ведь над ним весь отдел смеется! Я уж не знаю, что у вас за любовь такая... не знаю. Значит, она есть еще на земле? Я не знаю... с этим Аристархом... Он мне все представления о жизни перевернул. Любовь, что ли, у вас такая? — прямо спросил Чернявый Веру Сергеевну.— Даже интересно, честное слово.

— Слушайте,— заговорила Вера Сергеевна неуверенно,— а как же записка?.. Ваша записка, я ее нашла в кармане...

— Ва-аша запи-иска, в несколько стро-очек,— пропел беспечный Чернявый.— Она вам все расскажет про записку. Соня, только всю правду. Влюбилась, дурочка, в вашего Аристарха и... решила вас поссорить. Я когда се-

годня узнал об этом, у меня глаза на лоб полезли. «Поедем,— говорю,— немедленно поедем к Вере Сергеевне, и ты ей все расскажешь». Все, Соня!.. Я выйду, чтоб не мешать вам...— Уходя, Чернявый ласково, но и строго погрозил Соне.— Все, решительно, все. Про нас подробности можешь тоже не скрывать — я лишен предрассудков.— Он чуть подумал.— И, по-моему, совести тоже.

«Пассажиры» никак не могли понять, что такое творит Чернявый. И когда он вошел, все вопросительно на него смотрели и ждали.

Чернявый в изнеможении опустился в кресло, прикрыл глаза, долго сидел так, вольно раскинув руки и ноги.

— Дядя Вася, налей мне граненый стакан коньяку,— сказал он устало и капризно.

— Зачем же стакан? — с уважением сказал Простой человек.— Тут есть всякое хрустальное дерьмо...

— Нет, я хочу только из граненого стакана. Я сегодня спас...— Чернявый открыл глаза, огляделся,— от тюрьмы... много-много людей. Поэтому я хочу пить только из граненого — по-казачьи. Я вас всех вывел из окружения! — возгласил он, принимая стакан из рук Простого человека. Отпил, передохнул и сказал всем строго: — Соньке — книжный шкаф «Россарио», мне — золотой перстень с энблемой: казак скачет на коне.

А в комнате Веры Сергеевны в это время две женщины беседовали. Соня что-то рассказывала Вере Сергеевне, что-то показывала руками... Вера Сергеевна то изумлялась, то удивлялась, то ужасалась, то жалостливо смотрела на Соню. По всему видно, что они поняли друг друга, помирились и даже, кажется, готовы дружить, как иногда дружат порядочная женщина и величайшая распутница. Об этом много писали.

А в комнате, где «пассажиры», хотели понять, что́, вообще, происходит? То есть, о чем-то уже догадывались, но — подробности, подробности.

— Как ты ее уговорил? — пытал Брюхатый Чернявого.

— Книжный шкаф «Россарио»...

— Для чего он ей?

— Не знаю... Сошлись на книжном шкафу.

— Как «сошлись»? — не понял Простой человек.— Неудобно же...

— Нет, все в порядке, что ли?! — закричал в нетерпении Лысый.

— Да,— сказал Чернявый.

— Ур-ра-а! — закричали Курносый и Простой человек.

— Едем седня до Владивостока! — заявил Простой человек.

Аристархушка в волнении ходил по комнате.

— А что она ей говорит? — спросил он.

— Они говорят на иностранном языке,— сказал Курносый в сильнейшем раздражении на Аристарха.— Импортанто де ла кругом и около.— Он подошел к Чернявому и крепко пожал ему руку.— Как мужчина мужчине,— сказал он уважительно и скупо.

Чернявый махнул рукой...

— Я тоже... перехватил там: наговорил на себя, что я чуть не Тарас Бульба. Еще немного — и Тарас Бульба. По-моему, она меня теперь бояться будет.

— Кто, Сонька?

— Кстати... если Сонька счас войдет в роль и начнет приставать ко мне, ты...

Но тут вошли Соня и Вера Сергеевна.

— На колени! — скомандовала Соня Аристарху.— На колени перед Верой Сергеевной.

— Зачем? — спросил Аристарх.

— На колени!! — потребовали все, еще не разобравшись, зачем надо на колени.

— Оказывается, ты оскорблял ее! — продолжала с возмущением Соня.— Ты ей тут, оказывается, наговорил гадостей и грубостей! На колени!

— На колени!!! — опять закричали все. А Курносый даже двинулся к Аристарху.

— Импортанто!..— с угрозой сказал он,— ты знаешь, что такое нокдаун? Я не говорю уже о нокауте, я говорю о небольшом нокдауне... На колени!

Аристархушка стал на колени...

— Проси прощения у Веры Сергеевны,— велела Соня.

— Проси прощения у Веры Сергеевны! — закричали все в один голос.

Аристарх замешкался было... Но тут ему разумно посоветовал Простой человек:

— Давай, Аристархушка... да благословясь поедем во Владивосток.

— Вера,— дрогнувшим голосом заговорил Аристарх,— прости. Клянусь: ни одной больше покрышки, ни одного колеса...

— Не об этом речь! — прервал его Брюхатый.— Говори по существу дела! Что значит ни одного колеса! Что ты, на лыжах собрался ездить?

— Но о чем тогда говорить-то?! — взбунтовался Аристарх на коленях.

Но тут уж возмутились все.

— Ах, он не знает о чем говори-ить! Ах ты, бедняжечка... Первоклашка.

— Тебя мама еще за ручку водит, да?

— Нет, он все же хочет получить небольшой нокдаун.

— Да не нокдаун, а нормально — по сусалам! — громко возмутился и Простой человек.— Поедем во Владивосток! Поезд же отходит, вы что?

— Вера,— опять дрогнувшим голосом заговорил Аристарх,— клянусь, после этого случая буду каждый день проверять карманы...

— Опять!.. Ему говорят стриженый, он — бритый,— вконец вышел из терпения Брюхатый. Но тут же взял себя в руки и уже продолжал говорить с Аристархом, как с полным, но безвредным дураком, не злостным дураком: — Зачем ты будешь проверять карманы?

— Не разговаривай со мной, как с идиотиком...

— Нет, зачем ты будешь проверять каждый день карманы?

— Чтобы там записок не было...

— А жить так, чтобы в твоей жизни вообще никаких записок не было — так будешь жить?

— Что я, просил ее, чтобы она мне писала?! — опять было загорячился Аристарх и показал на Соню. И хотел даже встать с колен, и уж было встал, но тут встрепенулась Соня.

— На колени! — закричала она.— А что это, женщину надо обязательно просить, чтобы она писала? — спросила она надменно.— А сама женщина не имеет пра-

ва написать записку? Может у нас женщина пошутить?

Вот это понравилось всем. С этим «может ли у нас женщина пошутить» она попала в самую точку. На Аристарха опять все навалились.

— Домостроевщину развел! — воскликнул Лысый.

— Нет, этот человек просит нокаута! — тоже воскликнул Курносый.— Не хочет он нокдауна, никак не хочет! Ему больше нравится нокаут! Ведь достану в печень — до утра будут считать.

— Нет, ты ответь... Ти-ха! — рявкнул Брюхатый на всех.— Ты ответь на вопрос, который тебе, подлецу, поставили: может у нас женщина пошутить?

— Может.— Аристарху надоело стоять на коленях, и он стал со всем соглашаться.

— Значит, что надо теперь сказать?

— Что? — искренне не понял Аристарх.

Брюхатый изумился; за ним некоторые тоже изумились, но так, для вида: никто, кроме Брюхатого, не понял, что́ надо теперь сказать Аристарху.

— Ты должо́н сказать,— вылез с поучением Простой человек,— ребята, мол, забудем все — и поедем во Владивосток.

— Прекрати со своим Владивостоком! — прикрикнул на него Лысый.— По-моему, ты и так уже где-то... под Хабаровском. Тут серьезное дело.

— Что ты должен сказать? — пытал Брюхатый Аристарха.

— Что?! Что?! Что?! — С Аристархом, кажется, начиналась истерика.— Не понимаю!..— Он стукнул двумя кулаками себя в грудь, и в голосе его послышались слезы.— Не понимаю: что́ я должен сказать?!

Брюхатый пожалел его.

— Ты должен сказать: Верунчик, я тебя люблю. И не формально сказать, а с чувством, как ты говорил... сколько лет назад? — повернулся Брюхатый к Вере Сергеевне.

— Что говорил? — не поняла Вера Сергеевна.

— Когда он вам первый раз сказал: Верунчик, я тебя люблю? Сколько лет назад это было?

— Это было... девять лет назад,— сказала Вера Сергеевна.— Но он не так говорил...— Вера Сергеевна, во-

обще-то, была довольна — и этим стоянием Аристарха на коленях, и тем, что все его очень ругают.— Он сказал: «Хочешь, я сделаю тебя самой богатой женщиной микрорайона?»

— Трепло! — возмутились все.

— Про экономическую базу он ничего не говорил?

— Хвастунишка.

— Я не так говорил! — заспорил Аристарх на коленях.

— А как?

— Я сказал: «Хочешь, я МОГУ сделать тебя самой богатой женщиной микрорайона?» Еще я сказал: «Только не носи синтетическое белье».

— Почему это? — спросила Соня.

— Искры летят,— пояснил Аристарх.

— Да? — удивилась Соня.— Не замечала.

— Ну, так,— поднялся Брюхатый.— Я думаю, что он все осознал... Осознал, Аристарх?

— Осознал.

— Поднимайся,— велел Брюхатый.— Вера Сергеевна, идите сюда... Идите, идите. Я предлагаю такую детскую игру. Кто видел, как мирятся детишки?

Никто не видел. То есть, наверно, видели, но не знали, куда клонит Брюхатый.

— Они берутся вот так...— Брюхатый взял руку Аристарха и руку Веры Сергеевны, сцепил их мизинцы.— Теперь повторяйте за мной... Вот так вот махайте и повторяйте. Повторяйте: мирись, мирись — больше не дерись, если будешь драться, я буду кусаться.

Все засмеялись остроумной выдумке Брюхатого, даже зааплодировали. Все были рады.

— Давайте, давайте!..— требовали от Аристарха и Веры Сергеевны.

— Мирись, мирись,— стали вместе говорить Аристарх и Вера Сергеевна,— больше не дерись, если будешь драться, я буду кусаться.

Опять зааплодировали... Вера Сергеевна была счастлива; Аристарх был смущен, но тоже доволен. Их окружили, поздравляли с примирением... Сделался вокруг них хоровод, пошли, взявшись за руки, и запели:

Как на Вериных менинах,
Испекли мы каравай:
Вот тако-ой вышины!
Вот тако-ой ширины!..

Опять засмеялись, опять зааплодировали себе. Все были счастливы.

— Черт его знает!..— воскликнул растроганный Брюхатый.— Жить да радоваться!.. Нет, мы начинаем себе же сложности находить.

— Именно: можно же красиво жить! — подхватил Курносый.

— Да... со вкусом! Ведь один раз живем-то! — тоже с чувством сказал Лысый.— Вы вдумайтесь: один раз! И все, и больше нас ни-ког-да не будет.

— Поехали во Владивосток! — опять призвал Простой человек. Но на всех слетела какая-то тихая, задумчивая минута, всем как-то было не до Владивостока.

— Иной раз думаешь: люди, в чем дело? — продолжал глубоко и даже с грустинкой Брюхатый.— В чем дело, люди?

— Дело в том, что — уважения побольше друг к другу,— подхватил его мысль Лысый.— Уважения!

— Я бы сказал — и любви,— сказал Чернявый. Он даже встал.— Любовь — это... Все можно достать! — воскликнул он.— Все! А любовь не достанешь, если ее вот тут вот нету.

— Это ты, брат, верно,— похвалил Брюхатый.— Это ты — в десятку.

— Суетимся, суетимся много,— вздохнул Лысый.— Сказано же: «Не суетитесь». Нет, мы суетимся...

— Не потопаешь — не полопаешь,— вставил и свое раздумчивое слово Простой человек.— Попробуй не посуетись.

— Заговорила матушка-деревня! — горестно и насмешливо сказал Брюхатый.— А ведь на полатях-то не суетились! — вдруг решил поймать он Простого человека на слове.

— Почему это на полатях не суетились? — не понял Простой человек.— И на полатях суетились, и на печке, и в банях... А чего ты ко мне с полатями-то привязался? Если хочешь, то я на покосе родился. Но полати я любил, потому что там можно сверху наблюдать.

— И чего ты оттуда наблюдал, интересно?

— Все... Жизнь. Мы там сказки рассказывали друг дружке... Нас одиннадцать человек росло.

— А нас — двое,— вспомнила и Соня,— но я была младшая. Это хуже всего — младшей сестрой быть: все

платья, все туфли, все юбки я за Зинкой донашивала. А счас — все наоборот! — Она сама рассмеялась такому нелепому обороту в жизни.— Я ей говорю: а помнишь, Зин, как я за тобой все донашивала? Она говорит: не говори. А вот нечего, говорю!.. Заладила тогда: учиться, учиться! Дырки всем на боку провертела со своей учебой! Выучилась?.. Ну, давай теперь, гордись передо мной: ты же ученая! А я вот — неученая. Я — продавщица, нормальная продавщица!.. А давай, говорю, пройдем с тобой — для кспиримента — по улице: я надену все свое на себя, а ты свое на себя... Давай, говорю, пройдем? Не хочет.

Все засмеялись.

— Нет, мы едем во Владивосток или не едем?! — на исходе всякого терпения закричал Простой человек.— Во-от споминать пустились... Чего мы сидим-то?

— Это мы — перед дальней дорогой,— молвил Курносый, улыбаясь.

— Хватит вам со своим Владивостоком! — сказала Вера Сергеевна, тоже по-доброму улыбаясь.— Давайте... сядем все за столом, как нормальные люди... Представляете,— обратилась она к Соне,— выдумали какую-то... странную игру: то в жаркие страны летают в качестве журавлей, то ездят куда-то...

Соня махнула рукой.

— Делать нечего!

— Энергия! — воскликнул Чернявый.— Не зря же про нас говорят: энергичные люди.

— Ну-ка, энергичные люди,— стала распоряжаться Вера Сергеевна,— приложите свою энергию к делу: раздвиньте пока стол. Соня, а мы пойдем на кухню — вы мне поможете салат сготовить...

И пошло тут веселое, хорошее оживление, когда вроде и делом занимаются, а вроде и дела никакого нет. Мужчины умело раздвинули стол, закурили... Аристарх включил дорогой магнитофон «Сони».

— У тебя «Сони»? — спросил Брюхатый со знанием дела.

— Да.

— Прекрасная вещь. У меня тоже... Шестьсот рублей.

Курносый чему-то вдруг весело рассмеялся... Да так искренне, так неудержимо долго смеялся, что все стали смотреть на него с тревогой.

— Ты чего? — спросил Брюхатый.

Курносый хохотал и показывал пальцем на Чернявого, хотел что-то сказать и не мог сказать от смеха.

— Чеканулся, что ли? — спросил Чернявый вполне тревожно.

— Со...ня,— продохнул наконец от смеха Курносый.— У вас «Сони», а у этого — Соня...

— Смех смехом,— серьезно заговорил Чернявый,— но если кто из вас трепанет где-нибудь, что она моя любовница... Слушайте, я серьезно говорю! Не вздумайте пошутить где-нибудь! А то... их же выручил, понимаешь... Мне тогда — загодя с седьмого этажа прыгать.

— С седьмого — это высоко,— согласился Лысый.— Но со второго я прыгал. Причем не муж даже, не муж — брат застукал... Не понимаю, чего она так перепугалась! Глаза вот такие: убьет, говорит! Я маханул... Хорошо, на цветочную клумбу угодил.

— А я раз...— хотел было тоже вспомнить Брюхатый, но вошли Вера Сергеевна и Соня. Внесли всякие закуски.

— Пожалуйста, к столу! — пригласила Вера Сергеевна.

И стали садиться к столу. На душе у всех было мирно и хорошо.

— Уверяю вас: можно же прекрасно жить! — еще раз сказал Брюхатый с чувством тихой благодарности к жизни.— Мирно, спокойно...

— Главное, не суетиться перед клиентом,— согласился с ним Лысый.— Скажите, чего нет? — спросил он, приглашая всех тоже, как Брюхатый, к тихому восторгу перед жизнью, но был конкретней: он показывал на богатый стол.— Чего не хватает?

— Так-то бы жил! — сказал Простой человек.— Таксисты только хамят: не хотят везти, и все! Каждый день у меня с имя стычка.

— Хамства много, это верно,— согласился Курносый.— Но я заранее трояк показываю. Ты сразу трояк показывай, и все, и повезет.

— Хорошо, если он есть. А если его нету?

— Тогда — кулак,— сострил Брюхатый.— И скажи: «Я на покосе родился!» — сразу повезет.

Засмеялись.

— Повезет он...— проворчал Простой человек.

За разговорами сели к столу.

— Ой, я забыла эту... открывалку-то...— вспомнила Вера Сергеевна.— Сонечка, не в службу, а в дружбу: у меня в ящике лежит... в «Рамоне» в левом ящике, в нижнем... такая — с ручкой, как у...

— Найду,— сказала Соня. И пошла за открывалкой.

Пока она ходила, тут опять наладились было на мирный, хороший разговор.

— Я как-то товарища своего школьного встретил...— вспомнил Брюхатый.— Ну — «Где? Как?». Оказывается,— шишка. Ну, выпили, закусили... Потом эта «шишка» спрашивает: «Слушай,— говорит,— ты не можешь мне женские сапоги «на платформе» достать? За горло,— говорит,— взяли...» — «И все? — говорю.— Вся проблема?» А сам думаю: эх...

Но тут случилось нечто, что и назвать-то как-то... не поймешь, как и назвать: шутка? Но уж больно тупая. Соня!..

В то время, как Брюхатый говорил: «А сам думаю: эх...», вошла в комнату преподобная Сонечка... с пистолетом в руках: наставила на всех и говорит:

— Руки вверх! Я — из обэхээса!

Да так спокойно, уверенно, так СТРАШНО это сказала, что за столом обмерли. Все застыли, кто как сидел... И тут Соня расхохоталась! Вот уж она посмеялась, дура,— до слез прямо досмеялась. Смеялась и показывала... открывалку, которая была похожа на пистолет — вылитый пистолет!

За столом не знали: то ли сердиться на эту дуру, то ли уж махнуть рукой... Но признались, что перепугались насмерть.

— Сонька!..— с укором сказал Брюхатый,— у меня же сердце, дура ты такая, дура... Ведь так — парализует, и все. И будешь: одна половинка жить будет, а другая рядом лежать, по соседству.

— А у меня — холод: вот отсюда вот пошел, от затылка,— признался Лысый,— и по спине, по спине — куда-то в копчик уперся: чувствую — примерз к стулу! Ну, надо же так додуматься! Ну, Соня!..

Отходили от испуга; даже уж с некоторым весельем продолжали рассказывать, кто что почувствовал и подумал, когда Соня наставила «пистолет».

— А я думаю: пока тут счас всех будут обыскивать да личности проверять, я незаметно успею сунуть одну

бутылку в штанину,— поделился своими мыслями Простой человек.— Глянь, у меня штаны-то: туда полприлавка влезет. Пока, думаю, будем ехать в воронке — там же темно! — я ее из горлышка... Мы бы ее с боксером вот раздавили бы.

— Нет, тут уж не до бутылочки было бы,— признался Курносый.— У меня в глазах темно сделалось. Вот понимаю же: все же на месте, никуда же никто не успел... А — никого не вижу! Туда смотрю (в зрительный зал) — никого не вижу, сюда смотрю — никого!.. Одну Соню с этой открывалкой вижу, и все. Ну, Соня!.. Ну, шуточки у тебя!..

— А я думаю так: прикинусь счас невменяемым!..— поделился мыслями и Чернявый.— С ума сошел. Сошел с ума — тронулся!.. А таких не судят.

— Так тебе и поверили! — сказал Простой человек, разливая коньяк по рюмкам.

— Это — как держать себя.

— Да как ни держи!.. Пару раз промежду глаз...

— А я,— сказал Аристарх,— я вот что подумал.— И все замолкли и смотрели на Аристарха: интересно было, что он подумал.— Я подумал — все: и Соня, и моя жена, обе — оттуда... из обэхэса.

— Ну!..— изумилась Вера Сергеевна.— Девять лет живем, а он...

Все засмеялись такой, в самом деле, нелепости. Заговорили все сразу:

— Аристарх, ты уж...

— А что? А что?.. А знаете, случай был...

— Да ну, случай!.. Случаи в кино бывают, в театре...

— Нет, Аристарх, в самом деле?

— Клянусь! Ну, думаю, это мне — пятнадцать лет!..

— Да нам бы всем!.. Мы же ее «убивать» ходили! Нам бы за одну эту комедию...

— Едем во Владивосток! — громко объявил Простой человек.— Присели!.. Присели! Помолчали перед дальней дорожкой...

Все замолчали.

В это время позвонили в дверь.

— Это соседка ко мне — за выкройками,— сказала Вера Сергеевна. И пошла открывать.

Открыла дверь... И попятилась назад.

Вошли трое, показали книжечки.

— Милиция,— сказал один.— Просьба всем оставаться на местах и предъявить документы.

Один из трех, в милицейской форме (двое были в штатском), прошел несколько в коридор и увидел покрышки.

— Вот они! — сказал он.— Даже не спрятали.

За столом сидели тихо, неподвижно.

Только Простой человек, повернувшись к зрительному залу, негромко, с искренним интересом спросил:

— А кто же тогда, граждане?.. А? Кто капнул-то?

● А ПОУТРУ ОНИ ПРОСНУЛИСЬ...

Повесть для театра

Рано-рано утром, во тьме, кто-то отчаянно закричал:

— Где я?! Э-эй!.. Есть тут кто-нибудь?! Где я?..

И во тьме же, рядом, заговорили недовольные голоса, сразу несколько.

— На том свете. Чего орешь-то?

— Где я? Где мы?..

— На том свете. Чего орешь-то?

— Ну чего зря пугать человека! Не на том свете, а в морге пока. У меня вон номерок на ноге... вот он — болтается, чую. Интересно, какой я по счету?

— А где мы? Чего зубоскалите-то? Где, я спрашиваю?!

— Не ори, а то я подумаю сдуру, что ты моя жена и полезу целоваться; она всегда орет с утра. Она орет, а я ей — раз — поцелуйчик: на, только не вопи.

— Ну и как? — поинтересовался хриплый басок.— Помогает?

— Слабо...

— Если б ты ей четвертным рот залепил, она бы замолкла.

— Четвертного у меня с утра... Я за четвертной-то сам зареву, не хуже слона... А ты мне лепи четвертные.

— Где мы находимся, я вас спрашиваю?! — опять закричал тот, истеричный.

---

* Повесть осталась незавершенной.

Тут вспыхнул свет... И видно стало, что это — вытрезвитель. И лежат в кроватках под простынями восемь голубчиков... Смотрят друг на друга — век не виделись.

Открылась железная дверь, и в комнату вошел дежурный старшина.

— Чего кричите? — спросил он.— Кто кричал?

— Я,— сказал человек довольно интеллигентного вида. Он хотел встать с кровати, но, обнаружив, что он почти голый, запахнулся простыней и тогда только встал. И подошел к старшине...— У меня к вам вопрос: скажите, пожалуйста, где я нахожусь? — Он стоял перед старшиной, как древний римлянин, довольно знатный, но крепко с похмелья.— Я что-то не могу понять — что это здесь?

— Санаторий «Светлые горы».

— Что за шуточки! — повысил голос интеллигент.— Я вас серьезно спрашиваю.

— Ложись,— показал старшина,— и жди команды. Серьезно он спрашивает... Это тебя счас будут серьезно спрашивать.

Интеллигент струсил.

— Простите... Вы в каком звании, я без очков не вижу? Где-то потерял очки, знаете...

— Генерал-майор.

Древний помятый римлянин стоял и смотрел на старшину.

— Я вас не понимаю,— сказал он.— Вы всегда с утра острите?

— Чтоб тишина была,— велел старшина. И пошел к двери.

— Товарищ старшина!..— вежливо позвал его здоровенный детина, сосед очкарика по кровати.— У вас закурить не будет?

— Не будет,— жестко сказал старшина. И вышел. И закрыл дверь на ключ.

— Опять по пятницам,— запел детина, качая голос; он, был, наверно, урка,— пойдут х-свидания-а, и слезы горькие моей... Ложись, очкарь. Что ты волну поднял? Мы находимся в медвытрезвителе... какого района, я, правда, не знаю. Кто знает, в каком мы районе?

— Районе!..— сказал мрачный человек.— Я город-то не знаю.

Очкарик ринулся взволнованно ходить по комнате.

— Слушай, ты мне действуешь на нервы,— зло сказал урка,— сядь.

— Что значит действую на нервы? Что значит сядь?

— Значит, не мельтеши. А то я гляжу на тебя — и мне всякие покойники в башку лезут.

— Но что я мог такого сделать? — все не унимался очкарик. И все ходил и ходил, как маятник.— Почему меня... не домой, а куда-то... черт его знает куда? Что они, озверели?

— Ты понял! — воскликнул урка.— Убил человека и еще ходит удивляется!.. Во, тип-то.

Очкарик остановился... и даже рот у него открылся сам собой.

— Как это? Вы что?..

— Что?

— Человека?..

— Нет, шимпанзе. Что ты дурачка-то из себя строишь? Ты же не на следствии пока. Перед следователем потом валяй Ваньку, а перед нами нечего.

— Да-а, милок,— сочувственно протянул маленький сухонький человечек,— вляпают тебе... Но ты напирай, что — неумышленно. А то... это... как бы того... не это...

— Он же выпимши был,— заспорил с сухоньким некто курносый, с женским голосом.— Чего ты намекаешь тут — «того», «не того»?.. Человек был выпимши. Вишь, он даже не помнит, как попал сюда.

— Теперь это не считается,— приподнялся на локте сухонький; видно, любитель был поспорить.— Теперь, что был выпимши, что не был — один черт.

— Наоборот! — воскликнул урка.— Отягчающее мешок обстоятельство. За что ты его под трамвай-то толкнул?

Очкарик стоял белый, как простыня... И вертел головой то туда, то сюда, где говорили.

— Вы что? — сказал он трагическим голосом, тихо.

— Что?

— Какого человека?

— Это тебе лучше знать. Шли, спорили про какие-то уравнения...— стал рассказывать урка.— Как раз ехал трамвай, этот — чух его под трамвай!.. Того — пополам. Жутко смотреть было. Народу сразу сбежалось!.. Седой такой лежал... он головой к тротуару упал, а вторая половина под трамваем. И портфель так валяется...

— Ты видел, что ли? — спросил сухонький.

— Я видел!..— повторил по-одесски урка.— А почему я здесь? А потому, что я сзади шел. А когда стали свидетелей собирать, я заартачился... нагрубил милиционеру...

— Тьфу!.. Из-за какого-то уравнения — человека под трамвай! — искренне и глубоко возмутился человек с женским голосом; он был очень нервный человек, даже какой-то сосредоточенно-нервный.— Что уж в том уравнении? Сели на лавочку и решили...

— Совсем одичал народ,— негромко, сам себе, промолвил мрачный.— Убить — запросто.

Парень крестьянского облика не принимал участия в этом страшном разговоре, лежал, смотрел в потолок... Вдруг он сел и с ужасом сказал:

— А не убил ли и я кого?

И так это у него простодушно вышло, с таким неподдельным ужасом, что некоторые невольно — через силу — засмеялись.

— Ты откуда будешь-то? — спросил его сосед, весьма потертый, весьма и весьма, видно, стреляный воробей, электрик, как он впоследствии отрекомендовался.

— Из Окладихи,— сказал парень.— Тракторист.

— Ого! — удивились.— Куда тебя занесло.

— Что, тоже кого-нибудь убил?

— Нет, он, наверно, теще всыпал,— предположил электрик.— Или соседа поджег.

— У меня теща хорошая,— сказал парень.

— Ну, соседа поджег.

Парень мучительно вспоминал:

— Неужели Мишке чего?.. Я, вообще-то, сулился его свинье глаз выбить: повадилась в огород, зараза, спасу нет. Говорю, да надень ты ей эту... крестовину у нас такую надевают свинёшкам, на шею, забыл, как называется,— чтоб они в дырки в городьбе не пролезали... Надень, ты, говорю, ей эту штуку, житья же нет от твоей свиньи! Он мне: «Сам надевай».— «Тогда,— говорю,— я ей глаз выбью, она будет по кругу ходить — и в свой же огород придет».

— Это ты точно рассчитал,— похвалил электрик. Ему очень понравилась техническая мысль тракториста, он даже стал показывать пальцем на простынке схему движения свиньи.— Значит, она вышла из дома и направилась в твой огород... Так? Но у ней же косинус, поэтому она загнет такой круг — от так от пойдет — пойдет — пой-

дет — и придет к себе же в огород. А сама будет думать, что она — в твоем огороде.

— Да она-то!..— воскликнул тракторист.— Пусть как хочет, так и думает, зараза, меня не волнует. Главное, Мишка бы задумался. Неужели я ей все же вышиб глаз?

— Ну, особо-то не переживай: за глаз больше семи суток не дадут.

— Или заставят стеклянный вставить,— хихикнул сухонький.

Остолбеневший очкарик сдвинулся наконец с места и подсел было к урке.

— Слушайте, вы что...

— Не садись ко мне! — закричал урка испуганно.— Я тебя не знаю! Первый раз вижу!..

Очкарик вскочил, как ошпаренный... И беспомощно посмотрел на всех.

Некоторое время все молчали.

— У тя семья-то есть? — спросил его электрик.

— А? Семья? — потерянно переспросил интеллигент.— Нет, вы что, разыгрываете меня, что ли?

На него горестно и серьезно смотрели.

— Ну что, что-о?!..— чуть не заплакал очкарик.— Что смотрите-то?!

— Молодой еще...

— Может, и хорошо, что молодой: не такой старый выйдет.

— Так-то оно так... если, конечно, не... это... не того...— Это разговаривали между собой электрик и сухонький.— Могут ведь и... того... Как посмотрят.

— Да, это уж какое примут решение.

— Из-за какого-то уравнения!..

— Да расстреляют,— открыто ляпнул нервный с женским голосом.— Чего тут гадать-то? Ученого же толкнул...

— А? — машинально спросил очкарик.

— Кого толкнул под трамвай-то? Ученого?

Вместо ответа очкарик бросился к двери и забарабанил в нее кулаками.

— Откройте! Откройте, пожалуйста!.. Я хочу спросить!

Дверь скоро открылась... Заглянул старшина.

— Что такое?

— Что я вчера сделал? Я не помню... Что я сделал? Почему они про какое-то...

Старшина захлопнул дверь и, запирая ее снаружи на ключ, сказал:

— Скоро скажут, что сделал. Больше не стучать.

— Товарищи,— взмолился очкарик, обращаясь ко всем, к урке в частности,— да вы что? Не мог я человека под трамвай...

— Крепись,— сказал ему мрачный человек.

— Вот хуже нет этих!..— с некоторой даже брезгливостью сказал урка.— Чего теперь психовать-то? Сделал — сделал, все. Нет, он будет окружающим кишки мотать, на нервы, пала, действовать. Ляжь — и жди.

— Ученого толкнул или нет? — все хотел понять нервный.

— Ну, а как же? Раз об уравнениях шли спорили... Это Иван вон: ни с кем не спорил, а взял и рассчитал, как свинья будет ходить с одним глазом. И так точно рассчитал! — Электрику очень нравился расчет тракториста.— Это же надо так рассчитать. Вот же и Ванька!..

— Вспомнил! — сказал тракторист. И сел.— Никакой свиньи не было: я выехал трактором на асфальт.

— Ну? И что? — не понял электрик.

— Что... Не положено, что. Я вижу: приближаются на коляске... А у меня с собой бутылка была, я домой ехал, в баню торопился, поэтому на асфальт выехал — угол срезать...

— Ничего не понимаю: какой угол?

— Чтоб сократить маленько. Если от Игренева на Окладиху идти проселком — это семь километров, а если маленько асфальта прихватить...

— Ну, ну?

— Ну, думаю, все равно они ее счас найдут... Пока они приближались, я ее всю осадил.

— Бутылку?

— Ну.

Тут все даже привстали от удивления. Не все поверили.

— Всю бутылку?

— Всю.

— С какой же скоростью они ехали? — опять живо заинтересовался электрик.— На коляске-то.

— Ты спроси, с какой скоростью он пил? Не верю,— заявил сухонький.— Что, насос, что ли?

— А далеко ты их увидел? — поинтересовался и урка.

— За километр примерно. Оглянулся — догоняют...

— Можно успеть,— авторитетно сказал урка.— Запросто. С какой бы скоростью они ни ехали. Надо только бутылку вот так вот раскрутить...

Тут в комнату вошла — ее впустил старшина — тетя Нюра с ведром и тряпкой.

— Всем лежать,— приказала тетя Нюра.— Курева не просить, в магазин не провоцировать — не положено.

— Здравствуй, тетя Нюра,— ласково сказал электрик.— Доброе утречко! Чего это ты спозаранку не в настроении?

— О, опять тут? — не очень удивилась тетя Нюра.

— Тут, тут... Как поется: де-евушки, где вы? Тута, тута!..

— И я тут, теть Нюр,— хихикнул сухонький.— Не узнаешь?

Тетя Нюра пригляделась... И узнала.

— Опять жена привела?

Сухонький на это почему-то обиделся.

— Что значит, жена? Что я, телок, что ли, бессловесный, что она каждый раз будет приводить меня к вам на веревочке? — Сухонький помолчал и сказал не без гордости: — Меня привезли.

Тетя Нюра оглянулась на дверь... И скоренько полезла рукой куда-то под фартук себе.

— По одному — у окошка вон, чтоб запаху не было... В порядке живой очереди.

Первым вскочил шустрый электрик, взял у тети Нюры сигаретку, спички и пошел к окну курить.

— Я за тобой,— застолбил сухонький.

Но тут встал урка, запахнулся простыней, подошел к электрику и отнял у него сигарету.

— После меня будете,— сказал он.

— Ты чего тут? — возмутилась добрая тетя Нюра.— Ну-ка, отдай сейчас же! А то огрею вот тряпкой, будешь знать, как отбирать. Здоровый?.. Иди в цирк гири поднимать, а обижать не смей!

— Спокойно, тетя Нюра,— сказал урка, затягиваясь сигаретой.— Не поднимай волны.

— Отдай,— кратко сказал мрачный человек, дядя решительный и еще более здоровый, чем урка.

Урка значительно посмотрел на мрачного... И отдал сигаретку электрику. И лег.

— Там будешь свои порядки устанавливать,— еще сказал мрачный,— а здесь... пока рано.

Урка опять значительно посмотрел на мрачного. Всем стало как-то не по себе.

— Ну, ладно,— сказал сухонький урке,— так и быть — будешь за ним, а я за тобой.

— Чего это? — уперся мрачный.— Будешь, как занял, я за тобой, за мной... Ты куришь? — повернулся он к нервному, с тонким голосом.

— Нет,— откликнулся тот.— Бросил. У меня язва луковицы двенадцатиперстной кишки.

— А ты? Кандидат?

— Я? — очнулся очкарик.— Нет.

— А я бы курнул,— с тоской молвил Иван-тракторист.

— Ты за мной,— сказал ему мрачный.— А ты,— мрачный небрежно глянул на урку,— за Иваном.

Урка лежал, закинув руки за голову... Свирепо смотрел в потолок.

— Сколько у тебя, теть Нюр? — спросил электрик.

— По одной всем хватит. Пускай дым-то повыше... а то мне опять на вид поставют. Жалеешь вас...

Электрик вчастую докурил сигарету, старательно пуская дым к высокому зарешеченному окну, рамы которого, по летнему времени, были открыты.

— Давай,— сказал он сухонькому. А сам лег опять в кровать.

Теперь сухонький пристроился к окну, и с удовольствием пошел затягиваться, и даже затараторил — от удовольствия же.

— Как ты говоришь: луковица двенадцатиперстной кишки? — поинтересовался он.

— Да,— откликнулся нервный.— Ниша.

— Ниша?

— Ниша.

Сухонький покачал головой... Но все равно на лице у него было одно сплошное удовольствие.

— Ну язык выдумали! Я как-то был в поликлинике, читаю на дверях: «Исследование моторной функции же-

лудка». Совсем зарапортовались: мотор в желудке исследуют...

— Ты не болтай, а кури,— посоветовал мрачный.— Легко, думаешь, лежать смотреть на тебя.

Очкарик сидел на своей кровати, тупо смотрел перед собой... Ничего, казалось, не видел и не слышал.

— Подними-ка ноги-то,— попросила его тетя Нюра, подлезая с тряпкой под кровать.

Очкарик поднял ноги и в этом неловком положении заговорил с ней.

— Тетя Нюра... Анна... как вас по отчеству?

— Анна Никитишна.

— Анна Никитишна, вы не слышали, кого вчера под трамвай толкнули?

— Под трамвай? — удивилась тетя Нюра.— Да кого же это? Когда?

— Вчера вечером.— Очкарик все держал ноги на весу, хотя в этом не было теперь надобности.— В районе Садовой... Было там какое-нибудь движение?

— Движение там всегда есть...

— Я имею в виду — народ сбегался?

— Да брось ты, чудак! — пожалел его мрачный.— Разыграли тебя. Вон лежит... соловей-разбойник с кондитерской, развлекается. Кого ты можешь под трамвай толкнуть? Хорошо, самого не толкнули...

Очкарик опустил ноги и встал... И долго, и внимательно — очень долго, очень внимательно — смотрел на урку.

— Что, очкарь? — повеселел тот.— Перетрухал? Хох, гнида!..

— Сейчас подойду и дам пощечину,— сказал очкарик дрожащим от обиды голосом.

Урка изумленно выпучил на него глаза... Смотрел некоторое время. Потом встал, шикарным жестом запахнулся простыней и медленно — очень медленно — пошел к очкарику.

— Я вас прошу, синьор духарь, дайте мне пощечину. Умоляю... надо же держать слово. А то я обижусь и буду вас долго-долго метелить. Ну?.. Мы же с вами джельтмены, вы сказали слово, надо же держать слово.

— Совершенно верно, слово надо держать. Я плохо вижу, где ваше лицо?

— Вот мое лицо, вот...— урка показал пальцем вокруг своего лица.

— Вот эта вот окружность — это моя личность, в такую луну нельзя промахнуться. Ну? Я же тебя оскорбил... Разыграл, как дуру, ты же кандидат...

Все напряженно ждали, чем закончится эта сцена между двумя «джельтменами».

— Могу еще оскорбить: вонючка ученая. Гнида. Как еще?..

— Достаточно,— молвил очкарик. Он распрямился и довольно торжественно,— то ли не чувствуя страха, то ли от театральности, свойственной ему,— произнес фразу: — От имени всех очкариков! — И залепил урке отчетливую пощечину.

— Вот как! — удивилась даже Нюра; по простоте душевной она сперва не поняла, что готовится именно пощечина.— Ты што это, эй!

— Мх-х, хорошо,— как-то даже сладострастно сквозь стиснутые зубы пропел урка.— Еще раз... Умоляю, с другой стороны.

— Нет, этого вполне достаточно,— снисходительно сказал очкарик; странно, неужели он так и не почувствовал опасности, или эта театральность так въелась в человека? Он хотел величаво отбыть в сторону своей койки, но урка поймал его за простыню и подтянул к себе.

— Ну, гнидушка-а, ну умоляю — еще раз, с другой стороны. Ох, как я счас буду метелить! — Урка зажмурился и покачал головой.— Как же я буду метелить, мама родимая!.. Умоляю, кинь еще одну — для напряжения, чтобы я о так от, о так — рразорвал сразу...

Но тут встал мрачный со своей койки, подошел к ним и с усилием, решительно оторвал урку от очкарика.

— Дальше будешь иметь дело со мной,— сказал он урке.

Урка опять значительно и долго — в который уже раз он пускал свой взгляд в дело! — посмотрел на мрачного... Тот спокойно — тому, кажется, даже доставляло удовольствие, что на него смотрят так значительно,— выдержал этот опасный взгляд и лег на свою кровать. Урка тоже лег. Все произошло в полной тишине. И в тишине же урка вдруг рывком скорчился на своей кровати, заскрипел зубами, закрутил головой и — не то простонал, не то взмолился злорадно своему жестокому богу — поклялся:

— Ох, как же я буду метелить! Как я буду метелить!..

— Благодарю вас,— сказал очкарик мрачному.— Если бы у меня были очки, я бы схватился с этим орангутангом: я когда-то занимался боксом. Но без очков я плохо вижу.

Мрачный промолчал на это. А урка глубоко вздохнул и сказал негромко себе:

— Только бы дожить до светлых дней.

Сухонький между тем докурил свою сигарету; с кровати поднялся мрачный; тетя Нюра вынула из-под фартука сигарету и уважительно дала ему.

— Чего тут не поделили-то? — спросила она серьезного сильного человека, мрачного.

— Да так... с похмелья,— сказал тот.

— Ох, как же я буду метелить! — воскликнул опять урка, крутнулся под простыней и мучительно застонал. На него посмотрели, но никто ничего не сказал. Мрачный спокойно курил у окна, старался тоже пускать дым повыше.

— Любопытная вещь,— заговорил очкарик,— до определенного момента все отчетливо помню, дальше — полный провал: ничего не помню. Что за странный механизм памяти? По идее, я же ничего не должен помнить.

— Не-ет,— авторитетно заговорил электрик,— тут так: пока ты свою меру не взял, ты помнишь, дальше — взял меру, но в душе думаешь: мало, надо еще — все, пошел перебор. Дальше — рога в землю, и память автоматически отключается.

— Ни-че-го подобного,— тоже авторитетно и взволнованно возразил сухонький.— А как же бывает: домой пришел, а как пришел — не помнишь.

— Ну и что?

— Ну, по-твоему, я же не должен до дому дойти. А я дошел.

— Это значит, тебя развезло уже дома...

— Да где дома, где дома! — больше загорячился сухонький.— Я же утром-то вижу, какой я пришел.

— Все зависит от нервной системы,— встрял в спор нервный.— У кого какая нервная система. Сколько ты можешь выпить? — спросил он электрика.

— Ну, это смотря как выпить. Я могу, допустим...

— До сшибачки. Сколько потребуется, чтобы ты упал и не поднялся?

Электрик подумал:

— Бутылку белой и бутылку чернил.

— Смотря каких...

— Три семерки.

— Так. А я с двух стаканов под стол лезу — потому что нервы.

— А вот я... Слушай сюда! Вот я,— затараторил сухонький и постучал пальцем в тощую свою грудь,— несмотря, что у меня такая комплекция, засосу полторы бутылки белой и не лягу.

— Ты?

— Я.

— Карлик с оглоблей,— непонятно сказал мрачный. И сам себе посмеялся.

— Мы, бывает, соберемся на трех,— продолжал сухонький,— по пять рваных на рыло — это получается...

Тут скрежетнул ключ в двери — раз, другой... Мрачный бросил сигарету в окно и в два свободных прыжка очутился возле своей койки. И лег. Дверь открылась, вошел старшина, а за ним еще некто, молодой, длинный, стеснительный, с портфелем.

— Однако курили? — остановился старшина.

— Откуда! — воскликнул сухонький.— Где мы возьмем-то?

Старшина подозрительно посмотрел на тетю Нюру... Тетя Нюра старательно мыла пол. Домыла последнюю половицу и вышла.

— Поговорите вот... с товарищем,— сказал старшина.— Да не врите: это для статистики надо.— И старшина ушел.

— Товарищи,— подчеркнуто миролюбиво заговорил длинный с портфелем,— я не корреспондент, не из газеты... Я — социолог. Что я вас спрошу и что вы ответите — это никуда не пойдет, никаких фельетонов никто писать не будет. Я объясню, в чем дело. Группа социологов, я в том числе, исследует... мы исследуем вопрос происхождения... ну, пьянства, грубо говоря. Так сказать, причины и следствия. Для этого — на один-единственный вопрос, который я вам задам,— надо ответить... надо сказать всю правду. Вопрос такой: как вы здесь оказались? Еще раз повторяю: ваши ответы дальше моего

блокнота никуда не пойдут, в том смысле, что никак вам не повредят. Начнем? — Ближе всех к нему оказался нервный.— Вот вы, например... Как вы здесь оказались? Расскажите, пожалуйста.

Вместо подробного рассказа о том, как он здесь оказался, нервный вдруг устремил на социолога внимательный и тоже не лишенный значительности, как у урки, взгляд.

— А попрошу документы,— сказал он сухо.

Никто не ждал такого оборота. Притихли.

— Зачем? — спросил социолог.

— Рассказывай ему... А кто вы такой?

— Да я же вам только что объяснил.

— Документы.

— Ну, слушайте... уж поверьте, если бы я не имел права спрашивать вас, наверно, меня бы сюда не пустили.

— Документы.

— Да нет у меня никаких документов, то есть, наверно, есть какие-то... нет, дома.

В комнате откровенно засмеялись такому наиву... Нервный, хоть опасливо, но тут же обнаглел.

— А голову, извиняюсь, вы не того... не это... Она не дома у вас?

— Ну, дела!..

Социолог встал.

— Хорошо,— сказал он,— я попрошу начальника отделения, он объяснит вам... Не обманываю же я вас! Зачем мне это надо?

— Да, да,— согласился нервный,— зачем вам это надо? Вы наденьте форму и спрашивайте.

— Да нет, товарищи!.. Да действительно же я ученый! Ну, как вам?.. Хорошо, сейчас начальник скажет то же самое.

Социолог пошел к двери, постучал... Старшина открыл дверь и выпустил его.

— Понял?! — воскликнул нервный хвастливо.— Какую штуку удумали, а? Во, деятели...

— Да нет, друзья,— сказал очкарик,— это действительно ученый. Вы думаете, переодетый следователь? Нет.

Тут с койки рывком вскочил урка и мягко прошелся меж кроватей.

— Колонулся мальчик! — Урка радостно засмеялся.— Ученый... Я бы не хотел с таким ученым за одной

партой сидеть, умоляю. Наоборот, я бы хотел, чтобы он сидел под партой. Ну, Петя, ну, подрулил!..

— Да чушь это! — воскликнул очкарик.— Никакой он не следователь. Я знаю эти группы социологов...

— И его знаешь? — спросил нервный.

— Его не знаю, но знаю, чем они занимаются. Занимаются изучением серьезнейших вопросов...

— В вытрезвителях?

— И в вытрезвителях. А где же еще ему расскажут, почему человек напился, какие причины побудили...

— А если их нету, причин-то? — закипятился нервный.— Чего их искать, если их нету?

— Причины всегда есть. Просто они не всегда ясны нам самим...

— Ну, это уж тоже... лишь бы с портфелями бегать — ученых из себя изображать,— недовольно сказал мрачный.— Чего вот мне рассказать? Нечего. Напился, и все.

— Что же, без всякой причины? — поинтересовался очкарик.

— Без всякой причины.

— Но какая-то же должна быть причина...

— Да никакой причины. Взял две бутылки водки и выпил.

— И часто вы так?

— Раз в месяц напьюсь обязательно.

— Но почему? Тоска, что ли, какая?

— Никакой тоски,— убежденно сказал мрачный.— Напьюсь, и все.

Очкарик был в затруднении.

— Не понимаю,— сказал он.

— Я сам не понимаю,— искренне сказал мрачный.— Не хочу понимать.

— Ну, может, ты фронт вспомнил, боевых товарищей,— подсказал сухонький; все как-то обнаружили вдруг, что, казалось бы, пустой разговор имеет некий сокрытый смысл.

— Никаких товарищей... Вообще не люблю войну вспоминать.

— А что вы читали до этого момента? Или смотрели по телевизору?

— До какого момента?

— Как пойти в магазин.

— Ничего не смотрел. Я люблю «В мире животных» смотреть, но она вечером бывает...

— Вы кто по профессии? — стал невольно входить в подробности очкарик.

— Крановщик.

— Может, тебе с высоты грустно на людей смотреть? — опять выскочил с подсказкой сухонький.

— Да ну!.. — мрачному надоело отвечать.— С высоты... Это тогда все летчики давно уже должны с круга спиться: там высота-то вон какая.

— А что ты думаешь? Ты знаешь...— кинулся было спорить электрик, но открылась дверь — вошли социолог и начальник отделения. Старшина тоже вошел и стал сзади них.

— Здравствуйте! — громко приветствовал всех начальник.

С ним поздоровались. Может быть, не так громко, но почти все.

— Кто тут самый бдительный? — начальник посмотрел на социолога.— Кто требовал документы?

— Да нет, тут не в том дело, кто... Вы просто объясните.

— А чего тут объяснять-то? Спрашивайте, и все.— Начальник сел на стул.— А я посижу пока.

— Лучше бы вы объяснили...

— Вы спрашивайте, спрашивайте.

— Итак,— обратился социолог к нервному,— что же с вами вчера получилось?

— Это ученый разговор? — уточнил нервный.

— Абсолютно ученый, никакой больше. Просто расскажите...

— Я погожу пока,— сказал нервный.

— То есть? — не понял социолог.

— Я малость подзабыл... Я пока сосредоточусь.

— Что значит «пока сосредоточусь»? — заговорил было начальник.— Что значит...

Но социолог тут же запротестовал.

— Товарищ начальник... Я боюсь, мы так не поговорим.

— Почему? — удивился начальник.

— Не поговорим. Это надо иначе.

— Да у нас же тут есть духари! — воскликнул урка.— Вон у нас... духарь номер один — ничего не боится.— Урка показал на мрачного.

Мрачный внимательно посмотрел на урку... Опустив голову, подумал... И согласился.

— Я расскажу, если надо. Мне один черт.— Он сел на койке, посмотрел на социолога.— Про вчерашний случай?

— Да именно: как было с вами вчера.

— Жена у меня,— сразу начал мрачный,— как бы это вам сказать... вечно у ней какие-то гости, мужики какие-то подозрительные, бабенки... Они мне надоели.

— А говоришь, причины нету,— сказал нервный.

— Это не причина, это тянется уже лет семь,— возразил мрачный.— И напился я вчера не из-за этого. Но они мне тоже сильно надоели.

— Жена где работает? — спросил социолог, поспевая писать в блокнот.

— Кассиршей в магазине. Не надо меня перебивать, я сам все расскажу. Радости мне тут... от этого рассказа — не шибко. Я не знаю, чего они делают: я прихожу, они уходят. Я ее много раз предупреждал, она не вникает. Вчера прихожу — опять два мужика сидят и какая-то женщина. Коньяк на столе... Я их выкинул из квартиры. Один в трусах был. Жена где-то спряталась: все перерыл — нету. Может, раньше вышла куда, черт ее знает, не нашел. Все перерыл — нету. Я лег спать. Только заснул, пришла милиция...

Тут начальник милиции почему-то засмеялся. На него посмотрели с недоумением.

— Ничего, ничего,— сказал начальник,— продолжай. Я потом объясню.

— Вы выпивши были, когда пришли? — спросил социолог.

— Крепко.

— Это все?

— Все. Который в трусах был, сильно визжал: я его хотел в мусоропровод затолкать, он уперся...

— Плечи пролезли? — выскочил с вопросом любопытный электрик.

— Куда? — не понял мрачный.

— В мусоропровод-то. Лишь бы плечи пролезли, а там весь пройдет.

— Ну все? — спросил начальник мрачного. И спросил как-то непросто, с каким-то значением.— На этом конец?

— Все,— ответил мрачный.— А что еще?

— А то, что ты не из своей квартиры людей выкинул, вот что. Они вон у меня как раз сидят, эти люди.

Мрачного как стулом в лоб ударили, он аж назад качнулся на койке.

— Как? — спросил.

— Не знаю. В двенадцатом часу ночи заявляется вот такой верзила и начинает выкидывать людей с их собственной жилплощади... Я представляю, как люди заволновались: выселяют.

— Вот это дал,— молвил электрик.— Как же ты так? Перепутал, что ли?

Мрачный долго скорбно молчал, глядя себе под ноги... потом вдруг вскинул голову и крепко стукнул кулаком по колену.

— Не на тот троллейбус сел,— понял он.— Мне надо было на семнадцатый, а я, наверно, на девятку сел... или на четырнадцатый.

— О!.. В другой район приехал. Ничего себе! — электрик возбужденно хихикнул.— И дом, наверно, похожий попался...

— Похожий,— откликнулся мрачный.— И в квартире все так же... Даже попугай в клетке.

— Это бывает,— сказал начальник.— То и дело такие случаи.

— И что ему теперь будет, товарищ начальник? — спросил нервный. Он как-то странно притих и задумался.— Он же неумышленно...

— Посмотрим, посмотрим,— неопределенно сказал начальник. И встал.— Что значит «неумышленно»? Ну и что? Вы же знаете последние постановления... Поблажек никаких никому не будет. Ну, продолжайте,— велел он. И ушел.

— Продолжим,— сказал социолог. И посмотрел на нервного.— Вы?..

— А? — очнулся тот.— Так а чего продолжать-то?.. Тоже сплошное недоразумение. Провожал, знаете, друга... У меня друг живет в Хабаровске, приезжал в командировку... ну, погуляли малость: давно не виделись, а у него на производстве со спиртом связано. Потом, знаете, эти сибиряки: наскучают там, приезжают и давай ферверки пускать. Кошмар! Я уж говорю: «Коля, тормози, я не выдюжу», он только рукой машет. Ну, пришла пора ему ехать... И тут-то мы и наскочили с ним на мину. Такое вышло недоразумение, такое недоразумение!.. Но

и люди тоже, знаете... Вот кого еще изучать да изучать, просто поголовный опрос устроить: такие, знаете, недотроги, такие психованные все, прямо... это... черт знает, какие мимозы. Главное, мы же... это... по-хорошему! Я уж мысленно допрашиваю себя: «Соколов, может, что не так было?» Нет, все проверил, все изучил до последнего слова — все было на высшем уровне.

ИСТОРИЯ НА ПЕРРОНЕ, РАССКАЗАННАЯ СОКОЛОВЫМ

Соколов и его друг Коля, хихикая и отпуская невинные шуточки, прошли с чемоданом в вагон поезда дальнего следования. Прошли в вагон, отыскали свое купе и, продолжая культурно хихикать, постучали в дверь. Им ответили из купе, что — «да, можно». Вошли они в купе, а там как раз четверо — все места заняты.

— Здравствуйте! — сказали Коля и Соколов.— А вы что, тоже все едете?

— Да, едем,— ответили им.

— Как это «едете»? — удивился сибиряк Коля.— А как же я? Что это еще за штучки!

— Тихо, тихо, Коля,— сказал Соколов,— только тихо. Сейчас все выясним, все проверим... Тут кто-то третий лишний. Попрошу билеты!

Четыре пассажира показали свои билеты — все правильно: они совершенно законно сидели на своих местах, они едут домой.

— Мне эти штучки сильно не нравятся! — воскликнул сибиряк Коля.— А как же я?

— Ну-ка, а ваш билет? — спросили его.

Коля показал свой билет... Один дотошный надел очки и долго крутил билет перед носом... Потом посмотрел его на просвет и сказал:

— Вы едете вчера, уважаемый.— И вернул билет.

Тут сибиряк Коля заволновался и стал показывать, что он в полном отчаянии и что необходимо срочно кого-то одного выкинуть из купе, ибо ему срочно надо ехать. Однако вежливый и корректный Соколов решил, что надо не так.

— Тихо, тихо, тихо,— сказал он,— сейчас мы установим, кто не едет. Не надо шума... Кому не так срочно?— спросил Соколов четверых. Четверо заволновались и стали показывать, что им тоже надо срочно.

— Тихо, тихо, тихо,— сказал им Соколов.— Вы что, намекаете, что Николай Иваныч пойдет пешком? Вы ошибаетесь. Предлагаю жребий...

Эти четверо как все равно взбесились.

— Какой жребий?! — стали они кричать.

— Это нахальство!..

Кто-то даже крикнул:

— Позовите кондуктора!

Тут Коля-сибиряк вконец осердился.

— Закрывай дверь! — закричал он.— Они у меня под лавкой поедут, зайцами!

Но терпеливый Соколов не терял надежды решить все миром.

— Тихо, тихо, тихо,— опять воззвал он,— не надо шума. Вот вы,— обратился он к дотошному, который проверял у Коли билет,— вы сунулись к чемодану... Почему?

— Потому что, я смотрю, какие-то бандиты пришли...— заговорил было дотошный.

— Стоп! — осадил его Соколов.— Можете брать свой чемодан и выходить, нечего с бандитами в одном купе ездить. Верно, товарищи?

Николай Иваныч его поддержал и даже изъявил желание помочь вынести чемодан.

— Где его чемодан? Где твой чемодан?.. Который? Этот? Принимай, а то он на голову кому-нибудь упадет. Это называется едет человек в командировку — целую квартиру с собой везет. Что там у тебя?

Дотошный вцепился в свой чемодан, как в мелкую собственность... И всех рассмешил. Он закричал громко:

— Грабят!..

Николай Иваныч так смеялся, что нечаянно сел женщине на колени; тогда мужчина, ее муж, нажал какую-то кнопку возле двери... А Николай Иваныч посидел маленько, потом встал и выкинул чемодан этого дотошного в окно.

— Кому он нужен, ваш чемодан! — сказал он.— И не вводите людей в заблуждение, что вас, дескать, грабят.

Тут прибежали кондуктор с милиционером...

— Вот и вся история,— закончил нервный.— Такое вот... недоразумение. И что вот?.. Что теперь? — нервный

сорвался с койки и стремительно стал ходить по комнате; простыня разлеталась на нем в стороны, видны были его чрезвычайно худые ноги.— Что вот теперь?

— А где тот? — спросил электрик.— Сибиряк-то.

— А не знаю! Его куда-то в другое место повезли. Он, конечно, вообще-то, неправильно сделал: взял выкинул этого гражданина тоже... с чемоданом вместе.

— В окно?

— Ну да, на перрон. А тот, по-моему, иностранец.

— О-о!..— сказал сухонький.— Ничего себе!

— Худо дело,— сказал и электрик.

— Хорошо еще, там как раз почту везли, мешки... на этих... на тележках-то...

— На электрокаре.

— Он на них упал, а то бы...

— Только одно может спасти,— сказал сухонький.

— Что? — нервный сбавил свой стремительный шаг.— Что именно?

— Если...— сухонький опасливо глянул на социолога и вскочил тоже с койки.— Иди сюда,— позвал он нервного. И пошел в угол.— Иди сюда.

— Ну?

— Только одно может спасти,— быстро и негромко заговорил сухонький,— если этот, с чемоданом, окажется какой-нибудь шпион. Понял? Если бы его разоблачили...

— Ну, жди, когда его там разоблачат! — тоже негромко воскликнул нервный.— Пока его...

— Слушай сюда! — зашипел сухонький.— Послушай сперва, потом паникуй. Вы — так: мол, этот человек показался нам подозрительным — разглядывает, мол, все, всем интересуется... Чемодан у него какой-то... Говорил же твой друг: «Что это у тебя там?» У него фотоаппарата не было?

— Что же теперь, показался человек подозрительным — давай его из окна выкидывать?

— Ну, сидите тогда,— обиделся сухонький. И пошел на свое место.— Им хочешь, как лучше, а они... Сидите! Охота сидеть — сидите.

— Так,— сказал социолог, заканчивая записывать историю нервного.— Ну, а вы? — это он к электрику.

— Да у меня тоже... с гостями связано,— стал охотно рассказывать электрик. Сперва он несколько сбивался, но скоро наладился, и все пошло гладко, и тон он

обрел — снисходительно-грустный, но не безысходный.— Теща пришла и дочь ее с мужем. Мужа этого, свояка-то мово, фамилия — Назаров. Этот Назаров всячески распространяет про меня, что я часто выпиваю. Такой тоже склочный мужик, просто... это... не знаю. Я просто измучился с ним. «Назаров,— говорю,— ну что ты, ей-богу? Ну что? Вот же какой ты человек, ей-богу! Вот же ведь какой ты». Морда, как на витрине,— весь... такой... только распоряжаться; долдонит и долдонит свое. «Да брось ты,— говорю,— Назаров, чего ты? Ну какой же ты, ей-богу! Не надо, Назаров, не надо. Ну чего ты?» А тут он кандидатскую диссертацию защитил... Ну, приходят вчера. А я за кефиром как раз ходил... Выпили, правда, на углу с мужиками по кружке пива. Я даже свою не допил: придет, думаю, этот Назаров, начнет опять... Мужики еще посмеялись. «Чего ты? — говорят.— Брось ты,— говорят,— Пахомов, ерунду-то, говорить: свояк какой-то. Брось, Пахомов, не надо». Э, думаю, не знаете вы Назарова. Нет, думаю, не буду. И вот прихожу я домой...

ИСТОРИЯ В ДОМЕ ПАХОМОВА, РАССКАЗАННАЯ ПАХОМОВЫМ

Приходит электрик к себе домой, а у него гости: теща его с дочерью и Назаров.

— Здравствуйте,— вежливо сказал электрик.— Ну что, Назаров, тебя можно поздравить?

— Можно поздравить,— сказал Назаров.— Можно поздравить.

— Поздравляю,— сказал электрик.

— Кто же на сухую поздравляет! — удивился Назаров.

И теща тоже удивилась:

— Ты что это, Пахомов, завязал, что ли?

Электрик ничего не сказал на это.

— Завязал, что ли? — еще раз спросила теща.— А?

— Нет, почему завязал,— молвил электрик после некоторого молчания.— Наоборот, я сейчас кружку пива выпил. А больше нет настроения.

— Что значит «нет настроения»? У людей такое событие...— это вступила жена электрика.— Сядьте и выпейте.

— Ну и что же, что у людей событие? А у меня нет настроения. Если желаете, могу сыграть в шахматы с кем-нибудь. Давай, Назаров?

— Ерунда какая-то получается,— возмутился Назаров.— К нему пришли как к человеку, а он — в шахматы. Фишер нашелся. Ты что, смеешься над нами?

— Никто над вами не смеется, а пить не буду. Я уже выпил сегодня кружку пива, хватит.

— Но так же тоже нельзя,— обиделась и жена Назарова, Назариха.— Зачем же нас в смешном виде-то выставлять?

— Никто вас в смешном виде не выставляет,— спокойно, с достоинством сказал электрик.— Наоборот, будьте как дома... Предлагаю в шахматы.

— Да при чем тут шахматы?! — закричал Назаров.— Я — ученый человек теперь, я столько трудов положил, а ты не соизволишь даже за столом со мной посидеть! У меня сейчас кризис после такого напряжения, а ты мне шахматы в нос суешь. Бессовестный ты после этого! У тебя никакого уважения нету к ученым. Как был электрик, так электрик и есть.

— Я ученых уважаю,— парировал эту бестактную выходку электрик,— но я не уважаю тех ученых, которые начинают сразу зазнаваться. Вот таких ученых я не уважаю, это ты точно заметил, Назаров! Смотри, Назаров, ох, смотри... зазнайство до добра не доводит. Смотри, Назаров.

— Нахал! — закричал опять Назаров.— А еще родственник! Ну давай хоть шампанского выпьем?

— Нет,— стоял электрик.— Ни шампанского, ни сухого — ничего.

— Пахом,— обратилась к электрику жена его,— людей надо уважать. Ну чего ты? Садитесь за стол... у меня всего полно: водки всякой, даже твоя любимая перцовка есть. Нельзя же так, в самом деле.

— Как? — спросил ее электрик.

— Да вот так-то вот: люди тебя упрашивают, а ты не хочешь свою гордость побороть. Может, тебя обидел кто?

— Никто меня не обидел. Но только я пить не буду. Ясно? Пусть я электрик, но по принуждению пить не буду.

— Но, Пахом...

— Что «Пахом»? Что «Пахом»? Я пятьдесят лет Пахом. Я сказал — нет. Все.

— Но почему? Почему-у?!

— Не буду, и все. И хватит на эту тему. Давайте лучше в шахматы.

— Да пошел ты к чертовой матери со своими шахматами! — вышел из себя Назаров.— Чего ты привязался со своими шахматами. Я тебя последний раз спрашиваю: будешь пить?

— Нет.

Все некоторое время смотрели на упрямого электрика.

— Знаешь, кто ты после этого? — спросил Назаров.

— Не знаю, ну-ка?

— Верблюд. Те тоже подолгу не пьют в пустыне. Вот тебя тоже надо в пустыню...

— Куда, куда? — спросил электрик.— Куда меня надо?

— В пустыню, к верблюдам...

Электрик встал и дал Назарову шахматами в лоб. Фигурки разлетелись по полу... Электрик пополз их собирать.

— Извини, Назаров,— сказал он.— Я не хотел... Черт его знает, затемнение какое-то... Может, все же сыграем в шахматы? Или ты сильно обиделся?

— Обиделся? — спросил нервный электрика.

— Обиделся,— вздохнул электрик.

— Вот они все так. Ну до того обидчивые, до того обидчивые — спасу нет!

— Что же ему, спасибо говорить — в лоб засветили?..— подал голос мрачный.

— Он же извинился.

— Я же извинился.

— Не могу! — взревел вдруг урка.— Не могу!.. Счас буду метелить обоих — за вранье. Да хоть бы врали, пала, как люди, а то врут, как...— Урка сел в кровати и смотрел злыми глазами на электрика и нервного, которые сидели рядышком.— Христосики! Фишера́! До того культурные, пала, до того вежливые — аж зубы ломит. Шмакодявки... шкуру спасать кинулись. Никакой гордости у людей!

— Ты! — крикнул электрик Пахомов.— Ну-ка, закрой сифон! Смелый... Смелый? Ну-ка расскажи, как ты здесь очутился? Ну-ка?..

— А чего мне скрывать-то? Напугал, пала. Я те все без науки скажу: взял часы у одного... Выпить не хватило, я вышел на улицу и попросил у какой-то пьяной шляпы часы в долг.

— Вона — часы в долг! — вконец обозлился электрик.— А костюм в долг не попросил? Часы он в долг попросил. Это и есть твоя гордость? Это об этом ты шумишь?

— Это называется — ограбил, а не попросил,— поддержал электрика нервный, тоже оскорбленный выкриками урки.— Интеллигент нашелся.

— Нет, это называется — по-про-сил,— настаивал урка.— Ты мне чужую статью не шей. Поал? Не шей. Я подошел и по-про-сил: «Гражданин, одолжи мне свои бока». Я не сказал: «отдай», я сказал: о-дол-жи. Поал?

— Как? — спросил вдруг очкарик.— Как?

— Чего «как»?

— Как вы сказали: «бока»?

— Ну, бока — часы... Некоторые называют часы — бока. Еще называют — бочата. Если часы золотые, тогда — рыжие.

Очкарик встал и подошел к социологу.

— У вас какие очки? — спросил он.— Я не в том смысле, рыжие или нет,— с какой диоптрией?

— Минус четыре.

— Разрешите? — попросил очкарик.

Социолог снял очки и подал очкарику. Тот надел их... огляделся... Сказал:

— Неплохо.

Затем он подошел к урке и внимательно всмотрелся в него.

— Да,— сказал он.— Совершенно точно! Встать!

— Ша...— заговорил было урка.

— Встать! — опять скомандовал очкарик довольно властно.

— Ша,— сказал урка, поднимаясь.— В щем дело?

Очкарик развернулся и влепил ему такую же звонкую, такую же отчетливую пощечину, как и давеча. Урка кинулся было на очкарика, но тот умело уклонился и правой в челюсть свалил урку на кровать.

— Это был я,— сказал очкарик спокойно.— Я вспомнил это идиотское «бока».

Урка хотел опять вскочить, и вскочил, но очкарик спокойно стоял и ждал, так профессионально стоял и ждал, что урка... остался стоять.

— Та пьяная шляпа — это был я,— пояснил очкарик.— Я вспомнил слово «бока»... и узнал вас. Что вы отняли часы — это я готов понять: с такой рожей дарить, например, часы — нелепо. Но за что вы меня еще и ударили?

— Да що ты ко мне пришился?! — заорал урка истерично.— Какие щасы?!

Открылась дверь, и вошел старшина. Он заглянул в бумажку, с трудом прочитал:

— Гриши... Гриша-ков и Ковалев, к дежурному. В простынях прямо, там переоденетесь.

Урка и очкарик пошли на выход.

— Товарищ...— сказал социолог.— Очки-то.

— О! — спохватился очкарик.— Извините. Спасибо.

— Пожалуйста. Вы еще вернетесь?

Очкарик пожал плечами:

— Не знаю.

Старшина и двое в простынях вышли.

— Надавал он ему,— с восхищением сказал сухонький.

— Хилый-хилый, а двинул хорошо, правда.— Соколов нервно потер руки.— В челюсть красивый был удар.

— Сейчас вас, наверно, будут вызывать,— заговорил социолог.— Я бы хотел, чтобы еще кто-нибудь... Может быть, вы? — обратился он к сухонькому.

— Нет,— твердо сказал сухонький.— Я не буду.

— Почему?

— Не буду... Все.— У сухонького отчеканилась на лице непреклонность. Он пояснил:— Пусть наука занимается своим делом, а не бегает по вытрезвителям. Нашли тоже... Делать, что ли, больше нечего?

— Да почему вы так?

— Да потому! До сих пор на луну не высадились, а по вытрезвителям бегаете. На луну лететь надо, вот что! — сухонький чего-то осмелел и стал кричать на социолога.— Взяли моду — рису-уют, высмеивают... А на луну кто полетит?! Пушкин? Чем рисованием-то заниматься, на луну бы летели. А то на луну вас не загонишь, а по вытрезвителям бегать — это вы рады без ума. Чего тут хорошего? — бегаете... Чего тут интересного? Ниче-

го тут интересного нет — хворают люди, и все. Тяжело людям, а вы бегаете с вопросами. На луну надо лететь!

Социолог очень изумился... Он пооглядывался кругом,— полагая, что и все тоже изумились,— все внимательно слушали сухонького, и он тоже стал слушать. Сухонький враз как-то устал, лег на кровать и закрылся простыней.

— Последние силы растратишь тут,— сказал он.— У меня никаких историй не было,— еще сказал он, помолчав.— Я ручной. Причин никаких нету... Тоски тоже. И грусти нет. Я сам по себе... Независимый.

Социолог пожал плечами, посидел, уткнувшись в блокнотик, что-то записал. Потом повернулся к Ивану-трактористу.

— Я тоже,— сразу отрубил Иван.

— Что «тоже»? — не понял социолог.

— У меня тоже тоски нет.

— А при чем здесь тоска?

— Ну, вы же причину ищете?

— Да...

— Вот. Я ее не знаю. Но тоски никакой не было. Ехал в баню... Наоборот, хорошо на душе было.

— Нет, они этого не понимают! — вскричал вдруг сухонький и сел в кровать.— Ты им дай тоску какую-то — печаль! А так просто не может человек выпить! Просто — взял и...

Тут вошел старшина и объявил:

— Собирайтесь. Поедем в суд.

— Вот,— сказал сухонький,— а мы тут причину ищем. Счас нам найдут причину... помогут.

СУД

И грянул суд.

Судили три строгие женщины. Они сидели за столом, одна, похоже, главная,— в центре, две — по бокам, пожилая и молодая.

Подсудимые сидели в коридоре. Урки среди них не было.

Первого вызвали очкарика.

— Григорьев,— позвал старшина.

Подсудимые все пошевелились... Очкарик встал и пошел к двери, которая вела в комнату судей.

— Гришаков,— поправил он старшину.

— Чего? — не понял тот.

— Моя фамилия Гришаков, а не Григорьев.

— Какая разница,— мирно сказал старшина.

— Разница большая,— заметил сухонький.— Одно дело...

— Ждите! — велел старшина. Сухонький замолк.

— Здравствуйте,— сказал очкарик женщинам-судьям. С ним тоже поздоровались. И сказали:

— Садитесь.

— Мы ознакомились с вашим делом,— заговорила главная женщина.— Здесь — показания свидетелей... Заявление заведующего магазином...

— Надо же — дело! — усмехнулся очкарик. Но он рано стал усмехаться, он это скоро понял.

— Вы пока не улыбайтесь,— сказала пожилая женщина.— Не надо пока.

— Да нет, я... но не очень ли это громко — дело? Там дела-то нет.

— Есть дело,— говорила дальше главная женщина.— И вам действительно рано улыбаться.

— А в чем дело-то?

— Мы хотим услышать это от вас.

— Я плохо помню. С утра вообще ничего не помнил... С мясником что-то? В магазине? Мне в милиции сказали сейчас...

— Вы оскорбили продавца мясного отдела Завалихина Геннадия Николаевича...

— О-о,— простонал очкарик.— Он же обвешивает покупателей! Этот лоб нахально обвешивает всех покупателей, я ему сказал это...

— Минуточку, минуточку,— прервала его главная женщина,— давайте по порядку: вы сделали замечание продавцу. И выражайтесь... точнее: фамилия продавца Завалихин, никакой он не лоб.

— Он самый настоящий лоб, лоботряс, жулик...

— Сейчас не о нем речь, мы говорим о вас.

— Хорошо. Что вас интересует?

— Как было дело?

— Я не помню.

— Напомню. Двадцать пятого сентября сего года вы пришли в продовольственный магазин номер двадцать во-

семь,— стала рассказывать с бумажки женщина,— и сделали замечание продавцу мясного отдела Завалихину Геннадию Николаевичу, что он обвешивает покупателей. Завалихин вышел из-за прилавка и вывел вас на улицу...

Очкарик поежился, качнул головой. Сказал негромко и горько:

— Кошмар.

— Кошмар не в этом. Кошмар дальше: вы пошли, где-то напились и пришли в таком состоянии выяснять отношения с Завалихиным. Вас пытались остановить...

— Хорошо... дальше не нужно: я что-то такое припоминаю. А где у меня часы отняли?

— Это вы должны вспомнить, здесь происшествие в магазине...

— Хорошо... черт с ним, с часами. Что я теперь должен делать?

Три женщины выразительно посмотрели на него. Очкарик занервничал.

— Я не понимаю,— сказал он.— Ну, случилось... что дальше?

— Вы должны объяснить, почему вы устроили дебош в магазине. Почему напились? Часто это у вас?

— Я напился с отчаяния. Когда этот лоб выставил меня из магазина, я решил, что наступило светопреставление, конец.

— Не надо острить,— попросила молодая женщина.— Вы не уголовник, вы научный сотрудник, не забывайте об этом.

— Я не острю,— заволновался очкарик.— И, пожалуйста, не напоминайте, кто я такой — это не имеет никакого значения.

— Это имеет значение.

— Это не имеет никакого значения,— уперся очкарик.— Это абсолютно все равно. Я решил, что дальше жить бессмысленно. У вас было когда-нибудь такое чувство?

— Здесь мы спрашиваем, Гришаков,— заметила главная женщина.

— Я и отвечаю: я отчетливо понял, что наступил конец света. Конец...— Гришаков мучительно поискал, как еще обозначить «конец», не нашел.— Конец, понимаете? Дальше я буду притворяться, что живу, чувствую, работаю...

— Он ударил вас?

— Нет, просто выкинул из магазина... И закрыл дверь. Я думал, он будет драться... я приготовился драться, поэтому покорно шел из магазина. Это ужасно... Это катастрофа.

— В чем катастрофа? — спросила пожилая женщина.— Уточните, пожалуйста.

— В том, что меня выкинули из магазина. Даже так: катастрофа в том, что... Не знаю,— вдруг резко сказал Гришаков.— Неужели вы сами не понимаете? В магазине орудует скотина... Черт, не знаю. Противно мне об этом говорить.

● ДО ТРЕТЬИХ ПЕТУХОВ

(Сказка про Ивана-дурака, как он ходил за тридевять земель набираться ума-разума)

Как-то в одной библиотеке, вечером, часов этак в шесть, заспорили персонажи русской классической литературы. Еще когда библиотекарша была на месте, они с интересом посматривали на нее со своих полок — ждали. Библиотекарша напоследок поговорила с кем-то по телефону. Говорила она странно, персонажи слушали и не понимали. Удивлялись.

— Да нет,— говорила библиотекарша,— я думаю, это пшено. Он же козел... Пойдем лучше потопчемся. А? Нет, ну он же козел. Мы потопчемся, так? Потом пойдем к Владику... Я знаю, что он баран, но у него «Грюндик» — посидим... Тюлень тоже придет, потом этот будет... филин-то... Да я знаю, что они все козлы, но надо же как-то расстрелять время! Ну, ну... слушаю...

— Ничего не понимаю,— тихо сказал некто в цилиндре — не то Онегин, не то Чацкий — своему соседу, тяжелому помещику, похоже, Обломову. Обломов улыбнулся.

— В зоопарк собираются.

— Почему все козлы-то?

— Ну... видно, ирония. Хорошенькая. А?

Господин в цилиндре поморщился.

— Вульгаритэ.

— Вам все француженок подавай,— с неодобрением сказал Обломов.— А мне глянется. С ножками — это они неплохо придумали. А?

— Очень уж... того...— встрял в разговор господин пришибленного вида, явно чеховский персонаж.— Очень уж коротко. Зачем так?

Обломов тихо засмеялся.

— А чего ты смотришь туда? Ты возьми да не смотри.

— Да мне что, в сущности?..— смутился чеховский персонаж.— Пожалуйста. Почему только с ног начали?

— Что? — не понял Обломов.

— Возрождаться-то.

— А откуда же возрождаются? — спросил довольный Обломов.— С ног, братец, и начинают.

— Вы не меняетесь,— со скрытым презрением заметил пришибленный.

Обломов опять тихо засмеялся.

— Том!.. Том!.. Слушай сюда! — кричала в трубку библиотекарша.— Слушай сюда!.. Он же козел! У кого машина? У него? Нет, серьезно? — Библиотекарша надолго умолкла — слушала.— А каких наук? — спросила она тихо.— Да? Тогда я сама козел...

Библиотекарша очень расстроилась... Положила трубку, посидела просто так, потом встала и ушла. И закрыла библиотеку на замок.

Тут персонажи соскочили со своих полок, задвигали стульями...

— В темпе, в темпе! — покрикивал некто канцелярского облика, лысый.— Продолжим. Кто еще хочет сказать об Иване-дураке? Просьба: не повторяться. И — короче. Сегодня мы должны принять решение. Кто?

— Позвольте! — Это спрашивала Бедная Лиза.

— Давай, Лиза,— сказал лысый.

— Я сама тоже из крестьян,— начала Бедная Лиза,— вы все знаете, какая я бедная...

— Знаем, знаем! — зашумели все.— Давай короче!

— Мне стыдно,— горячо продолжала Бедная Лиза,— что Иван-дурак находится вместе с нами. Сколько можно? До каких пор он будет позорить наши ряды?

— Выгнать! — крикнули с места.

— Тихо! — строго сказал лысый конторский.— Что ты предлагаешь, Лиза?

— Пускай достанет справку, что он умный,— сказала Лиза.

Тут все одобрительно зашумели.

— Правильно!

— Пускай достанет! Или пускай убирается!..

— Какие вы, однако, прыткие,— сказал огромный Илья Муромец. Он сидел на своей полке — не мог

встать.— Разорались. Где он ее достанет? Легко сказать...

— У Мудреца,— Лысый, который вел собрание, сердито стукнул ладонью по столу.— Илья, я тебе слова не давал!

— А я тебя не спрашивал. И спрашивать не собираюсь. Закрой хлебало, а то враз заставлю чернила пить. И промокашкой закусывать. Крыса конторская.

— Ну, начинается!..— недовольно сказал Обломов.— Илья, тебе бы только лаяться. А чем плохое предложение: пускай достанет справку. Мне тоже неловко рядом с дураком сидеть. От него портянками пахнет... Да и никому, я думаю, не...

— Цыть! — громыхнул Илья.— Неловко ему. А палицей по башке хошь? Достану!

Тут какой-то, явно лишний, заметил:

— Междуусобица.

— А? — не понял конторский.

— Междуусобица,— сказал Лишний.— Пропадем.

— Кто пропадет? — Илья тоже не видел опасности, о какой говорил Лишний.— Сиди тут, гусарчик! А то достану тоже разок...

— Требую удовлетворения! — вскочил Лишний.

— Да сядь! — сказал конторский.— Какое удовлетворение?

— Требую удовлетворения: этот сидень карачаровский меня оскорбил.

— Сядь,— сказал и Обломов.— Чего с Иваном-то делать?

Все задумались.

Иван-дурак сидел в углу, делал что-то такое из полы своего армяка, вроде ухо.

— Думайте, думайте,— сказал он.— Умники нашлись... Доктора́.

— Не груби, Иван,— сказал конторский.— О нем же думают, понимаешь, и он же еще сидит грубит. Как ты насчет справки? Может, сходишь возьмешь?

— Где?

— У Мудреца... Надо же что-то делать. Я тоже склоняюсь...

— А я не склоняюсь! — бухнул опять Илья.— Склоняется он. Ну и склоняйся сколько влезет. Не ходи, Ванька. Чушь какую-то выдумали — справку... Кто это со справкой выскочил? Лизка? Ты чего, девка?

— А ничего! — воскликнула Бедная Лиза.— Если ты сидишь, то и все должны сидеть?! Не пройдет у вас, дядя Илья, эта сидячая агитация! Я присоединяюсь к требованию ведущего: надо что-то делать.— И она еще раз сказала звонко и убедительно: — Надо что-то делать!

Все задумались.

А Илья нахмурился.

— Какая-то сидячая агитация,— проворчал он.— Выдумывает чего ни попадя. Какая агитация?

— Да такая самая!.. — вскинулся на него Обломов.— Сидячая, тебе сказали. «Кака-ая». Помолчи, пожалуйста. Надо, конечно, что-то делать, друзья. Надо только понять: что делать-то?

— И все же я требую удовлетворения! — вспомнил свою обиду Лишний.— Я вызываю этого горлопана (к Илье) на дуэль.

— Сядь! — крикнул конторский на Лишнего.— Дело делать или дуэлями заниматься?! Хватит дурака валять. И так уж ухлопали сколько... Дело надо делать, а не бегать по лесам с пистолетами.

Тут все взволновались, зашумели одобрительно.

— Я бы вообще запретил эти дуэли! — крикнул бледный Ленский.

— Трус,— сказал ему Онегин.

— Кто трус?

— Ты трус.

— А ты — лодырь. Шулер. Развратник. Циник...

— А пошли на Волгу! — крикнул вдруг какой-то гулевой атаман.— Сарынь на кичку!

— Сядь! — обозлился конторский.— А то я те покажу «сарынь». Задвину за шкаф вон — поорешь там. Еще раз спрашиваю: что будем делать?

— Иди ко мне, атаман,— позвал Илья казака.— Чего-то скажу.

— Предупреждаю,— сказал конторский,— если затеете какую-нибудь свару... вам головы не сносить. Тоже мне, понимаешь... самородки.

— Сказать ничего нельзя! — горько возмутился Илья.— Чего вы?.. Собаки какие-то, истинный бог: как ни скажешь — все не так.

— Только не делайте, пожалуйста, вид,— с презрением молвил Онегин, обращаясь к Илье и к казаку,— что только вы одни из народа. Мы тоже — народ.

— Счас они будут рубахи на груди рвать,— молвил некий мелкий персонаж, вроде гоголевского Акакия Акакиевича.— Рукава будут жевать...

— Да зачем же мне рукава жевать? — искренне спросил казачий атаман.— Я тебя на одну ладошку посажу, а другой прихлопну.

— Все — междоусобица,— грустно сказал Лишний.— Ничего теперь вообще не сделаем. Вдобавок еще и пропадем.

— Айда на Волгу! — кликнул опять атаман.— Хоть погуляем.

— Сиди,— сердито сказал Обломов.— Гуляка... Все бы гулять, все бы им гулять! Дело надо делать, а не гулять.

— А-а-а,— вдруг зловеще-тихо протянул атаман,— вот кохо я искал-то всю жизню. Вот кохо мине надоть-то...— и потащил из ножен саблю.— Вот кому я счас кровя-то пущу...

Все повскакали с мест...

Акакий Акакиевич птицей взлетел на свою полку. Бедная Лиза присела в ужасе и закрылась сарафаном... Онегин судорожно заряжал со ствола дуэльный пистолет, а Илья Муромец смеялся и говорил:

— О-о, забегали?! Забегали, черти драповые?! Забегали?

Обломов загородился от казака стулом и кричал ему надрываясь:

— Да ты спроси историков литературы! Ты спроси!.. Я же хороший был! Я только лодырь беспросветный... Но я же безвредный!

— А вот похлядим,— говорил казак,— похлядим, какой ты хороший: хороших моя сабля не секеть.

Конторский сунулся было к казаку, тот замахнулся на него, и конторский отскочил.

— Бей, казаче! — гаркнул Илья.— Цеди кровь поганую!

И бог знает, что тут было бы, если бы не Акакий Акакиевич. Посреди всеобщей сумятицы он вдруг вскочил и крикнул:

— Закрыто на учет!

И все замерли... Опомнились. Казак спрятал саблю, Обломов вытер лицо платком, Лиза встала и стыдливо оправила сарафан.

— Азия,— тихо и горько сказал конторский.— Раз-

ве можно тут что-нибудь сделать! Спасибо, Акакий. Мне как-то и в голову не пришло — закрыть на учет.

— Илья, у тя вина нету? — спросил казак Муромца.

— Откуда? — откликнулся тот.— Я же не пью.

— Тяжко на душе,— молвил казак.— Маяться буду...

— А нечего тут... размахался, понимаешь,— сказал конторский.— Продолжим. Лиза, ты чего-то хотела сказать...

— Я предлагаю отправить Ивана-дурака к Мудрецу за справкой,— сказала Лиза звонко и убежденно.— Если он к третьим петухам не принесет справку, пускай... я не знаю, пускай убирается от нас.

— Куда же ему? — спросил Илья грустно.

— Пускай идет в букинистический! — жестко отрезала Лиза.

— О-о, не крутенько ли? — усомнился кто-то.

— Не крутенько,— тоже жестко сказал конторский.— Нисколько. Только так. Иван...

— Аиньки! — откликнулся Иван. И встал.

— Иди.

Иван посмотрел на Илью.

Илья нагнул голову и промолчал. И казак тоже промолчал, только мучительно сморщился и поискал глазами на полках и на столе — все, видно, искал вино.

— Иди, Ванька,— тихо сказал Илья.— Ничего не сделаешь. Надо идти. Вишь, какие они все... ученые. Иди и помни: в огне тебе не гореть, в воде не тонуть... За остальное не ручаюсь.

— Хошь мою саблю? — предложил казак Ивану.

— Зачем она мне? — откликнулся тот.

— Иван,— заговорил Илья,— иди смело — я буду про тебя думать. Где тебя пристигнет беда... Где тебя задумают погубить, я крикну: «Ванька, смотри!»

— Как ты узнаешь, шо ехо пристихла беда? — спросил казак.

— Я узнаю. Сердцем учую. А ты мой голос услышишь.

Иван вышел на середину библиотеки, поклонился всем поясным поклоном... Подтянул потуже армячишко и пошел к двери.

— Не поминайте лихом, еслив где пропаду,— сказал с порога.

— Придешь со справкой, Иван,— взволнованно сказала Лиза,— я за тебя замуж выйду.

— На кой ты мне черт нужна,— грубо сказал Иван.— Я лучше царевну какую-нибудь стрену...

— Не надо, Иван,— махнул рукой Илья,— не связывайся. Все они... не лучше этой вот.— Показал на Лизу.— На кой ляд тебе эта справка? Чего ты заегозила-то? Куда вот парню... на ночь глядя! А и даст ли он ее, справку-то, ваш Мудрец? Тоже, небось, сидит там...

— Без справки нельзя, дядя Илья,— решительно сказала Лиза.— А тебе, Иван, я припомню, что ты отказался от меня. Ох, я те припомню!

— Иди, иди, Иван,— сказал конторский.— Время позднее — тебе успеть надо.

— Прощайте,— сказал Иван. И вышел.

И пошел он куда глаза глядят.

Темно было... Шел он, шел — пришел к лесу. А куда дальше идти, вовсе не знает. Сел на пенек, закручинился.

— Бедная моя головушка,— сказал,— пропадешь ты. Где этот Мудрец? Хоть бы помог кто.

Но никто ему не помог. Посидел-посидел Иван, пошел дальше.

Шел-шел, видит — огонек светится. Подходит ближе — стоит избушка на курьих ножках, а вокруг кирпич навален, шифер, пиломатериалы всякие.

— Есть тут кто-нибудь?! — крикнул Иван.

Вышла на крыльцо баба Яга... Посмотрела на Ивана, спрашивает.

— Кто ты такой? И куда идешь?

— Иван-дурак, иду к Мудрецу за справкой,— ответил Иван.— А где его найти, не знаю.

— Зачем тебе справка-то?

— Тоже не знаю... Послали.

— А-а...— молвила баба Яга.— Ну, заходи, заходи... Отдохни с дороги. Есть, небось, хочешь?

— Да не отказался бы...

— Заходи.

Зашел Иван в избушку.

Избушка как избушка, ничего такого. Большая печка, стол, две кровати...

— Кто с тобой еще живет? — спросил Иван.

— Дочь. Иван,— заговорила Яга,— а ты как дурак-то — совсем, что ли, дурак?

— Как это? — не понял Иван.

— Ну, полный дурак или это тебя сгоряча так окрестили? Бывает, досада возьмет — крикнешь: у, дурак!



Я вот на дочь иной раз как заору: у, дура такая! А какая же она дура? Она у меня вон какая умная. Может, и с тобой такая история: привыкли люди: дурак и дурак, а ты вовсе не дурак, а только... бесхитростный. А?

— Не пойму, ты куда клонишь-то?

— Да я же по глазам вижу: никакой ты не дурак,



ты просто бесхитростный. Я, как только тебя увидела, сразу подумала: «Ох, и талантливый парень!» Или ты полностью поверил, что ты — дурак?

— Ничего я не поверил! — сердито сказал Иван.— Как это я про себя поверю, что я — дурак?

— А я тебе чего говорю? Вот люди, а?.. Ты строительством когда-нибудь занимался?

— Ну как?.. С отцом, с братьями теремки рубили... А тебе зачем?

— Понимаешь, хочу котэджик себе построить... Материалы завезли, а строить некому. Не возьмешься?

— Мне же справку надо добывать...

— Да зачем она тебе? — воскликнула баба Яга.— Построишь котэджик... его увидют — ко мне гости всякие приезжают — увидют — сразу: кто делал? Кто делал — Иван делал... Чуешь? Слава пойдет по всему лесу.

— А как же справка? — опять спросил Иван.— Меня же назад без справки-то не пустют.

— Ну и что?

— Как же? Куда же я?

— Истопником будешь при котэджике... Когда будешь строить, запланируй себе комнату в подвале... Тепло, тихо, никакой заботушки. Гости наверху заскучали — куда? — пошли к Ивану: истории разные слушать. А ты им ври побольше... Разные случаи рассказывай. Я об тебе заботиться буду. Я буду тебя звать — Иванушка...

— Карга старая,— сказал Иван.— Ишь ты, какой невод завела!.. Иванушкой она звать будет. А я на тебя буду горб гнуть? А ху-ху не хо-хо, бабуленька?

— А-а,— зловеще протянула баба Яга,— теперь я поняла, с кем я имею дело: симулянт, проходимец... тип. Мы таких знаешь что делаем — зажариваем. Ну-ка, кто там?! — И Яга трижды хлопнула в ладоши.— Стража! Взять этого дурака, связать — мы его будем немножко жарить.

Стражники, четыре здоровых лба, схватили Ивана, связали и положили на лавку.

— Последний раз спрашиваю,— еще попыталась баба Яга,— будешь котэджик строить?

— Будь ты проклята! — гордо сказал связанный Иван.— Чучело огородное... У тебя в носу растут волосы.

— В печь его! — заорала Яга. И затопала ногами.— Мерзавец! Хам!..

— От хамки слышу! — тоже заорал Иван.— Ехидна! У тебя не только в носу, у тебя на языке шерсть растет!.. Дармоедка!

— В огонь! — вовсе зашлась Яга.— В ого-онь!!.

Ивана сгребли и стали толкать в печь, в огонь.

— Ох, брил я тебя на завалинке! — запел Иван.— Подарила ты мене чулки-валенки!.. Оп — ти́рдарпупия́! Мне в огне не гореть, карга! Так что я иду смело!

Только Ивана затолкали в печь, на дворе зазвенели бубенцы, заржали кони.

— Дочка едет! — обрадовалась баба Яга и выглянула в окно.— У-у, да с женихом вместе! То-то будет им чем поужинать.

Стражники тоже обрадовались, запрыгали, захлопали в ладоши.

— Змей Горыныч едет, змей Горыныч едет! — закричали они.— Эх, погуляем-то! Эх, и попьем же!

Вошла в избушку дочка бабы Яги, тоже сильно страшная, с усами.

— Фу-фу-фу,— сказала она.— Русским духом пахнет. Кто тут?

— Ужин,— сказала баба Яга. И засмеялась хрипло: — Ха-ха- ха!..

— Чего ты? — рассердилась дочка.— Ржет, как эта... Я спрашиваю: кто тут?

— Ивана жарим.

— Да ну? — приятно изумилась дочка.— Ах, какой сюрприз!

— Представляешь, не хочет, чтобы в лесу было красиво — не хочет строить котэджик, паразит.

Дочка заглянула в печку... А оттуда вдруг — не то плач, не то хохот.

— Ой, не могу-у!..— стонал Иван.— Не от огня помру — от смеха!..

— Чего это? — зло спросила дочка бабы Яги. И Яга тоже подошла к печке.— Чего он?

— Хохочет?

— Чего ты, эй?

— Ой, помру от смеха! — орал Иван.— Ой, не выживу я!..

— Вот идиот-то,— сказала дочка.— Чего ты?

— Да усы-то!.. Усы-то... Ой, господи, ну бывает же такое в природе! Да как же ты с мужем-то будешь спать? Ты же замуж выходишь...

— Как все... А чего? — не поняла дочка. Не поняла, но встревожилась.

— Да усы-то!

— Ну и что? Они мне не мешают, наоборот, я лучше чую.

— Да тебе-то не мешают... А мужу-то? Когда замуж-то выйдешь...

— А чего мужу? Куда ты гнешь, дурак? Чего тебе мой будущий муж? — вовсе встревожилась дочка.

— Да как же? Он тебя поцелует в темноте-то, а сам подумает: «Черт те что: солдат не солдат, и баба не баба». И разлюбит. Да нешто можно бабе с усами! Ну, эти ведьмы!.. Ни хрена не понимают. Ведь не будет он с тобой жить, с усатой. А то еще возьмет, да голову откусит со зла, знаю я этих Горынычей.

Баба Яга и дочка призадумались.

— Ну-ка, вылазь,— велела дочь.

Иван-дурак скоро вылез, отряхнулся.

— Хорошо погрелся...

— А чего ты нам советуешь? — спросила баба Яга.— С усами-то.

— Чего, чего... Свести надо усы, если хочете семейную жизнь наладить.

— Да как свести-то, как?

— Я скажу как, а вы меня опять в печь кинете.

— Не кинем, Ванюшка,— заговорила ласково дочь бабы Яги.— Отпустим тебя на все четыре стороны, скажи только, как от усов избавиться.

Тут наш Иван пошел тянуть резину и торговаться, как делают нынешние слесаря-сантехники.

— Это не просто,— заговорил он,— это надо состав делать...

— Ну и делай!

— Делай, делай... А когда же я к Мудрецу-то попаду? Мне же к третьим петухам надо назад вернуться...

— Давай так,— заволновалась баба Яга,— слушай сюда! Давай так: ты сводишь усы, я даю тебе свою метлу, и ты в один миг будешь у Мудреца.

Иван призадумался.

— Быстрей! — заторопилась усатая дочь.— А то Горыныч войдет.

Тут и Иван заволновался.

— Слушайте, он же войдет, так?..

— Ну?

— Войдет и с ходу сожрет меня.

— Он может,— сказала дочь.— Чего бы такое придумать?

— Я скажу, что ты мой племянник,— нашлась баба Яга.— Понял?

— Давайте,— понял Иван.— Теперь — так: мой состав-то не сразу действует.

— Как это? — насторожилась дочь.

— Мы его счас наведем и наложим на лицо маску...

Так? Я лечу на метле к Мудрецу, ты пока лежишь с маской...

— А обманет? — заподозрила дочь.— Мам?

— Пусть только попробует,— сказала баба Яга,— пусть только надует: навернется с поднебесья — мокрое место останется.

— Ну, елки зеленые-то!..— опять заволновался Иван, похоже, он и хотел надуть.— Ну что за народ! В чем дело? Хочешь с усами ходить? Ходи с усами, мне-то что! Им дело говорят, понимаешь,— нет, они начинают тут... Вы меня уважаете, нет?

— При чем тут «уважаете»? Ты говори толком...

— Нет, не могу,— продолжал Иван тараторить.— Не могу, честное слово! Сердце лопнет. Ну, что за народ! Да живи ты с усами, живи! Сколько влезет, столько и живи. Не женщина, а генерал-майор какой-то. Тьфу!.. А детишки народятся? Потянется сынок или дочка ручонкой: «Мама, а что это у тебя?» А подрастут? Подрастут, их на улице начнут дразнить: «Твоя мамка с усами, твоя мамка с усами!» Легко будет ребенку? Легко будет слушать такие слова? Ни у кого нету мамки с усами, а у него — с усами. Как он должен отвечать? Да никак он не сможет ответить, он зальется слезами и пойдет домой... к усатой мамке...

— Хватит! — закричала дочь бабы Яги.— Наводи свой состав. Что тебе надо?

— Пригоршню куриного помета, пригоршню теплого навоза и пригоршню мягкой глины — мы накладываем на лицо такую маску...

— На все лицо? Как же я дышать-то буду?

— Ну что за народ! — опять горько затараторил Иван.— Ну ничего невозможно...

— Ладно! — рявкнула дочь.— Спросить ничего нельзя!..

— Нельзя! — тоже рявкнул Иван.— Когда мастер соображает, нельзя ничего спрашивать! Повторяю: навоз, глина, помет. Маска будет с дыркой — будешь дышать. Все.

— Слышали? — сказала Яга стражникам.— Одна нога здесь, другая в сарае! Арш!

Стражники побежали за навозом, глиной и пометом.

А в это самое время в окно просунулись три головы змея Горыныча... Уставились на Ивана. Все в избушке

замерли. Горыныч долго-долго смотрел на Ивана. Потом спросил:

— Кто это?

— Это, Горыныч, племянник мой, Иванушка,— сказала Яга.— Иванушка, поздоровайся с дядей Горынычем.

— Здравствуйте, дядя Горыныч! — поздоровался Иван.— Ну, как дела?

Горыныч внимательно смотрел на Ивана. Так долго и внимательно, что Иван занервничал.

— Да ну что, елки зеленые? Что? Ну — племянник, ты же слышал! Пришел к тете Ежке. В гости. Что, гостей будем жрать? Давай, будем гостей жрать! А семью собираемся заводить: всех детишечек пожрем, да? Папа, называется!..

Головы Горыныча посоветовались между собой.

— По-моему, он хамит,— сказала одна.

Вторая подумала и сказала:

— Дурак, а нервный.

А третья выразилась и вовсе кратко:

— Лангет,— сказала она.

— Я счас такой лангет покажу!..— взорвался от страха Иван.— Такой лангет устрою, что кое-кому тут не поздоровится. Тетя, где моя волшебная сабля? — Иван вскочил с лавки и забегал по избушке — изображал, что ищет волшебную саблю.— Я счас такое устрою!.. Головы надоело носить?! — Иван кричал на Горыныча, но не смотрел на него — жутко было смотреть на эти три спокойные головы.— Такое счас устрою!..

— Он просто расхамился,— опять сказала первая голова.

— Нервничает,— заметила вторая.— Боится.

А третья не успела ничего сказать: Иван остановился перед Горынычем и сам тоже долго и внимательно смотрел на него.

— Шпана,— сказал Иван.— Я тебя сам съем.

Тут первый раз прозвучал голос Ильи Муромца.

— Ванька, смотри! — сказал Илья.

— Да что «Ванька», что «Ванька»! — воскликнул Иван.— Чего ванькать-то? Вечно кого-то боимся, кого-то опасаемся. Каждая гнида будет из себя... великую тварь строить, а тут обмирай от страха. Не хочу! Хватит! Надоело! — Иван и в самом деле спокойно уселся на лавку, достал дудочку и посвистел маленько.— Жри,—

сказал он,— отвлекаясь от дудочки.— Жрать будешь? Жри. Гад. Потом поцелуй свою усатую невесту. Потом рожайте усатых детей и маршируйте с имя. Он меня, видите ли, пугать будет!.. Хрен тебе! — И Ванька опять засвистел в свою дудочку.

— Горыныч,— сказала дочь,— плюнь — не обращай внимания. Не обижайся.

— Но он же хамит,— возразила первая голова.— Как он разговаривает!

— Он с отчаяния. Он не ведает, что творит.

— Я все ведаю,— встрел Иван, перестав дудеть.— Все я ведаю. Я вот сейчас подберу вам марш... для будущего батальона...

— Ванюшка,— заговорила баба Яга кротко,— не хами, племяш. Зачем ты так?

— Затем, что нечего меня на арапа брать. Он, видите ли, будет тут глазами вращать! Вращай, когда у тебя батальон усатых будет — тогда вращай. А счас нечего.

— Нет, ну он же вовсю хамит! — чуть не плача сказала первая голова.— Ну как же?..

— Заплачь, заплачь,— жестко сказал Иван.— А мы посмеемся. В усы.

— Хватит тянуть,— сказала вторая голова.

— Да, хватит тянуть,— поддакнул Иван.— Чего тянуть-то? Хватит тянуть.

— О-о! — изумилась третья голова.— Ничего себе!

— Ага! — опять дурашливо поддакнул Иван.— Во даеть Ванькя! Споем? — И Ванька запел:

Эх, брил я тебя
На завалинке,
Подарила ты мене
Чулки-валенки...

— Горыныч, хо̀ром! Оп — ти-ирдарпупия́! — допел Ванька.

И стало тихо. И долго было тихо.

— А романсы умеешь? — спросил Горыныч.

— Какие романсы?

— Старинные.

— Сколько угодно... Ты что, романсы любишь? Изволь, батюшка, я тебе их нанизаю сколько хошь. Завалю романсами. Например:

Хаз-булат удалой,
Бедна сакля твоя-а,

Золотою казной
Я осыплю тебя-а!..

А? Романс?!.— Ванька почуял некую перемену в Горыныче, подошел к нему и похлопал одну голову по щеке...— Ух ты... свирепый. Свирепунчик ты мой.

— Не ерничай,— сказал Горыныч.— А то откушу руку.

Ванька отдернул руку.

— Ну, ну, ну,— молвил он мирно,— кто же так с мастером разговаривает? Возьму вот и не буду петь.

— Будешь,— сказала голова Горыныча, которую Иван приголубил.— Я тебе возьму и голову откушу.

Две другие головы громко засмеялись. И Иван тоже мелко и невесело посмеялся.

— Тогда-то уж я и вовсе не спою — нечем: чем же я петь-то буду?

— Филе,— сказала голова, которая давеча говорила «лангет». Это была самая глупая голова.

— А тебе бы все жрать! — обозлился на нее Иван.— Все бы ей жрать!.. Живоглотка какая-то.

— Ванюшка, не фордыбачь,— сказала баба Яга.— Пой.

— Пой,— сказала и дочь.— Разговорился. Есть слух — пой.

— Пой,— велела первая голова.— И вы тоже пойте.

— Кто? — не поняла баба Яга.— Мы?

— Вы. Пойте.

— Может быть, я лучше одна? — вякнула дочь; ее не устраивало, что она будет подпевать Ивану.— С мужиком петь... ты меня извини, но...

— Три, четыре,— спокойно сказал Горыныч.— Начали.

Дам коня, дам седло,—

запел Иван. Баба Яга с дочкой подхватили:

Дам винтовку свою-у,
А за это за все
Ты отдай мне жену-у.
Ты уже стар, ты уже се-ед,
Ей с тобой не житье:
С молодых юных ле-ет
Ты погубишь ее-о-о.

Невыразительные круглые глазки Горыныча увлажнились: как всякий деспот, он был слезлив.

— Дальше,— тихо сказал он.

Под чинарой густой,— пел дальше Иван,—
Мы сидели вдвое-ом;
Месяц плыл золотой,
Все молчало круго-ом.

И Иван с чувством повторил еще раз, один:

Эх, месяц плыл золотой,
Все молчало круго-ом.

— Как ты живешь, Иван? — спросил растроганный Горыныч.

— В каком смысле? — не понял тот.

— Изба хорошая?

— А-а. Я счас в библиотеке живу, вместе со всеми.

— Хочешь отдельную избу?

— Нет. Зачем она мне?

— Дальше.

Она мне отдала-ась,— повел дальше Иван,—
До последнего дня-а...

— Это не надо,— сказал Горыныч.— Пропусти.

— Как же? — не понял Иван.

— Пропусти.

— Горыныч, так нельзя,— заулыбался Иван,— из песни слова не выкинешь.

Горыныч молча смотрел на Ивана; опять воцарилась эта нехорошая тишина.

— Но ведь без этого же нет песни! — занервничал Иван.— Ну? Песни-то нету!

— Есть песня,— сказал Горыныч.

— Да как же есть? Как же есть-то?!

— Есть песня. Даже лучше — лаконичнее.

— Ну, ты смотри, что они делают! — Иван даже хлопнул в изумлении себя по ляжкам.— Что хотят, то и делают! Нет песни без этого, нет песни без этого, нет песни!.. Не буду петь лаконичнее. Все.

— Ванюшка,— сказала баба Яга,— не супротивничай.

— Пошла ты!..— вконец обозлился Иван.— Сами пойте. А я не буду. В гробу я вас всех видел! Я вас сам всех сожру! С усами вместе. А эти три тыквы... я их тоже буду немножко жарить...

— Господи, сколько надо терпения,— вздохнула первая голова Горыныча.— Сколько надо сил потратить, нервов... пока их научишь. Ни воспитания, ни образования...

— Насчет «немножко жарить» — это он хорошо сказал,— молвила вторая голова.— А?

— На какие усы ты все время намекаешь? — спросила Ивана третья голова.— Весь вечер сегодня слышу: усы, усы... У кого усы?

А па-арень улыбается
В пшеничные усы,—

шутливо спела первая голова.— Как там дальше про Хаз-булата?

— Она мне отдалась,— отчетливо сказал Иван.

Опять сделалось тихо.

— Это грубо, Иван,— сказала первая голова.— Это дурная эстетика. Ты же в библиотеке живешь... как ты можешь? У вас же там славные ребята. Где ты набрался этой сексуальности? У вас там, я знаю, Бедная Лиза... прекрасная девушка, я отца ее знал... Она — невеста твоя?

— Кто? Лизка? Еще чего!

— Как же? Она тебя ждет.

— Пусть ждет — не дождется.

— Мда-а... Фрукт,— сказала третья голова. А голова, которая все время к жратве клонила, возразила:

— Нет, не фрукт,— сказала она серьезно.— Какой же фрукт? Уж во всяком случае — лангет. Возможно, даже шашлык.

— Как там дальше-то? — вспомнила первая голова.— С Хаз-булатом-то?

— Он его убил,— покорно сказал Иван.

— Кого?

— Хаз-булата.

— Кто убил?

— М-м...— Иван мучительно сморщился.— Молодой любовник убил Хаз-булата. Заканчивается песня так: «Голова старика покатилась на луг».

— Это тоже не надо. Это жестокость,— сказала голова.

— А как надо?

Голова подумала.

— Они помирились. Он ему отдал коня, седло — и они пошли домой. На какой полке ты там сидишь, в библиотеке-то?

— На самой верхней... Рядом с Ильей и донским атаманом.

— О-о! — удивились все в один голос.

— Понятно,— сказала самая умная голова Горыныча, первая.— От этих дураков только и наберешься... А зачем ты к Мудрецу идешь?

— За справкой.

— За какой справкой?

— Что я умный.

Три головы Горыныча дружно, громко засмеялись. Баба Яга и дочь тоже подхихикнули.

— А плясать умеешь? — спросила умная голова.

— Умею,— ответил Иван.— Но не буду.

— Он, по-моему, и котэджики умеет рубить,— встряла баба Яга.— Я подняла эту тему...

— Ти-хо! — рявкнули все три головы Горыныча.— Мы никому больше слова не давали!

— Батюшки мои,— шепотом сказала баба Яга.— Сказать ничего нельзя.

— Нельзя! — тоже рявкнула дочь. И тоже на бабу Ягу.— Базар какой-то!

— Спляши, Ваня,— тихо и ласково сказала самая умная голова.

— Не буду плясать,— уперся Иван.

Голова подумала.

— Ты идешь за справкой...— сказала она.— Так?

— Ну? За справкой.

— В справке будет написано: «Дана Ивану... в том, что он — умный». Верно? И — печать.

— Ну?

— А ты не дойдешь.— Умная голова спокойно смотрела на Ивана.— Справки не будет.

— Как это не дойду? Если я пошел — я дойду.

— Не.— Голова все смотрела на Ивана.— Не дойдешь. Ты даже отсюда не выйдешь.

Иван постоял в тягостном раздумье... Поднял руку и печально возгласил:

— Сени!

— Три, четыре,— сказала голова.— Пошли.

Баба Яга и дочь запели:

Ох, вы сени, мои сени,
Сени новые мои...

Они пели и прихлопывали в ладоши.

Сени новые-преновые,
Решетчатые...

Иван двинулся по кругу, пристукивая лапоточками... А руки его висели вдоль тела: он не подбоченился, не вскинул голову, не смотрел соколом.

— А почему соколом не смотришь? — спросила голова.

— Я смотрю,— ответил Иван.

— Ты в пол смотришь.

— Сокол же может задуматься?

— О чем?

— Как дальше жить... Как соколят вырастить. Пожалей ты меня, Горыныч,— взмолился Иван,— Ну, сколько уж? Хватит...

— А-а,— сказала умная голова.— Вот теперь ты поумнел. Теперь иди за справкой. А то начал тут... строить из себя. Шмакодявки. Свистуны. Чего ты начал строить из себя?

Иван молчал.

— Становись лицом к двери,— велел Горыныч.

Иван стал лицом к двери.

— По моей команде вылетишь отсюда со скоростью звука.

— Со звуком — это ты лишку хватил, Горыныч,— возразил Иван.— Я не сумею так.

— Как сумеешь. Приготовились... Три, четыре!

Иван вылетел из избушки.

Три головы Горыныча, дочь и баба Яга засмеялись.

— Иди сюда,— позвал Горыныч невесту,— я тебя ласкать буду.

А Иван шел опять темным лесом... И дороги опять никакой не было, а была малая звериная тропка. Шел-шел Иван, сел на поваленную лесину и закручинился.

— В душу как вроде удобрение свалили,— грустно сказал он.— Вот же как тяжко! Достанется мне эта справка...

Сзади подошел медведь и тоже присел на лесину.

— Чего такой печальный, мужичок? — спросил медведь.

— Да как же!..— сказал Иван.— И страху натерпелся, и напелся, и наплясался... И уж так-то теперь на душе тяжко, так нехорошо — ложись и помирай.

— Где это ты так?

— А в гостях... Черт занес. У бабы Яги.

— Нашел к кому в гости ходить. Чего ты к ней поперся?

— Да зашел по пути...

— А куда идешь-то?

— К Мудрецу.

— Во-он куда! — удивился медведь.— Далеко.

— Не знаешь ли, как к нему идти?

— Нет. Слыхать слыхал про такого, а как идти — не знаю. Я сам, брат, с насиженного места поднялся... Иду вот тоже, а куда иду — не знаю.

— Прогнали, что ль?

— Да и прогнать не прогнали, и... Сам уйдешь. Эт-то вот — недалеко — монастырь, ну, жили себе... И я возле питался — там пасек много. И облюбовали же этот монастырь черти. Откуда только их нашугало! Обложили весь монастырь — их вовнутрь-то не пускают — с утра до ночи музыку заводют, пьют, безобразничают.

— А чего хотят-то?

— Хотят внутрь пройти, а там стража. Вот они и оглушают их, стражников-то, бабенок всяких ряженых подпускают, вино наливают — сбивают с толку. Такой тарарам навели на округу — завязывай глаза и беги. Страсть что творится, пропадает живая душа. Я вот курить возле их научился...— медведь достал пачку сигарет и закурил.— Нет житья никакого... Подумал, подумал — нет, думаю, надо уходить, а то вино научусь пить. Или в цирк пойду. Раза два напивался уж...

— Это скверно.

— Уж куда как скверно! Медведицу избил... льва в лесу искал... Стыд головушке! Нет, думаю, надо уходить. Вот — иду.

— Не знают ли они про Мудреца? — спросил Иван.

— Кто? Черти? Чего они не знают-то? Они все знают. Только не связывайся ты с имя, пропадешь. Пропадешь, парень.

— Да ну... чего, поди?

— Пропадешь. Попытай, конечно, но... гляди. Злые они.

— Я сам злой счас... Хуже черта. Вот же как он меня исковеркал!.. Всего изломал.

— Кто?

— Змей Горыныч.

— Бил, что ли?

— Да и не бил, а... хуже битья. И пел перед ним, и плясал... тьфу! Лучше бы уж избил.

— Унизил?

— Унизил. Да как унизил!.. Не переживу я, однако, эти дела. Вернусь и подожгу их. А?

— Брось,— сказал медведь,— не связывайся. Он такой, этот Горыныч... Гад, одно слово. Брось. Уйди лучше. Живой ушел, и то слава богу. Эту шайку не одолеешь: везде достанут.

Они посидели молча, медведь затянулся последний раз сигаретой, бросил, затоптал окурок лапой и встал.

— Прощай.

— Прощай,— откликнулся Иван. И тоже поднялся.

— Аккуратней с чертями-то,— еще раз посоветовал медведь.— Эти похуже Горыныча будут... Забудешь, куда идешь. Все на свете забудешь. Ну, и охальное же племя! На ходу подметки рвут. Оглянуться не успеешь, а уж ты на поводке у их — захомутали.

— Ничего,— сказал Иван.— Бог не выдаст, свинья не съест. Как-нибудь вывернусь. Надо же где-то Мудреца искать... леший-то навязался на мою голову. А время — до третьих петухов только.

— Ну, поспешай, коли так. Прощай.

— Прощай.

И они разошлись.

Из темноты еще медведь крикнул:

— Вон, слышь, музыка?

— Где?

— Да послушай!.. «Очи черные» играют.

— Слышу!

— Вот иди на музыку — они. Вишь, наяривают! О, господи! — вздохнул медведь.— Вот чесотка-то мировая! Ну, чесотка... Не хочут жить на болоте, никак не хочут, хочут в кельях.

А были — ворота и высокий забор. На воротах написано:

«Чертям вход воспрещен».

В воротах стоял большой стражник с пикой в руках и зорко поглядывал кругом.

Кругом же творился некий вялый бедлам — пауза такая после бурного шабаша. Кто из чертей, засунув руки в карманы узеньких брюк, легонько бил копытцами



ленивую чечетку, кто листал журналы с картинками, кто тасовал карты... Один жонглировал черепами. Двое в углу учились стоять на голове. Группа чертей, расстелив на земле газеты, сидела вокруг коньяка и закуски — выпивали. А четверо — три музыканта с гитарами и девица — стояли прямо перед стражником: девица красиво

пела «Очи черные». Гитаристы не менее красиво аккомпанировали ей. И сама-то девица очень даже красивая, на красивых копытцах, в красивых штанах... Однако стражник спокойно смотрел на нее — почему-то не волновался. Он даже снисходительно улыбался в усы.

— Хлеб да соль! — сказал Иван, подходя к тем, которые выпивали.

Его оглядели с ног до головы... И отвернулись.

— Что же с собой не приглашаете? — жестко спросил Иван.

Его опять оглядели.

— А что ты за князь такой? — спросил один, тучный, с большими рогами.

— Я князь такой, что если счас понесу вас по кочкам, то от вас клочья полетят. Стать!

Черти изумились... Смотрели на Ивана.

— Я кому сказал?! — Иван дал ногой по бутылкам.— Стать!!!

Тучный вскочил и полез было на Ивана, но его подхватили свои и оттащили в сторону. Перед Иваном появился некто изящный, среднего возраста, в очках.

— В чем дело, дружок? — заговорил он, беря Ивана под руку.— Чего мы шумим? М-м? У нас где-нибудь бо-бо? Или что? Или настроение испорчено? Что надо?

— Надо справку,— зло сказал Иван.

К ним еще подошли черти... Образовался такой кружок, в центре которого стоял злой Иван.

— Продолжайте,— крикнул изящный музыкантам и девице.— Ваня, какую справку надо? О чем?

— Что я — умный.

Черти переглянулись... Быстро и непонятно переговорили между собой.

— Шизо,— сказал один.— Или авантюрист.

— Не похоже,— возразил другой.— Куда-нибудь оформляется. Всего одну справку надо?

— Одну.

— А какую справку, Ваня? Они разные бывают... Бывает — характеристика, аттестат... Есть о наличии, есть об отсутствии, есть «в том, что», есть «так как», есть «в виду того, что», а есть «вместе с тем, что» — разные, понимаешь? Какую именно, тебе сказали, принести?

— Что я умный.

— Не понимаю... Диплом, что ли?

— Справку.

— Но их сотни, справок! Есть «в связи с тем, что», есть «несмотря на то, что», есть...

— Понесу ведь по кочкам,— сказал Иван с угрозой.— Тошно будет. Или спою «Отче наш».

— Спокойно, Ваня, спокойно,— занервничал изящный черт.— Зачем подымать волну? Мы можем сделать любую справку, надо только понять — какую? Мы тебе сделаем...

— Мне липовая справка не нужна,— твердо сказал Иван,— мне нужна такая, какие выдает Мудрец.

Тут черти загалдели все разом.

— Ему нужна только такая, какие выдает Мудрец.

— О-о!..

— Липовая его не устраивает... Ах, какая неподкупная душа! Какой Анжелико!

— Какой митрополит! — он нам споет «Отче наш». А «сухой бы я корочкой питалась» ты нам споешь?

— Ша, черти! Ша... Я хочу знать: как это он понесет нас по кочкам? Он же берет нас на арапа! То ж элементарный арапинизм! Что значит, что этот пошехонец понесет нас?

Подошли еще черти. Ивана окружили со всех сторон. И все глядели и размахивали руками.

— Он опрокинул коньяк!..

— Это хамство! Что значит, что он понесет нас по кочкам? Что это значит? Это шантаж?

— Кубок «Большого орла» ему!

— Тумаков ему! Тумаков!..

Дело могло обернуться плохо; Ивана теснили.

— Ша, черти! Ша! — крикнул Иван. И поднял руку.— Ша, черти! Есть предложение!..

— Ша, братцы,— сказал изящный черт.— Есть предложение. Выслушаем предложение.

Иван, изящный черт и еще несколько чертей отошли в сторонку и стали совещаться. Иван что-то вполголоса говорил им, посматривал в сторону стражника. И другие тоже посматривали туда же.

Перед стражником по-прежнему «несли вахту» девица и музыканты: девица пела теперь ироническую песенку «Разве ты мужчина!» Она пела и пританцовывала.

— Я не очень уверен,— сказал изящный черт.— Но... А?

— Это надо проверить,— заговорили и другие.— Это не лишено смысла.

— Да, это надо проверить. Это не лишено смысла.

— Мы это проверим,— сказал изящный черт своему помощнику.— Это не лишено смысла. Если этот номер у нас проходит, мы посылаем с Иваном нашего черта, и он делает так, что Мудрец принимает Ивана. К нему очень трудно попасть.

— Но без обмана! — сказал Иван.— Если Мудрец меня не принимает, я вот этими вот руками... беру вашего черта...

— Ша, Иван,— сказал изящный черт.— Не надо лишних слов. Все будет о'кей. Маэстро, что нужно? — спросил он своего помощника.

— Анкетные данные стражника,— сказал тот.— Где родился, кто родители... И еще одна консультация Ивана.

— Картотека,— кратко сказал изящный.

Два черта побежали куда-то, а изящный обнял Ивана и стал ходить с ним туда-сюда, что-то негромко рассказывал.

Прибежали с данными. Один доложил:

— Из Сибири. Родители — крестьяне.

Изящный черт, Иван и маэстро посовещались накоротке.

— Да? — спросил изящный.

— Как штык,— ответил Иван.— Чтоб мне сдохнуть!

— Маэстро?..

— Через... две с половиной минуты,— ответил маэстро, поглядев на часы.

— Приступайте,— сказал изящный.

Маэстро и с ним шестеро чертей — три мужского пола и три женского — сели неподалеку с инструментами и стали сыгрываться. Вот они сыгрались... Маэстро кивнул головой, и шестеро грянули:

По диким степям Забайкалья,
Где золото роют в горах,
Бродяга, судьбу проклиная,
Тащился с сумой на плечах.

Здесь надо остановить повествование и, сколь возможно, погрузиться в мир песни. Это был прекрасный мир, сердечный и грустный. Звуки песни, негромкие, но сразу какие-то мощные, чистые, ударили в самую душу. Весь шабаш отодвинулся далеко-далеко; черти, особенно те, которые пели, сделались вдруг прекрасными существами, умными, добрыми, показалось вдруг, что

смысл истинного их существования не в шабаше и безобразиях, а в ином — в любви, в сострадании.

Бродяга к Байкалу подходит,
Рыбачью он лодку берет,
Унылую песню заводит —
О родине что-то поет.

Ах, как они пели!.. Как они, собаки, пели! Стражник прислонил копье к воротам и, замерев, слушал песню. Глаза его наполнились слезами; он как-то даже ошалел. Может быть, даже перестал понимать, где он и зачем.

Бродяга Байкал переехал —
Навстречу родимая мать.
Ой, здравствуй, о, здравствуй, родная,
Здоров ли отец мой и брат?

Стражник подошел к поющим, сел, склонил голову на руки и стал покачиваться взад-вперед.

— М-мх...— сказал он.

А в пустые ворота пошли черти.

А песня лилась, рвала душу, губила суету и мелочь жизни — звала на простор, на вольную волю.

А черти шли и шли в пустые ворота.

Стражнику поднесли огромную чару... Он, не раздумывая, выпил, трахнул чару о землю, уронил голову на руки и опять сказал:

— М-мх...

Отец твой давно уж в могиле,
Сырою землею зарыт.
А брат твой давно уж в Сибири —
Давно кандалами гремит.

Стражник дал кулаком по колену, поднял голову — лицо в слезах.

— А брат твой давно уж в Сибири —
Давно кандалами гремит,—

сказал он страдальческим голосом.— Жизнь моя, иль ты приснилась мне? Дай «Камаринскую»!.. Пропади все пропадом, гори все синим огнем! Дай вина!

— Нельзя, мужичок, нельзя,— сказал лукавый маэстро.— Ты напьешься и все забудешь.

— Кто?! — заорал стражник. И лапнул маэстро за грудки.— Кто тут меня учить будет?! Ты, козел? Да я тебя... в три узла завяжу, вонючка! Я вас всех понесу по кочкам!..

— Что они так обожают кочки? — удивился изящный черт.— Один собирался нести по кочкам, другой... Какие кочки вы имеете в виду, уважаемый? — спросил он стражника.

— Цыть! — сказал стражник.— «Камаринскую»!

— «Камаринскую»,— велел изящный музыкантам.

— Вина! — рявкнул стражник.

— Вина,— покорно вторил изящный.

— Может, не надо,— заспорил притворяшка маэстро.— Ему же плохо будет.

— Нет, надо! — повысил голос изящный черт.— Ему будет хорошо!

— Друг!..— заревел стражник.— Дай я тебя поцелую! Иди ко мне!..

— Иду! — откликнулся изящный черт.— Счас мы с тобой нарежемся! Мы их всех понесем по кочкам! Мы их всех тут!..

Иван удивленно смотрел на чертей, что крутились вокруг стражника; особенно изумил его изящный черт.

— Ты-то чего раздухарился, эй?— спросил он его.

— Цыть! — рявкнул изящный черт.— А то я тебя так понесу по кочкам, что ты...

— Что, что? — угрожающе переспросил Иван. И поднялся.— Кого ты понесешь по кочкам? Ну-ка, повтори.

— Ты на кого это тут хвост поднимаешь? — тоже угрожающе спросил верзила стражник Ивана.— На моего друга?! Я из тебя лангет сделаю!

— Опять лангет,— сказал Иван, останавливаясь.— Вот дела-то!

— «Камаринскую»! — раскапризничался изящный черт.— Иван нам спляшет. «Камаринскую»! Ваня, давай!

— Пошел к дьяволу! — обозлился Иван.— Сам давай... с другом, вон.

— Тогда я не посылаю с тобой черта,— сказал изящный черт. И внимательно, и злобно посмотрел на Ивана.— Понял? Попадешь ты к Мудрецу!.. Ты к нему никог-да не попадешь.

— Ах, ты харя ты, некрещеная! — задохнулся от возмущения Иван.— Да как же это? Да нешто так можно? Где же стыд-то у тебя? Мы же договорились. Я же такой грех на душу взял — научил вас, как за ворота пройти.

— Последний раз спрашиваю: будешь плясать?

— О, проклятие!..— застонал Иван.— Да что же это такое-то? Да за что же мне муки такие?

— «Камаринскую»! — велел изящный черт. — «Пошехонские страдания».

Музыканты-черти заиграли «Камаринскую». И Иван пошел, опустив руки, пошел себе кругом, пошел пристукивать лапоточками. Он плясал и плакал. Плакал и плясал.

— Эх, справочка!..— воскликнул он зло и горько.— Дорого же ты мне достаешься! Уж так дорого, что и не скажешь, как дорого!..

И вот — канцелярия. О, канцелярия! Вот уж канцелярия так канцелярия. Иван бы тут вконец заблудился, если бы не черт. Черт пригодился как нельзя кстати. Долго ходили они по лестницам и коридорам, пока нашли приемную Мудреца.

— Минуточку,— сказал черт, когда вошли в приемную.— Посиди тут... Я скоро.— И куда-то убежал.

Иван огляделся.

В приемной сидела молоденькая секретарша, похожая на библиотекаршу, только эта — другого цвета и зовут Милка. А ту — Галка. Секретарша Милка печатала на машинке и говорила сразу по двум телефонам.

— Ой, ну это ж пшено! — говорила она в одну трубку и улыбалась.

— Помнишь, у Моргуновых: она напялила на себя желтое блестящее платье, копну сена, что ли, символизировала? Да о чем тут ломать голову? О чем?

И тут же — в другую, строго:

— Его нету. Не зна... А вы не интонируйте, не интонируйте, я вам пятый раз говорю: его нету. Не знаю.

— Во сколько ты там был? В одиннадцать? Один к одному? Интересно... Она одна была? Она кадрилась к тебе?

— Слушайте, я же ска... А вы не интонируйте, не интонируйте. Не знаю.

Иван вспомнил: их библиотекарша, когда хочет спросить по телефону у своей подруги, у себя ли ее начальник, спрашивает: «Твой бугор в яме?» И он тоже спросил Милку:

— А бугор, когда будет в яме? — Он вдруг что-то разозлился на эту Милку.

Милка мельком глянула на него.

— Что вы хотите? — спросила она.

— Я спрашиваю: когда бу...

— По какому вопросу?

— Нужна справка, что...

— Понедельник, среда, девять тире одиннадцать.

— Мне...— Иван хотел сказать, что ему нужна справка до третьих петухов.

Милка опять отстукала:

— Понедельник, среда, с девяти до одиннадцати. Тупой?

— Это пшено,— сказал Иван. И встал и вольно прошелся по приемной.— Я бы даже сказал — компот. Как говорит наша Галка: «собачья радость на двух», «смесь козла с «грюндиком». Я спрашиваю глобально: ты невеста? И сам отвечаю: невеста. Один к одному.— Иван все больше накалялся.— Но у тебя же — посмотри на себя — у тебя же нет румянца во всю щеку. Какая же ты невеста? Ты вот спроси у меня — я вечный жених — спроси: появилась у меня охота жениться? Ну-ка, спроси.

— Появилась охота?

— Нет,— твердо сказал Иван.

Милка засмеялась и захлопала в ладоши.

— Ой, а еще? — попросила она.— Еще что-нибудь. Ну, пожалуйста.

Иван не понял, что «еще»?

— Еще покажите что-нибудь.

— А-а,— догадался Иван,— ты решила, что я — шут гороховый. Что я — так себе, Ванек в лапоточках... Тупой, как ты говоришь. Так вот знай: я мудрее всех вас... глужбе, народнее. Я выражаю чаяния, а вы что выражаете? Ни хрена не выражаете! Сороки. Вы пустые, как... Во мне суть есть, а в вас и этого нету. Одни танцы-шманцы на уме. А ты даже говорить толком со мной не желаешь. Я вот как осержусь, как возьму дубину!..

Милка опять громко засмеялась.

— Ой, как интересно! А еще, а?

— Худо будет! — закричал Иван.— Ой, худо будет!.. Лучше вы меня не гневите, не гневите лучше!..

Тут в приемную влетел черт и увидел. что Иван орет на девицу.

— Тю, тю, тю,— испуганно затараторил черт и стал теснить Ивана в угол.— Чего это тут такое? Кто это нам разрешил выступать?.. А-я-я-я-яй! Отойти никуда нельзя. Предисловий начитался,— пояснил он девице «выступление» Ивана.— Сиди тихо, счас нас примут. Счас они придут... Я там договорился: нас примут в первую очередь.

Только черт сказал так, в приемную вихрем ворвался

некто маленький, беленький — сам Мудрец, как понял Иван.

— Чушь, чушь, чушь,— быстро сказал он на ходу.— Василиса никогда на Дону не была.

Черт почтительно склонил голову.

— Проходите,— сказал Мудрец, ни к кому отдельно не обращаясь. И исчез в кабинете.

— Пошли,— подтолкнул черт Ивана.— Не вздумай только вылететь со своими предисловиями... Поддакивай, и все.

Мудрец бегал по кабинету. Он, что называется, рвал и метал.

— Откуда?! Откуда они это взяли?! — вопрошал он кого-то и поднимал руки кверху.— Откуда?!

— Чего ты расстроился, батя? — спросил Иван участливо.

Мудрец остановился перед посетителями, Иваном и чертом.

— Ну? — спросил он сурово и непонятно.— Облапошили Ивана?

— Почему вы так сразу ставите вопрос?..— увертливо заговорил черт.— Мы, собственно, давно хотели...

— Что вы? Что вам надо в монастыре? Ваша цель?

— Разрушение примитива,— твердо сказал черт.

Мудрец погрозил ему пальцем.

— Озоруете! А теоретически не готовы.

— Нет, ну серьезно...— заулыбался черт на стариковскую нестрашную угрозу.— Ну тошно же смотреть. Одни рясы чего стоят!

— Что им, в полупендриках ваших ходить?

— Зачем в полупендриках? Никто к этому не призывает. Но, положа руку на сердце: неужели не ясно, что они безнадежно отстали? Вы скажете — мода. А я скажу: да, мода! Ведь если мировые тела совершают свой круг по орбите, то они, строго говоря, не совсем его совершают.

— Тут, очевидно, следует говорить не о моде,— заговорил старик важно и взволнованно,— а о возможном положительном влиянии крайне бесовских тенденций на некоторые устоявшиеся нормы морали...

— Конечно! — воскликнул черт, глядя на Мудреца влюбленными глазами.— Конечно, о возможном положительном влиянии...

— Всякое явление,— продолжал старик,— заключает в себе две функции: моторную и тормозную. Все дело в том, какая функция в данный момент больше раздражается: моторная или тормозная. Если раздражитель извне попал на моторную функцию — все явление подпрыгивает и продвигается вперед; если раздражитель попал на тормозную — все явление, что называется, съеживается и отползает в глубь себя.— Мудрец посмотрел на черта и на Ивана.— Обычно этого не понимают...

— Почему, это же так понятно,— сказал черт.

— Я все время твержу,— продолжал Мудрец,— что необходимо учитывать наличие вот этих двух функций. Учитывайте функции, учитывайте функции! Всякое явление, если можно так выразиться, о двух головах: одна говорит «да», другая говорит «нет».

— Я видел явление о трех головах...— вякнул было Иван, но на него не обратили внимания.

— Ударим одну голову, услышим — «да», ударим другую, услышим — «нет».— Старик Мудрец стремительно вскинул руку, нацелился пальцем в черта.— Какую ударили вы?

— Мы ударили, которая сказала «да»,— не колеблясь ответил черт.

Старик опустил руку.

— Исходя из потенциальных возможностей данных голов, данного явления, голова, которая говорит «да»,— крепче. Следует ожидать, что все явление подпрыгнет и продвинется вперед. Идите. И — с теорией, с теорией мне!..— Старик опять погрозил пальцем черту.— Манкируете! Смотрите! Распушу!.. Ох, распушу!

Черт, мелко кивая головой, улыбаясь, пятился и пятился к выходу... Задом открыл дверь и так, с подкупающей улыбкой на мордочке, исчез.

Иван же, как стоял, так упал на колени перед Мудрецом.

— Батя,— взмолился он,— ведь на мне грех-то: я научил чертей, как пройти в монастырь...

— Ну?.. Встань-ка, встань — я не люблю этого. Встань,— велел Мудрец.

Иван встал.

— Ну? И как же ты их научил? — с улыбкой спросил старик.

— Я подсказал, чтоб они спели родную песню стражника... Они там мельтешили перед ним — он держался

пока, а я говорю: «Вы родную его запойте, родную его...» Они и запели...

— Какую же они запели?

— «По диким степям Забайкалья».

Старик засмеялся.

— Ах, шельмы! — воскликнул он.— И хорошо запели?

— Так запели, так сладко запели, что у меня у самого горло перехватило.

— А ты петь умеешь? — быстро спросил Мудрец.

— Ну, как умею?.. Так...

— А плясать?

— А зачем? — насторожился Иван.

— Ну-ка...— заволновался старичок,— вот чего! Поедем-ка мы в одно место. Ах, Ваня!.. Устаю, дружок, так устаю,— боюсь, упаду когда-нибудь и не встану. Не от напряжения упаду, заметь, от мыслей.

Тут вошла секретарша Милка. С бумагой.

— Сообщают: вулкан «Дзидра» готов к извержению,— доложила она.

— Ага! — воскликнул старичок и пробежался по кабинету.— Что? Толчки?

— Толчки. Температура в кратере... Гул.

— Пойдем от аналогии с беременной женщиной,— подстегнул свои мысли старичок.— Толчки... Есть толчки? Есть. Температура в кратере... Общая возбудимость беременной женщины, болтливость ее — это не что иное, как температура в кратере. Есть? Гул, гул...— Старичок осадил мысли, нацелился пальцем в Милку.— А что такое гул?

Милка не знала.

— Что такое гул? — Старичок нацелился в Ивана.

— Гул?..— Иван засмеялся.— Это смотря какой гул... Допустим, гул сделает Илья Муромец — это одно, а сделает гул Бедная Лиза — это...

— Вульгартеория,— прервал старичок Ивана.— Гул — это сотрясение воздуха.

— А знаешь, как от Ильи сотрясается! — воскликнул Иван.— Стекла дребезжат!

— Распушу! — рявкнул старичок. Иван смолк.— Гул — это не только механическое сотрясение, это также... утробное. Есть гул, который человеческое ухо не может воспринять...

— Ухо-то не может воспринять, а...— не утерпел опять Иван, но старичок вперил в него строгий взор.

— Ну что тебя — распушить?

— Не надо,— попросил Иван,— больше не буду.

— Продолжим. Все три признака великой аналогии — налицо. Резюме? Резюме: пускай извергается.— Старичок выстрелил пальчиком в секретаршу.— Так и запишите.

Секретарша Милка так и записала. И ушла.

— Устаю, Ваня, дружок,— продолжал старичок свою тему, как если бы он и не прерывался.— Так устаю, что иногда кажется: все!.. больше не смогу наложить ни одной резолюции. Нет, наступает момент и опять накладываю. По семьсот, по восемьсот резолюций в сутки. Вот и захочется иной раз...— Старичок тонко, блудливо засмеялся.— Захочется иной раз пощипать... травки пощипать, ягодки... черт те что!.. И, знаешь ли, принимаю решение... восемьсот первое: перекур! Есть тут одна такая... царевна Несмеяна, вот мы счас и нагрянем к ней.

Опять вошла секретарша Милка.

— Сиамский кот Тишка прыгнул с восьмого этажа.

— Разбился?

— Разбился.

Старичок подумал...

— Запишите,— велел он.— Кот Тимофей не утерпел.

— Все? — спросила секретарша.

— Все. Какая по счету резолюция на сегодня?

— Семьсот сорок восьмая.

— Перекур.

Секретарша Милка кивнула головой. И вышла.

— К царевне, дружок? — воскликнул освобожденный Мудрец.— Сейчас мы ее рассмешим! Мы ее распотешим, Ваня. Грех, грех, конечно, грех... А?

— Я ничего. До третьих петухов-то успеем? Мне еще идти сколько.

— Успеем! Грех, говоришь? Конечно, конечно, грех. Не положено, да? Грех, да?

— Я не про тот грех... Чертей, мол, в монастырь пустили — вот грех-то.

Старичок значительно подумал.

— Чертей-то?.. Да,— сказал он непонятно.— Все не так просто, дружок, все, милый мой, очень и очень непросто. А кот-то...а? Сиамский-то. С восьмого этажа! Поехали!

Несмеяна тихо зверела от скуки.

Сперва она лежала просто так... Лежала, лежала и взвыла.

— Повешусь! — заявила она.

Были тут еще какие-то молодые люди, парни и девушки. Им тоже было скучно. Лежали в купальных костюмах среди фикусов под кварцевыми лампами — загорали. И всем было страшно скучно.

— Повешу-усь! — закричала Несмеяна.— Не могу больше!

Молодые люди выключили транзисторы.

— Ну, пусть,— сказал один.— А что?

— Принеси веревку,— попросила его.

Этот, которого попросили, полежал, полежал... Сел.

— А потом — стремянку? — сказал он.— А потом — крюк искать? Я лучше пойду ей по морде дам.

— Не надо,— сказали.— Пусть вешается,— может, интересно будет.

Одна девица встала и принесла веревку. А парень принес стремянку и поставил ее под крюк, на котором висела люстра.

— Люстру сними пока,— посоветовали.

— Сам снимай! — огрызнулся парень.

Тогда тот, который посоветовал снять люстру, встал и полез на стремянку — снимать люстру. Мало-помалу задвигались... Дело появилось.

— Веревку-то надо намылить.

— Да, веревку намыливают... Где мыло?

Пошли искать мыло.

— Есть мыло?

— Хозяйственное... Ничего?

— Какая разница! Держи веревку. Не оборвется?

— Сколько в тебе, Алка? — Алка — это и есть Несмеяна.— Сколько весишь?

— Восемьдесят.

— Выдержит. Намыливай.

Намылили веревку, сделали петлю, привязали конец к крюку... Слезли со стремянки...

— Давай, Алка.

Алка-Несмеяна вяло поднялась... Зевнула и полезла на стремянку. Влезла...

— Скажи последнее слово,— попросил кто-то.

— Ой, только не надо! — запротестовали все остальные.

— Не надо, Алка, не говори.

— Этого только не хватает!

— Умоляю, Алка!.. Не надо слов. Лучше спой.

— Ни петь, ни говорить я не собираюсь,— сказала Алка.

— Умница! Давай.

Алка надела на шею петлю... постояла.

— Стремянку потом ногой толкни.

Но Алка вдруг села на стремянку и опять взвыла:

— Тоже скучно-о!..— не то пропела она, не то заплакала.— Не смешно-о!

С ней согласились.

— Действительно...

— Ничего нового: было-перебыло.

— К тому же — патология.

— Натурализм.

И тут-то вошли Мудрец с Иваном.

— Вот, изволь,— бодренько заговорил старичок, хихикая и потирая руки,— дуреют от скуки. Ну-с, молодые люди!... Разумеется, все средства испробованы, а как избавиться от скуки — такого средства нет. Так ведь? А, Несмеянушка?

— Ты прошлый раз обещал что-нибудь придумать,— капризно сказала Несмеяна со стремянки.

— А я и придумал! — воскликнул старичок весело.— Я обещал, я и придумал. Вы, господа хорошие, в поисках так называемого веселья совсем забыли о народе. А ведь народ не скучал! Народ смеялся!.. Умел смеяться. Бывали в истории моменты, когда народ прогонял со своей земли целые полчища — и только смехом. Полчища окружали со всех сторон крепостные стены, а за стенами вдруг раздавался могучий смех... Враги терялись и отходили. Надо знать историю, милые люди... А то мы... слишком уж остроумные, интеллектуальные... а родной истории не знаем. А, Несмеянушка?

— Что ты придумал? — спросила Несмеяна.

— Что я придумал? Я взял и обратился к народу! — не без пафоса сказал старичок.— К народу, к народу, голубушка. Что мы споем, Ваня?

— Да мне как-то неловко: они нагишом все...— сказал Иван.— Пусть хоть оденутся, что ли.

Молодые безразлично промолчали, а старичок похихикал снисходительно — показал, что он тоже не в во-

сторге от этих средневековых представлений Ивана о стыдливости.

— Ваня, это... ну, скажем так: не нашего ума дело. Наше дело — петь и плясать. Верно? Балалайку!

Принесли балалайку.

Иван взял ее. Потренькал, потинькал — подстроил... Вышел за дверь... И вдруг влетел в комнату — чуть не со свистом и с гиканьем — с частушкой.

Эх, милка моя,
Шевелилка моя;
Сама ходит, шевелит...

— О-о!..— застонали молодые и Несмеяна,— не надо! Ну, пожалуйста... Не надо, Ваня.

— Так,— сказал старичок.— На языке офеней это называется — не прохонжé. Двинем резерв. Перепляс!.. Ваня, пли!

— Пошел к чертовой матери! — рассердился Иван.— Что я тебе — Петрушка? Ты же видишь, им не смешно! И мне тоже не смешно.

— А справка? — зловеще спросил старичок.— А? Справка-то... Ее ведь надо заработать.

— Ну вот, сразу — в кусты. Как же так, батя?

— А как же! Мы же договорились.

— Но им же не смешно! Было бы хоть смешно, ей-богу, но так-то... Ну стыдно же, ну.

— Не мучай человека,— сказала Несмеяна старичку.

— Давай справку,— стал нервничать Иван.— И так проваландались сколько. Я же не успею. Первые петухи-то когда ишо пропели!.. Вот-вот вторые грянут, а до третьих надо успеть. А мне ишо идти да идти.

Но старичок решил все же развеселить молодежь. И пустился он на очень и очень постыдный выверт — решил сделать Ивана посмешищем: так охота ему стало угодить своей «царевне», так невтерпеж сделалось старому греховоднику. К тому же и досада его взяла, что никак не может рассмешить этих скучающих баранов.

— Справку? — спросил он с дурашливым недоумением.— Какую справку?

— Здрасте! — воскликнул Иван.— Я же говорил...

— Я забыл, повтори.

— Что я умный.

— А! — «вспомнил» старичок, все стараясь вовлечь в нехорошую игру и молодежь тоже.— Тебе нужна справ-

ка, что ты умный. Я вспомнил. Но как же я могу дать такую справку? А?

— У тебя же есть печать...

— Да печать-то есть... Но я же не знаю: умный ты или нет. Я, допустим, дам тебе справку, что ты умный, а ты — дурак дураком. Что это будет? Это будет подлог. Я не могу пойти на это. Ответь мне прежде на три вопроса, ответишь — дам тебе справку, не ответишь — не обессудь.

— Давай,— с неохотой сказал Иван.— Во всех предисловиях писано, что я вовсе не дурак.

— Предисловия пишут... Знаешь, кто предисловия пишет?

— Это что, первый вопрос?

— Нет, нет. Это еще не вопрос. Это так... Вопрос вот какой: что сказал Адам, когда бог вынул у него ребро и сотворил Еву? Что сказал при этом Адам? — Старичок искоса лукаво поглядел на свою «царевну» и на других молодых: поинтересовался, как приняли эту его затею с экзаменом. Сам он был доволен.— Ну?.. Что же сказал Адам?

— Не смешно,— сказала Несмеяна.— Тупо. Плоско.

— Самодеятельность какая-то,— сказали и другие.

— Идиотизм. Что он сказал? «Сам сотворил, сам и живи с ней»?

Старичок угодливо засмеялся и выстрелил пальчиком в молодого человека, который так сострил.

— Очень близко!.. Очень!

— Мог бы и поостроумнее сказать.

— Минуточку! Минуточку!..— суетился старичок.— Самое интересное, как ответит Иван! Ваня, что сказал Адам?

— А можно я тоже задам вопрос? — в свою очередь спросил Иван.— Потом...

— Нет, сначала ответь: что сказал...

— Нет, пусть он спросит,— закапризничала Несмеяна.— Спроси, Ваня.

— Да что он может спросить? Почем куль овса на базаре?

— Спроси, Ваня. Спроси, Ваня. Ваня, спроси. Спроси, Ва-ня!

— Ну-у, это уже ребячество,— огорчился старичок.— Хорошо, спроси, Ваня.

— Ответь мне, почему у тебя одно лишнее ребро? —

Иван, подражая старичку, нацелился в него пальцем.

— То есть? — опешил тот.

— Нет, нет, не «то есть», а — почему? — заинтересовалась Несмеяна.— И почему ты это скрывал?

— Это уже любопытно,— заинтересовались и другие.— Лишнее ребро? Это же из ряда вон!..

— Так вот вся мудрость-то откуда!

— Ой, как интересно-о!

— Покажите, пожалуйста... Ну, пожалуйста!..

Молодые люди стали окружать старичка.

— Ну, ну, ну,— испугался старичок,— зачем же так? Ну что за шутки? Что, так понравилась мысль дурака, что ли?

Старичка окружали все теснее. Кто-то уже тянулся к его пиджаку, кто-то дергал за штаны — Мудреца вознамерились раздеть без всяких шуток.

— И скрывать, действительно, такое преимущество... Зачем же?

— Подержите-ка пиджак, пиджак подержите!.. О, тут не очень-то их прощупаешь!

— Прекратите! — закричал старичок и начал сопротивляться изо всех сил, но только больше раззадоривал этим.— Немедленно прекратите это безобразие! Это не смешно, понимаете? Это не юмор, это же не юмор! Дурак пошутил, а они... Иван, скажи, что ты пошутил!

— По-моему, я уже нащупал!.. Рубашка мешает,— вовсю шуровал один здоровенный парень.— У него тут еще майка... Нет, теплое белье! Синтетическое. Лечебное. Подержите-ка рубашку...

С Мудреца сняли пиджак, брюки... Сняли рубашку. Старичок предстал в нижнем теплом белье.

— Это безобразие! — кричал он.— Здесь же нет основания для юмора! Когда смешно? Смешно, когда намерения, цель и средства — все искажено! Когда налицо отклонение от нормы!..

Здоровенный парень деликатно похлопал его по круглому животу.

— А это?.. Разве не отклонение?

— Руки прочь! — завопил старичок.— Идиоты! Придурки!.. Никакого представления, что такое смешно!.. Кретины! Лежебоки...

В это время его аккуратненько пощекотали, он громко захохотал и хотел вырваться из окружения, но молодые бычки и телки стояли весьма плотно.

— Почему вы скрывали наличие лишнего ребра?

— Да какое ребро?! Ой, ха-ха-ха!.. Да где? Ха-ха-ха!.. Ой, не могу!.. Это же... ха-ха-ха!.. это же... ха-ха-ха!..

— Дайте ему сказать.

— Это примитив! Это юмор каменного века! Все глупо, начиная с ребра и кончая вашим стремлением... Ха-ха-ха!.. О-о-о!..— И тут старичок пукнул, так это по-старчески, негромко — дал, и сам очень испугался, весь встрепенулся и съежился. А с молодыми началась истерика. Теперь хохотали они, но как! — взахлеб, легли. Несмеяна опасно качалась на стремянке, хотела слезть, но не могла двинуться от смеха. Иван полез и снял ее. И положил рядом с другими — хохотать. Сам же нашел брюки старика, порылся в кармане... И нашел. Печать. И взял ее.

— Вы пока тут занимайтесь,— сказал он,— а мне пора отправляться.

— Зачем же ты всю-то... печать-то? — жалко спросил Мудрец.— Давай, я тебе справку выдам.

— Я сам теперь буду выдавать справки. Всем подряд.— Иван пошел к двери.— Прощайте.

— Это вероломство, Иван,— сказал Мудрец.— Насилие.

— Ничего подобного.— Иван тоже стал в позу.— Насилие — это когда по зубам бьют.

— Я ведь наложу резолюцию! — заявил Мудрец с угрозой.— Наложу ведь — запляшете!

— Слабо, батя! — крикнули из компании молодых.— Клади!

— Возлюбленный мой! — заломила руки в мольбе Несмеяна,— наложи! Колыхни атмосферу!

— Решение! — торжественно объявил Мудрец.— Данный юмор данного коллектива дураков — объявляется тупым! А также несвоевременным и животным, в связи с чем он лишается права выражать собой качество, именуемое в дальнейшем — смех. Точка. Мой так называемый нежданчик считать недействительным.

И грянула вдруг дивная стремительная музыка... И хор. Хор, похоже, поет и движется — приплясывают.

Песенка чертей

Аллилуя — вот,
Три-четыре — вот,

Шуры-муры.
Шуры-муры.
    Аллилуя-а!
    Аллилуя-а!
Мы возьмем с собой в поход
На покладистый народ —
Политуру.
Политуру.
    Аллилуя-а!
    Аллилуя-а!
Наше — вам
С кистенем;
Под забором,
Под плетнем —
Покультурим.
Покультурим.
    Аллилуя-а!
    Аллилуя-а!

Это где же так дивно поют и пляшут? Где так умеют радоваться? Э-э!.. То в монастыре. Черти. Монахов они оттуда всех выгнали, а сами веселятся.

Когда наш Иван пришел к монастырю, была глубокая ночь; над лесом, близко, висела луна.

На воротах стоял теперь черт-стражник. Монахи же облепили забор и смотрели, что делается в монастыре. И там-то как раз шел развеселый бесовский ход: черти шли процессией и пели с приплясом. И песня их далеко разносилась вокруг.

Ивану стало жалко монахов. Но когда он подошел ближе, он увидел: монахи стоят и подергивают плечами в такт чертовой музыке. И ногами тихонько пристукивают. Только несколько — в основном пожилые — сидели в горестных позах на земле и покачивали головами... но вот диковина: хоть и грустно они покачивали, а все же — в такт. Да и сам Иван — постоял маленько и не заметил, как стал тоже подергиваться и притопывать ногой, словно зуд его охватил.

Но вот визг и песнопение смолкли в монастыре — видно, устали черти, передых взяли. Монахи отошли от забора... И тут вдруг вылез из канавы стражник-монах и пошел с пьяных глаз на свое былое место.

— Ну-ка, брысь! — сказал он черту.— Ты как здесь?..

Черт-стражник снисходительно улыбался.

— Иди, иди, дядя, иди проспись. Отойди!

— Эт-то што такое?! — изумился монах.— По какому такому праву? Как ты здесь оказался?

— Иди проспись, потом я тебе объясню твое право. Пшел!

Монах полез было на черта, но тот довольно чувствительно ткнул его пикой.

— Пшел, говорят! Нальют глаза-то и лезут... Не положено подходить! Вон инструкция висит: подходить к воротам не ближе десяти метров.

— Ах ты, харя! — заругался монах.— Ах ты, аборт козлиный!.. Ну, ладно, ладно... Дай, я в себя приду, я тебе покажу инструкцию. Я тебя самого повешу заместо инструкции!

— И выражаться не положено,— строго заметил черт.— А то я тебя быстро определю — там будешь выражаться, сколько влезет. Обзываться он будет! Я те пообзываюсь!.. Иди отсюда, пока я те... Иди отсюда! Бочка пивная. Иди отсюда!

— Агафангел! — позвали монаха.— Отойди... А то наживешь беды. Отойди от греха.

Агафангел, покачиваясь, пошел восвояси. Пошел и загудел:

По диким степям Забайкалья,
Где золото роют в горах,
Бродяга, судьбу проклиная...

Черт-стражник захихикал ему в спину.

— Агафангел...— сказал он, смеясь.— И назовут же! Уж скорей — Агавинус. Или просто — Вермут.

— Што же это, братцы, случилось-то с вами? — спросил Иван, подсаживаясь к монахам.— Выгнали?

— Выгнали,— вздохнул один седобородый.— Да как выгнали! — пиночьями, вот как выгнали. Взашей попросили.

— Беда, беда,— тихо молвил другой.— Вот уж беда так беда: небывалая. Отродясь такой не видывали.

— Надо терпеть,— откликнулся совсем ветхий старичок и слабо высморкался.— Укрепиться и терпеть.

— Да что же терпеть-то?! — воскликнул Иван.— Что терпеть-то? Надо же что-то делать!

— Молодой ты,— урезонили его.— Потому и шумишь. Будешь постарше — не будешь шуметь. Што делать? Што тут сделаешь — вишь, сила какая!

— Это нам за грехи наши.

— За грехи, за грехи... Надо терпеть.

— Будем терпеть.

Иван с силой, зло стукнул кулаком себе по колену. И сказал горько:

— Где была моя голова дурная?! Где она была, тыква?! Я виноватый, братцы, я виноватый!.. Я подкузьмил вам. На мне грех.

— Ну, ну, ну,— стали его успокаивать: — Чего ты? Эка, как тебя ограбастало. Чего ты?

— Эх-а!.. — сокрушался Иван. И даже заплакал.— Сколько же я на душу взял... За один-то поход! Как же мне тяжко!..

— Ну, ну... Не казнись, не надо. Что теперь сделаешь? Надо терпеть, милок.

— Да ну!.. Все терпеть да терпеть!.. Только и умеем — терпеть.

— Што же делать-то? Ничего теперь не сделаешь.

Тут вышел из ворот изящный черт и обратился ко всем.

— Мужички,— сказал он,— есть халтура! Кто хочет заработать?

— Ну? А чего такое? — зашевелились монахи.— Чего надо-то?

—У вас там портреты висят... в несколько рядов...

— Иконы.

— А?

— Святые наши, какие портреты.

— Их надо переписать: они устарели.

Монахи опешили.

— И кого же заместо их писать? — тихо спросил самый старый монах.

— Нас.

Теперь уж все смолкли. И долго молчали.

— Гром небесный,— сказал старик монах.— Вот она, кара-то.

— Ну? — торопил изящный черт.— Есть мастера? Заплатим прилично... Все равно ведь без дела сидите.

— Бей их! — закричал вдруг один монах. И несколько человек вскочило... И кинулись на черта, но тот быстро вбежал в ворота, за стражника. А к стражнику в момент подстроились другие черти и выставили вперед пики. Монахи остановились.

— Какие вы все же... грубые,— сказал им изящный черт из-за частокола.— Невоспитанные. Воспитывать да

воспитывать вас... Дикари. Пошехонь. Ничего, мы за вас теперь возьмемся.

И он ушел. И только он ушел, в глубине монастыря опять грянула музыка... И послышался звонкий перестук копыт по булыжнику — черти били на площади массовую чечетку.

Иван взялся за голову и пошел прочь.

Шел он по лесу, а его все преследовала, догоняла, стегала окаянная музыка, чертячий пляс. Шел Иван и плакал — так горько было на душе, так мерзко.

Сел он на ту же поваленную лесину, на какой сидел прошлый раз.

Сел и задумался.

Сзади подошел медведь и тоже присел.

— Ну, сходил? — спросил он.

— Сходил,— откликнулся Иван.— Лучше бы не ходил...

— Что? Не дали справку?

Иван только рукой махнул, не стал говорить — больно было говорить.

Медведь прислушался к далекой музыке... И все понял без слов.

— Эти...— сказал он.— Все пляшут?

— Где пляшут-то? В монастыре пляшут-то.

— Ох, мать честная! — изумился медведь.— Прошли?

— Прошли.

— Ну, все,— сказал медведь обреченно,— надо уходить. Я так и знал, что пройдут.

Они помолчали.

— Слушай,— заговорил медведь,— ты там ближе к городу... какие условия в цирке?

— Вроде ничего... Я, правда, не шибко знаю, но так, слышно, ничего.

— Как насчет питания, интересно... Сколькиразовое?

— Шут его знает. Хочешь в цирк?

— Ну, а что делать-то? Хочешь не хочешь — пойдешь. Куда больше?

— Да...— вздохнул Иван.— Дела.

— Сильно безобразничают? — спросил медведь, закуривая.— Эти-то.

— А что же... смотреть, что ли, будут?

— Это уж... не для того старались. Погарцуют теперь. Тьфу, в душу мать-то совсем!..— Медведь закашлялся. Долго, с храпом, кашлял.— Еще откажут вот... в цирке-то — собрался. Забракуют. Легкие, как тряпки, стали. Бывало пробку вышибал — с оглоблю толщиной вылетала, а давеча за коровой погнался... кхо, кхо, кхох... с версту пробежал и язык высунул. А там, небось, тяжести надо подымать.

— Там надо на задних лапах ходить,— сказал Иван.

— Зачем? — не понял медведь.

— Да что же ты, не знашь, что ли? Тех и кормят, кто на задних лапах умеет. Любая собака знает...

— Да какой интерес-то?

— Это уж я не знаю.

Медведь задумался. Долго молчал.

— Ну и ну,— сказал.

— У тебя семья-то есть? — поинтересовался Иван.

— Где!..— горько, с отчаянием воскликнул Михайло Иванович.— Разогнал. Напился, начал буянить-то — они все разбежались. Где теперь, сам не знаю.— Он еще помолчал. И вдруг встал и рявкнул: — Ну, курва!.. Напьюсь водки, возьму оглоблю и пойду крушить монастырь!

— Зачем же монастырь-то?

— Они же там!..

— Нет, Михайло Иваныч, не надо. Да ты и не попадешь туда.

Михайло Иваныч сел и трясущимися лапами стал закуривать.

— Ты не пьешь? — спросил.

— Нет.

— Зря,— зло сказал Михайло Иваныч.— Легче становится. Хошь, научу?

— Нет,— решительно сказал Иван.— Я пробовал — она горькая.

— Кто?

— Водка-то.

Михайло Иваныч оглушительно захохотал... И хло́пнул Ивана по плечу.

— Эх, дите ты, дите!.. Чистое дите, ей-богу. А то научу?

— Нет.— Иван поднялся с лесины.— Пойду: время осталось с гулькин нос. Прощай.

— Прощай,— сказал медведь.

И они разошлись в разные стороны.

И пришел Иван к избушке бабы Яги. И хотел уж было мимо протопать, как услышал — зовут:

— Иванушка, а Иванушка!.. Что ж мимо-то?

Оглянулся Иван — никого.

— Да здесь я,— опять голос,— в сортире!

Видит Иван — сортир, а на двери — замок пудовый. А голос-то оттуда, из сортира.

— Кто там? — спросил Иван.

— Да я это, дочка бабы Яги... усатая-то, помнишь?

— Помню, как же. А чего ты там? Кто тебя?

— Выручи меня отсюда, Иванушка... Открой замок. На крылечке, под половиком, ключ, возьми его и открой. Потом расскажу все.

Иван нашел ключ, открыл замок. Усатая дочь бабы Яги выскочила из сортира и стала шипеть и плеваться.

— Вот как нынче с невестами-то!.. Ну, змей!.. Я тебе этого не прощу, я тебе устрою...

— Это Горыныч тебя туда законопатил?

— Горыныч... Тьфу, змей! Ладно, ладно... чердак в кубе, я тебе придумаю гауптвахту, гад.

— За что он тебя? — спросил Иван.

— Спроси у него!.. Воспитывает. Полковника из себя изображает — на гауптвахту посадил. Слова лишнего не скажи! Дубина такая.— Дочка бабы Яги вдруг внимательно посмотрела на Ивана.— Слушай,— сказала она,— хочешь стать моим любовником? А?

Иван оторопел поначалу, но невольно оглядел усатую невесту: усатая-то она усатая, но остальное-то все при ней, и даже больше — и грудь, и все такое. Да и усы-то... это ведь... что значит усы? — темная полоска на губе, какие это, в сущности, усы, это не усы, а так — признак.

— Я что-то не понял...— замялся Иван.— Как-то это до меня... не совсем... не того...

— Ванька, смотри! — раздался вдруг голос Ильи Муромца.— Смотри, Ванька!

— Начинается! — поморщился Иван.— Заванькал.

— Что начинается? — не поняла невеста; она не могла слышать голос Ильи: не положено.— Можно

подумать, что тебе то и дело навязываются в любовницы.

— Да нет...— сказал Иван,— зачем? Я в том смысле, что... значит, это... дело-то такое...

— Чего ты мямлишь-то? Вот мямлит стоит, вот крутит. Да — так да, нет — нет, чего тут крутить-то? Я другого кого-нибудь позову.

— А баба Яга-то?..

— Она в гости улетела. А Горыныч на войне.

— Пошли,— решился Иван.— У меня полчаса есть еще. Побалуемся.

Вошли они в избушку...

Иван скинул лапоточки и вольготно прилег пока на кровать.

— Устал,— сказал он.— Ох, и устал же! Где только не был! И какого я только сраму не повидал и не натерпелся...

— Это тебе не на печке сидеть. Что лучше: салат или яишенку?

— Давай чего-нибудь на скорую руку... Время-то — к свету.

— Успеешь. Лучше мы яишенку, с дороги-то — посытней.— Дочь бабы Яги развела на шестке огонек под таганком, поставила сковородку.

— Пусть пока разогревается... Ну-ка, поцелуй меня — как ты умеешь? — И дочь бабы Яги навалилась на Ивана и стала баловаться и резвиться.— О-о, да ты не умеешь ничего!.. А лапти снял!

— Кто не умеет? — взвился Иван соколом.— Я не умею? Да я тут счас так размахнусь, что ты... Держи руку! Руку держи!.. Да мою руку-то, мою — держи, чтоб не тряслась. Есть? Держи другую, другую держи!.. Держишь?

— Держу! Ну?

— Отпуска-ай,— заорал Иван.

— Погоди, сковородка перекалилась, наверно,— сказала дочь бабы Яги.— Ты смотри, какой ты! А ребеночка сделаешь мне?

— Чего же не сделать? — вовсю раздухарился Иван.— Хоть двух. А сумеешь ты с ним, с ребеночком-то? С имя ведь возни да возни... знаешь сколько!

— Я уже пеленать умею,— похвасталась дочь бабы Яги.— Хошь, покажу? Счас яишенку поставлю... и покажу.

Иван засмеялся.

— Ну, ну...— сказал.

— Счас увидишь.— Дочь бабы Яги поставила на огонь яичницу и подошла к Ивану.— Ложись.

— Зачем я-то?

— Я тебя спеленаю. Ложись.

Иван лег... И дочь бабы Яги стала пеленать его в простыни.

— Холесенький мой,— приговаривала она,— маленький мой... Сынуленька мой. Ну-ка, улыбнись мамочке. Ну-ка, как мы умеем улыбаться?.. Ну-ка?

— У-а-а, у-а-а,— поплакал Иван.— Жратеньки хочу-у, жратеньки хочу-у!..

Дочь бабы Яги засмеялась.— А-а, жратеньки захотели? Жратеньки захотел наш сынуленька... Ну, вот... мы и спеленали нашего маленького. Счас мы ему жратеньки дадим... все дадим. Ну-ка, улыбнись мамочке!

Иван улыбнулся «мамочке».

— Во-от.— Дочь бабы Яги опять пошла в куть.

Когда она ушла, в окно, с улицы,— прямо над кроватью просунулись три головы Горыныча. И замерли, глядя на спеленатого Ивана... И долго молчали. Иван даже зажмурился от жути.

— Утютюсеньки,— ласково сказал Горыныч.— Маленький... Что же ты папе не улыбаешься? Мамочке улыбаешься, а папе не хочешь. Ну-ка, улыбнись... Ну-ка?

— Мне не смешно,— сказал Иван.

— А-а, мы, наверно, того?.. Да, маленький?

— По-моему, да,— признался Иван.

— Мамочка! — позвал Горыныч.— Иди, сыночек обкакался.

Дочь бабы Яги уронила на пол сковородку с яишенкой... Остолбенела. Молчала.

— Ну, что же вы?.. Чего же не радуетесь? Папочка пришел, а вы грустные.— Горыныч улыбался всеми тремя головами.— Не любите папочку? Не любят, наверно, папочку, не любят... Презирают. Тогда папочка будет вас жратеньки. Хавать вас будет папочка... с косточками! — Горыныч перестал улыбаться.— С усами! С какашками! Страсти разыгрались?! — загремел он хором.— Похоть свою чесать вздумали?! Игры затеяли?! Представления?.. Я проглочу весь этот балаган за один раз!..

— Горыныч,— почти безнадежно сказал Иван,— а ведь у меня при себе печать... Я заместо справки целую печать добыл. Эт-то ведь... того... штука! Так что ты не ори тут. Не ори! — Иван от страха, что ли, стал вдруг набирать высоту и крепость в голосе.— Чего ты разорался? Делать нечего? Схавает он... Он, видите ли, жратеньки нас будет! Вон она, печать-то,— глянь! Вон, в штанах. Глянь, если не веришь! Припечатаю на три лба, будешь тогда...

Тут Горыныч усмехнулся и изрыгнул из одной головы огонь, опалил Ивана. Иван смолк... Только еще сказал тихо:

— Не балуйся с огнем. Шуточки у дурака.

Дочь бабы Яги упала перед Горынычем на колени.

— Возлюбленный мой,— заговорила она,— только пойми меня правильно: я же тебе его на завтрак приготовила. Хотела сюрприз сделать. Думаю: прилетит Горыныч, а у меня для него что-то есть вкусненькое... тепленькое, в простынках.

— Вот твари-то! — изумился Иван.— Сожрут и скажут: так надо, так задумано. Во, парочка собралась! Тьфу!.. Жри, прорва! Жри, не тяни время! Проклинаю вас!..

И только Горыныч изготовился хамкнуть Ивана, только открыл свои пасти, в избушку вихрем влетел донской атаман из библиотеки.

— Доигрался, сукин сын?! — закричал он на Ивана.— Доигрался?! Спеленали!

Горыныч весь встрепенулся, вскинул головы...

— Эт-то что еще такое? — зашипел он.

— Пошли на полянку,— сказал ему атаман, вынимая свою неразлучную сабельку.— Там будет способней биться.— Он опять посмотрел на Ивана... Укоризненно сморщился.— Прямо подарок в кулечке. Как же ты так?

— Оплошал, атаман...— Ивану совестно было глядеть на донца.— Маху дал... Выручи, ради Христа.

— Не горюй,— молвил казак.— Не таким оглоедам кровя пускали, а этому-то... Я ему враз их смахну, все три. Пошли. Как тебя? Горыныч? Пошли цапнемся. Ну и уродина!..

— Какой у меня завтрак сегодня! — воскликнул Горыныч.— Из трех блюд. Пошли.

И они пошли биться.

Скоро послышались с полянки тяжелые удары и невнятные возгласы. Битва была жестокая. Земля дрожала.

Иван и дочь бабы Яги ждали.

— А чего это он про три блюда сказал? — спросила дочь бабы Яги.— Он что, не поверил мне?

Иван молчал. Слушал звуки битвы.

— Не поверил,— решила дочь бабы Яги.— Тогда он и меня сожрет: я как десерт пойду.

Иван молчал.

Женщина тоже некоторое время молчала.

— А казак-то!..— льстиво воскликнула она.— Храбрый какой. Как думаешь, кто одолеет?

Иван молчал.

— Я за казака,— продолжала женщина.— А ты за кого?

— О-о,— застонал Иван.— Помру. От разрыва сердца.

— Что, плохо? — участливо спросила женщина.— Давай я распеленаю тебя.— И она подошла было, чтобы распеленать Ивана, но остановилась и задумалась.— Нет, подождем пока... Черт их знает, как там у них? Подождем.

— Убей меня! — взмолился Иван.— Проткни ножом... Не вынесу я этой муки.

— Подождем, подождем,— трезво молвила женщина.— Не будем пороть горячку, тут важно не ошибиться.

В это время на поляне сделалось тихо. Иван и дочь бабы Яги замерли в ожидании...

Вошел, пошатываясь, атаман.

— Здоровый бугай,— сказал он.— Насилу одолел... А где эта... А-а, вот она, краля! Ну, чего будем делать? Вслед за дружком отправить тебя, гадину?

— Тю, тю, тю,— замахала руками дочь бабы Яги.— О, мне эти казаки! — сразу за горло брать. Ты хоть узнай сперва, что тут было-то!

— А то я не знаю вас! — Атаман распеленал Ивана и опять повернулся к женщине.— Что же тут было?

— Да ведь он чуть не изнасиловал меня! Такой охальник, такой охальник!.. Заласкаю, говорит, тебя до умопомраченья. И приплод, мол, оставлю: назло Горынычу. Такой боевитый, такой боевитый — так и обжигает!..— И дочь бабы Яги нескромно захихикала.— Прямо огонек!

Атаман удивленно посмотрел на Ивана.

— Иван...

— Слушай ее больше! — воскликнул Иван горько.— И правда бы, убить тебя, да греха на душу брать неохота — и так уж там... невпроворот всякого. Хоть счас бы не крутилась!

— Но какой он ни боевитый,— продолжала женщина, словно не слыша Ивана,— а все же боевитее тебя, казак, я мужчин не встречала.

— А что, тебе так глянутся боевитые? — игриво спросил атаман. И поправил ус.

— Брось! — сказал Иван.— Пропадем. Не слушай ее, змею.

— Да ну, зачем пропадать... Мы ее в плен возьмем.

— Пойдем, атаман: у нас времени вовсе нету. Вот-вот петухи грянут.

— Ты иди,— велел атаман,— а я тебя догоню. Мы тут маленько...

— Нет,— твердо сказал Иван.— С места без тебя не тронусь. Что нам Илья скажет?

— Мх-х,— огорчился казак.— Ну ладно. Ладно... Не будем огорчать Муромца. До другого разочка, краля! Ишь ты, усатая. Ох, схлестнемся мы с тобой когда-нибудь... усы на усы! — Атаман громко засмеялся.— Пошли, Ивашка. Скажи спасибо Илье — он беду-то почуял. А ведь он остерегал тебя, чего не послухал?

— Да вот... вишь мы какие боевитые... Не послухал.

Иван с атаманом ушли.

А дочка бабы Яги долго сидела на лавочке, думала.

— Ну, и кто же я теперь? — спросила она сама себя... И сама же себе ответила: — Вдова не вдова и не мужняя жена. Надо кого-нибудь искать.

В библиотеке Ивана и донца встретили шумно и радостно.

— Слава богу, живы-здоровы.

— Ну, Иван, напужал ты нас! Вот как напужал!..

— Ванюша! — позвала Бедная Лиза.— А, Ванюша!

— Погоди, девка, не егози,— остановил ее Илья,—

дай сперва дело узнать, как сходил-то, Ванька? Добыл справку?

— Целую печать добыл,— вот она.— И Иван отдал печать.

Печать долго с удивлением разглядывали, крутили так, этак... Передавали друг другу. Последним, к кому она попала, был Илья; он тоже долго вертел в огромных пальцах печать... Потом спросил всех:

— Ну, так... А чего с ней делать?

Этого никто не знал.

— И зачем было посылать человека в такую даль? — еще спросил Илья.

И этого тоже теперь никто не знал. Только Бедная Лиза, передовая Бедная Лиза хотела выскочить с ответом:

— Как это ты говоришь, дядя Илья...

— Как я говорю? — жестко перебил ее Муромец.— Я говорю: зачем надо было посылать человека в такую даль? Вот — печать... Что дальше?

Этого и Бедная Лиза не знала.

— Садись, Ванька, на место и сиди,— велел Илья.— А то скоро петухи грянут.

— Нам бы не сидеть, Илья! — вдруг чего-то вскипел Иван.— Не рассиживаться бы нам!..

— А чего же? — удивился Илья.— Ну, спляши тогда. Чего взвился-то? — Илья усмехнулся и внимательно посмотрел на Ивана.— Эка... какой пришел.

— Какой? — все не унимался Иван.— Такой и пришел — кругом виноватый. Посиди тут!..

— Вот и посиди и подумай,— спокойно молвил Илья.

— А пошли на Волгу! — вскинулся и другой путешественник, атаман. Он сгреб с головы шапку и хлопнул ее об пол.— Чего сидеть?! Сарынь!!.

Но не успел он крикнуть свою «сарынь», раздался трубный глас петуха: то ударили третьи.

Все вскочили на свои полки и замерли.

— Шапка-то! — вскрикнул атаман.— Шапку оставил на полу.

— Тихо! — приказал Илья.— Не трогаться! Потом подберем... Счас нельзя.

В это время скрежетнул ключ в дверном замке... Вошла тетя Маша, уборщица. Вошла и стала убираться.

— Шапка какая-то...— увидела она. И подняла шапку.— Что за шапка?.. Чудная какая-то.— Она посмотрела на полки с книгами.— Чья же это?

Персонажи сидели тихо, не двигались... И атаман сидел тихо, никак не показал, что это его шапка.

Тетя Маша положила шапку на стол и продолжала убираться.

Тут и сказке нашей конец.

Будет, может быть, другая ночь... Может быть, тут что-то еще произойдет... Но это будет уже другая сказка. А этой — конец.

● ПОСЛЕСЛОВИЕ

ПУТЬ ВАСИЛИЯ ШУКШИНА

«Если кто-то из литературоведов, однажды предавшись излюбленному занятию своего цеха, станет делить творчество Шукшина на периоды,.. надо иметь при этом в виду, что Шукшин никогда ничего не заключал, он всегда начинал...»

С. Залыгин

Сергей Залыгин прав: «творческие периоды» у Шукшина действительно размыты. Не без сомнений предаюсь я на этот раз «излюбленному занятию своего цеха». Тем более, что вижу трудности и помимо этой.

Трудностей — три.

По моим ощущениям, за первый же год, прошедший после смерти Шукшина, о нем написали больше, чем за все пятнадцать лет его работы — если не по количеству откликов, то по общему объему, а если и не по объему, то уж во всяком случае по «коэффициенту резонанса». Есть судьбы, естественно угасающие, эта пресеклась странно, неожиданно, непоправимо рано; даже и теперь трудно отрешиться от желания как-то скомпенсировать несправедливость этой гибели: тянет писать о том, что Шукшиным завещано, каково его место в нашем теперешнем раздумье о себе, каково его целостное наследство. Обращаясь к разработке эволюции, я попадаю в диссонанс общему тону, я делаю шаг в сторону спокойного методического исследования, которому нужна холодная голова, — я делаю этот шаг не без внутреннего усилия.

Вторая трудность — та самая, о которой писал С. Залыгин: размытость этапов. Случай достаточно редкий в нашей литературной практике, где куда больше ценят звонкие споры с «собой, вчерашним». Типичный современный писатель, творя, словно выкладывается

под скальпель критика: все повороты акцентированы, все периоды пронумерованы. Шукшин другой: ощущение такое, словно он, явившись, сразу же выложил из мешка все свое богатство, и более уже не прибавлял. В ранних его рассказах вы находите сюжетные положения, детали, целые сцены, которые пятнадцать лет спустя, почти без изменений, он переносит в свои последние повести. В «Земляках», поставленных по сценарию Шукшина уже после его смерти, целая сюжетная линия повторяет его дипломную картину 1961 года. У другого художника это носило бы характер курьеза — у Шукшина нет. Ни в одной книге, ни под одним рассказом он не ставит даты: это не важно. И впрямь, важно ли, в каком порядке ему рассказывать: и так, и эдак можно, все уже добыто, все имеется... Какая там эволюция!

И третья трудность: чью, собственно, эволюцию мы исследуем? Героев Шукшина? Но попробуйте-ка уловить это, когда Пашка Колокольников заимствует поступки то у Пашки Холманского, то у Гриньки Малюгина, а этот Гринька — в одноименном рассказе — подвиг совершает, а в романе «Любавины» изуверствует; попробуйте запомнить героев, когда по поводу «Странных людей» Шукшин сетует, что надо бы героя рассказа «Думы» объединить с героем рассказа «Миль пардон, мадам», когда «Владимир Семенович из мягкой секции» отчасти совмещен с бухгалтером из повести «Позови меня в даль светлую», а веселый герой «Печек-лавочек» носит фамилию мрачного самоубийцы из «Суразa»...

По первому впечатлению, книги Шукшина — это пестрый мир самобытнейших, несхожих, самодействующих характеров, но, вдумавшись, видишь, что этот мир зыблется, словно силясь вместить что-то всеобщее, какую-то единую душу, противоречивую и непоследовательную, и вовсе не множество разных типов писал Василий Шукшин, а один психологический тип, вернее, одну судьбу, ту самую, о которой критики говорили неопределенно, но настойчиво: «Шукшинская жизнь».

Так эволюцию ч е г о мы здесь имеем? Эволюцию героя? Сельского жителя, который в 1962 году чинит сломавшийся паром, в 1967 году едет гостить в город, а в 1974 ссорится с вахтером в больнице?

Нет. Мы имеем здесь эволюцию совсем иного рода: духовную эволюцию самого Шукшина. Человека, кото-

рый четырнадцати лет ушел из родной деревни, чтобы не помереть там с голоду в последний военный год.

И полтора десятилетия мотался по жизненным университетам: слесарь, маляр, грузчик, матрос, радист, секретарь сельского райкома комсомола, директор сельской школы, студент ВГИКа...

И в тех же самых кирзовых сапогах пришел в литературное объединение при одном московском журнале:

— Принес рассказы. Прошу прочитать и обсудить их сейчас же!

Так он явился в большую литературу...

«Почему я пишу?..»

...Сотрудник журнала робко спросил:

— Что за спешка?

— Тороплюсь на экзамен! В институт!

«Он как бы стеснялся своей настойчивости», — не без умиления вспоминал позднее Александр Андреев, руководитель литобъединения при журнале «Октябрь» (именно тут разворачиваются описываемые события). Боюсь, что в момент встречи с напористым автором эмоции были не так однозначны, но интерес победил: Андреев взялся за рукопись. Возможно, он не знал, что перед ним человек, уже сыгравший две-три роли в кино. Роли не бог весть какие, но актерской интуиции Шукшину хватило, чтобы «выдать» этюд о человеке из народа, который ужасно спешит приобщиться к высокой словесности. Именно такие люди были позарез нужны тогда журналу «Октябрь»: в литературе шла смена поколений, смена тем, смена авторитетов; кругом шумели бойкие, дерзкие, быстрые городские мальчики; им надо было противопоставить... кого? Человека прочного, уверенного, но — такого же быстрого. Шукшин-актер рассчитал свой этюд точно, а А. Андреев оказался благодарным зрителем: он тотчас прочел рассказы крепкого парня в кирзовых сапогах — и не пожалел об этом. В марте 1961 года журнал напечатал два шукшинских рассказа, в январе и мае 1962 — еще три, а уже в ноябре главный редактор «Октября» Вс. Кочетов на страницах «Комсомольской правды» (тогда регулярно публиковались рапорты редакторов к очередному Всесоюзному совещанию молодых писателей) назвал В. Шукшина

среди перспективных авторов «Октября», успешно противостоящих в нашей молодой прозе «идейной расшатанности и разболтанности» всяческих звездных мальчиков.

Это было первое упоминание о Шукшине в «большой критике».

Надо сказать, что оно вполне соответствовало его первоначальному месту в литературном процессе, хотя, конечно, не «место» красит здесь человека, а настоящий писатель приносит на всякое «место» свой мир.

Мир раннего Шукшина — это сельские шофера, весело и умело делающие свое дело. Это деревенские ребятишки военных лет, голодные, продрогшие, неунывающие: отогрелся на печке, побежал в школу... Это мечтатели с чудинкой: один под балалайку песни поет, другой в драмкружке актерствует, третий вырезает из дерева Степана Разина и плачет над фигуркой... Мир Шукшина — это мир людей, которым хорошо, когда они д о м а.

Кого он не любит?

Нездешних.

Противник номер один — человек с портфелем. Толстый бухгалтер. Бюрократ. Противник номер два — вьюн с гитарой. Противник номер три — умник из студентов. Но это уже нестрашный противник...

Читатель, помнящий «раскладку сил» в нашей молодой прозе начала 60-х годов, согласится: при всем отличии ранних рассказов Шукшина от прозы «исповедальных романтиков» — вряд ли можно сказать, что он воюет с ними специально. Бюрократа с портфелем они ненавидят не меньше его. Вьюн с гитарой и у них отнюдь не всегда ходит в ореоле непризнанного гения — чаще он сопровождает проницательного умника, как бы охраняя его, оттягивая на себя неизбежные попреки в стиляжничестве. Умник — действительно главный герой тогдашней молодой прозы, но вот тонкость: Шукшин относится к умникам не то что с непримиримой враждой, а скорее с превосходством благодушия. Правду сказать, ему до них мало дела, он бесконечно далек от них, он из другого мира.

Из настолько далекого мира, что рано или поздно контраст неизбежно обнаружится. Но не в элементарном противопоставлении типов, а в глубине.

В глубине-то там и теперь пропасть, если вглядеться. Ну вот ходячий сюжет того времени: приезд молодого специалиста в глубинку. Молодые интеллектуалы решают этот сюжет в просветительском духе: пылкий романтик благодетельствует благодарных местных жителей, героически преодолевая их темноту.

Шукшин над таким вариантом смеется. У него бегает по деревне, суетится в сельсовете, произносит речи на берегу трогательная «Леля Селезнева с факультета журналистики» — вдохновляет плотников на ремонт парома. Шукшин замечает: это уже не сельсовет, а факультет какой-то. Его позиция: нечего бегать, нечего командовать: ты — приехала, а мы здесь — дома. И мы эту жизнь лучше знаем. Пришла пора сломаться парому, он и сломался. Нужно время, чтобы его починить? Нужно. А что шофера при этом рыбу удят и козла забивают, вместо того чтобы бегать по берегу и торопить ремонтников,— тоже правильно: им, шоферам, потом ночь напролет зерно возить. Стало быть, делай дело и не прыгай.

Философы сказали бы: здесь философия жизни противопоставляет себя философии рассудочного активизма. Но мы скажем проще: идеал Шукшина — сила и терпение. Именно силе-то молодые интеллектуалы и пытаются противопоставить романтическую веру, а первая их черта — как раз нетерпение, непоседливость, желание во все вмешиваться, всюду наводить справедливость. Таков контраст.

Шукшин явился в литературу представителем опыта, спокойной прочности и устойчивости. На фоне беспокойств неопытного и неустойчивого молодого героя начала 60-х годов это было явление достаточно независимое и чреватое драматизмом. Но драма, повторяю, была впереди.

Драматизм первых шукшинских рассказов носит искусственный, я бы сказал, заемно-литературный характер.

Рабочие разгружают бревна; одно сорвалось, покатилось под откос, а там — на бережку — барышня городская книжку читает. Ленька бросился под бревно, спас барышню. Начинается у них роман. Ленька стесняется: вдруг ей с ним, простым, неинтересно? Встречает ее с городским хлюстом — кулаки налились свинцом... Сдержался. Ушел от неблагодарной. Горько стало...

Чувствуете? Это уж скорее ранний Горький. Точнее, это вариация на его тему. Ученическая вариация: романсовая сентиментальность так и сквозит в этой истории о неоцененном «простом» сердце!

Вот удивительная особенность рассказов Шукшина первой половины 60-х годов: в глубинной, скрытой основе они сентиментальны. Несмотря на старательный аскетизм письма (никаких красот, никаких пышных слов!). Сентиментальны — несмотря на суровую фактуру материала. Эта суровость чувствуется, пока читаешь — срабатывают детали, точно воссозданная обстановка детства: голодная военная зима в сибирской деревне, непосильный труд, пронизывающий холод... Но остается не эта скудость, не тяжесть, не свист вьюги, не голод; остается ощущение Дома и Родства, материнской ласки, неуходящей любви к этой вот тяжкой, голодной поре детства...

Уникальное положение В. Шукшина в нашей литературе начала 60-х годов объясняется именно этим двойным освещением, этим сочетанием суровости и сентиментальности. И вот критики «Нового мира» приветствуют в Шукшине сурового бытописателя, борца с пышнословием. Критики «Октября» лелеют в нем певца душевного здоровья, борца с шатающимися городскими юнцами. Придет время, и критики «Октября» с негодованием обрушатся на Шукшина — он не оправдает их надежд. Что же до лавров «бытописателя», то Шукшин сам отвергнет эти лавры. Пока же перед нами — всеобщий любимец, к тому же еще и удивительно разносторонний: он и актер, и писатель, и режиссер... Говорят, на защите диплома в 1961 году (Шукшин снял фильм по своему сценарию и сыграл одну из главных ролей) его тонко спросили: «Василий Макарович, а музыку к своим фильмам вы тоже будете писать?» — «И буду!» — ответил Шукшин без всякой иронии.

В этом демонстративном нежелании иронизировать, быть может, более всего сказывается то, чем Шукшин оказался наделен в высшей степени,— характер. Способность встать поперек потока. Не в стороне — в сторону часто отходят художники, не выносящие суеты, а именно поперек: со злой, вызывающей непокорностью. Поток в ту пору, надо сказать, именно иронией держался. Нежные романтики защищались смехом, они иронизировали надо всем вокруг, и над собой тоже, веселая

насмешливость была чем-то вроде вида на жительство в молодой литературе...

Встать поперек моды и с полной серьезностью размышлять: «Почему я пишу?.. Почему же так сильно — до боли и беспокойства — охота писать? Вспомнился мой друг Ванька Ермолаев, слесарь. Дожил человек до тридцати лет — не писал. Потом влюбился и стал писать стихи... Итак, хочется, писать...» — нужно было иметь воистину крепкий характер, чтобы возмечтать такое в переменчивом потоке литературного остроумия начала 60-х годов. Старательная борьба Шукшина с «красивостями» («Писать надо так, чтобы слова рвались, как патроны в костре!») — есть, конечно, попытка скомпенсировать ту патетическую серьезность, то сентиментальное прямодушие, которое он чувствует на самом дне своей души и которого боится. Наивная надежда, что можно скрыть, уравновесить эту простодушную доверчивость «суровыми словами», свидетельствует, конечно, о писательской неискушенности Шукшина в ту пору. Не «словами» будет уравновешена и разрешена драма... Но это впереди.

А теперь хочу обратить внимание на следующее: пока в журналах «Октябрь» и «Новый мир» появляются уравновешенно крепкие рассказы Шукшина «из народной жизни» (я беру крайние точки тогдашней литературной прессы, а печатали Шукшина охотно и в других журналах: он был и впрямь всеобщий любимец),— параллельно сценкам, где отважный грузчик спасает неблагодарную городскую барышню, профессор объясняется в любви работяге-заочнику, не успевшему прочесть «Слово о полку Игореве», а деревенская бабуся пишет сыну в город смешную телеграмму на сто слов,— сам Шукшин работает над своим первым романом.

Роман этот — «Любавины» — появился в печати много позднее и интереса не вызвал: после «Даурии», не говоря уже о «Тихом Доне», такая казачья хроника вряд ли могла стать событием в литературе. Но если с точки зрения жанра «Любавины» — вещь вторичная, а в ряде сцен почти ученическая, то она чрезвычайно любопытна с точки зрения развития самого Шукшина. Ведь те самые Колокольниковы, Воеводины и Малюгины, которые в рассказах сборника «Сельские жители» балагурят и поют песни на Чуйском тракте, спасая народное добро,— там, в романе, дерутся насмерть, и эти 400

страниц непрерывных костоломных драк, убийств, насилий, казней, крови и ненависти написаны в ту же пору, тем же самым пером.

Оставалось только ждать, скоро ли отзовется наверху подводная масса айсберга, и долго ли еще будет герой шукшинских рассказов вздыхать над листом бумаги, подобно Ваньке Ермолаеву, который «влюбился и стал писать стихи»,— когда там, в глубине души его, копится такая ярость...

Недолго.

Могу даже указать точную дату, когда прорезался сквозь ровную ткань первых рассказов новый Шукшин, или, лучше теперь сказать, Шукшин настоящий. Это произошло в феврале 1964 года на страницах журнала «Искусство кино».

Я имею в виду рассказ «Критики». Рассказ — поворотный, знаменательнейший рассказ.

Там, где еще недавно сидел у Шукшина мудрый старичок и тихо думал о близящейся смерти, и глядел в голубую даль, умиляя своим спокойствием заезжую городскую интеллектуалку (см. финал книги «Сельские жители»),— там явился старик совсем иного рода. Посмотрел он на экран телевизора, где актер изображал сельского жителя, нашел, что тот топор правильно держать не умеет (а старик этот, надо сказать, проработал всю жизнь плотником и дело знал), так вот: посмотрел он на этот самый голубой экран, а потом стащил с ноги правый сапог, да и шарахнул телевизор вдребезги.

Я догадываюсь, почему рассказ «Критики» появился в журнале «Искусство кино»: прошел в порядке обсуждения качества наших телепередач. Догадываюсь и о том, почему ни в одном литературном журнале той поры ему не нашлось места: больно уж не вязалось все это с тем амплуа «суровой нежности» и «строгой справедливости», на которое Шукшин был прописан в литературе. Какая ж тут справедливость! Ну, осудил бы хулигана, так нет: уводит его милиционер, а внук плачет — жалко дедушку! Ну, если жалко, так и тут будь последователен: раскрой в нем «хорошего человека», голубиную душу... Ан нет: так и пишет — напился пьяный, разбил телевизор, ругался, злобствовал... И именно его жалко...

Все так. Дело совершенно неслыханное, но, как я понимаю, достойное интереса и внимания, ибо поворот

наконец свершился. Шукшин сочувствует неправому. Он встает на сторону героя, который по всем человеческим законам (не говоря уже об административных) загодя кругом неправ...

И это есть та самая загадка, с которой началась в нашей литературе и в кинематографе нашем неповторимая, уникальная, до сих пор нас потрясающая работа зрелого Шукшина.

«Одна нога на берегу, другая в лодке»

Поворотный год — 1964-й: выходит фильм «Живет такой парень», первая режиссерская работа Шукшина. Жизнь его сразу меняется. Полубезработный выпускник ВГИКа, игравший третьи роли в средних фильмах и ютившийся по чужим общежитиям, становится признанным московским режиссером, лауреатом фестивалей, победителем конкурсов. Он оказывается в центре всеобщего читательского внимания. Дело в том, что фильм, построенный на эпизодах уже известных рассказов Шукшина, заставил людей перечитать их. Перечитали рассказы и критики, и былое благодушие вдруг слетело с них...

Впрочем, сначала был триумф: дело в том, что первая картина Шукшина пошла по жанру комедии. Пашку Колокольникова, балагура и весельчака, «развозящего доброту» на своем газике, действительно легко было принять за шута горохового, хотя для Шукшина этот характер был серьезнейшей попыткой (может быть, последней попыткой, почти уже странной на костоломном фоне «Любавиных») утвердить то доверчивое, щедрое, нерасчетливое простодушие, которое сквозило в его первых рассказах. Узнав, что все это не более чем комедия, Шукшин оторопел. Он стал протестовать, объясняться, давать интервью, взывать к критикам, требуя серьезности.

И дозвался: вглядевшись в простоватого шофера, критика вынесла совершенно новый вердикт: она объявила Шукшина... апологетом деревенской темноты. Первый удар последовал из того самого журнала, который еще недавно связывал с Шукшиным такие радужные надежды: в статье «Бой за доброту» Лариса Крячко [1]

---

[1] «Октябрь», 1965, № 3.

обнаружила у Шукшина апологию стихийного начала, абстрактный психологизм и, разумеется, нежелание «идти в ногу со временем».

Конечно, в этих формулах мало изящества и еще меньше точности, но чутье, надо сказать, сработало отлично: в прелестной, полусказочной, лирически-доброй ленте Шукшина Л. Крячко безошибочно уловила «мятеж», уловила едва ли не раньше, чем сам автор отдал себе в этом отчет... Минуло три года, вышло еще три десятка рассказов, вышла книжка «Там, вдали...», вышел фильм «Ваш сын и брат»,— и тогда вокруг Шукшина действительно закипели программные споры, и атаковал его уже отнюдь не только журнал «Октябрь», и было это уже отнюдь не забавное недоразумение.

Ибо и Шукшин уже отдал себе отчет в повороте.

Посмотрим же, каков состав мыслей и эмоций в его творчестве 1964—1969 годов.

Итак, старики. Сельские старики, в которых еще сквозит первоначально так восхищавшая Шукшина невозмутимая мудрость. Но сапог недаром полетел в телевизор: не мудрость, а безумная страсть вдруг возгорелась в шукшинских дедах. Они заполошные, они непримиренные, они все не могут свести счеты с жизнью, и вот «дуреют», и ищут друг друга, чтобы объясниться за старые обиды, и зовут из-под земли умерших, и воюют с внуками, которых все тянет и тянет в этот «вшивый» город.

Внуки — еще более любопытный народ. Тянет их в город, и все тут. Кому они там нужны? Нет, едут, лезут в эту толпу, мыкаются там, простодушные, неумелые, злобные... Один ходил-ходил по аптекам, лекарство для матери искал. Заорал: «Я всех вас ненавижу, гадов!» В этом крике молодого деревенского парня столько же внешней несправедливости, и столько же глубоко внятной Шукшину боли, как в крике старого деревенского деда: «Ирапланов понаделали — дерьма-то!»

Главным пунктом переживаний Шукшина становится обида за деревню. Он все время в рассказах возвращается к этому. Тоскует по родной деревне ответственный городской работник и все собирается туда — да где уж: дела не пускают; другой собрался, да поздно: приехал, а его брат родной не узнает — так исказил человека город.

Непрерывное острое сопоставление города и деревни

делается для Шукшина какой-то навязчивой идеей: и жалко ему деревенских, и больно наблюдать, как пытаются самые лихие деревенские остряки увлечь заезжих модисточек, как насмерть дерется с городскими за девушку герой повести «Там, вдали...», а все без толку: модисточки только посмеиваются и ждут своих студентов, а герой повести хоть и побил всех — все равно ушла женщина к учителю...

Шукшин вовсе не считает сельского жителя лучше — наоборот, он с горечью признает, что тот оказывается в городе дурак дураком. Здесь не защита деревни, а именно обида, боль за нее. Эту праведную обиду и пытается разглядеть Шукшин в смешном и глупом бунте своих героев. Причем эта вот неловкость, всяческая внешняя неправота, неизбежность посмешища — абсолютно необходимый элемент сюжета. Без этого пропадет решающий оттенок: «неоцененность» крестьянской души, оскорбленность героя, уязвленность...

На одном полюсе этого мятежного мира — тихий «чудик», невпопад тыкающийся к людям со своим добром и теряющийся, когда его ненавидят.

На другом полюсе — заводной мужик, захлебывающийся безрасчетной ненавистью, только и мечтающий взлететь над заезжим умником и «скружить» на него сверху: посрамить, унизить, втоптать.

Но это две стороны одной душевной драмы! И тот же Бронька Пупков, неоцененный артист, импровизатор, «травящий» приезжим у костра про то, как он «стрелил в Гитлера», но «промахнулся»,— тот же Бронька, благодарный, что его выслушали, орет с крыльца, засучивая рукава: «Миль пардон, мадам! Изувечу!..» Икону об пол, церковь — бульдозером! И это тот самый наивный мечтатель, простодушный деревенский «чудик», который всех искренне любит и, попадая очередной раз впросак, горько жалуется судьбе: «Да почему же я такой есть-то?.. Что же мне делать?»

Мучительно сводя концы с концами, Шукшин пытается отделить в душе своего героя святость цели от грубости средств. В творчестве Шукшина второй половины 60-х годов обостряется противопоставление двух характеров: мужика-труженика и дикого уголовника, способного на все (и, между прочим, испорченного чаще всего городскими «ресторанами»—рассказ «Охота жить»). В качестве обратной гипотезы пробуется мотив трога-

тельной дружбы двух бывших «зэков», один из которых отломал срок по уголовному делу, а другой — серьезный человек, инженер — был несправедливо посажен за «политику» (рассказ «Начальник»). Эти рассказы не вполне характерны для Шукшина (и не очень удачны, пожалуй) именно потому, что в ходе его поисков они носят характер тактических уступок. Стратегическая же задача состоит в том, чтобы объяснить единую душу, в которой безумье озлобленного «баламута» Ваньки, уходящего в город, чтоб доказать им всем «в профиль и анфас», странно уживается с детской добротой «чудика»...

Логически соединить (или развести) эти концы Шукшин не может (хотя пытается). Лучше всего он делает там, где, доверяя своему таланту, пишет именно то, что знает и чувствует: нелогичную, странную, чудну́ю душу. Тогда гонится Ванька за тестем, бросившим его одного в волчьем лесу: «Дай отметелю!» Ему не надо ни взвешивать вину тестя, ни восстанавливать справедливость, ему надо только одно: облегчить душу, отметелить...

Момент самоутверждения! И вот Петр Ивлев копит деньги на костюм, по ночам вкалывает, наконец покупает... И что же? «Надел. Слегка напустил брюки на хромовые сапоги... и так прошелся по селу. И все. Больше ничего не требовалось — разок пройтись...»

Потом, позднее, в 70-е годы, Шукшин глубоко войдет в драму этой души и задумается о судьбах российского крестьянства: как, когда, почему сломила мужика русская история от вольницы к крепостной неволе и как стремился он из крепости опять на волю, и как вышел, наконец, к необъятной городской культуре, которую, как выяснилось, не так-то просто освоить.

Но к этим раздумьям и Шукшин еще должен выйти. А путь его лежит через неотменимые сетования на то, как обидно в поисках «разумного, доброго, вечного» подниматься мужику и уходить «с земли отцов и дедов».

И еще: надо выдержать критическую бурю, разыгравшуюся вокруг этих признаний.

Статья Ларисы Крячко в «Октябре» оказалась первой ласточкой. Год спустя выходит фильм Шукшина «Ваш сын и брат»; рассказ о приезде Игнахи Байкалова к тяте в село и о страданиях его брата Максима в городе приобретает на экране рельефность вызова; вы-

зов критикой принят: на два года имя Шукшина влетает в обойму «деревенщиков»; обоймой пользуются стрелки самых разных литературных групп: одни обрушиваются на Шукшина за идеализацию села в противовес городу, другие хвалят Шукшина за это же самое: за то, что он нашел в селе «человека» в полном и целостном значении слова [1]. Вырваться за пределы этой логики почти невозможно; спор, как воронка, втягивает все новых участников, и Шукшин, тоже поневоле в него втянувшийся, ощущает полную невозможность объяснить что-либо своим критикам.

Еще сложнее ему на зрительских и читательских конференциях. Записка: «А сами Вы хотели бы сейчас пройтись за плугом?» (это в Научном городке, встреча с режиссером). Отвечает в запальчивости: «А вам хотелось бы сейчас от Ваших атомных котлов — в кузницу?» Смех: а мы за это и не ратуем! Тут-то и сбивается Шукшин: сказать, что он равнодушен к селу и его традициям,— неправда. Сказать, что он влюблен в старину,— тоже неправда... Сказал: «Если бы там была киностудия, я бы опять ушел в деревню». И тут же понял: «Это совсем глупо...»

Заколдованный круг: ненавидит в городских беглое равнодушие и сам стыдится этой ненависти; боготворит город как центр культуры и ненавидит себя, что боготворит; жалеет сельского жителя, что тот нуждается в городской культуре, и ненавидит его за эту нужду и за наивную доверчивость, которую так ценит. Попробуй тут выпутаться из противоречий, когда вся суть — в противоречиях...

Шукшин делает то единственное, что должен сделать в этой ситуации настоящий художник: он выкладывает свое смятение. В статьях «Вопрос самому себе», «Монолог на лестнице», «Нравственность есть правда» (эти статьи В. Шукшина второй половины 60-х годов достойны занять почетное место в истории нашей общественной мысли) замечательно выявлен драматизм души крестьянина, ищущего путей сохранить лицо в

---

[1] Пик этих споров падает на зиму — весну 1968 года; читатель, интересующийся подробностями, может посмотреть дискуссию в «Литературной газете», в частности — статьи Вл. Воронова (13 марта) и В. Кожинова (31 января), где смоделированы крайние точки зрения; их-то я и процитировал выше.

водоворотах атомного века, в них — пронзительная правда шукшинской судьбы, шукшинской жизни: «Так у меня вышло к сорока годам, что я — ни городской до конца, ни деревенский уже. Ужасно неудобное положение. Это даже — не между двух стульев, а скорее так: одна нога на берегу, другая в лодке. И не плыть нельзя, и плыть вроде как страшновато... Но и в этом положении есть свои «плюсы»... От сравнений, от всяческих «оттуда — сюда» и «отсюда — туда» невольно приходят мысли не только о «деревне» и о «городе» — о России».

Заметьте это признание. В ту пору, когда критики ломают копья вокруг «Вашего сына и брата», Шукшин впервые задумывается о синтезе. О России. Он обкладывается исследованиями академиков и начинает писать сочинение из Российской истории. Сценарий фильма о Разине. Роман о Разине.

Видимо, это вообще в характере Шукшина — такое начало исподволь. Так когда-то неожиданно выступили из-за веселых и лиричных «Сельских жителей» кровавые контуры «Любавиных». Так и сейчас из-за череды «зубатящихся» с городскими интеллектуалами остервенелых деревенских чудиков вынеслись где-то в исторической дали веселые разинские струги... Только направление поиска теперь противоположное. Тогда от сентиментального благодушия и спокойной широты — к страстям, к защите особенного, одностороннего, узкокрестьянского; теперь от узкого и одностороннего — к широте. История осмысления Разина — это путь Шукшина от страстной апологии мужицкого заступника и мстителя за всех обиженных и обойденных к мучительному пониманию всеобщей исторической истины, в которой Разинская вольница и Петровская государственность странным образом с двух сторон ведут к одной цели. Шукшину нелегко дается эта интегральная истина: Разина он любит, тишайшего Алексея Михайловича — ненавидит. Признать, что тишайший, умиротворяя, заводя, организуя и учреждая — пусть робко, пусть бездарно, — пытался делать то самое дело, которое рывком завершил великий сын его Петр и, стало быть, в известном смысле Петр и Стенька сделали одно дело: растолкали, добили старую сонную Московию и вывели Россию на путь новой истории, — признать это означало для Шукшина — поистине перешагнуть через самого

себя, через свои страсти, через односторонность своего опыта и своей духовной судьбы.

Широта исторических ассоциаций — первый путь, каким Шукшин на рубеже 70-х годов пытается выйти из «заколдованного круга» своих деревенских печалований. Этот путь ведет и к чисто горизонтальному «панорамированию» жизни в тех повестях, которые Шукшин будет в последние годы писать для театра, и здесь рядом с блестящей панорамой повести «А поутру они проснулись...» явятся плоско-фельетонные «Энергичные люди», а рядом с формально-изощренной, но ординарной по мысли «Точкой зрения» — странная, неровная, причудливая, полная школьных аллегорий, пронизанная глубокой философской болью, потрясающая сказка «До третьих петухов»...

Это все — поиски вширь, пробы жанра, попытки найти совершенно новые образные пути.

Был еще один путь — путь вглубь. Вглубь — на узкой площадке рассказа, где Шукшин уже давно чувствовал себя виртуозом. И если первый путь давал Шукшину возможность выплеска энергии в публицистику, в философию, в историю — второй путь требовал сжать энергию в одну точку. Дойти до сути, до конца, до предела... Этот путь вел Шукшина к той единственной для русского писателя традиционной грани, за которой знаток типа становится властителем дум и чувств своего времени. Только путь к этой черте — Шукшин знал это — требовал всех сил...

Применительно к сугубо писательской технике этот путь требовал вещи совершенно парадоксальной: отказа от виртуозности.

Вообще говоря, такой шаг — в традициях русской классики. На высшей стадии — преодолеть «умелость», профессиональную «сделанность», выйти к «последней правде»: к исповеди Толстого, к дневнику Достоевского, к предельной простоте рассказов Чехова.

Шукшин не сделал и здесь ясного поворота. Но он ощутил импульс: освободиться от беллетристической условности. Он вдруг начал писать простые воспоминания от первого лица. Первые такие записи он еще на всякий случай передоверил некоему Ивану Попову. Потом и этот псевдоним отпал [1].

---

[1] Впрочем, псевдоним ли? — «Попов» — фамилия Шукшина по матери.

Один из таких рассказов из детства Ивана Попова любопытен с психологической точки зрения. Он называется «Самолет»: деревенские пацаны идут учиться в Бийский автомобильный техникум, и городские сверстники их «доводят».

«Наши сундучки не давали им покоя.

— Чяво там, Ваня? Сальса шматок да мядку туясок?.. Гроши-то где запрятали?.. Куркули, в рот вам пароход!» — дрались с ними тогда деревенские без пощады, а обида затаилась...

По составу эмоций эта сценка точнейшим образом повторяет и повесть «Там, вдали...» и «Монолог на лестнице», и многие рассказы, где Шукшин виртуозно балансирует между мстительной обидой на «городских» и смущеньем от своей злости. Там, в виртуозных рассказах, в блестящих статьях Шукшин нигде не решился на то, на что решился в этой автобиографической сценке: впрямую объяснить свою неприязнь — впрямую пожаловаться. И что теперь он на это решился, свидетельствует о знаменательном психологическом сдвиге: он словно освобождается от гнетущей своей памяти, от слишком «личной» обиды — медленно, тяжко, с болью, но все-таки поднимается н а д «личным» — выговаривается.

Эти автобиографические островки появляются редко и на фоне виртуозно-мастеровитой шукшинской прозы выглядят странно. Теперь это действительно проза мастера. У него уже не найдешь ни «солнца в мареве», ни «туманов в разводах»; и простодушных пассажей вроде лирического отступления «Почему я пишу?», поднятого когда-то на смех критиками, он теперь себе не позволяет. Теперь в его отсушенном, графичном, быстром письме работает сложно-выверенная система интонационных балансов: она не дает сокрытой тут страсти вылиться в беззащитный вопль; эмоция зло и остро посверкивает в рассказах, в нужный момент оборачивается шуткой, «байкой», ухмылкой, а потом вдруг снова колет — неожиданно и молниеносно. И в частных интервью второй половины 60-х годов Шукшин выступает уже именно как мастер-виртуоз: он рассказывает о работе над словом, о мере характерности, о тайне сюжетного напряжения...

Должно было и впрямь созреть ощущение бесконечно более важных ценностей, чтобы ради них попы-

таться преодолеть мастерство, предпочтя ему бесхитростный автобиографический этюд; это позже, в самые последние годы произойдет: Шукшин окончательно изберет такой обнаженно-дневниковый тип повествования.

И еще одно знаменательное решение принято на рубеже 70-х годов: Шукшин играет наконец роль в собственном фильме. Он, снявшийся во множестве чужих картин, иногда весьма посредственных, в своих картинах до той поры еще не показывался. Он как бы передоверял свою роль: то Л. Куравлеву, то С. Никоненко, то Е. Лебедеву. Нужна была, наверное, не только поразительная готовность к откровенному рассказу о личном, но и особое ощущение всеобщей важности твоего духовного опыта, чтобы соединить все: и умелость писателя-сценариста, и режиссерское ви́дение вещей, мира, людей, и, наконец, самое глубокое, самое интимное: твое собственное лицо. Он решился.

«Что с нами происходит?»

Его фильмы 70-х годов — фильмы всецело авторские: от сценария до... вот тут уже можно сказать: вплоть до музыки, потому что музыка в них, лейтмотивы их — всегда от какой-нибудь народной песни, Шукшиным найденной, Шукшиным услышанной: «Калина красная, калина вызрела...» Его картины — это полное и безраздельное выявление личности художника; его успех — не просто оценка зрителями профессиональной удачи, но нечто большее: признание духовной судьбы. Профессиональные оценки: призы очередных фестивалей. Но первое место в массовом ежегодном опросе читателей журнала «Советский экран», но море писем, благодарных и возмущенных, исполненных жалости к Егору Прокудину и гнева, что «не дали» ему начать честную жизнь, — весь этот простодушный, трогательный, наивный, святой отклик свидетельствует о том, что задеты душевные струны миллионов людей, — и они отдают Шукшину первенство и как режиссеру, и как исполнителю главной роли, а проще сказать — как человеку, сумевшему выразить всеобще-важный духовный момент.

Семидесятые годы — взлет не только Шукшина-режиссера и актера: Черных («У Озера»), Лопахин («Они

сражались за Родину»); прибавьте эти роли к Ивану Расторгуеву из «Печек-лавочек» и к Егору из «Калины», тут хватит на целую актерскую судьбу...

Семидесятые годы — взлет Шукшина-писателя: двадцать рассказов, вошедших в книжку «Характеры», становятся главным событием в прозе и предметом острейших критических дискуссий.

Причем о «Характерах» спорят не так, как спорили о книге «Там, вдали...» в 1968 году. Тогда Шукшин был фигурой в чужой игре: он был «аргумент» в битве «деревенщиков» и «антидеревенщиков»; его имя прыгало из обоймы в обойму; им дрались. Теперь споры возникают вокруг того неповторимого, что таит в себе сам Шукшин; теперь он диктует тему спора; теперь, наконец, признали критики: Шукшин уже не укладывается в рамки «деревенской прозы» (как будто раньше укладывался!).

Мир Шукшина переменился. Разумеется, и теперь нет громко объявленных поворотов на манер интеллектуальной прозы. По внешним параметрам — верен себе. По-прежнему — знаток полугорода-полудеревни, по-прежнему — эксперт по людям «ближней дороги». Герои позднего Шукшина: сезонник, шофер, сельский почтальон, шабашник; приезжий, переехавший, думающий переезжать; из деревни подался, к городу не прирос, с корня съехал, других корней не пустил... Словом, Шукшин по-прежнему — уникальный специалист по тому невиданному в нашей истории межукладному слою, который появился теперь, в последней трети столетия, в результате невиданных еще социальных сдвигов, потрясших толщу русской деревни. И тип повествования подчас тот же, — «байка», начатая с полуслова, без предисловий и предварений, «с крючка»: «К Андрею Кочуганову приехали гости: женина сестра с мужем...» Только еще посуше, порезче стало письмо, а так — тот же стиль, та же хватка. И все чаще — от первого лица...

Более всего переменилось в акцентах. В подспудной интонации. В конце концов — в системе ценностей. Переменилось в глубине нравственного раздумья — не на поверхности текста.

Улавливаешь прежде всего вот что: социальные адреса близких и далеких героев понемногу перемешиваются. «Линия разлома» идет зигзагами, пунктиром. Печаль за обиженную деревню... не то что пропала, а...

озадачилась неожиданными нюансами. Шукшин 1968 года писал горожан, тоскующих о родном селе, рвущихся обратно и мучающихся невозможностью возврата. Шукшин 1973 года пишет веселенького московского кладовщика, который, хлопнув для храбрости стаканчик, едет на вокзал и там в курилке возле туалета выпытывает у приезжих мужиков деревенские адреса вроде бы для переезда на постоянное жительство, вроде бы для возврата к истокам, и так каждую субботу... Фарс обесцвечивает тут былую патетику; из-под старой шукшинской печали о «пустеющем селе» возникает совершенно новая догадка: кладовщику-то этому, пожалуй, в е з д е «пусто» будет, что в городе, что в деревне. Значит, дело не в «прописке» — в чем-то другом.

В чем?

Поищем от противного?

В одном из предсмертных «больничных» рассказов Шукшин в последний раз назвал своих врагов: «Боюсь чиновников, продавцов и вот таких, как этот горилла... псих с длинными руками, узколобый...»

Рассмотрим эту новую троицу, сначала с точки зрения «социального адреса». «Чиновник». В ранних рассказах Шукшин называл его: бухгалтер. Человек с портфелем. Тогда что было важно? Что он чистенький, бумажный, от металла и земли далекий — ненастоящий. Теперь этот тип может сидеть на самой реальнейшей земле. Как тот трусливый деревенский бухгалтер, который «при ясной луне» пудрит мозги ночной сторожихе и вовсю презирает «деревенских»... А сам-то кто?

«Продавец». Это уже настоящий кошмар последних рассказов Шукшина. Орущая из-за прилавка баба в халате... Нянечка, вахтерша, мелкая «обслуга» — вымогатели полтинников, «торговцы воздухом»... Они ведь тоже без ясного социального адреса: что в городе, что в деревне — равно невыносимые.

Наконец, третий. «Узколобый псих». Дикий уголовник. Губошлеп из «Калины красной». Он какой: городской или деревенский? Любой! То по тайге шатается, то по городским «джунглям», то... в больнице лечится, подлости соседу делает. В последних рассказах Шукшина этот тип возникает, как оборотень, как бес, всякий раз в неожиданном обличье. Ну, вот — анонимный бригадир в «Танцующем Шиве»: спорят два п о н я т н ы х Шукшину человека: один — «чудик», местный «артист», под-

наччик, другой — простодушный Ваня с пудовыми кулаками, но вот бес влезает в этот спор: «Ша!» и сбивает Ваню с ног каким-то подлым, нездешним ударом... Не эти ли бесы окрутили и другого Ваню — Ивана-дурака из «Третьих петухов»? «Безначальная», отключенная от реальности, безликая «субстанция зла», вдруг обретающая на мгновение облик одесского уголовника с руками гориллы и тотчас опять оборачивающаяся почти аллегорическим «бесовством», вторгается в мир рассказов Шукшина именно потому, что старые линии разлома (бухгалтер с портфелем — против работяги с молотком, пустенький студентик — против честного шофера и т. д.) более не работают. Шукшин теперь не столько различает «хороших» и «плохих» людей (как он не без щедрого благодушия делал это в начале 60-х и не без азартного перехлеста в конце 60-х годов), сколько ищет в разных, пестрых, несхожих людях какой-то общий психологический секрет, какую-то объединяющую загадку, присутствие какого-то хитрого «беса», который всех обманул, все характеры исказил, все связи подменил...

Отношение к сельскому жителю, которым Шукшин вначале так гордился, а потом так за него обижался, теперь осложнилось десятками противоречивых нюансов. Оказывается, деревенский человек может быть смешон. Нет, не трогательно забавен, как «чудик» Васятка, а именно глупо, идиотски смешон, как тот «дебил», который, чтобы посрамить учителя, купил дорогую шляпу, а потом «назло» ему черпнул шляпой воды из реки и напился. Оказывается, деревенский человек может быть неправ. Нет, не «обманут», не наивно неосведомлен, как Максим Байкалов, ненавидящий всех московских аптекарей, а именно тяжко, преступно неправ, как Спирька-сураз, который преследовал своими мужскими предложениями жену учителя и не понимал, почему учитель недоволен. Оказывается, деревенский человек может быть зол — не мгновенным срывом отчаяния, как изобретатель вечного двигателя Моня Квасов, а именно тупым, злобным и продуманным остервенением, как «крепкий мужик» Шурыгин, назло односельчанам прущий трактором на церковь...

Нет, определенно перемешались адреса и спутались симпатии в рассказах Шукшина с появлением «бесов»; и вот уже молоденький прокурор Ваганов и «неласковый» мужик Попов, обещавший «прирезать» стерву-же-

пу, согласно страдают из-за «баб»; герои, которые раньше бы, наверное, оказались на полюсах сюжета, теперь роднятся; герои, совершенно, казалось бы, родственные («свояк Сергей Сергеевич»), оказываются противниками... В этой сложной переадресовке симпатий происходят вещи, с точки зрения общепринятой логики художественного текста совершенно невообразимые: ну, скажем, в рассказе «Мечты» некий негодяй несправедливо обвиняет героя-рассказчика, молодого парня, что тот надумал учиться в техникуме, чтобы не работать в колхозе; в рассказе «На кладбище» это же обвинение повествователь от себя бросает студентам, и эти два рассказа — рядом, в одном цикле! («Сибирские огни», 1973, № 11). Такие сюжетные «дубли» все более характерны для позднего Шукшина: пишет рассказ «Ванька Тепляшин», и потом этот же сюжет еще раз от первого лица — в «Кляузе»... Ну, к «Кляузе» мы еще вернемся, а пока попробуем в этой осложнившейся, смешавшейся, раздробившейся «шукшинской жизни» найти новые силовые линии симпатий.

Они есть. Но это именно «силовые линии» — не типологические контрасты прежнего Шукшина, сопоставлявшего одних людей с другими,— теперь это нравственные полюса, по-новому организующие весь дробный мир душ: так рассыпанные железные опилки перестраиваются на бумаге, когда под ней ведут магнит...

Так, стало быть, что за магнит?

Еще раз вспомним нынешних врагов Шукшина. При всей несхожести, при всей неопределенности социального адреса эти трое — чиновник, продавец и «псих узколобый» — имеют ведь что-то общее?

Точно так же, как имели нечто общее и давние его противники: человек с портфелем, человек с гитарой, умник с дипломом. Только не перевернулось ли тут само основание? Те, давние, были ненастоящие, мнимые, все — «трепачи»; и противостояли они настоящей, материальной ощутимости опыта.

Эти же, нынешние,— чувствуете? — они словно «из другой войны». Они все — как раз люди тяжкого, земного, материального устроения. Им как раз ощутимое подавай. И противостоят они теперь — если ставить проекцию — как раз той высокой и совершенно чудаческой, надмирной мечте о духовном, которую ранний Шукшин скорее всего окрестил бы «трепотней». Прода-

вец-то — он же «по определению», так сказать, к вещам привязан, к товару, он этим живет. Бандит, «псих с длинными руками» — это же почти метафора: олицетворение звериной привычки хватать, грести — вещи, предметы, материальные ценности... А чиновник? Вечная мишень россиян — воплощение всей той скучной, невыносимой, бездуховной, «немецкой» оргработы, которую не в силах делать мечтатели, поэты и чудики...

Потому и ненавидит всех троих герой Шукшина, что сам-то — хочет освободиться от всего низменного, необходимого, материального. Освободиться — и зажить по душе...

Каким же это образом?

Простейшим. Например: плюнуть на все материальное. Уволиться? С ходу! Шукшинский герой служит лишь при том условии, когда у него есть хотя бы символическая возможность послать все это подальше и перейти... в соседнюю контору. Иначе он не выдерживает! А то — плюнуть на все накопленное барахло, порубить, пожечь все...

В решающие минуты споров герои Шукшина кричат друг другу: «Куркуль!» Это самое страшное оскорбление: от него кончают с собой. Герой Шукшина готов быть кем угодно... только не куркулем. Не крохобором. Его тянет быть воздушным, независимым от материальности. Это какой-то повальный мор среди героев Шукшина: они ненавидят вещи, они хотят быть духовными.

И тут мы ощущаем в атмосфере «шукшинской жизни» новое и ключевое противоречие: хотят жить как птицы небесные, а живут, погрузившись в цепкую, беспощадную, затягивающую топь материальных интересов. «Видели на улице молодого попа и теперь выяснили, сколько он получает». «Эх, ма... Што ведь и обидно-то... кому дак все в жизни: и образование, и оклад дармовой...» «Ох, и навезли!.. Два платка вот таких — цветастые, с тистями, платье атласное, две скатерки, тоже с тистями...» С восторгом ли, с ненавистью, с горечью или с завистью — шукшинские герои все время говорят о насущном, причем о самом реальном, бытовом, низменном. А покоя все нет! Или тайная мечта об «окладе дармовом», тайная зависть к «устроившимся», или ненависть к ним и презрение к самим себе, что завидуют: «Сидят, курва, чужие деньги считают»... «С тистя-ми»... Шукшинский человек одновременно и боится вынырнуть

из этой хозяйственной деятельности, и ненавидит себя за нее. Он — «как все», он «не хуже других», он «крепкий мужик» и сумеет дать отпор всякому, кто попробует ущемить его интересы. Он сумеет доказать, что «куркуль» — не он, а его обидчик! И он же, этот же человек, мучается, что вколочен в эту свою деятельность, и вообще... послал бы подальше все это «хозяйство», да вот опоры-то другой нет.

И отсюда — тоска смертная. У Шукшина никто не знает, «чего тоска». Но тоскуют! Странно, непонятно, глупо с такой воинственностью оборонять свою маленькую материальную независимость (плюну! уйду!), такую непрошибаемую защиту строить (я, как все!), так бояться унижения (мы тоже люди!) и тут же унижаться демонстративно, почти сладострастно: мы не мыслители, у нас зарплата не та! Мы деревенщина! От нас не зависит! Где нам, дуракам, чай пить, это вы там, в столицах, думаете! Какой классический комплекс неполноценности... И ведь отнюдь не материальный интерес, о котором столько кричат, движет героем, здесь-то он обеспечен, защищен и марку держит. Но он смутно догадывается, что при всей материальной укрепленности его душа заполнена чем-то не тем, чем-то подложным, и потому преследует этого человека вечный страх обмана, и отсюда — его болезненная агрессивность, его мстительный прищур. А причина — все то же: незаполненная полость в душе. И невозможность стерпеть это...

Чем только не заполняет шукшинский человек эту пустоту. Тайно пишет что-нибудь: трактат о государстве... живописное полотно... куплетики для эстрады. Вечный двигатель строит. Смущенно и робко просит выслушать, оценить. Чутко ловит вынужденность, неискренность в похвале. И тогда — «взмывает от ярости» и готов спустить недогадливого ценителя с лестницы, убить, разорвать... Как жить с полостью в душе? Хоть баней заполнить ее, как Алеша Бесконвойный, который — режь его на части! — в субботу колхозных коров пасти не идет, в субботу он для души живет: в баньке парится. Причем это страшно серьезно у шукшинского человека, просто на уровне жизни и смерти! Ведь полез же Генка Пройдисвит с кулаками на дядьку, когда тот объявил, что верит в бога, ведь п л а к а л же перед ним: ну, сознайся, что врешь, что не веришь, что притворяешься! И ведь блажит же Максим-работяга следом за

пьяным попом: «Верую! В авиацию, в химизацию, в механизацию сельского хозяйства, в научную революцию-у!.. Ве-ру-ю-у!!» — только бы не ощущать в душе эту бессмысленную дырку... «Смы-ы-сл?!» — кричит душа. Ну, живешь, ну, жрешь, ну, детей народишь,— а зачем? Обеспечили себя насущным, думали, что стали не хуже людей, а вышло-то, что насущным, низменным душу заполнили, и начинается: «Родиться бы мне ишо разок! А? Пусть это не считается — что прожил...»

Эта заполошная маята шукшинских героев все чаще переходит теперь в его собственную потаенную думу. Она спокойней, в ней есть какая-то обезоруживающая открытость, она — не о том или ином герое, а вообще о людях, обо всех, о нас с вами. «Дядя Ермолай... Стою над могилкой, думаю. И дума моя о нем — простая: вечный был труженик... Только додумать я ее не умею, со всеми своими институтами и книжками. Например: что, был в этом, в их жизни, какой-то большой смысл? В том именно, как они ее прожили. Или не было никакого смысла, а была одна работа, работа... Работали да детей рожали...»

Это не просто боль о крестьянине. Это боль о человеке, кем бы он ни был. «Значит, нужно, что ли, чтобы мы жили?.. А зачем все, зачем? Жить уж, не оглядываться...»

Но не оглядываться невозможно. «Смы-ы-сл?!» — тихо спрашивает Шукшин самого себя. И в том, последнем рассказе, в «Кляузе», последним усилием сдерживаясь: «Что с нами происходит?»

Но об этом последнем рассказе — потом. Пока же — о шукшинских героях. Об этих тоскующих, неистовых, непримиренных людях, которые никак не могут смириться с тем, что обмануто их достоинство. Жжет их этот самообман. И отсюда — постоянное желание шукшинского человека выдумать себе другую жизнь, достойную. Ну, скажем, что он, Ваня Малофейкин, генерал. Или что он, Бронька Пупков, «стрелил» в Гитлера, но промахнулся. Или что он, Санька Журавлев, три дня и три ночи жил в городе с роскошнейшей женщиной... А собеседник, такой же точно шукшинский человек, обязательно не верит, обязательно обличает мечтателя, норовит столкнуть его обратно в яму. И доходят в этой борьбе не то что до азарта — до смертной ненависти. Потому что замешано тут — достоинство. Неудовлет-

воренное достоинство не умеющей осуществиться личности.

Самая уродливая, самая страшная форма заполнения духовной полости — «праздники души». Вдуматься, так ведь и Степан Разин у Шукшина,— в крови топивший сначала персидские города, а потом волжские,— не столько о народном праве думает, сколько о народной душе, которой надо же распрямиться-то, разгуляться хоть разок за все обиды...

А Егор Прокудин, швыряющий пачки банкнот в районном ресторане? Сначала из-за денег — на преступление, потом эти деньги — на ветер... Я могу поверить, что именно такой человек способен, получив от сообщников наволочку, полную сотенных, оклеить ими комнату, как о том рассказал недавно в печати один бывший рецидивист. Глупо? Да! Зато — праздник души... Вы можете сколько угодно и смеяться, и горевать над такого рода душевной организацией (с какою же беспросветностью надо жить, чтобы сделалась нужда в таких вот «праздниках», в таких периодических взрывах-разрядках!), но вы не можете не почувствовать, что и здесь у Шукшина в мучительно искаженной форме дышит, пытается дышать духовное начало. Оно завалено скатертями «с тистями», оно обклеено грязными банкнотами, оно одурманено коньяком из банного ковша — оно вроде бы кругом себя обмануло и все ж таки не смогло до конца обмануть, заморочить, задавить себя. И толкается изнутри обиженная душа, чувствует жажду, а как унять ее — не знает. Только и разгуляться-то ей — в «праздник»: скатерть на пол, пей-гуляй! Или там — если о Егоре Прокудине, о рецидивисте, речь — «магазин подломить», а потом швырнуть все деньги в морду какому-нибудь незнакомому официанту: сегодня я добрый! Какое чудовищное искажение всей душевной структуры, и какая неутолимая жажда: несмотря ни на что — все-таки почувствовать себя не пустым местом, а хоть кем-нибудь!

После выхода «Калины красной» В. Шукшин написал в «Правде»: Егор умер оттого, что понял: ни от людей, ни от себя прощенья ему не будет. Показать самоубийство, признался Шукшин, духу не хватило: облегчил дело сюжетной «нелепостью», мобилизовал бандюжек — застрелили...

Очистим же дело от сюжетной нелепости.

Смысл душевных терзаний человека у позднего Шукшина: невозможность жить, когда душа заполнена «не тем». Это — чистая нравственная максима, независимая (или почти независимая) от «прописки», столь важной Шукшину 60-х годов. Шукшин 60-х годов болел душой за крестьянина. Шукшин 70-х болеет за человека. Тогда он поднялся на защиту близкого себе героя. Теперь он хочет понять каждого. Даже далекого. Даже преступника... Какие силы душевные нужны, чтобы понять каждого! Какое безграничное понимание — чтобы понять... Ну, ладно — Егор Прокудин человек яркий, страстный, в самих ошибках красивый... Но как понять дурака, у которого тоже душа есть и она тоже болит? Дурак (или чаще — «Иван-дурак») — предмет мучительных раздумий Шукшина последних лет. Дурак — это добрый человек в непривычных, чуждых обстоятельствах. Его пожалеть надо... Хорошо: жалко «чудика»; жалко Андрея Ерина, которого жена извела за то, что купил не нужный в хозяйстве микроскоп; жалко Моню Квасова, который изобрел вечный двигатель... А вахтера больничного, который к Ваньке Тепляшину мать не пустил,— не жалко? Он дурак... Так не потому ли он и дурак, что с ним, вместо того, чтобы объясниться по-человечески (или, скажем, так: объясниться с врачом, чтоб пустил мать, и тем самым снять с вахтера ответственность, ибо вахтер-то именно и поставлен: «не пускать»),— вместо этого полез же Ванька с кулаками! Ну-ка, встань в этой ситуации на место вахтера...

Шукшин встал. Попытался встать. Нет, не в рассказе «Ванька Тепляшин» — там-то как раз Шукшин остался верен себе прежнему, и его гордый герой, обозлившись на дурака-вахтера, швырнул им все «в морду» и вообще ушел из больницы; душу спас; обиделся.

Шукшин попытался понять ненавистного себе человека в другом рассказе. В «Кляузе». Он сдублировал сюжет «Ваньки Тепляшина»: та же вахтерша в больнице. Только «Ванька» был типично виртуозный шукшинский текст, полный скрытой игры и блеска. «Кляуза» же — какой-то прямой вопль, почти жалоба, почти кляуза, стыд от которой доверчиво и беззащитно выставлен в заглавии... Да, да, я не подберу другого слова, именно беззащитностью веяло от «Литературной газе-

ты», когда читал я там этот странный текст, смесь сатирического рассказа, обличительной статьи и письма в редакцию.

Ситуация та же: «Не пущу! Ходют тут всякие». Ваня-то Тепляшин, герой вымышленный, что сделал? Взлетел соколом, да и «скружил» на обидчика. Доказал им! Ну, а если «ничего не выдумывая»? Поздний Шукшин — это именно «такие рассказы — невыдуманные...» А если так, то будешь стоять перед этой вахтершей как миленький, злобой изойдешь, стыдом — и никуда не денешься. А убежишь — она тебя все равно потом найдет. На документ спровоцирует. На кляузу. Нет простора, нет свободы, нет ничего «там, вдали»— не убежишь, как Ваня Тепляшин, не ударишься в степь, как Стенька Разин, а будешь стоять тут, в вестибюле больницы, и смотреть в белые от ненависти глаза, да еще и извиняться про себя: ну, нет у меня при себе шоколадки! нет полтинника! поймите, я не умею «давать», это же у-ни-зи-тельно!

Все ненавистное Шукшину слилось в той вахтерше: и тупой бюрократ, и остервенелый продавец, и психопат-насильник.

«Я вдруг почувствовал, что — все, конец...»

Конец: договориться невозможно.

Так невозможно?

Да! Если видеть в ней только тупую дуру, вымещающую на человеке, попавшем в ее власть, все свои обиды на жизнь.

А если и в ней, в этой обезумевшей от злобы вахтерше, попытаться увидеть человека? Вымогает взятку? Да. Почему? — не задумывались? Ей что этот полтинник — экономику выправит? Шоколадкой наестся? Не поверю. Тут другое: взятка, столь безобидная по размеру, носит для нее символический характер. Знак уважения. Точней, «уваженьица», как теперь чаще говорят люди, желающие, чтобы их «заметили». Стоять у дверей швейцаром, цербером, вышибалой, механическим исполнителем инструкции — да где ж сравняться ей, вколоченной в эту совершенно безличную работу, с людьми, которые здесь лечатся, посещают друг друга, беседуют — одним словом, существуют именно как люди? А унизить их! Стащить на свой уровень! Хоть на мгновение, пока он, «чистенький», будет со смятением эту самую шоколадку совать...

Голову на отсечение: никогда такая вахтерша не взяла бы взятки, если б не верила твердо, что для сующего шоколадку или полтинник это именно унижение. Но она по глазам знает, кто «не умеет давать». И уж тут не отступится. Душу вывернет! Еще и куркулем назовет за полтинник. Верит ли она, что больному жалко пятидесяти копеек? Чепуха, не та сегодня жизнь, нет нищих, да с нищего она и не взяла бы. Она сдерет с гордого... Жалкая, пустая, скрюченная, униженная душа ее словно требует: унизься до меня хоть на секундочку! Я злая, я пустая, я несчастная, я тебе завидую, я тебя ненавижу за то, что ты живешь свободней, интересней, ярче меня,— так пожалей меня, признай во мне ровню, признай, что и я человек... унизься, сунь же мне эту самую шоколадку...

Я не спорю: легко мне, сидя за письменным столом, рассуждать так. А там, в гулком вестибюле, не знаю... Там пожалеть не хватило бы, наверное, сил. Легко пожалеть хорошего, правого, красивого, несправедливо обиженного. Но какой подвиг духа нужен — пожалеть неправого...

Путь Шукшина — это именно попытка понять душу искаженную, пробудить добро в злом, понять неправого. Попытка через свой уникальный жизненный, социальный опыт полугорожанина-полукрестьянина выйти к всеобщей нравственной истине, причем не скрадывая, не облегчая задачи, а именно через тяжкий опыт выстрадать добро.

Мучительное предчувствие охватило меня, когда я прочел «Кляузу». Предел сил обозначился? Исчерпанность темы?.. Не знаю... просто боль.

«Кляуза» появилась в газете 4 сентября 1974 года.

Четыре недели спустя Шукшин умер на съемках фильма «Они сражались за Родину».

Допета ли песня?

В одном рассказе Шукшин воспроизвел диалог, имевший хождение в студенчестве: отчего Есенин умер так рано? Не рано: допета песня...

Допета ли песня?

А «Разин»! А прорезавшийся в Шукшине исторический романист! А театральный драматург, только-только начавшийся в странных «повестях для театра»! А фи-

лософ, брезжущий в причудливом сценарии «До третьих петухов», этом трактате о русском характере! Столь многое начиналось в Шукшине в эти последние годы, и столь большие ожидания успел возбудить он в широчайших кругах народа, что всякая мысль о «завершенности» первое время казалась тут просто кощунственной, и прав был С. Залыгин: разве Шукшин умел «завершать»? — он только начинал и начинал...

Все так. «Потенциальный Шукшин» — тема обширнейшая и особая. И все-таки главная песня, с которой Шукшин пришел в духовную жизнь нашу из реальных своих университетов,— эта песня допета, этот опыт исчерпан, эта судьба испытана до конца.

Л. АННИНСКИЙ

СОДЕРЖАНИЕ

РАССКАЗЫ

ПОВЕСТИ

Василий Макарович ШУКШИН

ДО ТРЕТЬИХ ПЕТУХОВ

Приложение к журналу «Дружба народов»

М., «Известия», 1976, 671 стр. с илл.

Редактор приложений **Е. Мовчан**

Оформление «Библиотеки» **А. Гаранина**

Редактор **В. Полонская**

Художественный редактор **И. Смирнов**

Технический редактор **В. Новикова**

Корректор **В. Прошина**



А 11729. Сдано в набор 4/V-76 г. Подписано в печать 27/IX-76 г.
Формат 84×108¹/₃₂. Бум. типографская № 1. Печ. л. 21,00.
Усл. печ. л. 35,28. Уч.-изд. л. 36,48.
Тираж 200 000 (100 001—200 000) экз. Зак. 1111.

Цена 1 руб. 40 коп.

●

Издательство «Известия Советов депутатов трудящихся СССР».
Москва, Пушкинская пл., 5.

Ордена Ленина типография «Красный пролетарий».
Москва, Краснопролетарская, 16.

В 1976 году

издается 15 книг

библиотеки

«ДРУЖБЫ НАРОДОВ»

Ф. Абрамов — Избранное (в двух томах).

Г. Баширов — Родимый край — зеленая моя колыбель. Повесть. Перевод с татарского.

С. Бородин — Молниеносный Баязет. 3-я книга романа «Звезды над Самаркандом».

В. Бубнис — Жаждущая земля. Три дня в августе. Романы. Перевод с литовского.

Н. Грибачев — Здравствуй, комбат! Повесть. Рассказы.

С. Журахович — Киевские ночи. Роман. Повести. Рассказы. Перевод с украинского.

А. Кешоков — Сломанная подкова. Роман. Перевод с кабардинского.

В. Лацис — Сын рыбака. Роман. Перевод с латышского.

Г. Марков — Сибирь. Роман.

Т. Пулатов — Владения. Повести. Рассказы.

Рассказы. Сборник.

С. Санбаев — Колодцы знойных долин. Повести. Роман.

Р. Файзи — Его величество Человек. Роман. Перевод с узбекского.

В. Шукшин — До третьих петухов. Повести. Рассказы.


ВАСИЛИЙ ШУКШИН
ДО ТРЕТЬИХ ПЕТУХОВ